ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

АНТОЛОГИЯ

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

**Антология
в шести томах
том первый
книга вторая**

1920-1925

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

АНТОЛОГИЯ

Москва «Книга» 1990

ББК 84Р
Л64

Научный редактор
кандидат философских наук
А. Л. Афанасьев

Составление
и именной указатель
В. В. Лаврова

Издание подготовлено
редакционно-издательским
центром «Истоки»

Редакторы:
А. Б. Гудович, Ю. В. Устинов

Оформление и макет
А. Б. Архутика и К. В. Кухтина

Макет фотоиллюстраций
В. И. Харламова

А $\frac{4701000000-130}{002(01)-90}$ Подписн. изд.
ISBN 5-212-00443-8 (т. 1, кн. 2)
ISBN 5-212-00444-6

МЕМУАРЫ

Сергей Волконский

О декабристах

По семейным воспоминаниям

«Семейный архив» — сколько прошлого, ушедшего, былого в этих словах. И вместе с тем сколько поблекшего, увядшего и, несмотря на блеклость, сколько благоуханного. К сожалению, все это в словах, а в самих архивах что осталось?

Бумажное наследие наших отцов, в тех редких случаях, когда не подверглось поруганию, извлечено из обстановки, в которой оно хранилось, развезено по разным казенным учреждениям, свалено по канцеляриям, по сундукам в кладовых музеев, перебирается и распределяется людьми, далекими от той внутренней жизни, которой дышат эти пожелтелые листки. Вырванные из своих семейных гнезд, из той атмосферы родственного внимания, в которой они сохранились, архивы наши потеряли — безвозвратно потеряли именно то благоухание, которое было самым ценным их свойством. Они его потеряли потому, что оно было не им присуще, а сообщалось им сыновнею любовью родственно связанного с ними потомка. Для тех людей, которые сейчас ими занимаются, это не живые страницы далекого, но близкого прошлого, а только «документ». Все, что будет на основании этого документа написано, будет не более как сводка; все, что будет к нему прибавлено, будет либо догадка, либо вымысел. Только свой человек увидит за «документом» жизнью трепещущее письмо, только сын за почерком почувствует характер и образ, только внук за мельком брошенным именем ощутит прикосновение жизненных течений, переплетения семейных отношений. Только в самом себе (а не в бумаге) найдет он разгадку тому, что не досказано. И тогда то, что он прибавит к «документу», не будет ни догадкой, ни вымыслом. Это будут если не личные воспоминания, то — куски жизни, отраженные в его памяти. Из глубины детства возникают и всплывают на поверхность какие-то клочки, обрывки: звук голоса, взгляд, усмешка, имя, кличка, портрет, сухой цветок, кусок материи, песня, прибаутка, запах... И в каждом таком намеке есть воскрешающая сила, необманная сила, столь же необманная, как и сила «документа» ⟨...⟩.

* * *

Весной 1915 года, разбирая вещи в старом шкапу на тогдашней моей квартире в Петербурге (Сергиевская, 7), я неожиданно напал на груду бумаг. Часть их лежала вповалку, но большинство было уложено пакетами, завернутыми в толстую серую бумагу; на пакетах этих, запечатанных сургучом и перевязанных тесемками, были надписи: от такого-то к такому-то, от такого-то до такого-то года, от такого-то до такого-то номера; иногда оговорка о пропуске в номерах. В надписях я сейчас же признал почерк моего деда, декабриста Сергея Григорьевича Волконского. Тут же было несколько переплетенных тетрадок. Раскрыв их, я увидел в одной письма матери декабриста, княгини Александры Николаевны Волконской, в других — письма к жене декабриста, княгине Марии Николаевне Волконской, урожденной Раевской, от разных членов ее семьи, родителей, братьев, сестер. Еще было несколько больших переплетенных тетрадок — это был

журнал исходящих писем. Наконец были кипы писем самих декабристов: Сергея Григорьевича и Марии Николаевны, очевидно, возвращенных моему отцу после смерти адресатов. Среди всего этого письменного материала множество рисунков: портреты акварельные, карандашные, виды Сибири, сцены острожной жизни, в числе их портреты работы декабриста Бестужева, карандашные портреты известного шведского художника Мазера, в 50-х годах посетившего Сибирь и зарисовавшего многих декабристов. Одним словом, с полок старого шкапа глядело на меня 30 лет Сибири (1827—1856), да не одна Сибирь: письма начинались много раньше, с 1803 года, и кончались 1866-м, годом смерти декабриста Волконского 〈...〉.

* * *

Пушкин был свой человек в семье Раевских. Старик Николай Николаевич приблизил его к себе, ввел в дом, окружил его теплотою семейственности в суровые годы изгнания, когда поэт должен был скитаниями по Бессарабии искупать шаловливость юной музы. И Пушкин высоко ценил его: «Свидетель екатерининского века, памятник двенадцатого года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества».

Не одним стариком был очарован Пушкин. Он, можно сказать, был влюблен во всю семью. В его стихах рассыпаны свидетельства о его привязанности: «Демон» посвящен Александру Раевскому, «Кавказский пленник» — Николаю, «Нереида» — старшей из сестер, Екатерине Николаевне. Но больше всех прошла через его душу и оставила след в его творчестве младшая из сестер, Мария Николаевна. Существует мнение, высказанное в нашей критической литературе, по которому Мария Николаевна была слишком молода, чтобы мог в нее влюбиться наш поэт. По неопровержимым данным нашего архива, она родилась в 1805 году; ей было, следовательно, шестнадцать лет, когда Пушкин знал ее девушкой. Что она сама в «Записках» говорит о себе, как о девочке, весьма естественно при скромности, с какою она всегда о себе говорила. Но она могла, конечно, умалять в памяти своей значение произведенного на Пушкина впечатления, она не смогла умалить той силы, с которой запечатлевался ее образ.

Стройная, тонкая, смуглая, с удивительными, как выразился декабрист барон Розен, «говорящими» глазами, с чудным голосом, она пленила поэта, и он, вспоминая эти глаза, в «Бахчисарайском фонтане» писал:

...ее очи
Яснее дня,
Темнее ночи.

Эти строки в «Записках» Мария Николаевна признает обращенными к ней, к ее глазам. Не знаем, какие были у нее данные для такого утверждения, но опять скажу: скромность ее лучшее ручательство, что это так и было и что образ ее жил в поэтическом воображении Пушкина.

Прелестные строки о ножках в первой главе «Евгения Онегина» вызваны следующим случаем. Николай Николаевич пригласил Пушкина сопутствовать им в путешествии по Крыму и Кавказу. «Недалеко от Таганрога, — пишет Мария Николаевна в своих «Записках», — я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала для забавы бегать за волной и вновь убегать от нее, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги; я это, конечно, скрыла и вернулась в карету». Но детская шалость, которую она скрыла от гувернантки, была выдана поэтом:

Как я завидовал волиам,
Бегущим буриой чередою
С любовью лечь к ее иогам!
Как я желал тогда с волиами
Косиуться милых иог устами!

А в другом месте:

Ах иожки, иожки, где вы иыне,
Где миете вешиие цветы?

Да, где? В Сибири, почти тридцать лет в Сибири они мяли вешиие цветы...

Ей же, Марии Николаевне, хотя и иегласио, посвящеиа «Полтава». Найдеи пушкииский чериовик, в котором вместо «Твоя печальиая пустыня» стоит «Твоя сибирская пустыия»:

Тебе — ио голос музы томиой
Косиется ль слуха твоего?
Поймешь ли ты душою скромиой
Стремлеиье сердца моего?
Иль посвящеиие поэта,
Как иекогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнаииое виовь?
Узиай по крайией мере звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дии разлуки,
В моей измеичивой судьбе,
Твоя сибирская пустыия,
Последиий звук твоих речей
Одио сокровище, святыия,
Одиа любовь души моей.

В иекоторых изданиях посвящеиие «Полтавы» сопровождается примечанием: «К кому относится это посвящеиие — иеизвестио». Благодаря исследоваииям П. О. Морозова, отыскавшего упомянутый вариаит, ныне известно, что оио отиосится к киягине Марии Николаевне Волкоиской. Надо думать, что оиа сама об этом ие знала, иначе в своих «Записках» оиа бы об этом упомянула. Не лишеио иитереса и некоторое виутреинее сходство: героиню «Полтавы» зовут Марией, она выходит за человека миого старше ее, ои политический преступиик, оиа жертва, гибиущая из-за иего.

Еще одии раз образ Марии Николаевны проходит под пером Пушкииа. Есть недокоичеиное стихотвореиие «Графу О.». Это был иекий граф Олизар, поляк, который был влюблеи в Марию Николаевиу и делал ей предложеиие; но, говорит Пушкин в стихотвореиии, дышащем русско-польской враждой:

Но наша дева молодая,
Привлекши сердце...
Отвергла...
Любовь... иашего... врага...

Это было в 1824 году. Через тридцать три года, когда, после возвращения из Сибири, Мария Николаевиа поехала за граиицу, оиа встретилась с Олизаром. У иас осталось два письма, получеииых киягииею от ее прежнего вздыхателя: обезвреженная старостью, в них дышит искренность восторжеииого преклоиеиия.

Была в иашей семье и вещественная память о Пушкине. Одиажды у Раевских разыгралась лотерея, Пушкин положил свое кольцо, моя бабушка его выиграла. Это кольцо я подарил Пушкинскому дому при Академии иаук. Кстати, здесь о пушкииских кольцах. Их было три. Один знамеиитый «талисман», который, по тропиииискому портрету, ои иосил

на большом пальце. Это кольцо вдова Пушкнна у смертного одра его надела на палец Жуковскому, принявшему последннй вздох поэта. Жуковскнй завещал его Тургеневу. Тургенев — Льву Толстому. Но Тургенев, как нзвестно, умер под Парнжем на даче знаменитой певнцы г-жн Внардо. Где оно — нензвестно, но только от г-жн Внардо до Ясной Поляны кольцо ннкогда не дошло. Второе кольцо я видел на руке велнкого князя Константнна Константнновнча, поэта К. Р. н президента Академнн наук. Оно ему досталось по завещанню от одной дамы, но от кого — не помню. Велнкнй князь завещал его Академнн наук. Третье кольцо — мое. Осенью 1917 года я читал в газете, что «во время нюльскнх беспорядков в Петрограде разгромлен музей Академнн наук. Между прочнм пропало кольцо Пушкнна». Которое из двух?..

* * *

Через Раевскнх Пушкнн был блнзок к декабрнстам; мы виделн, что он пнсал «Кавказского пленника» в Каменке; он в Каменке жнвал подолгу. Но блнзость эта не довела его до вступлення в ряды тайного общества.

Здесь уместно упомянуть подробность, которая, кажется, в лнтературу не проннкла; она сохраннлась в нашем семействе как драгоценное предание. Деду моему Сергею Грнгорьевнчу было поручено завербовать Пушкина в члены тайного общества; но он, предвндя славное его будущее н не желая подвергать его случайностям полнтнческой кары, воздержался от нсполнення возложенного на него поручения *. Между тем декабрьская буря прошла блнзко мнмо Пушкнна, н даже непонятно, как могла она совсем его не задеть, когда н за «шалостямн» его так зорко следило правнтельство. Он н сам ощущал сообщность с потерпевшнмн друзьями и, судя по прелестному стнхотворенню «Арион», сам недоумевал, как это случилось, что он спасся:

Нас было много на челне;
Иные парус напрягалн,
Другне дружно напнралн
В глубь мощны весла. В тншнне
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн —
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету внхорь шумный...
Погнб и кормщнк, н пловец! —
Лншь я, таннственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежнне пою
И рнзу влажную мою
Сушу на солнце под скалою **.

Известно, что в бумагах Пушкнна найден рнсунок с пятью внселнцамн пятн декабрнстов н рукою поэта прнпнсано: «И я мог бы также...»

Средн декабрнстов был такой человек, как Иван Иванович Пущин, лнцейский товарищ Пушкнна. Что может быть трогательнее тех несколькнх строк, которые Пушкин послал ему в Снбнрь:

Мой первый друг, мой друг бесценный!

---

* «По глвзам видио, что должен был спасти Пушкииа»,— сказал, глядя на портрет С. Г. Волкоиского, писатель Данилевский.

** Автор цнтирует стихи А. С. Пушкииа с иекоторыми иеточностямн (*примеч.* сост.).

И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое Провиденье
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней.

Эти строки повезла в Сибирь Александра Григорьевна Муравьева и передала Пущину в день его приезда в Читу сквозь щель острожного частокола. В прелестных своих записках Пущин говорит об этом с той удивительной теплотой, которой согрето его перо каждый раз, как пишет о Пушкине. Иван Иванович Пущин был близким другом Волконских и крестным отцом моего отца, родившегося в Сибири.

Свое знаменитое «Послание декабристам» Пушкин имел намерение вручить Марии Николаевне перед ее отъездом для передачи им в Сибири. Но он пришел днем, а княгиня выехала в четыре часа утра. Свое послание он передал той же Александре Григорьевне Муравьевой. Хотя Муравьева выехала после Волконской, однако они съехались, так как Мария Николаевна задержалась в Москве и нагнала Александру Григорьевну в Иркутске; они вместе передали послание Пушкина. Привожу это хорошо известное стихотворение и менее известный ответ декабриста князя Одоевского.

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра —
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора.

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Ответ декабриста князя Одоевского:

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли;
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.

Но будь спокоен, бард,— цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
Обет святой пребудет с нами.

Наш скорбный труд не пропадет;
Из искры разгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.

В отношениях, сближавших Пушкина с декабристами, есть некоторая недоговоренность, своего рода драматическое молчание с обеих сторон. Пущин остановился на краю признания. С другой стороны, Якушкин рассказывает, как однажды в Каменке, в присутствии Пушкина, говорили откровенно, настолько, что сочли нужным тут же замазать и превратить в шутку, а Пушкин воскликнул: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, а это была только злая шутка». Слова его остались без отклика. Может быть, боялись пылкости, неуравновешенности поэта. Драматическое молчание этой недоговоренности, длившейся столько лет, освещается горькими словами поэта при прощании с Александрой Григорьевной Муравьевой: «Я очень понимаю, почему они не хотели принять меня в свое общество, я не стоил этой чести». Как согласовать эту недоговоренность и опасливое отношение декабристов к Пушкину с преданием о возложенном на моего деда поручении, не берусь судить, но счел долгом упомянуть о нем.

* * *

Пушкину суждено было еще раз увидеть Марию Николаевну; он поехал в Москву, где княгиня была вынуждена остаться несколько долее, чем рассчитывала. Она остановилась у своей невестки, жены Никиты Григорьевича, обворожительной Зинаиды Волконской. О ней не можем не сказать здесь несколько слов: слишком ярок ее образ, слишком видное место занимала она в тогдашней жизни и слишком светел теплый луч, которым она озарила образ княгини Марии Николаевны перед тем, как он скрылся в сибирскую ночь. Красавица, женщина очаровательного ума, блестящих художественных дарований, друг Пушкина, Мицкевича, Гоголя, Веневитинова, она оставила след в истории нашего художественно-литературного развития. О ней много писано и, однако, не довольно. Еще не перешла в потомство вся прелесть этого характера, столь же живого, разностороннего, сколько пламенного.

Утонченная представительница юного романтизма в его сочетании с пробуждающимся и мало осознанным еще национализмом, она была типичный плод западной цивилизации, приносящий себя на служение родному искусству, родной литературы. Под влиянием карамзинского отношения к отечественной истории, того дидактизма, которым проникнуто его изложение; под влиянием «венециановского» понимания русского народа, вослед романтическому увлечению рыцарством, которое позднее нашло себе выражение в николаевской готике,— пошла в культурных кругах наших полоса какого-то странного славяно-готического патриотизма. Люди, очень мало имевшие корней в своей стране, получившие умственное пробуждение с Запада, душою все же тяготели к родине и желали видеть ее культурно равною другим странам. Этим желанием соревнования гораздо более, нежели патриотическими побуждениями внутреннего свойства, объясняются те сюжеты из древнеславянской истории, в которых вращалось тогдашнее творчество патриотических празднеств, игр, кантат, триумфов и живых картин. Княгиня Зинаида заплатила дань этому влечению не отстать от Европы в своих писаниях и своих музыкальных произведениях. В ней все это было согрето пламенем искренней любви к искусству, к родине и, что ценнее всего,— к людям. Она умела принять, обласкать человека, поставить его в обстановку нравственную, физическую и общественную, нужную для его работы, для его вдохновения. Так она приняла и обласкала поэта Веневитинова, так она согрела тяжелые дни Гоголя в Риме, так она спасла от болезни, привезя с собою в Рим, Шевырева.

Княгиня Зинаида Александровна играла видную роль в свете. Ее гостиная в Москве

(она жила в доме отца своего, князя Белосельского-Белозерского, на Тверской, где впоследствии был магазин Елисеева) была местом встречи всего, что было выдающегося в области литературы и науки. Ей, между прочим, принадлежит мысль создания в Москве музея европейской скульптуры — мысль, осуществленная только в 1912 году основанием Музея императора Александра III; но потомство не забыло ее, и в брошюре профессора И. В. Цветаева об истории музея имя Зинаиды Волконской поставлено, можно сказать, во главу угла нового здания.

Значительную часть своей жизни Зинаида Александровна провела в Риме, где приобрела свою известную впоследствии «Виллу Волконскую», расположенную на земле, по преданию, принадлежавшей императрице Елене, матери равноапостольного Константина. Место, ею приобретенное, в то время находилось на самом краю Вечного города, и только великолепный фасад базилики св. Иоанна Латеранского осенял виллу с этой стороны, в то время как по далеко расстилавшейся Кампании из голубого лона Албанских и Сабинских гор тянулись к ней и входили в самый сад старые своды римских акведуков... «Вилла Волконская» долго была местом встречи стекавшихся в Рим русских и иностранных художников и литераторов.

Последние годы жизни Зинаиды Александровны были отданы вопросам религиозным и делам благотворительности. Она приняла католичество много лет перед тем. Римская беднота ее боготворила.

Современники высоко чтили ее. Пушкин, посылая ей «Цыган», писал:

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Так мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.

В нашей семье сохранялся портрет Зинаиды Александровны работы Бруни в костюме рыцаря Танкреда, роль которого она исполняла в одноименной опере Россини на торжествах Веронского конгресса.

У нее остановилась Мария Николаевна, чтобы в последний раз отдохнуть перед отъездом в Сибирь. Зинаида устроила для нее званый вечер, на котором собрались лучшие, в то время бывшие в Москве, певцы. На этом вечере был и Пушкин. В бумагах поэта Веневитинова нашли на мелкие клочки разорванную рукопись; когда ее сложили, то оказалось, что это было описание музыкального вечера у Зинаиды Волконской. Трогателен образ Марии Николаевны, сидящей в дверях соседней комнаты из боязни выдать людям глубину своего волнения; но трогательно и отношение автора к ней, бережное, как к чему-то драгоценному и хрупкому.

Этот вечер был последним видением счастливого, светлого прошлого; после него начиналось длинное, мрачное завтра. Она слушала музыку и все говорила: «Еще, еще! Подумайте, я никогда больше ничего не услышу».

В печатном томе французских сочинений княгини Зинаиды Волконской, изданном в

Париже в 1865 году, есть следующий отрывок:

«Княгине Марии Волконской, рожденной Раевской.

О ты, вошедшая отдохнуть в моем дому! Ты, которую я знала всего три дня и которую назвала моим другом. Отражение твоего образа осталось в моей душе. Мой взор еще видит тебя: твой высокий стан встает предо мной, как высокая мысль, и твои красивые движения как будто сливаются в ту мелодию, которую древние приписывали звездам небесным. У тебя глаза, волосы, цвет лица, как у девы Ганга, и, подобно ей, жизнь твоя запечатлена долгом и жертвою. Ты молода... а между тем в твоей жизни прошлое уже оторвалось от настоящего; твой ясный день прошел, и не принес тебе тихий вечер темной ночи. Она пришла, как зима нашего севера, и земля, еще горячая, покрылась снегом... «Прежде,— говорила ты мне,— мой голос был звучен, но пропал от страданий...» А между тем я слышала твое пение, и оно еще звучит, оно никогда не смолкнет; ведь твои речи, твоя молодость, твой взор, все это звучит звуками, звучащими в будущем. О, как ты нас слушала, когда мы, сливаясь в хоры, пели вокруг тебя... «Еще, еще,— все повторяла ты,— еще... ведь я никогда не услышу более музыки...» Но теперь ты просишь, чтобы я отдала тебе твою лиру: прижми же ее к твоему разбитому сердцу, ударь по ее струнам, и да будет для тебя каждый звук, каждый аккорд ее так же дорог, как голос друга. Окружи себя гармонией, дыши ею, пой, пой всегда. Разве жизнь твоя не гимн?...»

Так говорила одна другой. Для того, кто умеет читать, этот отрывок полон прелести помимо своего содержания, помимо двух прелестных женских образов — той, о ком пишут, и той, кто пишет. Отрывок этот есть в малом виде вся тогдашняя культура, корнями сидящая в классицизме и цветущая цветами романтизма. Разве не классицизм первые строки этого обращения: «О ты, вошедшая отдохнуть в моем дому». Разве это не Гомер, не дышит Навзикаей? А конец — разве не до последней степени напряженная струна романтического лиризма? Какой длинный путь человечества в этих немногих строках...

В самые праздники уехала Мария Николаевна, держа путь на Нерчинск. Перед отъездом еще записочка от отца, из деревни: «Снег идет, путь тебе добрый, благополучный,— молю Бога за тебя, жертву невинную, да утешит твою душу, да укрепит твое сердце...» Она проезжала Казань под самый Новый год; мимо ярко освещенных окон Дворянского собрания, куда входили ряженые в масках, проезжала она в то время, когда сестра Екатерина Николаевна писала ей и помечала письмо, первое, адресованное в Иркутск: «31 декабря печального 1826 года».

Кибитка уносила княгиню Марию Николаевну в неразгаданную тьму. Чуя приближение полночи, она заставила свои карманные часы прозвонить в темноте и после двенадцатого удара поздравила ямщика с Новым годом...

Илья Репин

О графе Льве Николаевиче Толстом

(Мои личные впечатления и воспоминания)

I

Летом в Ясной Поляне Лев Николаевич встает в 10—$10\frac{1}{2}$ час. Умывшись и одев всегда одну и ту же черную блузу, он пьет кофе, чай в обществе жены. Пьет вдоволь, не торопясь. Если хорошая погода, чай сервируется на открытом воздухе, в саду, между акациями, под большой, развесистой липой; если дождик — графиня ждет Л. Н. в гостиной.

Окончив чай и закусив парой яиц всмятку, Л. Н. идет вниз, в свой небольшой кабинет, заставленный весь очень тесно книжными шкапами простой работы,— и погружается там в умственную работу.

Занимается он усидчиво, серьезно, до трех и более часов, после чего идет на полевую работу, если она есть. Полевые работы не всегда бывают, и работает граф только в пользу бедных, слабых, вдов и сирот. Если полевой работы не предвидится, Л. Н. берет корзиночку и идет в лес собирать грибы, это дает ему часы уединения с природой и самим собою.

Случается, что это время от 3—6 час. он отдает какому-нибудь заезжему гостю. Знакомые и совсем незнакомые люди, иногда из очень далеких краев России и других стран, приезжают к нему нарочно, по самым разнообразным вопросам жизни.

В его душевной беседе и отзывчивом сердце эти ищущие люди всегда находят много утешения, разъяснений и глубокоразумных истин.

К 6 час. Л. Н. возвращается к обеду в свою многочисленную семью, состоящую из 10 детей всех возрастов, начиная от 26-летн. старшего сына, кончая двухлетним младенцем. Надо прибавить к этому гостей, товарищей сыновей, кузин, подруг дочерей, учителей, гувернанток и заехавших иногда приятелей графа и графини. Большой белый зал старого графского дома, увешанный фамильными портретами предков, весь пересекается огромным столом и наполняется во время обеда веселым, громким разговором всех возрастов и всевозможных интересов.

После обеда Л. Н. перебирает и перечитывает привезенный только что из Тулы большой ворох писем, журналов, брошюр и разных корреспонденций со всего света. В этом очень утомительном деле Льву Н-чу помогает его старшая дочь Татьяна, она же часто пишет и ответы по инструкции отца.

Вечером, часов в 9, вся семья, за исключением малолетних, которые идут спать,— собравшись опять в зале, к вечернему чаю и фруктам,— устраивает самые разнообразные развлечения. Или это бывает литературное чтение — читает большею частью сам Л. Н., читает он хорошо: просто, выразительно и необыкновенно завладевает всеобщим вниманием. Или пение — аккомпанирует чаще всего сам Лев Н-ч, с большим тактом, помогая певице. Или устраивается музыка: молодой скрипач из московской консерватории, преподаватель музыки детям Л. Н. — на скрипке, а старший сын графа — на рояле, исполняют какую-нибудь музыкальную пьесу, большею частью Бетховена. Играют всегда с большим энтузиазмом, какой встречается только у любителей, и часто очень удачно.

Сам Л. Н. очень любит музыку, хорошо ее знает, сопровождает игру очень вескими

замечаниями и нередко бывает растроган до слез патетическими пассажами музыки. Случалось, что после какой-нибудь впечатлительной сонаты Л. Н. рассказывал нам целую драму, которая рисовалась ему во время исполнения пьесы.

Молодежь, дети и племянницы Л. Н. составляют из себя часто целый цыганский хор с гитарами. Они очень близко подражают захватывающей страстности цыган, переливам, замираниям и пронзительным взвизгиваниям цыганок, хватающим за душу. Этим особенно отличается вторая дочь графа, Мария. Вегетарианка, строгая последовательница жизненной теории отца, неутомимая работница в поле с крестьянами, стройная, высокая, худенькая блондинка, с чисто русским типом лица.

После 12 час. семья расходится спать.

II

Лев Николаевич необыкновенно искренно и горячо увлекается всяким занятием. Я был свидетелем его неутомимой, трудной работы в поле. От 1 часу дня до самых сумерек, $8^1/_2$ час. вечера, он неустанно проходил взад и вперед по участку вдовы, направляя соху за лошадью и таща другую, привязанную к его ременному поясу, лошадь с бороной: он запахивал, «разделывал» поле. Пот валил с него градом; толстая, посконная рубаха, одеваемая им на полевые работы, была мокра насквозь, а он мерно продолжал. Плоскость была неровная: надо было то всходить на гору, то спускать соху под гору с осторожностью, чтобы не подрезать задние ноги лошади. Внизу, в овраге, лежала бутылка воды с белым вином, завернутая в пальто графа от солнца; иногда он, весь мокрый, отпивал наскоро из этой бутылки, прямо из горлышка, и спешил на работу.

Часто во время подъема на гору побледневшее лицо его с прилипшими волосами к мокрому лбу, вискам и щекам выражало крайнее напряжение и усталость, а он, поровнявшись со мной, каждый раз бросал ко мне свой приветливый, веселый взгляд и шутливое словцо. Я попросил его наконец дать мне соху и попробовать попахать. Он сообщил мне необходимые правила, и я пошел. Сначала мне показалось легко, но от неумелости держать соху на равномерной глубине в земле и в то же время следить за правильностью борозды и за шагом лошади я начал спутывать линию борозды, соха то врезывалась очень глубоко, то скользила поверх, и я, собрав всю свою выдержку, едва дотянул второй подъем на гору и возвратил соху хозяину, вспотев и устав до невероятности от непривычного труда,— правда, и день был жаркий 9 августа.

Я вспомнил про свой карманный альбомчик и зарисовал графа пашущим в двух позах, ловя моменты, пока он проходил близко мимо меня.

Поздно, в сумерках, кончил он наконец второй участок вдовьей земли. С оврага подымался уже сырой туман, и я боялся, чтобы Л. Н. не простудился. Он одел пальто сверх промокшей насквозь рубахи, и мы отправились домой.

Л. Н. был в самом счастливом расположении духа, в голосе его слышалась переполненность благости душевной без всякой сентиментальности.

— Меня удивляет,— говорил он,— как это люди лишают себя самого блаженного состояния, самых счастливых часов жизни — часов полевого труда. Сознание несомненно принесенной пользы, сладкое утомление, превосходный аппетит и крепкий сон — вот награда полевому работнику.

Голос его звучал необыкновенно глубоко и трогательно. Он говорил много интересного: о пустоте, измельчании человечества в городах, о их пустозвонной, фальшивой суете и крайнем нравственном и физическом бессилии и развращенности горожан.

А между тем сделалось совсем темно, дорога исчезла, и только вызвездившее мириадами бездонное небо помогало нам не спотыкаться в колеях. Мы были в самом счастливом, блаженном настроении, хотя я уподоблялся мухе на рогах пахавшего вола.

Однако, по приходе домой, графиня немножко отрезвила нас и заставила присмиреть. В самом деле, вся многочисленная семья, с гостями и детьми, ждала нас до половины восьмого — мы пришли в 9. Переспевший обед, долгое голодание детей — все это вещи, неприятные для матерей и хозяек, но, главное, графиня ни на минуту не могла забыть, что Л. Н. только что оправился от серьезной болезни, простуды желудка, происшедшей от такого же, как и сегодня, непомерного увлечения тяжелой работой в поле.

Доктор положительно запретил ему такие большие дозы физического труда. Что молодому Л. Н-чу сходило благополучно, теперь каждый раз грозило каким-нибудь серьезным недугом. Она была права.

Надо сказать несколько слов и о графине. Высокая, стройная, красивая полная женщина, с черными, энергичными глазами, она вечно в хлопотах, всегда за делом. Большое сложное хозяйство целого имения почти все на ее руках. Вся издательская работа трудов мужа, корректуры типографии, денежные расчеты — все в ее исключительном ведении. Детей она обшивает сама и Льву Николаевичу сама шьет его незатейливое платье, сапоги себе он шьет сам. Всегда бодрая, веселая графиня нисколько не тяготится трудом, и я видел, как она в свободные часы стегала ватное платье какой-то выжившей из ума дворовой женщине. Казалось невероятным, как эта, не первой молодости графиня, повергшись всем своим красивым корпусом над разостланной в зале материей, в продолжение нескольких часов, не разгибая спины, работает так, как не работает ни одна женщина в бедной семье.

Графиня наделена живым, реальным умом и необыкновенно острым взглядом. Во время писания мною у них портрета с Л. Н. самые верные замечания были сказаны ею — быстро, на лету, без всякой претензии.

Иногда я не удерживался от удивления при меткости ее замечаний. Тогда она с грустью говорила, что прежде и Л. Н. слушался ее замечаний в его беллетристических трудах, но теперь, с тех пор как он перешел философию, он уже избегает ее и не делится с ней своими идеями. «По-моему, это совсем не его дело»,— говорит она нетерпеливо.

Во всем, что касается семейных и хозяйственных дел, Л. Н. всегда советуется с ней и очень ценит и любит ее как верного, преданного друга. Сам он устранился от всех хозяйственных дел и в семейных вопросах необыкновенно добр и до крайности терпелив. Дети его страстно любят.

III

Беседы Л. Н. производят всегда искреннее и глубокое впечатление: слушатель возбуждается до экстаза его горячим словом, силой убеждения и беспрекословно подчиняется ему. Часто на другой и на третий день после разговора с ним, когда собственный ум начинает работать независимо, видишь, что со многими взглядами его нельзя согласиться, что некоторые мысли его, являвшиеся тогда столь ясными и неотразимыми, теперь кажутся невероятными и даже трудно воспроизводимыми, что некоторые теории его вызывают противоположные даже заключения, но во время его могучей речи этого не приходило в голову.

В Москве я жил недалеко от квартиры Л. Н. и часто после работы, под вечер, отправлялся к нему ко времени его прогулки.

Не замечая ни улиц, ни усталости, я проходил за ним большие пространства. Его интересная речь не умолкала все время, и иногда мы забирались так далеко и так уставали наконец, что садились на империал трамвая, и там, отдыхая от ходьбы, он продолжал свою интересную беседу. Как часто я жалел, что не был стенографом: сколько глубоких мыслей, метких характеристик и вечных истин высказывал он над явлениями жизни, политики, литературы и искусств.

В моей мастерской, стоя иногда перед начатой мною картиной, он поражал меня совершенно неожиданными и необыкновенно оригинальными замечаниями самой сути де-

ла, освещал вдруг всю мою затею новым светом, прибавлял животрепещущие детали в главных местах, и картина чудесно оживлялась. Чувствовался огонь гениального художника... Такое же действие производил он и на товарища моего, художника Сурикова, который жил по соседству; встретившись с ним и сообщив друг другу замечания Толстого, мы чуть не лезли на стену от восторга — так он нас подымал!..

В Ясной Поляне однажды встретили мы босого мужичонка, что называется «заморуха». Он шел к Льву Николаевичу за пособием, просить семян, посеяться.

— Хорошо, тебе дадут,— сказал ему кротко Л. Н.— Я попрошу; ты через час придешь к приказчику и получишь.

Заморух поблагодарил апатичным кивком почти безбородой головы и побрел назад, подковыривая босыми пятками.

— Вот,— сказал Л. Н.,— этот Трофим к зиме по миру пойдет.

— Как, неужели,— спросил я,— да разве ему нельзя помочь?

— Что вас это так удивляет? — сказал спокойно Л. Н.— В народном быту у нас это вовсе не так страшно. Зиму он будет питаться с семьей кусочками — будут сыты, будут и работать, а к будущей осени урожаем, Бог даст, и поправится. У него было много несчастий: пала корова, угнали лошадь и, главное, была долго больна жена, а она у него сильная работница. Сам-то он плохой, забитый, а жена молодец, ею только он и жил.

— Но, мне кажется, Л. Н., нищенство развращает, деморализует людей, ведь он обленится,— возразил я.

— О, совсем нет, вы судите как горожанин. «От тюрьмы да от сумы не отцураешься» — говорит пословица. Сума́ — это есть *дно* для каждого утопающего крестьянина, он опускается на это дно, становится ногами, упирается в него и опять выталкивается наверх. Не беспокойтесь, поправится: будет работать и пойдет понемногу. Это часто бывает. И ведь это особенное нравственное состояние человека простого. Он смиряется, входит в себя, раскаивается во многих ошибках; возбуждаются в это время все его умственные и душевные силы и служат хорошим лекарством слабой воли и нерадения. И знаете ли, это особенная внутренняя сладость смирения — почти лирическое состояние души, оно возвышает простого человека.

Да, бедность, нищета — это великие учителя жизни.

В самом деле, и мне рисовалась глубоко нравственная повесть из крестьянской жизни. Дошедшая до нищенства семья смирением, трудом и прилежанием снова приходит к благосостоянию. Но после, в раздумье, мне стало приходить в голову, уж не скуп ли Л. Н. и не туг ли он на помощь ближним.

Однажды в сумерках, разыскивая графа, косившего в поле, я попросил деревенского мужичка провести меня в поле, где работает граф. По дороге мы разговорились, и я спросил у него, каковы г. г. гр. Толстые, помогают ли они крестьянам в нужде?

— Это уж что говорить, грех сказать что-нибудь — отцов родных не надо,— сказал он серьезно и строго.— Ни в чем нам отказу нет. А два года назад тут пожар сильный был, полдеревни выгорело. Так граф всем новые избы построил и на обзаведение по 25 р. дал погоревшим. Известно, у кого дочиста все сгорело, по нашему по крестьянству значит.

И она добра, добра! Друг дружку стоят, надо правду сказать. Л. Н. нередко навещает в деревне больных, а также и здоровых. Однажды я сопровождал его. Больных мы обошли в обществе медика, студента Моск. университета, 5-го курса. Этот молодой человек был последователь Толстого; лето он провел на покосе, с крестьянами, работая все время за установленную плату рабочим, наравне с косарями. Теперь он возвращался в университет к началу лекций. Пространство верст 300 делает пешком, до Москвы. Сначала, рассказывал он, к нему косари относились недоверчиво, считали его то за писаря, то за рассчитанного приказчика, но когда он своими советами помог несколько раз заболевшим, к нему стали относиться с большим уважением. Под конец его очень полюбили за тихий харак-

тер и считали за фельдшера. При нас он осмотрел и выслушал тщательно старуху, больную воспалением кишок, давал советы, прописывал лекарства.

Аптека у Толстых своя. Иногда дочери графа ухаживают за беспомощными больными: носят им легкую пищу и лекарство.

Посещение здоровых было гораздо приятней. Возвратившиеся только что с поля вечером крестьяне были веселы, они шутили запросто с барином, графом, и незаметно переходили на нравственные вопросы жизни о душе, когда вспоминали о прочитанных книжках, которыми наделяет их граф. Эти пожилые уже люди все были грамотны, все они выучились здесь же, в Ясной Поляне, у этого же гр. Л. Н. И им очень хорошо уже были известны многие нравственные вопросы жизни, занимавшие так его.

В сумерках мы зашли к одному страстному грамотею-мужику. Он сидел на пасеке и, высоко подымая книгу к глазам и свету, не мог оторваться от строк. Увидав Л. Н., он быстро радостно заговорил книжным языком под сильным впечатлением только что читанного.

— Читаю биографию художника Иванова-с.— И он негодовал на несправедливость судьбы к истинным талантам в чиновном Питере, погрязшем в интригах, бесчувственном...

Л. Н. прервал его.

— Ну что, барышня уехала? — спросил он.

— Уехала, уехала!.. Так мать родную не провожают, как мы ее провожали.

— Ну а что, каков она человек? — спросил Л. Н.

— Она т. е. человек очень, очень хороший человек она! Посудите сами, ваше сиятельство, мы в поле — она у нас и детей уходит,— ведь извините, маленькие, всего тут... и накормит малых, и самовар поставит, и все готово, как нам вернуться с поля. Такая барышня, так просто удивленье одно!.. И книжки хорошие давала читать. А это у меня старая: Русский вестник 62 года — да что делать, нечего читать. Нет ли у вас еще чего новенького, ваше сиятельство?

Л. Н. обещал прислать ему. Эта барышня была одна из многочисленных теперь последовательниц учения Толстого. Они летом, во время страды, приезжают в деревни и помогают крестьянкам по дому, у кого некому присмотреть за хозяйством и за малыми ребятами, моют им белье и стряпают обед.

Последователей у Л. Н. делается все больше и больше. Люди самых разнообразных профессий и возрастов приезжают к нему за советом. Часто зайдет и странник по св. местам, то наконец придет к нему целая группа странников и странниц затем только, чтобы посмотреть на него. Он дарит им на память книжечки для народа изд. «Посредник», большей частью сочинения его и его последователей.

Однажды утром прервал наш сеанс какой-то приехавший господин с женой,— просил видеть наедине Л. Н. Через час Л. Н. вернулся очень возбужденный и даже несколько сконфуженный.

— Можете представить: молодой человек перед окончанием курса женился... женился на проститутке, по страстной любви, и теперь желает обратить ее на путь истины,— говорил вполголоса Л. Н. — Безнадежнейшее существо! В ней глубоко укоренился нигилизм жизни, настоящий страшный нигилизм. «Верите ли вы в Бога?» — спрашиваю ее. «Нет»,— отвечает почти нагло. Сколько ни старался, кажется, ничем не удалось ее растрогать. Погибшее существо!.. Жаль его, кажется, хороший и даровитый человек.

Л. Н. очень любил обходиться без помощи прислуги. И когда семья его на зиму переезжает в Москву, он остается иногда еще целый месяц в Ясной Поляне совсем один. Сам себе ставит самовар и делает все горячее. Он особенно любит это свое одинокое время. Говорит, что из поставленного самим самовара чай несравненно вкуснее. Зайдет к нему какой-нибудь прохожий, странник, зазовет он его, накормит, напоит, и так-то хорошо бывает: тепло́, любовно. Больше простору, больше свободы душевным интересам.

Катерина Брешковская

Три анархиста: П. А. Кропоткин, Мост и Луиза Мишель

(Воспоминания)

I

Задолго до осуществления той или другой идеи, несущей в себе радикальные социальные изменения, задолго до ее воплощения в жизни, сперва смутно, потом все яснее формируется она в умах отдельных личностей и наконец выходит в свет в виде готовой теории.

Но и готовая теория, как бы она ни была хороша и стройна, долго остается в одиночестве и рассматривается человечеством как интересная игра ума, не имеющая в будущем практического применения.

Тем не менее каждая новая теория, если только она носит в себе зерно той правды, к которой волей-неволей тяготеет человечество, как бы далеко вперед она ни забегала, оставляет свой след в умах и вызывает их на создание теорий более приемлемого характера для данной эпохи.

Разве христианство не вызвало множества попыток провести это учение в жизнь, хотя бы и в менее совершенной форме? Что же касается «мирских» учений, не претендующих на божественное происхождение,— то среди них, быть может, ни одно не требует для воплощения своего такого нравственного, духовного совершенства, как учение анархистов. Оно и считается утопическим потому, что представляет себе человека уже готовым к жизни, управляемой *только* законами разума и совести каждого члена общества.

Анархизм отрицает не только государство, но и законодательство. Он утверждает, что *уже* настало время расстаться с этими двумя «предрассудками», что люди уже не нуждаются в них и держатся они практически лишь в силу злой воли тех, кто извлекает из них личную для себя пользу, ограничивая волю большинства и подчиняя ее выгодным для себя условностям.

Эта, столь заманчивая по значению своему, теория остается тем не менее при самом небольшом числе последователей, среди которых большинство берет во внимание лишь те стороны анархического учения, в которых усматривает поощрение своему своеволию, отнюдь не способствующему водворению той общественной гармонии, какую имеет в виду само учение. Сами же учители, сами творцы теории верят так сильно в возможность общежития, свободного от созданных людьми ограничений и условностей, что не могут мириться ни с какими другими, промежуточными, подготовительными перспективами общежитий. Они со снисходительным сожалением смотрят на тех, кто, при всей добросовестности своей, не могут согласиться с тем, что людские общества уже достаточно подготовлены к взаимоотношениям, полным взаимопонимания, уступчивости и благожелательства.

Кротко, любовно смотрят они на сомневающегося, всеми силами стараются передать ему полноту своей веры в учение, уже давно принявшее для них вид аксиомы, и огорченно удивляются тому, что честные и преданные люди, готовые на все самопожертвования, не могут проникнуться столь ясной, столь спасительной идеей.

Такое «непонимание» их святого святых, такое одиночество духовное является самой тяжелой драмой в жизни анархистов-идеалистов, живущих в воображении своем в условиях, созданных их теорией.

Но откуда же такая, можно сказать, наивность, откуда такое нераспознание действительности, как будто ее игнорирование, умышленное от нее отчуждение?

Ведь теоретиками анархизма являются часто люди большой эрудиции, ученые мировой известности. Таковы были братья Реклю, таков был наш Кропоткин, не говоря о их предшественнике Прудоне.

Присматриваясь поближе к типам знакомых мне вождей анархизма, я нахожу, что ⟨...⟩ они переносили *свое* внутреннее самочувствие на весь остальной мир. Это были натуры исключительной чистоты, исключительной любви к человеку, жаждавшие видеть его счастливым. Приняв свою мечту, свое душевное состояние за мерило духовных способностей человека вообще, они щедрой рукой награждали его всеми свойствами собственной души и уже не придавали достаточного значения изучению его психики. Свои главные построения они созидали для общества людей тождественной с ними психологии. Одни поступали так потому, что слишком вдавались в свои труды и мало занимались интересами повседневной жизни толпы, другие потому, что жили в мире воображения своего, но были и такие, которых невыносимо горькая судьба заставила направить все честные силы свои на непримиримую вражду ко всему, что заслоняет солнце правды с корыстной целью оставлять во тьме все, кроме себя. Как раз три таких типа довелось мне узнать уже в зрелом возрасте, после долгих лет испытаний и всестороннего изучения натуры человека в разных его званиях и положениях.

II

Мне было уже шестьдесят лет, когда я в первый раз попала за границу, в 1903 году, в мае. Пробыла я вне России ровно два года и впервые в жизни своей узнала лично или ближе ознакомилась со многими, кто в самом начале семидесятых годов уже выступал в рядах боевой армии революционеров, как в России, так и за границей.

Были среди эмигрантов и однокашники мои по процессу и тюрьмам, были и такие, с которыми приходилось знакомиться совсем заново. Прошло четверть века, многое могло измениться. Но, к радости своей, я нашла, что наши семидесятники жили дружно между собою и что даже разница теорий, которые они исповедовали, ничуть не мешала им сохранять ту душевную близость и взаимное понимание, какие живут в чистых, искренних сердцах, бьющихся не для себя, а для избранного дела.

Сразу чувствовалась родная среда и простор в работе. Еще бы! Там были Леонид Эммануилович Шишко, Егор Егорович Лазарев (в Швейцарии), приехал из Лондона Николай Васильевич Чайковский. А сколько подросших, молодых, усвоивших заветы народничества, «Народной воли», видевших своего духовного вождя в болевшем душой за Россию Николае Константиновиче Михайловском! Богатая опытом своих предшественников, сильная духом, расцветающая красотой окружавшей и пополнявшей ее молодежи партия социалистов-революционеров и за границей работала вовсю, доставляя в Россию и обильный литературный материал в крестьянские и рабочие организации и отсылая туда подготовленных научно пропагандистов и специалистов по печатному делу и лиц, требовавших для себя боевой деятельности.

И старые, и молодые были одинаково охвачены жаждой скорейшего освобождения России от старого бесчеловечного и грязного режима, и все, что могло помочь успеху в борьбе с ним, и все, кто словом или значением своим мог оказать поддержку задачам

революционеров в их схватке с сильнейшим врагом,— высматривалось тщательно, встречалось трепетно, ценилось как высшее благо. Хватались за каждую написанную книгу, искали сотрудничества ученых сил, талантливых писателей.

Понятно, что партия эсеров с восторгом и с огорчением любовалась писательством Петра Алексеевича Кропоткина, признавая всю силу его и сознавая всю невозможность воспользоваться им.

Он анархист. Зачем он анархист? Такой же народник, как мы, эсеры, такой же революционер, как мы, и анархист!

А известный кружок молодежи, еще до моего приезда, издал на свой счет «Записки революционера» на русском языке и контрабандно пересылал их в Россию, где действительно они производили сильное впечатление — во всех слоях общества.

Петра горячо любили его старые товарищи, и они торопились послать меня в Лондон, чтобы повидаться с ним и другими тамошними русскими эмигрантами.

Им дали знать, что я еду, и они меня встретили и приютили у себя как родную. Радость увидеть старого товарища усиливалась еще тем, что я, отбывши свои долгие сроки в Сибири, уже успела поработать в России семь лет нелегально, изучив движение революционного роста в двадцати девяти губерниях, и могла сообщить много интересного тем, кто уже десятки лет, как Кропоткин, жили за границей.

И он был, видимо, доволен.

Но он также хотел делиться и своими заботами и скорбями, тем осадком недовольства, какой оставался у него на сердце от соприкосновений с партией социалистов-революционеров. Он, видимо, интересовался ее образованием и ее деятельностью, как ближайшей ему по духу, по его отношению к работе среди русского народа; несмотря на то, что в его размахе анархической перестройки программа ближайших достижений партии социалистов-революционеров являлась совсем ничтожной.

— Вы хлопочете только о том, чтобы земельки прибавили, и то, как вас преследуют, а ведь мы идем против всего, что стоит на дороге к полному освобождению человека от старых пут. К нам беспощадно относятся, нас не только боятся, нас ненавидят.

И Петр Алексеевич стал рассказывать, каким пыткам подвергали анархистов в Испании, при недавних процессах, по случаю нескольких террористических покушений.

— А какие прекрасные молодые люди, как держали себя непреклонно... Ну, вот, скажи, разве добросовестно было со стороны вашей партии причислить себе в заслугу благороднейший поступок юноши Балмашева? Молодой человек отдал себя в жертву всего, по собственному желанию идет и совершает геройский поступок, а посторонние люди берут этот поступок под свое знамя... Ведь этим вы умаляете значение личности.

Зачем это ему понадобилось? Ведь сам же он совершил покушение.

Надо было объяснить, с какими трудностями сопряжен каждый террористический акт при правительстве, уже напуганном подобными выступлениями революционеров, и что без участия сил партии нет возможности достигнуть намеченной цели,— «партийная организация вгоняет в рамки чувства и действия людей, самую мысль их»...

— Ты знаешь, что сделала ваша молодежь с моей автобиографией? Она издала ее, правда, с моего разрешения, перевозила в Россию, там раскупали ее по высокой цене, давали по 25 рублей за книжку, а мне хоть бы один экземпляр прислали. Хорошо это?

— Очень даже нехорошо! — ответила я.

Но в извинение такого грубого поступка старалась уяснить ему, с какой горячностью, с какой самоотверженностью работала русская молодежь над революционным делом, над социалистической пропагандой. Увлекаясь этой деятельностью, она забывала свои личные интересы, она и чужие приспособляла к своей цели... Конечно, все это хорошо при условиях *сохранения* этических начал, положенных в основу учения и деятельности партии.

— Организация давит волю личности, это путы, связывающие все наши высшие способности...

— В каких же формах ты представляешь себе общежитие людей? Возьми хоть Россию!

— Русский народ меньше других нуждается в государственности. Он по природе своей анархист. Ни в правительстве, ни в какой бюрократии он не нуждается. Жизнь небольшими общинами его вполне удовлетворяет.

— Ну, а как же поступать в вопросах, всем этим общинам одинаково необходимых: обороны от нападений врагов, сообщений по воде и по земле и множество других; каждая община может решать по-разному...

— А кто им мешает сговариваться, соглашаться, приглашать ученых для обсуждения вопросов? Общины соединяются в своих решениях в более крупные единицы, те идут дальше; приходят, наконец, к общему соглашению добровольно, без всякого принуждения.

— Это в будущем, вероятно,— а что же делать теперь?

Я пристально глядела в глаза Петра Алексеевича.

Он точно не ожидал такого оборота и как будто растерялся.

— Что ж, народ уже шевелится... стачки все чаще, даже крестьянские беспорядки, не надо только стеснять партийными организациями. Зачем руководство, народ сам знает, что ему надо.

— Выходит, как будто интеллигенции там нет места?

— И интеллигенция должна быть там,— но каждый действует сам по себе и за себя отвечает.

Я плохо понимала. С одной стороны, безусловная вера в природу человека, в его способность черпать из себя непосредственно все лучшие импульсы разума и совести и поступать всегда справедливо при полном отсутствии ограничения его воли, с другой — как будто панический страх перед организацией тех же людей в ту или иную группу, принявшую на себя обязательства подчиниться заранее определенным требованиям. Если предположить, что соблазн властью, или другим каким преимуществом, носит в себе неотразимую силу по отношению к природе даже идейного человека, то трудновато рассчитывать на массовое совершенство людей.

И было грустно встретить такое противоречие в столь цельной душе.

Но в дальнейшей беседе нашей я нашла некоторое объяснение такому двойственному отношению к людской психике.

Началось с того, что я, видя, как ему трудно жевать пищу за обедом, как сильно он шепелявит при разговоре, спросила:

— Почему у тебя ни одного зуба не осталось?

— Это Лионская тюрьма так меня угостила, я там все время болел цингою, жизнь была тяжелая, все страдали... Но для меня она была особенно тяжела. Не столько физически, сколько нравственно было мучительно. Ты знаешь, к нам, анархистам, пристают как самые лучшие, так и самые худшие типы людей, и представь себе возможность сидеть в тюрьме, взаперти, в обществе негодяев. Нет ничего ужаснее... непрестанная пытка. Я чуть живой вышел из тюрьмы.

Глубоко вздохнула сидевшая с нами жена Петра Алексеевича Софья Григорьевна: «Совсем, совсем был близок к смерти; если бы не Лондонская академия — не остался бы Петр в живых; его освободили раньше срока».

Два года всего прожил в заключении этот мощный духом и телом человек, и каковы были его мучения, когда за короткое сравнительно время успели состарить его до неузнаваемости. Очевидно, что «самые худшие типы», величая себя анархистами, ничему и никому не подчиняясь и живя по воле исключительно своих страстей, умели так радикально отравить человека иного типа своим поведением, что по истечении многих лет он

не мог вспомнить о днях, прожитых вместе, без содрогания. Отсюда, вероятно, та двойственность в отношении к природе человека, которая меня удивила.

III

В конце 1904 года заграничная организация отправила меня в Америку, для сбора средств на революционную борьбу. Приехали в Швейцарию два делегата, доложили, что русская колония эмигрантов в Нью-Йорке желает видеть у себя представителей партии соц.-революц. и готовит им сочувственную встречу. Меня отправили в сопровождении доктора Шидловского. Действительно, прием со стороны наших переселенцев был горячий, они делали все, что могли, для успешных сборов, для наших личных удобств и для ознакомления нас со средой самих янки. Тогда же мне посчастливилось приобрести верных друзей на всю жизнь в лице лучших американок и американцев. Дружба их так и не перестает скрашивать жизнь мою. Окружавшие меня эмигранты-товарищи предложили мне повидаться с анархистом Мостом, тогда жившим в Нью-Йорке.

Вспомнила я, что, еще блуждая по сибирским дебрям, мне случилось читать в восьмидесятых годах о том, какой большой успех среди масс имел смелый, красноречивый анархист Мост, как преследовало его прусское правительство и как после многочисленных арестов и заключений изгнало из Германии, и Мост переселился в Соединенные Штаты. В «Русских ведомостях» писались о нем яркие статьи, и в моем воображении являлся борец здоровый, сильный, с душой пламенной и жгучим словом.

И в Америке администрация его только терпела, а знакомство с ним считалось большинством не вполне разумным поступком, и товарищи, ввиду моего полуофициального пребывания в Новом Свете, устроили наше свидание незаметным для публики. Меня предупредили, что Мост значительно постарел и последние годы страдает алкоголизмом, что лишь в редкие дни отрезвления он снова появляется на трибуне и снова зажигает в сердцах слушателей и любовь к правде, и ненависть к ее врагам. Аудитория дрожит от восторга, негодует от возмущения.

Но что все реже становились часы ясного сознания, что у себя дома он почти всегда болен, и для того, чтобы застать его владеющим собою, надо идти к нему как можно раньше утром.

Так мы и сделали. Одна из его последовательниц повела меня к дому, где жил Мост, часов в 9 утра. Дорогой она говорила, как нуждается Мост, с каким трудом агенты его собирают для него средства к жизни и что только благодаря неутомимым заботам его самоотверженной жены он не терпит постоянной нужды. Говорила, что хотя последователей анархизма и не много, но что из любви к личности Моста они ежемесячно жертвуют известную сумму, чтобы дать ему возможность издавать маленькую газету.

Она была единственным содержанием духовной жизни человека, привыкшего к широкому общению с публикой; в ней еще звучал отголосок того мощного слова, что некогда поднимало настроение всех приниженных, пригнетенных тяжелыми бедствиями подневольной жизни.

Свидание мое с Мостом было недолгое, но оно оставило впечатление. Полубольной человек оживился, и видно было, как много бурных чувств и мыслей спешило вырваться из его измученной души. Но мы плохо понимали друг друга: я еще совсем мало говорила по-английски и совсем отвыкла от немецкого.

Наше личное знакомство дало бы мне очень мало, если бы мне не удалось прочесть его автобиографию, написанную по-немецки просто, ясно, без всяких прикрас.

Признаюсь, я не могла ее дочитать, до того невыносимо болело мое сердце, переживая мартиролог бедняка рабочего, *всю свою жизнь отдавшего служению правды*, защите

таких же страдальцев тружеников, каким он был сам. Ребенок совсем бедной семьи в немецкой Швейцарии, он потерял мать в раннем детстве. Отец снова женился, и день его свадьбы был фатальный для восьмилетнего мальчугана. Пьяные гости напоили и его пьяным и только на другой день вытащили его из-под стола, больным, простудившимся на холодном полу.

Щека, на которой лежал ребенок, вздулась неимоверно, боль охватила всю челюсть и виски, плохое леченье оставило мальчика на всю жизнь с раздутой половиной лица (что и меня поразило неприятно, когда я увидала Моста).

Отец-ремесленник рано отдал сына, нелюбимого мачехой, в ученье к другому ремесленнику, где хозяин грубо, безжалостно относился к мальчику, и голодный ребенок попытался вернуться домой, откуда мачеха его снова выжила.

В тяжелой работе, нужде и обидах прошла вся юность Моста, а когда, подросши, он работал по мастерским как специалист-рабочий — он стал протестовать против насилий и эксплуатации над собой и товарищами. Приходилось постоянно менять места заработка, и скоро он прослыл невыносимым человеком.

Он много думал, много читал, и дух борьбы рос в нем не по дням, а по часам.

Схватки с хозяевами приводили к столкновениям с администрацией, обращенные к рабочим с горячими речами, а порой и воззваниями — к арестам и тюрьмам. Побывав во всех почти тюрьмах Швейцарии,— жизнь там стала невозможной,— Мост перебрался в Германию.

Уже опытный пропагандист-анархист и писатель, он сразу занял видное положение в рабочей среде, а потому и здесь короткие месяцы свободы чередовались с долгими годами тюрьмы. В общем он отсидел по разным местам заточения не меньше двадцати пяти лет.

И всегда без средств, без защиты, без помощи.

Поистине гранитный характер, подобный горам его родины. Чем сильнее становились преследования и мучения — тем жарче горел огонь, закалявший неустрашимую душу.

Ни одного светлого, ни одного счастливого дня для себя лично; ни одного стона, ни жалобы, вынося на себе ненависть и адскую злобу людской тирании.

Глубокое уважение, нежную любовь вызывала к себе жизнь этого мрачного телом, светлого духом героя.

Был еще раз случай встретиться с ним, и он искал этого случая, но посредствующие помешали состояться этой встрече так, как я этого желала.

Мост, измученный физически до мозга костей, душевно исстрадавшийся, развенчанный кумир толпы неблагодарной, умер в месяцы нашей революции пятого года.

Его нельзя забыть, его не надо забывать.

IV

В марте 1905 года я заехала в Лондон, чтобы еще раз повидаться со своими товарищами-друзьями.

Надо было спешить в Россию, где разгорались события, предвещавшие давно жданную революцию. Всегда нелегальная, я всегда была наготове встретить для себя наихудшее, и хотелось еще раз повидаться с теми, с кем связывало дорогое прошлое, полное веры и самоотверженности. Много и новых лиц, на достоинства которых смело можно было опереться, но старая гвардия формировалась в весенние дни, дни пробуждения русского общества, и на всю жизнь пропиталась ароматом чистой и нежной любви взаимной, взаимным пониманием и доверием.

Опять я приютилась в доме Чайковского, без устали работавшего и на семью свою и на партию, выполняя точно и успешно все ее поручения. С ним отправилась к Кропот-

киным и все вместе к Серебряковым, где и состоялся наш семейный банкет. Говорили о российских событиях, так много обещавших. Петр Алексеевич очень хотел послать в Россию свою семнадцатилетнюю дочь Сашу, чтобы она узнала родину отца, чтобы была очевидицей усилий и борьбы, рождавших освобождение от ненавистного ига.

Он пытался взять в русском посольстве паспорт и разрешение въезда в Россию и получил отказ.

Маленький, интимный банкет не был оживленным.

Товарищи, очень давно оторванные от родины, ждали от меня определенного отношения к событиям и планов на ближайшее будущее, а я, как упряжной вол, знала всегда одно, а именно, что надо везти и непременно когда-нибудь довезешь до цели.

Уверенность в скором надвижении революции была безусловная, но когда оказывалось, что приходится еще ждать и ждать, я принимала неудачи как неизбежность и, ничуть не смущаясь, продолжала работу тем усерднее.

Высказывать свои взгляды и мнения на данные события не любила, зная, насколько, обыкновенно, желают услышать суждения непреложные, уверения категорические по отношению к событиям, их безошибочную оценку. А кто в состоянии это дать?

Опыт нас учит, что каждое отдельное событие зависит от множества привходящих условий, то неуловимых, то непредвиденных; и безусловно признавая правильность направления линии общего хода событий — надо всегда быть готовым к неожиданным и, временно, отрицательным результатам, как следствию случайных событий. Притом завзятый революционер так страстно дорожит каждым шагом вперед к цели, что ревниво оберегает его от выражений сомнений, недоверия. Лучше молчать и носить в сердце своем трепетную, горячую надежду, чем подвергать ее критике других, даже близких. И я замалчивала свои ожидания, хотела слышать мнение Петра Алексеевича, ждала его совета, указания. Напрасно. Он садился рядом со мною, говорил: «Ну, как ты думаешь, сумеет ли ваша партия воспользоваться таким большим подъемом духа всего населения, таким бессмысленным поведением правительства?»

— Партия наша мала по отношению к пространству России, к численности ее населения. Конечно, она будет напрягать все силы свои. Ну, а ты как думаешь, Петр, как лучше теперь действовать? С кем надо работать?

— Как тебе сказать... должны бы работать все слои общественные, ведь все заинтересованы. Нужна солидарность...

Он развел руками и кротко смотрел в глаза.

— Что должно бы быть — того нет, Петр, все работают на свой лад каждый, ты вот скажи, как бы ты поступал там на месте.

— Видишь, ваши организации стесняют вас самих, и особенно стесняют крестьян и рабочих. Они ждут указаний от комитетов, им не дают свободы действий.

Было очень больно и еще сильнее не терпелось в Россию, на поле битвы. Там виднее будет.

Перед отъездом была еще раз у Кропоткиных, и захотелось мне посмотреть его святилище, кабинет, где он столько лет работал, где излил перед человечеством свою прекрасную душу, свой благородный ум, всегда устремленный к возможности братского международного счастья.

Мы поднялись по узенькой крутой лесенке без перил, ступили на крошечную площадку, а с нее вошли в светелку под самой крышей, напоминавшую келью отшельника, отдавшегося науке.

По стенкам полки, нагруженные книгами; книги, бумага на столе из белых досок, а перед ним соломенное кресло; с правой стороны черная доска на треножнике, и на ней мелом нарисовано очертание озера.

— Это, видишь ли, озеро в восточной Монголии, завтра буду делать доклад в Гео-

графическом обществе о происхождении водных бассейнов в северо-восточной Азии. Придется и там рисовать...

Постояли, поговорили, сидеть было не на чем и негде, все кругом было завалено книгами. Выходя, я заметила дверку на площадке и сунулась туда. Чуланчик был заполнен сверху донизу изданиями разных брошюр, написанных Петром Алексеевичем, в том виде, как вышли из-под печатных и брошюровальных станков. Были последних годов, были и ранних. Глаза мои разбежались, и я с укором спросила: «Зачем же ты у себя оставляешь, зачем не отправляешь в Россию?»

— Это не так легко, как ты думаешь. Приходится ждать оказий, а они редки, и берут понемногу...

Когда мы спустились вниз, Софья Григорьевна сказала:

— Надо бы с вами посетить Луизу Мишель, она живет на окраине Лондона. Часто прихварывает. Она будет рада вашему посещению.

И мы решили ехать немедля. Ехали на земле, ехали под землей, на машинах и на лошадях. Дорогой Софья Григорьевна говорила:

— Очень постарела Луиза, а все такая же энтузиастка, какой была. Она теперь не одна живет. Ведь ей запрещен въезд во Францию, без особого разрешения она не может туда показаться. Но здесь с ней поселилась одна французская работница с братом-работником, им поручено оберегать здоровье и маленькое хозяйство Луизы. Может быть, они недостаточно добросовестно относятся к ее интересам, но она такая любящая и снисходительная душа, что не может не верить в тех, кто близок к ней. Средства собираются друзьями Луизы, но в очень скромных размерах. Анархисты все люди бедные. Луиза очень любит животных, в ее комнате помещаются собаки, кошки, птицы, и все ее знают и только ее одну да ее компаньонку слушаются, а посторонних в комнату не впускают, прямо звери. У нее к ним слабость, надо же и ей чем-нибудь забавиться. Вся жизнь сплошное лишение. О, если бы только лишения. Сколько обид, клевет, надругательства она претерпела. Это святая женщина.

V

Перед домом, где жила Луиза Мишель, расстилалась зеленая, ярко-зеленая лужайка, и воздух был чистый, загородный. Много света, далекие пространства и тишина полная, миролюбивая. Небольшой, но все-таки многоэтажный дом был облит ярким солнцем, такая редкость в Лондоне.

Нам скоро отворила дверь девушка-француженка и побежала наверх позвать Луизу.

Приемная комната была побольше кропоткинской, и в ней стоял рояль и мягкая мебель. С благоговением ожидала я встречи с героиней Коммуны 1871 года.

Она вышла к нам, небольшая седая старушка, вся светлая, лучезарная. Ни следа на ней пройденных мук, пережитых за себя и за близких, потерь безвозвратных, непрестающих гонений. Меня она приняла как бы давнишнего знакомца, мы думали и говорили на одном языке, но мне хотелось слышать от нее самой о том, как она провела свою каторгу во французской Кайэне.

— Меня совсем мало мучили,— начала Луиза Мишель полушутя,— но вот мои товарищей...— она остановилась на минуту, лицо покрылось страдальческой тенью, голос задрожал.— Да, их мучили и их приходилось там хоронить. Всегда в цепях, всегда на тяжелой работе, без теплой пищи, без теплой одежды и в холод, и в дождь. Они страдали, но умирали коммунарами, какими сражались на баррикадах. О, они остались героями... А мне не так страшно жилось. Под конец я даже могла давать уроки и жила сносно. Если бы всем им так жилось, они были бы живы.

— Где вы потеряли жениха своего, Луиза?

— Еще на баррикадах. Мы рядом сражались, а когда он пал мертвым, я продолжала бороться и за него.

Ласковые глаза Луизы заблестели ярким огнем.

Она встала, быстро повернулась к роялю...

— Хотите, я спою «Марсельезу».

— Очень хочу, спойте, спойте.

Слабым голосом, но отчеканивая каждое слово, пела Луиза Мишель куплет за куплетом.

Мы слушали едва дыша, так не хотелось проронить ни слова, ни звука ни от ее голоса, ни от ее аккомпанемента, подчеркивавшего аккордами особенно яркие слова.

Было глубоко трогательно и было изящно красиво.

Кончила, улыбнулась и как будто стряхнула с себя облако тяжелой грусти, опять стала ясная, лучезарная.

— Я ведь не одна живу, кроме Мари у меня есть большое семейство, там наверху. Мари, покажите нам самых интересных членов семьи.

— О, да, я своих красавцев покажу, таких редко где можно видеть.

Высокая, здоровая девушка, видимо, сознававшая себя вполне равноправной хозяйкой, поднялась наверх и скоро спустилась не одна, а с двумя котами, под каждой мышкой по зверю. Глаза их горели, как свечи, темная пятнистая шерсть поднялась дыбом, и только хвосты не обнаруживали гнева, потому что их совсем не было.

— Это бесхвостая порода кошек с острова Уайта,— пояснила Мари.— Они у нас дикие, не выносят чужих, бросаются на человека, бьются в окна.

Я с ужасом смотрела на больших котов, уже терявших терпенье под давлением сильных рук Марии, и просила ее держать их крепче и, еще лучше, унести их.

И сейчас не могу вспомнить о них без неприязни.

Но Мария только рассмеялась и отправилась наверх за другими членами семьи. Минуты через две она спустилась вдвоем. Перед собой, держа за передние лапы, она вела огромного пса ярко-красной шерсти, волнистой и нежной, как шелк.

Кроме сверкающих глаз, собака показывала белые острые зубы и вся дрожала от злости.

Я умоляюще смотрела на Луизу Мишель и сама готова была дрожать от страха.

— Довольно,— шептала я,— довольно. Мария, пожалуйста, довольно.

Мария опять засмеялась и повела своего дикого красавца обратно в зверинец.

А весь зверинец, и звери и птицы, жили в одной комнате с Луизой и спали с ней на кровати. Я едва верила ушам своим. Спать на одной кровати с таким зверем, сколько мужества надо.

— О, нет,— говорила Луиза,— никакого мужества, надо только их любить. Животные чрезвычайно чутки к добру, не меньше людей. И если бы не предубеждения, не предрассудки, какими начиняют с детства, не было бы ни вражды, ни злобы.— Луиза стала рассказывать на эту тему о пережитых ею случаях.

«Лет десять тому назад я была в Бельгии и там выступала в небольших собраниях. Духовенство, конечно, писало и говорило против меня; изображало безбожной злодейкой.

Не знавшие меня люди — а знали меня очень немногие — верили всем клеветам и относились ко мне враждебно.

Раз, когда я в наемной карете ехала из одного города в другой, на дороге встретилось несколько человек студентов. Они знали, что это я еду, и один швырнул камень в окно, разбил его и стал ругаться.

Извозчик завопил, а я попросила его остановиться и подозвала студента к окну. «За

что вы так поступилн со мной н с моим кучером? Меия вы оскорбилн, а ему причниилн убыток».

— За то, что вы безбожница и террорнстка.

— Молодой человек, вы это только слышалн, но вы этого не знаете н уже позволяете себе оскорблять женщнну, старую и одииокую. Разве так поступают те, у кого есть Бог и кто знает заповедь его любнть блнжнего как самого себя. И причем же тут стекла кареты, за которые придется платнть бедному человеку.

Эффект вышел неожнданиый.

Студеит стал проснть нзвннення, сконфуженый, полиый раскаяиня, а кучеру уплатил за стекла, сколько тот пожелал. О да, людн любят правду н тех, кто ее говорнт не сердясь. Я миого раз нспытала это н во Фраиции и в Кайэие.

Ведь нас преследует ие иарод, а его правнтелн, его духовенство, учнтеля.

Мие запрещен въезд во Фраицию, иадо каждый раз усиленно хлопотать о разрешеннн побывать на юге.

Там у меня блнзкне людн, хочется повидаться, еще раз посмотреть мнлую родину».

Говоря о Францни, оиа опять проснялa н еще больше напомннала добрую фею, готовую обласкать весь мнр.

Это было едннствеииое мое свиданне с Лунзой Мишель, и ие больше двух часов мы провелн вместе, но я много благодарна Софье Грнгорьевне Кропоткиной за то, что она дала мне возможиость воспрннять живой образ души, умевшей пронестн через все мучительиые испытання силу веры н свежесть чувств своих до последнего дня, до последиего вздоха на земле. На прощаиье она подарила мне портрет свой, прекрасио отражавшнй ее благородное лнцо, выражавшее мудрость без претензнн н доброту без сентнментальностн.

Ведь оиа прнзнавала активиую борьбу со злом н сама подиимала на иего руку.

Вскоре по возвращеини моем в Россню я прочла в газетах нзвестне о ее смертн.

VI

В марте 1917 года уже многне эмнгранты вернулнсь в Россию.

Кажется, в начале апреля н я уже проехала свой путь от Минусииска до Петрограда, где меня так дружелюбио н ласково встретил Александр Федоровнч Керенскнй, уже обремененный громадной ответствеиностью, ио всегда ровный, всегда справедливый, беспрнстрастный к недругам н к друзьям.

Жнвя в Сибнрн, я знала о его деятельности как присяжного повереииого, всегда летевшего на защнту попраниых прав рабочего народа, в каком бы конце бесконечного н бесправиого государства иашего нн повторялнсь безобразия и жестокости, чиинмые царской адмнннстрацней.

Следила за его речами в Думе с большнм ннтересом, а когда ои прнезжал на Леиу, чтобы разобраться в прнчннах расстрела двухсот рабочих на золотых приисках, и затем возвращался в Россню — он проездом навестнл меня в Киренске. Виделнсь мы недолго, но дружба наша закрепилась навсегда.

И я с благодарностью н с гордостью вспомннаю его всегдашнюю обо мне заботу.

В Петрограде он поселил меия в своей квартире, н мы вместе ожндали прибытия иа роднну то одного, то другого нзгнанника, а между ннми особеиио тепло Петра Алексеевнча Кропоткнна, сорок лет не видавшего Росснн, не перестававшего всегда любнть ее, всегда тянуться к ней, как к родной матерн.

Керенский встречал лнчно всех возвращавшнхся борцов. В ннх он видел иовые силы, готовые и впредь служить своему народу, готовые отдаться его возрождеиню так же нскренно, бескорыстно, как сам это делал.

Но в Петре Алексеевиче мы ждали патриарха революции, прошедшего опыты европейских народов, и в бескорыстии его преданности уже, конечно, никто не мог сомневаться.

Все слои общественные одинаково доверчиво, с одинаковым почтением относились к князю-анархисту, никогда не склонявшему своей совести ни перед сильными мира, ни перед соблазнами его.

При встрече его я не была, потому что в то время отлучилась в южные губернии, а когда вернулась в Питер — Петр Алексеевич жил на Каменном Острове, на даче, предложенной ему кем-то из его почитателей.

Многие ездили к нему на поклон, многие ждали услышать от него мудрое слово совета; отправилась и я к нему с благоговением в сердце.

И действительно, ничего нет и прекраснее и отраднее, как увидеть человека, пред концом его скитальческой жизни могущего воскликнуть: «Видели очи мои спасение мое, и ныне отпущаещи раба твоего с миром».

Ибо — что бы ни случилось с Россией нашей за последующие годы — революция февраля 1917 года навсегда застраховала ее от возврата к темному прошлому.

И уже одно то, что страшный враг царского престижа, непримиримый анархист Кропоткин торжественно занял свое место среди народа своего, явилось тем историческим пограничным камнем, который бесповоротно отмежевал прогнившие века от новой эры будущего строительства.

Хорошо было въехать в обширный двор светлых зеленых газонов и клумб ярко-красных цветов.

Весело было входить в чистый просторный дом, окруженный сенью высоких, густых деревьев, каменноостровских парков.

Еще лучше было крепко обнять старика, как магнит тянувшего к себе все сердца, все умы различных, часто противоположных направлений.

И он выходил из глубины своего кабинета, светлый и ласковый, усаживался рядом и после взаимных поздравлений и радостных восклицаний пристально смотрел в глаза и спрашивал: «Ну, что?»...

Первый мой приезд к Кропоткину на дачу мы провели в общей беседе, в радостном настроении от свидания в России, от сознания, что великая родина наша вышла решительно из мрака затхлого прошлого и обернулась лицом к новой жизни.

К моей радости, с первого же момента революции, примешивалось чувство осторожности и выжидания. Мне была известна неопытность нашего народа в делах политических, и его спокойствие и благоразумие первых месяцев не исключало для меня возможности бурных проявлений нетерпения и недоверия. Понимала я также, что притихшие наружно поработители свобод и прав этого народа ждут удобного часа, чтобы поднять свой голос и руку свою на массы, оживающие от долгого сна. И на душе не было ни спокойно, ни ясно. А Петр Алексеевич еще только разбирался, осматривался и больше расспрашивал, чем говорил. Расстались мы бодро, сомнений не высказывали, наоборот, говорили с уверенностью о предстоящих работах во всероссийском масштабе и дивились необъятности предстоящей задачи для тех, кто всеми силами способствовал пробуждению народного сознания и видел в революции не цель, а средство к осуществлению условий, так много раз повторенных Временным правительством в первые же дни революции 1917 года, марта 1-го. Да, первые дни этой революции и по содержанию своему, и по форме представили миру еще никогда не виданное явление, когда во всей массе бесчисленного народа обнаружилась одновременно и повсеместно солидарность чувства и разума. И если это явление в его стихийном виде не могло противостоять натиску влияний умышленных искажений, с одной стороны, и жадным усилиям вернуть старые нормы жизни — с другой, можно с уверенностью сказать, что оставленная в покое массовая психология удержала бы за собой значительную долю своего благоразумия и своей

нскоииой теидеиции к жизии, осиоваииой иа иачалах справедливости. Увы, уже летом семнадцатого года явственно сказались обе враждебиые силы и справа и слева, и растущее в иароде иедоверие к своим собственным, несомненным завоеванням. Учащающиеся иедоразумения и иедовольства уже танлн в себе признак того, что осуществлеиие народиых чаяиий пойдет извилистыми путями и с большими претковениямн. Легко понять тревогу, что иаполняла сердца тех, кто уже приветствовал в руках своих новорождениое спасенне роднны н теперь с трепетом ожидал роста божествеииого младеица. Ни днем, ии иочью не покидала тревога за дальнейшую участь его.

И неудивительио, что, теряясь в загадках беспримериых условий жизни, охвативших целую четверть мира, н сознавая себя действующим зрнтелем этих сложиых условий, люди, прнвыкшне к ответствеиному служеиию человечеству, искали уясиеинй и подкреплеиий, где только могли. Близкие, живущие вместе, зиали взгляды и требоваиия друг друга. Не всегда соглашаясь, иередко исходя из разиых точек зрения — кто нз государствеииой, т. е. принимая во вииманне весь комплекс сложного н запутаииого иаследня, оставлеиного иам веками; кто становясь на точку зрения основ массовой психологии, имевшей также позади себя всю прошлую нсторию русского иарода. Трудно было прнйтн к полному соглашеиию, так как миого зависело от того, в какой среде, в какой сфере деятельности прошла жизнь того и другого.

Мы, жившие всегда в России, хорошо зиали обоюдиые взгляды и мысли, ио вот приехал свежнй человек, беспрнстрастный философ-созерцатель, пусть ои скажет свое слово, подаст мнение, соображение, критику.

И в иачале июля, вероятио, я сиова паломиичаю иа Камеиио-островский и через ярко цветущий двор бегу в зиакомую полумрачную приемную.

Все тот же ласковый прием, тот же шепот беззубого рта и ясиые вопрошающие глаза.

— Ну что, как? Все партийные треиия — это чистое несчастне. Ты ездила иедавно... Расскажн, как в провинцин, что говорят крестьяне, рабочне... Ты подожди, я позову Софью Григорьевиу и мужа Саши... им тоже хочется послушать.

Вечно иелегальиая, привыкшая к осторожиости, я почувствовала иарушеиие той серьезиости, какую сама придавала предстоящей беседе, и моя иадежда допытаться взглядов и чаяний самого Петра Алексеевнча сразу поблекла, охладела. Было очевидио, что ои еще ие пришел к определениым выводам, сам еще присматривался к событиям н ие мог ие заметнть необычайиой сложности момента. Давиишиее иедовольство иародиых масс, затяжиая безумиая войиа, повсеместиое обиищание, иаследие позориого поведеиия ушедшего правительства и всей бюрократнн, закнпающнй революциоииый котел и целый рой песьих мух, в виде большевиков, подливающнх масло в огонь,— все это создало клубок безвыходиых затрудиенй, неустранимых никаким решительиым мечом. Анархическое состояиие страиы было ие за горами, ио и иичего хорошего оно не предвещало.

Кропоткин прекрасно поннмал это, но протнвоядия иаступающей болезни, как н все мы, не нмел н, очевидио, нзбегал сказать это громко. Я оставила его, н на этот раз иичем ие пополиив бездну своих жестоких опасеиий.

Россия кружилась с иеимовериой быстротой. Время было упущено, н уже ие предвиделось возможности прностаиовить всеобъемлющнй напор, ие уступив сразу, тут же, главиому требоваиию крестьяиской России — передачи всей землн в ведеиие земледельческого иаселеиия, ие дожидаясь постановления Учредительиого собраиия.

Слишком миого голосов в «сферах» противилось такому постаиовлеиию. Старые эгоистическне привычки преодолевалн расчеты разума. Моральиая близорукость мешала рассмотреть грозиую действительиость, имущие классы точно сами стремились вогнать народиые иетерпеливые массы в состояние недоверия, озлоблеиия, мстительности.

Я родилась в деревне, в ней провела всю юность свою, из 75 лет прожила пятьдесят лет исключительно среди крестьян, рабочих, солдат, арестантов, ссыльных, сектантов, нищих, бродяг и опять крестьян и т. д. и знала их простую, несложную, но устойчивую психологию, устойчивую в своих требованиях справедливого к себе отношения; знала также, в чем должна выразиться справедливость этих отношений. Знала и то, что терпение масс на исходе и что каждый день замедления укрепляет подозрительность и недоверие растет.

И я все более убеждалась в том, что интеллигенция, живущая вне близкого соприкосновения с крестьянами и рабочими, не проникшая в их симпатии и верования, совсем не знает сущности души простого народа, совсем не улавливает тех изменений в народном миросозерцании, какое мне пришлось наблюдать и изучать за полвека, за всю жизнь мою, даже включая детство.

«Государственные» люди уверены, что они *все* лучше знают. Это огромная ошибка. Среди простого народа есть те же государственные головы, т. е. умы, понимающие, насколько необходимо всегда иметь в виду благосостояние всей страны, всего народа; и в то же время обладающие несомненным знанием психологии своего народа. С ними надо говорить, их привлекать к ответственной широкой работе.

Все эти мысли и тогда высказывались и передавались, но они и до сей поры вызывают снисходительные улыбки, и мы видим, как люди, мнящие себя рожденными для власти и порабощения чужой воли, и сейчас смотрят на чернь, на рабочую силу, как на подмостки своего будущего величия. Даже после урока, данного им четырехлетним анархо-террористическим режимом на протяжении всего Российского государства.

VII

Снова ездила по России, звали то в ту, то в другую губернию по делу выборов в Учредительное собрание, и за эту поездку я насмотрелась на приемы большевистских агентов, не только демагогические, но и безгранично нахальные. Вот тут я испытала свое бессилие. Меня, привычную к правдивому, честному отношению к народу, ошеломляла ложь, подтасовка, наглая лесть и самая грязная инсинуация, с какой подосланные, платные «ораторы» выскакивали на всех собраниях и «переманивали» одураченных слушателей на свою сторону.

Но и та часть публики, что улавливала фальшь и корысть в речах псевдозащитников классовой борьбы и ее моментального применения, и та часть вдумчивых крестьян и солдат сидела, печально понурив головы, предчувствуя недобрые результаты подобного экстаза и треска, и стука в открытую дверь. Ведь все было в руках народа: и земля и свобода, не было только терпения и твердости, чтобы удержать их за собой. Доверия не было, и откуда было ему взяться.

С тяжелым сердцем возвращалась я в Петроград, а за несколько часов до выезда я уже знала о взятии Зимнего дворца и последствиях. Хотелось узнать подробно об участи оставшихся там, и благодаря сообразительности сопровождавшего меня холодного грузина-офицера я благополучно пробралась в город и прожила там около двух месяцев; зная, что большевики меня ищут, я потому была весьма осторожна. В декабре я переехала в Москву, благодаря Н. В. Чайковскому — тоже благополучно, и поселилась в укромном доме, где жила моя старая соратница, С. А. Иванова. Скоро я узнала, что недалеко от нас поселился Петр Алексеевич, тоже покинувший Питер, и что его пока что оставили в покое.

Но идти к нему я не решалась, чтобы не навлечь слежку, и только дала знать о месте своего жительства. Это было уже к концу зимы, и он вместе с Софьей Григорьев-

ной пришел навестить меня. Ему трудно было ходить, особенно в теплой одежде: одышка мучила его, сердце постоянно грозило припадком.

Встретились мы радостно, точно только что выпущенные из тюрьмы, и стали осведомляться, что делаем. И в Питере и в Москве я продолжала писать в газетах за своей подписью, писала и воспоминания свои. Петр Алексеевич собирался выпускать отдельными листками изложение своих взглядов на предстоящий федеративный строй Российского государства. Он говорил, что есть у него сотрудники, что издательство налажено и скоро должно появиться в свет. Я радовалась тому, что вот раздастся голос, который обратит на себя внимание молодежи и направит умы на обсуждение вопросов широкого масштаба, а главное, заставит молодежь,— тогда так жадно бросившуюся на применение анархического учения наизнанку,— обратиться к первоисточнику этого учения и получить от него правильное толкование искаженной теории. Разговор на эту тему затянулся, и восстановился пред нами живо, ярко предательский переворот в октябре 1917 года и последовавший за ним позорный Брест-Литовский мир.

Мы глубоко вглядывались друг в друга.

— И как хватило сил пережить все это. Как хватило — не знаю. Ведь я задыхался... задыхался,— Петр Алексеевич понизил голос.— Знаешь ли, была минута, когда я вынул револьвер из стола и положил возле себя... так было невыносимо жить. Только страх подать пример малодущия остановил меня...

Я ужаснулась, но и вполне поняла его. Все мы проводим кошмарные дни и ночи, и то, что переживалось в душе под ударами, постигшими нашу чудесную, прекраснейшую в истории человечества революцию,— не может быть превзойдено никакими мучениями.

Побеседовали мы, Софья Григорьевна угостила нас чаем, и, когда расстались, Кропоткины согласились с тем, что лучше мне к ним не заходить, а они еще наведаются, как только будет ясный солнечный день.

Несмотря на мое затворничество, ко мне приходило немало друзей, знакомых и вновь представляемых интересных лиц. Пришел ко мне и Артюр Булард, шеф Американского информационного бюро в Москве. Я с ним подружилась в мой первый приезд в Америку, потом переписывалась из ссылки; посетил он меня в Петрограде и теперь, узнав мой адрес от зятя Кропоткиных, служившего переводчиком в миссии,— захотел повидаться. От него я узнала, что американский посол м-р Фрэнсис в Москве, что ведет переговоры с большевиками, но что определенных взглядов и решений не высказывает. Мне показалось, что и сам Булард либо не имеет еще определенных отношений к большевистскому воцарению в России, либо питает склонность считать его скорее благотворным для России, чем вредным. Во всяком случае, эта встреча навела меня на мысль изложить положение вещей в России в его настоящем виде и подать это изложение на рассмотрение м-ру Фрэнсису. Записка моя была готова, когда ко мне снова зашли Кропоткины, в квартиру С. А. Ивановой. Это было в марте или апреле 1918 года, когда московские распорядители переселили Петра Алексеевича уже на третью квартиру.

Он прослушал мое обращение к Фрэнсису и одобрил его. Тут же я сказала Петру Алексеевичу, что с нетерпением жду появления его листков.

— А я передумал. Вместо листков хочу издавать книгами. Можно гораздо глубже и цельнее изложить теорию федеративного начала в международном строительстве. И мои сотрудники с этим согласны.

— Долго ждать придется, а время горячее. В листках ты бы мог высказываться и по текущим вопросам о жизни в России.

— Это так, но тогда потеряет свою стройность изложение главной мысли; а ведь именно ее я хочу уяснить, запечатлеть в умах...

Какая мысль, почему такое исключительное значение придавал ей Петр Алексеевич, я так и не уразумела. Еще раз я видела, как далеко ушел от нашей суетной повседнев-

2—630

ной жизни мощный ум Кропоткина-анархиста и как тщетно вовлекать его мысли в сторону повседневной злобы. Он жил на много лет впереди.

Это было последнее наше свидание. И никого из Кропоткиных не видала с тех пор, как они перебрались в дом Трубецких на Новинском бульваре. Но каждый раз, когда проходила мимо, я жадными глазами всматривалась во двор и в окна барского дома оригинальной архитектуры. А ходила я по Новинскому бульвару в апреле, мае и в начале июня к Архиерейским прудам, где вблизи жил — так же нелегально, как я, но с несравненно большим риском — Александр Федорович Керенский, приехавший в Москву по своему непременному желанию и выехавший оттуда за границу по настоянию друзей и товарищей в том же июле 1918 года.

Раза два и он посетил меня в моем тайнике и вообще позволял себе ходить открыто по улицам. Раз даже собирался отправиться в собрание соц.-revol. по случаю партийного съезда, когда явились предупредить, что на заседание явилась полиция, все переписаны и кое-кто арестован. Еще раз случай спас его от неминуемой гибели. Он оставил Москву в июне, я выехала на Урал 1 июля. У него были надежные провожатые в лице сербских офицеров, давших ему возможность благополучно добраться до английского флота на Ледовитом океане; у меня был надежный молодой товарищ, еще по ссылке на Лене, который, рискуя своей головой, провез меня через все мытарства фронтов до Омска, откуда уже можно было свободно двигаться по всей Сибири и до Самары.

Из Москвы получались редкие вести. Передавали, что Петр Алексеевич переселился в Дмитров. Я поняла, что это признак невыносимости жизни в Москве, под покровительством большевистского надзора. Поняла и то, что даже при всей самоотверженности жены его Софьи Григорьевны, не щадившей своих сил в деле ухода за любимым человеком, несмотря на все ее связи, невозможно создать сколько-нибудь удовлетворительные условия жизни тому, кто всю свою жизнь отдал человечеству,— злое дыхание уродливой, заразной силы возьмет еще верх, ибо не вынесет рядом с собою присутствия совести, не знавшей ни компромиссов, ни уклонений, ни сомнений в правах каждого человека на жизнь свободную, честную.

Светлая душа Кропоткина остается с нами. Его труды, проникнутые верой в человека и любовью к нему, будут воспитывать в духе правды-справедливости наши молодые поколения. Могила, где покоится его прах, явится сборным местом для всех, чтобы также глубоко прочувствовать смысл жизни человека, как это чувствовал, понимал и олицетворял сам он, Петр Алексеевич Кропоткин.

13 марта 1921 г.
Париж.

Е. Ф. Джанумова

Мои встречи с Григорием Распутиным

Из дневника

15 марта 1915

Неожиданно пришла беда. Получила письмо от сестры. Она пишет: нашу мать хотят вырвать из семьи и отправить в далекую ссылку. Не могу себе представить ее на чужбине совсем одну. Она ведь уже старая, нуждается в уходе и заботах. Какая жестокая и непонятная вещь война. Все приносится в жертву чудовищу Молоху. Вспомнили вдруг, что мать наша германская подданная, она, родившаяся в России, и хотят заставить ее покинуть Киев, где она прожила десятки лет. Мы все убиты горем. Такая же участь грозит московской сестре. Сослали ее мужа. Её с детьми пока оставили, но каждый момент могут выслать. Виделась вчера с Марьей Аркадьевной. Она советует обратиться к Григорию Распутину, с которым знакома. Он должен на днях приехать в Москву. Остановится у ее знакомых Решетниковых. Я много слышала о нем, говорят, он управляет Россией, все зависит от него, все судьбы государства Российского в его руках. Без его ведома не решается ни один государственный вопрос. Как это странно, какая-то сказочная судьба, ведь он простой невежественный мужик. Ничего не понимаю. В чем его сила? Он «необыкновенный», говорит моя знакомая, и всемогущий. Что же? Пусть познакомит. Если даже ничего не выйдет, любопытно взглянуть на него.

25 марта

Ну и день сегодня был. С утра Марья Аркадьевна позвонила мне по телефону: «У меня Распутин! Приезжайте завтракать». В 12 я уже была у нее. Когда я вошла, все сидели за роскошно сервированным столом. Распутина я узнала сразу, по рассказам я имела представление о нем. Он был в белой шелковой, вышитой рубашке навыпуск. Темная борода, удивленное лицо с глубоко сидящими серыми глазами. Они поразили меня. Они впиваются в вас, как будто сразу до самого дна хотят прощупать, так настойчиво проницательно смотрят, что даже как-то не по себе делается.

Меня усадили рядом. Он пристально и внимательно поглядывал на меня. Потом вдруг без всяких предисловий протянул стакан с красным вином и сказал: «Пей!» Я уже и раньше обратила внимание, что он всем — и старым и молодым — говорит ты, но все-таки, когда он обратился ко мне, я удивилась. Так это странно прозвучало: «Пей!», но дальше пришлось еще больше изумляться. «Возьми карандаш и пиши!» — командовал он. Право, я не шучу, он так и сказал, привык, очевидно, распоряжаться. Ко мне потянулось несколько рук с карандашами и листочками бумаги. Ничего не понимая, я машинально взяла в руки карандаш.

— Пиши.

Я стала писать.

— Радуйся простоте, горе мятущимся и злым — им и солнце не греет. Прости меня, Господи, я грешная, я земная, и любовь моя земная. Господи, творяй чудеса, смири нас. Мы твои. Велика любовь твоя за нас, не гневайся на нас. Пошли смирение душе моей и радость любви благодатной. Спаси и помоги мне, Господи.

Все почтительно слушали, пока он диктовал. Одна пожилая дама, с благоговением глядевшая на Распутина, шепнула мне: «Вы счастливая, он вас сразу отметил и возлюбил».

— Это ты возьми и читай, сердцем читай,— сказал он.

Потом стал разговаривать с другими.

Заговорили о войне.

— Эх, кабы не пырнули меня — не бывать бы войне. Не допустил бы я государя. Он меня вот как слушается, а я бы не дозволил воевать. На что нам война? Еще что будет-то...

После завтрака перешли в другую комнату.

— Играй «По улице мостовой...»,— внезапно, без всякой связи с предыдущим скомандовал он.

Одна из барынь села к роялю и заиграла. Он встал, начал в такт покачиваться и притоптывать ногами в мягких сапогах. Потом вдруг пустился в пляс. Танцевал он неожиданно легко и плавно. Как перышко носился по комнате, приседая и выбивая дробь ногами, приближался к дамам, выманивая из их круга партнершу. Одна из дам не выдержала и с платочком выплыла ему навстречу.

Кажется, никто не был удивлен. Как будто этот пляс среди бела дня был самым обычным делом.

— Ну довольно,— вдруг оборвал он и опять неожиданно обратился ко мне.— А ты, что же, по делу пришла? Ну пойдем, говори, что надо-ть, милуша?

Он удалился со мной в соседнюю комнату. Я изложила ему свое дело. Он задумался, потом сказал:

— Твое дело трудное. Сейчас и заикнуться о немцах нельзя. Но я поговорю с ею (это слово он произнес после паузы с особенным ударением), а она с им потолкует. Оно, может, и выгорит. А ты должна ко мне приехать в Питер. Там и узнаешь.

В передней, прощаясь с Марьей Аркадьевной, я просила ее приехать ко мне.

— А ты, что же, меня не зовешь? Я приеду.

— Конечно приезжайте. Я не звала, думала, вы очень заняты. Приезжайте к завтраку. Буду ждать вас завтра.

— Ладно. Побываем у московской барыньки.

Он говорил сильно на «о» — м-о-о-сковской. Протяжно и певуче.

Со странным чувством шла я домой. Так вот он какой, властелин России, в шелковой косоворотке! Чувство недоумения еще усилилось. В ушах звучали забористые звуки «По улице мостовой...». Мелькала бородатая фигура, развевались кисти голубого пояса. Четко и дробно выбивали такт ноги в мягких сапогах из чудесной кожи, какого-то особенного фасона. Глубоко сидящие глаза настойчиво вонзались в меня, и я не знала, что думать.

26 марта

Я очень устала за день, но непременно решила все записывать. Мое неожиданное знакомство с Распутиным так необычно. Мне хочется на страничках дневника хотя кратко все записать. Утром меня разбудил телефон. Беру трубку. Слышу заразительный смех Марьи Аркадьевны...

— Распутин ночевал у меня на квартире и с утра волнуется, собирается к вам. Он пришел ко мне просить духовитой помады, п-о-мады, знаете, как он на «о» — дух-о-витой. И ножниц для ногтей. На мой вопрос: «Зачем?», говорит: «А мы же едем к чернявой красотке». Ха-ха-ха, заливается в телефон Марья Аркадьевна, теперь вы у него просите все, что надо вам. Все сделает. Пользуйтесь.

Я спешно пригласила своих близких знакомых, которым, как и мне, хотелось взглянуть на эту странную знаменитость.

К часу он явился в малиновой шелковой косоворотке, веселый, благодушный. Много разговаривал, перескакивая с одной темы на другую, так же как вчера. Какой-нибудь эпизод из жизни, потом духовное изречение, не имеющее никакого отношения к предыдущему, и вдруг вопрос к кому-нибудь из присутствовавших. Иногда, кажется, и не смотрит на кого-либо и внимания не обращает. А потом неожиданно уставится и скажет: «Знаю, о чем думаешь, милой». И, кажется, всегда верно угадывает. Говорил много о Сибири, о своей семье и деревенском хозяйстве.

— Вот какие руки. Это все от тяжелой работы. Не легка она, наша крестьянская работа.

Странно как-то звучали эти слова за столом, заставленным хрусталем и серебром. В голосе его чувствовалось самодовольство. Он во все стороны поворачивал узловатую руку со вздувшимися жилами.

В это время стали звонить по телефону. Кто-то просил Распутина немедленно приехать на званый обед с цыганами, который устраивали для него богатые сибирские купцы. Марья Аркадьевна заволновалась:

— Ты обещал поехать, нас ждут,— говорила она.

— Никуда я не поеду, мне и здесь хорошо, с дамочками. Скажи, что не поеду.

Марья Аркадьевна так волновалась, что у нее выступили красные пятна на лице.

— Так нельзя, немыслимо. Для тебя люди устраивают пиршество. Цыган пригласили. Все собрались, ждут, а ты не едешь. Ты же обещал. Надо ехать.

Но он настойчиво повторял:

— Скажи, что не поеду. Мне вот надо всем на память словечко оставить. Давайте бумагу.

Марья Аркадьевна вызвала меня в другую комнату и умоляла помочь уговорить его, так как она дала слово привезти его. Мы все начали просить его поехать и, наконец, уговорили.

— Ну ладно, поеду, а только мне и здесь хорошо. Ну, дамочки, берите на память.

Он роздал нам листы слов. Мне он написал: «Не избегай любви — она мать тебе». Одной даме — «Господь любит чистых сердцем». Моей горничной Груше, которая с жадным любопытством смотрела на него: «Бог труды любит, а честность твоя всем известна».

В передней ему подали роскошную шубу с бобровым воротником и бобровую шапку.

— Какая у тебя шуба хорошая,— сказала одна из дам.

— А это мне мои дантисты * подарили.

Он расцеловался со всеми нами. Это тоже его обычная манера при встрече и прощании.

27 марта

Марья Аркадьевна телефонировала, что Распутин уезжает в Петербург и просит меня проводить его на вокзал.

Когда я приехала, он стоял у вагона I класса, окруженный дамами. Его узнали в публике, и вокруг останавливались люди, с любопытством разглядывая его. Мне было неловко подойти к нему, расталкивая толпу, под перекрестным огнем любопытных и насмешливых глаз. Да, известностью он пользуется широкой. К моему крайнему смущенью он обнял меня.

---

* Известный процесс евреев-даитистов, обвинявшихся в том, что они приобрели фиктивиые дипломы зубиых врачей для права жительства в столицах. Они были осуждены, ио по ходатайству Распутииа Николай II аииулировал приговор.

— Приезжай ко мне в Питер, Франтик (я забыла, кажется, сказать, что он прозвал меня «Франтик», переделав мое отчество). Все для тебя сделаю, только приезжай. Помни, если не приедешь, ничего не будет.

Он расцеловался со всеми провожающими и уехал. Что выйдет из этого знакомства? Будет ли толк для моего дела? Посмотрим, конечно, но во всяком случае я не жалею, что познакомилась.

12 сентября

Марья Аркадьевна уехала в Петербург и обещала напомнить Распутину о моем деле. Я получила от него телеграмму с дороги и записки. Вот одна из них: «Радую светом любви етим живу Григорий». Показала их Марье Аркадьевне. Она так же, как и я, ничего не поняла. Смеется, говорит:

— Это вот мы не ценим. А его почитательницы в каждом слове видят тайный смысл. Эти его каракули, которые и разобрать-то трудно, в дорогих шкатулках сохраняются, прикладываются к ним, как к священным предметам, и чем темнее смысл, тем лучше.

Сегодня Марья Аркадьевна телефонировала мне из Петербурга, что «отец», как его называют окружающие, очень обижен на меня. Он ждал меня все лето. Писал, не получая ответа, перестал хлопотать о моем деле. Если я хочу двинуть его, то должна приехать, говорит она.

Я решила съездить в Петербург. Может быть, действительно можно что-нибудь сделать для мамы. Она так мучится в ссылке. Я упрекаю себя за то, что не хочу ухватиться за возможность помочь ей. За это время я два раза была в Питере, но у Распутина не была. Его скандальная известность все растет, и мне, признаться, было страшно снова встретиться с ним. Ведь что делается вокруг него, какие слухи ходят о нем и о его окружающих! Но, может быть, это малодушие с моей стороны. Я отталкиваю от себя помощь и ничего не хочу сделать для мамы и сестры. Решено — я еду.

17 сентября

Я уже в Питере. Остановилась в Северной гостинице, в комнатах Марьи Аркадьевны, так как не было свободного номера. В первый день она просила не звонить Распутину, так как ей нужно было вечером уехать по какому-то делу, а он будет требовать, чтобы мы немедленно приехали. Она ушла. Я осталась одна и лежала с книжкой на диване. Телефон. Спрашивают Марью Аркадьевну. Я сказала, что ее нет. В ответ знакомый голос с певучими интонациями на «о»: «Что это, неужели ты, Франтик? Ты в Питере, а ко мне не заехала, п-о-чему так. Приезжай немедленно, сейчас же. Я жду».

Я не знала, что делать. Одной ехать не хотелось. Позвонила Марье Аркадьевне и сообщила ей о моем разговоре. Она сказала, что теперь делать нечего, придется ехать. Иначе он так разозлится, что из моего дела ничего не выйдет. Она сейчас же приехала, очень взволнованная.

— Ну, теперь начнутся упреки. Он всегда требует к себе исключительного внимания и очень мнителен. Я уж знаю его.

В это время пришел из соседнего номера знакомый Марьи Аркадьевны господин Ч. Узнав, что мы собираемся к Распутину, он начал просить нас взять его с собой. Ему бы очень хотелось познакомиться со «всемогущим старцем», как называли его здесь. Мы согласились, но предупредили, что сначала войдем без него. Он будет ждать в автомобиле. Если Распутин согласится принять его, мы позовем.

Мы поехали на Гороховую, 64. Распутин сидел в столовой между двумя дочерьми, Марой и Варей. Встретил он нас, как мы и ожидали,— упреками: почему я не показывалась. Почему скрыла свой приезд. Когда он злится, лицо у него делается хищным, обостряются черты лица и кажутся такими резкими. Глаза темнеют, зрачки расши-

ряются и кажутся окаймленными светлым ободком. Однако постепенно настроение у него улучшилось, и он развеселился. Расправились морщины, и глаза засветились лукавой добротой и лаской. Удивительно у него подвижное и выразительное лицо. Марья Аркадьевна улучила минуту и сказала, что с нами приехал знакомый, который жаждет познакомиться с ним и ждет его приглашения в автомобиле. Неожиданно он вскипел необузданным гневом. Лицо его пожелтело. Глаза мрачно и зло сверкнули, и он грубо закричал:

— А, так вот почему ты скрывала от меня свой приезд. Ты с мужиком из Москвы прикатила. Хороша. Просить меня о деле приехала, а сама привезла своего мужика. Расстаться с ним не смогла. Так вот ты какая. Я ничего для тебя не сделаю. Можешь уходить. У меня есть свои барыньки, которыя меня любят и балуют. Уходите, уходите,— кричал он и побежал к телефону.

Мы были до того ошеломлены этой грубой выходкой, что сразу лишились дара речи. Бессмысленно стояли и смотрели на него. А он в это время вызвал кого-то по телефону и говорил, задыхаясь, нервно вибрирующим голосом:

— Дусенька, ты сейчас свободна? Я иду к тебе. Ты рада? Ну жди, я сейчас буду.— Повесил трубку и с торжеством посмотрел на нас.— Мне не нужно москвичек, не нужно. Питерские барыни лучше вас, московских.

Обида и злоба душили меня. Я порывисто выбежала в переднюю и, несмотря на все усилия, не смогла сдержать слез. Надевая шубу, не попадая в рукава, я повторяла:

— Никогда нога моя больше не будет у этого грубого мужика. Ничто не заставит меня быть у него.

Мы бросились из его квартиры. Вдогонку он еще что-то кричал нам, но я не разобрала. Волнуясь и плача, мы рассказывали г. Ч. о тяжелой сцене, которую только что выдержали из-за него. Марья Аркадьевна была в отчаянии. Ей очень был нужен Распутин. Она хлопотала об очень важном деле. Но я уже не могла думать о деле, я не могла вынести мысли о нанесенном мне оскорблении.

18 сентября

Каково было мое изумление, когда утром рано в телефон я услышала мягкий голос Распутина: «Дусенька, не сердись на меня за вчерашнее, уж очень я был обижен. Я думал, ты приехала ко мне, а ты привезла с собой мужика. Я тебя так долго ждал. Мне очень обидно и больно было. Я и рассвирепел. Нет, нет, ты не вешай трубку. Выслушай. Теперь я знаю, в чем дело: мне рассказала Марья Аркадьевна. Приезжай сейчас ко мне и брось сердиться».

Я ответила, что не приеду, так как слишком возмущена и свежа обида. Тогда он сказал, что сам немедленно приедет, и действительно, через час он приехал. Был очень кроток, ласков, извинялся, просил не сердиться. Но странно, смущен своим поступком он все-таки не был. И чувствовалось, что он даже не понимает нашей обиды. Что-то в нем до того первобытное, до того чуждое нашему пониманию, что даже сердиться нельзя. У меня даже как-то сразу обида прошла. Хитрый он и умный — это несомненно — и в то же время дикарь, не знающий удержу своим желаниям. Я улыбнулась своим мыслям о нем — уж очень он диковинный, а он, поняв, что я не сержусь,— засиял.

— Ну вот и ладно. У тебя душа простая, светлая, хорошая ты у меня, погляжу на тебя. Ну, а теперь давайте мне этого, из-за которого у нас сыр-бор загорелся. Хочу поглядеть на него.— В глазах мелькнуло на миг неуловимо лукавое выражение.

Когда вошел г. Ч., он с ним расцеловался. Они остались завтракать. Приехали еще несколько знакомых Марьи Аркадьевны. За столом Распутин опять стал мрачен. Замолчал, хмуро и недружелюбно посматривая на гостей. Отозвал в сторону Марью Аркадьевну и стал упрекать ее, зачем она назвала гостей:

— С чего это ты ястребов этнх привечиваешь?

Потом ои удалился в спальиую, где находилась горннчная Марьн Аркадьевны, Шура, и стал ей жаловаться:

— Мне так обидно. Зачем твоя барыня окружает Франтика ястребамн (так ои называл мужчин), оии все так иа нее смотрят. Оиа ко мне прнехала, а тут слетелнсь со всех сторон. Я ей хочу помочь, только пусть она будет со мною, а ие с другнмн.

Шура рассказывает, что он заплакал.

— Ей-Богу, барыия, так это чудно было. Жалостно так говорят, а слезы так и капают. Что это вы так расстранваетесь, говорю я, жалко мне нх очень стало. А оин: «Обидно мне, милая, обидно» — и в грудь себя ударилн. Уж так мие нх жалко, так жалко, барыня.

К гостям он больше не вышел н скоро ушел, прнглаcнв меия иа воскресенье.

— Вот ты увидишь, Франтик, как меия любят н уважают. Не так, как вы московскне.

19 сентября

В столовой уже разместилось миогочисленное, исключительно дамское общество. Шелка, темное сукно, соболь и шнишеля, горят бриллианты самой чнстой воды, сверкают н колышутся тонкне эгреткн в волосах, н тут же рядом вытертый платочек какой-то старушкн в затрапезном платье, старомодная наколка мещанки, белая косыика сестры милосердия. Просто сервнрованный стол со сборным чайным сервнзом утопает в цветах.

Он ввел меня за руку н представил всему оживленному обществу:

— Вот эта моя самая любнмая, московская — Франтик.

Все почтнтельио н любезно поздоровалнсь со мною. Меня посаднли рядом с сестрой милосердия, которую все называлн Килнна. Я узнала впоследствнн, что ее зовут Акулиной Никитишиой. Она бывшая монахння, оставнвшая монастырь радн Распутнна. Всюду следует за иим н живет с инм на одной квартире. Мие иалилн чай. Я протянула руку за сахаром, но Килнна, взяв мой стакаи, сказала Распутину:

— Благослови, отец.

Он достал пальцамн нз стоявшей возле него сахарннцы кусок н опустил его в мой стакан. Заметнв мое уднвленне, Килнна объясинла:

— Это благодать Божия, когда отец сам своимн перстамн кладет сахар.

И я действнтельно заметила: все с благоговеннем тянутся к нему со своими стаканамн. Рядом с ним, по правую сторону, сидела хорошенькая изящная дама Саня П. (как я потом узнала), сестра А. В. Показывая иа меня, он ей сказал:

— Это Франтик, когда поедешь в Москву, остановнсь у нее, у ней хата хорошая.

Мое вннманне остановило одно лнцо. Это была еще молодая девушка, ие очень красивая, довольно пухленькая блондннка, очеиь просто одетая, без всякнх украшений. Поражало выраженне ее глаз, с беззаветиым восторгом устремленных на Распутнна. Она следнла за каждым его двнженнем, ловила каждое его слово, н безграиничная преданность и обожание сквозили в каждой черте ее лнца.

— Кто эта девушка? — тихо спроснла я Килину.

— Это родственннца Аннушки н племяиница киягннн П. Фрейлнна двух нмператрнц, любнмнца «отца», Муня, а это ее мать,— показала она на пожилую даму очеиь важного внда, так же восторжеино смотревшую на Распутина, как и ее дочь.

— А вот и Дуняша. Идн-ка, идн к нам,— сказал Распутнн.

В столовую вошла пожилая прислуга, дальияя родственннца Распутина, как я узнала потом, нгравшая большую роль в его доме.

Дамы засуетилнсь, раздвигая стулья, очищая место Дуняше.

— Сюда, Дуняша, вот здесь место,— слышалось со всех сторон.— Посидн с намн, отдохнн, а мы за тебя поработаем.

Дуняшу усадили, а одна нз дам, эффектная брюнетка, стала собнрать посуду.

— Баронесса К.,— шепнула мне Кнлиыа.

Другая, пожнлая, в фиолетовом бархатном платье и в палантнне нз роскошных соболей, поднялась со своего места. Оставнв на стуле меха, она стала мыть чайную посуду. Это была княгння Д. Когда раздавалнсь звонкн, Муня вскакнвала н бежала открывать дверь. В передией она выполняла обязанностн прислуги, сннмая шубы н ботики.

— Муня,— вдруг сказала Дуняша,— самоварчик-то весь выкипел, долить, подн, надо. Долей да угольков подбрось.

Муня сорвалась с места, схватила самовар н в сопровожденнн грузиой дамы в платье грн-де-перль, полноту которой артистнчески маскнровали мягкне складки крепдешина, отправнлась на кухню. В их отсутствие в передней позвонилн. Кто-то из дам открыл. В столовую впорхнула, право, иного слова и ие придумаешь, стройная барышня в суконном платье безукоризненного покроя. Она быстро шла, вернее неслась, как будто танцуя на ходу. Все блестело и сверкало иа ией: драгоценные камнн, какие-то брелоки, золотые кнная альчикн у пояса н ворота н глаза, горевшне неестественным блеском. На ходу, звеня браслетами, она торопливо сдергнвала замшевую перчатку, распространявшую тонкий нежный запах незнакомых мне духов, обнажая узкую руку с длннными пальцамн, уннзанную кольцами. Она так н броснлась к Распутину. Он обиял ее, она с жаром поцеловала его руку.

— Отец, отец,— звонко и радостно говорила она, улыбаясь какой-то странной, блаженной н вместе с тем растеряиной улыбкой.— Ты мие велел, н все вышло по слову твоему. Моей тоскн как не бывало. Ты мие велел другнми глазамн смотреть на мир, и мне так радостно н хорошо на душе. Зиаешь, отец,— говорила она, все более увлекаясь н с какнм-то экстазом глядя на него.— Я вижу голубое иебо н солнце и слышу, как птнчкн поют. Ах как хорошо, отец, как хорошо...

— Вот виднш ь, я говорил тебе, что иадо другимн глазамн смотреть. Надо верить — н все увидишь. Надо слушаться меня — и все будет хорошо.

Он еще раз обнял н поцеловал ее. Она радостно засмеялась н снова поцеловала его руку.

Я не могла глаз оторвать от этой удивительной девушкн. Мне казалось, что она плохо созиает окружающее, носится где-то далеко в каких-то грезах своих. Я узнала, что это дочь одиого из великих князей.

Ее присутствие как будто наэлектрнзовало всех. Громче сталн говорить и смеяться, как будто опьянение охватило всех. Чаще подходнли к Распутину, заглядывалн в его глаза, целовалн его руку.

— Вот вндншь, Фраитик, как мы жнвем в Пнтере: светом любвн радую я, сладостно всем, возлюбившнм меня.

Настроенне прнсутствующнх все повышалось. Кто-то предложил спеть «Страннлка». Килнна высоким, краснвым сопрано запевала. Остальиые дружно подтягивалн. Ннзкнй прнятный голос Распутина звучал, как аккомпанемент, оттеняя и выделяя женскне голоса. Никогда я не слышала раньше этой духовной песни. Она похожа на народную. Очень краснва н грустна, как большннство русскнх песен. Все настроилнсь на грустный лад н сталн петь псалмы. Взлеталн вверх высокне ноты Килнны, н мирио н мягко гудел голос «отца». Все это создавало такое торжественное н странное настроение. Я чувствовала себя также совсем необычно прнподнятой. На щеках у велнкой княжны зарделнсь два ярко-алых пятна, глаза мечтательно ушли вдаль, лицо ее выражало блаженство нестерпнмое, доходящее до страдания. А Муня? — Казалось, она слушает райскую музыку. И вдруг звонок прерывает пенне. Прнносят роскошную корзину роз и дюжину вышитых шелковых рубах разных цветов. От какой-то дамы в подарок. Он сделал знак Килнне, чтобы отложить в сторону. Но пенне больше не налаживалось. Началась беседа на религиозные темы.

— Надо смирять себя,— поучал он.— Проще, проще надо, ближе к Богу. Этих всяких ваших хитростей не надо. Ох хитры вы все, мои барыньки, знаю я вас. В душе вашей читаю. Хитры вы больно.

Внезапно, без всякого перехода он стал напевать «русскую». Сейчас же несколько голосов подхватило. Он махнул рукой в сторону великой княжны. Она вышла и все с той же восторженной и немного растерянной улыбкой стала плясать грациозно и легко. Навстречу подбоченился Распутин. Но в этот раз он танцевал не так охотно, как в тот раз, в первый день нашего знакомства, и также внезапно прекратил пляс. Тотчас же смолкли звуки «русской». Уже некоторые стали прощаться. Я тоже собиралась уходить, но осталась, так как вошла женщина, сильно заинтересовавшая меня. Она была в белом холщовом платье странного покроя, в белом клобуке на голове, надвинутом на самые брови. На шее у нее висело много книжечек с крестами на переплете, двенадцать евангелий, как мне объяснили. Она вошла, поклонилась в пояс, сначала ему, потом остальным, и припала к его руке.

— Генеральша Л.,— сказала одна из дам.

Она что-то шептала Распутину, сложив руки и склоняя голову. Когда кто-нибудь громко говорил, она сердито и неодобрительно смотрела и, наконец, не выдержала:

— Здесь у отца, как в храме, надо с благолепием,— строго заметила она.

— Оставь их. Пусть веселятся.

— Веселие в сердце носить надо,— неумолимо продолжала она,— а снаружи смирения больше. Так-то лучше будет.

Стали расходиться. «Отцу» целовали руку. Он всех обнимал и целовал в губы.

— Сухариков, отец,— просили дамы.

Он раздавал всем черные сухари, которые заворачивали в душистые платочки или в бумажки и прятали в сумочки. Предварительно пошептавшись с некоторыми дамами, Дуняша вышла и вернулась с двумя свертками в бумаге, которые и раздала им. Я с удивлением узнала, что это грязное белье «отца», которое они выпрашивали у Дуняши. «Погрязнее, самое ношеное, Дуняша,— просили они,— чтобы с потом его». И носили его. Муня помогала одеваться. Одна из дам не хотела позволить надеть ей ботики.

— Отец учит нас смирению,— убежденно сказала Муня и, настойчиво взяв ногу в руки, натянула ботик.

Когда мы вышли на лестницу, я спросила одну из дам о женщине с евангелиями, которая осталась в квартире Распутина.

— Это знаменитая генеральша Л., бывшая почитательница Илиодора. Теперь она чтит «отца», как святого. Праведной жизни женщина, как подвижница живет. Спит на голых досках, под голову полено кладет. Ее близкие умолили «отца» послать ей свою подушку, чтобы не мучилась так. Ну, на его подушке она согласилась спать. Святая женщина.

Мне казалось, что я вырвалась из сумасшедшего дома. Ничего не понимаю, голова кругом идет. Твердо решила уехать, несмотря на то, что дело не двинулось.

20 сентября

Утром он опять телефонировал и звал к себе. Но я заявила, что меня телеграфно вызывают в Москву и я должна уехать.

— А как же твое дело, дусенька, без тебя ничего не выйдет. Так и знай.

Я решила зайти проститься с ним и поговорить о деле.

Там сидела в костюме сестры княгиня Ш., женщина поразительной красоты с темными великолепными глазами. Он ел рыбу, она чистила ему картошку длинными тонкими пальцами, узкими в концах с перламутровыми ногтями. Никогда я не видела рук такой совершенной формы, разве только на картинах старинных итальянских мас-

теров. Она подкладывала ему картошку, он небрежно брал, не глядя на нее и не благодаря. Она целовала ему плечо и липкие руки, которыми он ел рыбу. Я много слышала о княгине Ш., которая забросила детей и мужа ради Распутина и четвертый год неотлучно следовала за ним.

— Ты не должен уезжать, отец,— продолжала она прерванный разговор.— Знаешь сам, как ты нам всем дорог. Подумай о нас. Если что случится с тобой, как мы будем без тебя? Как стадо без пастыря.

Он отвернулся от нее и стал разговаривать со мной, не обращая никакого внимания на княгиню. Я чувствовала себя очень неловко.

— Вот, Франтик, я тебе книжку свою дам.

Он вынес из соседней комнаты книгу «Мои мысли и размышления. Краткое описание путешествия по святым местам и вызванные ими размышления по религиозным вопросам. Ч. 1. Петроград. 1915 год». Книжка с двумя портретами. На одном из них он изображен растрепанный, в рубашке на постели, после покушения на него в Сибири. На первом листе он написал своими обычными каракулями: «Дорогому простячку Франтику на память Григорий».

— Почитай, дусенька, на досуге. Ее нет в продаже.

Княгиня стала просить его пройти с ней в кабинет. Ей нужно было о чем-то посоветоваться с ним. Но он продолжал не обращать на нее внимания, как будто ее не было в комнате. Когда она зачем-то вышла, я спросила его, отчего он не хочет с нею пойти.

— Она может подумать, что зто из-за меня, и мне зто неприятно. Поговори с нею, сделай зто для меня.

Когда она вернулась, он нехотя, с недовольным лицом, пошел в кабинет. Через пять минут они вышли. Он еще больше сердитый, она расстроенная, со слезами на глазах. Поцеловав ему руку, она уехала.

— Отчего ты с нею такой неласковый? — спросила я.

— Раньше я ее шибко, шибко любил, а теперь не люблю. Она вот все пристает теперь, чтобы я ее мужа министром сделал. А как я могу ее мужа министром сделать, когда он дурак. Не годится для зтого дела.

Я хотела воспользоваться оборотом зтого разговора, чтобы расспросить о его связях и влиянии при дворе. Меня зто очень интересовало, но он избегал разговоров об зтом.

— А ты разве можешь его министром сделать?

— Дело немудреное, отчего не сделать, кабы знал, что голова на плечах есть.

— А разве у всех министров есть головы на плечах? — шутя спросила я.

— Быват всяко,— засмеялся он и сейчас же оборвал зтот разговор.

Из-за двери показалась голова юноши. Он как-то странно хихикал и подмигивал.

— Это кто же там смеется?

— Сын мой Митька, блаженный он у меня. Все смеется. Все смешки ему да смешки.

— Ну покажи его мне. Позови сюда.

— Митька, а Митька...

— Гы-гы-гы,— захохотал юноша и скрылся.

— Ну-ка, Франтик, пойдем в кабинет. Тут вот все мешают, да телефон звонит. Нюрка,— позвал он,— если телефон, скажи, дома нет. Иди, дусенька.

Я неохотно пошла за ним. Он взял меня за руку, хотел обнять. Но так как я отстранилась, он с упреком сказал:

— Ты боишься меня, я знаю, а погляди на наших питерских, как они любят меня.— На мой вопрос о деле он сказал:

— Я все для тебя сделаю, дусенька, но только и ты должна уважить меня и слушаться. Уговор лучше денег. Будешь делать по-моему — дело выгорит. Не будешь — ничего не выйдет.

Я сделала вид, что не понимаю его намеков, и говорила:

— Но мне надо уехать. Зовут меня.

— Ну что же, дело подождет. Вернешься, будешь со мною. Все и сделаем.

Глаза его горели так, что нельзя было выдержать его взгляда. Мне было жутко. Хотелось встать и бежать, но что-то сковывало мои движения, я не могла подняться.

— Из Царского телефон,— послышался за дверью голос Нюры.

Он сделал мне знак дожидаться его возвращения и направился в столовую. Я воспользовалась моментом, выскочила из кабинета и стала спешно прощаться, решив больше никогда не оставаться с ним наедине.

Вернулась в гостиницу, уложила свои вещи и записала эту последнюю свою встречу. От нее осталось неприятное ощущение, хочется поскорее уехать. Скоро отойдет поезд. Сейчас пойду на вокзал.

Москва. 21 ноября 1915 г.

Из моих хлопот ничего не вышло: и мать, и сестра были в ссылке. «Отец», конечно, ничего для них не сделал. До меня доходили слухи о все растущем неограниченном его влиянии на дела государства. Одновременно росло негодование. Постоянно приходится слышать о нем, его имя произносится с ненавистью. Странно подумать, что этот человек, в шелковой рубахе, окруженный хороводом дам, вершитель судеб нашей родины. Поистине мы живем в век чудес. Часто я вспоминаю Килину, блистательную княгиню Ш. с ее точеными руками и Дуняшу за столом среди разряженных дам, и генеральшу в белом холщовом платье с двенадцатью евангелиями на шее. Кажется иногда, что это все приснилось. Я получила от него несколько телеграмм, темный смысл которых я не могла разобрать. Вот одна из них: «Ублажаю мое сокровище, крепко духом из тобою. Целую Григорий». Другая: «Радую приветом, величаю спокойством». Наверное, его почитательницы узрели бы в них откровение, но я ничего не поняла. В одной из телеграмм была такая бессмыслица, что я запросила телеграф, думая, что перепутали, мне снова ее перетелеграфировали, но она была все также непонятна.

Сегодня я получила печальное письмо из Киева, моя племянница Алиса безнадежно больна. У нее скарлатина и дифтерит, осложненные воспалением легких и почек. Мало надежды на выздоровление. Я сидела расстроенная. В это время пришла моя подруга Леля. Она тоже в отчаянии. На днях должно разбираться ее запутанное семейное дело. Она думает, что проиграет его. У нее тяжба с братом ее мужа, они рискуют потерять свое состояние. Адвокат сказал ей, что только Распутин может помочь. Она пришла просить меня съездить в Петербург и познакомить ее с Распутиным. Я сказала ей, что ни о чем просить его не могу, т. к. он ставит невыполнимые условия. На это она возразила, что ее нужно только познакомить. Дальше уж она будет действовать самостоятельно. Леля очень хитрая и ловкая женщина, при этом хорошенькая. Яркая блондинка с голубыми глазами. Конечно, она добьется успеха и сумеет, прямо не отказывая, тянуть, пока он не исполнит ее просьбы. Я же на это не способна. Сказала ей, что не могу ехать, т. к. собираюсь в Киев. Она начала просить со слезами на глазах, чтобы я сегодня на ночь выехала с ней, утром познакомила бы ее и в тот же день могу отправиться в Киев. Долго уговаривала она, наконец я согласилась, и мы решили выехать, послав телеграмму сестре, чтобы она в Петербург сообщила о здоровье Алисы.

25 ноября

В Петербурге мы остановились в скромной гостинице, т. к. боялась каких-нибудь выходок Распутина и не хотела компрометировать себя.

Тотчас же по приезде я позвонила ему по телефону 646—46. Он узнал мой голос и радостно закричал:

— Дусенька, ты в Питере, ну так сейчас же ко мне приезжай. Сию же минуту, я жду тебя.

Я сказала, что приехала с подругой, которая хочет с ним познакомиться, но нам надо привести себя в порядок после дороги. Он ответил, что ждать не может, т. к. едет в Царское Село, но будет ждать нас к 6 ч. вечера.

Мы приехали в назначенное время. Он сам открыл нам дверь. Расцеловал меня и Лелю, которую видел в первый раз. Он был слегка навеселе. Из соседней комнаты доносились звуки музыки и пения. В столовой шумел самовар, стояли цветы, недопитые стаканы чая, торты, конфеты и вино. Он усадил нас и стал угощать. Леля сразу же начала выкладывать свое дело. Она сказала ему, что ищет у него защиты, зная, что он заступник и покровитель женщин. Муж у нее на фронте, она совсем одна, ее обижают, хотят разорить.

— Одна надежда на тебя, мне говорили о твоей доброте.

Говорила с ним так, как будто давно его знала, и очень умело ему льстила. Вздыхала, скромно опускала глаза, но из-под ресниц время от времени взглядывала на него своими голубыми глазами. Видно было, что она ему сразу понравилась. Все с большим интересом слушал он, не отрывая от нее своих светящихся глаз. Я сразу подумала, что все хорошо устраивается. По крайней мере мне не будет угрожать опасность от его ухаживаний.

Вдруг влетела немолодая высокая дама в шелковом платье мордоре, возбужденная и красная.

— Что же ты нас бросил, отец,— взволнованно заговорила она.— Приехали к тебе твои московские, и ты нас забросил. Нехорошо, отец. Мы без тебя не можем плясать и веселиться.

Он молча взял ее за руку, вывел и закрыл дверь. Снова уселся между нами, обнял меня и положил Леле руку на колени.

Немного погодя в передней послышался звонок. Вошла Дуня и сказала:

— Скорей, отец, собирайся, за тобой приехал автомобиль, тебя ждут в передней.

— Никуда я не поеду. Приехали мои московские, с ними буду.

Дуня настаивала и очень сердилась. Очевидно, она была заинтересована в этом деле. Быть может, ей обещали заплатить, и она боялась, что это дело расстроится.

— Что ты, отец, ошалел, что ли,— резко говорила она.— Люди ждут по делу, за тобой приехали, а ты что выдумал, ты же им давно обещал.

Она бросала на нас злобные взгляды. В полуоткрытую дверь передней виднелись мужские фигуры в шубах, нетерпеливо расхаживающие взад и вперед.

Задребезжал телефон. Он взял трубку, стал слушать. И вдруг его лицо расцвело. Казалось, смеется каждая морщинка на лице. Он подергивал плечами и подпевал: «Эх да тройка, снег пушистый».

— Ну-кось, послушайте, как поет знакомая барынька, хорошо поет, полковница одна, певица.

Я услышала в телефон цыганский романс под аккомпанемент гитары. Он снова взял трубку.

— Ну теперь, дусенька, спой «Барыню»: «Эх, барыня, барыня, барыня, сударыня...» — подпевал он, приплясывая с трубкой в руке.

Дуня яростно бросилась к нему.

— Ты чего расплясался, леший? Что выдумал, глаза бы мои на тебя не глядели, стыда на тебя нет, хоть людей постыдился бы. Что скажут про тебя твои московские барыньки? Там люди дожидаются, а он что выдумал.— Она с сердцем вырвала у него трубку и повесила ее.— Ждут тебя, давай ответ.

— Ну хорошо,— вдруг миролюбиво сказал он.— Поеду, только с моими московскими. Так и скажи им.

Из передней вошли два молодых человека в дорогих шубах и начали почтительно просить нас оказать им честь поехать с Григорием Ефимычем и с ними к Донону. Там уже заказан кабинет. Мы согласились. Распутину принесли армяк на парчовой подкладке изумительной работы. Мы поехали.

В отдельном кабинете стол был уставлен разнообразными закусками и винами. Один из молодых людей, гладко выбритый, в смокинге, с бриллиантовыми запонками на ослепительном пластроне, озабоченно осматривал стол.

— А мадера,— вдруг заволновался он,— мы знаем, Григорий Ефимович, что вы мадеру пьете, только одну мадеру, а ее-то и нет.

Он стал звонить и сердито выговаривать явившемуся на зов лакею.

Распутин стал совсем другим. Держал себя во время ужина сдержанно и с большим достоинством. Много пил, но на этот раз вино не действовало на него, и говорил, как будто взвешивая каждое слово. И все время выщупывал глазами своих собеседников, как будто читал их мысли.

Ну и глаза у него. Каждый раз, когда вижу его, поражаюсь, так разнообразно их выражение и такая глубина. Долго выдержать его взгляд невозможно. Что-то тяжелое в нем есть, как будто материальное давление вы чувствуете, хотя глаза его часто светятся добротой, всегда с долей лукавства, и в них много мягкости. Но какими жестокими они могут быть иногда и как страшны в гневе. С нами он тоже был очень сдержан. Не шутил, не брал за руки, как обычно в дамском обществе. Время от времени пристально взглядывал на Лелю, очевидно, изучал ее. Тогда глаза его вспыхивали, но он молча отводил их и продолжал серьезный разговор. Политических тем явно избегал. Рассказывал о Сибири, звал всех к себе летом, на вольную волюшку, на просторы сибирские.

— Рыбу будем ловить, медом угощу, вы такого-то и не едали. У нас в Сибири цветы шибко духовитые.

Мы чувствовали себя очень усталыми и скоро уехали. Они довезли нас в автомобиле до гостиницы и уехали куда-то в другое место.

26 ноября

С утра он позвонил к нам и просил немедленно приехать.

В столовой, куда он допускал только избранных, было много дам. В зале толпились просители. Кого здесь только не было. И студенты, и курсистки за пособиями, и священники, и светские дамы, и какие-то старухи, и военные аристократических полков, и монахини.

Он принимал просителей, вызывая их в кабинет. Но время от времени забегал к нам в столовую. Подойдет к одной, поцелует, обнимет, погладит по голове другую, даст поцеловать руку третьей. Побежит к телефону, поговорит. Потом снова на прием. Дамы охали и ахали, жалели его.

— Как трудится отец, сколько сил отдает он людям.

— И все-то к нему тянутся, всех-то он греет, всем-то он светит, как солнышко,— говорила Килина, проходя по столовой с озабоченным лицом.

— На части разрывают, покою не дают, замучили отца,— вздыхали дамы.

Около часу приехала фрейлина В-ва, с большим портфелем. Все домашние обращались с ней очень фамильярно и называли ее «Аннушкой». Она сейчас же прошла в приемную, вернулась с пачкой прошений, которые, наскоро просмотрев, сунула в портфель. Распутин торопливо выбежал и, бросившись на стул, стал отирать пот со лба.

— Силушек нет, замучился,— жаловался он.— Народу-то, народу сколько привалило. С утра принимаю, а все прибывает.

В-ва подошла к нему, начала его целовать и успокаивать.

— Я помогу тебе, отец. Часть просителей сама приму. С иными я и без тебя покончу.

И они вместе отправились в приемную.

Через некоторое время он вернулся со словами:

— Теперь Аннушка будет принимать, а я отдохну.

Он пристально посмотрел на меня и сразу заметил, что я расстроена чем-то. Мне было очень тяжело, так как я получила утром телеграмму, что Алисе хуже, я боялась за ее жизнь.

— Что с тобой, Франтик, ты такая печальная, что у тебя на душе?

Он взял меня за руку и повел в спальню. Это была узкая комната рядом со столовой, просто меблированная, с железной кроватью.

Я сделала знак Леле, она пошла за мной.

— Успокой Леночку, отец,— сказала она.— Подумай, какое у нее горе, у нее племянница умирает.

Я ему все рассказала и прибавила, что сегодня же должна уехать. Тут произошло что-то такое странное, что я никак объяснить не могу. Как ни стараюсь понять, ничего придумать не могу. Не знаю, что зто было. Но я изложу все подробно, может быть, потом когда-нибудь и подыщутся объяснения, а сейчас одно могу сказать — не знаю.

Он взял меня за руку. Лицо у него изменилось, стало как у мертвеца, желтое, восковое и неподвижное до ужаса. Глаза закатилнсь совсем, видны были только одни белки. Он резко рванул меня за руки и сказал глухо:

— Она не умрет, она не умрет, она не умрет.

Потом выпустил руку, лицо приняло прежнюю окраску. И продолжал начатый разговор, как будто ничего не было. Мы с Лелей удивленно переглянулись. Нам стало как-то не по себе. Хотелось спросить его, что это значит, что это он говорил и для чего это сделал. Но было почему-то неловко, и я продолжала ему отвечать, как будто ничего не произошло.

Его позвали от имени Аннушки. Она отобрала несколько просительниц, с которыми он должен был лично переговорить. В столовой еще больше было дам. Почтн беспрерывно звонил телефон, у которого стояла Нюра, его племянница. Она записывала какие-то адреса, отвечала на вопросы, звала к телефону то Килину, то Аннушку, то самого «отца». В передней раздавались звонки, прибывали новые посетители, приносили подарки, цветы, торты, какие-то вещи. От всего этого шума и суеты у меня разболелась голова. Я сказала Леле, что больше не могу выдержать. Она тоже смертельно устала, и мы с нею ушли.

Я собиралась вечером выехать в Киев, но получила телеграмму: «Алисе лучше, температура упала». Я решила остаться еще на день.

Вечером к нам приехал Распутин. Очевидно, Леля притягивает его, как магнит. Он отказался от какого-то обещанного ужина и очутился у нас. У нас произошел с ним любопытный разговор, по поводу которого я опять не знаю, что думать.

Я показала ему телеграмму.

— Неужели зто ты помог,— сказала я, хотя, конечно, этому не верила.

— Я же тебе сказал, что она будет здорова,— убежденно и серьезно ответил он.

— Ну сделай еще раз так, как тогда, может быть, она совсем поправится.

— Ах ты, дурочка, разве я могу зто сделать. То было не от меня, а свыше. И опять зто сделать нельзя. Но я же сказал, что она поправится, чего ж ты беспокоишься.

Я недоумевала. В чудеса я не верю, но какое странное совпадение. Алнса поправляется. Что зто значит? Лица его, когда он держал за руки, я никогда не забуду. Из живого оно стало лицом мертвеца, дрожь берет, когда вспоминаю.

28 ноября

Мы были у него вечером. Никого не было. Он велел всем говорить, что его нет дома.

Когда мы поднималнсь к нему, я заметила у подъезда двух сыщиков.

— Отчего это всегда сыщики тебя сопровождают?

— А как же? Мало ли ворогов у меня. Я всем как бельмо на глазу. Рады бы спровадить меня, да нет, шалишь, руки коротки.

— Тебя очеиь любят и берегут в Царском?

— Да, любят и ои и оиа. А он еще больше любнт. Как же не любить н ие беречь. Если не будет меня, не будет и их, не будет н Рассеи.

Мы переглянулись с Лелей. Я мысленно возмутнлась его неслыханной самоуверенности.

— Ты, Франтик, думаешь, зазиался я? Знаю я хорошо твои мыслн. Нет, дусеиька, я знаю, что говорю. Как сказал — так н будет.

Невольно смутилась я. Меия всегда нзумляет его проницательиость. Он часто угадывает мои мысли и говорит, что я думаю.

Нюра позвала к телефону: говорят из Царского. Ои подходит.

— Что, Алеша не спит? Ушко болит? Давайте его к телефону.— Жест в иашу сторону, чтобы мы молчалн.— Ты что, Алешеиька, полуночнннчаешь? Болит? Ничего не болит. Идн сейчас, ложись. Ушко не болит. Не болит, говорю тебе. Спн, спн сейчас. Спи, говорю тебе. Слышнншь? Спи.

Через пятнадцать мииут опять позвоннли. У Алешн ухо ие болит. Он спокойио заснул.

— Как это он заснул?

— Отчего же не заснуть? Я сказал, чтобы спал.

— У него же ухо болело.

— А я же сказал, что не болнт.

Он говорил со спокойной увереиностью, как будто иначе и быть не могло.

— Ну, дусенькн, завтра пойдем с вами на обед к графиие К. Будет много иароду. Мнннстры все.

— Но мы же не зиакомы с хозяйкой дома.

— Ну так что же за беда. Со мной едете. Я вас везу.

Нам ие хотелось афншнровать свою блнзость с ним и ехать в иезнакомый дом.

— Нет, нет, отец, мы не поедем.

— А вы все фокусннчаете,— недовольио сказал он.— Все по-своему норовите. Ну ладно, я к вам после ужина привезу кого-ннбудь нз мнниcтров. Это я тебе, московская кокетка,— обратился ои к Леле.— О деле поговоришь с ннми.

7 декабря

У меия даже времени нет каждый день записывать. Несколько дней в руки не брала дневнника. Из Киева приходят письма. Алнса поправляется к удивлеиию всех врачей. Сестра считает это каким-то чудом. Время идет, а я все еще здесь, сама не знаю почему. Как будто какой-то внхрь завертел нас. Днем мы у него. Ои звонит нам с утра и требует, чтобы мы приезжалн, н опять развертывается все та же пестрая картина. Как будто показывают нам кинематографнческий фильм. Каждый раз иовый. В квартире с утра до вечера толкутся представнтелн всех слоев населеиня. Крестьяне, ходокн в валенках и дубленых полушубках просят помочь мнру в какой-то тяжбе с помещиком. Дама в глубоком трауре с заплаканными глазами хватает за руки «отца» и, всхлипывая, просит о чем-то. Военный в блестящем мундире одного из гвардейских полков скромно ждет своей очереди. Вот какой-то толстый господнн с обрюзгшим лнцом входнт в переднюю в сопровожденнн лакея в меховой пелерине. Это какой-то банкир по спешному делу. Выходит Дуняша, шепчется, берет записку. Его приннмают вне очереди. Какне-то польские бежеикн, студеиты, монашки с котомкамн н фрейлииы нмператрицы. Салопницы и дамы в костюмах Пакена и Дусе. Тут же сидел знамеинтый скульптор

Аронсон, лепящий его бюст. Все смешалось в одну толпу, лихорадочно ожидающую очереди. Истерически плачет какая-то женщина. Звонит телефон. То здесь, то там появляется высокая фигура в мягких сапогах и шелковой косоворотке. Пронизывающе смотрят глубоко сидящие глаза. Разговор по телефону с Царским Селом и разговор с Лелей, требование встречи наедине. С каждым днем он все более увлекается ею и делается настойчивее. Каждый вечер он приезжает к нам. Говорит постоянно о любви. Начинает о любви человеческой, любви-радости, любви-благодати.

— Не суши свое сердце без любви. Без света любви душа потемнеет, и солнце тебя не будет радовать, и Бог отвернет от тебя лик свой. Любовь — благодать, которая должна радовать светом своим, стремиться всегда к новому, и всегда это от Бога, и нельзя идти наперекор велениям Его. Пожелал я тебя — от Бога это, и грех отказывать. Без любви я силы своей лишаюсь, и ты отнимаешь от меня силу мою. Дай мне миг любви, и сила моя прибудет, и для дела твоего лучше будет.

Она умоляет меня не оставлять ее ни на один миг. Я очень устала от всего этого и хочу уехать, и сама не знаю, почему остаюсь. Как будто как-то парализована моя воля, и странно, мы обе не верим в него и очень критически относимся к нему. Но в его присутствии обе чувствуем какой-то острый интерес ко всему, что происходит вокруг него. Все это так необычно, и это притягивает. Сегодня утром заехала к нам жена полковника В., певица. Она стала упрекать нас, что мы мучим «отца».

— Все мы возмущаемся, видя его страдания. Почему вы не соглашаетесь принадлежать ему? Разве можно отказывать такому святому?

— Неужели же святому нужна грешная любовь?

— Какая же это святость, если ему нужны женщины?

— Он все делает святым, и с ним всякое дело свято,— не задумываясь, заявила полковница.

— Да неужели же бы вы согласились?

— Конечно, я принадлежала ему и считаю это величайшей благодатью.

— Но ведь вы замужем, как же муж?

— Он знает это и считает великим счастьем. Если отец пожелает кого, мы считаем это величайшей благодатью, и мы, и мужья наши, если у кого есть мужья. Теперь мы все видим, как он мучится из-за вас. Я решила все вам высказать и от имени всех почитательниц отца просить вас не мучить больше святого старца, не отклонять от себя благодати.

Мы с Лелей были возмущены этими словами и хотя уже ко многому привыкли у него в доме, но все-таки нас возмутил этот цинизм, прикрытый святостью. Довольно резко ответили мы г-же В. Она ушла, обиженная и недоумевающая. Вечером он снова приехал к нам. Видно было, что его страсть достигла наивысшего напряжения. Не стесняясь моим присутствием, он начал целовать Лелю и уселся на диван, не выпуская ее из своих объятий.

— Как тебе не стыдно,— сказала я,— тебя считают святым, а ты ее склоняешь к прелюбодеянию. Ведь это же грех.

— Какой я святой, я грешнее всех. А только грех не в ентом. Греха в ентом нет. Это люди придумали. Посмотри на зверей. Разве они знают грех?

— Да ведь звери — тварь неразумная. Зверь греха не знает, да зверь и Бога не знает.

— Не говори так. В простоте мудрость, а не в знании.

— Ну, а как же мое дело,— спросила Леля, желая переменить разговор.— Ты все обещаешь, отец, да ничего не делаешь.

— А ты тоже ничего не делаешь по-моему, все хитришь. Дай мне миг любви, и твое дело пройдет без задоринки. Коли любви нет, силы моей нет и удачи. Так вот и с Франти-

ком было. Больно люблю ее, душой рад помочь, да не вышло без любви.— Он нахмурился и стал нервно ходить по комнате. Лицо стало хищное, глаза злые и горящие. Леля вышла в другую комнату.— Есть у вас вино? Я хочу выпить. Какое?

— Белое есть.

— Нет, ты знаешь, что я пью только мадеру. Знаешь, Франтик, поезжай ко мне. Скажи Дуне, она даст.

Было уже 12 часов ночи, сильный мороз. Я опешила.

— Если тебе нужна мадера, позвони лакею. Он пошлет посыльного и привезет. Но я по таким поручениям ездить не буду.

— А я тебе говорю, что ты поедешь. Если я тебя посылаю, ты должна идти.

Он в упор смотрел на меня глазами, в которых разгорались и прыгали огни бешенства. Я невольно отвела глаза и вне себя крикнула:

— Ты не забывайся. Я не прислуга твоя и таких поручений исполнять не буду.

Леля, услыхав крик, вбежала в комнату.

— Что тут у вас? Ты, отец, кажется, обижаешь Леночку?

Он бегал по комнате с искаженным лицом. Глаза метали молнии. Но постепенно он подавил дикую вспышку. Подошел ко мне и неожиданно обнял меня.

— Не сердись, Франтик, я это нарочно, хотел испытать: любишь ли ты меня. Кабы ты меня любила, ты бы меня послушалась. Пошла бы и в снег, и в полночь. Мои питерские барыньки не отказались бы. Каждая пошла бы с радостью. А ты, видно, не любишь.

— Да я тебе никогда и не говорила, что люблю.

Он замолчал и стал ходить по комнате. Вскоре он уехал.

10 декабря

Мы не пошли на обед с министрами, на который еще раз нас звал Распутин. Обрадовались возможности провести спокойно вечер. Легли около часу ночи. Только начали засыпать, стук в дверь и голос Распутина, который требовал, чтобы мы открыли дверь. Мы не откликались. Стук усилился. Казалось, вылетит дверь.

— Открывайте же скорее, дусеньки. Мы ждем. Я привез министра.

Потом стук прекратился, и шаги удалились. На другое утро мы узнали, что нас спас живущий напротив офицер. Услыхав неистовый стук, он вышел из номера и узнал Распутина и министра Х. Он стал смотреть на них в упор. Министр сконфузился и уговорил Распутина уехать.

17 декабря

Сегодня мы не пошли к «отцу». По телефону он начал просить нас провести с ним вечер в «Вилла Роде». Послушать цыган. Мы решили не ехать, боясь скандала. Но он продолжал настаивать.

— И не думайте отказываться, дусеньки, я за вами заеду, и вместе отправимся.

Мы с Лелей сговорились пораньше уехать к ее сестре, чтобы он не застал нас. Иначе нам не удалось бы отговориться и пришлось бы сопровождать его. Так мы и сделали.

Он приехал за нами, но никого не нашел. На его вопрос, где мы, швейцар сказал, что мы уехали в театр, но он не знает в какой.

Когда мы вернулись домой, швейцар, знавший, что это Распутин, с улыбкой сообщил нам:

— Были Григорий Ефимыч и очинно сердились на вас.

После долгих колебаний и просьб с нашей стороны он передал нам весь разговор.

— Ругались они очень, говорили: «Вот оне, московские барыни, обещали со мной поехать, а, наверное, со своими мужиками удрали».— Всего и сказать нельзя,— прибавил швейцар.— Уж очинно рассердившись были.

18 декабря

Утром по телефону меня спрашивает Килина, не ночевал ли у нас «отец». Когда я с возмущением сказала, как она может такой вопрос предлагать, она удивилась, что я обиделась.

— Если бы это было так, это ваше счастье бы было. Он уехал вчера вечером, сказал, что к вам, не вернулся — ну, думаем: согласилась московская барыня благодать принять, а вы — в обиду. Да где же он? Его ждут просители.

Час спустя опять звонок. Килина сообщает: «отец» нашелся, всю ночь провел с цыганами, просит нас немедленно приехать. Я сказала Леле, что не поеду. Довольно с меня.

— Он тебе нужен, ты и поезжай.

Ей пришлось ехать одной. Однако не пришлось мне и сегодня побыть наедине. Леля вскоре позвонила и сказала, что очень советует мне приехать. Много интересного увижу. Я собралась и поехала.

Передняя была полна людьми, в столовой взволнованные дамы стояли кучками и о чем-то испуганно шептались. Тут была княгиня Ш-я, Килина, Муня и другие обычные посетительницы, а также несколько мужчин.

Из соседней комнаты доносился звон разбиваемой посуды. Вошел Распутин с бутылкой вина. Он был очень бледен. Волосы прилипли к вискам, на лбу резко проступили крестообразные глубокие морщины. Глаза горели мрачно. Жутко было глядеть в них. Он подошел к сидевшей за столом жене полковника В., которая приезжала уговаривать Лелю не мучить «отца». Он налил в чайные стаканы вина и велел пить ей и ее мужу, стоявшему тут же.

— Ради Бога, отец, пожалей меня. У меня сегодня концерт, и я не могу пить. Ты знаешь, что я пою сегодня. Ты обещал позвонить министрам, чтобы они были у меня на концерте.

— А ты пей.

Она нехотя немного отпила и снова начала просить, чтобы он позвонил министрам. Он велел Нюре соединить его с Б-м. Когда она вызвала, он взял трубку.

— Сегодня концерт моей хорошей барыньки, она сейчас к тебе приедет с билетом. Смотри же, не отказывай и на концерт приходи.

Потом он последовательно говорил в таком же тоне приказа с Б-м и X-вым.

— Смотри же, не пропусти концерта моей барыньки,— говорил он X-ву.

Около стены сидели два священника с большими золотыми крестами на груди. Они с удивлением смотрели на все происходящее: очевидно, это было им внове.

— Ну и кутил же я, поп,— обратился он к одному из них.— Одна така хорошенька цыганка пела, ну и пела же. «Еду, еду, еду к ней, еду к любушке своей»,— запел он.

Один из священников, опуская глаза, сказал нараспев:

— Это, отец, серафимы, херувимы тебе пели. Ангелы в небеси.

Я с удивлением всматривалась в священника: как это он решился среди его обожательниц и почитательниц так дерзко посмеяться над «отцом». Я ожидала взрыва негодования. Но все спокойно слушали, а священник повторял совершенно серьезно:

— Ангелы в небеси. Ангелы во славе своей пели.

— Говорю тебе цыганка, така хорошенька, молоденька.

— Серафимы, херувимы поют тебе райскими голосами,— говорил священник.

Распутин ухмыльнулся, махнул рукой и пошел в переднюю к просителям. Оттуда он привел за руку молодую, очень хорошенькую девушку, польку, беженку. Посадил и заставил пить вино.

— Смотрю я на тебя, ты хорошенькая. И носик у тебя и зубки хорошенькие, а не люблю я тебя, а этих московских баб люблю. Замучили они меня. Из-за них всю ночь кутил. Распалили они сердце мое. Хотел забыть обиду, а не могу.

Он сделал несколько шагов по направлению к Леле, круто повернул. Ушел в соседнюю комнату, где снова яростно стал бить посуду. За ним по пятам ходила Дуня с испуганным лицом, но говорить ничего не решалась, хотя обычно очень грубо и решительно с ним обращалась.

Но сейчас он был страшен. Лоб бороздили крестообразные морщины. Глаза пылали. Было что-то дикое в лице. Казалось, всякую минуту может наступить взрыв, и разразится необузданный гнев, все сметая на своем пути.

Нужно было видеть лица окружающих. Все притихли, чуть слышно шептались. Муня так и замерла, с каким-то священным трепетом взирая на своего кумира. Меня поразило, что все видели перед собой не пьяного мужика, а какое-то разъяренное божество и трепетали перед гневом его, как перед гневом самого Бога Саваофа. Лица некоторых женщин выражали восторг... Звонок по телефону... Из Царского Села требование немедленно приехать. Бросились за ним. Стали уговаривать ехать в баню протрезвиться, а потом скорее в Царское. Дамы окружили его. Одна из них предлагала свои парные сани.

— Ты знаешь моих лошадей, как птицы понесут. Сначала прокачу тебя в санках, на морозе сразу легче будет. А потом повезу в баню. Ты знаешь, это тебе всегда помогает.

Дама эта была одна из самых его горячих поклонниц, немка, госпожа Г., принявшая из-за него православие. Наконец, он согласился. Принесли новую белую шелковую рубашку, суконный армяк на парчовой подкладке, другие сапоги. Он тут же при всех стал переодеваться. Дамы помогали ему, подавали сапоги. Потом одели шубу. Госпожа Г. и Муня вели его под руки. Он весело напевал и прищелкивал пальцами:

— Еду, еду, еду к ней, еду к любушке своей...

Вечером я заявила Леле, что уезжаю. Она еще пробовала уговаривать, но я решительно отказалась остаться. Я до того устала от всех этих встреч. Чувствую, сил моих нет больше. С Распутиным простилась по телефону. Он говорил со мною после возвращения из Царского. Хмель исчез. Снова бодрый и веселый и снова зовет нас на большой обед с цыганами.

— Я всех своих барынек заберу туда. Оставайся, Франтик.

Но я простилась с ним, пообещав еще раз приехать.

Москва. 26 декабря

Наконец вернулась из Петербурга и Леля. Она привезла мне от Распутина письмо, которое я, по обыкновению, не поняла. Как всегда обрывки непонятных фраз.

Леля рассказала мне, что ей все-таки пришлось поехать на этот вечер, на который он хотел свезти всех своих барынь. За ней заехали на автомобиле Лидия Б-ая, Муня Г-на и Килина. Секретарь Питирима, все зовут его Ванька, сидел рядом с шофером. Вечер был в особняке, исключительном по роскоши и великолепию. Был весь высший свет. И старая аристократия и чиновная знать. «Отец» был очень весел, много пил, плясал. Постоянно подходил к Леле, уводил ее в уединенные уголки и с горящими глазами снова и снова говорил ей о «миге любви» и что он ей больше не позволит отвертеться от решительного свидания с ним наедине. На вечере было много музыки. Пели цыгане и русский хор. После ужина один молодой человек просил Лелю аккомпанировать ему. Она встала и направилась к роялю. Распутин мрачно следил за ними. Когда она кончила и села с певцом на диванчике за трельяжем, она услышала голос Распутина:

— А, так вот ты какая? — Вслед за этим послышались его истерические рыданья и просьба подать чернила и бумагу.— Хочу все про тебя написать Франтику, она поймет и пожалеет.

А. Н. П-ов *, стоявший поблизости, принес ему бумагу. Распутин присел в кресло и

* Впоследствии был министром, ставленник Распутина.

написал мне письмо, которое отдал Леле со словами:

— На, свези Франтику, простячку моему, она не такая, не вертит, как ты.

Теперь, когда она рассказала мне обстоятельства, при которых написано письмо, смысл стал яснее. Вот оно:

«Милой дорогому моему Франтику злюсь на тя иешли тех хитрушек зной дусенька моя тех непосылай она очень для других дай простячков. Приезжай ко мне чувствую я с тобо

Слезы каплют
Душа стонет
Радою радостью со мною Григорий».

После этого вечера Леле пришлось уехать, так как он ей прямо заявил, что больше ее хитростей, как он выражался, терпеть не будет.

— Порадуй мигом любви, и все пойдет хорошо для дела твоего. А если не хочешь, ничего не сделаю.

Она на это не могла согласиться и должна была уехать, отказавшись от хлопот о своем деле.

26 мая 1916 г. Москва

Два дня я провела, как в чаду. До сих пор опомниться не могу. 23 приехал Распутин, и я неожиданно провела в его обществе два дня и одну ночь. Вот как это вышло: расскажу все по порядку.

В телефон слышу забытый уже, певучий голос:

— Здравствуй, Франтик, здравствуй, дусенька. Приехал к вам в Москву. Звоню с вокзала. Сейчас еду к Решетниковым на Девичье Поле. Приезжай завтракать. Хочу тебя видеть. Соскучился очень.

Я спросила, может быть, пригласить Лелю?

Он ответил:

— Нет, я на нее очень зол. Больно хитра она. Не люблю таких хитрушек. И не вспоминай мне о ней. Не хочу и слушать.

Мне было, конечно, любопытно снова взглянуть на него.

Г-жа Решетникова была поклонница всяких духовных знаменитостей, которые всегда у ней останавливались при приезде в Москву. Увлекалась Иоанном Кронштадтским, Илиодором. Варнава постоянно бывал у нее.

К часу я приехала в ее старинный особняк. Открыл двери монах. В передней сидят такие старушонки, богомолки в черном. Прошу сказать о моем приходе Григорию Ефимовичу. Он сам выбегает и, по своему обыкновению, бросается целовать.

Он похудел за это время. Лицо удлинилось, и морщин прибавилось. Но глаза все те же. Так же светятся и пронизывают. Увел меня в какую-то комнату со старинной массивной мебелью. В углу в темных киотах почерневшие лики старых икон. Ризы сверкают драгоценными каменьями. Стулья красного дерева со спинками в виде лир. Угловые диваны с инкрустациями.

За нами вошел монах с большим крестом на груди. Он погрозил шутливо пальцем.

— Ой, Григорий Ефимович, все-то я скажу твоей Федоровне, как ты тут любезничаешь с своими барыньками.— И он двусмысленно ухмыльнулся.

— Нечего зря языком трепать.

(Жену Распутина звали Прасковья Федоровна, государыню — Александра Федоровна.)

Со мной монах — то был Варнава — поздоровался, перекрестил и спросил, как меня зовут.

— Еленой, значит, ты третьего дня именинница? Вот пожертвуй во здравие свое мне на храм Господний. А то, может, ковер у тебя есть, отдай на церковь.

Распутин недовольно прервал этот разговор.

— Пойдем в столовую, Франтик, там дожидаются.

За столом сидела старуха, лет 80, окруженная несколькими старыми женщинами. Меня усадили между Распутиным и старухой, сестрой Варнавы, против молодого офицера, грузина. Я узнала, что он специально командирован, чтобы следить и охранять Григория Ефимовича. Рядом с Варнавой сидела молодая купчиха с крупными бриллиантами в ушах. Она умиленно заглядывала ему в глаза и громко смеялась его шуткам. Распутин молчал. Говорил больше Варнава. Старухи льстили и тому, и другому, не зная, кому более угождать. К концу завтрака Распутин сказал:

— Я к тебе на обед приду, вот с им,— прибавил он, указывая на адъютанта.

Дамы запротестовали: ну вот, отец, ты как солнышко в тучах, только успеешь показаться и сразу спрячешься. Мы тебя совсем и не видели.

— Нет, я еще к вам вернусь, а мне к ней нужно.

— Известно, стоит только показать тебе хорошеньку барыньку, так тебя больше и не увидишь,— заметил Варнава.

Видно было, что эти слова ему не понравились, и он сердито блеснул глазами в сторону говорившего.

В передней, куда он один пошел меня провожать, он мне сказал:

— Слыхала, что мне ввернул Варнава? Это он мне завидует. У, хитрюга, не люблю его.

Я поспешила домой, по дороге заехала к Елисееву, купила мадеры, закусок, заказала в ресторане рыбный обед, позвонила своим знакомым, желающим видеть Распутина.

К 7 час. вечера он приехал со своим адъютантом. Распутин был весел, шутил, как обычно, неожиданно перебрасываясь от одной темы к другой. Часто говорил намеками, так что не все понимали, о чем идет речь.

— У тебя хорошо, душа радуется. Задних мыслей у тебя нет. За это люблю тебя. А этот, слышала, и не любит же он меня, ох, не любит. Глаза-то у него так и бегают.— Это он говорил о Варнаве.

Он внимательно ко всем присматривался, так и пронизывал своими огромными глазами каждого человека. Почему-то особенно подолгу останавливался его взгляд на г. Е., который сидел рядом со своей женой. Когда-то он был моим женихом, но потом обстоятельства сложились так, что мы разошлись. Об этом никто не знал. Он был давно женат и счастлив. Я тоже была замужем.

После обеда Распутин вдруг сказал мне:

— А ведь вы друг друга когда-то очень любили, но ничего не вышло из вашей любви. Оно и лучше, вы не подходящие, а эта жена ему больше пара.

Я была поражена его изумительной проницательностью. Не было никаких признаков, по которым он мог узнать о том, что так давно было и о чем мы сами совсем забыли. Это действительно какое-то ясновидение.

К концу обеда он заявил:

— Позови цыган. Хочу цыган слушать.

Мне не хотелось согласиться на это, но он продолжал настаивать. Г. Е., видя мое затруднительное положение, предложил лучше поехать самим к цыганам. На что он охотно согласился. Мы собрались всей компанией и поехали.

У Яра сразу узнали Распутина и, боясь скандала, как это уже было при одном из его посещений, дали знать в градоначальство. Оттуда откомандировали двух чиновников особых поручений. Они вскоре прибыли и вошли в наш кабинет, попросив разрешения присоединиться к нашей компании в видах охраны. Кроме того, появилось еще несколько человек тайных агентов.

Пришел цыганский хор во главе с Настей Поляковой. Распутин потребовал фрукты, кофе, печенье, шампанское. До чего много он мог пить — поверить трудно. Другого давно

бы все выпитое свалило с ног, а у него только глаза разгорались, лицо бледнело, и резче обозначались морщины.

— Ну-ка, лебедушки, затягивайте! «Две гитары за стеной жалобно стонали...»

Он слушал, опустив голову.

— Эх, славно выводит Настенька, вот так за сердце и хватает.

Еще раз, еще раз
Еще много, много раз.

Вдруг встрепенулся он, вскочил и подхватил припев полным голосом.

— Ну-ка, Настенька, теперь выпьем. Люблю я цыганские песни, душа рвется от радости.

Настя довольно недружелюбно отвечала на его слова и сурово смотрела на него. Я обратила на это внимание и спросила кого-то из окружающих, отчего это цыганский хор как-будто неприязненно настроен. На это мне ответили, что в один из его приездов был грандиозный скандал, который кончился неприятностями для хора, поэтому они сейчас пошли неохотно и держали себя настороженно. Я невольно испугалась за себя и своих друзей. «Не попасть бы и нам в какую-нибудь историю,— мелькнула мысль.— И зачем я поехала, ведь я раньше никогда не соглашалась сопровождать его в публичных местах. Зачем я согласилась?» Нужно было бы встать и незаметно удалиться. Но как-то захватил водоворот. «Будь что будет»,— опять пронеслась мысль. И я осталась.

— Мою любимую, любимую теперь,— командовал Распутин.— «Эх да тройка, снег пушистый».— Бледный, с полузакрытыми глазами, с черными прядями волос, спадавших на лоб, он дирижировал.— «Еду, еду, еду к ней...» — подхватывал он, и в голосе его было столько распаленной страсти и стремительной удали.

Эти интонации его голоса врезались в моей памяти. И его лицо с полузакрытыми глазами, которые казались огромными и пылающими, когда он их раскрывал внезапно. Все-таки какая мощная стихийная сила заложена в этом человеке.

Компания наша все увеличивалась. Постоянно кого-нибудь из нас вызывали, просили разрешения присоединиться к нашей компании. Крупные фабриканты К. узнали, что я здесь, и просили представить их Распутину. Какие-то англичанки, приехавшие недавно с военной миссией, умоляли разрешить им остаться, чтобы посмотреть на Распутина. Они уселись в углу и смотрели на него, не шевелясь, не спуская глаз. Нас было около 30 человек. Кто-то предложил ехать в Стрельну. Мы собрались. Уезжая, наша компания хотела заплатить по счету. Но лакей, почтительно изогнувшись, заявил, что уже все оплачено чиновниками из градоначальства.

В Стрельне мы заняли обширный кабинет, выходящий окнами в зимний сад. Публика вскоре узнала, что с нами Распутин. Взлезали на пальмы, чтобы взглянуть в окно на Распутина. Вино лилось рекой. Он настойчиво угощал хор шампанским.

— Ну-ка, славить Григория Ефимовича,— предложил кто-то из хористов.

— «Выпьем мы за Гришу, Гришу дорогого»,— хор заметно пьянел. Начиналась песня, внезапно обрывалась, прерываемая хохотом и визгом. Распутин разошелся вовсю. Под звуки «русской» он плясал с какой-то дикой страстью. Развевались пряди черных волос, и борода, и кисти малинового шелкового пояса. Ноги в чудесных мягких сапогах носились с легкостью и быстротой поразительною, как будто выпитое вино влило огонь в его жилы и удесятерило его силы. Плясали с ним и цыганки. Время от времени он дико выкрикивал что-то. Такого безудержного разгула я никогда не видала. В кабинет вошли два офицера, на которых сначала никто не обратил внимания. Один из них подсел ко мне и, глядя на пляшущего Распутина, сказал:

— Что в этом человеке все находят? Это же позор: пьяный мужик отплясывает, а все любуются. Отчего к нему льнут все женщины?

Он смотрел на него с ненавистью. Дело шло к рассвету. Ресторан закрывался. Мы

поднялись, оказалось, и здесь счет был уплачен чиновниками. Не знаю, кто решал и как это вышло, но мы уже мчались в автомобиле в какой-то дальний загородный ресторан. После душного воздуха кабинета так хорошо дышалось чистым весенним воздухом.

В ресторане, куда мы подъехали, был большой сад. Мы устроились в беседке с цветущей сиренью, обрызганной росой. Было чудное утро. Пели птицы, всходило солнце.

— Благодать какая, красота Божья,— говорил Распутин, усаживаясь за столиком.

Нам подали кофе, чай, ликеры. Офицеры тоже были с нами. Они перешептывались между собой. Один из чиновников стал расспрашивать, кто их знает, кто допустил их в наше общество. Оказалось, их никто не знает. Они о чем-то сговаривались и спорили взволнованным шепотом, кто первый подойдет. Чиновники попросили их удалиться. Они запротестовали. Поднялся шум и спор. И вдруг раздался выстрел. Кто первый выстрелил, я не знаю. Начался переполох, свистки, крики, с некоторыми дамами истерики. Кто-то толкал нас к выходу. Кто-то тащил меня за руку, усадил в автомобиль. И рядом устроили Распутина, который упирался и не хотел ехать. Все это произошло так быстро, что я и опомниться не успела. Уж мы летели. В ушах еще звучали выстрелы и крики. Все мы очень переволновались. Распутин сразу оправился от волнения, но угрюмо молчал.

— Не любят меня вороги мои,— сказал он и снова погрузился в молчание.

Повезли нас всех на квартиру г. Е., моего знакомого. Нам сообщили по телефону, что офицеры арестованы, они заявили, что покушаться на жизнь не хотели, но имели намерение избить Распутина. У Распутина лицо пожелтело. Он сразу как будто постарел на несколько лет. Нервы у всех после бессонной ночи и волнения в загородном ресторане разошлись. Произошел неожиданный инцидент с женой фабриканта К. Она спросила его:

— Отчего ты не уберешь из России жидков? Житья от них нет.

— Как тебе не стыдно так говорить,— ответил он.— Они такие же люди, как и мы. Наверное, каждый из вас знает хоть одного хорошего человека-еврея, хотя бы зубного врача.— Потом он ей сказал: — Хочу с тобой поговорить.

Они вышли и пробыли минут 15. Когда вернулись к нам, она ему говорила:

— Какой ты умный. Вот я и не думала, что ты такой умный.

— А что же ты думала?

— Да я думала, что ты просто жулик.

Он грустно посмотрел на нее и сказал:

— Мне легче бы было, чтобы те офицеры меня ударили, чем от тебя, женщины, такие вещи слышать.

Вмешался адъютант.

— Как вам не стыдно так обижать Григория Ефимовича. В моем присутствии я не позволю так говорить.

Она оправдывалась: ведь это она говорила не свое мнение, а слышала от других.

— Мало ли что я о вас слышал. Например, что ваш муж на гонках погиб не случайно, а кончил самоубийством из-за вас, но я вам этого не говорил.

С нею сделалась истерика.

Она ушла, рыдая, заявив, что ее, беззащитную женщину, здесь обижают. Распутин молчал.

Скоро и я ушла, так как валилась с ног от усталости. Моя квартира была почти рядом. Я легла и сразу заснула как убитая. Через час меня разбудил длительный звонок телефона. Было 10 ч. утра.

— Вы знаете, «отец» пропал,— говорил грузин.— Не у вас ли он? Мы его уложили в кабинете на диване. А он незаметно ушел и неизвестно куда. В час мы должны ехать к генеральше К. Мы все приглашены, а он и отдохнуть не успеет.

Мне не пришлось уснуть, так как беспрерывно звонил телефон, справлялись о Распутине, просили звонить во все концы. По словам грузина, по всему городу были разосланы

агенты. Около часу в моей квартире звонок. Я услышала в передней голос Распутина:

— Франтик, ты готова?

— Где же ты был? — спросила я через дверь.— Тебя ищут по всей Москве. Всю полицию на ноги поставили.

— Ну, не все ли равно, где был,— засмеялся он.— А вот я привез к тебе барыньку новую. Хочу тебя с нею познакомить. Она хорошая.

Я была еще не одета и наотрез отказалась выйти и принять незнакомую барыню. Она простилась с ним и ушла, а он остался ждать в гостиной. Так я и не узнала, где он был и какую барыню привез. Я протелефонировала грузину, что «отец» у меня. Вскоре он явился, и мы втроем отправились к генеральше.

У генеральши К. в великолепной гостиной со стильной мебелью ампир ждало нас многочисленное общество. При нашем появлении распахнулась дверь в столовую красного дерева, и нас пригласили к завтраку. Богато сервированный стол утопал в цветах. Дорогой севрский фарфор, хрусталь, старинное серебро. Перед каждым прибором в красивой вазе стояли цветы. Дамы были в светлых весенних туалетах. Уже все были в сборе. Оставалось незанятым одно место. Ждали польскую графиню-беженку, которая хотела познакомиться с Распутиным. Наконец пришла и она в элегантном сером платье с жемчугом. Генеральша встала ей навстречу и подвела к Распутину. Он, по своему обыкновению, пристально, в упор стал смотреть в ее глаза. Она пошатнулась. Стала пятиться, дрожать и вдруг повалилась в истерическом припадке. Она кричала и билась. Ее подхватили и увели в спальню. Мы завтракали, смущенные неожиданным эпизодом с графиней. Пришли сказать, что ей лучше, но она не может выйти к столу. Распутин пошел к ней. Там он ласково к ней подошел, стал гладить и что-то говорить. Но с ней опять повторился припадок.

— Не могу, не могу вынести этих глаз,— кричала она.— Они все видят. Не могу.

Когда он вернулся к нам, все дамы стали просить его дать на память карточку. Он сказал, что у него нет сейчас фотографий. Все разошлись. Я вспомнила, что один начинающий художник, мой знакомый, открыл художественную студию и просил меня привести к нему Распутина, если он будет в Москве. Предложила ему поехать. Он согласился. Я протелефонировала художнику, предупредив, чтобы не было посторонних. Мы отправились в сопровождении грузина. Нас встретили две горничные и несколько помощников фотографа. Я удивилась многочисленности его персонала. Как оказалось, это были переодетые дамы, знакомые художника, которые хотели взглянуть на Распутина. Его сняли в нескольких видах. Он хотел непременно сняться со мною.

— Хочу с тобой, Франтик, снимайте нас.

Но я, предвидя это заранее, как только мы вошли в квартиру, предупредила художника, что я не хочу сниматься вместе. Мы уселись, щелкнул аппарат с закрытым объективом.

Возвращаясь к генеральше, он не захотел ехать на автомобиле, сел со мною на извозчика, а адъютанта просил сесть на другого.

— Я тебя обижал в Питере,— говорил он.— Ты меня прости. Худо я с тобою говорил. Ведь я простой мужик, у меня что на сердце, то и на языке.

Снял шапку. Ветер развевал во все стороны его волосы. Перекрестился.

— Накажи меня Господь, если ты когда-либо услышишь от меня хоть одно худое слово. Ты лучше всех, ты бесхитростная. Простячок мой. Проси, чего хочешь, я все могу сделать.

Мне не хотелось говорить о деле. Знала, опять начнется канитель. Я молчала.

— Может, денег хочешь? Хошь миллион? Скоро у меня выйдет одно большое дело. Я получу шибко много денег.

— Что ты, отец, никаких мне твоих денег не надо.

— Ну, как знаешь, а только я рад для тебя все сделать. Очень ты хороший, Франтик, душа с тобою отдыхает.

У генеральши уже ждали его два чиновника из градоначальства. Он расцеловался со всеми, просил меня опять приехать, и мы расстались. Он поехал с чиновниками на вокзал.

Июнь 1922 г. Берлин

Прошло 6 лет. И вот в мои руки снова попали листки моего дневника и карточка Распутина с его каракулями, и его письма, и телеграммы. Если бы не эти доказательства всего пережитого, я бы не поверила, что все это было. Я бы подумала, что все это сон, который приснился мне. Как все это давно было, и какими невероятными мне кажутся эти страницы моей жизни. Ну вот я держу в руках пожелтевшие, истрепанные листы, безграмотно исписанные, я вижу эти широко расставленные вкривь и вкось буквы.

«Дорогому простячку, Франтику»,— читаю я и снова слышу певучий голос с его растяжкой на «о». А вот и портрет, прекрасный, большой. Он был прислан мне с надписью: «Мило вдухе любящей врадосте во господе леночке Григорий». В застегнутом армяке, который я видела столько раз, с его великолепной парчовой подкладкой. Со сложенными руками, суровый и сосредоточенный. Таким я видела его последний раз.

Снова вонзаются в меня его огромные светящиеся глаза.

Да, все это было! Где теперь все его почитательницы? Куда развеяла их налетевшая буря? Как много пришлось после последней встречи с ним пережить. В декабре я узнала о его смерти. Как поразило это известие, хотя этого всегда можно было ожидать, так велика была ненависть, возбуждаемая им.

Через несколько дней приехала генеральша К., у которой мы завтракали с ним в последний раз. Она рыдала у меня в гостиной и звала меня в Петербург на похороны. Я не поехала. А потом революция, большевики. И уже побледнели все воспоминания. Я попала в тюрьму при большевиках. Меня обвинили в том, что я хотела увезти драгоценности, которых уже у меня давно не было. Часть была прожита, часть отнята чекой, вместе с квартирой и всей обстановкой. Много тяжелого пришлось перенести в тюрьме. Я была приговорена к расстрелу. Но потом смертную казнь заменили высылкой из России, т. к. к иностранным подданным не решались применить приговор. Но все-таки удалось выбраться. Потеряно все: здоровье, состояние, друзья. Приходится жизнь начинать снова... С большим трудом и всякими приключениями провезла я через границу свой дневник, письма, карточки, в числе которых были письма и карточки Распутина. И вот, перебирая все эти остатки далекого прошлого, я решила напечатать отрывки из своего дневника. Ведь это не только страницы моей жизни, но и клочки нашей русской истории. На этих страницах хотя и бегло, но все-таки обрисовывается своеобразная фигура этого странного человека, встреченного мною на пути. Человека, сыгравшего такую роковую роль для России.

К. Д. Набоков

Испытания дипломата

⟨...⟩ Настоящие записки не являются историческим исследованием, каждый тезис которого подтвержден и доказан документами, приведенными «мелким шрифтом». Почти три года я нес на своих плечах ответственность, сопряженную с званием представителя России. Я подвергался критике своих соотечественников в таких размерах, о которых и не снилось моим предшественникам на посту русского представителя в Англии. За последние 8 месяцев вместо поддержки, на которую я вправе был рассчитывать, я получал удары в спину из Парижа. Я поэтому не претендую на звание историка. Я рассказываю лишь то, что я видел, слышал, выстрадал и, худо ли, хорошо ли, выполнил. Степень интереса, который способен вызвать мой рассказ, зависит исключительно от степени доверия, им внушенного.

Будущий историк этого трагического периода, быть может, наиболее знаменательного по своему влиянию на дальнейшую судьбу англо-русских отношений, будет иметь в своем распоряжении не только дипломатические документы, но и английскую печать и парламентские отчеты. Вот к какому заключению он придет и подтвердит оное параллельными цитатами из большевистской газеты «Дейли геральд» и из парламентских отчетов: «Встревоженные исключительно благоприятною обстановкою для помощи русским национальным силам, создавшеюся в декабре 1918-го года, некоторые органы английской печати, а в особенности «Геральд» (бывший в то время еженедельником), начали агитировать за прекращение дальнейшей военной помощи России. «Теперь война кончилась, исчез предлог „общего врага". Надо прекратить посылку войск в Россию». С этим правительство немедленно согласилось. «Все союзные вооруженные силы должны покинуть Россию», заявил «Геральд». Северная область была эвакуирована, и английские войска были уведены из Закавказья в той мере, в которой это соответствовало чисто британским интересам. «Всякая помощь Колчаку, Деникину и Юденичу должна прекратиться», властным голосом потребовали «Геральд» и его приспешники. Заявление в этом смысле было вскоре сделано правительством в палате. «Мир и торговля с Россией и признание правительства Ленина». Такова четвертая заповедь большевиствующих пророков в Англии. Мы вошли ныне в этот четвертый фазис английской политики по отношению к России».

Вышеприведенные строки — выдержка из моей статьи за подписью «Друг Англии» в еженедельнике «Новая Россия», издававшемся русским комитетом освобождения в Лондоне. Я не сомневаюсь, что историк подтвердит эти слова.

Я всецело отвергаю все стереотипные аргументы о «коварстве Альбиона», все подозрения в ненависти Англии к России и в стремлении продлить муку России с тем, чтобы ее ослабить и расчленить. Я убежден и ныне, что английский народ искренно расположен к России, понимает всю огромность жертв, принесенных ею на общее дело, и всю глубину ее теперешних страданий. «Томми Аткинс», жалевший «Фритца» более, чем ненавидевший «человеческое мясо для пушек» в руках Вильгельма II, не может ненавидеть Россию.

От Томми Аткинса до высших генералов британская армия была другом России, быть может, более преданным, чем другие участники в общем деле.

Генералы Бриггс, Нокс, Хольман, Ханбери Вильямс... были и остаются друзьями России. Никогда не забуду следующего инцидента.

В день торжественного шествия союзных войск по улицам Лондона (тут были японцы, португальцы, но русских не было) я встретил генерала Ханбери Вильямса. С *дрожью в голосе и со слезами на глазах* этот типичный представитель корректности и холодности, свойственных англичанам, выразил мне симпатию и сказал: «Мне невыразимо больно видеть эту процессию, в которой нет русских войск. Я всем нутром своим чувствую, как это несправедливо и дурно».

Те, кто говорил, что им решительно все равно, голодает или нет Петроград (такое заявление было сделано князю Львову в ноябре 1928 года одним высокопоставленным лицом, холодная сухость которого произвела на князя потрясающее впечатление),— были в меньшинстве. Я верю, что в тот день, когда на улицах Лондона будут выкрикивать «последнюю новость», свержение большевиков, ликование *публики* будет всеобщим. Там, где разочарованные или предубежденные русские люди видят «коварные» замыслы, враждебную предусмотрительность или сухой расчет, я вижу лишь... пустое место.

Разгадка этой, на первый взгляд непонятной покорности правительства влияниям, враждебным России, заключается, на мой взгляд, в том, что за последние полтора года Английское правительство блуждало в потемках, не ведало, что творило, и потеряло всякую способность видеть дальше «интересов сегодняшнего дня». Чем это объясняется?

В 1917 и 1918 годах постоянно раздавался призыв: «Еще одно усилие! Россия сдалась. России больше нет. Но Америка с нами. Америка нас спасет. Нужны еще люди, еще деньги. Война стоит восемь миллионов фунтов в день. Мало хлеба, мало мяса, мало угля. Терпите, умирайте. Мы должны спасти Европу и самих себя от немецкого нашествия. Мы победим, и будет мир, свобода и благоденствие. Эта война положит конец войнам».

Победили. 11 ноября зазвонили в колокола... и немедленно стали разоружаться. Собрались в Париже и начали вершить судьбы мира. Вместо того чтобы заключить мир с Германией, стали производить на свет одного за другим мертворожденных «выкидышей» самоопределения. Юлий Цезарь, Вашингтон, Сократ, Наполеон не заслужили бы бессмертия, если бы в дни их земной жизни существовал кинематограф. Никто не может быть фотографирован, кинематографирован по 50 раз в день, улыбаться, морщиться, поднимать шляпу, спускаться с лестниц, влезать в автомобили... под ударами дюжины фотографических камер... и не возомнить себя бессмертным. «Большая четверка» в самом деле и вообразила, что если она, подобно Иисусу Навину, скажет солнцу «Остановись!», оно немедленно же и остановится.

Была победа. Но мира, свободы и благоденствия не последовало. Растерянные победители с каждым днем с изумлением соображали, что «времена мирные» еще за горами и что плоды победы еще далеко не созрели. Запасы хлеба, угля и мяса не увеличивались по мановению волшебного жезла — «четырнадцати пунктов». Жить было труднее, чем прежде. Народ начинал сердиться. Немецкого милитаризма больше нет. Германский император, ненавистный символ всех зол своего времени, мишень для карикатуристов и сатириков — жалкий пленник в голландском замке,— окончательно забыт. А жить трудно. Герои, спасители отечества, не находят заработка. Их сестры и жены, зарабатывавшие по десяти фунтов в неделю на заводах для изготовления снарядов,— уволены. А жизнь дорожает. Все это вызвало крик: «Экономия». Правительство должно считать каждый грош. Армию надо сократить. Лишних чиновников надо уволить. Не надо могущественного флота. Мы думали, что сдерем с немцев последнюю шкуру,— и вдруг оказывается, что платить они не могут, потому что мирный договор лишил их возможности быстро «встать на ноги». Все это вызывало раздражение в массах.

Такова была психология, которою ловко воспользовалась большевистская пропаганда, кликнувшая клич, столь понятный рядовому обывателю: «Помощь России связана с расходом. А у нас нет лишних денег». Поэтому, как бы мы ни сочувствовали страданиям наших русских друзей, мы помочь им не можем. Это было лейтмотивом пропаганды.

Мы находим этот лейтмотив и в иных кругах. Только две из держав Согласия непосредственно заинтересованы в судьбе России: Англия и Франция. Другие или слишком далеки, или слишком незначительны (я исключаю Японию, которая «слушает да ест»). Франция противится плану англичан мириться и торговать с Совдепией. Из Лондона раздается голос: «А вы готовы посылать войска и тратить деньги для спасения России? Когда доходит до дела, до «вынь и положь»,— вы к нам. Извините — мы больше не можем».

И не могут. В этом-то и горе. Общественное мнение в этом убеждено длительной пропагандой. Оно теперь раздражено и разочаровано и не хочет думать о тех гибельных последствиях, которые неминуемо повлекло бы за собою торжество большевизма. Общественное мнение — не допустить новых «жертв» для спасения России. Напротив, оно жаждет, чтобы Англия поживилась русским сырьем. Настало время, когда не принципы или устарелые политические соображения, а «сырье» является путеводною звездою, направляющею волхвов с кинематографическим ореолом бессмертия. «Сырье — это ultima ratio * международных отношений, в особенности же отношения Англии к России.

В июне 1919 года я старался объяснить Омскому правительству, которое продолжал осведомлять о событиях и о течениях в правительстве и общественном мнении, что следует окончательно оставить надежду на помощь со стороны Английского правительства в размерах, соответствующих нашим потребностям. Я поэтому заявлял, что надо перестать попрошайничать и постараться поставить все вопросы о материальной поддержке на чисто деловую почву. Было ясно, что наши потребности будут расти по мере продвижения белой армии. Я считал, что следует войти в непосредственные сношения с английскими и американскими фирмами. Мы могли бы платить «ценностями» за получаемые ценности. Этого Омск никак понять не мог. Мой совет и в этом случае, как и во всех прочих, вызывал возражения из Парижа. Правительство Колчака ответило: «Мы получаем снабжение от Английского правительства». У меня опускались руки!

В середине 1919 года ясно обнаружилась основная причина, долженствовавшая неминуемо привести к краху «белого» движения.

Обнаружилось, что ни одна из «белых» организаций не способна установить в тылу армии элементарные условия экономического оздоровления и политического мира, без которых невозможно было надеяться на поддержку армии населением и на сопротивление большевистской пропаганде. Для достижения этих условий требовалось также усилие со стороны наших бывших союзников, не военное, а чисто коммерческое, на которое и они уже были неспособны в силу внутренних обстоятельств, ясно сознаваемых государственными людьми. То, что в небольшом масштабе произошло на северо-западе — переход от красного террора к грабежам и разорению белыми,— повторилось в грандиозных размерах в Сибири, а позднее и на юге России.

С середины 1919 года я потерял всякую надежду на победу Колчака.

Работа моя становилась невыносимо тягостна. Еженедельно приезжали из Парижа друзья, предупреждавшие меня, что со дня на день должен прибыть в Лондон назначенный Сазоновым мой заместитель.

Наконец, 9 сентября Е. В. Саблин передал мне следующее письмо от С. Д. Сазонова:

«Уже во время моего последнего пребывания в Лондоне (в июне) я обратил ваше внимание на то, что отсутствие почти всякого общения между вами и английскими правящими кругами создает положение, весьма вредно отражающееся на русских государственных

* Последний довод (*лат.*).

интересах. В настоящее тяжелое время личное влияние наших представителей за границей должно иметь особенно важное значение, так как им должно в известной мере восполняться временное умаление авторитета России в международных сношениях.

Не считая возможным долее нести ответственность за создавшееся положение в Лондоне, я принужден поручить советнику посольства Е. В. Саблину принять от вас управление посольством».

Сазонов писал мне «совершенно доверительно»!.. Такова сила старых привычек. Человеку, пробывшему в Париже 8 месяцев (в момент написания письма) министром иностранных дел Омского и Екатеринодарского правительств и н и р а з у н е в и д а в ш е м у ни Клемансо, ни Вильсона, ни Ллойд Джорджа, которые принимали Чайковского и (кажется) князя Львова, казалось бы, надлежало с опаскою касаться вопроса о восполнении временного умаления авторитета России «личным влиянием представителей». Не мне судить о том, насколько это удалось моему заместителю.

Я благодарен Сазонову. Послав меня в Норвегию (откуда я подал в отставку, когда убедился в полной невозможности там работать на пользу России), он избавил меня от тяжелого испытания. С моим отъездом из Лондона почти совпала смерть Колчака и прекращение всякой помощи России со стороны англичан. Мне таким образом не пришлось вторично, как в 1917 году, представлять «бывшее правительство». Разница заключалась в том, что в 1917 году мы верили в б у д у щ е е правительство. В 1919-м мы это будущее правительство отпевали. Тогда Литвинов входил к англичанам с заднего крыльца. Теперь Красин подъезжает к «парадному» ходу дома, в котором живет Ллойд Джордж.

В. Сухомлинов

Воспоминания

⟨...⟩ Николай Александрович из-за несовершенства своего характера и неподготовленности к призванию самодержца — жестоко поплатился.

Мне как слуге непристойно присоединяться к хору его обвинителей. Для критики образа его правления, по существу, время еще не созрело. Пусть критикуют следующие за нами поколения, которые не испытывали на себе чары его личности. В моей памяти жив лишь Николай Александрович как мой добрый царь, которого я и в самые трудные дни его жизни, в 1917 году, когда его же близкие люди, во главе с Николаем Николаевичем, предали, поддержал бы всеми силами, — но я сидел в тюрьме и притом не без согласия, конечно, самого царя.

Николая Александровича я знал еще со времени Балканской войны, в течение последних двенадцати лет моей службы командующим войсками, начальником Юго-Западного края и военным министром; часто приходилось вести с ним серьезные разговоры, причем нередко затрагивались вопросы о существовании государства, большею частью в тяжелые дни, но иногда и в счастливые — полные надежд на будущее.

Если бы в настоящее время я сказал, что этого монарха-мученика действительно знал глубоко по существу и всесторонне, — я бы уклонился от истины. Я не принадлежал к числу тех немногих, как, например, граф Фредерикс и раньше граф Шувалов, которые принимались на положении друзей царской фамилии и в повседневной жизни с царем и наследником находились в условиях общечеловеческих сношений. Мы виделись лишь, когда это вызывалось служебною необходимостью. Если по каким-либо обстоятельствам происходила более интимная встреча, то здесь играла роль случайность.

Между царским домом и нами, сановниками, не принадлежавшими к тесному семейному кругу, находилась стена, перешагнуть которую нам, старым солдатам, хотя и соприкасавшимся в различных случаях с царем и его близкими в течение многих лет, удавалось лишь очень редко.

Естественной причиной этого явления была обширность царской фамилии, что в значительной степени облегчало ей жить замкнуто в своем кругу, не нуждаясь в посторонних; если бы семья состояла всего лишь из небольшого числа лиц, это было бы уже гораздо труднее.

Ввиду большого количества подраставших молодых великих князей, в семидесятых и восьмидесятых годах, не было никакой необходимости привлекать для игр и занятий сверстников из семей, преданных царю.

Николай Александрович был очень дружен с детьми великого князя Михаила Николаевича, брата Александра II, и часто после обеда, когда «весь Петербург» отправлялся по набережной Невы на острова, — его можно было видеть сидящим на подоконнике большого окна Михайловского дворца. Великий князь Сергей Михайлович был его самый близкий друг: когда наследнику пришлось расстаться с холостой жизнью, он принял на се-

бя заботы о Кшесинской, красивой балерине, которая для Николая Александровича была более нежели минутным увлечением.

Меня и многих других не раз удивляло большое доверие царя, которое он иногда проявлял. Казалось, этому не было границ. Но лишь только вопрос касался лиц царской фамилии, грань давала себя чувствовать, точно государь опасался деятельность этого лица подвергнуть критике постороннего.

Этим родственным чувством, которое по отношению ко мне никогда не проявлялось в виде высокомерия, и объясняется то, что мы считали слабостью и неустойчивостью главы Романовых, а это привело к тому, что в действительности в критические минуты Николай II принимал решения, не проистекавшие из его самодержавной воли, а под давлением того члена царской фамилии, который в данный момент имел на царя наибольшее влияние.

Сергей Михайлович, вдовствующая императрица Мария Федоровна, убитый в Москве в 1905 году Сергей Александрович, императрица, больше всего Николай Николаевич Младший имели возможность при этих условиях влиять на некоторые начинания царя — что шло вразрез с наилучшими стремлениями и вызывало обиды его сановников, имевших в виду лишь пользу страны и престола.

Будучи еще юношей, Николай Александрович обратил на меня внимание. В 1878 году, как я уже говорил, Драгомиров рекомендовал меня в воспитатели к наследнику. Ближе я познакомился с Николаем Александровичем, когда он стал перед эскадроном. Во время бытности моей начальником офицерской кавалерийской школы он проходил практически устав кавалерийского обучения на эскадроне школы.

Цесаревич очень аккуратно посещал занятия эскадрона школы и прошел все уставное обучение кавалериста, до эскадронного учения включительно. Чрезвычайно внимательно относился ко всем указаниям, разъяснениям и перед эскадроном произносил команды отчетливо, уверенно.

На первых порах казалось, что он сам своего голоса не узнает и удивляется его звучности, но скоро эта робость улеглась.

На память об этом обучении я получил от его императорского высочества портрет, в гусарской форме, с подписью.

До 1898 года, т. е. за время, что я был начальником офицерской кавалерийской школы, видел я государя часто, но не приходя при этом к личному сношению. В ближайшие 10 лет, когда я командовал 10-й кавалерийской дивизией, был начальником штаба и помощником Драгомирова, а также командующим войсками в Киеве, — мне доводилось видеть царя лишь во время моих приездов в столицу.

Мои личные разговоры с государем по поводу последствий японской кампании и проекта реорганизации великого князя Николая Николаевича я уже изложил раньше, точно так же и обстоятельства, при которых я принял должность начальника генерального штаба под командою Редигера. Государь не смог быть мне во всем поддержкою, как он это обещал.

Планомерного описания самого государя и его семьи дать я не могу, но приведу отдельные очерки к общей картине, которую впоследствии будет писать непредубежденный историк.

* * *

При вступлении на престол Николая Александровича старшего из Михайловичей, великого князя Николая Михайловича, не было в Петербурге. Когда он вернулся в столицу и явился его величеству, то государь, в силу прежних дружеских отношений, встретил его ласково, приветливо, и «дернула меня нелегкая», как он сам рассказывал мне затем, спросить государя: «А когда же ты сделаешь себя генералом?»

Государь сразу же изменился и недовольным тоном ответил ему:

— Русскому царю чины не нужны. В Бозе почивший отец мой дал мне чин, который я и сохраню на престоле.

Государь вел очень регулярную жизнь, много ходил, ездил верхом, греб, любил вообще всякий спорт и охоту. Разговоры об этом в его присутствии не воспрещались. Однажды затронул я один вопрос, который причинил свите много горя. На первоклассных лошадях, и при своей тренировке, государю не трудно было закатывать репризы в 12—14 верст безостановочно. А так как он при этом никогда не оборачивался, то и не видел, что его свита обыкновенно уже растягивалась на несколько верст и под конец добрая половина ее оставалась совсем назади. Некоторые всадники даже скорее висели, а не сидели на лошадях и обнимали лошадей за шею, чтобы облегчить страдания.

По поводу одного разговора о парфорсной охоте офицерской кавалерийской школы и о расстояниях, которые при этом покрывались на полевом галопе, мне удалось высказать, что все зависит от втянутости в работу как всадника, так и коня. Не привыкший к работе ездок на тренированной лошади не выдержит, и обратно, тренированный всадник на не втянутой в работу лошади не будет в состоянии достигнуть успеха, соответствующего его собственным силам. Поэтому в компании невтянутых ездоков следует сообразовать аллюр с силами последних. Государь посмотрел на меня и спросил: «В чей огород этот камень?» — «Ни в чей, ваше величество, — это естественный вывод, с которым нет надобности и соглашаться, — это даже принцип — но ведь нет правил без исключений».

Тем не менее после того на маневрах свита имела иногда передышки.

До какой степени близки были государю интересы нижних чинов армии, доказывает опыт пригонки и целесообразности всего снаряжения солдата.

Находясь в Ливадии, он потребовал из цейхгауза стрелков, содержавших караулы в царской резиденции, — полный комплект снаряжения и оружия, чтобы все это испытать лично на себе. После пригонки и укладки всего положенного для похода его величество сделал переход, отвечающий нормальному движению пехоты.

Император Николай II был далеко не мощного сложения и роста ниже среднего, поэтому если вес солдатской ноши ему был по силам, то это доказывало, что непомерной тяжести для солдат она не имеет.

В 1913 году, во время своего пребывания в Ливадии, государь разрешил жить и мне в Крыму. В Суук-Су нанята была дача для меня и личной канцелярии военного министра; в моем распоряжении был и миноносец, на котором я мог ходить в Ялту.

Во время бала, на котором мы были в Ливадийском дворце с женою, в то время, что она сидела в зале, где танцевали, я встретился с государем в одной из гостиных, в которой играли в карты.

— А вы, Владимир Александрович, в карты не играете? — ласково спросил меня Николай Александрович.

Я ответил, что играю плохо, поэтому предпочитаю раскладывать пасьянс.

По указанию его величества для меня приготовлен был ломберный стол и карты для пасьянса, который я и раскладывал, — а молодые великие князья приходили смотреть, какие я именно пасьянсы раскладываю, чтобы доложить государю.

Действительно, у себя, среди семьи, государь этикеты всякие оставлял за порогом своего жилища: это был добрый, радушный хозяин, у которого все чувствовали себя легко и уютно. Таким же он бывал на товарищеских обедах в частях войск Царскосельского гарнизона, которые устраивались периодически, причем приглашались и служившие раньше в полках.

Я принимал в товарищеской трапезе кирасир участие — сидел рядом с государем. О службе нельзя было и заикаться. Обеды не были роскошны, все было очень просто, но они были полны духовным единением верховного вождя русской армии со своими сослуживцами, именно сослуживцами, потому что при соблюдении полнейшей субординации

3 630

никто притесняемым себя ни в каком смысле не чувствовал. И этих обедов, по силе их нравственного значения и выносимых впечатлений, никто из принимавших в них участие, конечно, не забудет.

На празднике лейб-гвардии гусарского его величества полка, в Царском Селе, 6 ноября, государь обыкновенно участвовал в вечерней трапезе среди любимых им гусар, причем, как бывший командир полка, великий князь Николай Николаевич, конечно, присутствовал.

В один из таких полковых праздников упросили шефа полка за ужином о производстве в следующий чин капельмейстера, прекрасно дирижировавшего хором трубачей. Для такого производства он не выполнял какого-то одного из условий, в порядке производства гражданских чиновников военного ведомства, о чем великий князь знал. Поэтому государю сделан был намек о том, — а как отнесется к этому военный министр?

Государь на это очень находчиво сказал, что военный министр повеление его исполнит немедленно и беспрекословно, если только получит категорическое распоряжение. Был уже час ночи, т. е. 7 ноября — по-настоящему, — поэтому речь зашла о том, что в приказ от 6 числа это попасть не может ни в каком случае.

Государь был в настойчивом настроении и с великим князем Николаем Николаевичем держал даже пари, что в приказе на 6 число это появится. Сейчас же составлена была депеша на мое имя и отправлена в Петербург.

В этот вечер я был вместе с женой на балу морского кадетского корпуса и около 2 часов утра, по обыкновению, когда возвращался домой, зашел в кабинет, где и нашел эту телеграмму. Точно чутьем я угадал, что ее исполнить надо безотлагательно. Но как это сделать? Как старому сотруднику «Русского инвалида» мне хорошо был знаком порядок печатания этой официальной нашей военной газеты, поэтому я телефонировал в типографию уделов, где она набиралась, и спросил, есть ли там дежурный чиновник от редакции «Русского инвалида». Оказывается, есть. Требую его к телефону и узнаю, что номер набран и сейчас собираются спустить его в печатный станок. Требую обождать и диктую ему дополнение к высочайшему приказу о производстве капельмейстера, что и выполняется.

Осторожный дежурный чиновник после этого спросил по телефону моего швейцара, — дома ли я и говорил ли по телефону с типографией, — и, получив утвердительный ответ, — успокоился.

Государь, таким образом, пари выиграл.

* * *

При отзывчивости Николая Александровича на все доброе, помощь, оказываемая многим лицам из собственных, личных средств государя, была и существенна и дискретна.

Когда меня назначили начальником генерального штаба, вместо содержания, доходившего в Киеве в общем до 60 тысяч рублей в год, — я переходил всего на 10 тысяч в Петербурге.

Во время бытности уже министром, пришлось докладывать подобный же случай, и так как это делалось для пользы службы, то я ходатайствовал о сохранении того содержания, которое человек уже получал, ибо назначение новое ему предстоит не в наказание.

Государь посмотрел на меня с недоумением и сказал:

— Ну, конечно, но ведь это же так и полагается?

Я доложил, что именно не полагается и что проведению такого закона воспротивится министр финансов — энергично.

— Но вам ведь сохранили то, что вы получали в Киеве? — спросил меня государь.

Когда я доложил, что не сохранили, то выражение лица бедного моего государя было до того страдальчески-виноватое, что я пожалел о том, что это обстоятельство не доложил с большею осторожностью.

Ходатайство мое было уважено, но тем дело не кончилось.

На очередном докладе, в следующий раз, я видел ясно, что государь что-то надумал, какая-то мысль была у него на уме. Так и оказалось.

Когда я принимал из рук его величества ежедневно подписываемый им высочайший приказ, Николай Александрович с какою-то точно застенчивостью, не глядя на меня, стал мне говорить, что считает несправедливым то материальное положение, в которое я попал по какому-то недоразумению, и что он решил исправить это помощью из личных своих средств.

Заметив мое полное недоумение, государь поспешил добавить:

— Будьте покойны, Владимир Александрович, этого никто знать не будет, и я это делал многим, а вам считаю не только справедливым, но и своим долгом это сделать.

Правая рука государя при этом протягивалась к ящику письменного стола, где, по всей вероятности, лежала более или менее крупная сумма.

Но я запротестовал всеми силами и решился высказать его величеству мысль о том, что он может помочь вообще всем министрам, которые получали тогда ежегодного пособия в размере 6 тысяч рублей из 10-миллионного фонда.

— Хорошо,— сказал государь и действительно так и сделал,— мы получили прибавку в 18 тысяч, т. е. наше содержание, таким образом, удвоилось.

Товарищи мои были удивлены этой неожиданной и крупной прибавкой, ввиду дороговизны жизни в столице, радовались, конечно, но как это случилось — не могли постигнуть, пока это не выяснилось наконец.

Но для меня осталось невыясненным, сам ли государь определил эту сумму или ему было доложено, что можно распорядиться ассигнованием именно в этом размере.

Во всяком случае, в основании всего этого эпизода была инициатива его величества.

Большое значение придавал государь организации потешных: на одном из смотров в Петербурге, на который съехалось громадное количество потешных отрядов со всех концов России, в то время, когда перед государем проходили потешные и я находился вблизи, правее его величества,— ко мне подошел телеграфист и подал срочную телеграмму.

Видя это и предполагая, что в ней что-нибудь очень срочное военному министру, государь спросил меня: «В чем дело?»

Телеграмма же оказалась из Берлина, о том, что моей жене сделали очень тяжелую операцию,— хотя и срочная, но ничего служебного в себе не заключавшая. Тем не менее государь пожелал знать, в чем дело, видя по моему лицу, вероятно, что случилось что-нибудь не совсем обыкновенное.

Дело в том, что доктора послали ее в Вильдунген, а по дороге посоветовали обратиться к профессору Израэлю, известному специалисту по этой части. Израэль, после основательного исследования, признал безусловно необходимым одну из почек немедленно удалить, на что жена мужественно согласилась. После тяжелой этой операции мне и послана была врученная на смотру потешных телеграмма.

Узнав это, государь поразил меня своим сердечным участием, выразившимся в том «высочайшем повелении», которое я от него услышал:

— Сейчас же слезайте с коня и поезжайте в Берлин.

Я просил только его величество разрешить мне уехать на следующий день.

Как монарх Николай Александрович слишком рано вступил на престол: при слабой воле у него не было достаточно даже житейского опыта, а в деле управления колоссальным, разнородным государством и подавно. Часто приходилось слышать, что будто бы вдовствующая императрица Мария Федоровна имела на него громадное влияние — по делам государственного управления.

По-моему, это не верно и, во всяком случае, само выражение не отвечает тому, что было в действительности.

Как сын, любящий свою мать, он относился к Марии Федоровне с большим вниманием и почтением. Вместе с тем, однако, сколько это мне было видно, к делу управления государством она не имела никакого отношения.

Императрицу Марию Федоровну я знал еще, когда она была супругою моего командира гвардейского корпуса, наследника цесаревича Александра Александровича. Последний, как известно, был царь с сильной волей, твердым характером и в чьем-либо влиянии не нуждался. Никакой практики поэтому Мария Федоровна в этом отношении, по делам государственного управления, иметь не могла.

Императрица же была прекрасной наездницей и к верховой езде относилась с любовью.

Во время лагерного сбора под Красным Селом, когда я был начальником офицерской кавалерийской школы, мне часто приходилось встречать Марию Федоровну на прекрасной, кровной лошади, с одним только рейткнехтом, в окрестностях Дудергофа, Тайц и других пунктах, в значительном расстоянии от дворца.

Александр III не одобрял этого спорта, но не препятствовал экскурсиям жены, точно так, как и Мария Федоровна не мешалась в дела государственные.

Когда я был уже в должности военного министра, мне приходилось иногда являться к вдовствующей императрице по делам Красного Креста. В тех случаях, когда какие-нибудь вопросы она считала вне своей компетенции, Мария Федоровна всегда мне рекомендовала самому доложить об этом государю.

Если учесть при этом те не совсем дружественные отношения, которые обыкновенно возникают между матерью и женою сына,— то есть достаточно основания считать, что разговоры о каком-то необычайном влиянии матери на сына в данном случае беспочвенны.

Императрица Александра Федоровна была женщина с устойчивым характером. Имея такую спутницу жизни, странно было бы, чтобы Николай Александрович в трудные минуты, а таковых у него было немало, не посоветовался со своей женой, когда по свойству своего характера он избегал советоваться с чужими ему людьми, хотя и крупными сановниками, но неблагоприятного влияния которых он опасался.

Как императрицу скорее можно было бы укорять ее в том, что она еще недостаточно интересуется делами ее нового отечества — в особенности на тот случай, если бы ей пришлось быть регентшей.

Из страха перед русским сфинксом она к тому же вдалась в болезненный мистицизм, поддержанный желанием осчастливить государя наследником.

Как Николай Александрович, так и Александра Федоровна были люди чрезвычайно набожные.

Во время последних дней беременности императрицы, зимой 1903/1904 г., тогда, когда на Дальнем Востоке уже собиралась разразиться гроза, перед очами царицы появляется типичный сибирский крестьянин, пятидесятилетнего возраста, с проницательными серыми глазами, кладет свою грубую, грязную лапу ей на плечо и, пронизывая взором, предсказывает торжественным тоном: «Ты родишь наследника!»...

Григорий Распутин... каким путем этому человеку удалось пробраться к царице, кто эту «случайность» подстроил, как могло произойти внезапно подобное нападение на императрицу, при исключительной замкнутости жизни царской семьи,— едва ли когда-нибудь это выяснится.

Но человеку этому повезло — в июне месяце императрица Александра Федоровна родила наследника престола!

Распутин был человек, какие тысячами слонялись по Руси, бродят, вероятно, сейчас и будут путаться всегда: умный, наглый, но одаренный сильной волей и знанием человеческой натуры. В роли предсказателей, рассказчиков, гипнотизеров и чудодеев промышляли они всегда среди необразованного люда, а также образованных — с предрассудками — во всех слоях. Распутин, вероятно, обладал в высокой степени магнетизмом: факт,

не подлежащий сомнению, что он тяжелые заболевания, которым подвержен был молодой престолонаследник, облегчал и даже устранял совершенно, тогда как все врачебные средства оказывались бессильными. Как известно, наследник страдал кровоизлияниями и в такой сильной степени, что, когда это случалось,— надо было опасаться истечения кровью. Распутин, в котором императрица видела действительно ниспосланного ей Богом чудотворца,— был в таких случаях приглашаем и останавливал кровь часто одним лишь прикосновением своей руки...

Становится понятным, что при таких условиях напуганная женщина и мать хваталась за этого человека с таким энтузиазмом, какого он не заслуживал, и что со стороны Распутина крестьянский инстинкт побуждал его к личным интересам, материальным выгодам... Его значение возрастало тогда через те круги, интересы которых требовали сохранения связи с двором императрицы. Распутин, в свою очередь, посильно эксплуатировал эту публику с честью, достойной своего имени.

По существу, Распутин вполне соответствовал своей фамилии — это был распутный, пьянствующий мужик, но очень себе на уме, хитрый, ловкий, с неприятными, пронизывающими глазами, которыми он особенно удачно морочил прекрасную половину рода человеческого. На Гороховой улице в Петербурге у него была квартира, в которой он учинял приемы, не уступающие министерским.

Рассказы по этой части, ходившие по всей России, не могут быть особенно преувеличенными, так как то, что проделывал Григорий,— дальше идти было некуда. Но то, что распространяют о нем по отношению к царской семье,— это вздор, просто сказки. Распутин был не дурак, чтобы рисковать своей карьерой, там во дворце он был святоша, преисполненный божественного настроения, пересыпавший речь какими-то, своеобразной редакции, текстами из священного писания, но дерзающий говорить царям «ты».

Распутина впервые видел я на вокзале в Севастополе, в 1912 году, возвращаясь из Ливадии, после доклада у государя. Гуляя по перрону взад и вперед, он старался пронизывать меня своим взглядом, но не производил на меня никакого впечатления. Хорошо помню, что он был тогда в голубой шелковой рубахе, которая своею ценностью к этой роже висельника совсем не подходила. Когда я уволен был от должности, Распутин говорил: «Вот видите, Сухомлинов меня не хотел признавать, и я его отстранил». Подобными приемами пробовал этот ловкий и хитрый старик подчеркивать свое личное влияние при дворе. За соответствующее вознаграждение он готов был на всякие услуги.

Но государь должен был знать о том, что рассказывают о Распутине в Петербурге. Хотя я и не думаю, чтобы он обращал внимание на письма девяностолетнего старца генерала Богдановича, но ведь было достаточно других источников, которыми при желании он мог воспользоваться. На коллективное письмо многих великих князей, в котором они докладывали государю о влиянии Распутина, царь ответил удалением вожаков этого документа из Петербурга.

Что касается самого убийства Распутина, то преступление это явилось как бы кульминационным пунктом в деле дискредитирования царского престижа. Убил его крайний правый монархист Пуришкевич, очевидно, полагая, что этим устранена будет одна из причин, умаляющих достоинство и ореол императорского дома.

Но создавшаяся обстановка этого криминала способствовала на самом деле результатам совершенно противоположным. В дом-дворец князя Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон, заманили Распутина на вечеринку. В числе гостей был и великий князь Дмитрий Павлович. Предполагалось, что удастся опоить ядом, но когда он не подействовал, то Пуришкевич застрелил Распутина, и с признаками жизни еще последнего вынесли из дома в сани, причем около подъезда во дворе снег обильно полит был кровью.

Чтобы отвести следы преступления,— тут же пристрелена была большая собака, кровь которой могла служить для полиции соответствующим объяснением. Тело же Распутина

отвезено было на тройке к Тучкову мосту, где с привязанным к ногам грузом и опущено в прорубь — на Малой Неве.

Смерть этого человека осталась без последствий не для престола, а лишь для убийц, несмотря на то, что имена их и помощников преступления были у всех на устах.

Особенно щепетилен был государь в отношении всего, что касалось, так или иначе, семейной его жизни, вторгаться в которую он не допускал. Этому надо приписать и то странное явление, что у Алексея Николаевича, наследника престола, не было воспитателя, вопреки тому, как это всегда его предками признавалось обстоятельством чрезвычайно важным в смысле воспитания и образования будущего самодержца. Весьма правдоподобно, что вторжение в царскую семью постороннего человека с твердым, самостоятельным характером, каковым должен быть в этих условиях царский воспитатель, стесняло бы Николая Александровича и Александру Федоровну.

Поэтому Алексей Николаевич находился на руках у матроса Деревеньки, жаргон которого можно было даже наблюдать иногда у цесаревича — этого славного красивого ребенка, который к тому же был мальчиком слабого здоровья... В семье императрицы наблюдалась наследственная болезнь кровяных сосудов, с такими слабыми стенками, что до известного возраста они легко лопались, получалось кровотечение и смертельная опасность. Прыжки, падения, растяжения угрожали всегда кровоизлияниями в той или другой области организма. При живой, подвижной натуре Алексея Николаевича таких опасных для жизни случаев было у него несколько, и они именно были на руку Распутину, благодаря исключительно только тому, что ему просто в его шарлатанстве везло.

При настоящем воспитателе ни Распутин, ни Деревенько были бы немыслимы, а при них — немыслим был воспитатель, и позиция осталась за теми, у которых она уже была в руках раньше. Между тем в характере Алексея Николаевича были признаки, которые при соответствующем направлении воспитания могли дать в нем человека устойчивого, с твердой волей, а при Деревеньке являлись лишь непослушанием, упрямством — сырым материалом без обработки. Во время моих докладов иногда появлялся наследник и государь разрешал ему оставаться, но только не мешать нам заниматься.

Как-то раз в Петергофе он явился, и когда ему надоело слушать, забрался на диван и стал прыгать на пружинах. Государь рассердился и приказал ему уйти из кабинета. Надо было видеть, до какой степени задето было его детское самолюбие и как он исподлобья смотрел на отца, медленно направляясь к двери.

— Обиделся,— сказал государь,— не понимаю, как он попал сюда?

В Ливадии Алексей Николаевич своим упрямством вызвал однажды большой переполох. Государь любил гулять с дочерьми. На одной из прогулок в обширном ливадийском парке пошел с ними и наследник. Посидев у одного из бассейнов, собирались идти домой, начинал накрапывать дождик. Наследнику хотелось еще остаться, и он не пожелал возвращаться. Никакие упрашивания не помогли, и государь с великими княжнами отправился по направлению ко дворцу, сказав: «Оставим этого капризного мальчика здесь».

После нескольких часов обратили внимание, что Алексей Николаевич не показывается. Начались розыски, нигде его не находили, и только к вечеру одному конвойному казаку посчастливилось набрести в глухом месте парка на спящего цесаревича в небольшой беседке, густо обросшей диким виноградом.

Там же, в Ливадии, у подъезда стояли парные часовые, с которыми Алексей Николаевич любил здороваться. Раз ему понравилось, как одна пара отвечала на приветствие: «Здравия желаем вашему императорскому высочеству»,— и он несколько раз подряд выбегал и здоровался. Услышав это, вышел дежурный флигель-адъютант и объяснил наследнику, что в войсках принято здороваться только один раз в день с одними и теми же людьми.

Видно было, как ему досадно, что он сделал промах, и, смерив с ног до головы фли-

гель-адъютанта, ушел и больше не показывался, а после того посылал Деревенько узнать у часовых, здоровался он с ними сегодня или нет? У одного из часовых он просил дать ему ружье. Тот, конечно, его ему не дал. Тогда он заявил, что наследник требует у него это. Но и это не помогло. В виду такого афронта он побежал жаловаться и ему объяснили, что по уставу часовой может отдать оружие только государю.

Поняв свою ошибку, он отправился исправлять ее совершенно самостоятельно: подойдя к часовому, поблагодарил его за то, что тот службу знает.

Играя в войну с сестрами, Алексей Николаевич так сильно расшиб себе голову, что пришлось сделать перевязку.

Несмотря на сильную боль, он даже не прослезился, и, если его кто-нибудь спрашивал, что с ним случилось, он с достоинством отвечал, что ранен в бою.

Играл он в солдатики, расставленные по полу в одном из коридоров дворца, по которому пришлось проводить приехавшего с докладом к императрице сановника.

Алексею Николаевичу это не понравилось, и он протестовал в такой форме, что странно мешать наследнику, точно во дворце нет другого места для прохода посторонних.

Прибыла в Царское Село какая-то депутация, которой государь разрешил видеть наследника. Ему доложили об этом, а с ним были великие княжны в это время.

Тогда он обратился к ним и сурово заявил: «Девицы, уйдите, у наследника будет прием». А когда сестры со смехом ушли, он оправил на себе платье и совершенно серьезно заявил: «Я готов».

Нескольких этих приведенных мною случаев достаточно, чтобы судить о том, правильно ли было воспитание будущего монарха.

* * *

Маленький наследник погиб такой же геройской смертью, как и его отец, мать и сестры. Он живет лишь в памяти тех, кто знал его лично, и тех многочисленных мечтателей среди русских, которые не хотят понять, что весь ужас, пережитый ими,— жестокая действительность. В своем воображении они видят наследника странствующим по необозримой русской земле. Переодетый матросом, переходит он с места на место: сегодня видели его в Рязани, завтра ожидают в Тамбове... все это бесплодные и опасные мечты, которые не могут дать ничего для восстановления будущей России... Дом Романовых — Гольштейн-Готторпский погиб насильственной смертью... по собственной вине... хотя живы еще главные виновники этой трагедии.

Ни на одного из них русский народ не может возлагать надежды, разве лишь на тех из них, которые и при жизни царя поддерживали его...

То, что ставят мне в вину относительно возникновения всемирной войны,— я отрицаю точно так же, как и всякий упрек в неготовности русской армии перед открытием кампании. Лишь в 1914 году по моей инициативе как военного министра утвержденная программа усиления нашей армии, ее пополнения и вооружения могла в действительности создать наши вооруженные силы в полной готовности для активного участия в европейской войне, но не ранее 1916 года. В критические дни перед объявлением войны я как военный министр и ответственный деятель был устранен с того момента, когда русские дипломаты, в особенности Сазонов, не считаясь с моим мнением о состоянии армии, считались с великим князем Николаем Николаевичем и подчиненным мне начальником генерального штаба генералом Янушкевичем, который злоупотреблял моим доверием. Помимо их воли они оценивали результаты моей деятельности выше той меры, которую я, сознавая всю полноту ответственности моей работы, ей придавал. Или же они действовали сознательно-легкомысленно, не считаясь с создавшимся положением. После того, что мне удалось распознать закулисную сторону возникновения войны и на основании моего

личного опыта,— должен признать теперь, что образ действий великого князя Николая Николаевича и генерала Янушкевича отвечал таковому же игроков, ставивших на карту судьбу армии, русского народа и дома Романовых. Их политика была вообще легкомысленной игрой. Этим объясняется их нервность, неустойчивость и отсутствие уверенности в самом себе. Поэтому они и поддавались приманкам, которыми Пуанкаре разжигал их фантазии своими миллиардами. Будь сохранен мир, русская армия в 1916 году была бы с более прочным залогом для проведения в жизнь всероссийских и мировых политических задач, нежели войною 1914 года. Для России и для дома Романовых война не была нужна, а для русской армии, с чисто технической точки зрения, она была слишком преждевремения. Какое значение имела ненарушенная боеспособность нашей армии, я мог убедиться, по первому опыту, в роли начальника Юго-Западного края, ибо именно такие вооруженные силы могли обеспечить успешное проведение в жизнь тех реформ, которые царь собирался дать стране.

Когда в 1914 году война была решена дипломатами, мне оставалось только подчиниться повелениям государя. Было ли бы лучше, если бы я покинул свой пост и тем обнаружил, что русская армия еще не готова? Мое мнение о состоянии наших вооруженных сил было во всякое данное время известно государю. Знание этого именно моего мнения о нашей армии было причиной, вследствие которой великий князь Николай Николаевич, Сазонов и Янушкевич действовали помимо меня. После возникновения войны мне оставалось только приложить все усилия к тому, чтобы заполнить пробелы и недочеты — сделать нашу заново восстановленную русскую армию равносильною с мощными германскими вооруженными силами. Так я и сделал.

Меня спрашивают иногда, почему я не принял предложение государя и вместо великого князя не вступил в должность верховного главнокомандующего? Требовать от государя, чтобы он совершенно устранил великого князя — пришлось бы отправить его в ссылку,— при характере государя и его отношении к царской фамилии было бы не только бесцельно, но привело к тому, что меня самого устранили бы при самом начале военных действий: я сам себя упрекал бы в дезертирстве. Если бы я согласился на предложенное мне государем назначение, то обеспечил бы себе возможность более героического ухода с мировой сцены, нежели затем как устраненный военный министр — солдат вне строя. В 1914 году я мог остаться военным министром потому, что не подозревал о той роли, которую играл Янушкевич в те критические дни, и потому, что ожидал, что он сможет обуздать великого князя и сумеет против действий германцев целесообразно направить операции нашей армии.

Удовлетворение потребностей действующей армии в снабжении оружием и всеми видами довольствия — после командования армией этих важнейших задач пополнения войсковых запасов — я хотел оставить в своих руках. Я давал себе отчет в ограниченности у нас наличных запасов и видел, что другие делали вид, будто этого не замечают. После того, что по большой программе мною проведены были основные положения снабжения армии, при тяжелых условиях военного времени и сопряженным с ним колоссальным расходом боевых припасов и всяких других ценных запасов, я считаю своим долгом руководить всем этим лично, несмотря на звучавшие в моих ушах вещие слова Витте: «Никто вам не поможет и только палки в колеса будут совать».

В крушении России я не виновен. В должности генерал-губернатора нелегкий Юго-Западный округ я привел в самый миролюбивый край; как военный министр я восстановил армию, тот краеугольный камень, на котором зиждется всякая государственная власть. Республиканцы могут упрекать меня в том, что я содействовал бесполезным жертвам, понесенным народом во имя восстановления престижа и жизненности монархии. Для меня монархия была и есть фундамент моего мировоззрения. С 1858 года я носил серую солдатскую шинель, служил трем государям и последовательно при

них достиг самого высшего поста военной иерархии. Допустим, что это мой рок, моя судьба, мое предопределение, но мою преданность монархическому принципу и последнему несчастному носителю короны ставить мне в вину перед страной и обуздать считаю незаслуженным поклепом — клеветой. После ужасной кончины царя единственным моим судьей остается моя совесть!

Исторические писатели, которые займутся исследованием причин крушения России,— должны будут искать виновных там, где страх, недоверие к русскому народу... Способные разбираться лишь в тесном кругу своих личных интересов, одна группа привела Россию к подчинению Антанте, другая группа разрушила царскую власть в ее центре — царской фамилии Романовых, третья — нанесла смертельные удары армии.

Большую часть личной ответственности во всем этом несчастии, постигшем Россию, несет великий князь и дядя государя Николай Николаевич, не только в силу своего военного положения, но и как великий князь, преступно злоупотребивший доверием царя. Постоянными интригами в течение многих лет он вносил только дух анархии в аппарат высшего военного управления и тем самым подрывал дисциплину — он систематично погребал авторитет царя и старался самолично стать центром государства. В конце концов он предал государя — принес его в жертву с тем же легкомыслием, с каким он в мирное время в роли инспектора войск относился к имуществу государственному, войсковому и подчиненных, как и на войне бесцельно жертвовал сотнями тысяч русских воинов. Высокомерный, презирающий всех окружающих и потому неспособный правильно оценить и использовать их силы, он не смог правильно оценить и мощь германского народа, чем и объясняются его поражения, несмотря на высокие качества русского солдата и блестящее наступление при начале похода. Он не давал себе отчета и в том, что у него под боком пылало сомнительного достоинства честолюбие, представитель которого, Гучков, готов был пожертвовать не только Россией, но и всесильным великим князем...

...Мое жизнеописание превратилось в исповедь. Писал я не для того, чтобы оправдаться перед моими противниками и тем более заискивать у них. Я в этом не нуждаюсь. Только что мне исполнилось семьдесят пять лет, поэтому перемена их образа мыслей принесла бы мне мало пользы. Я писал, чтобы показать нашему народу, где и в чем его вожди заблуждались. И я писал с возрастающим внутренним успокоением, ибо последние годы бедствий и горя привели меня к сознанию, что русский народ в отношении своих главных жизненных задач в конце концов выйдет на правильный путь. Начинающееся на моих глазах мирное, дружественное сближение России и Германии является основной предпосылкой к возрождению русского народа с его могучими действенными силами. Русский народ молод, и его силы неисчерпаемы.

Русские и немцы настолько соответствуют друг другу в отношении целесообразной, совместной продуктивной работы, как редко какие-нибудь другие нации.

Но для сохранения мира в Европе этого было недостаточно, необходим был тройственный союз на континенте. Все это, вместе взятое, создавало почву для предопределенной историей коалиции: Россия, Германия и Франция, обеспечивающая мир и европейское равновесие и угрожавшая лишь одной европейской державе — Англии. Эта угроза заставила ее взять на себя инициативу создания другой, более выгодной ей коалиции — entente cordiale. Альбион не ошибся в своих расчетах: два сильнейших народа континента лежат, по-видимому, беспомощно поверженными во прах. Одно лишь упустил из виду хладнокровно и брутально-эгоистически рассчитывающий политик: ничего не объединяет так, как одинаковое горе.

Другой залог для будущего России я вижу в том, что в ней у власти стоит самонадеянное, твердое и руководимое великим политическим идеалом правительство. Этот политический идеал не может быть моим. Люди, окружающие Ленина,— не мои друзья, они не олицетворяют собою мой идеал национальных героев. Но я уже не могу их больше на-

звать разбойииками н грабителямн после того, как выяснилось. что онн подияли лншь брошенное: престол н власть. Их мировоззрение для меня непрнемлемо. И все же: медлеино и иеуверенно пробуждается во мне надежда, что оии приведут русский народ — быть может, помнмо их воли — по правильному пути к вериой цели и новой мощн... Верить в это я еще не могу, ио тем сильнее того желать... ввиду бесчислеииых ужасиых жертв, которые потребовало разрушение старого строя. Что мои надежды являются не совсем утопней, доказывает, что такне мои достойные бывшие сотрудиики н сослужнвцы, как генералы Бруснлов, Балтнйский и Добворольскнй, свои силы отдали новому правнтельству в Москве, нет ннкакого сомнения, что онн это сделалн, конечно, убедившись в том, что Россия н прн новом режнме находнтся на правильиом пути к полному возрожденню.

Россня и населяющее русскую землю смешеине иародов иуждаются в особо твердой руке... Моим пожеланнем, чтобы так это в конце концов и завершнлось, я заканчиваю мою кингу и мою политнческую жизнь... В стороне от народиых эволюций я буду созерцать жнзиь ие без саркастической улыбкн иад тем плутовством, которое применяют маленькне люди в уверенности, что могут влиять иа роковой ход мирового нсторнческого развития.

Александр Керенский

Февраль и Октябрь

Как-то в газете «Воля России», одним из редакторов которой я состоял, в «порядке дискуссии», т. е. для свободного обсуждения, появился ряд статей, сначала Моисеева — «Об экономической политике демократической России», а потом В. Чернова — «Проект экономической программы» с соответствующими объяснениями. Работы обоих авторов ставили перед читателем ряд самых сложных и спорных вопросов, связанных с разрешением основной для всего будущего России и труднейшей задачи — экономического возрождения страны после падения большевиков. По поводу этих очерков В. В. Руднев поместил в № 5 «Современных записок» особую статью, где, подробно останавливаясь на доводах обоих названных авторов, изложил ряд своих суждений на ту же тему, суждений, не всегда совпадающих, а иногда и совсем расходящихся с мнениями как Моисеева, так и В. Чернова.

В ответ на эту статью в № 12—13 Центрального органа ПСР «Революционной России» появилась статья редактора этого журнала В. М. Чернова — «Стихия революции и политические трезвенники». Возражая В. Рудневу, автор выходит далеко за пределы первоначального спора, переходя от экономики к политике и делая некоторые весьма интересные исторические замечания. Тройная, если можно так выразиться, официальность этой статьи — во-первых, помещенной в официальном органе партии, во-вторых, написанной его редактором, и, в-третьих, написанной не только редактором, но лицом, в то же время состоящим одним из представителей ЦК ПСР за границей,— придает ей особую значимость и значительность. Все суждения, исторические справки и политические выводы этой статьи должны быть, по-видимому, восприняты читателем не как весьма интересные, но частные суждения автора, а как официальное мнение целой партии. Так, по крайней мере, думает сам автор, который в заключение своей острой полемики с группой «Современных записок» прямо пишет следующее. «Мы — варвары друг для друга. Мы давно уже подозревали это. Группа «Современных записок», взяв на себя инициативу открытия полемического огня по нашим позициям, справедливость этих подозрений подтвердила. Напрасно только полагает т. Руднев, что разделяющая нас пропасть показывает лишь, «насколько широки расхождения отдельных эсеров внутри партии». Он не замедлит убедиться, что партия наша гораздо менее пестра и винегретна и, при всех частных нюансах, гораздо более идейно сплочена и едина, чем ему кажется. У партии есть, у партии давно выработался единый общий язык, с которым он и его группа никак не могут освоиться. И то, что ему кажется общим правилом, «широким расхождением между отдельными эсерами»,— на деле является исключением, опасным по своей широте расхождением группы Авксентьева, Руднева и др. со всем основным ядром действующей в России партии социалистов-революционеров. К чему это расхождение приведет — покажет будущее». Я извиняюсь за слишком длинную выдержку, но в ней характерно и показательно каждое слово. Несомненно, по крайней мере,

для самого автора критика его «проекта», хотя бы и опубликованного для свободного обсуждения, является не чем иным, как опасным почином «принятия на себя инициативы открытия полемического огня по нашим позициям», т. е. по позициям всей ПСР. Несомненно также, что свои «позиции» В. Чернов считает неприступными, а в критике своих мнений видит не расхождение двух формально равноценных суждений, а «опасное исключение», о всех не весьма приятных последствиях которого он довольно недвусмысленно намекает.

Так, благодаря неосторожности В. Руднева, осмелившегося критиковать, как обыкновенную статью, неприкосновенный «проект», вся «группа» его ближайших единомышленников, т. е. все члены редакции «Современных записок» попали в весьма щекотливое и даже опасное положение. Но в своей легкомысленной неосторожности Руднев повинен не один. Повинна в ней и редакция газ. «Воля России», которая, помещая «проект экономической программы», не предпослала ему редакционной оговорки — «критиковать воспрещается». Как бывший редактор «Воли России», я чувствую себя соучастником преступления В. Руднева, чувствую себя как бы невольным его подстрекателем и хочу поэтому солидаризироваться с ним в грядущей ответственности. Вот почему по поводу статьи в «Револ. России» «Стихия революции и политические трезвенники» мне бы хотелось кое-что сказать именно на страницах «Современных записок», хотя к редакционной группе «Современных записок» не принадлежу и до сих пор сотрудником этого журнала не числился.

Я бы мог, конечно, сделать попытку послать свои замечания по поводу статьи, меня интересующей, в тот самый орган, где она была напечатана,— в «Революционную Россию». Но, по правде сказать, журнал, где за ласковой игривостью полемики официального автора чувствуется карающая десница всемогущего начальства, меня не привлекает.

Будем лучше говорить не на «общем» с начальством языке, а на своем собственном, не задумываясь над последствиями такой дерзости. Пусть будут последствия! Ибо иначе мы оглянуться не успеем, как во всех еще свободных от большевистского воздействия уголках русской общественности воцарится самый отвратительный из всех когда-либо существовавших и существующих видов террора — террора над свободной мыслью человеческой!

Возрожденный большевиками старый аракчеевский клич власти — ограниченным разумом подданных мыслить воспрещается — стал и так уже все глубже проникать во всю толщу русской общественности, стал превращаться в «бытовое явление» нашего политического обихода... В условиях советского или эмигрантского быта, одинаково до крайности затрудняющих всякое общение, русские люди — одни, лишенные непосредственных впечатлений родной страны, другие, отрезанные от всего зарубежного мира,— русские люди, как будто боясь потонуть в хаосе со всех сторон настигающего их великого Неизвестного, с особой настойчивостью цепляются за все давно знакомое, обиходное в данном кругу, а чаще даже в данном кругу «своих людей». В этих болезненных условиях большевистский цензурный террор производит на общественную психику особенно разрушительное воздействие. В ответ на все жуткие в своей исступленной жестокости и бессмыслице меры современных магницких в распыленном, застращенном и физическим террором, и бесстыдной демагогией обществе нарастает другое зло — боязнь новой мысли, нового слова. Как дореволюционное «сектантство» русской интеллигенции усиливалось и слабело вместе с ростом или падением строгостей старой царской цензуры, так ныне это сектантство готово превратиться в изуверное самоистребление по мере того, как цензура, при николаевском режиме лишь кастрировавшая мысль, превращается у большевиков в систематическое уничтожение всякой мысли.

Мыслить воспрещается в коммунистическом государстве! Право на свободное независимое слово объявляется «буржуазным предрассудком». А каждая мысль, высказанная не на жаргоне большевистской казенной прессы, сейчас же демагогически извращается и, снабженная всеми атрибутами «контрреволюционности», швыряется в массу для вящего торжества «коммунистической государственности» и для посрамления эсеровской, меньшевистской и прочей «белогвардейщины».

Вот эта-то террористическая, сказал бы я, демагогия в особенности и настораживает невольных контрреволюционеров. Загнанные в подполье: лишенные прессы и свободного слова, бессильные бороться с большевистской демагогией тем же орудием, т. е. открытой пропагандой, они невольно ищут спасения в особой отточенности, в особой «стойкости и выдержанности» своих позиций. Количество большевистской лжи они хотят победить безукоризненностью своей правды, безукоризненной белизной своих одежд! Создается особая психология чрезмерной настороженности ко всякому высказыванию, ко всякому выявлению вовне своих настроений, ко всякому громко сказанному слову.

Как бы это не вовремя и неловко высказанная мысль не сделалась орудием для новой травли, для нового науськивания темной массы на тех, кто во имя спасения этой же массы ведет неравную борьбу с захватчиком государственной власти. Так понемногу растет в антибольшевистской революционной среде взаимная отчужденность между, вчера еще близкими, «своими». Так зарождается особая подозрительность, потом враждебность к инакомыслящим в своей же среде; к инакомыслящим, нарушающим своими «личными выступлениями» эту столь необходимую «выдержанность позиций». Бессильные против террористической демагогии ленинских литературных чрезвычаек, хранители стихии революции сами невольно начинают пугать, почти терроризировать тех из своей среды, в ком они видят вольных или невольных, но опасных потрясателей партийных основ... И раздается, наконец, грозное предостережение — мы варвары друг для друга!

Варвары друг для друга! — Это очень, очень серьезно, почти безнадежно. Тут уже не только отсутствие «общего языка». Друг друга могут не понимать, друг с другом могут не сговориться и люди одного культурного уровня, одной общественной среды. Они просто так разно смотрят на все вокруг происходящее, так различно все оценивают, так по-разному предвидят открывающиеся возможности, что уже больше не спорят, а расходятся по разным дорогам, «иным путем, но все к тому же стремясь». Ну, а с «варварами» по разным дорогам безобидно не разойдешься! С ними обязательно повстречаешься на своих путях и перепутьях. Варвары несут с собой угрозу нашим культурным ценностям. Они стремятся разрушить наши храмы и вместо них воздвигнуть свои капища. Варваров не убеждают, с ними не спорят. Им грозят, пока еще не поздно; от них защищаются, если они успевают захватить нас врасплох; отбив нападение, победив, их гонят прочь... Да, варвары друг для друга — это действительно больно и очень серьезно!

За какие же прегрешения группа «Современных записок» стала варварами для официального журнала той партии, к которой все члены этой группы принадлежат? Неужели только за то, что один из них осмелился открыть «полемический огонь по нашим позициям», как бы ни были неприступны они сами, как бы ни были неприкосновенны стратеги, их обороняющие?!

Конечно, нет. «Полемический огонь» явился лишь последней каплей, переполнившей чашу терпения. Так и сказано: «Мы давно уже подозревали это» (т. е. что мы — варвары). Полемическая инициатива группы лишь «справедливость этих подозрений подтвердила». Действительно, при внимательном чтении всей интересующей нас статьи не трудно не только убедиться в том, что «группа Руднева» давно уже была взята на подозрение, но и легко можно установить, что давность этим подозрениям по нынешним временам весьма почтенная: в конце концов, она восходит к 1917 году.

Оказывается, это еще тогда, в эпоху февральской революции, «группа лиц, от имени которых может говорить т. Руднев, не раз занимала связанное с ответственностью положение на политической арене». Оказывается, что тогда уже эта группа проявила недопустимую медлительность («кунктаторство»), чрезмерную «политическую трезвенность, то бишь государственность». Оказывается, это они-то, «мудрые кунктаторы», подтолкнули «вышедшую из терпения стихию во все тяжкие Октябрьской революции».

Итак, на группу «Современных записок» возлагаются грехи всего народа, т. е. всех нас, кто действовал в дни Великой Революции, кто связан с Февралем, от него не отрекается и за него несет всю меру исторической ответственности. К этим, с Февралем связанным, отношусь и я, может быть, даже в большей степени, чем некоторые из группы «Современных записок», и, во всяком случае, несу за события февральской революции большую, чем они, ответственность. Я не хочу и не могу подражать большинству политических деятелей той незабываемой эпохи. Я не хочу и не могу оставаться в стороне, когда других призывают к ответу за то, в чем я с ними солидарен и чего, по моему мнению, было, к сожалению, проявлено слишком мало в 1917 году.

Да, я говорю об этой самой «то бишь государственности». Говорю о трагической борьбе этой революционной государственности с реакционной большевистской охлократией. Об этой борьбе, которая в 1917 году закончилась видимым торжеством красной реакции, но которая далеко еще не завершилась.

Не завершилась! А поэтому необходимо с крайней осторожностью судить о всех уже заключенных стадиях этой борьбы, ибо поспешно высказанные суждения о прошлом могут подтолкнуть на неправильный путь в настоящем, могут подсказать ошибочные планы на будущее. Во всяком случае, в этом вопросе, совершенно исключительной важности — о факторах и о лицах, содействовавших или препятствовавших краху февральской революции,— в этом вопросе не может быть сейчас никакой догмы, никакой общеобязательной, хотя бы в пределах одной партии, точки зрения.

Может быть, лучше было бы во имя неотложных потребностей и задач сегодняшнего дня этого колючего вопроса вовсе не подымать! Но раз он уже поставлен и даже не столько поставлен, сколько уже предрешен, и определенная точка зрения предложена к руководству в официальном органе партии, то, каковы бы ни были последствия расхождения «с единым общим языком»,— молчать нельзя.

Нужно говорить «напрямик, без изгиба», как хочет того и сама «Рев. Россия». Ибо только из открытого и честного столкновения независимых суждений родится та единственная правда, которая поможет нам всем выбраться из болотных топей безвременья на широкую столбовую дорогу новых дерзаний и нового творчества!

Итак, в чем, по мнению «Революционной России», смертный грех «группы лиц, от имени которой может говорить т. Руднев, не раз занимавший связанное с ответственностью на политической арене положение». Прежде всего — «в течение всего периода, от марта до октября 1917 года, она выступала сторонницей коалиции «во что бы то ни стало». Когда отпочкование от партии левых эсеров (какое мягкое выражение для тройных предателей — Родины, Революции и партии!) временно нарушило партийное равновесие... эта группа — уже после корниловской авантюры и демократического совещания — заставила партию еще раз пойти на капитуляцию перед требованиями КД и «принять» все те перетасовки во Временном правительстве и его программе»...

Тут все поистине творимая легенда! Во-первых, нужно устранить всякое недоразумение с «этой группой». Никакой такой группы, от имени которой, как целого, имел бы право говорить Руднев или какой-либо другой член редакции «Современных записок» и которая непрерывно существовала бы от времен мартовской революции до нынешних дней,— такой группы в природе никогда не было. В нынешней, так называемой

на партийном условном языке «правой» группе «Современных записок» сошлись и сидят рядом люди, не всегда так близко друг к другу сидевшие в 1917 году. Достаточно напомнить, что здесь рядом с М. В. Вишняком, постоянным сотрудником и одно время редактором «Дела народа», сидит А. И. Гуковский, принадлежавший к редакционной группе «Воли народа», почти никогда и ни в чем не сходившийся с партийным центром. Остальные же члены редакции «Современных записок», хотя, правда, и принадлежали в общем и целом к одному и тому же уклону партийного центра, но все-таки никогда не действовали в 1917 году как данная, доныне сохранившая свое индивидуальное существование, группа. Можно было бы, пожалуй, назвать кое-какие имена членов ПСР, ныне сидящих в Бутырках и причисляемых несомненно к современному «основному ядру» партии, но которые в 1917 году, может быть, в большей степени, чем некоторые члены «группы т. Рудиева», повинны в том, в чем обвиняется «эта группа».

Одним словом, чтобы найти ответчиков за «ошибки» 1917 года, ошибки если не всей партии, то, во всяком случае, законного ее большинства, и задним числом придать этому большинству 1917 года образ и подобие партийного «сплоченного ядра» образца 1921 года, центральному органу партии пришлось создать фикцию. Если же эту фикцию устранить, то окажется, как это и было на самом деле, что в 1917 году со времени вступления представителей Совета во Временное правительство (конец апреля) и до корниловского заговора совершенно законное и значительное большинство ПСР одобряло участие своих членов в правительственной коалиции, и не потому, что «во что бы то ни стало» жаждало коалиции, а просто потому, что, совершенно правильно оценивая положение страны, не считало возможным возложить всю ответственность за управление государством и за ведение войны исключительно на одни лишь советские и социалистические элементы.

Я отлично помню, как на июньском I Всероссийском съезде Советов на мой прямой вопрос,— готовы ли присутствующие в этом собрании представители революционной демократии взять на себя всю ответственность? — зал ответил гробовым молчанием. Только кто-то из большевиков, сидевший рядом с Лениным, при молчаливом одобрении последнего явственно сказал — мы возьмем. И я помню, что слышавшие эту фразу отнеслись к ней, как к неособенно остроумной шутке со стороны «безответственной оппозиции».

Но я помню еще другое и гораздо более важное! Помню то, что совершенно опровергает утверждение «Революционной России», что «именно эта группа заставила партию еще раз пойти на капитуляцию перед требованиями КД, т. е. еще раз заставила послать своих представителей в коалиционный, на этот раз последний, состав Временного правительства. Это последнее изменение в составе Временного правительства происходило во время Демократического совещания после подавления корниловского восстания. Здесь не время и не место говорить, по существу, об этой несчастной затее. Достаточно лишь напомнить, что неизбежным следствием этого восстания генералов против верховной власти было разложение армии; возвращение фронта к анархии апрельских дней и полное исчезновение доверия к правительственной власти в широких народных массах. Прикосновенность почти всего высшего командного состава и виднейших представителей буржуазии к корниловскому заговору делала положение еще более безвыходным.

Отдав себе во всем этом отчет и убедившись к тому на Демократическом совещании в весьма неопределенном и неустойчивом состоянии вождей советского большинства, я явился в заседание бюро этого Совещания, происходившее с участием ответственных представителей всех соответствующих групп и партий до большевиков включительно, и сделал здесь после изложения внутреннего, международного и военного положения

страны приблизительно следующее заявление: «Если окажутся лица, которые возьмут на себя образование однородного правительства, я ручаюсь, что со стороны Временного правительства никаких препятствий не последует. Предупредите меня о решении своевременно, и власть будет передана новому составу правительства без всяких потрясений во имя спасения страны от новых внутренних столкновений, которых она больше не выдержит». После этого заявления я тотчас уехал. В тот же день мне сообщили, что в составе присутствовавших в заседании бюро не оказалось ни партий, ни лиц, которые согласились бы взять на себя ответственность за сформирование однородного правительства.

Вся история участия социалистических партий в правительстве февральской революции вкратце может быть изложена так: сначала (до сентября) социалисты не хотели или не считали себя вправе одни, без буржуазных элементов, взять на себя всю формальную ответственность за судьбу государства; потом многие из них захотели, но это оказалось невозможным, ибо, отрываясь от радикальной буржуазии, советские и социалистические группы и партии не могли рассчитывать на коалицию с контрреволюцией слева — с большевиками. Об этом отказе большевиков еще в сентябре участвовать вместе с социалистами в «едином революционном фронте», в «однородном социалистическом правительстве», об этом капитальном факте, оказавшем решающее влияние на колеблющихся участников Демократического совещания, «Рев. Россия» и забывает сказать, возлагая всю ответственность за последнюю якобы капитуляцию эсеров на фиктивную, несуществовавшую тогда группу товарища Руднева.

Оторвавшись от тех слоев буржуазии и несоветской демократии, которые так или иначе шли с революцией и ее правительством, имея вне своего единого фронта возродившихся после Корнилова большевиков,— какую силу представляли бы в стране эсеровские и меньшевистские элементы? Весьма малую! В чем они и убедились впоследствии, и что тогда, в сентябре, они если не сознавали, то, во всяком случае, уже чувствовали. Хорошо чувствовали, что, подталкивая их к разрыву с традицией революционной власти — с ее всенародностью,— большевики стремились только к ослаблению, к распылению революционных организованных сил, так же как к этому стремились, с другой стороны, все военные и невоенные заговорщики, добиваясь еще с июля месяца выхода кадет из Временного правительства. Задача большевиков-стратегов была слишком ясна — облегчить себе захват власти, на который они уже решились, распыляя революционные силы, пользуясь однородным социалистическим правительством как трамплином.

Ошибка сентябрьской тактики вождей советской демократии, а в том числе и членов ПСР, заключалась, по-моему, не в воображаемой капитуляции перед кадетами, ибо таковой не могло быть уже по одному только тому, что представители либеральной буржуазии по своим тактическим соображениям вовсе не стремились препятствовать сформированию однородного социалистического правительства. Повторяю, ошибка была не в капитуляции. Ошибка, если можно так назвать неизбежность, заключалась в том, что, поддавшись, под влиянием корниловского заговора, новому припадку навязчивой идеи о грядущей контрреволюции справа, вожди советской демократии, заключив в сентябре фактическое перемирие с большевиками, открыли свой тыл опаснейшим и злейшим своим врагам. Сбылось еще майское наше с Церетели предсказание: «Контрреволюция в России придет через левые двери!»

Да, в заключение Демократического совещания большинство ПСР голосовало за сохранение своей связи с правительством революции, за дальнейшее участие в управлении государством. Но что же иное могло оно сделать в той обстановке — умыть руки?! Отойти в сторону и безучастно наблюдать за дальнейшим развитием трагедии? Нет, такого Пилатова выхода партии не дано! Она всегда действует, всегда говорит!

Таким образом, самые беглые воспоминания об участии ПСР в правительственной коалиции 1917 года с несомненностью показывают, что эту политику партия вела не по капризу, не по злой воле отдельных лиц или групп, а потому, что в ту эпоху так складывались взаимоотношения революционных и реакционных сил, что ответственное большинство партии иначе, как поступало, поступить не могло. Более того. Углубленный анализ обстоятельств, заставивших ПСР, как и меньшевиков, остаться после корниловского восстания в составе Временного правительства, непременно привел бы нас к весьма и сейчас злободневным размышлениям — не таится ли источник многих пережитых нами великих испытаний и несчастий в чрезмерной нашей терпимости ко всему, что носит левое обличье? Было бы величайшим для России несчастьем, если опять, как в 1917 году, мы вовремя не опознаем под личиной революционной левизны самое обычное реакционное нутро!

Но возвращаюсь к теме. Сурово осудив в лице изобретенной ad hoc * группы коалиционную политику всей ПСР в 1917 году, возложив на эту же группу ответственность опять-таки за общее грехопадение — интервенцию (к сожалению, я не могу на этом эпизоде останавливаться), «Революционная Россия» выдвигает против группы еще одно и, по-моему, самое тяжкое обвинение: «О мудрые кунктаторы! Не так ли кунктаторствовали вы в России от февраля по октябрь 1917 года, не так ли топтались вы и вокруг реорганизации армии, и вокруг мирной политики, и вокруг земельного вопроса, безнадежно «зацепившись за пень» коалиции с кадетами, пока не налетела на вас, не «отценила» и не «набила потылицу» вышедшая из терпения стихия, ударившаяся — не без вашей вины — во все тяжкие Октябрьской революции».

Это уже настоящий, правда, весьма краткий, но и весьма содержательный обвинительный акт всей государственной политики февральской революции. Даже больше — это, конечно, невольное, но оправдание — да, да, оправдание — «революции Октябрьской». Что было с марта до октября? Вместо революционного дерзания — безнадежное топтание на поводу у кадет, т. е. на жаргоне советской России — у самой подлинной реакции. Ну, а если это верно, если это ныне вынужден признать официальный орган тогда одной из правительственных партий, то совершенно естественно было возмущение подлинной революционной стихии, и тогда октябрьский контрреволюционный переворот превращается в подлинную народную революцию!

На секунду допустим, что обвинение в топтании на месте — в кунктаторстве — справедливо. Допустим: но кто же такие кунктаторы? Кто эти «вы», к которым с такой горечью обращается автор только что приведенной цитаты? Несомненно, что пятеро членов редакции «Современных записок» застопорить всю правительственную машину не могли, если бы даже хотели. Очевидно, что здесь имеется в виду кто-то другой, или, точнее сказать, еще кто-то другой. Но кто же? Топтались везде: и в армии, и в аграрном вопросе, и в вопросе о войне и мире. Можно сказать, все государство топталось на месте, зацепившись за кадетский пень. Саботировать революцию, выражаясь на модном ныне языке, в таком грандиозном масштабе не под силу было, конечно, не только отдельным группам, но даже и отдельным партиям, в особенности при коалиции. Такой саботаж под силу был только правительству. У него в партиях могли быть сообщники, подстрекатели, укрыватели, но самую процедуру топтания могла исполнить со всем соответствующим ритуалом только Власть. «Вы — о, мудрые кунктаторы!» — это Временное правительство. Другого адресата быть не может.

Правительство несет ответственность за свое топтание, и те лица, кто в него входил, если необходимо искать личной ответственности. Кто же в этом смысле «ответственен» из членов группы «Современных записок»? Просматривая их список, вижу одного

* Для этого, применительно к этому (*лат.*).

только Н. Д. Авксентьева. Да и тот был министром вн. дел всего менее двух месяцев! Но зато сам-то обвинитель В. М. Чернов был членом Временного правительства целых четыре месяца, т. е. половину всего времени его существования. И я смею свидетельствовать, что за все время своего пребывания в правительстве министр земледелия ни разу по всем общим и принципиальным вопросам не оставался при особом мнении, ни разу не расходился с его большинством. А следовательно, за преступное топтание Временного правительства на месте В. М. Чернов несет в рядах ПСР наибольшую после меня, пробывшего в составе Временного правительства все восемь месяцев, ответственность.

Итак, «вы» — это мы! В особенности мы — ибо у одного была в руках армия, у другого земля. И оба требовали от фронта «активных действий во имя мира», т. е. наступления.

Но остановимся подробнее на трех смертных грехах нашего топтания — армии, земле, мире.

«Не так ли топтались вы (мы?) вокруг реорганизации армии?» Т. е. в каком смысле нужно понимать эту реорганизацию армии? Если в смысле ее «революционного раскрепощения», то разве редакторам «Революционной России» неизвестно то, что признал в своей книге даже генерал Деникин? Разве им неизвестно, что русская армия была без остатка «раскрепощена», т. е. дезорганизована еще в управление Гучкова при благожелательном содействии генерала Поливанова и прочих «старорежимников»?

Конечно, не такую, с позволения сказать, реорганизацию имеет в виду «Революционная Россия», обвиняя нас в медлительности. Дело идет, очевидно, о той медлительности, которую нам действительно приходилось проявлять в сизифовой работе укрепления дисциплины в армии и восстановления в ней нормальных отношений между начальниками и подчиненными. Я помню, с какой энергией высказывались все члены Временного правительства, а в том числе и министр земледелия, против «революционных эксцессов» в армии! Я помню, с какой горечью в душе, но единогласно голосовало все Временное правительство за закон о восстановлении смертной казни на фронте после прорыва у Тарнополя! Я все это помню и поэтому вполне понимаю, что медлительность военного министерства в работе его по освобождению армии от гучковского раскрепощения до сих пор вызывает у В. Чернова, как вообще у всех русских патриотов, законное раздражение и огорчение.

В этой медленности восстановления дисциплины в армии военное министерство повинно, но для смягчения нашей ответственности не вспомнит ли строгий обвинитель, какие препоны приходилось преодолевать нам при этой реорганизации? Не вспомнит ли он, с какой нечеловеческой энергией и самоотвержением приходилось комиссарам военного министра (почти исключительно эсерам и меньшевикам) на фронте и в тылу вырывать армию из-под гипноза большевистской и неприятельской демагогии? Не вспомнит ли он, что даже в своей собственной среде мы иногда были бессильны против отражения этой демагогии?

«Не так ли топтались вы (мы?) вокруг земельного вопроса?» — ставится «политическим трезвенникам, то бишь государственникам», второе обвинение... Вот здесь мое положение, нужно сознаться, довольно щекотливое: приходится защищать земельную политику министерства земледелия от упреков, высказанных по его адресу самым долгосрочным из всех министров земледелия эпохи февральской революции... Не касаясь пока конкретной деятельности отдельных, сменявших друг друга, министров земледелия и их роли в ускорении или замедлении подготовки величайшей земельной реформы, поставленной в очередь дня Временным правительством в самые первые дни революции,— не касаясь пока всего этого, я лучше приведу здесь один мой разговор с Е. К. Брешко-Брешковской как раз об этой самой земельной политике Временного прави-

тельства. Разговор этот происходил еще весной 1918 года в Москве. Бабушка была очень мной недовольна; недовольна тем, что я сам не «давил» на ускорение работ по земельной реформе, что «подчинялся» партиям в выборе руководителей этого сложнейшего дела, почему в эти руководители иногда попадали люди, недостаточно подготовленные к административной и практической работе. «Вот взял бы вовремя,— говорила она,— знающих, дельных людей, хоть бы того же X. Он бы за шесть-то месяцев много наделал. С такими людьми успел бы вовремя землю поделить. Все крестьянство успокоилось бы и за правительство бы горой стояло. Смелее надо было действовать»...— «Ну, помилуйте, бабушка,— отвечал я,— какое значение имели все эти крупные промашки и всяческие технические недочеты — неуменье составить деловой законопроект, незнание местных условий и т. д.?! — Все это ведь были частности. Грандиозная земельная реформа, небывалая еще в истории человечества и подлежавшая осуществлению на всем безграничном просторе Российского государства, не могла быть осуществлена не только в шесть месяцев, но и в шесть лет. Всякая поспешность, всякое нервничанье под давлением разожженных демагогией аппетитов привели бы лишь к такому земельному хаосу, в котором потом десятки лет нельзя было бы разобраться».

Большевики красноречиво подтвердили своей земельной политикой достаточную обоснованность моих опасений. Как их «перемирия поротно» превратились в бесконечную цепь внешних и гражданских войн, так и их «стихийная социализация» земли превратилась в подлинную земельную анархию, из которой все увереннее выглядывает теперь крепкий столыпинский мужичок-кулачок. Я не спорю, много было ненужных промедлений в текущей деятельности Временного правительства при осуществлении земельной реформы, но «топтания» все-таки не было, ибо коренной земельный переворот был предрешен Временным правительством и к осуществлению его мы приближались неуклонно.

«Не так ли топтались вы (мы?) и вокруг мирной политики?» — предъявляется нам следующий вопрос. Да, топтались в том смысле, что на сепаратный мир не шли! А вот большевики пошли — что же, из этого вышел мир? В чем же, собственно, выразилось наше топтание? Ну, допустим, что Временное правительство действительно топталось, потому что находилось безнадежно в руках «западных капиталистов, империалистов» и пр., и пр. ... А Советы? Разве от знаменитого воззвания «К народам всего мира» от 14 марта они не пришли в мае через испытание Стохода к сознанию, что только в усилении боеспособности страны, что только в активных действиях на фронте ключ к скорейшему достижению всеобщего мира? Разве из встреч с приезжавшими тогда в Петербург иностранными социалистами лидеры русской демократии не убедились в том, что не в «буржуазных правительствах» только найдут они упорных противников своей слишком стремительной, слишком отвлеченной, слишком идеалистической для практичного запада мирной политики? Ведь тогда, в эпоху 1916—1917 годов, не только бессовестный перевертень Кашен, вернувшись из Италии, где добивался от социалистов участия в войне, требовал у Бриана с трибуны парламента отрицательного ответа на знаменитое воззвание «о мире без победителей» Вильсона, а затем поехал в Россию выплакивать на наших жилетах продолжение войны до «победоносного конца». Нет, тогда (да и потом до самого конца) самые непримиримые и честные социалисты-пацифисты твердо стояли на позиции национальной обороны. «Во время войны никто еще не подымал голоса против национальной обороны,— пишет безупречный левый, член Венского объединения Прессман.— Все представители меньшинства были в этом согласны. Подтверждение их верности принципу национальной обороны вы найдете во всех их статьях, речах и резолюциях конгрессов. Даже те, кого звали тогда киентальцами, не расходились в этом вопросе с остальными. Все — от Бризона, который в Циммервальде боролся с точкой зрения большевиков, до Рафэн-Дюженя, который публично заявлял,

что он подал бы свой голос, если бы только этого голоса не хватало для проведения в палате военных кредитов. То же самое я установил соответствующими фактами по отношению к Суварину, и, конечно, все согласятся со мной, что это еще легче было бы сделать по отношению к Фроссару, нынешнему Генеральному секретарю Французской коммунистической партии». К этому списку я бы от себя мог добавить Жана Лонге, которого наблюдал на сентябрьской междусоюзнической социалистической конференции 1918 года, когда он обращался к знаменитому своей «реакционностью» Гомпресу со словами, далеко не соответствовавшими белоснежности «интернационалистических» одежд, в которые он облекся после перемирия.

Так было тогда, во время войны, во Франции. Так было в Англии, Германии, Италии, не говоря уже о растерзанной Бельгии. Надо смотреть правде прямо в глаза. Тех, кого в России принимали тогда за выразителей истинных мнений международного революционного пролетариата, в действительности представляли мнения ничтожнейших меньшинств среди меньшинства социалистической оппозиции Запада. Война в Европе была не войной правительств, а борьбой народов, борьбой не на живот, а на смерть. Там пролетарские массы чувствовали, а их вожди сознавали, что «международная солидарность рабочих в защите их общих интересов против капитализма, как пишет тот же Прессман, не исключает, однако, чувства солидарности между людьми одной и той же нации, когда их общие интересы и права подвергаются опасности извне».

Во всей Европе среди великих государств не было страны, право которой на оборону не было бы более оправдано, чем Россия, ибо, как еще в 1915 году доказал будущий сотрудник большевиков Н. Н. Суханов, наша родина не имела никаких агрессивных капиталистических целей в мировой войне. Мы не могли бросить ружья, не предавая Родины, не изменяя революции!

И, несмотря на Тарнопольский прорыв, несмотря на июльское большевистское восстание, несмотря на корниловский заговор, на весь развал тыла, февральская революция победила бы своих противников в вопросе о мире, а следовательно, победила бы во всем остальном! Австрия не выдержала — она должна была во что бы то ни стало выйти из боя. За ней последовала бы Болгария. К октябрю Австрия решила вступить с нами в переговоры о мире. Мы были у якоря спасения!.. Но решение Вены стало известно Берлину. И пока австрийское предложение шло к Временному правительству, во имя «мира», в спешном порядке вспыхнула так наз. Октябрьская революция. Началось восстание, сорвавшее «мирную политику» мартовской революции накануне ее торжества! Началось восстание, бросившее растерзанную Россию в хаос кровавых смут и внешних войн. Началось восстание, продлившее мировую бойню еще на долгие месяцы...

Да, армия, земля, мир — это были поистине три нечеловеческие задачи, которые должна была разрешить февральская революция, но она должна была их разрешить, обороняя страну от жесточайших ударов закованного в броню всей современной техники врага и защищая едва родившуюся свободу от безумного натиска внутренней анархии, шкурничества и измен!

Да, эта тройная задача — восстановление в три дня распавшегося государственного аппарата, революционного преобразования всего политического и социального уклада страны и борьба за внешнюю независимость Родины,— эта задача оказалась свыше сил едва освободившегося и переутомленного трехлетней войной народа. Но разве эту жуткую трагедию целой нации можно объяснить, можно понять, слагая всю ответственность на горсть «кунктаторов» и сводя все к какому-то анекдоту о чудаках, «зацепившихся за пень» столь ненавистной ныне коалиции?

Повторяю, бесконечно много было всевозможных ошибок, промашек в деятельности всех тех, кого судьба толкнула тогда в самую гущу революции. Этих ошибок и не могло

не быть. Они всегда бывают в начале всякой революции, в начале всякого нового периода государственной жизни, ибо новым людям в неожиданных условиях приходится, создавая свое новое, расплачиваться за столетия чужих грехов, платить за чужие проторн и убытки!

Но ведь нужно же, наконец, на расстоянии пятилетия, отделяющего нас от величайшего мига русской истории, нужно же, наконец, из-за деревьев всех переходящих мелочей увидеть самый-то лес — самую суть исторической драмы, закончившейся временной победой демагогической реакции над революцией — единственной, ибо никакой новой революции в октябре не было. Нужно же, наконец, понять, что не в медлительности «политических трезвенников», т. е. революционных государственников, нужно искать причину того, что «вышедшая из терпения стихия» ударилась во все тяжкие Октябрьской революции. Я утверждаю, пока этого не доказывая (впрочем, также утверждает, не доказывая свои положения, «Революционная Россия»), я утверждаю, что февральская революция не только не медлила в своем стремлении удовлетворить революционное нетерпение масс, но что она в этом своем стремлении подошла к самому краю пропасти. В той исторической обстановке, в условиях военного времени, больше дать государство, хотя бы сто раз революционное, никаким массам не могло. Мы были на пределе, за чертой которого был уже хаос, закруживший в огненной пляске Россию после октября. Ту стихию, которая кинулась во все тяжкие большевистской реакции, не могли удовлетворить никакие другие уступки, кроме тех щедрых даров, которыми влекли их за собой ленинские демагоги-агитаторы: похабный мир, бесстыдный грабеж и безграничный произвол над жизнью и смертью всякого, кого угодно будет темной толпе назвать «буржуем».

Неужели же теперь, когда сама трезвеющая стихия все больше и больше сознает, как обманули ее, надругались над ней большевики, разбудив в ней зверя; неужели и теперь, когда в самых темных низах все чаще вспоминают о 1917 годе и к февралю возвращаются разум и совесть народная, неужели теперь мы сами начнем повторять эти, навсегда ушедшие в небытие, ударные лозунги из большевистских листков лета 1917 года: а почему землю не делят; почему мир не заключают; зачем вместо свободы «декларацию солдатского бесправия» объявляют и т. п.

Еще раз, трагедия 1917 года не в государственности революции, а в том, что в урагане военного лихолетья в один мутный поток смешались две стихии — стихия революции, которой мы служили, и стихия разложения и шкурничества, на которой играли большевики вместе с неприятельскими агентами. Величайшее несчастие заключалось в том, что, издавна привыкнув с первого взгляда опознавать обычную реакцию в «мундире», генерала на «белом коне», многие вожди революции и сама их армия не смогли вовремя распознать своего самого опасного, упорного и безжалостного врага — контрреволюцию, перерядившуюся в рабочую блузу, в солдатскую шинель, в матросскую куртку. Привыкли ненавидеть представителей «старого мира», но не сумели со всей страстью революционеров вовремя возненавидеть гнуснейших разрушителей государства, бессовестных поработителей трудящихся! Привыкнув долгие десятилетия видеть государство олицетворенным в царском жандарме, стыдились под напором анархической демагогии своей революционной государственности, стыдились поддерживать авторитет своей власти, пока не оказались в государственных тюрьмах под высокой рукой воскресших жандармов-чрезвычайщиков!

И вот теперь, когда с совершенной ясностью вскрылся весь дьявольский обман большевистской «революционности» и ленинской «коммунистической» государственности, когда, вместо дымящихся головешек октябрьской реакции, нужно снова зажигать маяки свободы и права, труда и социальной справедливости, жертвенной любви к Родине и государственности; когда пришло время звать народ к этим маякам Февраля,— те-

перь эти маяки хотят загасить в братоубийственной распре, возлагая на измышленных «кунктаторов» все «ошибки» целой эпохи и оправдывая невольно их медленностью большевистский «скачок в неизвестное». Опять берут слово «государственности» в иронические кавычки, забывая, что уже и так горькую чашу невыносимых страданий и испытаний выпила Россия за эти проклятые кавычки!

Зачем же все это делается? Зачем понадобилось искать козлов отпущения за собственные прегрешения, за ошибки всей революции? Оказывается, это нужно потому, что старые грехи 1917 года мешают сейчас «созданию единого революционного фронта». «Не надо забывать, говорит „Революционная Россия", что тяжелой гирей на центристских элементах социализма доселе висят их ошибки в прошлом, их кунктаторство, их топтание на одном месте, вынужденное связью с правым крылом,— связью, которой трудно было избежать ввиду бешеного натиска безумных элементов слева. Эти ошибки нужно еще загладить».

Прежде всего, о каких «центристских элементах социализма» здесь идет речь? Очевидно, только о русских, ибо небезызвестно, что «центристские элементы» Запада медленно, но верно отходят от своих недавних большевистских увлечений, стремятся сбросить с себя «тяжелую гирю» именно этих «ошибок» и все смелее выходят к линии английской Labour Party *.

Перед кем же русские «центристские элементы социализма» должны загладить свои ошибки в прошлом? Перед всей страной за недостаточную энергию в отстаивании в прошлом новой государственности от натиска «варваров» слева? Нет, ибо тогда не было бы обвинения в трезвенности, в кунктаторстве. Перед крестьянством, которое лютою ненавистью ненавидит все и вся, что напоминает коммуниста? Нет, ибо, во-первых, все эти ошибки центристских элементов для него темная вода «во облацех небесных», а, во-вторых, «по отношению к распыленной, рассеянной, атомистически-бессвязной деревенской Руси» руководящую роль будет «по-прежнему играть город». А в городе, конечно, пролетариат «самый сплоченный и отзывчивый элемент населения».

Задача и заключается в том, чтобы «загладить ошибки», очистившись от всех этих «правых элементов», от всех политических трезвенников, то бишь государственников,— «вести самую упорную идейную борьбу с большевиками за сердца и умы»... всех рабочих, скажете вы? Нет! Сама пролетарская масса «дезорганизована», но зато в ней есть небольшой процент «упрямых энтузиастов». Эти энтузиасты — «самые энергичные, волевые, действенные элементы, задающие тон всем остальным». Эти энтузиасты не дрогнули... они неизменно становятся в первых рядах «красных бойцов за существующий режим». И, пока это так, «сплошь и рядом не будет подниматься рука на этот режим у многих таких элементов массы, которые всем своим существом и всей логикой положения влекутся на борьбу против него».

Вот этих-то «красных бойцов» необходимо во что бы то ни стало увлечь прочь от большевиков в стан очистившихся от всякой скверны «центристских элементов социализма». Для них нужно зажечь «новые маяки, яркие и ослепительные, а не дымящиеся головешки» старых наших лозунгов. Но какие новые маяки ослепительнее большевистских призывов осени 1917 года можно изобрести? Что можно еще обещать «несбыточное», «огненное», «революционное»? — Ничего.

Поистине такая цель — овладеть умами этих верных Ленину «красных бойцов» — бессмысленные мечтания! Есть две категории этих бойцов. Одни — бескорыстные идейные коммунисты, настоящие фанатики пролетарской диктатуры в ее нынешнем виде, верящие в новое социалистическое Царствие Божие, уже осуществленное Лениным на земле. Эти — погибнут на боевых постах, сгорят на кострах, но «от писания» не от-

* Лейбористская партия (*англ.*).

кажутся. В этих обреченных последняя ставка московских диктаторов, с которыми они и погибнут, если, конечно, вовремя не предадут. Никакие чужие маяки, хотя бы яркие, как звезды небесные, таких «бойцов» никуда не увлекут.

Есть еще другие — просто властолюбивые, честолюбивые, первобытные классовики, Марковы-Валяй наизнанку. Им плевать на все социализмы, вместе взятые, но им нравится быть «господами жизни». Им нравится, когда «за пролетарское происхождение» их выпускают на волю за то, за что «бывших буржуев» и простых крестьян расстреливают. Это они комиссарствуют в Красной Армии и гонят во славу пролетарской диктатуры на убой мобилизованную «святую скотинку», согнанную с разных концов «распыленной деревенской Руси». Это они вместе с фанатиками коммунистами неистовствуют в чрезвычайках, но только те бескорыстно, а эти и себя не забывают. Это они так же, как в четвертой Государственной думе Замысловские и Марковы, гогочут при рассказах о пытках и истязаниях в ленинских застенках. Этих тоже никакими новыми маяками не проймешь! Эти первобытные «классовики» — такое же зло, такая же проказа для государства, для нации, как и отошедшие в вечность доблестные представители «объединенного дворянства»!

Строить новые маяки для красных бойцов-фанатиков бессмысленно, для Валяй-Марковых от пролетариата — постыдно! А если, как утверждает «Революционная Россия», существование преданных большевистской диктатуре рабочих «держит в сфере притяжения коммунизма многих идейных людей из интеллигенции, в частности из молодежи, которая не может жить без потрясающих утопий...»,— то этим идейным интеллигентам и молодым утопистам нужно, наконец, разъяснить, что следует служить идеям, а не создавать идолов, хотя бы они и назывались «рабочими и работницами»; что нужно быть не с теми рабочими, которые этим операциям подвергаются. Пора этих юношей, гоняющихся за «потрясающими утопиями», вернуть к не менее потрясающей действительности — захлебывающейся в крови, гибнущей среди голода и нищеты, брошенной под пяту хищника иностранца, страны, которая и для этих юношей все-таки Родина.

Неужели спасение и освобождение России невозможно, пока не превратятся в эсеров или меньшевиков последние «красные бойцы» Ленина, пока не выйдут вместе с ними «из сферы притяжения коммунизма» последние бородатые и безбородые утописты? Неужели для уловления этих последних могикан обреченного режима нужно перед кем-то заглаживать свои ошибки, приносить в жертву свое единство?! Неужели для них нужно отшвырнуть от себя свое прошлое, всю традицию Великой революции, как дымящиеся головешки, и возжечь новые маяки из перепевов большевистской демагогии?!

Нет, пусть назовут меня «варваром» и трижды предадут отлучению, я останусь у старых маяков, к которым еще вернется Россия.

З. Ю. Арбатов

Екатеринослав 1917—22 гг.

В большом губернском городе Екатеринославе, имевшем тогда около полумиллиона жителей, среди которых было до семидесяти пяти тысяч рабочих-металлистов,— февральскую революцию сделали люди, приехавшие утренним поездом из Харькова.

Они привезли вечерние выпуски газеты «Южный край», в которых сообщалось, что император Николай II отрекся от престола в пользу Михаила Александровича. Сообщение это, сейчас же перепечатанное местными газетами, вышло экстренным выпуском и было встречено населением с воодушевлением и радостью...

Никто ничего не знал подробно о Михаиле Александровиче, но почему-то все были под внушением, что именно Михаил Александрович в это тяжелое время нужен России и что спасение страна найдет только в новом Романове, который даст России ответственных министров, разгонит всю нечисть Зимнего дворца, и Россия, обновленная, принесшая в жертву миллионы жизней своих сынов, станет державой, очищенной от всяких Горемыкиных, Штюрмеров и Распутиных.

А в первых днях марта местные газеты получили телефонные сообщения из Харькова о том, что Михаил Александрович отказался от тяжелой шапки Мономаха, что «полковник Николай Романов» арестован, а вся власть в стране переходит к Временному правительству с Керенским, Милюковым, Гучковым.

Тогда была организована настоящая манифестация, во главе которой, придерживая одной рукой длинную кавалерийскую саблю, спокойно и деловито шагал помощник полицмейстера, подполковник Белоконь.

По телеграмме, полученной из Петербурга, председатель губернской земской управы К. Д. фон Гесберг созвал большое совещание всех общественных сил города. Тут были врачи, адвокаты, представители рабочих больничных касс... Заседание продолжалось до рассвета, а к утру была сформирована временная губернская власть во главе с Гесбергом.

Тогда же было решено всю полицию изолировать и профильтровать с тем, чтобы рядовых полицейских выпустить, а в чем-либо провинившихся арестовать и передать суду.

Полицейские были загнаны в большой зал театра «Колизей», а один из приставов, Борис Красовский, заподозренный в провокации, был заключен в тюрьму.

Работу по изоляции полиции проделал местный гарнизон под руководством директора завода Белявского, взявшего себе в помощники одного из деятелей рабочей больничной кассы, рабочего, социалиста-революционера, Лавра Шаляхина.

Когда стало очевидным, что монархия провалилась и что Временное правительство как будто и в самом деле является властью, тогда, к концу первой половины марта, во многих учреждениях потихоньку и осторожно стали снимать и прятать на чердак царские портреты.

Полицейские обязанности, вплоть до работ по делам уголовного розыска, взяли на себя студенты-юристы.

На заводах стали организовываться заводские комитеты. Появились меньшевики, эсеры, большевики: пошли митинги, собрания; появились расценочные и контрольные комиссии; одним дыханием был введен восьмичасовой рабочий день и заметно стала понижаться продуктивность рабочих. Были созданы какие-то специальные рабочие комиссии по проверке правильности предоставленных военнообязанным отсрочек по призыву в армию; как грибы после дождя, стали расти профессиональные союзы и объединения; пошла в ход рабочая оппозиция; вошли в моду паритетные начала; наиболее расторопные и толковые рабочие с нескрываемым удовольствием от продуктивных станков перешли в различные разговорные комиссии: организовался Совет рабочих и крестьянских депутатов во главе с председателем, рабочим Брянского завода Орловым.

О провинции никто не заботился. Все эти маленькие уездные Александровски, Павлограды и Бахмуты жили своей отдаленной жизнью; как-то по-своему переделывали житейские формы на новый революционный лад; забытые центром, лишенные авторитетной и определенной власти, уезды быстро катились к самой страшной анархии.

Всякий уезд, каждая волость создавали для себя особые, им выгодные, законы.

Губернская власть, занятая собственными заботами и, в свою очередь, не получившая никаких указаний из Петрограда, распространяла свои действия и мероприятия только в масштабе губернского города, и все, видимо, катилось к пропасти.

В городской думе, состоявшей из выборных различных политических партий, происходила ожесточенная грызня и борьба между фракциями и секциями, правыми и левыми... Деловые вопросы оставались без движения или тонули в политических спорах, а вражда партий с каждым днем все более и более обострялась...

Тогда же вполне самостоятельной единицей стало село Гуляй-Поле, в котором прочно засел вернувшийся с каторги каторжанин Нестор Махно, окруживший себя в селе несколькими десятками таких же уголовных каторжан.

После корниловских событий из Петрограда особым поездом приехало в Екатеринослав триста рабочих, присланных каким-то центральным профессиональным органом с мандатом за подписью какого-то военного инженера, с указанием, что местное общество заводчиков обязано этих товарищей-рабочих немедленно распределить по заводам с предоставлением им заработка по всем пунктам ставок,— и настроение в заводских кругах понизилось.

На мандате этом, помимо подписи военного инженера, были еще какие-то две подписи пролетарской каллиграфии, и в тихую лужу был брошен первый камешек.

Ни приказ номер первый, ни роковое июньское наступление, ни общая очевидная бессистемность в управлении Великой страной не произвели такого впечатления, как эта небрежно написанная бумажка с двумя пролетарскими подписями...

Устроили совещание. На этом совещании впервые были услышаны слова о буржуях, капиталистах, кровопийцах-директорах и о наймитах французского капитала.

Начав свою речь странным обращением «товарищи-директора», представитель присланных из Петрограда рабочих, пролетарий в военной одежде произнес жуткую по бессмысленности речь о мести рабочего класса, о красном терроре и о социализации... Вся эта речь произвела впечатление плохо заученной и перепутанной прокламации, которую приехавшие рабочие привезли из Петрограда.

При страшном падении продуктивности, при катастрофической дезорганизации фабрично-заводских предприятий в смысле их административного управления размещение присланных трехсот рабочих являлось поднесением спички к бочке пороху. Но настойчивые требования питерских рабочих и начавшиеся с их стороны угрозы заставили заводчиков разместить этих гостей по предприятиям среди своих старых спокойных рабочих, сразу почувствовавших прилив свежей ярко-красной струи.

На заводах все чаще и чаще стали возникать трения с администрацией и высшим

техническим персоналом, который частенько стали вывозить из цехов на тачках под общий шум и свист рабочих.

Появились воззвания и прокламации о свержении буржуазного Временного правительства капиталистов; стали на заводах образовываться какие-то красногвардейские ячейки; во время работ давались тревожные гудки, приостанавливались работы в цехах и устраивались митинги; раздавались открытые требования к удалению администрации и взятию фабрик в руки рабочих; по какому-либо простому случаю, а часто и без всякого повода делались попытки к массовым выходам с красными знаменами на улицу; и во всех этих взвинчивающих и разжигающих сравнительно спокойную рабочую массу кучках — всегда появлялись рабочие из петроградской партии.

Все они, рассыпанные небольшими группами в двадцать — тридцать человек по заводам, появлялись в цехах только для того, чтобы произнести короткую зажигающую речь, а сами быстро проникли в различные рабочие союзы и организации, ведя открытую, вызывающую и смелую борьбу.

На заводах появились винтовки; организовалась запись в Красную гвардию; во время работ тут же на заводах производились оружейные занятия и маршировки, руководимые теми же питерскими рабочими.

И когда, как-то осенью, Керенский исчез — в Екатеринославе с поразительной быстротой и неожиданностью объявился Временный революционный штаб.

Заняв большой особняк князя Урусова, Революционный штаб, состоявший из двух рабочих петроградской партии, Каверина и Васильева, и одного рабочего Брянского завода, Аверина,— сразу взялся за реквизиции, аресты и расстрелы.

От населения внимание Штаба было случайно отвлечено объявившимся в одно время с Революционным штабом — штабом анархистов. Потом выплыл какой-то штаб украинцев, и все свелось к тому, что в течение нескольких месяцев с более или менее продолжительными перерывами на улицах города происходили ружейные и пулеметные перестрелки: то между Революционным штабом рабочих и украинцами, то между анархистами и рабочими, а к Рождеству вспыхнула общая свалка и по всему городу летали пули и трещали пулеметы...

Воспользовавшись общей свалкой, Махно, грабивший тогда только маленькие уездные города, решил побывать и в «губернии».

Подойдя к поселку Амур, Махно открыл пулеметный огонь по железнодорожной части города, и так как никто ничего не знал о новом участнике боя, то произошло замешательство и каждая сторона, участвовавшая в бою, сократила свои боевые действия.

В Революционном штабе рабочих было высказано предположение, что это на помощь рабочим Екатеринослава идут рабочие Амура и Нижне-Днепровска.

Когда махновцы в числе около трехсот человек вошли в город и каждого встречавшегося на улице тут же без всяких расспросов расстреливали, все участники уличного боя попрятались.

И по городу весь день первого января восемнадцатого года разгуливали махновцы.

Ограбив крупнейшие магазины Озерного базара, махновцы подожгли здания магазинов, и вся привокзальная часть города озарилась ярким светом пламени. Сам Махно поставил посреди проспекта трехдюймовую пушку и в упор стрелял в наиболее высокие и красивые дома. Спешивший на поддержку дравшихся украинцев полковник Самокиш ворвался в город со стороны Горяиново во главе около пятидесяти всадников и большую часть махновцев перебил. К вечеру большевики, разобравшиеся в боевой обстановке, снова выступили и добили остатки махновской шайки и отряд Самокиша.

Первое кровавое посещение Махно Екатеринослава прибавило к общему числу жертв свыше трехсот трупов...

В короткие от боевых столкновений перерывы рабочий Аверин сорганизовал свой

новый коммунистический Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и, взяв у украинцев штурмом дом бывший губернатора, загнал туда пару десятков смущенных и недоумевавших депутатов-рабочих, выпустив тогда же приказ о полном подчинении Революционного штаба всем распоряжениям Совета.

Но анархисты не унимались: украинцы затаили чувство мести, и к концу января снова вспыхнули уличные бои.

Оперировавший тогда в Харькове Антонов, расстрелявший там же на седьмом пути харьковского вокзала губернатора Кошуру-Массальского, присылал Екатеринославу подкрепления в виде безработных и вооруженных рабочих, и казалось, что вот Временный революционный штаб Аверина окончательно раздавит и анархистов, и украинцев. Но в Екатеринослав неизвестно какими путями из совершенно отрезанного Киева прибыл Центральный Исполнительный Комитет украинских коммунистов, носивший сокращенное название Цикука. Заняв одну из больших залов Английского клуба, Цикука, состоявшая из трех рабочих, вооруженных австрийскими ручными пулеметами, занялась примирением враждующих партий. Председатель Цикуки, Мирон Трубный, заводской конторщик, из штаба Аверина вел переговоры с украинцами; из штаба анархистов кто-то вел мирные переговоры со штабом Аверина, а загнанные Авериным в Совете рабочие уныло болтались по просторным комнатам губернаторского дома, унося домой от нечего делать попадавшиеся под руки мелкие вещи...

Лежавший на полу большущий текинский ковер был миролюбиво разрезан на ровные части, и каждый из депутатов отнес домой по куску ковра.

Но как-то в апреле, как раз в тот день, когда все партии пришли к соглашению и почти безоговорочно решили подчиниться власти Совета, на Чечелевку, окраинную часть города, упал и разорвался шестидюймовый снаряд.

По распоряжению Васьки Аверина все заводские гудки тревожно загудели. Рабочим, состоявшим в красногвардейских ячейках, были розданы винтовки, патроны и пара пулеметов.

Аверин произнес речь о наступающих петлюровских бандах, впереди которых идут помещики и попы... Было наделено оружием около шестисот человек.

Разбитые на несколько отрядов, рабочие, красногвардейцы заняли вокзальную часть города; прождав около часу, они решили выйти навстречу противнику и, оставив небольшой караул на вокзале, вышли на версту за город, разбившись на небольшие отряды. Продвинувшись глубже в степь, они со страшной для них неожиданностью с трех сторон были засыпаны винтовочным и пулеметным огнем.

Никто из бывших там рабочих не вернулся в город: легли все.

Когда треск пулеметного и частого оружейного огня донесся до города, все штабы исчезли. Аверин, Васильев и Каверин уселись в автомобиль и бежали в сторону Синельниково, а на рассвете по центральной улице города уверенно и грузно шагали роты немецких солдат.

К утру в помещении рабоче-крестьянского Совета, как ни в чем не бывало, работала немецкая комендатура и по телеграфным столбам немецкие солдаты спокойно проводили телефонные провода.

* * *

Никто ничего не понимал.

Выяснилось, что сейчас город под властью Петлюры.

К обеду первого же дня занятия города в саду играл немецкий оркестр военной музыки; по городу проехало несколько платформ с трупами убитых немцами рабочих, захваченных на вокзале с винтовками в руках.

И весь день без перерыва по мосту через Днепр, направляясь в сторону Харькова, шли немецкие войска.

А дня через два появились в городе какие-то странные люди в цветных широких шароварах, ярких кафтанах, разговаривавшие на ломаном русском языке, но делавшие вид, что русского языка совершенно не понимают.

На город немцы наложили контрибуцию в триста тысяч рублей; созванная Дума контрибуцию разложила на население.

С второго дня прихода немецких войск начался сбор военнопленных немцев, австрийцев и турков. Незначительное количество пленных немцев и турков, тысячи пленных австрийцев, по два года проведших на заводах города и района, были переписаны, отправлены в баню и частыми поездами в течение трех дней, счастливые и довольные, уехали домой.

Отдельные единицы из пленных уклонились от возвращения на родину, так как во время пребывания в городе различных штабов занимали там какие-то посты и, производя реквизиции и аресты, не забывали о черном дне и о «грядущей старости». Чувствуя возможность повторения условий, при которых снова смогут возникнуть штабы,— эти пленные вместе с большевиками, застрявшими в городе, ушли в подполье, скрываясь и проживая под чужими документами.

Не успели мы порядком познакомиться с новой петлюровской властью, как опять люди, приехавшие пароходом из Киева, привезли нам новую революцию и, кисло радуясь, поздравляли нас с новым покровителем — гетманом Павло Скоропадским. И тут же показали манифест гетмана, в котором он называл нас «своим народом».

В городе все осталось по-прежнему: те же немецкие войска, та же немцами поставленная старая полиция; понемногу начали дымить заводские трубы; отправился первый скорый поезд на Киев, потом пошел первый поезд на Харьков, и тогда только мы узнали, что Россия кончается за Харьковом там, где начинается Белгород...

Курск, Орел, Тула, Москва и Петербург остались за границей.

И столицей нашей стал Киев.

Пока в Киеве Суозиф (Соед. украинское общество заводчиков и фабрикантов) сокращал права Протофиса (Союз промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства), а Протофис пытался совсем уничтожить Суозиф, украинское крестьянство, избиваемое помещиками и гетманскими приказными (нечто вроде полицейских урядников), потихоньку пускало скорый поезд под откос или убивало несколько немецких солдат...

Потом пробравшийся в Киев представитель красной России Раковский ожесточенно торговался с гетманскими министрами о границах, вел горячие переговоры и споры о каком-то торговом и транзитном договоре между Украиной и красной Россией, а тем временем на украинской границе Дыбенко накоплял красные части, а рассыпанные по Украине коммунистические ячейки подстрекали крестьян и рабочих к бунтам и восстаниям.

Вспыхнула революция в Германии. Под развалинами Вильгельмовского трона погиб и гетман Скоропадский. Появился снова Петлюра, но уже с Директорией.

Обезоруженные петлюровцами, опечаленные событиями на родине, уныло пробирались с Украины в Германию остатки немецких войск.

И в Екатеринославе опять появились анархисты, выползли из подполья большевики, и ночью, крадучись в сторону Александровска, вышел из города начавший формироваться восьмой офицерский корпус.

Раковский продолжал свой торг с петлюровской Директорией, а Дыбенко по стопам откатывавшихся германских войск вошел в Харьков, занял Лозовую, придвинулся к Синельниково и в начале января уже девятнадцатого года занял Екатеринослав.

* * *

После пестрых шароваров петлюровских «добродеев», умудрившихся из Воробьевых стать Воробьцами, а из Петровых перекраситься в Петреиковых; после Цикуки с одноглазым Мироном по улицам города стройными рядами прошли русские люди, в русских шинелях, с русскими винтовками на плечах, громко и заливисто распевая «Соловья».

А впереди советских рот нормальным пехотным шагом шли наши русские поручики, капитаны, усталые и мрачные.

И тут же на площади восторженный юноша, взобравшись на какую-то будку, стал произносить речь, восхваляя непобедимую Красную Армию, пришедшую с севера на юг освободить своих братьев, товарищей-рабочих.

В город с войсками вошел главнокомандующий Первой Украинской Красной Армией Дыбенко вместе с политическим комиссаром армии Петровским, впоследствии ставшим во главе Центрального Исполнительного Комитета Украины.

На устроенном в Большом театре митинге Петровский упрекал рабочих в инертности и в холодной встрече, оказанной ими вошедшим в город красным войскам.

Рабочие хмуро слушали Петровского, и только зажигательная, чисто митинговая речь Дыбенко несколько подняла настроение рабочих, отчетливо помнивших последние дни власти Совета, когда Аверин послал рабочих на вокзал отбить банды петлюровцев, а сам на автомобиле умчался в противоположную сторону, подставив ничего не знавших и доверившихся ему рабочих под четкий и косящий огонь немецких пулеметов.

Утром Дыбенко устроил парад войскам. Уныло плелись небольшие группы рабочих, неся красные знамена с мертвыми, никого не волновавшими надписями: «Вся власть Советам».

Когда же реявший над войсками красный аэроплан при спуске перевернулся и пропеллером сорвал головы у двух красных кавалеристов, а самого летчика, окровавленного и полуживого, извлекли из-под обломков аэроплана, всякий подъем окончательно пропал и рабочие разбрелись на окраины, тихо что-то шепча о божьем предзнаменовании, о кровавой судьбе баламутящих жизнь коммунистов.

Появившиеся в городе русские солдаты, старые солдатские песни дали несколько минут отдыха после насильственной и принудительной украинизации, но когда к утру из Москвы через Харьков приехал старый знакомый Васька Аверин, в городе стало жутко.

С первой же минуты приезда Аверина пошли аресты: в тот же день был созван прежний состав Совета рабочих депутатов.

Во всех действиях Аверина, пробывшего несколько месяцев в Москве, отсутствовало его прежнее разгильдяйство, исчезла грубость, внешняя некультурность, а чувствовалась какая-то планомерность в проведении заранее составленного плана.

В течение двух недель Аверин, выступавший как представитель Народного комиссариата Украины по внутренним делам, создал все учреждения советского аппарата, всюду давая руководящие указания и самостоятельно назначая ответственных партийных руководителей. Снова появился из подполья рабочий Шаляхин, ставший во главе отдела социальной помощи, цеховой конторщик латыш Квиринг, впоследствии делегат в Риге при заключении мира с Польшей, взял на себя ведение губернского отдела Совнархоза; известный и несколько раз судившийся в окружном суде конокрад цыган Николай Хавский занял пост заведующего отделом коммунального хозяйства; латыш — слесарь Межлаук определился на пост комиссара Екатерининской железной дороги; во главе военного губернского комиссариата стал пришедший с войсками некий Берг; политическим секретарем губернии был назначен коммунист Эпштейн; во главе губернского отдела народного образования стал капельдинер кинематографа в Юзовке безграмотный Карповский, впоследствии смещенный студентом первокурсником Митясовым; ведение отдела народного здравоохранения было поручено сыну проститутки Гурсину, а во главе исполкома, как-то само по себе, на посту председателя остался Васька Аверин.

Тогда же в доме инженера Непокойчицкого последней была организована Чека, председателем которой стал рабочий завода «Шодуар» Валявка.

И государственный аппарат в губернском масштабе был налажен.

А к весне большевики все чаще стали устраивать митинги, проклиная царского генерала Деникина, холопов-казаков и призывая рабочих к защите Донецкого бассейна.

Приехал в Екатеринослав Раковский, доказывавший на митинге рабочим, что Донбасс является кочегаркой мировой революции и что если пролетариат потеряет Донбасс, то погибнет и вся пролетарская революция.

Потом приехал Бубнов — член Совета обороны Украины и до хрипоты призывал рабочих вступать в ряды Красной Армии.

Наконец приехал сам Лев Троцкий.

Та же многотысячная толпа, с восторгом встречавшая в пятнадцатом году императора Николая II, высыпала на улицы и молча встретила красного диктатора.

С вокзала Троцкий направился в Большой театр, где уже с раннего утра набились тысячи рабочих.

Доклад Троцкого о положении Республики продолжался четыре часа.

Проживавшая в то время родная сестра Троцкого, жена доктора Мейльмана, стремившаяся повидаться с братом, не достигла цели, т. к. Троцкий не нашел свободной минуты, чтобы принять сестру.

На митинге Троцкий, заканчивая доклад, объявил Екатеринослав красной крепостью, и тогда все облегченно вздохнули. Стало очевидным, что добровольцы приближаются и что избавления от ежедневных расстрелов Валявки и от всей советской власти осталось ждать недолго.

Уехал Троцкий, и в город в спешном порядке прибыла пехотная дивизия под командованием капитана царской армии Федотова, служившего в Красной Армии под украинской фамилией Федько. Уехал и Дыбенко, передав командование всей 1-й Украинской армией Федько, ставшему командармом.

Производились частые выезды штаба Федько за город, расставлялись в разных частях города пушки, по ночам прорезали темноту, прощупывая небо, мутные лучи прожекторов.

Власть от губернского исполкома перешла целиком к «Особой тройке по обороне города от наступающих банд Деникина». В тройку вошли: Н. Хавский, Ломовский, бывший меньшевик, перешедший к коммунистам, и студент Бек.

Город был объявлен на осадно-крепостном положении. Уже с пяти часов вечера нельзя было не только появляться на улицах, но под угрозой расстрела запрещено было выглядывать с балконов или из окон.

Ночами Валявка беспрерывно и торопливо расстреливал содержавшихся в Чека. Выпуская по десять—пятнадцать человек в небольшой, специальным забором огороженный, двор, Валявка с двумя-тремя товарищами выходил на середину двора и открывал стрельбу по этим совершенно беззащитным людям. Крики их разносились в тихие майские ночи по всему городу, а частые револьверные выстрелы умолкали только к рассвету.

Опасаясь внезапного налета белых, Валявка решил «вывести в расход» всех, по его мнению, контрреволюционеров, и страшной тайной остались сотни имен тех людей, которых озверелый Валявка отправил на тот свет. Там были и петлюровские офицеры, и офицеры бывшей царской армии, случайно задержанные на улице люди без документов, арестованные за контрреволюцию священники. И по какой-то кошмарной случайности удалось найти труп того самого подполковника Белоконя, который важно сопровождал манифестантов в первые дни февральской революции.

Когда поздно ночью грузовик отвозил на свалочное место за город первую партию расстрелянных Валявкой трупов, тело Белоконя, лежавшего на верху кучи, от сильных толчков и быстрого хода грузовика соскользнуло и упало на дорогу, а на рассвете жители в трупе узнали Белоконя.

* * *

В город стали проникать слухи о том, что идет генерал Деникин с миллионной Добровольческой армией, тот самый Деникин, который не так давно отрезал правду-матушку военному министру Керенскому, что за Деникиным идет все казачество и несколько корпусов чернокожих стрелков.

Упорно утверждали, что на Екатеринославскую губернию уже назначен губернатор, и даже называли фамилию Щетинина.

По вечерам шептались о том, что Деникин, занимая город, отпускает коммунистов на все четыре стороны, что большинству не нравилось, но зато Деникин ведет за собой прекрасно сформированную и крепко сплоченную армию, вслед за которой идет закон и право.

На угрюмых лицах граждан все чаще появлялись загадочные улыбки, и тройка решила проучить торжествующих контрреволюционеров.

В одну ночь было арестовано свыше пятисот человек: судьи, купцы, учителя, общественные деятели, священники, фабриканты, врачи, адвокаты, и вся эта масса была загнана в трюм большой дряхлой баржи, стоявшей на якоре на Днепре.

Это была выдумка Ломовского, который, предполагая в случае необходимости оставить спешно город, одним снарядом в баржу помочь своему товарищу Валявке — и сразу уничтожить пятьсот контрреволюционных элементов.

Остальное мужское население, от пятнадцатилетних юношей до семидесятипятилетних старцев, было выгнано на окопные работы верст четырнадцать за город на ст. Игрень.

Без лопат, без указаний, без хлеба и воды проводили тысячи людей в степи, с затаенной радостью и волнением ожидая прихода противника.

Опасаясь какой-то сигнализации, большевики под угрозой расстрела запретили церковный звон.

Так продолжалось около двух недель: были вырыты какие-то канавы, в которые никто не садился, и когда через головы копавших окопы большевики послали первый орудийный залп в сторону предполагаемого противника, настроение поднялось, и все были уверены в том, что еще час, еще два и вот... вот покажутся освободители, борцы за право, борцы за закон, борцы за Великую Россию.

* * *

Весь день одиннадцатого июня большевики обстреливали из орудий, расставленных в Потемкинском парке, участок расположения ст. Игрень, намереваясь не пропустить по линии добровольческие броневики; но полковник Шифнер-Маркевич отвел свою конницу правее в сторону Новомосковского шоссе, всю ночь на двенадцатое дал лошадям и людям отдохнуть, а с утра, проделав какие-то маневры, показавшиеся большевикам отступательными, бешеным налетом, под артиллерийским огнем, первый влетел на железнодорожный через Днепр мост, увлекая за собой безудержную лавину разгоряченных казаков.

К часу дня по городу, озираясь по сторонам, разъезжали казаки, мимо которых со страшной быстротой проносились автомобили с убегавшими из города коммунистами. Последним из города успел бежать губернский комиссар Берг.

А Шифнер-Маркевич с сотней казаков помчался к станции Горяиново, чтобы отрезать большевикам путь отступления по железной дороге, и, захватив там два эшелона красноармейцев, вернулся в город.

Слезы, восторженные крики радости, дикие возгласы о мести большевикам, прибежавшие и влившиеся в толпу пленные с баржи, случайно оставшиеся у Валявки в живых,— все высыпали на улицы, создавая небывалый подъем и неповторную радость.

Легкой рысью проносились по широкому проспекту сотни казаков; добродушные улыбки кубанцев, загорелые лица офицеров, часто мелькавшие беленькие Георгиевские кресты и бесконечный восторг, неимоверное счастье освобожденных людей...

Никаких вопросов добровольцам никто не задавал, и у всех была в душе одна скрытая молитва, а в мозгу одна опасливая мысль: «Только бы устояли... только бы не откатились, только бы не отошли... только бы довели свое святое и великое дело до счастливого конца...»

В тот же день к вечеру, когда по проспекту тянулись тачанки с пулеметами и обозы, по городу был расклеен приказ коменданта о присоединении Екатеринославской губернии к территории Добровольческой Армии, о восстановлении полностью права собственности и о введении в действие всех прежних законов Российской Империи и о смертной казни на месте за бандитизм.

Но на утро другого же дня восторженность сменилась досадливым недоумением... Вся богатейшая торговая часть города, все лучшие магазины были разграблены; тротуары были засыпаны осколками стекла разбитых магазинных окон; железные шторы носили следы ломов, а по улицам конно и пеше бродили казаки, таща на плечах мешки, наполненные всякими товарами...

Мануфактура, консервы, бутылки вина, обувь, коробки мыла, туалетные зеркала, галстуки, все это, не забранное и испорченное, валялось тут же на тротуарах, создавая полную картину настоящего погрома...

Вышедшие с утра на улицу люди поспешили обратно по домам, и весь день по городу бродили темные люди, водившие за собой кучки казаков и указавшие им наиболее богатые магазины.

Грабеж шел вовсю...

К обеду разнеслась весть о приезде генерала Шкуро, и улицы снова наполнились толпой. Увидев молодого генерала, идущего впереди бесконечной ленты конных войск, толпа забыла печаль прошлой ночи...

Прилив твердой веры и новые надежды охватили исстрадавшихся людей.

Генерала забрасывали цветами: молодые и старые женщины, крестясь и плача, целовали стремена принесшего освобождение генерала.

И впервые после трехнедельного молчания зазвонили церковные колокола...

Шкуро, устало покачиваясь в седле, смущенно улыбался; к его простому, загорелому лицу как-то не шли ярко-красные генеральские лацканы, и еще вчера никому неизвестная фамилия Шкуро сегодня стала ореолом освобождения и надеждой на восстановление Родины...

А вечером, когда счастливая и утомленная толпа разбрелась по домам, на улицах опять появились кучки казаков, принявшиеся за продолжение погрома и грабежа еще сохранившихся магазинов.

В гостинице «Франция» расположилась приехавшая вслед за Шкуро добровольческая контрразведка.

И началось хватание людей на улицах, в вагонах трамваев, в учреждениях... Арестовывали по самым бессмысленным доносам; загоняли в одну общую большую комнату и держали по несколько дней без допроса и даже без какой-либо записи.

В контрразведке объявился в качестве ответственного агента заподозренный в провокации пристав Борис Красовский.

Когда арестовали несколько видных в городе присяжных поверенных и одного товарища прокурора окружного суда, только на том основании, что какая-то баба узнала их на улице и сказала казаку, что они при большевиках в каком-то учреждении в чем-то ей отказали, тогда общественные круги зашевелились.

Продолжавшиеся беспрерывно грабежи, совершенно произвольные аресты заставили видных в городе лиц обратиться лично к генералу Шкуро с просьбой принять меры к устранению этих явлений, так омрачающих великорадостные дни...

Генерал, улыбаясь, сперва остановился на том, что грабят не его казаки, а казаки группы генерала Ирманова, но увидев недоумевающие и удивленные лица стоявших пред

ним общественных деятелей, находчиво и убедительно, как бы не без оснований, сказал:

— Господа! о таких вещах сейчас еще не время говорить... Екатеринослав еще фронт, и если нам придется на некоторое время изменить линию нашего фронта, то вы можете снова очутиться в районе большевистского фронта... Этого, господа, забывать не следует!..

Линия фронта не изменялась, а грабежи росли и перенеслись на частные квартиры. По ночам раздавались отчаянные крики подвергшихся ограблениям.

Отправилась делегация к генералу Ирманову, и старый вояка, сидя засыпавший в кресле во время докладов своего адъютанта, сослался на свою в этом деле беспомощность, отмечая, что борьба с уголовными преступниками не входит в его чисто военные обязанности, а лежит на обязанности полицейских властей.

Когда же генералу было указано на то, что грабителями и уголовными преступниками являются казаки подчиненных ему же частей,— он удивленно, старческим дряхлым голосом, произнес:

— Да неужели?.. Вот канальи!.. — по его лицу скользнула счастливая отеческая улыбка...

Тем временем в город приехал губернатор Щетинин, тот самый, о котором тихо шептались еще в дни пребывания в Екатеринославе большевиков.

К частым дневным и ночным грабежам прибавилось еще колоссальное пьянство; казаки случайно открыли местонахождение двух огромнейших складов вина Мизко и Шлапаковых.

И круглые сутки весь гарнизон тащил из погребов вино в бутылках, ведрах, напиваясь до полной потери сознания.

Большевики, не так далеко отогнанные от города и имевшие много своих людей в городе, получив сведения о повальном пьянстве, с двух сторон повели наступление на город. Со стороны Пятихатки Федько двинул свои пехотные части и бронированный пароход, давший из дальнобойных орудий несколько выстрелов по городу, а со стороны городских дач подошли к самому городу собравшиеся красноармейцы, спрятавшиеся от казаков в лесах.

Поднялась невообразимая паника... Пьяные казаки дико летали по городу, нанося удары саблями редким прохожим, случайно встречавшимся им на пути...

Губернатор Щетинин первый на автомобиле из города бежал, и только случайно имевший трезвых людей молодой полковник Растягаев бросился на большевистскую пехоту, уже добравшуюся до рабочих кварталов города...

На железнодорожный мост было поставлено одно орудие, почти в упор бившее по подошедшему к городу бронированному пароходу.

В самом городе и на окраинах были пойманы большевистские комиссары: здравоохранения Гурсин, секретарь губернского партийного комитета Эпштейн, со свежеоторванной снарядом ногой, и командир 59-го железнодорожного советского полка, капитан царской армии Трунов.

Этих трех пойманных доставили в комендатуру, и комендант города, молодой есаул, отдал приказ: «Всех трех тут же и сейчас же повесить!»

На бульваре, против гостиницы «Астория», среди движущейся оживленной толпы, казаки поставили приговоренных и за отсутствием веревок сорвали с бульварной ограды несколько кусков толстой проволоки и закинули на суки деревьев три петли.

Бледный Гурсин первый надел на себя петлю, один из казаков ударил его по ногам и он соскользнул с невысокого столбика, тяжело опустившись книзу... Что-то глухо хрустнуло...

Эпштейн, прыгая на одной ноге, оставляя после себя следы капавшей с оторванной ноги крови, добравшись до дерева, зашатался, взмахнул руками и, что-то прохрипев, замертво упал. Он правильно рассчитал время, приняв дозу яда, но казаки, матерно ругаясь, спокойно подняли труп с земли и, просунув мертвую голову в петлю, сильно за ноги потянули к земле охладевшее тело...

4 —630

Трунов без тужурки, в одной нижней несвежей рубашке большими шагами ходил в тесном кругу обступивших его казаков.

Когда тело Эпштейна безмятежно повисло в проволочной петле, Трунов поднял руку и, взведя глаза к небу, хотел перекреститься... Но крепкий удар стоявшего вблизи казака отвел руку Трунова.

«Собаке — собачья смерть!» — злобно проговорил казак, и Трунов, не посмотрев на казака, спокойно влез головой в проволочную петлю...

Улица опустела...

Только к вечеру из подворотен стали выглядывать любопытные.

Трупы висели целую ночь, и только к полудню другого дня казаки стали ловить на улице бородатых евреев, заставляя их снять с петли висевшие трупы.

А спустя день на Троицком базаре какая-то баба указала казакам на каких-то трех простых людей, будто что-то у нее во время большевиков реквизировавших, и казаки сейчас же вынесли всем трем смертный приговор.

Тут же на перекладинах навеса были заброшены три петли, и совершенно растерявшимся и ничего в те минуты не понимавшим людям было предложено: либо в петлю, либо быть зарубленными шашкой...

Ни нечеловеческий рев, поднятый бабами и всем базаром, ни клятвы попавших в несчастие людей о их невиновности ни к чему не привели, и когда одним размахом саблей голова одного из несчастных покатилась по мостовой, забрызгав вблизи стоявших горячей кровью, оставшиеся два, перекрестившись, покорно полезли в петлю...

Трупы висели два дня, а изрубленный саблей был во многих местах обкусан крысами...

Только на третий день подъехала телега и куда-то трупы увезла.

Повешенные оказались жителями загородной слободки, никогда «ни в чем дурном не замеченные» и занимавшиеся штукатурными работами...

* * *

Город, являвшийся центром одной из богатейших русских губерний, был в полном распоряжении пьянствовавших казаков, грабежи не прекращались.

Донцы и кубанцы гнали разрозненные и растаявшие части красных уже за Харьков, а в Екатеринославе творилось нечто кошмарное.

Губернатор Щетинин взялся за организацию власти в губернии и в уезде. Назначив начальником уезда молодого полковника-строевика, Георгиевского кавалера Степанова, Щетинин стал совещаться с правыми силами города о составе Думы и назначил в городскую управу членами кадетов. Городским головой был назначен присяжный поверенный Коростовцев, членами были назначены юристы — Слободской, Овсянников и Воронин.

Но деятельность управы тормозилась отсутствием каких бы то ни было средств.

По продовольствию Щетинин назначил какого-то главноуполномоченного по продовольствию молодого, очень легко смущавшегося инженера. Он, по указаниям Щетинина, на все наложил запрет, приняв целиком на себя снабжение города всем необходимым.

Кончилось дело это крахом. Цены на продукты стали стремительно повышаться.

Сделанные на первых днях своего приезда обещания представителям рабочих организаций в смысле льготного и полного снабжения их продовольствием Щетинин не выполнил, и рабочие заволновались.

А грабежи, пьянство и разгул в городе не унимались... Были случаи насилия.

Только ко дню приезда в Екатеринослав главнокомандующего генерала Деникина грабежи и насилия несколько утихли.

На обед, устроенном городской управой в складчину, было приглашено около двухсот лиц, представителей различных общественных организаций и казенных учреждений.

Шли речи, тосты, балагурил и прерывал ораторов генерал Шкуро. После речи представителя украинских организаций, что-то на украинском языке лепетавшего о «самостийной» и «ще не вмершей», генерал Деникин встал и взволнованно, стукнув по столу, резко произнес:

— Ваша ставка на самостийную Украину бита... Да здравствует единая и неделимая Россия!.. Ура!

Дружно крикнули «Ура».

Когда очередь дошла до представителя промышленников, вскочил генерал Шкуро и с возгласами «разговорчиков довольно», «довольно разговорчиков»... не дал оратору начать речь...

— Приглашаю вас, господа, прослушать концертное отделение! — крикливо произнес генерал Шкуро, и все повернулись к эстраде, где какой-то актер рассказывал нудные и пошлые восточные анекдоты 〈...〉

Обед прошел вяло, нудно и скучно...

* * *

Не было почвы под ногами...

Контрразведка развивала свою деятельность до безграничного, дикого произвола: тюрьмы были переполнены арестованными, а осевшие в городе казаки открыто продолжали грабеж.

Организованная Щетининым государственная стража не решалась вступить в бой с казаками, а без боя ничего нельзя было предпринять, ибо казаки шли на грабеж в полном вооружении.

Потихоньку вечерами грабили и какие-то офицеры.

Вопли газет сделали лишь то, что губернатор Щетинин вызвал к себе трех редакторов местных газет и предложил им все заметки о грабежах, появлявшиеся обильно в хронике, помещать без указания, что грабеж произведен казаками.

После возражений и споров пришли к соглашению в том смысле, что в каждом случае ограбления, производимого казаками, в заметках будет указываться, что грабеж был произведен людьми, одетыми в военную форму.

За все время пребывания Щетинина на посту губернатора это было единственным его мероприятием по борьбе с грабежами, хотя и очевидно было, что в этой борьбе он был совершенно бессилен и одинок.

Государственная же стража часто выезжала в ближайшие села, вылавливала дезертиров и не являвшихся на объявленную добровольцами мобилизацию.

Как-то вернулся из уезда начальник уезда полковник Степанов и, рассказывая журналистам о своей работе в уезде, отрывисто бросил:

— Шестерых повесил!

Результаты быстро и катастрофически дали себя почувствовать. Негодование среди крестьян росло с неописуемой быстротой.

Осваг, получавший сводки из уездов, располагал страшным материалом, открыто показывавшим полную гибель всех начинаний Добровольческой армии.

Но в самом Осваге сидели чиновники, спокойно подшивавшие бумажки к делу... Ни стоявший во главе Освага полковник Островский, ни заведовавший каким-то общественным отделом полковник Авчинников — совершенно не понимали значения попадавших к ним в руки донесений, рапортов и докладов, написанных в уездах сухим полицейским языком...

Главное их внимание обращалось на издание каких-то разжигающих национальную ненависть брошюр и безграмотных, бездарных писем красноармейцу.

Объявленная Добровольческой армией мобилизация провалилась. Крестьяне, подлежавшие мобилизации, скрываясь от карательных отрядов государственной стражи, с оружием в руках уходили в леса.

Стали организовываться внушительные по численности и по вооружению шайки «зеленых». Участились случаи крушения поездов, подготовлявшиеся с грабительскими и мстительными целями; все чаще и ожесточеннее в деревнях уничтожалось начальство, олицетворявшее собой власть Добровольческой армии...

На поверхность жизни стали выплывать в деревне петлюровские течения, быстро склонившиеся к анархистским лозунгам Махно, принимавшего в свой стан всех, готовых на открытую борьбу против Добровольческой армии как власти, вешающей крестьян, и против всякой власти, вмешивающейся в жизнь крестьянства вообще.

Быстрые кони унесли казаков под самый Орел, а на Украине нарастало грозное негодование, угрожающее каждую минуту разразиться страшным всеуничтожающим движением.

В городе контрразведка ввела кошмарную систему «выведения в расход» тех лиц, которые почему-либо ей не нравились, но против которых совершенно не было никакого обвинительного материала.

Эти лица исчезали, и, когда трупы их попадали к родственникам или иным близким людям, контрразведка, за которой числился убитый, давала стереотипный ответ:

— Убит при попытке к бегству...

И потом каждый день редакции получали из контрразведки заметки о том, что-де вчера вечером при попытке бежать убит конвоем такой-то.

Это явление вошло в добровольческий быт.

Когда в редакцию была прислана заметка о расстреле при попытке к бегству некоего Арьева, узнавший об этом общественный деятель, старый профессор хирург Должанский, возмущенный, отправился в контрразведку, ибо Арьев, старый больной человек, только в том мог быть виновным, что всю голодную и бедную жизнь только мечтал о Палестине и уже меньше всего был способен на бегство из-под конвоя.

Профессор только произнес фамилию Арьева, как ему сейчас же бросили:

— Да ведь он же жид! — И этим ответом объяснения были исчерпаны.

Жаловаться было некому. Губернатор Щетинин вместе с начальником уезда Степановым, забрав из города всю государственную стражу, поехал на охоту за живыми людьми в леса Павлоградского уезда... Захваченный Щетининым журналист из казенного «Екатеринославского вестника» писал большие статьи о тайнах лесов, а губернатор со стражей сгонял на опушку леса сотни крестьян, бежавших от мобилизаций, и косил их пулеметным огнем.

Развил деятельность Махно: собрав свыше трех тысяч крестьян, он останавливал и грабил поезда, расстреливал всех носивших офицерские погоны, у нижних чинов забирал оружие и обмундирование, пассажиров сортировал и грабил по внешнему виду, и вся дорога от Александровска до Екатеринослава была фактически в руках Махно.

При всемирной поддержке крестьян Махно всегда и везде мог твердо рассчитывать на укрывательство, на провиант, на лошадей и даже на помощь боеспособными людьми.

И губернатор Щетинин объявил войну и открыл в своей губернии фронт военных действий против Махно, имея что-то две-три пушки и около сотни конных стражников, совершенно упустив из виду, что война идет не с Махно, а со всем крестьянством всей губернии.

Махно осмелел и с каждым днем становился наглее.

Обладая исключительной способностью легкого и быстрого передвижения, имея провиант в любом селе, а пулеметы, войска и патроны на тачанках, Махно в течение одного дня совершал нападения в различных концах уезда, нередко отстоящих друг от друга на расстоянии шестидесяти-семидесяти верст.

И в то время, когда Добровольческая армия откатывалась под натиском Буденного и была еще далеко от Харьковской губернии, Екатеринославская губерния как территория для Добровольческой армии уже не существовала и во всех направлениях была в полной власти Махно.

Екатеринослав был в кольце.

Особые партизанские хитрости, заставившие как-то генерала Шкуро признать Махно человеком, не лишенным способности создавать ловкие стратегические комбинации, приводили в ярость злополучного губернатора, и его крепко сжатые кулаки, рассчитывавшие ударить по самой голове Махно,— всегда опускались на пустое место, так как в эту минуту Махно уже грабил военно-продовольственный поезд ровно в тридцати верстах от поля битвы губернатора.

Отрезанный от всего, губернский город стал испытывать продовольственные и финансовые затруднения... Рабочие, видя охоту Щетинина за живыми людьми, стали открыто и угрожающе возмущаться...

Поступавшие крайне неаккуратно официальные сводки плохо скрывали катастрофическое отступление Добровольческой армии, и, когда совершенно неожиданно раздался истерический вопль генерала Май-Маевского к населению Харькова о защите города от надвигающейся красной грозы, Махно ворвался на несколько часов в Екатеринослав, убил несколько чиновников и офицеров, вывез брошенные Щетининым пушки, забрал пулеметы, патроны и обмундирование и оставил город, уйдя в неизвестном направлении.

Около двух дней город был без всякой власти, а потом показался полковник Степанов, высунули носы служащие Освага, вернулся в город Щетинин со «штабом», но спокойствие было окончательно поколеблено.

А четырнадцатого октября Махно, подойдя с трех сторон вплотную к городу, открыл из шести орудий пальбу, оставив для остатков Добровольческой и щетининской армий один выход через железнодорожный мост на Синельниково.

Здоровые молодые люди, в офицерских мундирах, с погонами и с винтовками в руках, бежали впереди, а позади тысячной толпой шли женщины, дети и старики, спеша к мосту, спасаясь от могущего каждую секунду ворваться в город Махно.

Пошатываясь, кутаясь в одеяла, плелись больные тифозные офицеры и казаки...

А к вечеру с трех сторон по широким улицам города стала вливаться повстанческая махновская армия.

* * *

Ночью Махно взорвал, совершенно сбросив в воду, две фермы железнодорожного моста. Окружив город с трех сторон кольцом пулеметов, а с четвертой стороны имея естественную защиту — широкий Днепр, Махно спокойно расположился в «губернии», изредка посылая остановившимся на противоположном берегу добровольческим остаткам звучный привет из батареи шестидюймовых орудий.

В ту же ночь махновцы открыли ворота тюрьмы и арестантских рот. А утром махновцы, облив тюремные здания керосином, поднесли горящие факелы, и весь день до поздней ночи огненные языки тянулись к небу, вырисовывая какие-то причудливые формы и навевая жуткие сказки средневековья...

Совершенно изолированным город прожил ровно шесть недель. Возможность получить какие бы то ни было сведения извне являлась фантастической мыслью, и глухими

осенними вечерами в полуосвещенных и холодных домах сидели десятки тысяч людей и напряженно прислушивались к беспрерывной стрельбе дежурных пулеметов, охранявших Днепр от переправы белых.

Иногда ночью разгулявшийся Махно открывал по правому берегу Днепра артиллерийский огонь, и тогда в ужасе и неописуемом страхе раздетые люди, матери, хватавшие из кроваток спящих детей, падая и разбиваясь на темных лестницах, устремлялись в погреба, так как добровольцы тотчас же отвечали, посылая в темноту, в густо застроенный город десятки шестидюймовых снарядов, многим принесших неожиданную и страшную смерть.

Эта пальба по городу вызывала только проклятья на жалкие остатки деникинцев, которые не могли не понимать, что, стреляя темной ночью по городу, они никакого вреда своему противнику Махно не принесут, и в то же время должны были знать, что эти снаряды падают на дома, влетают в квартиры, разрывая целые семьи на мелкие куски.

Открывавшаяся ночью с пьяной шутки Махно орудийная перестрелка продолжалась без перерыва до утра, а тогда уже огонь с обеих сторон развивался до максимальной силы.

Так в неустанном артиллерийском поединке прошла первая неделя пребывания Махно в городе.

Выпущенный Махно манифест к населению призывал всех к сохранению спокойствия, сдаче оружия и выдаче скрывшихся в городе деникинских офицеров.

Жизнь была веселая: круглые сутки пулеметы, расположенные по берегу реки, неумолчно трещали; частенько противники обменивались шестидюймовыми снарядами, и как бы под аккомпанемент этой смертоносной музыки махновцы обходили квартиры чиновников и военных, убивая случайно попадавшихся там хозяев и вынося из квартир все, что вынести можно было.

Члена окружного суда Волгина, к приходу махновцев бывшего в форменной тужурке с металлическими пуговицами,— вышвырнули из окна четвертого этажа на тротуар.

Случайно застигнутая у моста женщина с девочкой, оказавшаяся женой какого-то не местного профессора, успевшего уйти с добровольцами, была отправлена в махновскую контрразведку, и когда Левка Задов, начальник контрразведки, услышал, что муж ее там, на той стороне, он сразу в упор пальнул из тяжелого нагана. Не зная, как поступить с рыдавшим над трупом матери ребенком, Задов произвел еще один выстрел, и у трупа матери калачиком навеки свернулся секунду тому назад плакавший ребенок.

А добровольцы с левого берега посылали смертоносные снаряды, разрушая дома и убивая ни в чем пред ними не повинных мирных людей.

Шесть недель прошли в неослабном напряжении... Выходившие по очереди к подворотням видели, что как-то к вечеру длинной цепью потянулись тачанки из города в сторону Никопольского шоссе.

Ночью монотонную трескотню дежурных пулеметов прервал орудийный залп, раздавшийся не с левого берега Днепра, а с запада. Пулеметы на минуту умолкли... Потом раздался второй удар, и тогда Махно из всех бывших у него двенадцати орудий открыл непрерывный огонь, стреляя по всем направлениям, оставляя свободной от обстрела нужную ему дорогу на Никополь.

Можно было в этом страшном грохоте различить, что на залпы Махно никто не отвечал... И только спустя полчаса заговорили пушки добровольцев...

К утру Махно стал спешно гнать из города тачанки с забранными в двух ломбардах мехами, коврами... Торопливо вывозились патроны, продовольствие, и часов в десять утра в Озерной части города раздалась оружейная и пулеметная стрельба.

Пушки были сняты и галопом увезены; редкая цепь самых преданных Махно людей сдерживала натиск неизвестного противника, и, когда силы ослабели, махновцы вскочили

на поджидавших их коней и бешено помчались из города.

Последним ушел Махно; и минут десять спустя по той самой Садовой улице, по которой, оставляя город, с трудом сдерживая горячего коня, спокойно проехал Махно, показались верховые с офицерскими погонами на плечах...

Потом показались тачанки с пулеметами, над которыми развевались трехцветные флаги...

* * *

Стремясь соединиться с отступавшими на Крым добровольческими частями, генерал Слащев в Екатеринославе наткнулся на Махно и после короткого боя очистил и занял город.

В тот же день с песнями вернулись в город герои, просидевшие шесть недель на левом берегу Днепра.

Торжества не было...

Исстрадавшееся население ничего хорошего не ждало от пришедших избавителей, и смутные предчувствия оправдались.

Небольшие, где-то и кем-то потрепанные части генерала Слащева, состоявшие из ингушей и чеченцев, принялись за продолжение славного дела своих предшественников и пошли с грабежом по квартирам.

Кровью заливалось лицо от боли и стыда, когда в квартиры входили люди с офицерскими погонами на плечах и так же нагло, открыто и беззастенчиво грабили, как грабили дикие ингуши и чеченцы.

О судьбе Добровольческой армии как целого никто ничего не знал.

Слащев даже не въехал в город, а остался со своим штабом в вагонах на вокзале.

Попутно с грабежами слащевцы стали извлекать из больниц оставленных махновцами тифозных больных и развешивали их на оголенных осенью деревьях.

Когда случайно застрявший в городе член управы Овсянников направился в штаб к Слащеву с намерением просить его приказа о прекращении этого варварства, ибо о грабежах уже не было и речи, т. к. они получили права гражданства и вошли в быт, генерал Слащев Овсянникова не принял только потому, что, как откровенно сознался один из штабных офицеров, генерал пятый день не переставая пьёт и совершенно одурел.

Спустя неделю появились приказы Слащева, буква в букву повторявшие приказы Махно: та же сдача оружия и то же предложение выдавать махновцев, а за невыдачу — расстрел.

Была даже объявлена Слащевым мобилизация, вызвавшая только горькие усмешки глубоко почувствовавших себя несчастными русских людей.

Определенно говорили о полной гибели Добровольческой армии, а призыв Слащева к населению уйти вместе с ним от приближавшегося красного ужаса открыл глаза на все, происходившее кругом.

Добровольческая армия погибла. Кое-как отбиваясь, остатки бежали на Ростов и на Крым.

Но очень немногие ушли со Слащевым, ибо те, которые могли и хотели уйти, бежали еще при первом оставлении города Щетининым.

А сам Слащев ушел из города семнадцатого декабря, за два дня до вступления красных войск.

Оставив на деревьях несколько повешенных тифозных махновцев и глубокую скорбь в сердцах русских людей, волею судьбы он перелистал пред нами последнюю страницу кошмарной и жуткой повести, так мученически-свято вставшей и так позорно павшей русской Добровольческой армии 〈...〉.

* * *

Судьба Добровольческой армии была нам малоизвестна, и только приехавшие в город люди передавали о диких, кровавых действиях красных в Ростове, по всей Кубани и на Дону.

Армия Буденного, через Харьков, минуя Екатеринослав, преследовала убегавшие домой донские и кубанские части, хотя, в большом числе, казаки переходили к Буденному, возвращаясь в свои станицы под красным флагом Первой революционной Конной армии тов. Буденного. На отступавшие в Крым части большевистское командование тогда как-то обратило мало внимания, что дало возможность Врангелю спешно привести в порядок беспорядочно влившиеся в полуостров остатки добровольческих частей.

Ни смена штаба, ни расстрел царских генералов, ни назначение Фрунзе делу не помогли, и тогда Троцкий, остановив свой поезд на пять минут в Харькове, приказал украинскому Вцику на всей территории Украины ввести красный террор, т. к. в Крыму упряталась страшная змея — последняя надежда российской и мировой контрреволюции, барон Врангель.

Приказ Троцкого, выступавшего тогда как председатель Военно-революционного совета по обороне Республики и как военный народный комиссар, был тотчас же, куда можно было, передан по телеграфу, а в те места, с которыми не было телеграфной связи, были на паровозах высланы специальные курьеры.

Часов с десяти утра до часов пяти пополудни вся большая Новодворянская улица была очищена от жильцов, которым было разрешено брать с собой из квартиры только одну смену белья и ничего больше. Квартиры были оставлены жильцами в полном порядке, с мебелью, библиотеками, роялями, бельем, посудой; а самим выгнанным было предложено не толкаться по улице и не хныкать, а скорее убраться куда-либо к знакомым, так как уже с вечера в их квартирах должна начать нормальную работу Чрезвычайная комиссия по борьбе со спекуляцией и контрреволюцией, кратко называемая Чека.

И действительно, в ту же первую ночь из всех тюрем были отобраны добровольческие офицеры, переведены в большой дом Брагинского на Новодворянской улице и тогда же, на утро другого дня, мы впервые узнали от случайно застрявших в квартирах горничных и кухарок о странном шуме как бы летающего аэроплана, с частыми переборами, напоминавшими пулеметную стрельбу.

Под шум двух сильных автомобильных моторов все доставленные офицеры были скошены пулеметным огнем, и их окровавленные трупы положили начало смертоносной работе Чека, принявшейся за свое кровавое дело защиты советской власти от врагов изнутри.

И люди, поверившие было советской власти, лицом к лицу столкнулись с прежней, варварской, большевистской организацией, какой явилась снова Чека. Юристы, ушедшие целиком в работу по делам Революционного трибунала и понемногу начинавшие верить действительной государственности большевиков, сразу стали перед фактом существования самого дикого, самого бесконтрольного и самого беспощадного аппарата по истреблению людей, по степени их виновности заслуживших строгий выговор, но которых Чека, по ей одной известным соображениям, подвергла расстрелу.

Тогда Арсон, уже прочно засевший в коммунистической партии, снова поднял травлю против меня, и как-то ночью, после кошмарного обыска с срыванием обоев и взламыванием досок с пола, под конвоем чекистов, на рассвете, я был отправлен в Чека.

Больше недели я провел в большом концертном зале Коммерческого собрания, куда было согнано около трехсот человек. Беготня, мольба и хлопоты моих близких заставили юристов из трибунала начать переписку с Чека о передаче меня и моего дела в распо-

ряжение трибунала, как однажды трибуналом уже рассматривавшегося, но Чека ни на какие запросы и требования юристов из трибунала не отвечала, и я прочно засел в Чека.

И, как всегда в таких случаях, за несчастьем — несчастье. Во время обыска у долголетнего сотрудника «Русского слова» Новополина было найдено несколько номеров моей газеты, с наиболее враждебными против большевиков статьями. И с материалом в руках следователи Чека набросились на мое дело. Запахло кровью. Но исключительно счастливый случай спас меня от расстрела, и жизнью своей я обязан председателю коллегии следователей Чека, товарищу Ральфу, сыну театрального бутафора Р.

О том, что гроза всех содержавшихся в Чека, товарищ Ральф, в действительности мелкий театральный парикмахер — сын старика бутафора, я не имел никакого понятия, и поэтому, когда из камеры меня позвали на допрос к самому товарищу Ральфу, вся камера притихла... От Ральфа в камеру возвращались очень немногие...

До революции я часто на сцене наблюдал тяжелый труд старика Р. и помог ему устроиться на годовую службу в театр Коммерческого собрания, и туда же, по просьбе старика, мне удалось определить на постоянную службу его сына, парикмахера Р. Во время гастролей оперетты у одной из премьерш были украдены кое-какие золотые вещи, и так как, кроме постоянной горничной певицы и парикмахера Ральфа, никто в уборную не входил, кроме разве только полицмейстера — поклонника ног певицы, то в краже вещей был открыто заподозрен парикмахер Ральф, и когда вмешавшийся в дело полицмейстер приказал надзирателям обыскать Ральфа, из кармана его брюк были извлечены пропавшие вещи.

Две звонкие и тяжелые пощечины получил Ральф от полицмейстера, парой зуботычин в угоду начальству наградили его надзиратели, и, благодаря моим особенно настойчивым просьбам, вора выгнали из театра, дав ему возможность спастись от тюрьмы. Воздействием на старшин клуба мне удалось оставить старика-отца на службе, и дело было забыто.

Мягкость в обращении, вежливость Ральфа действовали на меня в совершенно обратном смысле, ибо я уже многое слышал о такого рода типах, наслаждающихся муками попавшей к ним жертвы... Когда же Ральф приказал конвойным выйти из его кабинета, я, вспомнив почему-то себя в новой гимназической шинели идущим домой с полученной в награду книжкой Марка Твена «Принц и нищий», решил, что сейчас конец, и одна мысль билась в мозгу: только бы не бил, а сразу бы...

Ральф, по выходе конвойных, предложил мне сесть. Спросил,— узнаю ли я его. Конечно, не узнаю... Не помню... Вижу как будто впервые... Припомнил Ральф Коммерческое собрание, и напряженные нервы особым током прорезали мозг и, как наяву, вспомнилась история с кражей...

Запуганный, пришибленный и всегда полуголодный, Ральф превратился в изящно одетого комиссара, с золотой браслеткой на руке, с маникюром; на столе лежал раскрытый и наполненный папиросами золотой портсигар и тут же рядом маленький, почти дамский браунинг, которым товарищ Ральф расстреливал в своем же кабинете.

Предложил папиросу и, услужливо подавая спичку, простым человеческим тоном сказал:

— Понимаете?.. Вас нужно расстрелять... Вас хотят расстрелять!.. Но я Вас не расстреляю... Я сейчас мщу всем за все, а Вы когда-то меня защитили и моего отца пригрели. Так вот: возвращайтесь в камеру! Завтра я Вас переведу в подвал, это для Вашей же жизни, и ждите... Ждите неделю... месяц... или больше... Только обо мне никому ничего не говорите!..

И, мгновенно сделав страшное лицо, схватил револьвер и диким голосом закричал:

— Конвой! Конвой! Убрать этого гада, пока я его не расстрелял!

И меня отвели в камеру, а поздно ночью в густую темноту камеры была крикнута моя фамилия, и в разных концах камеры послышались рыдания...

Я очутился в подвале, и только спустя три недели Ральф двинул мое дело в удобной для него тройке, и мне вынесли приговор, по которому я обязывался работать в каком-либо советском учреждении, на основе принудительной мобилизации.

* * *

При содействии коммунистов, бывших заводских рабочих, Шаляхина и Кравченко, мне удалось прикрепиться к отделу социальной помощи, занимавшему в громоздком аппарате большевистского управления одно из последних мест. Основной лозунг этого учреждения был таков, что в социалистическом государстве нет места частной благотворительности и что всякий гражданин, потеряв на фронте или на гражданской службе здоровье, имеет все права на получение от отдела социальной помощи как органа советской власти должного обеспечения. В действительности же обеспечение сводилось к тому, что, когда черный хлеб был в цене около двух тысяч рублей за фунт, лицам, имевшим потерю трудоспособности в сто процентов, а в некоторых случаях и в сто двадцать процентов — т. е. тем, которые к тому еще нуждались в постороннем уходе, выдавалась ежемесячная пенсия в три тысячи рублей, впоследствии доведенная до семи тысяч рублей, но уже к тому времени, когда хлеб дошел до цены пяти тысяч рублей за фунт.

Определенных и точных декретов на выдачу пенсий не было: в основу деятельности пенсионного подотдела легла еле читаемая, слабо отпечатанная копия декрета, с отбитой на машинке подписью наркома социального обеспечения, товарища Эльцина. По смыслу этого декрета за помощью к советской власти могли обращаться: всех чинов и рангов военные старой царской и новой Красной Армии, причем в первом случае офицеры и генералы уравнивались в размере пенсий с рядовыми; имевшим старые николаевские пенсионные книжки пенсия выплачивалась по этим же книжкам, а наиболее осторожные, свои пенсионные царские книжечки припрятавшие до лучших времен, подвергались мало требовательной медицинской экспертизе, которая почти всех, имевших за пятьдесят лет, относила в разряд инвалидов второй категории. На пенсию имели также право вдовы с детьми, поскольку муж их при жизни не был «буржуем» или не служил по тюремному или жандармскому ведомству. Подлежали обеспечению лица — одинокие, достигшие шестидесятипятилетнего возраста, и по точному смыслу декрета получилось то, что пойти на содержание к советской власти имеет право каждый — кому только не лень.

И в течение самого короткого времени больше пятнадцати процентов населения прописалось к постоянной клиентуре отдела социальной помощи. Преобладающим элементом являлась группа так называемых гражданских вдов, мужья которых умерли нормальной смертью еще в то время, когда о большевиках да и вообще о такой революции мы мало думали, за этой группой, в многотысячных цифрах, шли инвалиды и отставные военные старой царской армии. Первым за получением пенсии явился бывший екатеринославский уездный воинский начальник, ушедший в отставку с чином генерал-майора, Круглов, а за ним густо пошли все отставные старички и вдовы-старушки, гражданские чиновники в отставке, и остались за бортом только духовные лица, у которых была отнята их эмеритурная касса и которым советская власть отказывала в какой бы то ни было помощи.

Малым процентом в массе получавших пенсию стояли рядовые царской армии, так как этот элемент большей частью рассосался по селам и деревням, а городские инвалиды считали невыгодным ходить месяцами в отдел, чтобы потом получить пару тысяч на

полфунта хлеба, но самыми аккуратными, липкими и нудными являлись отставные николаевские старички и старушки, с поразительными для их старого возраста уменьем и настойчивостью стоявшие неделями в очередях за получением суммы, достаточной только на покупку трех коробок спичек.

Как потом уже житейски выяснилось,— этот элемент, имевший склонность к паразитскому существованию еще в царские времена и служивший нередко десятки лет только для того, чтобы выйти в отставку с пенсией, с укреплением советской власти решил и эту власть использовать так же тихо, слащаво и елейно, как удавалось это при царской власти. Большевики же, зная, что эти старики и старушки в чепчиках являются всегда и во всех случаях самыми опасными в толпе, снуя всюду и шипя, распускавшими разные слухи и разлагавшими и без того тяжелую для большевиков обывательскую массу, не без политической хитрости всю эту лебезящую армию сплетников и сплетниц взяли на свою сторону, и генерал-майор Круглов, получив от большевиков пару ничего не стоящих тысяч, уходил удовлетворенный, признавая власть государственной: «Как же!.. Даже пенсию мне выплачивают!..»

Совершенно отсутствовали в колоссальной массе пенсионеров инвалиды Красной Армии, но когда с течением времени стали появляться и последние,— советская власть для них, помимо общих для всех денежных пенсионных ставок, ввела особые натуральные выдачи в виде новой пары белья, штанов, гимнастерки, а для вдов красноармейцев были специально сшиты из дешевой материи женские широкие платья.

Потом стали появляться вдовы коммунистов, погибших на партийных работах в армии или в тылу, и для этой категории особым секретным распоряжением центра была установлена ежемесячная пенсия, дававшая безусловную возможность не голодного существования. Помимо того, что пенсии доходили до пятидесяти-шестидесяти тысяч рублей в месяц, с частыми натуральными выдачами и единовременными пособиями, главным плюсом для коммунистических вдов являлось распоряжение выплачивать им пенсию со дня гибели мужа-коммуниста, и так как многие погибли еще во время октябрьского переворота девятьсот семнадцатого года, то отдельные вдовы получали единовременные выдачи за полтора-два года в сумме, нередко превышавшей полмиллиона,— в то время, понятно, когда хлеб был в цене до трех тысяч рублей.

Когда к жизни отдела социальной помощи вплотную в качестве заведовавшего подошел Шаляхин, он одним распоряжением приостановил выплату пенсии всем категориям, оставив только открытой выплату пенсии инвалидам Красной Армии, вдовам красноармейцев и женам партийных работников, погибших на партийных работах в тылу.

Увидев тысячную массу, осаждавшую ежедневно отдел социального обеспечения, который по советской терминологии назывался собес, Шаляхин заявил, что собес питает за счет государства паразитов, мелкомещанскую контрреволюционную массу в то время, когда за счет этих выдач можно было бы увеличить ставки для красных инвалидов, их вдов и вдов партийных работников.

На заседании исполкома, по этому поднятому им вопросу, Шаляхин внес фактическое предложение, сводившееся к тому, чтобы изыскать какой-нибудь способ тихого и бесшумного уничтожения всей массы пенсионеров, захватившей в плен собес. От себя Шаляхин, шутя, предлагал выстроить большой крематорий, загнать туда всех старушек и старичков и сразу избавить социалистическое государство от сотен тысяч паразитов. Больше трех месяцев воевал Шаляхин с пенсионерами, пока не приехала Ворошилова, жена Ворошилова, бывшего тогда членом Реввоенсовета 1-й Конной армии Буденного, и, вступив в заведование отделом, стоя на точке зрения безоговорочного выполнения всех декретов советской власти, даже в тех случаях, когда эти декреты требуют чьей-либо жизни, коротко ознакомилась с декретом о пенсиях и распорядилась открыть выплату

пенсии всем пенсионерам, с выдачей пенсии за время с момента приостановки выплаты.

Как саранча, облепили пенсионеры собес, и в два дня наличность кассы и весь наличный запас собеса в Госбанке, рассчитанный на три месяца, был выплачен пенсионерам, добрая половина которых еще толпилась у собеса, стремясь получить единовременно пенсию за несколько месяцев.

Тогда Шаляхин пошел открытой войной на Ворошилову, агитируя против нее и в исполкоме, и в партии, и вообще при каждом удобном случае. Агитация Шаляхина имела успех без особого труда, так как Ворошилова мало была похожа на пролетарку. Всегда изящно и нарядно одетая — зимой в дорогом и модном каракулевом пальто, а летом в элегантной шелковой накидке, Ворошилова, которую и называли все не словом «товарищ», а по имени и отчеству, Екатериной Давидовной, напоминала собой даму выше среднего буржуазного класса. Хотя она одно время и была в ссылке, но внешне она оставалась милой Екатериной Давидовной, которая, уже будучи женой одного из вождей пролетариата, кокетливо принимала ухаживания молодых красивых командиров Конной армии, в большинстве состоявших ранее в лучших кавалерийских полках... Нередко на улице можно было встретить Екатерину Давидовну, окруженную свитой кавалеристов, и эта группа внешне и по беседе была очень далека от Рабоче-Крестьянской Красной Армии, давая скорее картинку полковой жизни былой царской армии.

На руке Ворошиловой задорно блестела широкая золотая браслетка с часиками, и сама она частенько говорила, что партийный комитет ее не любит за ее буржуазный вид и непролетарские наклонности. А поклонники были не только пролетарские, а совершенно буржуазные. В квартире Ворошиловой, в прекрасном старинном особняке, с утра до поздней ночи работали швеи и мастерицы для Ворошиловой и жены Буденного.

Ворошиловы и Буденный жили в одном особняке: вместе обедали, вместе проводили целые дни в штабе и часто вместе совершали на автомобиле прогулки за город или по Днепру на моторной лодке. К обеду подавалось вино, свежие фрукты и живые цветы. За обедом, по случаю назначения Ворошиловой заведующей собесом, присутствовал и я. Ворошилова во время обеда страдала от частых и громких отрыжек товарища Буденного, а к концу обеда, когда Буденный всей пятерней вступал в борьбу с кусочками еды, застрявшими в его крепких и больших мужицких зубах, Екатерина Давидовна бросила салфетку и встала изо стола.

Жена Буденного на тридцать пятом году своей жизни начала изучать грамоту. Простая баба-казачка ни душой, ни умом не понимала высоты положения, занимаемого ее мужем, и часто ругалась с Буденным, не разрешавшим ей приглашать к себе на квартиру ее земляков — казаков-одностаничников. В квартиру Ворошилова и Буденного были вхожи только высшие штабные работники — бывшие офицеры царских полков.

Ворошилов, работавший в партии еще с революции девятьсот пятого года, будучи рабочим-клепальщиком Луганского паровозо-строительного завода, ко времени большевистской революции уже имел солидный стаж политического пролетарского деятеля и самообразованием и любовью к чтению приобрел некоторые исторические познания, преимущественно из области революционных эпох. Частые выступления на митингах выработали в нем недурного оратора, и Ворошилов, заняв пост члена Реввоенсовета 1-й Конной армии, все время остается членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, и говоря на митингах о Милюкове, он строит свою речь так, как бы он только что расстался с П. Н. после горячего политического спора. Интеллигентность жены помогла Ворошилову в дальнейшем развитии, и сейчас этот человек способен наизусть цитировать целые страницы из Маркса и Энгельса.

В противоположность Ворошилову можно поставить Буденного, человека малограмотного, грубого и совершенно далекого от какой бы то ни было культуры. Вахмистр, любовно ухаживающий и до этих дней за своим ежиком на голове и за жесткими усами

à la Wilhelm, рубака, лихой наездник, он умом, душой и телом близок и понятен той армии, во главе которой он поставлен, а врожденный мужицкий ум дает ему достаточно такта при непрерывных сношениях со своими штабными — людьми голубой крови. В вопросах стратегического характера Буденный принимает в действительности только совещательное участие, понимая, что годы, проведенные офицерами в академиях и штабах, дают им больше прав на решение боевых задач, нежели ему — вахмистру, только удачно выполнявшему небольшие фронтовые поручения.

Но когда выработанный план требовалось осуществить, тогда выступал вахмистр Буденный — командующий Первой Конной армией, и казаки, видя впереди себя своего же брата-казака, своего земляка Семена, знали, что Буденный не подведет и не выдаст, и очертя голову бросались в самые отчаянные атаки.

* * *

Когда различные подотделы Чека основательно расположились в просторных особняках Новодворянской улицы и, пользуясь провозглашенным Троцким красным террором, развили максимальную деятельность, наши юристы, ушедшие в работу революционных трибуналов, стали лицом к лицу с таким положением: либо очутиться самим в «подвале», либо по-прежнему работать в трибуналах и делать вид, что все в порядке и расстреливают только самых опасных врагов советской власти, и то после накопления достаточного материала, устанавливающего полную виновность осуждаемого на расстрел. Вместо ранее приходивших бумажек о смерти подследственного юристы ничего не получали, а случайно узнавали, что по делу, по которому у них производится предварительное следствие и материал почти закончен для слушания дела, Чека производит свое особое следствие, и когда трибунал посылал вызов в тюрьму для того или иного подсудимого к слушанию его дела — тюрьма этого подсудимого не выпускала, сообщая трибуналу, что этот подсудимый числится за Чекой, а с течением времени обреченный переводился в собственную тюрьму Чеки, откуда никакая сила мира не могла бы его вытащить ⟨...⟩.

* * *

Когда выяснилась наличность у большевиков двух серьезных фронтов, наиболее непримиримые к советской власти решили не идти к большевикам работать и, разыскав старые карты русско-германской войны, вечерами создавали разные стратегические комбинации и вычисления, по которым выходило так, что в конце августа, в один и тот же день, Екатеринослав будет занят с запада поляками, а с юга — Врангелем, а большевики окажутся «в кольце». А пока что жены выносили на толкучий рынок стареньκие штаны, «все равно ненужный черный сюртук» и «и так без дела стоящий» спиртовый кофейник и, смеясь, продавали «каким-то дураком выдуманные» большие хрустальные вазы... Надо ведь только до августа продержаться, а там уже, будьте покойны!.. Врангель, наверное, с немцами и поляки с французами, и теперь-то уже большевикам крышка!.. А пока фрак-то все равно не нужен, можно его и продать, да, кстати, и посуды много!..

Дамы проводили целые дни на рынке, продавая вещи, шутя и улыбаясь, а вечером, голодные, возвращались домой и думали о том, что фрак мужа продавать-то и не следовало, а лучше было бы «загнать» эти утомляющие глаза тяжелые драпировки. Утром выносились на базар драпировки и эта «теперь совершенно ненужная» настольная электрическая лампа. А непримиримые сидели дома и часами, не отрываясь, комбинировали по карте.

И вдруг, как громом, ударило всех воззвание к русским людям, русскому народу и русскому офицерству о вступлеиии в ряды Красной Армии на борьбу с поляками, подписанное Брусиловым, Клембовским, Гутором и Заиончаковским...

Слова «матушка-Россия» рядом со словами «геройски сражающаяся Красная Армия» и подписи видных русских генералов истинных недавних народных героев.

Мне вспомнился генерал Гутор, когда он, как председатель Одесского военно-окружного полевого суда, часто наезжал к нам с сессией суда и ликвидировал остатки революционных брожеиий девятьсот седьмого года. Что ни дело, то смертная казнь через повешение, и вдруг этот старый царский вешатель, заодно с большевиками, призывает русский народ к защите советской власти... Или Брусилов!.. Нет, неправда!.. Очередной большевистский обман!..

Но скоро пришлось убедиться в том, что Гутор — это тот самый царский вешатель и что Брусилов — это тот самый наш родной... русский... народный герой Львова и Перемышля...

И непримиримые стали падать духом...

Изменил России, предал народ Брусилов!..— так сколько же за ним пойдет слабых и колеблющихся? А где же настоящая Россия, если Брусилов зовет Россию под красные знамена Интернационала на борьбу с поляками?..

Насколько это воззвание произвело на непримиримых страшное и подавляющее впечатление — в такой же противоположной мере сильно это подействовало на колеблющиеся массы, и сам Г. Зиновьев на митинге в Харькове открыто сознался, что Кремль поражен тем патриотическим подъемом, который вызвало воззвание русских генералов.

«Мы, говорил он, никогда не думали, что Россия имеет столько патриотов, ибо в первый же день появления воззвания на улицах Москвы в военный комиссариат являлись тысячи офицеров, ранее от службы в Красной Армии уклонившиеся, и десятки тысяч интеллигентов, рабочих и из деревни крестьян».

Выброшенный тогда Троцким лозунг «Вор в дом», связанный с содержанием брусиловского воззвания, вызвал в армии большой подъем. И когда на улицах города появились воззвания Брусилова и зажигательный лозунг Троцкого, к нашему губернскому военному комиссариату в лихорадочном возбуждении спешили и офицеры, и рабочие, и отдельные, ранее колебавшиеся, интеллигенты.

«Кому-кому, говорили они, но только не Польше подавлять русскую революцию и не им вмешиваться в русскую жизнь... Мы, говорили они, идем сейчас не защищать большевиков, к чему нас предательски призывает Брусилов, а идем только изгнать поляков из русской земли, помня, что, когда придет час, с большевиками мы справимся сами и уже, во всяком случае, без помощи Польши!..»

За две-три недели до появления воззвания Брусилова в сводках глухо сообщалось об угрожающей со стороны поляков опасности Киеву, а когда к нашим пристаням пристало несколько пароходов, с которых сносили трупы большевиков, убитых пулеметным огнем с польского аэроплана, стало ясным, что Киев «приказал нам долго жить» и что волна польского наступления широко разлилась по всей Украине.

Приехавшая особым поездом киевская Чека, еще до появления официальной сводки, привезла весть о занятии Киева поляками и о страшных потерях в рядах красных войск.

Пробыв несколько дней в городе, киевские чекисты выехали со всем своим багажом в Харьков, и это определенно указывало на то, что поляки продвигаются от Киева глубже на Украину и что надежды на скорое возвращение в красный Киев чекисты не имеют.

С севера на запад беспрерывно шли поезда с войсками, пушками... С Крымского фронта были сняты лучшие коммунистические части и переброшены на запад, и Врангель, почувствовав слабость и немногочисленность красных, впервые стал выходить из Крыма ⟨...⟩.

* * *

Предпринимая шаги к ограблению крестьянства под предлогом продовольственной разверстки, большевики решили порыться и в сундуках рядового городского обывателя, и тогда по инициативе Г. Зиновьева, восторгавшегося в Харькове патриотическим подъемом русского народа, первым почином в Харькове, а потом уже и по всей Украине и России, была устроена «неделя бедноты».

Модные тогда беспартийные конференции устраивались по всякому поводу и без всякого повода. Этими конференциями коммунисты пытались выяснить подлинное лицо и настоящие мысли беспартийной массы, что им, понятно, не удавалось... На одну из таких конференций приехал старый знакомый, Васька Аверин, в то время бывший на посту председателя Харьковского губернского исполнительного комитета. И около часу ночи по улицам города рассыпались «пятерки», имевшие в себе одного коммуниста на четырех беспартийных. По улицам были расставлены частые патрули, и «пятерки», беря с собой председателя домового комитета, входили в квартиры и производили «изъятие излишков». После этой ночи многие остались совершенно нищими, ибо «пятерки», взвинченные зажигательной речью Аверина и состоящие хотя и из беспартийных, но из тех же пролетариев, которые за время революции в корне изменили обычные взгляды на чужую собственность и в особенности на фабрично-заводское имущество, проделывали ночной грабеж с редким ожесточением и оставляли обывателям по одной паре белья. Забирали все: белье, наличные деньги, превышавшие сумму в двадцать тысяч советских рублей, золотые часы, кольца, портсигары, ложки, а в квартирах буржуазных взламывали полы и частенько извлекали оттуда, казалось бы, так надежно спрятанные бриллианты.

Город был ограблен так, как не грабили его ни пьяные казаки генерала Ирманова, ни дикие чеченцы пьяного Слащева!

Грабеж был проделан именно так, как об этом со скрежетом зубовным говорил Аверин.

«Мы, говорил он, должны сейчас пройти по квартирам мелкой, средней и высшей буржуазии и организованно ограбить у нее все те излишки, которые позволяют буржуазии, не служа и не работая у советской власти, нормально питаться и ждать из Киева поляков, а из Крыма Врангеля... Мы должны ограбить у буржуазии те народные миллиарды, которые хитрая буржуазия превратила в шелковое белье, меха, ковры, золото, мебель, картины и посуду... Мы должны все это у буржуазии отобрать и раздать пролетариям и заставить буржуазию за паек пойти на работу к советской власти!»

Вероятно, последний намек Аверина на раздачу отобранного пролетариям вызвал у них такие грабительские инстинкты, ибо мне лично пришлось долго слезно упрашивать «товарища» оставить мне белую клеенку, которая нужна была тогда моей больной жене.

Забрав все же клеенку, он с каким-то особым удовольствием сказал:

— Ничего... Когда-нибудь и моя жена заболеет!..

— Дай, Господь! — в тон ответил я ему.

Десятки пудов серебра, мешки золота и большое количество бриллиантов было в ту ночь забрано у населения, а к утру, до сдачи на центральный сборный пункт, ценности таяли, и спустя несколько дней многие коммунисты подали заявления об усталости, прося разрешения выйти из рядов партии.

Ценности в ничтожном количестве были сданы на хранение в финотдел товарищу Каменскому и Гальперсону, которые тоже проделали какие-то ловкие комбинации по извлечению бриллиантов и всаживанию дешевых рубинов, а то и простого шлифованного мальцевского стекла.

Была назначена особая комиссия по распределению изъятых у буржуазии излишков, и надо было видеть лица пролетариев, когда на заводы им привезли старые рваные штаны, рубахи в заплатах, похожие на тряпье, с торчавшими клочьями ваты пальто, и ни одной меховой шубы, ни одного пиджака, ни одной пары целых брюк, тогда, когда они сами кучами из почти каждой квартиры выносили новое белье, свежее платье, хорошие пальто, меховые вещи, ковры, люстры, дорогую посуду, художественные альбомы, фарфоровые статуэтки, электрические кофейники и еще много, много разных вещей нормального среднебуржуазного обихода.

Но «с собаки и шерсти клок».

Рабочие, глухо ругаясь, брали и это тряпье, увидев, что даже в таком чисто воровском деле, где этика всегда соблюдается строго, большевики тоже оказались верными своему постоянному поведению и девизу: «грабить награбленное».

* * *

В Киеве как-будто прочно засели поляки и уже несколько замедленным темпом продвигались вниз по Днепру.

Из Мелитополя частенько, действительно, по-змеиному выползали врангелевские части и, впуская жало в красные полки, снова убегали на длительную паузу.

Бесконечно резвился Махно, совершая частые налеты на Александровск, Лозовую, Павлоград и Синельниково, несмотря на то, что на этом участке беспрерывно проходили красные воинские части.

Как-то утром по железнодорожному мосту, направляясь в город, прошла кавалерия, поразительно похожая на еще сохранившуюся в памяти кавалерию генерала Шкуро...

Те же худые лошаденки: всадники со скуластыми и улыбающимися лицами, лукаво выглядывавшими из-под высоких мохнатых папах.

Неописуемо было удивление, когда этот отряд, въехав в город, рассыпался на небольшие группы в три-пять всадников и занял те самые конюшни, в которых эти же лошади с этими же казаками стояли, будучи в рядах конницы Шкуро.

Казаки улыбались и говорили, что они против коммуны, но и против поляков и что если бы Деникин не повесил их кубанских вождей из Рады, то они взяли бы Москву, и Россия была бы Россией, но и казачество имело бы свою самостоятельность. А теперь ни ему, ни нам, а чертям-коммунистам!.. Мы, говорили казаки, сейчас все идем на поляков, и вот завтра увидите много старых знакомых!..

С трепетом ожидали мы прихода старых знакомых, ожидая новых грабежей.

Но каково было видеть, когда беспрерывной лентой в течение трех дней шли казаки через город, останавливаясь застрявшей к ночи частью на ночлег в город, и не только ни одного ограбления, но ни одного выкрика не было слышно.

В старые квартиры на несколько минут, «чтобы повидаться», заворачивали бывшие добровольческие хорунжие, сотники и есаулы, без погон, но с какими-то нашивками на рукаве.

Днем в городе играли три оркестра музыки, и Буденный с Ворошиловым, оба верхом, с восторженными криками «ура» и «даешь Варшаву!», пропускали мимо себя десятки тысяч сынов Дона и Кубани.

За три дня сплошной лентой через Екатеринослав, направляясь на запад, прошло свыше сорока пяти тысяч всадников, и те же самые казаки, которые всего только год тому назад день и ночь грабили город, сейчас проехали по городу, как лучшая из лучших дисциплинированных армий.

Чтобы поднять настроение населения, большевики выпустили плакаты о поимке частями Буденного бандита Махно, но части Буденного давно и далеко ушли за Екатерино-

слав, и спустя два дня мы узнали, что Махно вырезал весь Лозовский исполком.

Заехавший к нам повидаться казак, кем-то умышленно уязвленный тем, что ныне служит и идет на бой под командой «жида Троцкого», горячо и убежденно возразил:

— Ничего подобного! Троцкий не жид... Троцкий боевой!.. Наш!.. Русский!.. А вот Ленин, тот — коммунист... жид, а Троцкий — наш... боевой... русский!.. Наш!

И, хлестнув нагайкой коня, помчался догнать ушедших далеко вперед товарищей...

* * *

Ввиду опасности, угрожавшей со стороны Врангеля, исполкомом решено было начать постепенную разгрузку города и эвакуацию наиболее ценного имущества. В первую очередь принялись за заводы. С большого завода Гантке было погружено в вагоны свыше восьмидесяти тысяч пудов гвоздей, болтов, гаек, разной обработанной проволоки; весь магазин завода, впоследствии разграбленный, частью во время погрузки, а частью из вагонов, был погружен в двенадцать вагонов, там было: три вагона олова, цинка и свинца, два вагона электрических ламп и различных электрических принадлежностей, ремни кожаные и резиновые, какие-то особые химические препараты.

Такие же материалы, но в значительно более крупных количествах, были погружены с Брянского завода, двух заводов Шодуара. С небольших заводов, как «Старр и К°», «Гвоздильный завод бр. Фрумкиных», большевики сняли с установок и погрузили в вагоны менее тяжелые и наиболее дорогие гвоздильные и шпилечные станки.

Из Екатеринослава было вывезено больше пятисот вагонов заводских ценностей, без которых заводы оказались мрачными и безжизненными инвалидами. Без охраны, без описи, вагоны были двинуты на Харьков, Москву и Саратов, но так как на Синельниково часто налетали и Врангель, и Махно, большевики решили все эвакуируемое имущество направлять через Пятихатку на Кременчуг и кружным путем двигать эвакуацию на север.

За дело взялся и товарищ Трепалов, имевший переполненные тюрьмы контрреволюционеров, саботажников и бандитов. Как председатель Чеки, он потребовал составить ему список наиболее видных контрреволюционеров, саботажников и бандитов, и когда в списке набралось около пятидесяти человек, он против фамилий, наиболее ему не понравившихся, писал сокращенное «рас.», что означало — расход, т. е. расстрел. Пометки он делал толстым красным карандашом и так, что его пометки не всегда были против той фамилии, которую он отмечал, а местами несколько выше или несколько ниже.

Когда был получен приказ эвакуировать Чека, первым оставил город Трепалов, а чекисты, получив список, стали разбираться в нем, кого следует выпустить, а кого надо вывести в расход, но так как пометки Трепалова были сделаны небрежно, то и в отдельных случаях трудно было установить, к какой, собственно, фамилии относятся буквы «рас.»...

И чтобы не выпустить случайно какого-нибудь заморенного контрреволюционера, один из чекистов прямо решил:

— Чего там, товарищи, копаться... Вали всех!

И все пятьдесят были «выведены в расход», во славу власти рабочих и крестьян.

Эвакуация города в десятых числах сентября шла горячим темпом: семьи коммунистов из коммунистических общежитий были переведены на стоявшие под парами пароходы, каждую минуту готовые к отплытию на Кременчуг; на заборах, стенах и столбах красовались проклятия на голову контрреволюционной змеи, которой только изза предательства сидящих в штабе белых офицеров не удалось размозжить голову так же, как размозжили череп гаду Деникину... Но это еще не конец! Пролетариат себя еще покажет!.. И остающиеся в городе пролетарии пройдут еще одно последнее испытание

и верят, что советская власть еще вернется и уже навсегда освободит их от ига белых генералов!..

Все это оказалось ненужным...

Двадцатого сентября врангелевские части со стороны Синельниково и со стороны Никополя двинулись к Екатеринославу, имея впереди в панике убегавшие, разрозненные красные части, и, подойдя к станции Игрень со стороны Синельниково и к Каменке со стороны Никополя, остановились в шести-восьми верстах от совершенно оставленного большевиками города.

А на утро двадцать первого сентября опять отошли за Синельниково в то время, когда большевики в паническом бегстве были уже далеко за Пятихаткой.

Получив сведения о новом отходе Врангеля, большевики стали осторожно приближаться к городу, и, по мере их подхода к городу, врангелевские войска отходили все глубже на юг, и к тому моменту, когда войска Врангеля отошли к Александровску,— большевики снова вошли в город, находясь все время в полной боевой готовности и держа военные учреждения и госпитали в полуразвернутом виде.

В самых первых числах ноября казаки и махновцы ворвались в Крым и вскоре вылавливали офицеров в Керчи, Феодосии, Севастополе и Ялте.

А двадцать четвертого ноября, особым приказом по Крымской армии, Фрунзе потребовал у Махно, помогавшего ему в наступлении на Крым, расформирования его частей, несмотря на то, что по заключенному соглашению махновские отряды должны были оставаться самостоятельными боевыми единицами, только в оперативных вопросах подчиненными штабу Крымского фронта.

На добровольное расформирование отрядов, для рассылки их по различным красным частям Красной Армии Фрунзе предоставил Махно срок в два дня до двадцать шестого ноября, но уже двадцать пятого ноября Махно, имевший свои главные силы по эту сторону перешейка и сделавший вид, что на такое расформирование он соглашается, вывел из Крыма ворвавшиеся туда вместе с красными свои наиболее горячие передовые части, и его вновь раздавшийся разбойничий свист разнесся по Екатеринославщине, Полтавщине, Черниговщине и Херсонщине.

За одержание победы над Врангелем и за очищение последнего островка от остатков русской контрреволюции постановлением ВЦИКа Фрунзе получил звание «Крымский герой».

О том, что происходило в Крыму, до нас доходили самые смутные слухи, в Крым пропускали только по особым пропускам Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета, а выпускали исключительно по особым ордерам, подписанным Бела Куном.

Шли предварительные переговоры с поляками о перемирии, и наступившая жестоко холодная зима сковала все мысли, чувства и веру в то, что когда-нибудь кем-нибудь будет сметен опутавший Россию красный кошмар.

Жуткими зимними вечерами, в нетопленной комнате, при еле мерцающем огоньке коптилки, мрачными и печально-траурными тенями вырисовывались Колчак, Юденич, Деникин, Врангель, и, как что-то далекое, давно ушедшее, бледно и свято выплывали Алексеев, Корнилов, Духонин и те тысячи безвестных, которые за честь Родины, за святость Земли русской без траура, молча сложили свои головы на великом просторе родных полей...

* * *

В советских учреждениях храбро боролись с холодом советские служащие, сжигая в железных печах письменные столы, стулья, бумаги.

Тиф свирепствовал, унося ежедневно десятки людей; расположенные в городе крас-

ные пехотинцы, изнывая от холода в нетопленных казармах, выходили ночью на охоту и снимали с жилых построек наружные деревянные лестницы.

Дети в приютах и больные в больницах умирали от холода и голода.

Изыскивая средства получения топлива, исполком предложил коммунхозу наметить брошенные буржуазией дома, которые теперь, придя в негодность, могли бы быть снесены с тем, чтобы лес от построек был распределен на топливо для больниц, приютов и казарм.

Коммунхоз указал десяток домов, которые могли бы еще простоять добрую полсотню лет, и началась разборка домов. Каждый рабочий, уходя с работы, уносил с собой «шабашку», а потом, вместо «шабашек», у рабочих появились малые санки, на которые все же укладывалось четыре-пять пудов дров.

Приставленные на ночную охрану леса милиционеры всю ночь стреляли в воздух, беспрерывно нагружая подводы и сани, отправляя дрова своим домой, знакомым и приятелям.

А когда большие каменные дома были разобраны, публеском явился за получением леса, и ему было показано на сваленные в кучу водосточные трубы и на старое, проржавленное кровельное железо.

И вся затея кончилась тем, что в разных частях города торчали голые каменные стены, зиявшие дырами бывших окон и дверей.

Страдавшие от жестоких морозов и в холодных учреждениях советские служащие снимали ставни с окон и кое-как топили печи, служащие железнодорожного отдела попытались ввести отопление нефтью и после первого же опыта вызвали пожар, уничтоживший весь громадный корпус управления, идущий вдоль по проспекту.

Чека нашла повод объявить, что контрреволюция снова начинает протягивать свои костлявые руки к мирному существованию Республики и, не имея открытых сил, выступает исподтишка, поджигая лучшие дома — достояние трудящихся.

И тут же было объявлено, что где бы и по какой бы причине ни случился пожар, пред карающим оком Чека виновен председатель домового комитета того дома, в котором случился пожар. А наказание самое нормальное: расстрел.

С раннего утра носились запуганные председатели домовых комитетов по квартирам жильцов, проверяя установку печей, труб, требуя поправок и перестановок. Пошла грызня, руготня, развились доносы, а наиболее буржуазные дома, вообще не пользовавшиеся любовью местных советских властей, опасаясь какого-либо несчастного случая, единогласно постановили: топить... а ни-ни!.. и никому!.. И так и протянули до весенних дней.

А на толкучем рынке, там же, где наши дамы продавали или выменивали «все эти неизвестно кому нужные» и «неизвестно каким дураком придуманные» гардины, коврики,— стройно в ряд располагались бабы, имея у ног несколько дощечек из паркетного пола, общим весом не более десяти фунтов, и цена в тысячах рублях равнялась количеству фунтов.

Веселым развлечением являлись принудительные очистки тротуаров и улиц от снега, и когда после пяти часов на темную улицу выгоняли все мужское «буржуазное» население на чистку снега, становилось весело, и улица оглашалась бодрыми криками, и твердые снежки больно шлепались в спину.

Много забавной возни было с часто и в разных местах лопавшимися водопроводными трубами. Не было воды ни кружки, и вдруг — вся комната наполнялась водой на пол-аршина от пола.

А ночью, цепенея в теплом пальто под одеялом, ковриками и разным тряпьем, лежишь и думаешь: «А как хорошо, должно быть, сейчас в Африке!.. Жарко там... все ходят в ... голом, а у нас здесь ...бр ...бр...» И ледяной холод сковывал мозг ⟨...⟩.

* * *

Пришли весенние теплые дни...

Кругом шла суета по борьбе с хозяйственной разрухой...

Исчезнувший холод оставил прежний, но еще более усилившийся голод... Из квартир на толкучий рынок выносились последние рубахи, а кругом носились автомобили, возившие спасителей красной России, восстановителей разрушенной хозяйственности.

Увлекательной сказкой ничегонеделания вскружила головы рабочим нашумевшая электрификация...

В городе создалось огромное учреждение, которое должно было электрифицировать Днепровские пороги, установить на порогах колоссальной силы динамо-машины и посмеяться над жалким стариком Донбассом, снабжая все заводы, фабрики и электрические станции белым углем, который вот-вот будет извлечен из стихийной силы Днепровских порогов.

А в городе не было не только большой силы динамо-машин, но и простого штепселя для настольной лампы, и учреждение электрификации разослало по всей России агентов для розыска и покупки или реквизиции динамо-машин, моторов, шнура, кабеля, лампочек и штепселей.

Учреждению по электрификации было предоставлено право закупки материалов у частных лиц по рыночным ценам и по соглашению, и из заводов рабочие стали выносить электрические моторы, установки, рубильники, вынося по частям целые установки больших заводских электрических станций, которые тут же через ловких посредников продавались учреждению за баснословные миллионы. Хищнические приемы и дерзкие кражи заводского имущества обратили на себя внимание исполкома, и несколько рабочих были поставлены к стенке...

Кражи прекратились, но среди рабочих пошло брожение, и все чаще стали повторяться нападки на специально большевиками на заводы поставленную промышленную милицию.

Прекратились хищения, и снова пришел голод... Продовольственные органы обменивали синие карточки на белые, красные на голубые, а хлеба так и не давали, и холера теплыми летними днями уверенно заняла место уставшего тифа.

Истощенные недоеданием организмы, жадно поглощавшие всякую зелень, покорно отдавались холерным вибрионам, и большевики выбросили новый фронт — борьбы с холерой...

Повторялась история тифозного фронта...

Утром на улице о чем-то пошутил с встречным знакомым, а вечером с ревом врывается жена умершего знакомого... А к утру другого дня домком умоляет губздрав дать наряд на тачку, чтобы вывезти из квартиры умерших от холеры супругов...

Установленные для холерных больных бараки не имели ни горячей воды, ни лекарств, ни коек, а больные свозились туда только для того, чтобы меньше выделить из себя холерной заразы в городе и околеть на голом соломенном матрасе, а то и просто на земле...

Узнав прелести этих бараков, близкие заболевших холерой скрывали своих больных от соседей... от врачей... от милиции, опасаясь насильственного увоза обреченного. И только когда за первым в семье сваливался в судорогах и другой — начиналась беготня в губздрав, в милицию, в санитарные участки, амбулатории с мольбами забрать труп окоченевшего и корчащегося в судорогах другого... Никто не приходил, и здоровые люди в смертельном ужасе бросали и труп, и умирающего и убегали к знакомым, оставляя квартиру на произвол судьбы...

На окраинах и в рабочих районах холера справляла сытую тризну, и затаенный шепот о каре Божьей, о проклятье Господнем стал глубоко проникать в расслабленные умы голодных, измученных и истощенных людей...

В хижине одного холерного проявилась икона. Холерный в мученических судорогах умер, но в маленькую хижину железнодорожного стрелочника устремились сотни баб, имевших дома корчившихся от холеры мужей, сыновей и дочерей.

Обновилась икона и в доме заводского слесаря, и жена его, уже почти холодная и скрюченная холерными судорогами, взглянув на обновленную икону, через несколько часов выздоровела и рассказала тысячной толпе о чуде, сотворенном иконой Богородицы...

Легенды пошли и об обновившихся иконах в селах и деревнях, и партийный комитет, увидев нарастающее стихийным темпом религиозно-фанатическое движение, решил вмешаться в эти божеские чудеса и для большей верности в работе привлек лучших агентов Чека.

Все квартиры, в которых иконы обновились, были опечатаны, и к дверям и иконам были поставлены вооруженные коммунисты.

Когда уже во время работы комиссии из партийного комитета и агентов Чека обновилась еще одна икона где-то на окраине, масса стала ежевечерне наполнять церкви, требуя от священников служения молебнов о поддержании силы Божеских чудес на земле.

Большевики нисколько не препятствовали народу в церквах выявлять свои религиозные чувства, но в свою комиссию по обследованию обновлений пригласили двух популярных в городе инженеров, одного священника и двух рабочих.

Объявив в газете о сформировании такой комиссии, большевики с удивительным в этом случае тактом приступили к работе, публикуя ежедневно в газете результаты обследований в виде подробных протоколов, за подписью всех членов комиссии.

Комиссия установила во всех случаях обновления грубую подрисовку икон с подкладыванием по бокам рамок фольги, от чего лик как бы действительно прояснялся.

И тогда была открыто пущена в ход Чека с приказом во что бы то ни стало раскрыть историю этих обновлений, так как комиссия установила, что все обновления в городе и в ближайших к городу деревнях были сфабрикованы из одного и того же материала и как бы чуть ли не одной и той же рукой.

И через несколько дней из какого-то глухого села чекисты приволокли в город связанных веревками сельского батюшку, какого-то бывшего иконописца и одного неизвестного, который упорно отказывался назвать себя.

Все трое упорно не сознавались в приписанном им преступлении, и хотя Чека объявила о найденных у задержанных лиц остатках фольги и золотистых красок, но и священник, и иконописец, и оставшийся неизвестным, падая под гулкими выстрелами чекистского нагана, унесли с собой жуткую тайну, еще более страшную в дни слабого, судорожного трепетания придавленной и запуганной человеческой мысли...

* * *

Те тайные склады, из которых исполком, через продовольственные органы, в самые критические и опасные для власти минуты извлекал кое-какие продукты, скупо подбрасываемые наиболее опасным рабочим, оппозиционным группировкам, в конце концов иссякли.

На сотни тысяч, вырученные железнодорожниками за проданную мануфактуру, они полуголодно кормились несколько дней, и когда голод опять ударил в головы и, подкашивая ноги, спазматически и судорожно сжимал желудок — новое, глухое рокотание выползало из мрачных железнодорожных цехов, проникая в заводы, на улицу, в учреждения и в пехотные части войск.

«Хлеба!.. Детям хоть каплю молока!..» — жалобным стоном неслись глухие мольбы истощенных и наполовину голых, кое-как в тряпье укрывшихся, женщин — жен рабочих и матерей, и припухавших от голода детей.

— Хлеба!.. Только... одного только хлеба... — тоном безнадежной покорности просили рабочие у приезжавших в мастерские успокаивать их коммунистов.

Хлеба не давали, а по городу носились автомобили, в которых важно разваливались сытые и довольные верхи советской власти.

И часов около трех, первого июня, тревожно загудел гудок железнодорожных мастерских.

Словно вспуганные звери диким ревом заговорили все стоявшие под паром паровозы: отозвались пугающими гудками мрачные громады заводов, и нервным переливчатым стоном влились крики еле державшихся на Днепре судов красного Днепровского флота.

Огромные толпы измученных железнодорожников направились к Управлению дороги.

Сквозь гул грозной тысячной толпы и кошмарный рев гудков ярко выделялось слово «хлеба!». Голодные, придавленные и обессиленные рабочие оставили мастерские и умоляюще кричали «хлеба!», стоя под окнами управления.

Работа на дороге остановилась.

По прямому проводу председатель исполкома, товарищ Клименко, снесся с Харьковом и оттуда получил ответ:

— Это похоже на Кронштадт... Восстание подавить без пощады... Использовать конницу Буденного...

Бывший в то время в штабе Буденного товарищ Ворошилов пытался успокоить рабочих, но в ответ посыпались камни... Начальник железнодорожной милиции, вынувший почему-то из кобуры револьвер, был настигнут погнавшимися за ним рабочими и выброшен из окна четвертого этажа. Появившихся в толпе железнодорожных чекистов рабочие повалили на землю и по голове били их стамесками и долотами, растаптывая тела до бесформенной массы крови, тряпок и костей ⟨...⟩.

Искры так ярко вспыхнувшего кронштадтского пожара разнеслись по всей России, и идеи, брошенные кронштадтцами, чаще и чаще обсуждались рабочими.

Большевики двинули тяжелую артиллерию, и на Украину поехали Раковский, Бухарин и Фрунзе с определенной программой окончательно загасить кронштадтские искры и уверить ожесточающихся в безвыходности рабочих в том, что вот!.. вот!.. еще немного терпения и будет хорошо... сытно и над Советской Республикой счастливо засияет коммунистическая звезда.

* * *

Когда в «Известиях», к тому времени переименованных «К труду», появилось сообщение о предстоящих докладах Раковского, Бухарина, Фрунзе, все в городе зашевелилось. Коммунисты ждали каких-то особых новооткрытий из уст своих вождей, начавшие определенно организовываться меньшевики, спасшиеся от ареста, готовили своих ораторов к открытым выступлениям пред культурным Раковским и «умницей» Бухариным, а широкая, густая, беспартийная масса втихомолку высказывала предположения, сводившиеся к тому, что больно часто что-то стали наезжать главари — нет ли какой-либо новой внешней опасности для власти красных...

В большом зимнем театре на семь часов вечера по советскому времени, а по солнечному только в четыре часа дня, было назначено объединенное заседание всех профессиональных организаций, губернского исполкома и губернского партийного комитета для заслушивания докладов товарища Раковского о внутреннем положении советских республик, товарища Бухарина о международном положении республик и товарища Фрунзе о военном положении республик и о состоянии Красной Армии.

В пять часов вечера зал, сцена, все ложи и фойе были переполнены коммунистами, чекистами, рабочими, советскими служащими, членами Совета рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов, меньшевиками, робко прятавшимися в темных углах коридоров.

На сцене в полном составе расположилась высшая губернская власть в лице президиума губернского исполкома и бюро губернского партийного комитета; часам к шести на сцене появились товарищ Ворошилов с двумя элегантными молодыми адъютантами из бывших лучших кавалерийских полков и товарищ Буденный, командующий 1-й Красной Конной армией...

По залу пронеслись слухи, что с поездом Раковского случилось какое-то несчастье... Слухи эти были не без основания, так как в это время отдельные части буденновской конницы бродили по району линий Екатеринослав—Павлоград—Александровск—Лозовая и шомполами и расстрелами выжимали у крестьян продовольственный налог, что вызвало новые выступления разрозненных махновских шаек, часто совершавших исключительные по смелости налеты на проходившие в этом районе поезда.

Только по какой-то особой случайности поезд Калинина проскочил этот район, и все же в вагонах поезда оказалось много выбитых пулями стекол.

Общая взвинченность, подозрительность и напуганность усилились в сотни раз и дошли до какого-то психоза, когда и в восемь часов, и в девять часов, и в десять часов вечера вождей еще не было среди напряженно ожидавшей их массы...

Снестись с ближайшими станциями не было тогда возможности... Махновцы каждую ночь рвали провода, и только в редких случаях удавалось сноситься с Синельниково по прямому проводу.

Были высланы на вокзал, кроме ожидавших там делегатов для встречи, особые курьеры, имевшие задание, как только вожди придут, сейчас же дать знать в театр...

Напряженность и вероятность какого-либо нападения или крушения создали полную уверенность в том, что с поездом Раковского что-то случилось. Шнырявшие в зал чекисты злобно сверкали глазами.

Но в начале одиннадцатого ночи возбужденные и запыхавшиеся курьеры вбежали в театр и, пробираясь сквозь густую толпу к сцене, радостно кричали:

— Приехали!.. Приехали!..

Минут через двадцать — более получаса театр положительно дрожал от рукоплесканий, энтузиастических выкриков тысячной толпы, приветствовавшей появившихся на сцене Раковского, Бухарина и Фрунзе.

— Да здравствует герой Крыма, товарищ Фрунзе! — раздается по залу театра, и новый взрыв рукоплесканий и восторженных криков...

— Да здравствует герой «Потемкина», вождь красной Украины, товарищ Раковский!!!

И снова громы аплодисментов и гул, и рев тысячной толпы...

Восторженность улеглась, и председатель губернского исполкома, товарищ Клименко, объявил, что слово для доклада по внутреннему положению республик предоставляется Председателю Совета Народных Комиссаров Украины товарищу Раковскому.

И раздался повторный рев наэлектризованного зала.

В черных галифе и в таком же френче, гладко выбритый, очень похожий на кинематографического актера, Раковский быстрыми шагами приблизился к рампе и уже на ходу начал:

— От имени Совета Народных Комиссаров Украины приветствую вас!

Фраза была произнесена фальцетом, сразу показав, что говорит иностранец, блестяще владеющий русским языком...

Опоздание поезда Раковский объяснил тем, что, когда они подъехали к Павлограду, казаки Буденного пригнали на станцию триста пойманных повстанцев и что ему вместе с Бухариным пришлось тут же произвести суд и расправу над восставшими сынками крестьянских кулаков...

Говорил Раковский быстро, спеша за мыслью, и редко запинался, подыскивая иногда какое-нибудь нужное, более ярко оттеняющее мысль, слово.

Все кошмары советской жизни Раковский взваливал на граждан советских республик. Не выделяя ни саботажников, ни спецов, ни белых, ни красных, Раковский доказывал, что все несчастье в том, что граждане республик почему-то прониклись мыслью, что советская власть должна их содержать и снабжать их всем тем, что нужно человеку для нормальной жизни и работы. Чуть коснувшись беспартийной массы, Раковский всеми стрелами своей пылкой речи обрушился на тех коммунистов, которые, заняв какой-либо ответственный пост, сразу усваивают себе все отрицательные стороны и замашки былых царских чиновников, в то же время не обладая ни опытом, ни знанием, ни работоспособностью последних...

— У нас нет людей!.. У нас нет товарищей, которые помогли бы нам, стоящим на вершине власти, вести жизнь республик так, как этого требуют условия момента, условия жизни... Воры, карьеристы, жулики, своевременно обеспечившиеся партийным билетом, засоряют наш слабый, расстроенный государственный аппарат, и только самая беспощадная и жестокая борьба с нашими такими же товарищами-коммунистами поможет нам поставить внутреннюю жизнь республик так, как этого требуют учения наших великих людей!

Речь, касавшаяся отчасти и петлюровско-махновского настроения украинского крестьянства, была в действительности горячей агитацией к открывшейся тогда кампании по чистке коммунистической партии.

Певуче, чистым говором москвича, начал свой доклад Бухарин... Небольшого роста, на коротких и кривых ногах, с большой лысеющей головой на тонкой шее, в несвежем стар採еньком пиджаке, Бухарин напоминал собою тип ябедника-чиновника, сидящего в каких-то далеких углах железнодорожных управлений...

Говорил он ровно, спокойно, без горячности Раковского, а мягко, с лукавой усмешкой язвил буржуазные государства и капиталистических правителей. По докладу Бухарина, как он в конце доклада и сам сказал, весь мир со всеми его гениальными Ллойд-Джорджами и Вильсонами представляет собой один огромный страшный сумасшедший дом, и среди всего этого мира сумасшедших здоровым ядром является одна только Российская коммунистическая партия — РКП.

В эту минуту, когда Бухарин стал развивать высказанную им мысль, мне вспомнился обычный тип сумасшедшего, убежденного в том, что все вокруг него с ума сошли, а только он один обладает здравым смыслом и потому его-то сумасшедшие и заперли в душную палату.

— Сижу я частенько в кабинете Чичерина. Пугнем, говорю, Францию... Пусти-ка по прямому ноту в Варшаву!.. И Чичерин пугает... Мы-то с Чичериным хохочем, а из Варшавы устами французских империалистов летит к нам по радио встревоженный и серьезный ответ... Мы, значит, в шутку, а они всерьез!.. Мы для забавы, а они за головы хватаются, и пупы у них дрожат!.. А что наш Красин в Лондоне выделывает! — заливался Бухарин.— Чудеса, да и только! Англичане и во сне видят наши леса, нашу нефть, нашу руду и наш Урал... Международные политики, товарищи,— перешел на серьезный тон Бухарин,— в годы большого исторического сдвига, проделанного Российской коммунистической партией, оказались неподготовленными к тем формам дипломатии, которые выдвинул наш Ильич и которые так исчерпывающе полно и тонко схватил и понял наш Чичерин, хотя тоже старый царский дипломат... Вся ошибка и самое страшное для мировых дипломатов это то, что мы говорим определенным языком, и слово «да» на языке нашей коммунистической дипломатии означает исключительно положительную сторону дела, т. е. чистое, утверждающее событие «да»; они же, выжившие из ума мировые дипломаты, в нашем открытом «да» ищут каких-то несуществующих в нем оттенков уклончивости, отрицания и до

глупого, до смешного бродят меж трех сосен... Вся, товарищи, суть дипломатии заключается в том, что кто кого околпачит! Сейчас, товарищи, мы колпачим!... Может быть, настанет час, когда и нас будут колпачить, но сейчас, товарищи, повторяю, мы колпачим всю Европу!.. весь мир!.. и на седой голове Ллойд-Джорджа красуется невидимый для мира, но видимый нам, большой остроконечный колпак, возложенный нашими славными товарищами, Красиным, Литвиновым и Чичериным...

В докладе Бухарин смеялся над заключенным с Англией торговым договором и, коснувшись коммунистических течений миллионов мирового пролетариата, набросал такую яркую, живую картину, что казалось, что завтра, послезавтра, не успеет доехать Бухарин до Харькова, как в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Берлине прочно укрепится советская власть с серпом и молотом под красной пятиконечной звездой...

Много досталось от язвительного остроумия Бухарина образовавшимся на окраинах России буржуазным государствам...

— Это, товарищи, не государства, а мелкая разменная монета, выпущенная мировыми хищниками для удобства расчета в могущих создаться осложнениях в буржуазном лагере крупных государств.

— Вам, товарищи, не нужно сейчас думать о том, почему центром красной Украины является не Киев, а Харьков, и пусть многие из вас не скорбят о том, что нет одной красной Москвы, без красных центров Харькова, Азербайджана, Минска и Ташкента, а думайте, товарищи, о том, что скоро и очень скоро вырастет мировым колоссом одна интернациональная коммунистическая власть трудящихся всего мира — Лондона, Парижа, Нью-Йорка и Берлина — с одним интернациональным красным центром — нашей русской коммунистической Москвой!!!

Скучным, вялым тоном армейского капитана восхвалял силу и дух Красной Армии Фрунзе, и только к рассвету торжественное заседание было закончено общим пением «Интернационала»...

Уехали вожди, направляясь в глубь Украины на Полтаву, Киев, Кременчуг, и тяжелые, давящие будни тифа, голода и холеры быстро стушевали все слова, фразу и обещания сытых и довольных вождей...

С каким-то сладостным упоением присяжный поверенный Я., зарабатывавший в дореволюционное время до ста тысяч в год, рассказывал о том, как вчера прошло совещание юристов на квартире председателя ревтрибунала, коммуниста Обуховского...

«На столе полная коробка хороших папирос... А во время заседания всем поднесли по стакану чая с сахаром и лимоном... А когда совещание окончилось, нас пригласили в столовую, где был накрыт стол... Ветчина, колбаса, сало, швейцарский сыр и сколько угодно масла с белым хлебом. И чай с сахаром...»

И у слушателей загорались глаза, и открытая завись была к этому человеку, который вчера только пил настоящий чай с сахаром и кушал масло, да еще на белом хлебе... А ветчина!.. Господи!.. да мы уже забыли, какого она вида!

А крупный промышленник, сидя на чемодане в маленькой, оставленной ему после реквизиции комнатке, вслух мечтал:

— Бог с ним... с голодом!.. Но по чем у меня страшная тоска — это по письму с почтовой маркой, печатью почты какого-нибудь города, разрезаешь конверт и читаешь письмо... Все равно от кого, но письмо из другого города, от других людей. И потом газета. Утром, за чаем, разворачиваешь листы свежеотпечатанной и сильно пахнущей краской газеты... и пачкает руки.

* * *

Жили мы, как полудикие люди на необитаемом острове... Продолжительное недоедание и в последние месяцы определенный, ничем не прикрытый голод вызывал в мозгу бредовые

мысли о бегстве куда-нибудь в Европу... Америку... куда-нибудь... лишь бы спасти себя и свою малую семью от приближавшегося призрака мучительной голодной смерти... К тифу, холере и цинге прибавилась какая-то странная, врачами не раскрытая, болезнь, возникшая на почве острого недоедания... Сильные головные боли валили голодного с ног, и после нескольких дней мучительной головной боли больного записывали в очередь в одну из братских могил кладбища...

Такой исход болезни только радовал близких, так как во многих случаях головные боли кончались полным сумасшествием больного, и на улицах города часто попадались люди, блаженно улыбающиеся и мечтательно жевавшие ветку акации или какую-нибудь старую грязную тряпку.

Власть ушла от всяких забот о кормлении населения и, жестоко и отчаянно расстреливая крестьян, обстреливая деревни орудийным огнем, а нередко и сжигая деревни до основания, выколачивала продовольственный налог для прокормления чекистов, членов коммунистической партии и армии.

Преступления и кражи во всех советских учреждениях развились до ужасов: подделывали подписи комиссаров и, путем соглашения с кассирами банка или учреждениями, получали из касс миллионные суммы, подделывали ордера и выдавали имущество в виде мешков, мануфактуры, железа, гвоздей, крали из продовольственных складов сахар, муку, соль.

Крали и сами комиссары-коммунисты, делая вид, что не замечают творящейся в вверенных им учреждениях вакханалии, и частенько стали прибегать к помощи того или другого спеца для более тонкого и осторожного проведения дела.

Всесильные главки устраивались проще. Заведовавший губернским земельным отделом Шаляхин выписывал из своих складов Харитоненко, заведовавшему тогда отделом социального обеспечения, тридцать аршин лучшей мануфактуры, шесть пар белья, дюжину катушек ниток... Заведовавший губернским отделом здравоохранения, врач, коммунист Козловский, выписывал комиссару дороги усиленное питание, выдавая ему со складов по нескольку фунтов мяса, масла, десятков яиц, какао, шоколад и белую муку, а комиссар дороги присылал Козловскому домой десятки пудов дров и угля.

Продовольственные учреждения, получая что-либо для населения, первым делом снабжали своих сотрудников пайком и, проявляя в этом случае исключительную и небывалую в советских учреждениях честность, выплачивали своим сотрудникам задолженные, ранее не выданные пайки...

— Мне, товарищ, еще за февраль! — кокетничая с коммунистом, щебетала машинистка, дочь недавнего крупного буржуя.

И «товарищ» выдавал паек и за февраль, хотя дело происходило в мае или в июне...

И в такие дни, в часы после занятий, можно было встретить людей со счастливыми лицами, тащившими на плечах или в специально приспособленных повозочках мешки муки, кульки сахару, банки керосину, десяток селедок, несколько фунтов соли, свечей, десяток коробок спичек, а ответственные «спецы» и товарищи-коммунисты для доставки своих пайков домой прибегали к помощи лошадей...

Население оставалось при карточках, а чтобы было какое-нибудь развлечение, продовольственные организации объявляли белые карточки недействительными, выдавая взамен белых — голубые. Неделями стояли голодные дети, женщины и старики в очередях по обмену карточек только для того, чтобы через месяц подчиниться новому приказу и стать в новую очередь по обмену голубых карточек на белые...

Мир с Польшей был давно подписан, никаких внешних фронтов не было, и только крестьянство на Украине кровью комиссаров и коммунистов заливало свое стихийное негодование и возмущение властью красных.

Ленин бросил толпе своих полусумасшедших и истеричных коммунистов новый ло-

зунг «товарообмен», и голодавшие мелкие коммунисты с энтузиазмом бросились на постижение нового учения великого Ильича.

Потом голодной массе коммунистов ловко подсунули принципиальные разногласия по профессиональному вопросу между Лениным и Троцким, и новая волна горячих митингов, докладов и рефератов отвлекла больные умы коммунистов от самого страшного и ничем непоправимого голода.

Когда появились на заборах воззвания организовавшегося в Москве общественного комитета помощи голодающим — никто не сомневался в том, что эта новая ловушка еще сохранившихся в России общественных сил окончится печально для всех участников комитета, взявшего на себя непосильную работу по борьбе с голодом...

Подписи под воззваниями графини Толстой, Кишкина, Прокоповича, Щепкина и само воззвание, составленное не в таких грубых тонах, какими дышал призыв брусиловской компании генералов, ни в ком не вызвало сомнений в искренности благих, человеческих стремлений общественников, но творившаяся кругом советская вакханалия, царивший произвол и беспредельная разнузданность носителей власти на местах в умах интеллигенции с первых же дней вызывали досадливое недоумение в том смысле, что этим людям долга, чести и ума не следовало бы связываться с большевиками, которые из фамилий носителей русской общественности создадут для всего какую-нибудь новую обманную игру.

В успех дела, которому вызвался служить комитет, никто не верил, так как была твердая убежденность в том, что большевики созданием этого преследуют не цели борьбы с голодом, а какие-то свои коммунистические задачи.

И когда вскоре появились сообщения о трениях комитета с большевиками, а потом об разгоне и об аресте некоторых членов комитета, многие раздраженно говорили:

— Так им и надо! Пусть не играют в общественность с каторжанами, ворами и убийцами!

И память об общественном комитете канула в вечность...

Была объявлена мобилизация журналистов для посылки на газетную работу в Ташкент и Самарканд...

Не знаю, имела ли эта мобилизация прямой целью развитие коммунистического печатного слова в том крае или ее целью было избавиться от бывших журналистов, не пошедших в большевистские газеты, но, во всяком случае, мне угрожала принудительная высылка в далекий край, и от этой высылки надо было спастись во что бы то ни стало...

Помог один из друзей, оставшийся беспартийным, но благодаря своей исключительной ловкости и приспособляемости сумевший занять у большевиков пост главноуполномоченного по распределению металла на Дону, Кубани и Украине...

Проданные остатки мебели, альбомы Художественного театра, цинковая ванна, железная печка, безделушки, статуэтки — дали мне сумму, достаточную для двухнедельного существования.

Получив от главноуполномоченного колоссальный мандат разъездного представителя, мне удалось на виду у всех шипевших вокруг меня красных журналистов легально вырваться из города. ⟨...⟩.

* * *

В Курске поезд стоял восемь часов... и никто не решался выйти из вагона, опасаясь встречи с каким-нибудь начальством, которое придерется к документам и «снимет» с поезда.

До Москвы мы плелись шесть дней, и на Рогожской заставе поезд выбросил всех тех, которые с такой поразительной выносливостью провели почти неделю в грязном, душном и вонючем вагоне, без горячей воды, без мыла, без сна, а нередко и без пищи...

Купленные мною в Харькове два фунта черного хлеба, в последнем их крошечном сухарике, были мною жадно проглочены по пути с Рогожской заставы на Большую Дмитровку...

Та же Москва-река, спокойно отражающая мягкие лучи раннего утреннего солнца... Тот же лес крестов, тянущихся к небу, та же бойкая и оживленная Театральная площадь, а сама-то Москва не та... и люди ходят по ней не те, а какие-то новые, стремительные, кричащие, чуждые спокойствию дремлющей Москвы-реки, величию мрачных стен Кремля и всей недавней московской медлительности...

По Тверской, с пением какой-то революционной песни на каком-то гортанном и хрипящем языке, потрясая красными знаменами, почти бегом проносится толпа подростков из Коммунистического союза молодежи...

Со всех углов назойливо лезут в глаза, как недавние шустовские коньяки, конские головы с краткими надписями: «Здесь продается конина».

Величавым, печальным и мрачным гигантом одиноко стоит храм Христа Спасителя, навевая величавые воспоминания о силе, могуществе и красоте большой и великой России...

На заборах, стенах домов, всюду коммунистические надписи...

Давно нет Деникина, бесследно погиб Юденич, а вот тебе с забора, надрываясь, кричит футуристически нарисованный человек:

— Все на палача Деникина!..

— Да здравствует красная Москва!..

— Да здравствует красный Кремль!..

И тут же из-за угла аляповато исписанный забор:

— Смерть польской шляхте!!!

— Ура! — красной Варшаве!!!

И старым, давно забытым звучит призыв на стене какого-то гиганта-дома:

— Донбасс — кочегарка мировой революции!.. Все на защиту Донбасса!

А рядом выдержки из коммунистических изречений:

— На развалинах старого — построим новое!

— Мечом не меч, а мир несем мы миру!

— Кто не работает, тот не ест! — нахально выкрикивает какой-то оборвыш, прикрепленный к забору кистью советского футуриста, предательски напоминая о голоде, так изнуряющем мозг.

* * *

Удивило меня очень то, что из Москвы в Минск и обратно ежедневно курсируют по три поезда, приходящие и отходящие минута в минуту по расписанию.

Чистый и просторный Александровский вокзал был разукрашен портретами Ленина, Троцкого, Маркса, Бухарина, Зиновьева, Луначарского.

Швейцар в ливрее, с блестящими пуговицами, носильщики с медными бляхами-номерами на белых фартуках, вода, свободно льющаяся из всех водопроводных кранов, электрические лампы, дававшие свет, парикмахерская при уборной вокзала — все как будто так, как было...

Но тут же, недалеко на площади, группа людей, говоривших на разных языках, но только не на русском, с ружьями наперевес проделывая какие-то ружейные приемы и закончив ученье, на непонятном языке огласила площадь звуками «Интернационала».

Швейцар, узнав о моем намерении пробраться в Минск, доверчиво и намекающе улыбнулся и, взглянув на оравшую «Интернационал» группу, обратился ко мне:

— Сколько их тут по Москве бродит?! Господи! И откуда нехристей столько в Москве-то, никак уже не додумаюсь!.. День-деньской, и в дождь, и в мороз, горланят да поют... А все-то здоровые... сытые... Сапоги-то какие!.. Прошу посмотреть!..

Мальчики были действительно хоть куда! Рослые, крепкие, все в новом, по-военному одетые, оии твердо шагали по мостовой, и по звучности голосов видно было, что для них пайка не существует, а кормежка идет вовсю... иа славу зиновьевского Интериациоиала.

Сравнительно за небольшую сумму я был взят в служебный вагои отходящего в послеобеденное время иа Минск поезда с гарантией быть доставлеииым в город без всяких документов, пропусков и мандатов.

На вторые сутки ровио в восемь часов утра поезд остаиовился у разрушеииого во время войны поляками Минского вокзала, а около девяти часов я жадио пил какую-то мутную горячую жидкость — кофе с сахарином, и возле меня назойливо вертелся какой-то неопределенных лет человек, пытавшийся под разными предлогами со мной заговорить.

Чтобы помочь ему, я первый обратился к иему и с уверенным тоиом спросил:

— Скажите, товарищ, где здесь помещается партком?

Но вместо ответа он, щуря глаза, улыбнулся и, приблизившись ко мие, произнес:

— Вы разве коммуиист? — и, выдержав короткую паузу, сказал:

— Я уже вижу, какой вы коммунист!

И знакомство завязалось...

Долго водил он меия по узеньким кривым улицам уютного Миинска, рассказывая о том, сколько ои уже имел таких коммунистов, как я, как все эти коммунисты очень любят советскую власть, но все оии стремятся жить ие в самом Минске, а так верст иа сорок подальше...

И тоиом опытного ловца, угадывающего материал для обработки, он на ходу как бы невзначай бросил:

— Если и вы хотите поселиться за Минском, так я вас позиакомлю с одиим моим знакомым... который...

Я его не дослушал.

На стене деревяниой лавки, прибитый мелкими гвоздями, висел список фамилий, над которыми крупно выделялись слова: «кого карает Чека».

На ходу глазом схватил я цифру «46»... Мой спутник потяиул меня за собой и, оглянувшись иазад, скороговоркой проговорил:

— У нас здесь зто не новость... Список меняется каждый день. Но если увидят, что вы список читаете, то вас могут взять в Чека и долго будут допрашивать о том, кого вы в списках ищете. Оии все говорят, что если среди ваших знакомых нет врагов советской власти, то вам незачем интересоваться зтими списками, а если вы иитересуетесь и читаете списки, то кто-нибудь из ваших близких, родиых или знакомых, или вы сами думаете попасть в зти списки... Так мы все, миичаие, так списки эти и не читаем... Расстреливают, — со вздохом добавил ои, — каждый деиь по нескольку десятков человек!..

После трехдиевных разговоров с иовым зиакомым на разиые темы он сам как-то открыто и просто затронул то, что для меня казалось невозможиым, страшиым и жутким.

— Хорошо! — с первых же моих слов согласился он... — Я вижу, что вы человек не богатый, даже ие то, что не богатый, а, простите, бедный... Вы только возьмите у меия зто письмо и как только переедете туда, отправьте по адресу в Америку... Мне ночью снилось, что вы зто исполните, и дайте мне все ваши бумаги — и вы будете там... «Петры» не помешают, и, если у вас есть штук десять, — дайте... хуже ие будет!⟨...⟩.

*   *   *

Когда темной ночью иаш беженский поезд тихо двигался от Минска к польской границе, как-то не верилось, что скоро списки расстрелянных и все советские кошмары останутся позади. Мозг не принимал того, что не будет Чека, не будет расстрелов, не будет разнуздаииого, кровавого хамства и кровью залитых подвалов...

И когда на самой польской границе поезд был остановлен и было приказано всем выйти из вагонов, захватив с собой вещи, я решил, что вот тут-то и конец: «Вот тут-то и отведут в стоящий неподалеку молодой сосновый лес, поставят к прямой сосне и скажут: «В Польшу захотел? Бежать вздумал?! К Савинкову! К Пилсудскому?! К врагам коммунистической республики?! Так вот тебе!..» — и наган быстро сделает свое кровавое дело».

Но нервы и мозг слишком разыгрались... Нас выстроили в ряд и потребовали документы... У всего поезда были одинаковые документы, выданные белорусским Главэваком. Проверка документов прошла довольно гладко. Приступили к обыску и проверке вещей.

— Валюта есть? — спросил меня один из чекистов.

Я, стараясь быть спокойным, вынул и показал ему все, что у меня было — восемь тысяч советских рублей.

Он как-то кисло улыбнулся и сказал:

— Чем же вы будете жить в Польше? Ведь на восемь тысяч вы и здесь умрете с голоду, а в Польше это даже не восемь марок.

И секунду помолчав, он прищурил глаза и, хитро улыбаясь, приниженным голосом сказал:

— Караты везете? — и не дав мне произнести ни одного звука, бросил:

— Следуйте за мной!

В голове зашумел какой-то страшный вихрь... Ноги подкашивались, и хотя у меня не только каратов, но и лишней рубахи не было, я в смертельном страхе поплелся за чекистом...

В небольшой комнатке я увидел несколько голых мужчин, и сразу стало как-то легче...

— Значит, успокаивала нервно трепетавшая мысль, не тебя, как убегающего, не тебя, как саботажника, не тебя, по телеграфному распоряжению, а еще каких-то людей... еще каких-то обреченных!.. А неужели же расстрел?!

Но чекисты, заставив меня раздеться донага, потребовали у меня все мое белье, платье, ботинки, и я остался совершенно «без ничего».

Только час спустя сердитый красноармеец швырнул мне какую-то кучку тряпок, среди которых я узнал свой пиджак, распоротый по всем швам, свои брюки, перенесшие тяжелую хирургическую операцию, и ботинки, на которых безжизненно свисали совершенно оторванные подметки и каблуки, кое-как привязанные веревкой.

Чекисты искали караты...

Напялив на себя выданную мне рвань, я быстро выбежал из маленькой, душной комнаты и услышал торопливые возгласы красноармейцев и чекистов:

— Эй вы, гады контрреволюционные, скорее садитесь в вагоны, сейчас к Пилсудскому повезем!

Все бросились к вагонам, торопливо бросая в вагоны мешки с вещами...

Паровоз глухо свистнул, и поезд медленно тронулся.

Двери и окна вагонов были наглухо закрыты.

Медленно, черепашьим шагом, тянулся паровоз, жуткие сумерки пугающе проникли в вагон, сдерживая дыхание, сидели люди и не верили, что еще час... еще два, и все страшное, умом непостижимое, останется позади.

В тягучем ползании вагонов чувствовалось нежелание красного кошмара выпустить живыми из своих лап несколько сот человек.

Вагоны все же ползли... Расстояние все уменьшалось, и кошмарные мысли прервал сильный толчок вагонов...

Поезд остановился.

— Выходи! — раздались в темноте ночи громкие крики...

У самой польской границы с поезда сошли все красноармейцы и чекисты, и через границу поезд двинулся с машинистом и комендантом поезда...

Мелькнул перед глазами в свете слабо освещенного окна красноармеец с винтовкой, и какие-то размеренные, настойчивые и густые стуки приближались к слуху.

Все громче и слышнее становились стуки...

Вдали показались яркие огоньки, и мимо вагона проскользнула электрическая станция, в которой задорно и бойко работал мотор.

— Жизнь! — запело в мозгу.

— Спасены! — восторженным эхом пронеслось по вагонам...

И обильно полились слезы, как бы смывая недавние ужасы, кошмары и страдания.

Берлин, 20 июля 1922 г.

Петр Краснов

На внутреннем фронте

Первые признаки разложения Российской армии

В апреле 1917 года 2-ю Сводную казачью дивизию, которой я командовал около двух лет и с которою был почти все время в боях, сменила на позиции под Пинском 172-я пехотная дивизия, и ее отвели в тыл, на отдых. Я тогда же решил подать рапорт об увольнении меня в отставку. Новые порядки, введенные Временным правительством, отсутствие какой бы то ни было власти у начальников, передача в руки комитетов всех полковых дел быстро расшатывали армию. Пока дивизия стояла на позиции, в непосредственной близости к неприятелю, она держалась. Наряд исполнялся правильно, офицеров слушались, форму одежды соблюдали⟨...⟩.

Как только казаки дивизии соприкоснулись с тылом, они начали быстро разлагаться. Начались митинги с вынесением самых диких резолюций. Например, требовали разделить суммы, хранящиеся в денежном ящике (16-й Донской полк), выдать в постоянную носку обмундирование 1-го срока, с великими трудами заготовленное для 1918 года (почти все полки), требовали, чтобы офицеры, приходя на учение, здоровались с каждым казаком за руку (1-й Волгский полк), увеличения числа отпускных казаков. Все эти требования отклонялись, но казаки сами стали проводить их в жизнь. 16-й Донской казачий полк разобрал полковые цейхгаузы и вырядился во все новое, когда и старое было хорошо. Примеру его частично последовали и другие полки. Казаки перестали чистить и регулярно кормить лошадей. О каких бы то ни было занятиях нельзя было и думать. Масса в четыре с лишним тысячи людей, большинство в возрасте от 21 до 30 лет, то есть крепких, сильных и здоровых, притом не втянутых в ежедневную тяжелую работу, болтались целыми днями без всякого дела, начинали пьянствовать и безобразничать. Казаки украсились алыми бантами, вырядились в красные ленты и ни о каком уважении к офицерам не хотели и слышать.

— Мы сами такие же, как офицеры,— говорили они,— не хуже их.

Потребовать и восстановить дисциплину было невозможно. Все знали,— потому что многие казаки были этому очевидцами,— что пехота, шедшая на смену кавалерии, шла с громадными скандалами. Солдаты расстреляли на воздух данные им патроны, а ящики с патронами побросали в реку Стырь, заявивши, что они воевать не желают и не будут. Один полк был застигнут праздником святой Пасхи на походе. Солдаты потребовали, чтобы им было устроено разговение, даны яйца и куличи. Ротные и полковой комитет бросились по деревням искать яйца и муку, но в разоренном войною Полесье ничего не нашли. Тогда солдаты постановили расстрелять командира полка за недостаточную к ним заботливость. Командира полка поставили у дерева, и целая рота явилась его расстреливать. Он стоял на коленях перед солдатами, клялся и божился, что он употребил

все усилия, чтобы достать разговение, и ценою страшного унижения и жестоких оскорблений выторговал себе жизнь. Все это осталось безнаказанным, и казаки это знали.

Меня на станции Видибор, 4 мая, на глазах у эшелонов 16-го и 17-го Донских полков, арестовали солдаты и повели под конвоем со стрельбою вверх в Видиборский комитет. Там меня обвинили в том, что я принадлежу к числу тех генералов, которые ради помещиков и иностранных капиталистов настаивают на продолжении войны. Одним из обвинителей был казак 17-го Донского казачьего полка Вороноков. Потом меня под конвоем же отправили в Минск, где меня должен был судить какой-то трибунал при армейском комитете. На мое заявление, что есть начальство, которое, если я в чем виноват, будет меня судить, и что никто не смеет задерживать меня при исполнении служебных обязанностей,— мне нагло было заявлено, что единственное начальство, которое они признают, это местный Видиборский комитет, а на главнокомандующего им плевать. Комитет выше главнокомандующего. В Минске, однако, мои конвойные растерялись, дали мне возможность повидать коменданта станции, передать о всем случившемся в штаб Западного фронта, меня доставили к главнокомандующему фронтом, генералу от кавалерии Гурко, который меня сейчас же освободил и отправил к дивизии.

Все это осталось без наказания. Стоило только начальству возбудить какое-либо дело против солдата, как на защиту его поднимались комитеты. В ротах собирались митинги, солдатская масса волновалась, и начальство испуганно бросало дело.

Пехота, сменявшая нас, шла по белорусским деревням, как татары шли по покоренной Руси. Огнем и мечом солдаты отнимали у жителей все съестное, для потехи расстреливали из винтовок коров, насиловали женщин, отнимали деньги. Офицеры были запуганы и молчали. Были и такие, которые сами, ища популярности у солдат, становились во главе насильнических шаек.

Ясно было, что армии нет, что она пропала, что надо, как можно скорее, пока можно, заключить мир и уводить и распределять по своим деревням эту сошедшую с ума массу. Я писал рапорты вверх: вверху — ближайшее строевое начальство — командир корпуса, те, кто имеет непосредственное отношение к солдату, встречали их сочувствием, но выше, в штабе Особой армии — генерал Балуев, в военном министерстве, во главе которого стал А. Ф. Керенский, к ним относились скептически.

— К этому надо привыкнуть,— говорили там.— Создается армия на новых началах, «сознательная» армия. Без эксцессов такой переворот обойтись не может. Вы должны во имя родины потерпеть.

Я горячо любил свою дивизию, свидетельницу стольких славных побед. Я стал собирать офицеров, комитеты и казаков, вести с ними горячие, страстные беседы, возбуждая в них прежнее полковое и войсковое самолюбие, напоминая о великом прошлом и требуя образумиться.

«Правильно! Правильно!» — раздавались голоса; толпа как будто бы понимала и сознавала ошибки свои, хотела стать на правильный путь, но уходил я, раздавался чей-нибудь бесшабашный голос: «Товарищи! — это, что же, генерал-то нас к старому режиму гнет! Под офицерскую, значит, палку!» — и все шло прахом.

В голове все решили, что война кончена.— «Какая нонче война! — нонче свобода!» Это звучное славное слово стало синонимом самых ужасных насилий.

Мне было совестно получать жалованье за то, что я ничего не делал и жил своею жизнью, и я поехал в штаб Особой армии настаивать на отставке.

Однако командующий армией, генерал Балуев, моей отставки не принял, основываясь на приказе Керенского никого из лиц командного состава от службы не увольнять, но, поняв, что мне оставаться в дивизии, где авторитет мой был поколеблен, нельзя, предложил мне принять в командование 1-ю Кубанскую дивизию.

10 июня я прибыл в дивизию, расположенную в окрестностях города Мозыря.

5 -630

В 1-й Кубанской казачьей дивизии, казачьи настроения

1-я Кубанская казачья дивизия была второочередная, составленная преимущественно из казаков старших сроков службы. Она сильно пострадала вследствие бескормицы и плохого снабжения. Люди были оборваны. Много было босых. Лошади истощали до такой степени, что лежали и не могли подняться. Казаки голодали. Такое очень тяжелое положение было весьма выгодным для меня. Заботливостью об улучшении материального состояния дивизии я надеялся привлечь сердца казаков к себе и восстановить порядок и дисциплину.

Надо отдать справедливость — все мне пошли навстречу в этом деле. Командующий армией приказал отпустить мне вне очереди сапоги, шаровары, рубахи и шинели для казаков, довольствие было улучшено. Мозырское земство и окрестные помещики приложили все усилия, чтобы дать наилучшее размещение полкам и выкормить лошадей. От Кубанского войска удалось добиться пополнений. Все полковые суммы, которые, на счастье, оказались в целости, были мобилизованы, и заведующие хозяйством с представителями от комитетов поехали кто в Киев, кто в войско заказывать для казаков бешметы и черкески, которых они давно не видали.

Эти хозяйственные заботы отвлекли казаков от пустой митинговой болтовни, и дивизия имела серьезный, домовитый, хозяйственный вид. Сотенные и полковые комитеты совещались с офицерами, как лучше, экономичнее и богаче одеть и снабдить казаков. Когда же снабжение начало приходить, а лошади поправляться и делаться сытыми, я почувствовал, что между мною и полками установилась та связь, которая до некоторой степени походила на дисциплину.

До революции и известного Приказа № 1 каждый из нас знал, что ему надо делать, как в мирное время, так и на войне. День был расписан по часам, офицеры и казаки заняты, ни скучать, ни тосковать было некогда. Когда стояли в тылу «на отдыхе», и тогда постепенно, после исправления всех материальных погрешностей, начинали занятия, устраивали спортивные праздники и состязания, к которым нужно было готовиться, солдатские спектакли, пели песенки и играли трубачи — день был полон, он нес свои заботы и свое утомление, полковая машина вертелась, и каждый что-нибудь да делал. Лодыри преследовались и наказывались. Лущить семечки было некогда. После революции все пошло по-иному. Комитеты стали вмешиваться в распоряжения начальников, приказы стали делиться на боевые и небоевые. Первые сначала исполнялись, вторые исполнялись по характерному, вошедшему в моду тогда выражению, постольку-поскольку. Безусый, окончивший четырехмесячные курсы, прапорщик, или просто солдат,— рассуждал, нужно или нет то или другое учение, и достаточно было, чтобы он на митинге заявил, что оно ведет к старому режиму, чтобы часть на занятие не вышла и началось бы то, что тогда очень просто называлось эксцессами. Эксцессы были разные — от грубого ответа до убийства начальника, и все сходило совершенно безнаказанно.

Дивизия принимала сытый и довольный вид, и было нужно ее занять. Но начать занятия надо было очень осторожно. Я решил повести их двух видов — беседы и маневры в поле. Беседы я вел лично с офицерами и членами комитетов, а те передавали их в сотнях. Казаков больше всего интересовали вопросы «данного политического момента» и, конечно, земля, земля и земля... Вот эти-то вопросы и пришлось затронуть и притом настолько осторожно, чтобы не обратить беседу в митинг, что было недопустимо, потому что подорвало бы дисциплину. Офицеры явились для меня великолепными помощниками. Я начал с объяснения различного устройства государств и образа правлений. Я слышал, как казаки совершенно серьезно говорили о республике с царем или о монархии, но без царя и тому подобное. Потом я изложил программы политических партий, цели настоящей

войны, рассказал о назначении Босфора и Дарданелл, что особенно должно было заинтересовать кубанцев, ведущих торговлю хлебом с Марселью, вкратце изложил историю казачества и значение казаков для России, показал им на примитивных, от руки сделанных чертежах взаимное соотношение казачьих войск и доказал географическую невозможность создания самостоятельной казачьей республики, о чем мечтали многие горячие головы, даже и с офицерскими погонами на плечах. Говорил и о патриотизме, о победе — и, казалось, увлек казаков. Митинги с истеричными речами прекратились и сменились тихими, разумными беседами с офицерами; беседы эти нравились казакам. Сколько я мог судить, большинство склонялось к тому, чтобы Россия была конституционной монархией или республикой, но чтобы казаки имели широкую автономию. Очень остро ставился земельный вопрос, но и тут принципы кадетской программы имели перевес. «Так, дескать, будет прочнее и вернее» ⟨...⟩.

Несмотря на все эти внешние успехи, на душе у меня было смутно. Я не обольщался этим. Глубоко зная казака и солдата, с которым прожил одной жизнью 34 года, я почувствовал, что все это непрочно. Это было баловство — игра в солдатики. Настанет час великого испытания, заскрежещут и завоют в небе снаряды, налетят с бомбами аэропланы, запоют пули, и никакими разговорами, никакими беседами я не заставлю их идти вперед, все разбежится и исчезнет, предавши офицеров. Не было страха перед исполнением приказа или команды, того страха, который — странное дело — сильнее страха смерти. Не было совести и стыда. Я вспоминал, как раньше того, что я шел сзади цепей и покрикивал: «Вперед! Вперед! Ничего! Вперед!», было достаточно, чтобы командуемый мною полк бросился на штурм укрепленной позиции. «А бросились бы эти? — спрашивал я, глядя на них, мокнущих на походе под дождем. Я видел недовольные, злые лица и отвечал: «Нет, не бросились бы». Раньше казаку или солдату стыдно было показать, что он голоден, страдает от жары или холода или промок,— при пропускании колонны мимо себя я видел в таких случаях веселые, как бы над самими собою смеющиеся лица, и на вопрос: «Что, холодно?» — слышал веселый, бодрый ответ: «Никак нет!», иногда сопровождаемый какой-либо острой солдатской шуткой над самим собою. Теперь этого не было. Всякое лишение, всякое неудобство вызывало косые, мрачные взгляды. Они стали «барами», «господами», они искали комфорта и радости жизни — а это уже не солдаты и не казаки.

Внешне полки были подтянуты, хорошо одеты и выправлены, но внутренне они ничего не стоили. Не было над ними «палки капрала», которой они боялись бы больше, нежели пули неприятеля, и пуля неприятеля приобретала для них особое страшное значение.

Я переживал ужасную драму. Смерть казалась желанной. Ведь рухнуло все, чему молился, во что верил и что любил с самой колыбели в течение пятидесяти лет,— погибла армия.

И все-таки надеялся. Думал, что постепенно окрепнет дивизия, вернется былая удаль — и мы еще сделаем дела и спасем Россию от иноземного порабощения.

Больше всего я боялся тогда, что казаков станут употреблять на различные усмирения неповинующихся солдат. Ничто так не портит и не развращает солдата, как война со своими, расстрелы, аресты и т. п.⟨...⟩.

В тылу, в глухой деревне, вдали от железной дороги, где я жил, мы очень мало знали о том, что происходило в России. Смутно слышали, что верховный главнокомандующий Корнилов требует полного восстановления дисциплины в армии, возвращения офицерам и урядникам прежней дисциплинарной власти, восстановления полевых судов и смертной казни за целый ряд преступлений. Это было приказано объявить в полках. Собранные мною с этой целью офицеры и полковые комитеты дивизии разно восприняли это известие. Офицеры радовались этому, потому что видели в этом возрождение армии и ее боеспособности, солдаты и казаки повесили головы.

— Это, значит, опять к старому режиму,— печально говорили казаки.— Значит, прощай свобода! Не отдал чести, али коня не почистил, как следует, и становись в боевую.

Солдаты встревожились еще решительнее.

— Этому не бывать. Корнилов того хочет, а мы не хотим. Довольно.

Имя Корнилова становилось популярным в офицерской среде, офицеры ждали от него чуда — спасения армии, наступления, победы и мира,— потому что понимали, что продолжать войну больше уже нельзя, но и мира получить без победы тоже нельзя. Для солдат имя Корнилова стало равнозвучным — смертной казни и всяким наказаниям. «Корнилов хочет войны,— говорили они,— а мы желаем мира».

Но о том, что Корнилов ради спасения России хочет захватить власть в свои руки, что он хочет стать диктатором,— никто не думал. И не только казаки и офицеры или я, но даже и командир корпуса об этом не подозревал.

Об июльских днях в Петрограде и попытке большевиков захватить власть мы знали мало. «Были беспорядки»,— говорили в дивизии и больше интересовались тем, кто убит и ранен, так как были между ними и знакомые, но о роковом значении начавшейся борьбы за власть во время войны мы не думали. Слишком были заняты своими злободневными текущими делами.

И потому, когда 24 августа я получил от генерал-майора Д. П. Сазонова, бывшего помощника походного атамана великого князя Бориса Владимировича, телеграмму: «23 августа, 16 часов 57 минут. Наштаверх приказал представить вас назначению командира корпуса третьего конного. Будьте готовы по телеграмме выехать к корпусу. Прошу заехать Ставку Штабатаман 10111. Генерал Сазонов»,— она меня только удивила. 〈...〉

Прежде чем отправиться в Ставку, мне пришлось пережить несколько тяжелых часов и убедиться в том, что я не ошибся, считая, что полки моей дивизии уже неспособны выдержать сколько-нибудь сильное испытание.

Бунт 3-й пехотной дивизии. Убийство комиссара Юго-Западного фронта Ф. Ф. Линде

В ту же ночь, 24 августа, мне лично из штаба корпуса было передано по телефону, что полки пехотной дивизии, стоявшей на позиции у селения Духче в 18 верстах от моего штаба, отказываются исполнять боевые приказы по укреплению позиции, что ими руководит несколько весьма зловредных агитаторов, которых надо изъять из ее рядов. На переданное требование выдать этих агитаторов солдаты 444-го пехотного полка ответили отказом. Надо их заставить выдать. Командир корпуса считает, что достаточно будет назначить один полк с пулеметной командой.

Передавший мне приказание за начальника штаба корпуса полковник Богаевский добавил:

— Командир корпуса очень хотел бы, чтобы вы лично поехали с полком. Вероятно, все обойдется благополучно. Туда приедет комиссар фронта Линде, который все это и сделает. Вы нужны только для декорации. Солдаты должны видеть часть в полном порядке.

Я назначил 2-й Уманский полк, лучше других обмундированный, внешне выправленный, а главное, ближе расположенный к селению Духче. С полком, кроме командира полка, полковника Агрызкова, пошел и командир бригады, смелый и решительный кавказец, генерал-майор Мистулов. В 7 часов утра я приехал в деревню Славитичи, где был полк, и нашел его в полном порядке. Люди были отлично одеты, лошади вычищены, но, объезжая взвод и вглядываясь в лица казаков, я встречал хмурые, косые взгляды и ви-

дел какую-то растерянность. Объяснивши казакам нашу задачу, я сказал им, что от их дисциплинированности, от их бодрого внешнего вида в значительной степени зависит и успех самого предприятия.

— Солдаты,— сказал я,— должны понять, что они ошибаются. В вас они должны видеть не врагов, но старших товарищей, понимающих долг службы и присяги!

— Постараемся, господин генерал,— ответили казаки. Было решено, что мы приедем в Духче с музыкой и песнями.

Когда полк тронулся, я спросил у командира полка: «Как настроение казаков?» Увы, в эти ужасные дни приходилось задавать этот, такой дикий полгода тому назад, вопрос о настроении, как справляются о настроении капризной женщины или больного.

— Ничего,— отвечал мне Агрызков.— Я думаю, свое дело сделают. Офицеры хорошо с ними говорили.

В 10 часов утра мы прибыли в селение Духче, где нас ожидал начальник пехотной дивизии. генерал-лейтенант Гиршфельдт. Он направил казаков к пехотному бивакy, приказавши окружить его со всех сторон, оставить одну сотню в его распоряжении. Вид уманцев, проходивших с музыкой и песнями, привел его в восторженное умиление. Смотревшие на казаков писаря и чины команды связи дивизии тоже, видимо, были поражены их видом и отзывались о казаках с одобрением.

— Настоящее войско! — говорили они.— Значит, есть, сохранилось!..

Я остался в штабе с Гиршфельдтом ожидать комиссара Линде. Если я не ошибаюсь, Линде был тот самый вольноопределяющийся лейб-гвардии Финляндского полка, который 20 апреля вывел полк из казарм и повел его к Мариинскому дворцу требовать отставки Милюкова.

Около 11 часов утра на автомобиле из города Луцка приехал комиссар фронта Ф. Ф. Линде. Это был совсем молодой человек. Манерой говорить с ясно слышным немецким акцентом, своим отлично сшитым френчем, галифе и сапогами с обмотками он мне напомнил самоуверенных, юных немецких барончиков из прибалтийских провинций, студентов Юрьевского университета. Всею своею молодостью, легкою фигурою, задорным топом, каким он говорил с Гиршфельдтом, он показывал свое превосходство над нами, строевыми начальниками.

— Ну, еще бы,— говорил он, манерно морщась на доклад Гиршфельдта, что все его увещания не привели ни к чему и виновные все еще не выданы.— Они вас никогда не послушают. С ними надо уметь говорить. На толпу надо действовать психозом.

Он был в нервном, сильно возбужденном настроении. Его тешило то внимание, которое обращали на него высыпавшие толпами на улицы деревни солдаты.

— Комиссар! Комиссар! — слышалось по рядам, и он медленно, рисуясь, садился в автомобиль с Гиршфельдтом. Я ехал сбоку автомобиля верхом.

Виновный 444-й полк был расположен в дивизионном резерве на небольшой лесной прогалине. Часть землянок была на прогалине, часть теснилась по краям прогалины в самом лесу. С прогалины шли две дороги. Одна на деревню Духче, другая через болотистую часть на позицию, которая была занята 443-м пехотным полком.

Когда мы подъезжали, казаки уже окончили окружение бивуака 444-го полка. Они выставили заставу с пулеметами по направлению к позиции. Они сидели на лошадях с обнаженными шашками и, казалось, готовы были ринуться на пехоту.

Командир пехотного полка встретил нас у края бивака и сообщил, что солдаты напуганы появлением казаков и собираются поротно, ружей не разбирают. Зачинщики ему названы.

Гиршфельдт и Линде вышли из автомобиля. Был очень жаркий полдень. Солнце высоко стояло на синем небе, в лесу пахло хвоею, можжевельником. У землянок раздавались крики офицеров, приказывавших выходить всем до одного и строиться поротно.

Некоторые роты уже были готовы и строем сводились в батальонные колонны. Я и Мистулов сошли с лошадей и следовали пешком в некотором отдалении за Линде и Гиршфельдтом.

— Вот вторая рота (если память мне не изменяет),— сказал командир полка.— Она главная зачинщица всех беспорядков.

Линде вышел вперед. Лицо его было бледно, но сильно возбуждено. Он оглянул роту гневными глазами и сильным, полным возмущения голосом начал говорить. Я почти дословно помню его речь.

— Когда ваша Родина изнемогает в нечеловеческих усилиях, чтобы победить врага,— отрывисто, отчетливо говорил Линде, и его голос отдавало лесное эхо,— вы позволили себе лентяйничать и не исполнять справедливые требования своих начальников. Вы не солдаты, а сволочь, которую нужно уничтожить. Вы зазнавшиеся хамы и свиньи, не достойные свободы. Я, комиссар Юго-Западного фронта, я, который вывел солдат свергнуть царское правительство, чтобы дать вам свободу, равной которой не имеет ни один народ в мире, требую, чтобы вы сейчас же мне выдали тех, кто подговаривал вас не исполнять приказы начальника. Иначе вы ответите все. И я не пощажу вас!

Тон речи Линде, манера его говорить и начальственная осанка сильно не понравились казакам. Помню, потом мой ординарец, урядник, делясь со мною впечатлениями дня, сказал: «Они, господин генерал, сами виноваты. Уж очень их речь была не демократическая. Вы с нами никогда так не говорите и не ругаетесь. Да и вам бы простили. А он, что — свой же брат солдат, член исполнительного комитета, а все сыплет: свиньи да сволочи... Сам-то кто? Немец притом. Может быть, солдаты его за шпиона приняли».

Когда Линде замолчал, рота стояла бледная, солдаты тяжело дышали. Видимо, они не того ожидали от «своего» комиссара.

— Ну, что же! — грозно сказал Линде и пошел вдоль фронта зачинщиков. Выходившие были смертельно бледны, тою зеленоватою бледностью, которая показывает, что человек уже не в себе. Это были люди большей частью молодые, типичные горожане, может быть, рабочие, вернее, люди без определенных занятий. Их набралось двадцать два человека.

— Это и все? — спросил Линде.

— Все,— коротко ответил командир полка.

Один из вызванных начал что-то говорить. Линде бросился к нему:

— Молчать! Сволочь! Негодяй! После поговоришь.

— Возьмите их, — сказал он сопровождавшему его казачьему офицеру.

— Не выдадим!.. Товарищи, что же это!.. — раздалось из роты, и несколько рук, сжатых в кулаки, поднялось над фронтом.

Я обернулся. Конная сотня, стоявшая шагах в двадцати, грозно надвинулась, и люди затихли.

— Ведите этих подлецов, и при малейшей попытке к бегству — пристрелить, — сказал Гиршфельдт казачьему офицеру.

— Понимаю, — хмуро ответил тот, скомандовал арестантам и повел их, окруженных казаками, из леса.

Дело было сделано, настроение солдат было очень возбужденное, квадраты батальонных колонн, выстроившихся на лесной прогалине, были грозны, и я подумал, что хорошо будет, если Линде теперь же и уедет, пока солдаты не поняли своей силы и нашего бессилия. Я сказал это ему.

— Нет, генерал. Вы ничего не понимаете, — сказал Линде. — Первое впечатление сделано. Надо воспользоваться психологическим моментом. Я хочу поговорить с солдатами и разъяснить им их ошибки.

Линде и начальник дивизии, генерал Гиршфельдт, сияли счастьем от первой удачи:

какая-то непреодолимая судьба несла их в самую пасть опасности. Они уже никого не слушались, и Линде полагал, вероятно, что он овладел массой. Мне же было жутко на него смотреть. По лицам солдат второй роты я понял, что дело далеко не кончено, что судом комиссара они недовольны. Я приказал офицерам и урядникам разойтись между солдатами и наблюдать за ними. Нас было едва пятьсот человек, рассыпанных по всему лесу. Солдат в 444-м полку было свыше четырех тысяч, да много сходилось и из соседних полков. Весь лес был серым от солдатских рубах.

Линде подошел к первому батальону. Он отрекомендовался, кто он, и стал говорить довольно длинную речь. По содержанию это была прекрасная речь, глубоко патриотическая, полная страсти и страдания за Родину. Под такими словами подписался бы с удовольствием любой из нас, старых офицеров. Линде требовал беспрекословного исполнения приказаний начальников, строжайшей дисциплины, выполнения всех работ.

Немцы изредка постреливали со своей позиции, и германские шрапнели, пущенные с далеких батарей, разрывались высоко над лесом в ясном синем небе. Это еще более возбуждало Линде. Он указывал на них и говорил, что на боевой позиции всякое преступление является изменой Родине и свободе. Говорил он патетически, страстно, сильно, местами красиво, образно, но акцент портил все. Каждый солдат понимал, что говорит не русский, а немец.

Кончив, Линде, несмотря на протест командира полка, хотевшего держать людей все время в строю и под наблюдением, приказал разойтись людям первого батальона и пошел говорить со вторым. Люди первого батальона разошлись по кучкам и стали совещаться. Некоторые следовали за Линде, и нас уже сопровождала порядочная толпа солдат.

Ко мне то и дело подходили офицеры 2-го Уманского полка и говорили:

— Уведите его. Дело плохо кончится. Солдаты сговариваются убить его. Они говорят, что он вовсе не комиссар, а немецкий шпион. Мы не справимся. Они и на казаков действуют. Посмотрите, что идет кругом.

Действительно, подле каждого казака стояла кучка солдат, и слышался разговор.

Я снова пошел к Линде и стал его убеждать. Но убедить его было невозможно. Глаза его горели восторгом воодушевления, он верил в силу своего слова, в силу убеждения. Я сказал ему все.

— Вас считают за немецкого шпиона, — сказал я.

— Какие глупости, — сказал он. — Поверьте мне, что это все прекрасные люди. С ними только никто никогда не говорил.

Было около трех часов пополудни и сильно жарко. Линде уже не говорил речей, но он и генерал Гиршфельдт стояли в плотной толпе солдат и отвечали на задаваемые им вопросы. Вопросы эти были все наглее и грубее. Из темной солдатской массы выступали уже определенные лица, которые неотступно следовали за Линде. Помню одного из них. Неловкий парень с длинными, как у обезьяны, руками, колченогий, с круглым лицом, бледная кожа которого была покрыта ярко-желтыми веснушками, типичный дегенерат, солдат этот все время привязывался с самыми неожиданными вопросами то к Линде, то к Гиршфельдту. Я удивился терпению Линде, с каким он старался разъяснить самые острые вопросы.

Для того чтобы изолировать казаков от влияния солдат, я приказал собрать оставшиеся четыре сотни на площадке, приказал завести машину Линде и подать ее ближе и решительно вывел Линде из толпы.

— Вам надо уехать сейчас же, — строго сказал я. — Я ни за что не отвечаю.

— Вы боитесь, — сказал Линде.

— Да, я боюсь, но боюсь за вас. Вся злоба направлена против вас. Меня, может быть, не тронут, побоятся казаков, но вам сделают худо. Уезжайте!

Линде колебался. Лицо его было возбуждено, я чувствовал, что он упоен собою, влюблен в себя и верит в свою силу, в силу слова.

Машина фыркала и стучала подле, заглушая наши слова, шофер и его помощник сидели с бледными лицами. Руки шофера напряженно впились в руль машины.

— Хорошо, я сейчас поеду, — сказал Линде и взялся за дверцу автомобиля. Я пошел садиться на свою лошадь.

Но в это мгновение к Линде подошел командир полка. Он хотел еще более убедить его уехать.

— Уезжайте, — сказал он. — 443-й полк снялся с позиции и с оружием идет сюда. Он хочет с вами говорить.

— Как! — воскликнул Линде, — самовольно сошел с позиции? Я поеду к нему. Я поговорю с ним. Я сумею убедить его и заставить выдать зачинщиков этого гнусного дела. Надо вынуть заразу из дивизии.

— Люди вооружены, — сказал командир полка.

— Я — комиссар. Меня не тронут. Это мой долг, — сказал он.

— Ведь вы знаете, — сказал он мне, — они обвиняют генерала Гиршфельдта в том, что он продал немцам за 40 000 рублей свою позицию. Как это глупо. За сорок тысяч!.. Вечно нелепая басня об измене генералов!

В это время в лесу, в направлении позиции, раздалось несколько ружейных выстрелов. Ко мне подскочил взволнованный казачий офицер, начальник заставы, и растерянно доложил:

— Ваше превосходительство, пехота наступает на нас правильными цепями, в строгом порядке. Я приказал пулеметчикам открыть по ним огонь, но они отказались.

Я передал этот доклад Линде и еще раз просил его немедленно уехать.

— Но ведь это уже настоящий бунт! — сказал он. — Мой долг быть там! Генерал, вы можете не сопровождать меня. Я поеду один. Меня не тронут.

— Мой долг ехать с вами, — сказал я и тронул свою лошадь рядом с автомобилем. Толпа, тысяч в шесть солдат, запрудила всю прогалину, и ехать можно было очень тихо. Впереди изредка раздавались выстрелы.

Вдруг раздался чей-то отчаянный резкий голос, покрывая общий гомон толпы.

— В ружье!..

Толпа точно ждала этой команды. В одну секунду все разбежались по землянкам и сейчас же выскакивали оттуда с винтовками. Резко и сильно, сзади и подле нас, застучал пулемет, и началась бешеная пальба. Все шесть тысяч, а может быть, и больше, разом открыли беглый огонь из винтовок. Лесное эхо удесятерило звуки этой пальбы. Казаки шарахнулись и понеслись по дороге и мимо дороги на проволоку резервной позиции.

— Стой, — крикнул я. — Куда вы? С ума сошли! Стреляют вверх!

— Сейчас вверх, а потом и по вас! — крикнул, проскакивая мимо меня, смертельно бледный мой вестовой Алпатов, уже потерявший фуражку.

Полк, мой отборный конвой, трубачи — все исчезло в одну секунду. Видна была только густая пыль по дороге да удаляющиеся там и сям, упавшие с лошадей люди, которые вскакивали и бежали догонять сотни. Остался при Линде я, генерал Мистулов и мой начальник штаба, генерального штаба полковник Муженков. Но стреляли действительно вверх, и у меня еще была надежда вывести Линде из этого хаоса.

Автомобиль повернул обратно, и мы поехали при громе пальбы снова на прогалину мимо землянок. Но в это время пули стали свистать мимо нас и щелкать по автомобилю. Ясно, что теперь уже автомобиль стал мишенью для стрельбы.

Шоферы остановили машину, в мгновение ока выскочили из нее и бросились в лес. За ними выскочил и Линде с Гиршфельдтом. Гиршфельдт побежал в лес, а Линде бросился в землянку. На спуске в землянку какой-то солдат ударил его прикладом в висок. Он побледнел, но остался стоять. Видно, удар был не сильный. Тогда другой выстрелил ему в шею. Линде упал, обливаясь кровью. И сейчас же все с дикими криками, улюлюканием

бросились на мертвого. Мне нечего было больше делать. Я с Мистуловым и Муженковым рысью поехал из леса. Выстрелы провожали нас. Однако стреляли не целясь. Много пуль свистало над нами, но только одна ранила лошадь полковника Муженкова.

За лесом я стал догонять пеших казаков. Они то шли, то бежали, то ложились. Их было человек двадцать. Сзади них шло два офицера и с ними генерал Гиршфельдт.

— Как вам не стыдно, уманцы? — сказал я им. — Ну, чего разбежались? Чего падаете? Пехота стреляет зря. Никого не убило. Видите, я еду верхом на большой лошади, и то меня не тронули.

— Его сила, ваше превосходительство! — отвечали исступленно казаки, — всех перебьет. Наших много полегло. Полполка нет.

Из этих немногих слов мне стало ясно одно. Полк надо собрать и успокоить. Верстах в двух за лесом мы встретили двуколку с солдатом, на нее усадили уставшего и запыхавшегося генерала Гиршфельдта и с ним двух офицеров и приказали ехать в штаб дивизии, в деревню Духче. Я продолжал ехать шагом. Стрельба почти прекратилась, лишь изредка свистала над нами какая-либо пуля. Мало-помалу ко мне начали собираться рассеявшиеся по полям казаки. Первым явился мой вестовой Алпатов, со сконфуженным лицом и без фуражки.

— А мы думали, вас убили, ваше превосходительство, — улыбаясь, сказал он.

— Фу, да и дурной же, — сказал я ему. — Хороши будете без шапки!

— Я у пехоты украду, — улыбаясь, отвечал Алпатов. — Как палили-то! Страсть! Я думал, никто жив не будет.

— Так ведь вверх, — с досадою сказал я.

— И то вверх, — согласился Алпатов.

Недалеко от Духче полковник Агрызков собирал полк. Увидевши меня, он поскакал ко мне.

— Полк сильно расстроен, — доложил он. — Половина людей не знаю где. Надо идти домой, успокоить. Меня и вас грозят убить. Говорят, что мы нарочно привели их в западню, чтобы истребить.

— Вы лучше спросите меня, полковник, где комиссар, которого охранять вы были обязаны, — сухо сказал я ему.

— А где? — растерянно спросил Агрызков.

— Убит солдатами на моих глазах, — сказал я.

Агрызков тяжело вздохнул и поехал за мной. Я направился к полку. Вид жидких сотен казаков, растерянных и растрепанных, многих, потерявших лошадей, был безотраден 〈...〉.

* * *

В эшелонах

〈...〉После революции — даже и помимо Приказа № 1 — между офицерами и солдатами появилась пропасть. Революция для солдата — это была свобода, а свобода — отрицание войны. После революции и отречения императора война исчезла из понятия солдата. Ведь войну все время называли капиталистически-империалистской. Императора больше не было; для того чтобы окончательно освободиться от войны, надо было теперь освободиться от капиталистов; об этом откровенно кричали по всей армии большевики. Такие речи я слышал, когда меня 5 мая судил трибунал Видиборского солдатского совета, таких же речей я наслушался и от солдат 111-й пехотной дивизии перед убийством комиссара Линде. Солдат устал от войны, окопная жизнь ему насмерть надоела, его тянуло домой, на ту самую землю, которой он, наконец, добился. Дезертировать мешал страх нака-

зания и остаток совести, и солдат ждал и прислушивался только к одному слову, и это слово было мир. Временное правительство и особенно исполнительный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов это слово произносили часто, то принимая, то отрицая возможность мира, они думали, значит, о мире, обсуждали его. Войны хотели только генералы и офицеры, потому что она им выгодна, так как дает им чины и награды — так внушали солдату, и солдат этому верил. Керенский вовсе не был популярен как личность, как оратор, как идейный человек; смеялись над его жестами и его пафосом; но Керенский был их адвокатом и защитником перед офицерами и генералами. Уже то, что он был штатский, а не офицер, давало надежду солдатам, что он пойдет против войны за мир, потому что ему-то мир был нужен, а не война. И мы увидим, как отметнулась солдатская масса от своего кумира Керенского и готова была предать его, как только Керенский пошел за войну, отказался от мира «по телеграфу». Мир «по телеграфу» дали большевики, и солдатская масса пошла за ними.

Среди солдатской массы некоторые части выделялись из общего уровня. Вследствие воинственного воспитания дома, вследствие того, что война давала не только одни несчастья, но и выгоды, которыми дорожили и дома, в домашнем быту: производство в офицеры, Георгиевские кресты, иногда добыча,— на войну был взгляд более благожелательный. Эти части были части казачьи. Казаки вследствие своего воспитания дольше не принимали мира. Но и казаки были разные. Были воинственные войска с твердыми традициями и были войска невоинственные с традициями молодыми, в одних и тех же войсках были станицы воинственные и миролюбивые. Потому-то Корнилов и выбрал для выполнения своей цели казаков и горцев Кавказа, что в них идея «мира по телеграфу» не свила еще прочного гнезда, и они согласны были повоевать еще.

На призыв Корнилова к войне солдатская масса уже знала, как ответить. Ей это подсказали опытные и умелые агитаторы. Арестовать офицеров и послать делегатов в Петроград за указаниями. Все шесть месяцев после революции это было самое обычное дело. Чуть что, выбрать делегатов, снабдить их мандатами и — айда, в Петроград, в исполком, которому верили, как богу. Недовольны пищей, фельдфебель по старой привычке смазал по уху за провинность, не сменили старого ротного — в исполком, там свои и рассудят истинным, правильным, честным солдатским и рабочим судом.

Предоставленные самим себе, томящиеся в застрявших на путях эшелонах, казаки и солдаты, смущаемые возвращениями Керенского и его агитаторами, и пошли по этой проторенной за шесть месяцев дорожке — арестовать офицеров и послать делегацию в Петроград спросить, что делать? Итак, в то самое время, когда Крымов расписывал диспозицию занятия Петрограда, а ингуши и черкесы перестреливались с гвардейскими стрелками, а Петроградский гарнизон волновался и готов был сдаться Корнилову, Керенский и Временное правительство не знали, что делать, и думали о бегстве — ведь наступали на них казаки и Дикая дивизия с самим бесстрашным Корниловым,— к ним, которых должны были арестовать, за советом и помощью явились представители комитетов Донской и Уссурийской дивизии и команда связи, составленная из солдат, а не горцев, как представителей Дикой дивизии!

Ясно было, что все предприятие Корнилова рухнуло, еще и не начавшись.

Керенский обласкал казаков. Он тут же произвел наиболее речистых и подхалимистых двух казаков в офицеры, велел им ехать обратно с приказом остановиться и арестовать тех офицеров, которые будут требовать дальнейшего движения на Петроград ⟨...⟩.

* * *

Одною из целей похода Корнилова на Петроград было уничтожить комиссаров и комитеты, которые были всеми признаны крайне вредными. Ближайшим результатом неуда-

чи похода было усилеиие комиссаров и поднятие значения комитетов, признание самими начальниками их необходимости. Я с самого начала революции боролся против комитетов, низводя их на степень только хозяйственного контроля, артели, кооператива для закупок, и первый комиссар, которого я увидал, был Линде; теперь мне пришлось целыми днями беседовать с комитетами и быть частым гостем у комиссара и его помощиика, и это было вызваио действительно необходимостью.

Но был результат гораздо худший. Неудача Крымова подняла большевиков и усилила их позицию в Петроградском Совете, и не прошло и трех дией после того, как Кереиский взял на себя бразды правления в армии и флоте, как ои почуял более сильную опасиость слева — со стороны большевиков. «Завоеваниям революции» угрожали ие правые круги, притихшие и подавленные под солдатским террором, а анархия и большевизм. Как ни странно зто было, но за первою помощью Керенский обратился к тому самому III Коииому корпусу, который шел арестовать его.

1 сентября к Пскову собрались Приморский драгуиский и Уссурийский казачий полк и стали разгружаться и расходиться по деревням: драгуны в большем порядке, уссурийцы в порядке отиосительиом. Все остальиые части были повернуты обратно и направлеиы иа Псков, а 2 сентября в 8 часов вечера за мною зкстреиио приехал адъютант начальника штаба фронта и повез меня в штаб. Мне передали шифрованную телеграмму от верховного главиокомаидующего Кереиского о том, что, ввиду возможиости высадки немцев в Финляндии и беспорядков там, необходимо сосредоточить 2-ю Донскую дивизию в районе Павловск — Царское, штаб в Царском, а Уссурийскую дивизию в Гатчино — Петергофе, штаб в Петергофе.

Каждый из иас, уже по самой дислокации корпуса, понимал, что беспорядки в Финляндии и высадка иемцев — это тот фиговый листок, которым прикрывались настроения Смольного института и открытая пропагаида Ленина в войсках Петроградского гарнизона.

Я был в отчаянии. Только что сделаниая работа успокоеиия разрушалась. Кто поверит, что ожидается высадка немцев? Скажут: опять коитрреволюция, опять измеиа. Вся надежда была иа подпись Керенского и на комиссаров. И действительно, Керенскому поверили, а Войтинскому и Станкевичу удалось уговорить полки, что приказ иадо исполнить. Но, конечно, главное было то, что никто ни оружием, ни словами не мешал нам в походе — большевики еще не были готовы. К 6 сентября корпус сосредоточился на указаниых местах.

Петроградские настроения

В революционном Петрограде и его воинских учреждеииях я был первый раз. 4 сеитября я приехал со штабом в Царское Село и в час дня явился к главнокомандующему Петроградским военным округом. Таковым оказался мой старый знакомый по лейбгвардии Измайловскому полку, генерал-майор Теплов. Эта милейшая личность, гумаииейший человек, любитель литературы, изящных искусств, поззии, совсем невоенный, всегда отличавшийся либеральными взглядами, был схвачеи Кереиским и посажеи на место главнокомандующего. Главнокомандующим он, кажется, был всего пять дией.

26 лет я прослужил в войсках гвардии и Петроградского округа. Я помню округ при великом князе Владимире Александровиче, и я бывал в штабе, когда иачальником штаба был Бобриков. С представлением о штабе была связаиа известная таииственность, серьезность, почти святость учреждения. Важный швейцар, безупречная чистота прихожей и лестницы, тишииа в величественioй приемной, где висят портреты бывших командующих войсками. Солидные посетители — генералы в орденах и лентах, почтенные вдовы, редко-редко штатский, да и тот во фраке или вицмундире какого-либо ведомства.

Теперь у подъезда, в образе часовых, стояло два юнкера 1-го военного Павловского училища. Я сам кончил Павловское училище и был фельдфебелем роты его величества и потому знаю, что такое был юнкер Павловского училища на часах. Душевно — он священнодействовал, телесно — это была прекрасно отделанная статуя, неподвижно замершая на своем посту,— лепи с него модель или пиши картину.

Теперь у подъезда болтались, разговаривая и пересмеиваясь, два молодых человека, длинноволосых, растрепанных, небрежно, мешковато одетых в шинели со священными для меня погонами Павловского училища. Было больно смотреть на них. Да, демократизация армии совершилась, она началась вот здесь, у этого строгого здания александровской эпохи, а окончилась под Тарнополем и Ригой, убийством Линде и теперешним моим положением корпусного уговаривателя...

Тот же швейцар, но растерянный, недоумевающий, не знающий, что делать. Он сидел в углу у вешалки, заваленной сотнями пальто, и уже никому не помогал ни раздеваться, ни одеваться. Меня он узнал и только безнадежно махнул рукой. По лестнице непрерывное движение вверх и вниз солдат и молодых людей, то поодиночке, то группами, грязно, небрежно одетых. Лестница и приемная заплеваны и засыпаны семечками. Каждый идет, куда ему угодно, на дверях наклеены бумажки с небрежно сделанными надписями, что за ними, и, конечно, на первом плане — «политический комиссар».

В приемной на меня, одетого по форме, при походной аммуниции, смотрели, как на чучело. Сюда каждый являлся по-товарищески в расстегнутой рубахе, без пояса, а многие уже без погон. Демократизация армии завершила свой круг и подходила к большевизму.

Теплов меня сейчас же принял. В его добрых глазах стояли слезы. Большая борода поседела и была растрепана.

— Да, вот в каком виде вы меня видите,— сказал он.— А штаб-то! Помните?

Портреты начальников штабов былой эпохи грозно смотрели на нас со стен. Казалось, их души были с нами и возмущенно шептались кругом. В громадные окна глядел чудный сентябрьский день и Александровская колонна с Ангелом мира, осиянная солнцем. Тени прошлых великолепных парадов, бывших на этой площади, теснились в воспоминании, и надо всем лежала печать томительной и безысходной грусти. Тут, больше чем где-либо, понял я, что мы дошли до конца, и дальше идти уже некуда. Дальше — пропасть.

— Какие указания я вам могу дать? — говорил Теплов.— Я здесь калиф на час. Может быть, завтра уже меня не будет. Скажу одно — идет борьба за власть. С одной стороны, Керенский, который все-таки хочет добра России и хочет ее с честью вывести из тяжелого положения, но подле него никого; с другой — Совет солдатских и рабочих депутатов, которым уже овладели большевики с Лениным и который становится все более и более популярным среди Петроградского гарнизона. Вы вызваны для борьбы против него, а сможете ли вы бороться?.. Да... тяжелые времена!.. Но помочь ничем не могу. Я... ведь до завтра.

Теплов и «до завтра» не досидел на своем посту. В тот же день из вечерней газеты я узнал, что Керенский отставил его и на его место назначил командовавшего в моем же корпусе 1-м Амурским казачьим полком генерального штаба полковника Полковникова.

Полковников — продукт нового времени. Это тип тех офицеров, которые делали революцию ради карьеры, летели, как бабочки на огонь, и сгорали в ней без остатка. В японскую войну 1905 года — это двадцатидвухлетний офицер, донской артиллерист, проникнутый священным пылом войны и жаждой славы. Он прекрасно и лихо работает с казаками. После войны — Академия Генерального штаба; дальнейшая карьера идет гладко, и к 1917 году он командир 1-го Амурского полка, чуть что не выборный, пользующийся большой популярностью среди казаков. Поход Крымова. Полковников чует своим хитрым сердцем, что солдаты и казаки колеблются, отрывается от полка и мчится в Петроград к Керенскому.

34-летний полковник становится главнокомандующим важнейшего в политическом отношении округа с почти 200 000 армией. Тут начинается метание между Керенским и Советом и верность постольку-поскольку. Полковников помогает большевикам создать движение против правительства, но потом ведет юнкеров против большевиков. Много детской крови взял на себя он... И в конце концов Полковников в марте 1918 года зверски повешен большевиками на Дону, в Задонской степи, на зимовнике Безуглова.

Но теперь — Полковников, об измене которого Корнилову знал весь корпус, становится начальником и распорядителем корпуса. Полковникову приходилось докладывать секретные планы и совещаться с ним о работе, не зная, с кем он идет — с большевиками или против них.

Керенский, взявший на себя управление армией, на первых же шагах своей деятельности запутался до крайности. 30 августа его начальник штаба, генерал Алексеев, подтвердил мое назначение на пост командующего III Конным корпусом. Керенский одобрил это, отдавал мне приказания, а 9 сентября, не сменяя меня, допустил к командованию тем же корпусом начальника 7-й кавалерийской дивизии, барона Врангеля.

Растерянный, истеричный, ничего не понимающий в военном деле, не знающий личного состава войск, не имеющий никаких связей и в то же время не любящий с кем бы то ни было советоваться, Керенский кидался к тем, кто к нему приходил. Врангель случайно приехал в эту минуту в ставку. Керенский знал, что Крымов застрелился, что корпус в Петрограде, и предложил Врангелю корпус, не думая обо мне. Меня это только развязывало. Я подал решительно в отставку. Но тут ввязались в дело казачьи комитеты. Они уже почуяли власть, притом в Донской дивизии я был любим, а Уссурийская начинала любить меня, комитеты явились к Керенскому и потребовали, чтобы я оставался командиром корпуса, потому что я казак и корпус казачий, а барон Врангель немец. Керенский сейчас же согласился с комитетами, и меня оставили, а Врангелю стали искать другой корпус, чтобы он не обиделся.

Во главе военного министерства был поставлен Верховский — революционный паж. В бытность в Пажеском корпусе за какую-то проделку, показавшуюся корпусному начальству слишком либеральной, Верховский был отправлен рядовым в Туркестан. Там был произведен в офицеры и кончил Академию Генерального штаба. Репутация либерала и революционера осталась за ним. Верховский был водворен на Мойку, в дом военного министра. Он решительно не знал, что ему делать, и пошел по самой модной линии. Приемная его наполнилась солдатами, делегатами и депутатами, он проводил, выслушивая их, целые дни, начиная прием с 8 час. утра. Когда я был у него со своей отставкой 18 сентября, ему представлялись какие-то представители нового, не то польского, не то украинского корпуса, бравые молодцы, одетые в опереточную форму с малиновыми и голубыми лампасами на черных рейтузах.

— Не правда ли, хорошо? Не правда ли, красиво? — говорили они мне, охорашиваясь перед тем, как войти в кабинет министра.

Что же дала нам революция в смысле правильных назначений на командные должности и выдвигания истинных талантов? Прежде всего, новые правители стремились омолодить армию, выбить из нее старый режим и контрреволюцию и посадить людей, сочувствующих революции и новым порядкам. Но свелось к тому, что стройная, может быть, не всегда правильная и справедливая, но все-таки система назначений по кандидатскому списку, строго продуманному, после самого серьезного и тщательного рассмотрения аттестаций, составленных целым рядом начальников, сменилась чисто случайными назначениями и самым неприличным протекционализмом. Всюду вылезали вперед самые злокачественные «ловчилы», которые тянули за собой других таких же, грязь и муть поднимались со дна армии. Каждый начальник быстро понял характер Керенского и истеричность его натуры, и многие стали проталкиваться вперед, валя тех, кто стоял на

пути. Всякое средство было хорошо, всякая протекция годилась. Даже Совет солдатских и рабочих депутатов было хорошее и, пожалуй, даже самое верное средство занять высокое положение. Не мудрено, что Верховский и Полковников протолкались вперед.

Мне нужно было сменить начальника Уссурийской дивизии, который слишком пал духом и подпал под влияние комитета, и дивизией фактически командовал его начальник штаба и председатель дивизионного комитета, ловкий мальчишка, вольноопределяющийся Левицкий. Но Губин цеплялся за место и ездил к Керенскому, отстаивая свое право.

В трех полках Уссурийской дивизии не было командиров, хороший командир полка 1-й Донской дивизии, войсковой старшина Бочаров не был утвержден в должности. Мои ходатайства, мои просьбы и рапорты о назначениях валялись без ответа, и все это не способствовало укреплению порядка в частях корпуса.

У Керенского не было для его поста главного — воли. Не было власти — настоящей власти, а не позирования на власть; и под его командованием армия, разрушенная снизу, в корне подточенная революцией, гибла сверху.

Есть такая скверная поговорка: «рыба с головы воняет» — и вот эти-то дни тяжелый смертный дух потянул от армии, от тех начальников, которые в лучшем случае ничего не делали, в худшем — работали на два фронта: и Временному правительству и большевикам.

Не хочется, да, может быть, и не нужно — судьба все равно сурово покарала их расстрелами, нищетой, эмигрантством за границей,— не хочется называть фамилий, но сколько людей в это время уподобились той старушке, которая, стоя перед изображением страшного суда, где были нарисованы ангелы в раю и черти в аду, ставила две свечи — одну ангелу, другую дьяволу, ибо неизвестно, куда попадешь, в рай или в ад. Так и эти начальники кланялись, и забегали, и возили свои доклады Керенскому и в Совет, на всякий случай, а что из этого выходило, то будет видно из дальнейшего.

Керенского за все время я ни разу не видал. Он меня к себе не требовал, а мне незачем было идти к нему. Чем он мог мне помочь? С меня довольно было и комиссаров. Я знал, что он мне не доверял, потому что я был старорежимный генерал и не скрывал своего отвращения к новым порядкам.

Работа в корпусе

Но, что бы ни было на душе, работать было нужно и работать не покладая рук. Жизнь этого требовала.

Керенский правильно учел значение присутствия III Конного корпуса под Петроградом. Совет солдатских и рабочих депутатов присмирел. Царскосельский гарнизон, когда кругом стали донцы, изменился до смешного. Солдаты начали чисто одеваться и отдавать честь офицерам. Все это сделало только то, что появились нерасхлюстанные части, что у ворот дворца великой княгини Марии Павловны стоял чисто одетый часовой, который не лущил семечек, казаки праздно не шатались по городу, а те, кто появлялся на улицах, были чисто одеты и отдавали щеголевато честь офицерам. Одна внешность уже влияла оздоровляющим образом, надо было поддержать ее и воспитать снова офицеров и казаков.

Как и на Юго-Западном фронте, и здесь интендантство Петроградского военного округа широко пошло мне на помощь. Удалось получить даже серо-синие шаровары, о которых так мечтали казаки. Я опять начал с материального, с одежды и кухонь, но не оставлял и морального воздействия на части.

6 сентября начальники дивизий донесли мне о том, что полки собраны и расквартиро-

ваны в указанных им районах. 7 числа, в 10 часов утра, я был в Пулкове в районе расположения 9-го и 10-го Донских казачьих полков. В просторной сельской школе были собраны все офицеры и большая часть урядников полков. Прибыло много казаков, моих старых сослуживцев, для того, чтоб посмотреть на меня.

Я коротко и совершенно откровенно рассказал офицерам и казакам обстановку. Я не скрывал от них, что цель нашего присутствия в Петрограде не столько угроза немецкой высадки, сколько страшная темная работа большевиков, стремящихся захватить власть в свои руки.

Дорогие мне лица окружали меня. Я видел пламенные, восторженные взгляды моих соратников под Бедежем, Комаровым, Незвинской, Залещиками и многих, многих дел. Я чувствовал, что среди них я свой.

Я кончил.

— Ваше превосходительство! — раздались гулом голоса,— не извольте ни о чем беспокоиться. Мы — корниловцы! Велите — и мы вам Керенского самого предоставим. Мы понимаем, где порядок.

Я тронулся к выходу. Толпа меня провожала. Старый бригадный командир, полковник Толоконников, с красным лицом, длинными седыми усами и седою бородою, со слезами на выцветших бледно-серых глазах, поднял руку и остановил поток голосов. «Неужели речь? — подумал я,— как это было бы бестактно и неуместно».

Но он, в наступившей тишине, произнес верным голосом первое слово Донского гимна-песни. И все офицеры и казаки, не сговариваясь, дружно грянули:

Всколыхнулся, взволновался
Православный тихий Дон,
И послушно отозвался
На призыв монарха он...

Все сняли фуражки 〈...〉.

* * *

Во что бы то ни стало

〈...〉 Разврату и разлагающей пропаганде большевизма я решил противопоставить работу и силу образования и просвещения.

Деятельность моя, скрыть которую, конечно, нельзя было, обратила внимание. Одни сочувствовали и хотели посильно помочь, другие мешали. Я уклонялся от посторонней помощи и по мере сил боролся с мешающими.

1 октября ко мне приехал помощник комиссара Савицкий, с ним какая-то дама с университетским значком и А. Гликберг, известный поэт Саша Черный. Они говорили о каких-то библиотеках и чтениях для солдат. Когда я им рассказал, как в глухих деревнях, по маленьким избам, часто без освещения вечером живут солдаты и казаки корпуса, как к ним трудно добираться осенью по распутице, когда и верхом с трудом к ним проедешь,— они задумались.

— Но если я буду сегодня читать одной группе, а завтра другой,— робко сказала дама.

— Что читать? — спросил я.

— Чехова.

— Чехова? Десяти тысячам человек, по три и по четыре сразу? Когда же вы кончите?

Они уехали.

9 октября у меня был полковник пограничной стражи Заневский, приехавший от

главнокомандующего «знакомиться с настроением частей». Я его просто прогнал, чему он, кажется, был даже рад.

Все это было глупо, нудно, досадливо иногда, но не опасно.

Опасность угрожала с другого конца и скоро уничтожила корпус без остатка.

6 октября штаб Северного фронта экстренно потребовал посылки 2 сотен и 2 орудий в Старую Руссу, 2 сотен и 2 орудий в Торопец и 2 сотен и 2 орудий в Останков.

Это было самое страшное. Это сразу прекращало воспитание солдат, вырывало части из рук старших, более опытных начальников, подрывало правильность снабжения и довольствия и ставило маленькие казачьи части в густую солдатскую массу, уже обработанную большевиками. Я исполнил приказ и отправил на эту службу весь Уссурийский казачий полк и $1^1/_2$ из бывших у меня шести Донских батарей, но сейчас же написал в штаб фронта, кому только мог, просьбу этого не делать, так как это разрушает корпус, который может понадобиться в полном составе для борьбы против большевиков.

— Кому вы это пишете? — сказал мне исправляющий должность начальника штаба полковник С. П. Попов.

— Как кому? По команде главнокомандующему Северным фронтом или, как по-большевистски называют, главкосеву Черемисову.

— Да разве вы не знаете, что Черемисов заодно с большевиками, что он все время проводит в Совете солдатских и рабочих депутатов, стоит за полную демократизацию армии и попускает, а кто говорит, что и покровительствует изданию большевистской газеты «Окопная правда»?

— Но что же делать, Сергей Петрович? Выходит, что все начальство передалось большевикам. Тогда проще — устранить Временное правительство и передать власть большевикам мирно. Столковаться с ними, как это теперь говорится. Был Львов, стал Керенский, ну, будет Ленин — хуже не будет. Это прямое последствие отречения государя.

— Да, это так.

— Что же, прикажете плыть по течению?

— Но что вы сделаете, если изменили верхи? Ведь все это делается не без ведома Керенского. Керенский сам рубит сук, на котором сидит.

— Керенскому это простительно. Он ничего не понимает ни в военном, ни в государственном деле, но о чем же думают Черемисов и Лукирский?

— Думают, как угодить новому барину — «грядущему хаму».

— И мы молча будем пособничать? — сказал я.

— Протестовать бесполезно.

— Будем не только протестовать, но и бороться. Может быть, и мы сумеем в борьбе обрести право свое.

Бумагу мы послали. Ответом было приказание поставить пять сотен в Пскове. Я поехал лично в штаб и эти пять сотен отстоял, но победа была вызвана не силой моего убеждения, а просто тем, что для них не нашлось в Пскове помещения, да и Совет высказался против помещения казаков в Пскове.

Итак, с октября месяца корпус оказался фактически в распоряжении у большевиков, и большевики продолжали работу по его растасовке.

* * *

Керенский

Месяц лукавым таинственным светом заливал улицы старого Пскова. Романтическим средневековьем веяло от крутых стен и узких проулков. Мы шли с Поповым пешком, чтобы не привлекать внимания автомобилем. Шли как заговорщики...

Я шел к Керенскому. К тому Керенскому, который...

Я никогда, ни одной минуты не был поклонником Керенского. Я его никогда не видел, очень мало читал его речи, но все мне было в нем противно до гадливого отвращения.

Противна была его самоуверенность и то, что он за все брался и все умел. Когда он был министром юстиции — я молчал. Но когда Керенский стал военным и морским министром, все возмутилось во мне. «Как,— думал я,— во время войны управлять военным делом берется человек, ничего в нем не понимающий! Военное искусство одно из самых трудных искусств, потому что оно, помимо знаний, требует особого воспитания ума и воли. Если во всяком искусстве дилетантизм не желателен, то в военном искусстве он не допустим.

«Керенский полководец!.. Петр, Румянцев, Суворов, Кутузов, Ермолов, Скобелев... и Керенский!

Он разрушил армию, надругался над военной наукою, и за то я презирал и ненавидел его.

А вот иду я к нему этою лунною волшебною ночью, когда явь кажется грезами, иду как к верховному главнокомандующему предлагать свою жизнь и жизнь вверенных мне людей в его полное распоряжение?

Да, иду. Потому что не к Керенскому иду я, а к родине, к великой России, от которой отречься я не могу. И если Россия с Керенским, я пойду с ним. Его буду ненавидеть и проклинать, но служить и умирать пойду за Россию. Она его избрала, она пошла за ним, она не сумела найти вождя способнее, пойду помогать ему, если он за Россию» 〈...〉.

Я сразу узнал Керенского по тому множеству портретов, которые я видал, по тем фотографиям, которые печатались тогда во всех иллюстрированных журналах.

Не Наполеон, но, безусловно, позирует на Наполеона. Слушает невнимательно. Будто не верит тому, что ему говорят. Все лицо говорит тогда: знаю я вас — у вас всегда отговорки, но нужно сделать — и вы сделаете.

Я доложил о том, что не только нет корпуса, но нет и дивизии, что части разбросаны по всему северо-западу России и их раньше необходимо собрать. Двигаться малыми частями — безумие.

— Пустяки! Вся армия стоит за мною против этих негодяев. Я сам поведу ее, и за мною пойдут все. Там никто им не сочувствует 〈...〉.

Слыша о таких значительных силах, я уже не сомневался в успехе. Дело было иное. Можно будет выгрузить казаков в Гатчине и составить из них разведывательный отряд, под прикрытием которого высаживать части XVII корпуса и 37-й дивизии на фронте Тосно — Гатчина и быстро двигаться, охватывая Петроград и отрезая его от Кронштадта и Морского канала. Моя задача сводилась к более простым действиям. Стало легче на душе... Но если бы это было так, разве сидел бы Черемисов теперь с Советом? Разве принял бы он меня известием, что Временного правительства уже нет? Три дивизии пехоты и столько же кавалерии, беспрепятственно идущие среди моря армии, это показывает, что армия на стороне Керенского, а если так, буитовался бы разве гарнизон Петрограда, задерживали бы эшелоны в Острове? Нет, тут что-то было не так. Сомнение закрадывалось в душу, и я высказал его Керенскому.

Мне показалось, что он не только не уверен в том, что названные части пойдут по его приказу, но не уверен даже и в том, что ставка, то есть генерал Духонин, передала

приказания. Казалось, что он и Пскова боится. Он как-то вдруг сразу осел, завял, глаза стали тусклыми, движения вялыми.

«Ему надо отдохнуть»,— подумал я и стал прощаться.

— Куда вы, генерал?

— В Остров, двигать то, что я имею, чтобы закрепить за собою Гатчину.

— Отлично. Я поеду с вами.

Он отдал приказание подать свой автомобиль.

— Когда мы там будем? — спросил он.

— Если хорошо ехать, через час с четвертью мы будем в Острове.

— Соберите к одиннадцати часам дивизионные и другие комитеты, я хочу переговорить с ними.

«Ах, зачем это! — подумал я, но ответил согласием.— Кто его знает, может быть, у него особенный дар, умение влиять на толпу. Ведь почему-нибудь приняла же его Россия? Были же ему и овации, и восторженные встречи, и любовь, и поклонение. Пусть казаки увидят его и знают, что сам Керенский с ними».

Минут через десять автомобили были готовы, я разыскал свой, и мы поехали. Я, по приказанию Керенского,— впереди. Керенский с адъютантами сзади. Город все так же крепко спал, и шум двух автомобилей не разбудил его. Мы никого не встретили и благополучно выбрались на Островское шоссе 〈...〉.

* * *

В Смольном

Перед рассветом выпал снег и тонкою пеленою покрыл замерзшую грязь дорог, поля и сучья деревьев. Славно пахнуло легким морозом и тихою зимою.

Автомобиль должны были подать к 8 часам, но подали еле к 20-ти. Тарасов-Родионов волновался и нервничал. То просил меня выйти, то обождать в коридоре. Рошаль собрал вокруг себя на внутреннем дворцовом дворе всех матросов и, ставши на телегу, что-то говорил им. У дворца громадная толпа солдат и Красной гвардии, и это нервит Тарасова, он отдает дрожащим голосом приказания шоферам.

Мы садимся. Впереди Попов и Гриша Чеботарев, сзади я и Тарасов-Родионов. Автомобиль тихо выезжает из дворцовых ворот.

Какой-то громадный солдат в пяти шагах от нас схватывает винтовку на изготовку и кричит:

— Стрелять этих генералов надо, а не на автомобилях раскатывать!

Тарасов мертвенно бледен. Я спокоен — тот, кто выстрелит, тот не кричит об этом. Этот не выстрелит. Я смотрю в злобные серые глаза солдата и только думаю: «За что? — Он и не знает меня вовсе».

— Скорее! Скорее! — говорит Тарасов шоферам, но те и сами понимают, что зевать нельзя.

Автомобиль поворачивается налево и мчится мимо статуи Павла I, стоящего с тростью и засыпанного белым чистым снегом, мимо обелиска, поворачивает еще раз — мы на шоссе.

В Гатчине людно. Шатаются солдаты и красногвардейцы. У Мозино мы обгоняем роту Красной гвардии. Она запрудила все шоссе, автомобиль дает гудки, и красногвардейцы сторонятся, косятся, бросают злобные взгляды, но молчат.

Под Пулковом из какого-то дома по нас стреляли. Одна пуля щелкнула подле автомобиля, другая ударила его в край.

— Скорей! — говорит Тарасов-Родионов.

Третьего дня здесь был бой. По сторонам дороги видны окопы, лежат неубранные трупы лошадей оренбургских казаков, видны воронки от снарядов.

За Пулковом Тарасов-Родионов становится спокойнее. Он начинает мне рассказывать, сколько счастья дадут русскому народу большевики.

— У каждого будет свой угол, свой домик, свой кусок земли. У вас будет покой на старости лет.

— Позвольте,— говорю я,— но ведь вы коммунист, как же это у меня будет свой дом и своя земля? Разве вы признаете собственность?

Молчание.

— Вы меня не так поняли,— наконец говорит Тарасов.— Все это принадлежит государству, но как бы ваше. Не все ли вам равно? Вы живете. Вы наслаждаетесь жизнью, никто у вас не может отнять, но собственность это действительно государственная.

— Значит, будет государство, будет Россия? — спрашиваю я.

— О! Да еще и какая сильная. Россия народная,— отвечает восторженно Тарасов-Родионов.

— А как же интернационал? Ведь Россия и русские это только зоологическое понятие.

— Вы меня не так поняли,— говорит Тарасов и умолкает.

Мы въезжаем в триумфальные ворота. Когда-то их любовно строил народ для своей победоносной гвардии, теперь... где эта гвардия?

— Увижу я Ленина? Представят меня перед его светлые очи? — спрашиваю я Тарасова.

— Я думаю, что нет. Он никому не показывается. Он очень занят,— говорит Тарасов.

Знакомые, родные места. Вот Лафонская площадь, вот окна конюшни казачьего отдела, манеж № 1, где я провел столько счастливых часов, служа в постоянном составе школы. Там дальше на Шпалерной моя бывшая квартира. Не нарочно ли судьба дает мне последний раз посмотреть на те места, где я испытал столько счастья и радости...

Печальное предчувствие сжимает мое сердце.

Последствие усталости, бессонных ночей, недоедания, слабость?.. Не нужно этого.

У Смольного толпа. Крутится кинематограф, снимая нас. Ну как же! Привезли трофеи победы Красной гвардии — командира III кавалерийского корпуса!!

В Смольном хаос. На каждой площадке лестницы пропускной пост. Столик, барышня, подле два-три лохматых «товарища» и поверка «мандатов». Все вооружено до зубов. Пулеметные ленты сплошь да рядом без патронов крест-накрест перекручены поверх потрепанных пиджаков и пальто, винтовки, которые никто не умеет держать, револьверы, шашки, кинжалы, кухонные ножи.

И несмотря на все это вооружение, толпа довольно мирного характера и множество дам, нет это не дамы и не барышни, и не женщины, а те «товарищи» в юбках, которые вдруг, как тараканы из щелей, повылезали в Петрограде и стали липнуть к Красной гвардии и большевикам. Претенциозно одетые, с разухабистыми манерами, они так и шныряют вниз и вверх по лестнице.

— Товарищ, ваше удостоверение?

— Член следственной комиссии Тарасов-Родионов, генерал Краснов, его начальник штаба...

— Проходите, товарищ.

— Куда вы, товарищ?

— К товарищу Антонову...

Так с рук на руки нас передавали и вели среди непрерывного движения разных людей вверх и вниз на третий этаж, где, наконец, нас пропустили в комнату, у дверей которой стояло два часовых матроса.

Комната полна народом. Есть и знакомые лица. Капитан Свистунов, комендант Гатчинского дворца, один из адъютантов Керенского, а затем различные штатские и военные лица из числа сочувствовавших движению. Настроение разное. Одни бледны, предчувствуя плохой конец, другие взвинченно-веселы, что-то замышляют. Новая власть близка, источник повышений здесь, игра еще не проиграна.

Кто сидит третий день, уже сорганизовался. Оказывается, кормят недурно, дают чай, можно сложиться и купить сахар, тут и лавочка специальная есть в Смольном.

— Но ведь это арест?

— Да, арест,— отвечают мне.— Но будет и хуже. Вчера генерала Карачана, начальника артиллерийского училища, взяли, вывели за Смольный и в переулке застрелили. Как бы и вам того же не было, генерал,— говорит один.

— Ну, зачем так? — говорит другой,— может быть, только посадят в Кресты или в Петропавловку.

— В Крестах лучше. Я сидел,— говорит третий.

Внимание, возбужденное нашим приходом, ослабевает. Каждый занят своими делами. Пришла жена одного из арестованных, они садятся в углу и тихо беседуют.

Часы медленно ползут. В два часа принесли обед. Суп с мясом и лапшой, большие куски черного хлеба, чай в кружках.

Рядом комната. Бывшая умывальная институток. В ней тише. Я прошел туда, снял шинель, положил под голову и прилег на асфальтовом полу, чтобы отдохнуть и обдумать свое положение. Более чем очевидно, что Тарасов-Родионов обманул, что меня заманили и я попал в западню.

В 5 часов я проснулся. Ко мне пришел Тарасов-Родионов и с ним бледный, лохматый матрос.

— Вот,— сказал мне Тарасов,— товарищ с вас снимет допрос.

— Позвольте,— говорю я,— поручик, вы обещали мне, что через час отпустите, а держите меня в этой свинской обстановке целый день. Где же ваше слово?

— Простите, генерал,— ускользая в дверь, проговорил Тарасов.— Но лучшее наше помещение, где есть кровать, занято великим князем Павлом Александровичем: если его сегодня отпустят, мы переведем вас в его комнату. Там будет великолепно...

Матрос, назначенный для следствия, имел усталый и измученный вид. Он дал бумагу, чернила и перо и просил написать, как и по чьему приказу мы выступили и как бежал Керенский.

Вдвоем с Сергеем Петровичем Поповым мы составили безличный отчет и подали матросу.

— Теперь мы свободны? — спросил Попов.

Матрос загадочно посмотрел на нас, ничего не ответил и ушел.

Я долго смотрел, как сгущались сумерки над Невою и загорались огни на набережной и на мосту Петра Великого. Скоро темная ночь стала за окном. В наших двух комнатах тускло горело по одной электрической лампочке. Кто читал, кто щелкал на машинке, учась писать, кто примащивался спать на полу. Кое-кого увели. Увели Свистунова, и пронесся слух, что он получает какое-то крупное назначение у большевиков, увели адъютанта Керенского, еще троих выпустили. Всего оставалось человек восемь, не считая нас.

И вдруг в комнату шумно, сопровождаемый Дыбенко, ворвался весь наш комитет 1-й Донской дивизии.

— Ваше превосходительство,— кричал мне Ажогин,— слава Богу! Вы живы. Сейчас

мы все устроим. Эти канальи хотели разоружить казаков и взять пушки вопреки условию. Мы им покажем! Вы говорите, что это зависит от Крыленко,— обратился Ажогин к Дыбенко,— тащите ко мне этого Крыленко. Я с ним поговорю как следует.

Он горел и кипел благородным негодованием, этот доблестный донской офицер, и его волнением заражались и чины комитета, сотник Карташев, не подавший руки Керенскому, фельдшер Ярцев и тот маленький казачок, что привязался к Троцкому, все они были при шашках, в шинелях, возбужденные быстрой ездой на автомобиле и морозным воздухом, шумные, смелые, давящие большевиков своей инициативой.

Дыбенко был на их стороне. Сам такой же шумный, он, казалось, не прочь был пристать к этой казачьей вольнице, которой на самого Ленина начихать.

Через полчаса меня попросили в другую комнату. Я пошел с Поповым и Чеботаревым. У дверей стояло два мальчика, лет по 12, одетых в матросскую форму, с винтовками.

— Что, видно, у большевиков солдат не стало, что они детей в матросы записали,— сказал Попов одному из них.

— Мы не дети,— басом ответил матрос и улыбнулся жалкой, бледной улыбкой.

В комнате классной дамы посредине стоял небольшой столик и стул. Я сел за этот стол. Приходили матросы, заглядывали на нас и уходили снова. По коридору, так же как и днем, непрерывно сновали люди.

Наконец, пришел небольшой человек в помятом кителе с прапорщичьими погонами, фигура невзрачная, лицо темное, прокуренное. Мне он почему-то напоминал учителя истории захолустной гимназии. Я сидел, он остановился против меня. В дверях толпилось человек пять солдат в шинелях.

Это и был прапорщик Крыленко.

— Ваше превосходительство,— сказал он,— у нас несогласия с вашим комитетом. Мы договорились отпустить казаков на Дон с оружием, но пушки мы должны отобрать. Они нам нужны на фронте, и я прошу вас приказать артиллеристам сдать эти пушки.

— Это невозможно,— сказал я.— Артиллеристы никогда своих пушек не отдадут.

— Но, судите сами, здесь комитет V армии требует эти пушки,— сказал Крыленко.— Каково наше положение? Мы должны исполнить требование комитета V армии. Товарищи, пожалуйте сюда.

Солдаты, стоявшие у дверей, вошли в комнату, и с ними ворвался комитет 1-й Донской дивизии.

Начался жестокий спор, временами доходивший до ругательств, между казаками и солдатами.

— Живыми пушки не отдадим! — кричали казаки.— Бесчестья не потерпим. Как мы без пушек домой явимся! Да нас отцы не примут, жены смеяться будут!

В конце концов убедили, что пушки останутся за казаками. Комитеты, ругаясь, ушли. Мы остались опять с Крыленко.

— Скажите, ваше превосходительство,— обратился ко мне Крыленко,— вы не имеете сведений о Каледине? Правда, он под Москвой?

«А... вот оно что! — подумал я.— Вы еще не сильны. Мы еще не побеждены. Поборемся».

— Не знаю,— сказал я с многозначительным видом.— Каледин мой большой друг... Но я не думаю, чтобы у него были причины спешить сюда. Особенно если вы не тронете и хорошо обойдетесь с казаками.

Я знал, что на Дону Каледин едва держался, и по личному опыту знал, что поднять казаков невозможно.

— Имейте в виду, прапорщик,— сказал я,— что вы обещали меня отпустить через час, а держите целые сутки. Это может возмутить казаков.

— Отпустить мы вас не можем,— как бы про себя, сказал Крыленко,— но и держать вас здесь негде. У вас нет кого-либо, у кого вы могли бы поселиться, пока выяснится ваше дело?

— У меня здесь есть квартира на Офицерской улице,— сказал я.

— Хорошо. Мы вас отправим на вашу квартиру, но раньше я поговорю с вашим начальником штаба.

Крыленко ушел с Поповым. Я отправил Чеботарева с автомобилем в Гатчину для того, чтобы моя жена переехала в Петроград. Вскоре вернулся Попов. Он широко улыбался.

— Вы знаете, зачем меня звали? — сказал он.

— Ну? — спросил я.

— Троцкий спрашивал меня, как отнеслись бы вы, если бы правительство, то есть большевики, конечно, предложило вам какой-либо высокий пост?

— Ну, и что же вы ответили?

— Я сказал: «Пойдите предлагать сами, генерал вам в морду даст».

Я горячо пожал руку Попову. Милейшая личность был этот Попов. В самые тяжелые, критические минуты он не только не терял присутствия духа, но и не расставался со своим природным юмором. Он весь день нашего заключения в Смольном то издевался над Дыбенко, то изводил Тарасова-Родионова, то критиковал и смеялся над порядками Смольного института. Он и тут остался верен себе. О том, что мы играли нашими головами, мы не думали, мы давно считали, что дело наше кончено и что выйти отсюда, несмотря на все обещания, вряд ли удастся.

— Вы знаете, ваше превосходительство,— сказал мне Попов серьезно,— мне кажется, что дело еще не вполне проиграно. По всему тому, что мне говорил и о чем спрашивал Троцкий, они вас боятся. Они не уверены в победе. Эх! Если бы казаки вели себя иначе...

Нас перевели в прежнее помещение, и о том, чтобы отправлять на квартиру, не было ни слова. Наступила ночь. Заключенные понемногу затихали, устраиваясь спать в самых неудобных позах, кто сидя, кто лежа на полу, кто на стульях, не раздеваясь, как спят на станции железной дороги в ожидании поезда; да каждый из них и ждал чего-то. Ведь они были приведены сюда только для допроса.

Наконец, в 11 часов вечера к нам пришел Тарасов-Родионов.

— Пойдемте, господа,— сказал он.

Часовые хотели было нас задержать, но Тарасов сказал им что-то, и они пропустили...

Нас вывели матросы гвардейского экипажа. Долго мы бродили по грязному двору, заставленному автомобилями, слышали выкрики между шоферами, как в старину, только звучали имена другие.

— Товарища Ленина машину подавайте! — кричал кто-то из сырого сумрака.

— Сейчас,— отзывался сиплый голос.

— Товарища Троцкого!

— Есть...

В эту грозную эпоху со стоическим хладнокровием несли службу и оставались на своих постах железнодорожники и шоферы... Сегодня эшелоны Корнилова, завтра Керенского, потом товарища Крыленко, потом еще чьи-нибудь. Сегодня машина собственного его величества гаража, завтра товарища Керенского, потом Ленина. Лица сменялись с быстротой молнии ⟨...⟩.

Б. В. Савинков

Борьба с большевиками

В Петрограде

25* октября 1917 года рано утром меня разбудил сильный звонок. Мой друг, юнкер Павловского училища, Флегонт Клепиков, открыл дверь и впустил незнакомого мне офицера. Офицер был сильно взволнован.

— В городе восстание. Большевики выступили. Я пришел к Вам от имени офицеров Штаба округа за советом.

— Чем могу служить?

— Мы решили не защищать Временного правительства.

— Почему?

— Потому, что мы не желаем защищать Керенского.

Я не успел ответить ему, как опять раздался звонок и в комнату вошел знакомый мне полковник Н.

— Я пришел к Вам от имени многих офицеров Петроградского гарнизона.

— В чем дело?

— Большевики выступили, но мы, офицеры, сражаться против большевиков не будем.

— Почему?

— Потому что мы не желаем защищать Керенского.

Я посмотрел сначала на одного офицера, потом на другого. Не шутят ли они? Понимают ли, что говорят? Но я вспомнил, что произошло накануне ночью в Совете казачьих войск, членом которого я состоял. Представители всех трех казачьих полков, стоявших в Петрограде (1, 4 и 14), заявили, что они не будут сражаться против большевиков. Свой отказ они объяснили тем, что уже однажды, в июле, подавили большевистское восстание, но что министр-председатель и верховный главнокомандующий Керенский «умеет только проливать казачью кровь, а бороться с большевиками не умеет» и что поэтому они Керенского защищать не желают.

— Но, господа, если никто не будет сражаться, то власть перейдет к большевикам.

— Конечно.

Я попытался доказать обоим офицерам, что каково бы ни было Временное правительство, оно все-таки неизмеримо лучше, чем правительство Ленина, Троцкого и Крыленки. Я указывал им, что победа большевиков означает проигранную войну и позор России. Но на все мои убеждения они отвечали одно:

— Керенского защищать мы не будем.

Я вышел из дому и направился в Мариинский дворец, во временный Совет респуб-

---

* Даты указаны по старому стилю.

лнки (Предпарламент). Я хотел посоветоваться с покойным ныне генералом Алексеевым. По дороге я узнал, что Предпарламент разогнан матросами, что многие его члены арестованы и что Керенский поспешно уехал из Петрограда.

Выстрелов нигде не было слышно, улицы были спокойны, и я с удивлением заметил, что на Невском, по обыкновенню, много юнкеров военных училищ. Я сделал заключение, что юнкерам не было отдано приказание оставаться в казармах и что, значит, их нельзя будет быстро собрать, в случае нападения большевиков на Зимний дворец.

Я вспомнил речь Керенского, произнесенную им накануне. Он утверждал, что Временное правительство приняло все необходимые меры для подавления готовящегося восстания.

На Миллионной я впервые встретил большевиков — солдат гвардии Павловского полка. Их было немного, человек полтораста. Они поодиночке, неуверенно и озираясь кругом, направлялись к площади Зимнего дворца.

Достаточно было одного пулемета, чтобы остановить их движение.

Генерала Алексеева я разыскал только к ночи. Штаб округа был уже занят, и Зимний дворец уже осажден. Его защищали добровольцы женского батальона и немногие юнкера.

С генералом Алексеевым мы решили сделать попытку освободить Зимний дворец, с которым можно было еще сноситься по телефону.

Был 1-й час ночи. Я пошел в Совет союза казачьих войск, и мне удалось убедить представителей казачьих полков и военных училищ собрать хотя бы небольшую вооруженную силу, чтобы попытаться дать бой осаждавшим Зимний дворец большевикам.

В половине второго генерал Алексеев принял депутацию юнкеров и, переговорив с ней, наметил план предстоявших военных действий.

Этим военным действиям не суждено было осуществиться. В два часа ночи, раньше чем казаки и юнкера успели собраться, Зимний дворец был взят большевистскими войсками. Члены Временного правительства были арестованы. Защищавшие их женщины и юнкера были убиты. На другой день, 26, я получил известие, что генерал Краснов идет на Петроград во главе казачьих полков, двинутых с фронта.

Я решил пробраться к генералу Краснову.

Я переоделся рабочим. Флегонт Клепиков тоже. В таком виде мы по железной дороге проехали в Павловск. От казаков сводногвардейской сотни мы узнали, что войска генерала Краснова находятся под Царским Селом и что Керенский в Гатчине. Чтобы присоединиться к генералу Краснову, надо было пройти через линию большевистских войск.

В Царском Селе мы наткнулись на заставу большевиков — броневой автомобиль и роту четвертого гвардии стрелкового полка. В одно мгновение мы были окружены.

— Кто едет?

Не успели мы еще решить, что нам делать, как Флегонт Клепиков уже выскочил из автомобиля, и я услышал, как он кричал на большевистского офицера, молодого человека в расстегнутой шинели и без погон.

— Вы с ума сошли! Кто вы такой? Как вы смеете останавливать нас? Разве вы не видите, кто мы и куда мы идем? Я буду жаловаться самому Троцкому! Мы — Совет союза казачьих войск и едем к генералу Краснову, чтобы убедить казаков не стрелять в своих братьев-большевиков!

— Вы едете, чтобы прекратить братоубийственную войну? — переспросил Флегонта Клепикова большевистский офицер.

— Конечно. И вы обязаны пропустить нас!

— Не сердитесь, товарищ. Вы свободны. С вами поедут два наших полковых делегата. Они вам помогут.

Я не верил своим ушам. Но уже два «товарища», два стрелка с винтовками, влезли в автомобиль. Через 5 минут мы были у генерала Краснова.

Когда автомобиль остановился, я взглянул на сопровождавших нас делегатов. Они поняли свое несчастное положение и были бледны как полотно. Я не захотел воспользоваться их ошибкой.

— Ну, «товарищи», налево кругом и бегом марш назад, к вашим большевикам!

Они не заставили повторять приказание. Бросив винтовки, они, как зайцы, побежали обратно. Я прошел в штаб генерала Краснова.

В Царском Селе

В Петрограде говорили, что у генерала Краснова 10 000 казаков. В действительности их было 600. Но эти 600 человек были доблестные казаки.

Утром 28 октября я был с Флегонтом Клепиковым в Гатчинской обсерватории у Керенского.

Я сказал ему, что приехал из Петрограда, чтобы принять участие в борьбе с большевиками. Керенский выслушал меня и не дал мне никакого назначения — я считался уже тогда «контрреволюционером».

Я вернулся к генералу Краснову и спросил его, почему верховный главнокомандующий находится в такую ответственную минуту не при отряде, а в Гатчине, т. е. в далеком тылу. Генерал Краснов мне ответил:

— Я просил Керенского уехать. Я боюсь, что речи могут испортить дело.

Последующее показало, что опасения генерала Краснова не были лишены основания.

Около 4 часов дня генерал Краснов подошел к Царскому Селу. На шоссе, у самого въезда, собралось большое количество большевиков — стрелков Царскосельского гарнизона. Было видно, как они махали руками, и было слышно, что они что-то кричат.

Это не были знакомые мне когда-то дисциплинированные полки. Это была вооруженная, нестройная и беспорядочная толпа. Генерал Краснов приказал поставить на шоссе два орудия и послал броневой автомобиль с ультиматумом.

— Положить оружие в течение пяти минут.

Но не успели еще большевики исполнить приказание генерала Краснова, как сзади, со стороны Гатчины, показался автомобиль. Не останавливаясь и не обращая внимания на стоящие на шоссе орудия, он въехал прямо в толпу шумевших большевиков. Через минуту Керенский говорил речь.

Большевики кричали «ура», казаки покидали посты и смешивались с большевиками, и вскоре невозможно было понять, кто друг и кто враг.

После Керенского говорил его адъютант. Потом автомобиль повернул и умчался обратно в Гатчину. Человек сорок большевиков положили оружие. Остальные отошли на несколько десятков сажен и снова запрудили шоссе. Ультиматум генерала Краснова исполнен не был.

Только поздно вечером, после обстрела, генерал Краснов овладел Царским Селом. Вечером же казаки привели трех матросов-большевиков, пойманных с оружием в руках на станции железной дороги. Генерал Краснов приказал всех троих расстрелять, но они расстреляны не были. Помощник петроградского главнокомандующего капитан Кузьмин воспротивился этому. Вообще я должен сказать, что не только у капитана Кузьмина, но и у многих приезжих из Петрограда — у комиссаров Временного пра-

вительства Войтинского и Семенова, у члена Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов Фейта — наблюдалось стремление бороться с большевиками, по возможности их щадя, как «товарищей». Казаки возмущались этим. Возмущался и Флегонт Клепиков. Громко, в присутствии петроградских должностных лиц, он доказывал, что победить большевиков можно только при решимости пролить кровь с обеих сторон. За эту «преступную пропаганду» ему при мне был сделан выговор Войтинским и Фейтом.

День 29 октября прошел спокойно. Генерал Краснов ожидал подкреплений, которые ему должны были быть присланы с фронта. Подкрепления эти не подошли. Царское Село было занято казаками, Павловск тоже, но ни в Царском Селе, ни в Павловске не было возможности организовать, за малочисленностью казачьих частей, правильную полицейскую службу. На всех углах раздавались большевистские речи, и на всех площадях происходили митинги солдат и казаков. Я обратил внимание генерала Краснова на опасность такой пропаганды. Он с сожалением пожал плечами:

— Вы правы. Но что же мне делать? Единственное средство — арестовать агитаторов. Но Керенский не согласится на это.

— Разве необходимо согласие Керенского?

— Он верховный главнокомандующий.

На это нечего было возразить.

Я ночевал эту ночь у покойного ныне Плеханова. Я рассказал ему о положении генерала Краснова. Он выслушал меня и спросил:

— Что же, если казаки победят, Керенский на белом коне войдет в Петроград?

Я промолчал. И тогда Плеханов сказал:

— Бедная Россия!

Пулковский бой

Утром 30 октября генерал Краснов приказал своим 600 казакам перейти в наступление. Штаб его был перенесен из Царского Села в деревню Александровку.

Под Пулковом Троцкий собрал большие силы. Я не знаю, сколько в точности было большевиков, но во всяком случае их число во много раз превосходило число сражавшихся казаков. Артиллерии у Троцкого было немного, но огонь его орудий был меток, и Александровка обстреливалась без перерыва шрапнелью и трехдюймовыми снарядами. Очень скоро наступление генерала Краснова остановилось, и большевики начали свои контратаки. Эти контратаки производились цепями матросов, стремившихся обойти Александровку слева и справа. Единственная сотня, находившаяся в резерве, передвигалась постоянно с левого на правый, и наоборот, фланг и сражалась везде, где большевики начинали теснить казаков. Наши орудия стреляли, не умолкая. Это не было, конечно, большое сражение, но оно было кровопролитным и чрезвычайно упорным. Я не могу не отметить, что еще до начала его Керенский из Гатчины телеграфировал в Петроград, что на следующий день он с казаками войдет в столицу. Не знаю, многие ли разделяли эту его уверенность.

Около трех часов дня генерал Краснов попросил меня съездить в Гатчину, к Керенскому, просить подкреплений. Керенский мне сказал, что части 33-й и 3-й Финляндских стрелковых дивизий двигаются с фронта на помощь генералу Краснову. С этим известием я и вернулся к вечеру в штаб, но в Александровке застал совсем другую картину, чем утром. Артиллерийский огонь большевиков стал гораздо сильнее. Стреляли уже шестидюймовые гаубицы. Царскосельский парк обстреливался частым огнем. Чтобы попасть в Александровку, надо было проехать через огонь заграждения. Поте-

ри казаков были очень значительны. В самой Александровке свистели ружейные пули. Где-то очень близко стучал неприятельский пулемет. Но генерал Краснов не отступил еще ни на шаг, и я нашел его в той же избе, в которой оставил. И только когда стемнело и выстрелы стали реже, он написал на клочке бумаги несколько слов и передал мне.

Я прочел: «У нас нет больше ни снарядов, ни ружейных патронов. Что делать?»

Я ответил карандашом: «Отступать к Гатчине и ждать обещанных подкреплений».

Генерал Краснов мне сказал:

— Я тоже думаю так.

Потом он отдал приказ отступать. Казаки в полном порядке, со всей артиллерией и обозами, сотня за сотней стали вытягиваться по Гатчинскому шоссе.

В Гатчине нас ожидал Керенский.

Роль Керенского

На другой день, 31-го, Керенский собрал военный совет. На этом совете, кроме него, присутствовали: генерал Краснов, начальник штаба полковник Попов, председатель дивизионного казачьего комитета есаул Ажогин, помощник петроградского главнокомандующего капитан Кузьмин, комиссар Временного правительства Станкевич и я.

Керенский поставил вопрос, можно ли еще защищаться или надлежит вступить в переговоры с большевиками?

Голоса разделились. Генерал Краснов, полковник Попов и есаул Ажогин находили, что следует Гатчину защищать. Они указывали на то, что за ночь в Гатчину подвезли снаряды и ружейные патроны, что в Гатчине находится до 800 человек юнкеров и что части 33-й и 3-й Финляндских стрелковых дивизий не должны находиться очень далеко, если они действительно двигаются с фронта. Капитан Кузьмин и комиссар Станкевич были другого мнения. Они говорили, что гатчинские юнкера не согласны идти в бой, а согласны только нести караульную службу и что еще до прихода подкреплений Гатчина будет окружена. По их мнению, не оставалось иного выхода, как сговориться с большевиками. Когда очередь дошла до меня, я сказал, что что бы ни было, но мы обязаны защищать Гатчину до конца. Комиссар Станкевич спорил со мной. Он указывал, что высшие государственные интересы требуют мира с большевиками и что я, не неся ответственности, не отдаю себе отчета в сложности положения. Керенский согласился с ним. Он сослался на полученную им телеграмму от «Викжеля» — Союза железнодорожников, в которой этот Союз требовал прекращения «братоубийственной войны» и в противном случае угрожал забастовкой. Тут же Керенский приказал капитану Кузьмину вступить в переговоры с большевиками и послал комиссара Станкевича в Петроград для личного свидания с Троцким.

В Гатчинском дворце царили растерянность и беспорядок. Верховный главнокомандующий не отдавал приказаний или, отдавая, отменял их и потом отдавал снова. Никто не знал, что ему делать. Начиналась паника, и чувствовалось, что дело проиграно.

Я не мог примириться с этим позором. После окончания военного совета я остался с Керенским с глазу на глаз. Я сказал ему, что, вступая в переговоры с большевиками, он принимает на себя ответственность неизмеримую. Я просил его подождать хоть несколько часов, пока придут подкрепления, и предложил ему съездить на автомобиле за ними и, кроме того, проехать в расположение польского корпуса генерала Довбор-Мусницкого и приказать ему от имени Керенского двинуть свой корпус на Гатчину. Керенский мне ответил:

— Подкрепления не подойдут. Мы окружены. Вы никуда не пройдете. Большевики вас убьют по дороге.

Я настаивал, и Керенский, наконец, согласился. Мне было выдано удостоверение на проезд в польский корпус и тут же был изготовлен приказ на имя генерала Довбор-Мусницкого.

Вечером я прошел попрощаться с Керенским и напомнить ему его обещание подождать от меня известий и воздержаться пока от переговоров с большевиками. Керенский лежал на диване в одной из комнат Гатчинского дворца. В камине горел огонь. У камина, опустив головы, молча, в креслах сидели его адъютанты поручик Виннер и капитан второго ранга Кованько.

Керенский не встал, когда я вошел. Он продолжал лежать и, увидев меня, сказал:

— Не ездите.

— Почему?

— Вы никуда не доедете. Мы окружены.

— Я в этом не уверен.

— Я имею сведения.

— Я все-таки поеду.

— Не нужно. Останьтесь здесь. Всё пропало.

Тогда я сказал:

— А Россия?

Он закрыл глаза и почти прошептал:

— Россия? Если России суждено погибнуть, она погибнет... Россия погибнет... Россия погибнет...

Через час я уже ехал по шоссе, по направлению к Луге, где, по моим расчетам, могли быть части 33-й и 3-й Финляндских стрелковых дивизий. Со мной ехали Флегонт Клепиков и комиссар 8-й армии Вендзягольский.

Роль генерала Черемисова

Автомобиль, на котором я уехал из Гатчины, принадлежал моему другу, комиссару 8-й армии Вендзягольскому. Вендзягольский и Флегонт Клепиков поехали со мной.

Была поздняя осень. К вечеру ударил мороз, и дороги заледенели. Под Лугой, в лесу, выпал снег. Я помню, что, когда ночью мы остановились, чтобы переменить шину, в темноте, там, куда не хватал свет наших двух фонарей, между запорошенными елями, мелькнуло две красных точки — два глаза. Минуту эти два глаза пристально смотрели на нас и потом скрылись без шума. Я спросил Вендзягольского:

— Волк?

— Нет, лось.

Кроме этого лося, мы до Луги не встретили никого. Гатчина не была окружена со стороны Варшавской дороги. Большевики не угрожали генералу Краснову с тыла, и опасения Керенского, что нас возьмут в плен или что мы будем убиты, не оправдались. У меня явилась надежда, что я успею еще привести войска.

В Пскове не было обещанных Керенскому частей 33-й и 3-й Финляндских стрелковых дивизий. Поэтому я решил доехать до Невеля, где стоял штаб 17-го корпуса, командира которого, генерала Шиллинга, я знал за человека решительного. Я рассчитывал, что он сумеет двинуть части своих войск на помощь генералу Краснову.

В Невеле все было спокойно. Генерал Шиллинг мне сообщил, что его корпус почти не тронут большевистской пропагандой, и обещал послать отряд в Гатчину, как только получит приказание от главнокомандующего Северным фронтом генерала Черемисова.

С этим его обещанием я уехал во Псков, к генералу Черемисову. В Пскове тоже все еще было спокойно. Но начальник штаба Северного фронта генерал Лукирский и генерал-

квартирмейстер генерал Барановский сказали мне, что генерал Черемисов, по-видимому, сознательно, несмотря на приказания покойного ныне генерала Духонина, задерживает отправку войск в Гатчину. Генерал Лукирский прибавил:

— Если вы явитесь к нему, я не уверен даже, что он вас не арестует.

К генералу Черемисову я не явился.

Я послал офицера к генералу Духонину в Могилев с донесением о том, что происходит во Пскове, и, узнав в штабе, что части 33-й и 3-й Финляндских стрелковых дивизий, двигавшиеся с Юго-Западного фронта, должны уже находиться около Луги, выехал в Лугу.

Мы не спали три ночи. Было холодно. Автомобиль медленно шел по снегу, и снег медленно падал на автомобиль. В деревнях нас останавливали крестьяне и расспрашивали, что произошло в Петрограде и правда ли, что Керенский арестован. Они возмущались большевиками и говорили, что большевики «забыли Бога».

Я не знал еще, что мои страдания напрасны, что на другой день после моего отъезда из Гатчины матросы ворвались во дворец, что Керенский спасся бегством и что казаки генерала Краснова сдались большевикам. Но я почувствовал, что большевики победили, когда приехал в Лугу.

На улицах толпились солдаты. На всех углах говорились речи. Милиции не было. В городе царил беспорядок. Я послал Флегонта Клепикова посмотреть, что делается на вокзале. Вернувшись, он доложил мне, что эшелоны 33-й и 3-й Финляндских стрелковых дивизий стоят на запасных путях, но что много также большевистских солдат и что распоряжается ими матрос Дыбенко, впоследствии большевистский морской министр.

Через час я увиделся с офицерами 33-й и 3-й Финляндских дивизий.

— Давно вы в Луге?

— Два дня.

— Почему вы не двигаетесь на Гатчину?

— У нас нет определенного приказания.

— Но вы ведь получили приказание от генерала Духонина.

— Так точно.

— Так в чем же дело?

— Генерал Черемисов за эти два дня отдал пять противоречивых приказаний. То он приказывал погрузиться, то стоять в Луге, то опять грузиться, то возвращаться на Юго-Западный фронт. Люди истомились и перестали что-либо понимать. Большевики, разумеется, ведут пропаганду. Сбивают их с толку. Кроме того, говорят, Гатчина уже пала.

Председатель дивизионного комитета поручик Густав, докладывавший мне это, остановился и ждал приказаний. Я спросил:

— Но вы желаете сражаться с большевиками?

— Так точно.

— Так грузитесь в вагоны.

— Наш штаб не согласен.

— Почему?

— Начальник штаба говорил, что необходимо приказание генерала Черемисова.

— Попросите сюда начальника штаба.

Начальник штаба мне повторил то, что я услышал от поручика Густава. Генерал Черемисов не только не содействовал, но препятствовал продвижению частей на помощь генералу Краснову.

И когда вечером пришло от него приказание частям 33-й и 3-й Финляндских стрелковых дивизий погрузиться обратно на Юго-Западный фронт, то люди погрузились

беспрекословно, н те еще верные войска, которые предназначались для спасения Петрограда от большевнков, были двинуты не на Петроград, а по направлению к Пскову.

Какими соображениями руководился генерал Черемисов, мие неизвестно. Быть может. он тоже ие хотел защищать Керенского. Быть может, он сочувствовал большевикам. Как бы то ни было, его приказаиия сыграли в то время решающую роль. Уже ие оставалось надежды, что можно двинуть какие бы то ии было верные части на Петроград. Для этого надо было бы арестовать генерала Черемисова. Но кругом него былн большевикн.

Я вернулся во Псков. Во Пскове уже все изменилось. Уже ясно было, что большевнкн взялн повсюду верх. Те же митиигн, что н в Луге, те же речи, тот же уличный хаос. Я решил возвратиться в Петроград, чтобы посоветоваться с друзьями. Я переоделся в форму пехотного капнтана и в таком внде пришел на вокзал.

Через день я был в Петрограде.

В пути на Дон

В Петрограде только что закончнлось иеудачное восстаиие юнкеров. Город был в страхе. Ночью на освещеиных улицах то и дело слышалась ружейная перестрелка. Но это не были вооруженые столкновения. Это были шальиые выстрелы красногвардейцев, стрелявших только потому, что у иих были внитовки. Сопротнвление патриотов в Петрограде было раздавлено. Город жил надеждой на Дон. Говорнли, что на Дону генерал Каледин, атаман донских казаков, собирает армню для похода на Петроград.

Генерал Каледнн, как н генерал Коринлов, счнтался при Керенском контрреволюционером. Я, одиако, не полагал, что любовь к роднне, желаиие возродить русскую армню и иедоверие к «Советам» являются доказательством реакционной политики. Я решил ехать иа Дон к генералу Каледнну.

В середине ноября я с моим другом Веидзягольским выехал через Москву и Киев в Новочеркасск. Флегонт Клепиков поехал отдельно от иас, но тоже в Новочеркасск. В Москве я увидел сожженные здання, зияющне отверстия в стенах и ямы от разорвавшихся снарядов на мостовых. Москва иесколько дней сопротивлялась большевикам. но и здесь патрноты были побеждены. Большевикн им мстнлн жестоко, особенно офнцерам. При мие на Курском вокзале, прн громком смехе большевистских солдат. подпоручик, мальчик лет 20, был брошен под поезд за то, что не желал сиять погоны.

От Москвы до Кнева мы ехали больше пяти дней. В двухместном купе 1-го класса нас было 10 человек, нз которых 6 бежавших с фронта большевистских солдат. Эти «товарищи» все время произносили угрозы по адресу «грязиых буржуев» и несколько раз принималнсь расспрашнвать нас, кто мы такие. Мы отвечали по-польски, делая внд, что не поннмаем русского языка. У иас были фальшивые польские паспорта и на фуражках былн белые орлы независнмой Польши.

За Киевом, на границе области Войска Донского, в вагон ввалнлись матросы.

— У кого есть оружие?

У кого находили оружие, того расстреливали на месте. Разумеется, мы были вооружены н, разумеется, мы не ответили ннчего. Чериоморский матрос выждал минуту и потом обратился иепосредственно к нам:

— Есть оружие?

Мы молча опустили руки в карманы. Я подумал, что на этот раз нам не уйти от расстрела. В купе воцарнлось молчанне. Мне кажется, что и матросы и солдаты-большевики понялн, что мы будем сопротивляться. Тогда однн солдат сказал:

— Это поляки.

— Поляки?.. Товарнщн, лучше нам отдайте оружие, ведь все равно казаки отберут.

Это «все равно» было прекрасно. Я хотел сказать, что казакам я с удовольствием отдам свой револьвер, но Вендзягольский объяснился за нас обоих:

— Мы поляки. Едем на Дон по делам польских беженцев.

И он показал фальшивые удостоверения.

Когда мы приехали в Ростов, под Нахичеванью шел бой. Генерал Каледин наступал от Аксайской станицы. Мы оказались в городе, почти осажденном. На пустых улицах можно было видеть большевистских солдат, поодиночке, неохотно направлявшихся на позиции, и носилки с ранеными большевиками. Слышались раскаты орудий, но разрывов не было видно. В гостинице, где мы остановились, было много переодетых в штатское офицеров. Они ожидали, чем окончится бой. Я сказал одному из них:

— Если большевики победят, вас всех расстреляют. Почему вы не уходите к генералу Каледину?

— Как выйти из города?

Действительно, как выйти из города? Чтобы уйти к казакам, надо было пробраться через большевистские войска. Это тоже грозило расстрелом. По-моему, выбора не было. Я посоветовался с Вендзягольским, и мы решили попробовать счастья.

Мы наняли лошадей в Таганрог. И только когда мы выехали на большую дорогу, мы приказали извозчику ехать не в Таганрог, а по противоположному направлению, к Аксайской станице.

— Но, барин, нас поймают большевики.

— Бог милостив. Поезжай.

В открытом поле не было ни души. Начиналась метель. Снег сплошной стеной вился перед нами. Направо, все ближе и ближе, грохотали орудия. Вдруг из-за снежной стены, совсем близко от нас, раздался чей-то повелительный окрик:

— Стой!

Извозчик остановился.

— Кто такие?

— Свои.

Я ответил «свои», но я не знал, с кем мы имеем дело — с казачьим караулом или с большевиками. Кто-то, в башлыке и с винтовкой в руках, подошел к нам и потребовал паспорта. Мы подали наши польские документы.

— Ладно. Поезжай дальше.

Опять метель. Опять занесенная снегом большая дорога. Опять гром орудий. Но извозчик, уже улыбаясь, оборачивается ко мне:

— А ведь это наш, донской, калединец.

— Казак?

— Так точно, казак.

Значит, мы уже не на большевистской, а на русской земле. В снежном тумане прямо навстречу нам вырастает конный разъезд.

— Кто такие?

— К генералу Каледину.

— Откуда?

— Из Петрограда.

— С Богом.

Но в Аксайской станице нас встретили с недоверием. В одну минуту наш извозчик был окружен толпой казачек и казаков, и я в третий раз услышал вопрос:

— Кто такие?

— К генералу Каледину.

— Зачем?

— Из Петрограда.

— Из Петрограда?.. А не из Ростова ли вы?

— Ну да, мы ехали через Ростов.

— Как же вас большевики пропустили?.. Нет, тут что-то не так... Не шпионы ли вы?

И сейчас же со всех сторои раздались голоса:

— Держи их. Это шпионы!

— Шпионы... Большевики...

— Большевистские офицеры...

— В стаиичное управление!

— Чего там? Если большевики — расстрелять!

Нас под коивоем отвели в станичное управление. Веидзягольский вынул иаши польские паспорта, но я подошел к станичному атаману и сказал ему правду:

— Я — такой-то. Это мой товарищ, комиссар 8-й армии Вендзягольский. Документы у иас фальшивые. Доказать мы ничего не можем. Но мы едем к генералу Каледину. Если вы не верите иам, арестуйте иас и отправьте в Новочеркасск.

Стаиичный атамаи, полковиик Васильев, встал и протянул мне руку.

— Я вас знаю. Вы — член «Совета союза казачьих войск». Никаких удостоверений ие нужио.

И вошедшие с нами в станичиое управлеиие казаки стали подходить к нам и поздравлять с благополучиым приездом.

На следующий день мы были в Новочеркасске.

«Доиской гражданский совет»

В Новочеркасске, кроме ныие покойного атамана донских казаков геиерала Каледина, я застал еще генералов Алексеева и Корнилова. Геиерал Алексеев стоял во главе «Донского гражданского совета», имевшего политическое руководительство над создавшейся на Доиу Добровольческой армией. Комаидовал ею геиерал Корнилов.

Добровольческая армия создавалась с величайшим трудом. Не было денег. Не было оружия, шииелей и сапог. Каждый доброволец, для того чтобы попасть на Дон, должен был пройти через лиииию большевистских войск. Наконец, иа Доиу не все было спокойно. Если иекоторые казачьи полки сражались с большевиками, то другие, в особенности те, которые возвращались с фроита, приносили с собой дух большевистского мятежа, и были случаи, когда казаки убивали своих офицеров. Казачьи полки иа фронте очень долго ие поддавались большевистской пропагаиде. Более того, очень долго они усмиряли волнеиия в пехоте. Но когда фронт дрогнул, когда геиерал Корнилов был арестован, когда Кереиский бежал сиачала из Петрограда и потом из Гатчины, когда генерал Духонии был убит, когда Леиии объявил, что мир должеи быть заключен «снизу», т. е. самой а   иией, фроитовые казаки не выдержали и перешли на сторону большевиков. Если прибавить к этому, что русское, не казачье, население Дона, в частиости рабочие Донецкого бассейна, было сильио заражеио большевистскою пропагандою, то станет ясио, в каких поистиие исключительио тяжелых условиях приходилось генералам Алексееву и Корнилову создавать надежду России — Добровольческую армию. И несмотря на все затрудиеиия, цеиою бесчисленных жертв, армия эта все-таки создалась. Большевики не смогли уничтожить ее. Оиа сражается с иими до сих пор и имеино благодаря ей мы, русские, имеем право сказать, что иикогда и ни при каких обстоятельствах мы не положили оружия перед гермаио-большевиками. Благодаря ей была спасеиа честь РОССИИ.

«Доиской гражданский совет» в то время (декабрь 1917 года) состоял исключительно из так называемых «буржуазиых» элементов. В него входили, кроме геиералов Каледина,

Алексеева и Корнилова, расстрелянный впоследствии большевиками помощник атамана донских казаков Богаевский, бывший министр торговли и промышленности Федоров и «кадеты» Парамонов, Степанов, Струве и другие. В программе своей, однако, «Донской гражданский совет» утверждал принцип народного суверенитета, т. е. Учредительного собрания. Само собой разумеется, что он оставался верен союзникам и не признавал Брест-Литовского мира.

Отмежевание от демократии составляло политическую ошибку. Оно давало повод обвинять «Донской гражданский совет» в замаскированной реакционности. Даже «Совет союза казачьих войск», представлявший умеренную казачью демократию, был недоволен политикой генералов Алексеева, Каледина и Корнилова.

В беседах с ними я старался убедить их, что в «Донской гражданский совет» необходимо включить демократические элементы и что только таким путем можно привлечь на свою сторону казачью массу. После долгих переговоров генералы Алексеев, Каледин и Корнилов согласились со мной, причем наибольшее сочувствие я встретил в генерале Корнилове. В «Донской гражданский совет» в конце декабря вошли четыре социалиста и демократа: член Донского круга независимый социалист Агеев, председатель Крестьянского союза Мазуренко, комиссар 8-й армии Вендзягольский и я. Тогда же была напечатана декларация, снова заявлявшая о необходимости созыва Учредительного собрания и утверждавшая право народа на землю.

В Новочеркасске политические страсти были обострены. С одной стороны, подготавливалась большевистская революция, вспыхнувшая в начале марта. С другой — намечалось в некоторых офицерских кругах монархическое движение. Каждый вечер в городе раздавались выстрелы. Каждый день производились аресты. До какой степени политическая атмосфера была напряжена, показывают следующие примеры. Мой друг Вендзягольский однажды в 6 часов вечера возвращался домой по главной улице Новочеркасска. Неизвестный человек в штатском догнал его на извозчике, остановился и выстрелил в него три раза из револьвера. Я помню также, что в ночь под рождество генералы Алексеев и Корнилов, адъютанты и я вышли после заседания из дворца атамана. Когда мы поравнялись с городским садом, из-за решетки раздались выстрелы. Кто-то стрелял почти в упор, ибо пуль не было слышно, но были видны в нескольких шагах от нас, на высоте человеческого роста, голубоватые молнии выстрелов. И я помню еще случай, происшедший со мной.

Я жил с Флегонтом Клепиковым и Вендзягольским.

Однажды утром Флегонт Клепиков доложил мне, что меня желает видеть неизвестный офицер-артиллерист. Я попросил войти. Вошел молодой человек, очень бледный и весь увешенный оружием. Кроме обычных сабли и револьвера, на поясе его я заметил еще карабин Маузера и за поясом большой черкесский кинжал. Он не сел, несмотря на мое приглашение, а, очень взволнованный, подошел вплотную ко мне. Потом Флегонт Клепиков мне признался, что во время нашего разговора он стоял за полуоткрытою дверью, с револьвером наготове.

— Чему могу служить?

Офицер долго не мог произнести ни слова. Я повторил:

— В чем дело?

— Вас убьют.

— Это не так легко сделать.

Офицер отступил на шаг. Мне стало жалко его, я видел, что у него не хватает решимости.

— Но ведь вот я, например, я могу вас убить...

— Попробуйте.

— Я вооружен, а вы нет...

6—630

— Во-первых, я тоже вооружен. Во-вторых, если бы даже вам удалось меня убить, вы живым не выйдете из этой квартиры. В-третьих, что это все значит?

Офицер сел и, опустив глаза, избегая моего взгляда, сказал:

— Есть группа монархистов, которая решила вас убить. Я пришел вас предупредить...

— С целым арсеналом оружия?

Офицер пролепетал в полном смущении:

— Вы донесете полиции?

Мне снова стало жалко его:

— Нет, я не донесу. Уходите.

Он ушел. Через несколько дней я выехал в Петроград. «Донской гражданский совет» поручил мне войти в сношение с некоторыми известными демократическими деятелями, в том числе с Чайковским. Я должен был предложить им приехать на Дон и принять участие в заседаниях «Совета». Мне было выдано удостоверение за подписью генерала Алексеева. Я зашил его в полушубок, а в карман положил фальшивый паспорт: чтобы проехать в Петроград, надо было снова пройти через линию большевистских войск. Флегонт Клепиков поехал со мной. Когда мы уезжали, контрразведка предупредила меня, что мой отъезд известен большевикам и что, по полученным сведениям, меня большевики арестуют в Воронеже, где устроена ими засада.

Я доехал благополучно до Петрограда и, исполнив возложенное на меня «Донским гражданским советом» поручение, выехал в Москву, чтобы из Москвы вернуться на Дон. Но на Дону вспыхнула большевистская революция. Ростов и Новочеркасск были взяты большевиками, генералы же Алексеев и Корнилов увели небольшую Добровольческую армию в донские степи, откуда она с боем пробилась на Северный Кавказ. Я оказался отрезанным от «Донского гражданского совета» и даже не знал, существует ли он еще или члены его расстреляны при взятии Новочеркасска. Я решил остаться в Москве.

Союз защиты Родины и свободы

В начале марта 1918 года, кроме небольшой Добровольческой армии, в России не было никакой организованной силы, способной бороться против большевиков. Учредительное собрание было разогнано. Слабая попытка партии социалистов-революционеров защитить его окончилась неудачей. Чехословаки еще не выступали. В Петрограде и Москве царили уныние и голод. Казалось, что страна подчинилась большевикам, несмотря на унижение Брест-Литовского мира.

Однако кое-что делалось в городах. В Москве я разыскал тайную монархическую организацию, объединившую человек 800 офицеров, главным образом гвардейских и гренадерских полков. Она возглавлялась несколькими видными общественными деятелями и ставила себе целью подготовить вооруженное восстание в столице. Программа ее не совпадала с программой «Донского гражданского совета». Московская организация определенно отмежевывалась от демократии и мечтала о конституционной монархии в России. Кроме того, впоследствии некоторые из руководителей ее, ослепленные кажущимися успехами немцев во Франции, изменили союзникам и стали доказывать необходимость соглашения с немецким послом в Москве графом Мирбахом. К чести русского офицерства нужно сказать, что эти заигрывания с врагом привели к расколу организации, ибо среди зарегистрированных 800 офицеров едва ли нашлось 60 человек, которые согласились пойти по германофильской дороге.

Ознакомившись с программой и целями указанной выше организации, я решил положить начало тайному обществу для борьбы против большевиков по программе «Донского гражданского совета». Я снова напомню ее. Она заключала четыре пункта:

отечество, верность союзникам, Учредительное собрание, земля народу. Я нашел неоцененного помощника в лице полковника артиллерии Перхурова. Мы начали с ним с того, что отыскали в Москве и объединили всех офицеров и юнкеров, прибывших с Дона и отрезанных, как и я, от Добровольческой армии. Из этого первоначального немногочисленного ядра образовался впоследствии «Союз защиты Родины и свободы». В этот «Союз» мы принимали всех, кто подписывался под нашей программой и кто давал обещание с оружием в руках бороться против большевиков. Партийная принадлежность была для нас безразлична. Насколько в «Союз» объединились люди разных партий и направлений, видно из состава нашего штаба. «Союзом» заведовал я, независимый социалист; во главе вооруженных сил стоял генерал-лейтенант Рычков, конституционный монархист. Начальником штаба был полковник Перхуров, конституционный монархист; начальником оперативного отделения был полковник У., республиканец; начальником мобилизационного отдела — штаб-ротмистр М., социал-демократ группы Плеханова; начальником разведки и контрразведки полковник Бреде, ныне расстрелянный, республиканец; начальником отдела сношений с союзниками бывший унтер-офицер (brygadier) французской службы Дикгоф-Деренталь, социалист-революционер; начальником агитационного отдела бывший депутат Н. Н., социал-демократ, меньшевик; начальником террористического отдела Х., социалист-революционер; начальником иногороднего отдела ныне убитый военный доктор Григорьев, социалист-демократ группы Плеханова; начальником конспиративного отдела Н., социалист-демократ, меньшевик; начальником отдела снабжения штаба капитан Р., республиканец; секретарь Флегонт Клепиков, независимый социалист.

Мы имели право сказать, что у нас нет правых и левых и что мы осуществили «Священный союз» во имя любви к отечеству. Мы имели также право сказать, что не отклонились от программы «Донского гражданского совета».

В апреле, когда Добровольческой армией был взят Екатеринодар, я послал офицера к генералу Алексееву с донесением о том, что в Москве образовался «Союз защиты Родины и свободы», и с просьбою указаний. Генерал Алексеев ответил мне, что одобряет мою работу. Тогда же, в апреле, «Союз» впервые получил денежную поддержку. Она пришла от чехословаков, и была возможность приступить к организации на широких началах.

Мы формировали отдельные части всех родов оружия. В основу формирований был положен конспиративный принцип, с одной стороны, и принцип кадров — с другой. Нормальный кадр пехотного полка принимался нами в 86 человек (полковой командир, полковой адъютант, четыре батальонных, шестнадцать ротных и шестьдесят четыре взводных командиров). Полковой командир знал всех своих подчиненных, взводный знал только своего ротного командира. Все офицеры получали жалованье от штаба «Союза» и несли только две обязанности: хранить абсолютную тайну и по приказу явиться на сборный пункт для вооруженного выступления. Полки были действительной службы из кадровых офицеров и резервные из офицеров военного времени. Студенты и рабочие зачислялись в особые полки ополчения. К концу мая мы насчитывали в Москве и в 34 провинциальных городах России до 5500 человек, сформированных по этому образцу, пехоты, артиллерии, кавалерии и саперов. Одновременно с этим наша контрразведка обслуживала германское посольство, Совет Народных Комиссаров, Совет рабочих и солдатских депутатов, Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, большевистский штаб и другие подобные учреждения. Ежедневно мы имели сводку сведений о передвижениях немецких и большевистских войск и о мерах, принимаемых Троцким, Лениным и К-о. Кроме того, мы имели своих агентов на Украине, т. е. в местностях, занятых немецкими войсками.

В Петрограде члены «Союза» работали во флоте, чтобы привести корабли в негодность,

если немцы войдут в Петроград. В Киеве они организовывали партизанскую борьбу в тылу немцев. В Москве они подготовляли убийство Ленина и Троцкого и готовились к вооруженному выступлению. Разумеется, многие из нас жили по фальшивым, изготовленным нами самими, паспортам. Разумеется, встречаться приходилось на конспиративных квартирах. Разумеется, каждый неосторожный шаг мог повести к расстрелу. Вернулись времена Николая II. Но при Николае II революционеры должны были опасаться только полиции. При большевиках мы были окружены шпионами-добровольцами. У кого белые руки, тот не может скрыть, что он «буржуй». Каждый же «буржуй» подозрителен как таковой. Если прибавить к этому постоянные обыски, «уплотнение» квартиры, когда к вам поселяют «товарищей»-красноармейцев, полицейскую затруднительность передвижений, голод, хозяйничанье на улицах латышей и матросов и полное отсутствие каких бы то ни было гарантий неприкосновенности личности, то станет ясно, что те, кто записывался в «Союз», не на словах, а на деле доказывали свою любовь к родине и верность союзникам.

Когда «Союз» вырос настолько, что уже представлял собою значительную организованную силу, встал вопрос о подчинении его политическому центру. Военная сила не может иметь существенного значения без политического руководства. Коллективного же политического руководительства «Союзом» не было. Образовавшийся в Москве весной 1918 года «Левый центр» предложил мне поэтому вступить в него в качестве члена. Я посоветовался со штабом «Союза» и отказался. «Левый центр» был именно только левым. Он не осуществлял священного союза левых и правых для спасения отечества. Он состоял исключительно из социалистических и левых кадетских элементов, и гегемония в нем принадлежала партии социалистов-революционеров. «Левый центр» впоследствии положил начало «Союзу возрождения России», подготовил уфимскую конференцию, и некоторые из членов его образовали недолго просуществовавшую Директорию, которую сменило правительство адмирала Колчака.

Отказавшись войти в «Левый центр», я принял предложение, исходившее от другой политической организации, образовавшейся в Москве той же весной. Я говорю о «Национальном центре». «Национальный центр» пытался, как и «Союз защиты Родины и свободы», объединить и левых и правых. Его программа совпадала с программой «Донского гражданского совета». Из него вырос впоследствии «Национальный союз». Этому «Национальному центру» и подчинились вооруженные силы «Союза защиты Родины и свободы», и по постановлению его было приступлено к вооруженному выступлению. Это вооруженное выступление произошло не в Москве, ибо немцы угрожали занятием ее в случае свержения большевиков. Оно произошло в Рыбинске, Ярославле и Муроме. В нем не участвовали ни чехословаки, ни сербы, ни другие союзники и друзья. Оно было сделано исключительно русскими силами — членами «Союза защиты Родины и свободы».

Под покровом конспирации

Работать в тайном обществе всегда трудно. Работать, когда вас разыскивают, еще труднее. Работать, когда вы ставите себе задачей вооруженное выступление, значит каждый день рисковать своей жизнью.

Поэтому я не могу не вспомнить с чувством глубокого уважения о тех из моих друзей, которые были арестованы большевиками и расстреляны в Москве летом 1918 года.

В частности, я бы хотел, чтобы русские люди сохранили память о двух жертвах большевистского террора: о доблестном командире 1-го Латышского стрелкового полка, Георгиевском кавалере, полковнике Бреде, благодаря трудам которого по контрразведке

мы и союзники были всегда осведомлены о том, что делается у большевиков и у немцев; и о не менее доблестном корнете Сумского гусарского полка, тоже Георгиевском кавалере, Виленкине. Виленкин был расстрелян только за то, что отказался указать адрес штаба «Союза защиты Родины и свободы».

Аресты начались в конце мая. До этого времени мы жили спокойно и «Союз» развивался, не тревожимый большевистской полицией. Впоследствии Троцкий, лично допрашивая одного из арестованных членов «Союза», капитана Пнику, высказывал удивление, что в Москве могло создаться тайное общество и что он в течение трех месяцев не был осведомлен об этом. Эта неосведомленностьТроцкого доказывает несовершенство большевистской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, но она доказывает также, что среди членов «Союза» не было предателей и доносчиков.

Когда я говорю, что мы жили спокойно, это не надо понимать в буквальном смысле слова. Я помню, как однажды я и Флегонт Клепиков были окружены матросами, и как нам пришлось проходить мимо часовых, и как Флегонт Клепиков остановился и попросил у одного из них огня, чтобы закурить папиросу. Я помню, как в другой раз в дом, в котором мы жили, пришли большевики делать обыск и как я и Флегонт Клепиков спустились в нижний этаж, в чужую квартиру, и в этой чужой квартире, где нас приняли как друзей, ожидали прихода большевиков. Я помню также, как ночью на улице меня и Флегонта Клепикова остановили пятеро вооруженных красногвардейцев и потребовали оружие, и как мы стреляли, и как двое большевиков упало. Но это были мелочи ежедневной жизни. Настоящая опасность началась с приездом в Москву германского посла графа Мирбаха. С его приездом начались и аресты.

Уже в середине мая полковник Бреде предупредил меня, что в германском посольстве сильно интересуются «Союзом», и в частности мною. Он сообщил мне, что, по сведениям графа Мирбаха, я в этот день вечером должен быть в Денежном переулке на заседании «Союза» и что поэтому Денежный переулок будет оцеплен. Сведения графа Мирбаха были ложны: в этот вечер у меня не было заседания, и в Денежном переулке я никогда не жил и даже никогда не бывал. На всякий случай я послал офицера проверить сообщение полковника Бреде.

Офицер, действительно, был остановлен заставой. Когда его обыскивали большевики, он заметил, что они говорят между собой по-немецки. Тогда он по-немецки же обратился к ним. Старший из них, унтер-офицер, услышав немецкую речь, вытянулся во фронт и сказал: «Zu Befehl, Herr Leutnant» *.

Не оставалось сомнения в том, что немцы работают вместе с большевиками.

Штаб «Союза» помещался в Молочном переулке. Точнее говоря, это была конспиративная квартира штаба. Собирались мы на общие заседания в других местах, и, кроме того, каждый из нас имел для свидания свою особую, конспиративную квартиру. Но в Молочном переулке был истинный центр «Союза». Доктор Григорьев открыл под чужим именем медицинский кабинет, куда ходили настоящие больные, но который посещали и все, кто имел надобность в штабе. Постоянно в кабинете дежурил кто-либо из начальников отделов, там же постоянно бывал полковник Перхуров, туда же часто заходил и я. Спешные, не терпящие отлагательства дела решались в Молочном переулке, там уплачивалось жалованье, оттуда исходили все приказания текущего дня. Арестовать медицинский кабинет в Молочном переулке значило почти парализовать деятельность «Союза». 30 мая утром меня вызвали к телефону.

— Кто говорит?

— Сарра.

Большевики наблюдали за телефоном, и поэтому мы употребляли в разговорах ус-

* «Слушаюсь, господин лейтенант!» (*нем.*).

ловный язык. «Сарра» значило полковник Перхуров.

— В чем дело?

— В больнице эпидемия тифа.

— Есть смертные случаи?

— Умерли все больные.

— Доктор заболел тоже?

— Нет, доктор просил вам передать, чтобы вы берегли себя.

— Благодарю вас.

Я повесил трубку. Флегонт Клепиков спросил меня:

— Арестованы?

— Да.

Это было большое несчастье. Я не хотел помириться с мыслью, что трехмесячные труды пропали без пользы и что «Союз» разгромлен большевиками. И во всяком случае, я не хотел уезжать из Москвы.

К вечеру выяснилось, что арестовано в Молочном переулке и в других местах в городе до 100 членов «Союза», но выяснилось также, что не арестован ни один из начальников отделов. Полковник Перхуров, Дикгоф-Деренталь, доктор Григорьев, полковник Бреде и другие были целы и невредимы. Это давало полную возможность продолжать дело.

На другой день в большевистских газетах появилось официальное сообщение о том, что «гидра контрреволюции» раздавлена. Появилось также описание моей наружности. Это описание почему-то было перепечатано некоторыми, хотя и не большевистскими, но крайними левыми газетами. После этого Флегонт Клепиков, никогда не покидавший меня, стал носить револьвер не в кармане, а в рукаве, чтобы в случае нужды было удобнее отстреливаться от большевиков. Ему не пришлось стрелять, хотя однажды мы встретились лицом к лицу с комиссаром народного просвещения Луначарским и в другой раз с комиссаром финансов Менжинским. В обоих случаях не мы, а комиссары поспешили скрыться, уклоняясь от каких-либо мер по отношению к нам.

Опасности в таких встречах не было. Полиция на улицах почти отсутствовала, а сами комиссары, разумеется, никогда не могли бы решиться попытаться нас задержать.

В июне был выработан окончательный план вооруженного выступления.

Предполагалось в Москве убить Ленина и Троцкого, и для этой цели было установлено за ними обоими наблюдение. Одно время оно давало блестящие результаты. Одно время я беседовал с Лениным через третье лицо, бывавшее у него. Ленин расспрашивал это третье лицо о «Союзе» и обо мне, и я отвечал ему и расспрашивал его об его планах. Не знаю, был ли он так же осторожен в своих ответах, как и я в своих.

Одновременно с уничтожением Ленина и Троцкого предполагалось выступить в Рыбинске и Ярославле, чтобы отрезать Москву от Архангельска, где должен был происходить союзный десант.

Согласно этого плана, союзники, высадившись в Архангельске, могли бы без труда занять Вологду и, опираясь на взятый нами Ярославль, угрожать Москве. Кроме Рыбинска и Ярославля, предполагалось также завладеть Муромом (Владимирской губернии), где была большевистская ставка, и, если возможно, Владимиром на востоке от Москвы и Калугой на юге. Предполагалось также выступить и в Казани. Таким образом, нанеся удар в Москве, предполагалось окружить столицу восставшими городами и, пользуясь поддержкой союзников на севере и чехословаков, взявших только что Самару, на Волге, поставить большевиков в затруднительное в военном смысле положение.

План этот удался только отчасти. Покушение на Троцкого не удалось. Покушение на Ленина удалось лишь наполовину: Дора Каплан, ныне расстрелянная, ранила Ленина, но не убила. В Калуге восстание не произошло, во Владимире тоже. В Рыбинске

оно окончилось неудачей. Но Муром был взят, но Казань была тоже взята, хотя и чехословаками, и, главное, Ярославль не только был взят «Союзом», но и держался 17 дней, время более чем достаточное для того, чтобы союзники могли подойти из Архангельска. Однако союзники не подошли.

Для исполнения этого плана я с Дикгоф-Деренталем и Флегонтом Клепиковым в конце июня выехал из Москвы в Рыбинск. Я полагал, что главное значение имеет Рыбинск, ибо в Рыбинске были сосредоточены большие запасы боевого снаряжения. Поэтому я не поехал в Ярославль, а послал туда полковника Перхурова.

Я не очень надеялся на удачное восстание в Ярославле и почти был уверен, что зато мы без особенного труда овладеем Рыбинском. Как я уже сказал выше, нам было важнее овладеть Рыбинском, чем Ярославлем. В Рыбинске было много артиллерии и снарядов. В Ярославле не было почти ничего. С другой стороны, в Рыбинске наше тайное общество насчитывало до 400 членов, отборных офицеров кадровых и военного времени, большевистский же гарнизон был немногочислен. В Ярославле соотношение сил было гораздо хуже. Организация была качественно ниже и количественно слабее, чем в Рыбинске, а большевистских частей было больше. Чтобы увеличить наши ярославские силы, я распорядился послать из Москвы несколько сот человек в Ярославль. Полковник Перхуров имел задачей, овладев Ярославлем, держаться до прихода артиллерии, которую мы должны были ему подвезти из Рыбинска.

Как это часто бывает, произошло как раз обратное тому, чего мы ждали. В Рыбинске восстание было раздавлено, в Ярославле оно увенчалось успехом. Полковник Перхуров взял город и, несмотря на рыбинскую неудачу, почти без артиллерии держался 17 дней против превышавших его силы в 10 раз, присланных из Москвы большевистских частей. В ярославских боях особенно отличились полковник Масло, полковник Гоппер и подполковник Ивановский.

Из Москвы я с Дикгофом-Деренталем проехал в Ярославль и там вместе с полковником Перхуровым разработал план ярославского восстания. Ценную поддержку полковник Перхуров нашел в лице рабочего-механика, социал-демократа меньшевика Савинова. Савинов поручился, что рабочее население Ярославля во всяком случае не выступит против нас и даже, вероятно, окажет нам помощь. Вообще, я должен сказать, что уже тогда в северной России почти все население, и не только деревень, но и городов, относилось с глубокой ненавистью к большевикам. Ждали белогвардейцев, ждали чехословаков, ждали французов и англичан. При неорганизованности патриотов и при наличии большевистского террора население, конечно, не смело открыто выступать против большевиков. Но достаточно было бы одного крупного успеха, например взятия Рыбинска с его складами боевого материала или появления одной бригады англо-французов, чтобы население начало вооружаться. В Ярославле вооружиться было нечем: без артиллерии нет возможности выиграть бой. Приходится удивляться не тому, что полковник Перхуров не разбил под Ярославлем большевиков, а тому, что почти без снарядов он смог продержаться 17 дней. Он рассчитывал на англо-французскую помощь. Она не пришла.

Из Ярославля я с Дикгофом-Деренталем проехал в Рыбинск, где застал ныне расстрелянного полковника Бреде. Я проверил силы рыбинской организации. Они были достаточны для восстания. Я проверил силы большевиков. Они были невелики. Я осведомился о настроении рабочих. Оно было удовлетворительно. Я справился о настроении окрестных крестьян. Оно было хорошее. Я подсчитал количество имевшегося в нашем распоряжении оружия. Оно было достаточно для того, чтобы взять артиллерийские склады.

Взяв артиллерийские склады, предполагалось двинуться с артиллерией на город.

В ночь на 6-е июля полковник Перхуров выступил в Ярославле. 7-го мы узнали, что Яро-

славль в его руках. В ночь на 8-е я приказал выступить в Рыбинске. Наш штаб находился на окраине города в квартире маленького торговца. Жил я в квартире другого торговца, на берегу Волги, у самых большевистских казарм. Ночью мы собрались в штабе, и ровно в 1 час раздался первый ружейный выстрел. Но уже в 2 часа мой адъютант доложил мне, что, в сущности, бой проигран. Мы были преданы. Большевикам стали известны наши сборные пункты, и конные большевистские разъезды были на всех дорогах, ведущих к артиллерийским складам. Несмотря на это, артиллерийские склады были взяты. Но когда члены нашей организации двинулись, вооружившись, на Рыбинск, они встретили заготовленные заранее пулеметы. Им пришлось отойти. К утру, понеся большие потери, они вышли за город и окопались в нескольких километрах от Рыбинска.

Когда рано утром, убедившись, что бой проигран бесповоротно, мы вышли из штаба, было совсем светло. Куда идти? Пулеметы трещали без перерыва, и над головой свистели пули. Жители, чувствуя, что победа останется за большевиками, в страхе отказывались нас принимать. Мы остались посреди города, не зная, где нам укрыться. Тогда мы решили пройти пешком в указанную нам деревню, где жил рекомендованный рыбинской организацией купец. Дикгоф-Деренталь, Флегонт Клепиков и я двинулись в путь. Едва мы вышли из города, как снова попали под большевистский огонь. Едва мы вышли из сферы огня, как наткнулись на большевистский патруль. Но мы были одеты рабочими. Патруль не обратил на нас никакого внимания. Так мы прошли верст 20, пока не отыскали, наконец, нужную нам деревню.

Но и здесь мы встретили затруднения. Сын указанного нам организацией купца был ранен в бою у артиллерийских складов. Раненый, истекая кровью, он нашел в себе силы добраться домой. Он лежал теперь в ожидании, что по его следам вот-вот придут большевики, чтобы его арестовать. Несмотря на это, он предложил нам гостеприимство. Выбирать было не из чего. Мы поблагодарили его и остались. Мы не вошли в дом, а расположились в саду.

Бой в Рыбинске был бесповоротно проигран, но Ярославль продолжал держаться. Я послал офицера к полковнику Перхурову, чтобы сообщить ему о рыбинской неудаче. Офицер до полковника Перхурова не доехал: он был арестован большевиками. Для меня было ясно, что без артиллерии Ярославль долго обороняться не может. Но я тоже надеялся на помощь союзников — на архангельский англо-французский десант. Поэтому было решено, что оставшиеся силы рыбинской организации будут направлены на партизанскую борьбу с целью облегчить положение полковника Перхурова в Ярославле. В ближайшие после 8 июля дни нами был взорван пароход с большевистскими войсками на Волге, был взорван поезд со снарядами, направлявшийся в Ярославль, и был испорчен в нескольких местах железнодорожный путь Ярославль — Бологое. Эти меры затруднили перевозку большевистских частей со стороны Петрограда, но мы не смогли воспрепятствовать перевозке из Москвы. Троцкий же, понимая всю важность происходящих событий, напрягал все усилия, чтобы с помощью Московского гарнизона овладеть Ярославлем. Он овладел им только тогда, когда город был совершенно разрушен артиллерийским огнем.

Одновременно, 8-го июля, наша муромская организация произвела восстание в Муроме и взяла большевистскую ставку. Исполнив эту демонстративную задачу, муромский отряд, под начальством доктора Григорьева и подполковника Сахарова, с боем ушел из города и походным порядком дошел до Казани, которая в начале августа была взята чехословаками.

Так окончилось восстание в Рыбинске, Ярославле и Муроме, организованное «Союзом защиты Родины и свободы». Его нельзя назвать удачным, но оно не было бесполезным. Впервые, не на Дону и не на Кубани, а в самой России, почти в окрестностях

Москвы, русские люди, без помощи кого бы то ни было, восстали против большевиков и тем доказали, что не все русские мирятся с национальным позором Брест-Литовского мира и что не все русские склоняются перед террором большевиков. Честь была спасена. Слава тем, которые пали в бою.

Снова в пути

Под Рыбинском невозможно было оставаться долгое время. Ежеминутно могли явиться большевики и арестовать нас всех. Мы купили телегу и лошадь и двинулись в дорогу. Куда? Мы не могли бы точно сказать... По направлению к Москве. Я хотел знать, что предполагает «Национальный центр», и думал, что нам надо пробираться в Казань на соединение с нашей казанской организацией. Я послал Дикгофа-Деренталя в Москву с докладом «Национальному центру», а Флегонта Клепикова в Казань предупредить о моем приезде. Несколько дней до возвращения Дикгофа-Деренталя я решил переждать в деревне. Меня приютил у себя, в Новгородской губернии, г. Н.

Я не знал, что Казань уже взята чехословаками, и решил ехать на Волгу, надеясь, что казанская организация будет счастливее, чем рыбинская, и что мы своими силами возьмем город. В течение всего мая и июня штаб «Союза защиты Родины и свободы» постепенно эвакуировал часть своих членов из Москвы в Казань. По моим расчетам на Волге уже должны были быть сосредоточены достаточные силы для восстания против большевиков. Я не мог примириться с рыбинской неудачей и с ярославским полууспехом. В моих глазах борьба не была закончена, а была только начата.

Я с Дикгофом-Деренталем проехал из Новгородской губернии в Петроград. Петроград уже тогда, т. е. в конце июля 1918 года, казался умирающим городом. Пустые улицы, грязь, закрытые магазины, вооруженные ручными гранатами матросы и в особенности многочисленные немецкие офицеры, с видом победителей гулявшие по Невскому проспекту, свидетельствовали о том, что в городе царят «Советы» и Апфельбаум-Зиновьев.

В петроградском отделении «Союза защиты Родины и свободы» мне приготовили фальшивый большевистский паспорт. В этом паспорте было сказано, что я, «товарищ такой-то», делегат Комиссариата народного просвещения, еду в Вятскую губернию по делам «колонии пролетарских детей». Я переоделся большевиком: рубаха, пояс, высокие сапоги, фуражка со снятой кокардой. В таком виде я и Н. Н. выехали в Нижний Новгород. Газеты уже были полны сообщениями о расстрелах в Ярославле и Рыбинске.

В Нижнем Новгороде нас на вокзале остановили и потребовали разрешения на въезд. Разрешения мы не имели, но я вынул свой магический паспорт за фальшивой подписью самого Луначарского, и «товарищи» беспрекословно пропустили нас на пароходную пристань. Пароход отходил утром и должен был идти до Казани. Но на пристани я узнал, что Казань уже взята чехословаками и что бои идут выше Казани, в районе Свияжска. И действительно, на другой день, к вечеру, пароход остановился в Васильсурске и не пошел дальше. Все пассажиры вышли на берег. Вышли и мы. От Васильсурска до Казани около 400 верст и нет железной дороги.

На пароходе к нам присоединились два офицера, тоже члены «Союза защиты Родины и свободы». Мы наняли лошадей и отправились на юго-восток, по направлению к Казани, в город Ядрин.

В Ядрин мы приехали ночью и сейчас же были арестованы красноармейцами.

— Кто едет?

— Свои.

— Буржуи?

— Нет, «товарищи».

— В участок!

В участке я застал человек 20 красноармейцев и снова вынул свой магический паспорт. Они хотели его прочесть, но ни один из них не знал грамоты. Послали за каким-то молодым человеком, в штатском. Он начал громко читать: «По постановлению Совета рабочих и солдатских депутатов Северной коммуны товарищ такой-то...»

— Так вы не буржуй?

— Я же вам сказал, что я «товарищ».

— А ваши спутники?

— Тоже «товарищи».

— Ну, это другое дело... А то третьего дня мы поймали двух белогвардейцев... Много их здесь шляется...

— Что вы с ними сделали?

— Расстреляли, конечно.

Ночевали мы у красноармейцев в избе и до трех часов ночи я вынужден был разговаривать с «товарищами» о положении дел в Петрограде. Мы не расходились в мнениях.

Утром я пошел в Совет представляться. Меня встретил председатель Совета, молодой человек, конторщик или писец, лет 19.

Он познакомил меня с начальником гарнизона, унтер-офицером, бежавшим с фронта, и с начальником Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, который напоминал собой сыщика при старом режиме. Я в третий раз вынул свой магический паспорт и произнес «товарищам» речь. Я поблагодарил их за порядок и благоустройство в городе Ядрине и за бдительность милиции, арестовавшей меня, и обещал по возвращении в Петроград доложить самому Троцкому о том рае, который я нашел в их глухом углу. «Товарищи» с удовольствием слушали меня. Когда я кончил, председатель спросил:

— Чем мы можем быть вам полезны, товарищ?

Чем они могли быть полезны? Я ответил:

— У меня паспорт, выданный Северной коммуной. Теперь я нахожусь в пределах Нижегородской советской республики. Вы будете очень любезны, если выдадите мне от себя соответствующее удостоверение.

Мне было выдано настоящее, за настоящим номером и за настоящими подписями, удостоверение, в котором снова излагалось, что я, «товарищ такой-то», еду по делам «колонии пролетарских детей» в Вятскую губернию. В тот же день я купил тарантас, телегу и двух лошадей, и мы покинули Ядрин.

Повсеместно, на всех дорогах, можно было встретить большевистские банды. До Казани ехать было далеко и много было шансов, что нас арестуют снова. Я рассчитал, что если мы переправимся на левый берег Волги и поедем лесами, то, быть может, избегнем нежелательных встреч. В лесах скрываться, разумеется, легче. В лесах и защищаться более удобно. Мы были вооружены. И мы твердо решили избегнуть расстрела.

Крестьяне встречали нас с подозрением. Но подозрение это было обратное тому, к которому мы привыкли. Крестьяне принимали нас за большевиков, и нам в деревнях приходилось доказывать, что мы не большевики, а белогвардейцы и что мы едем сражаться против красных. Тогда отношение к нам сразу менялось. Нам указывали «тихие», т. е. безопасные проселочные дороги. Нас укрывали, когда проходил слух о приближении большевистских разъездов. Нас кормили. Нас расспрашивали с надеждой о Дутове. Здесь, в глуши Казанской губернии, среди малограмотных и живущих за сотни верст от железной дороги крестьян, я часто слышал то слово, от которого я отвык в городах. Это слово — Россия. После чужих и иностранных слов «интернационал», «капитализм», «про-

летариат», которыми так богата теперь русская городская речь, было радостно слышать людей, говоривших о Родине и возмущавшихся большевиками не только за красный террор, но и за унижение Брест-Литовского мира, и за поругание России. В одной из деревень я спросил:

— Россию уничтожают?

— Уничтожают.

— Церкви грабят?

— Да, грабят.

— Попов расстреливают?

— Да, расстреливают.

— Вас расстреливают?

— Да, расстреливают.

— Хлеб отбирают?

— Да, отбирают.

— Почему вы не восстаете?

Молодой крестьянин, разговаривавший со мной, пожал плечами и спросил меня в свою очередь:

— Ты был на фронте?

— Был.

— В боях был?

— Был.

— Какой же бой без артиллерии?

Это была правда. Какой же бой без артиллерии? Кое-где в деревнях сохранились винтовки, принесенные с фронта. Кое-где сохранились даже и пулеметы. Но с винтовками и пулеметами нельзя бороться против трех- и шестидюймовых пушек. Кроме того, как сорганизоваться крестьянам? Дорог почти нет. Почты нет. Телеграфа, в сущности, тоже нет. Есть толпы людей, ненавидящих большевиков, но не вооруженных и не объединенных в воинские части. И хотя крестьянские восстания и происходили и все время происходят в России, но не эти восстания могут уничтожить военную силу большевиков.

Но если крестьянские восстания не могут уничтожить военную силу большевиков, то настроение крестьян доказывает, что дело Троцкого, Ленина и К-о неизбежно будет проиграно. Ныне в России деревня борется с городом. И исход этой борьбы предрешен заранее.

На третий день нашего путешествия мы переправились через Волгу и потонули в лесах. Я говорю «потонули»: мы 5 суток ехали лесом и не видно было ему конца. Стояло лето — безоблачно-жаркие дни. Среди густой заросли мелкой осины, между стволами широколиственных дубов, между мачтами строевых сосен вилась однообразная, узкая, наезженная «тихая» дорога. Утром, и в полдень, и вечером, день за днем, перед нами вилась эта дорога, и на ней никогда никого не было видно, ни красных, ни белых, ни объездчиков, ни крестьян. Только к ночи чувствовалось, что лес не пустыня и что в глубине его, в дикой чаще, есть живые, не видимые нам существа. Волки и рыси.

А когда мы, наконец, выехали в поля, Казань была уже недалеко. Надо было пройти через линии большевистских войск. Я приказал развязать колокольчики. Так с колокольцами, крупною рысью, мы проехали между двумя батареями красноармейцев, и нас не остановил никто. На солнце горели купола казанских церквей, и вонзалась в небо башня татарской царицы. На шоссе, у водопровода, стоял караул. Это были чехословаки.

«Комитет Учредительного собрания»

Когда в июне 1918 года чехословаки взяли Самару, на Волге образовался «Комитет членов Учредительного собрания», председателем которого был Вольский, впоследствии вступивший в соглашение с большевиками. Комитет этот осуществлял функции правительства и состоял исключительно из социалистов-революционеров. Таким образом, благодаря чешско-словацким штыкам, партия социалистов-революционеров снова оказалась у власти.

Новое правительство приступило к формированию «народной армии» из поволжских крестьян. Сначала, когда в рядах этой армии сражались отдельные чешско-словацкие и сербские части, успех сопутствовал начинаниям «Комитета Учредительного собрания»: были взяты Сызрань, Симбирск и Казань. Впоследствии, когда Троцкий сосредоточил большие силы на Волге и когда чехословаков, сербов и русских волонтеров (главным образом офицеров) оказалось недостаточно для борьбы с большевиками, дела пошли хуже: мобилизованные крестьяне разбегались в леса или отказывались сражаться. Были даже случаи восстаний в полках. Эта неустойчивость «народной армии» происходила не от сочувствия крестьянского населения к большевикам. Наоборот, поволжские крестьяне определенно высказывались против «товарищей». Она происходила от того, что «Комитет Учредительного собрания» во многом повторял ошибки Керенского. Достаточно указать, что в течение первого месяца дисциплинарная власть не была возвращена офицерам и что поэтому дисциплина в войсках отсутствовала. Достаточно указать также, что Самарская контрразведка не столько интересовалась большевиками, сколько офицерами, разыскивая между ними конституционных монархистов.

Я не могу не отметить здесь, что если русское офицерство доблестно сражалось на Волге, то чехословаки и сербы оказали летом 1918 года неоценимую услугу России — услугу, которую русские никогда не забудут. Благодаря чехословакам и сербам была очищена от большевиков Сибирь. В годы тяжкой и кровавой смуты славяне не забыли славян. Имена Массарика, Крамаржа, Бенеша, Чермака, Стефаника, Швеца и других навсегда останутся в памяти благодарной России.

В Казани я застал Флегонта Клепикова. Он был адъютантом у начальника гарнизона, генерал-лейтенанта Рычкова, члена «Союза защиты Родины и свободы». Кроме генерал-лейтенанта Рычкова, в небольшой армии, защищавшей Казань, было много членов «Союза»: из 7 участков боевого фронта четыре было под их командой. В Казани же я встретил начальника штаба «Союза» полковника Перхурова и члена «Союза» подполковника Ивановского, геройски защищавших Ярославль и спасшихся по Волге, на лодке. И хотя все они были недовольны «Комитетом Учредительного собрания» за его слабость и хотя все они вступили в «Союз» для поддержки не партийного, а общенационального правительства, прибыв в Казань, я немедленно распустил «Союз». Я находил, что тайное общество должно и может существовать только в той части России, которая занята большевиками. «Комитет Учредительного собрания», однако, отнесся к нам без благожелательства и доверия.

Политической борьбе не было места. Каков бы ни был «Комитет Учредительного собрания» и каковы бы ни были его уполномоченные в Казани, каждый русский должен был поддерживать то правительство, которое взяло на себя тяжкий труд бороться с большевиками. Я уехал на фронт, в отряд полковника Каппеля, действовавшего под Казанью, на правом берегу Волги.

Отряд этот выделил из себя небольшую кавалерийскую часть (100 сабель и 2 легких орудия) для операции в тылу большевистских войск. Я присоединился к этому эскадрону.

Нам была поставлена задача по возможности испортить коммуникационные линии

большевиков. Исполняя ее, я снова увидел гражданскую войну во всей ее жестокости. Гражданская война, конечно, не большая война. Конечно, наши бои на Волге даже отдаленно не напоминают боев под Львовом или под Варшавой. Но не нужно забывать, что в наших боях русские деревни горели, зажженные русскими снарядами, что над нашими головами свистели русские пули, что русские расстреливали русских и что русские рубили саблями русских. Не нужно забывать также, что у нас не было санитарного материала, не было хлеба для нас и овса для лошадей. И не нужно забывать еще, что большевики не брали пленных.

Я сказал, что мы, русские, дрались с русскими. Это не совсем верно. В большевистских рядах было много латышей, венгерцев и немцев. Было также много немецких инструкторов. Мы вели войну не только с большевиками. Мы вели войну также с немцами.

Во время этого небольшого похода я воочию убедился снова, что крестьяне целиком на нашей стороне. Они встречали нас как избавителей, и они не хотели верить тяжелой действительности, когда нам пришлось отступать. Следом за нами двигались большевики, которые расстреливали всех, уличенных в сочувствии нам. Война, которая три года продолжалась на границах России, перенеслась в ее сердце. Большевики обещали мир и дали самую жестокую из всех известных человечеству войн. Нейтральным оставаться было нельзя. Надо было быть или красным или белым. Крестьяне понимали это. Но у нас не было оружия, чтобы вооружить их, и в Самаре не было людей, способных построить армию не на речах, а на дисциплине.

Началась осень. Лист пожелтел, и было холодно вечерами. Эскадрон, состоявший на три четверти из офицеров, уже четвертые сутки действовал в тылу у большевиков. О нас уже знали. Уже не раз в синем небе летали неприятельские аэропланы. Уже не раз крестьяне предупреждали нас, что большевики устраивают засаду, чтобы уничтожить весь наш немногочисленный отряд. Но каждый день мы взрывали полотно железной дороги, рубили телеграфные столбы, расстреливали отдельных большевиков и давали бои небольшим большевистским частям, и серьезного сопротивления не встречали нигде. С зарею мы бывали уже на конях и с утра продолжали свой путь по необозримым приволжским полям, прячась от аэропланов в лесах. И наконец, мы наткнулись на приготовленную засаду. Я был свидетелем и участником «боя», которого, вероятно, никогда не происходило на Западном фронте.

Из деревни, в которой мы стояли в тот день, был виден железнодорожный путь. За линией железной дороги возвышались холмы. В полдень на горизонте появился дымок, и мы различили блиндированный паровоз. Он остановился. Мы не стреляли. Из вагонов стала выгружаться пехота, человек 500, если не больше. Но вместо того чтобы выстроиться цепью и попробовать нас атаковать, люди собрались на одном из холмов. Мы все еще не стреляли. Мы не могли поверить своим глазам: начинался большевистский митинг. Мы видели ораторов, махавших руками, и до нас доносилось заглушенное одобрительное «ура». Очевидно, оратор доказывал, что не следует идти в бой. И только когда митинг был уже в полном разгаре, мы открыли пулеметный огонь по холму. Через несколько минут весь холм был покрыт человеческими телами, а блиндированный паровоз задним ходом уходил обратно, откуда пришел. Уходя, он обстреливал нас. Ему отвечали наши орудия, пока не загорелся один из вагонов и поезд, весь в пламени и в дыму, не скрылся за поворотом. Тогда наш капитан скомандовал: «К седлам»,— и мы выехали на холм, где только что происходил митинг. У меня не было шинели. Я взял одну. Она была в крови.

Падение Казани

Через неделю я вернулся в Казань. В Казани начинались ее последние дни. В Самаре правительство было занято приготовлением к уфимскому совещанию.

Войсками, защищавшими Казань, командовал полковник Степанов, но ему не были подчинены чехословацкие части. Ему не был также подчинен отряд полковника Каппеля, действовавший на правом берегу Волги. Таким образом, в почти осажденном городе не было единства командования. Полковник Степанов телеграфировал самарскому правительству об этом, указывая, что он не может при этих условиях в полной мере отвечать за защиту города. Самарское правительство оставило его телеграмму без ответа.

В первых числах сентября положение в Казани было таково. Троцкий сосредоточил в ее окрестностях армию свыше 30 000 человек при 150 орудиях. Казанский же гарнизон не достигал и 5000 при 70 орудиях. Большевики взяли Верхний Услон, высоту, господствующую над городом, и обстреливали как предместье, так и самый город. Казанские рабочие волновались. Среди них работали большевистские агенты. Чувствовалось, что с минуты на минуту в городе может произойти восстание. Оно и произошло за несколько дней до сдачи. Флегонт Клепиков, явившийся усмирять рабочих, был тяжело ранен, и я лишился его неоценимой помощи. Но восстание было подавлено, и оборона продолжалась, несмотря на бомбардировку.

Не бомбардировка была страшна. Положение было затруднительно тем, что чехословацкие части (1-й полк под командою доблестного, ныне покойного, полковника Швеца) понесли огромные потери и крайне нуждались в отдыхе, мобилизованные же самарским правительством крестьяне, необученные, небывавшие никогда в огне и не подчиненные строгой дисциплине, сражались плохо или не сражались вовсе. Защищали Казань, после смены чехословаков, в сущности, одни офицеры и добровольцы. К ним в последний день присоединились вооруженные граждане, стойко умиравшие на своих постах, но часто даже не умевшие стрелять из винтовки. Несмотря на это, город мог держаться довольно долго. Так я думал. Так думал и полковник Перхуров, командовавший одним из боевых участков, так думало и большинство офицеров. Накануне падения Казани я верхом поехал на участок полковника Перхурова.

Ехать пришлось по улицам, на которых рвались снаряды. Выехав за город, я увидел ровное поле без окопов и, конечно, без проволочных заграждений. Это поле обстреливалось с волжских холмов, и здесь, под обстрелом, неприкрытый ничем, находился отряд полковника Перхурова. Сам полковник Перхуров со своим штабом расположился в доме, видном со всех сторон.

— Как вы можете здесь держаться?

— Вот, держимся до сих пор.

В нескольких саженях от нас разорвался снаряд, и деревянный дом задрожал.

— Вы довольны своими людьми?

— Очень.

— Как вы думаете, можно продолжать оборону?

— Конечно, можно.

— Но вы ведь знаете, что большевики уже обстреливают Казань?

— Они обстреливали и Ярославль.

Это была правда. Но в Ярославле была надежда на помощь союзников, в Казани же помощи не могло прийти ниоткуда: бои шли также и под Симбирском, и говорили даже, что Симбирск взят.

Я не знаю, какие именно соображения заставили сдать Казань, но 10 сентября вечером полковник Степанов приказал войскам отступать, несмотря на то, что в 1 час дня было расклеено объявление, обещавшее жителям, что Казань не будет сдана. Тогда началось то, что бывает при спешной эвакуации.

Ночью, в полной темноте, по Лаишевской, единственной еще открытой дороге, потянулись беженцы из Казани. По официальным подсчетам, их было свыше 70 тысяч. Шли женщины, шли дети, шли старики. Они шли, оставив все имущество дома, голодные, усталые, и не зная, куда именно они идут. Войска с орудиями и обозами отходили одновременно, и Лаишевская большая дорога представляла собою сплошную стену двигавшихся в одном направлении людей. Я удивляюсь, почему большевики не обстреляли ее.

За Казанью пали Симбирск, Самара и Сызрань. Весь волжский фронт был потерян. Самарское правительство не удержало того, что завоевали чехословаки.

Первый период борьбы с большевиками был закончен. К осени 1918 года фронт проходил по Уральским горам. На юге, правда, была армия генерала Деникина. Но армия эта не подвигалась вперед. Не было надежды, чтобы казаки и добровольцы, несмотря на всю их доблесть, смогли своими силами освободить Москву от большевиков. Стоял вопрос решающего значения: сможет ли Сибирь создать армию или нет. Этот вопрос был важнее тех вопросов, которые обсуждались на совещании в Уфе, и, может быть, сущность переворота, происшедшего в Омске в ноябре 1918 года, заключается в том, что сибиряки не верили, что Директория сумеет организовать дисциплинированную военную силу. Ее сорганизовал адмирал Колчак.

Путь по Волге на Симбирск был отрезан. Я на лошадях проехал до Бугульмы и через Бугульму в Уфу. В Уфе происходило Государственное совещание. На совещании этом было сказано много речей. Но речи эти не остановили большевиков. Уфа была взята.

1917 год был праздником русской революции. До большевистского переворота в России было много людей, которые верили, что русская революция ускорит победу союзников и даст России прочный, почетный и выгодный мир. Надеждам этим не было суждено оправдаться. 1918, 1919 и 1920 годы принесли с собою позор Брест-Литовского мира и гражданскую, беспощадную и с неравными силами войну.

В своих страданиях Россия становится чище и тверже. И я не только верю, но знаю, что, когда минует смутное время, Россия, Великая Федеративная Республика Русская, в которой не будет помещиков и в которой каждый крестьянин будет иметь клочок земли в собственность, будет во много раз сильнее, свободнее и богаче, чем та Россия, которою правили Распутин и царь. Но сколько крови еще прольется.

Зинаида Гиппиус

Петербургские дневники

История моего дневника

«Черная книжка» — лишь сотая часть моего «Петербургского дневника», моей записи, которую я вела почти непрерывно, со дня объявления войны. Я скажу далее, какая судьба постигла две толстые книги этой записи, доведенной до февраля—марта 1919 года. Сейчас отмечаю лишь то обстоятельство, что их у меня нет. И я должна сказать о них несколько слов прежде, чем дать текст записи последней, касающейся второй половины 1919 года. Правда, этот последний дневник написан несколько иначе, отрывочнее, короткими отметками, иногда без чисел. Но все-таки он — продолжение, и без фактических ссылок на первые тетради он будет непонятен даже внешне.

Наша жизнь, наша среда, моя и Мережковского, и наше положение, в общем, были благоприятны для ведения подобных записей. Коренные жители Петербурга, мы принадлежали к тому широкому кругу русской интеллигенции, которую, справедливо или нет, называли «совестью и разумом» России. Она же — и это уже, конечно, справедливо — была единственным «словом» и «голосом» России, немой, притайно-молчащей — самодержавной. После неудавшейся революции 1905 года — неудавшейся потому, что самодержавие осталось,— интеллигенция если не усилилась, то расширилась. Раздираемая внутренними несогласиями, она, однако, была объединена общим политическим, очень важным отрицанием: отрицанием самодержавного режима. Русская интеллигенция — это класс, или круг, или слой (все слова не точны), которого не знает буржуазно-демократическая Европа, как не знала она самодержавия. Слой, по сравнению со всей толщей громадной России, очень тонкий; но лишь в нем совершалась кое-какая культурная работа. И он сыграл свою, очень серьезную историческую роль. Я не буду ее определять, и я не сужу сейчас русскую интеллигенцию, я просто о ней рассказываю.

Разделения на профессиональные круги в Петербурге почти не было. Деятели самых различных поприщ,— ученые, адвокаты, врачи, литераторы, поэты,— все они так или иначе оказывались причастными политике. Политика — условия самодержавного режима — была нашим первым жизненным интересом, ибо каждый русский культурный человек, с какой бы стороны он не подходил к жизни — и хотел того или не хотел,— непременно сталкивался с политическим вопросом.

Когда после 1905 года появился призрак общегосударственной работы, создалась Дума, и народились так называемые «политические деятели»,— эта специализация ничего, в сущности, не изменила. Только усилилась партийность; но самый видный «политический деятель» оставался тем же интеллигентом, в том же кругу, а колесо его чисто государственной, политической деятельности вертелось в пустоте. Прибавился только некоторый самообман,— а он был даже вреден.

Не всякий интеллигент, конечно, принадлежал фактически к той или другой партии; но все в них разбирались, и почти каждый сочувствовал какой-нибудь одной более, чем остальным. Междупартийная борьба не прекращалась; но так как при данных ус-

ловиях она принимала довольно отвлеченные формы и так как все партии сходились на ненависти к самодержавию, то русские круги интеллигенции, даже не центральные, были в постоянном соприкосновении.

Мы, т. е. я, Мережковский и Философов, а также некоторые друзья наши, склонялись, как писатели, к идейным сторонам общественного вопроса. Не входя ни в одну из политических партий, мы, однако, имели касание почти ко всем. В той, которой мы наиболее сочувствовали, у нас было много давних друзей. Задолго до войны мы сблизились с некоторыми эмигрантами (между прочим, с Савинковым), с которыми мы поддерживали постоянные сношения. Это была партия социалистов-революционеров. Несмотря на плохо разработанную идеологию, партия эта казалась нам наиболее органической, наиболее отвечающей русским условиям. За соц.-революционерами, как народниками, стояло уже свое историческое прошлое. Что касается партии социал-демократической — партии, сравнительно новой в России, лишь после 1905 года оформившейся у нас по западным образцам и уже расколотой на большевиков и меньшевиков, то самая основа ее — экономический материализм — была нам и некоторой части русской интеллигенции особенно чужда (как и самому русскому народу, — казалось нам). Все десять лет мы вели с ней последовательную, очень внутреннюю, идейную борьбу.

Призрак конституции, Дума, послужила созданию партии «умеренных», либеральных, стремящихся к государственной работе в легальных рамках. Как уже было упомянуто, эта работа в конечном счете тоже оказывалась призрачной. Партия конституционно-демократическая (кадетская), единственно значительная либеральная русская партия, в сущности, не имела под собой никакой почвы. Она держалась европейских методов в условиях, ничего общего с европейскими не имеющих. Но, конечно, если в области политики работа либералов и была бесплодна, то в области культуры они кое-что сделали — или делали, по крайней мере. Этим объясняется то, что либералы, в предвоенные годы, постепенно завоевывали себе все больше и больше сочувствующих среди интеллигенции.

Мы близко соприкасались с либералами, благодаря тому, что Философов, не входя в партию ка-де, работал в партийной газете «Речь» и позиция его имела много общего с позицией либеральной.

Таким образом, вся скудная политическая жизнь России, сконцентрированная в русской интеллигенции, в нелегальных и легальных партиях, около вырождающегося правительства и около призрачного парламента — *около Думы*, — вся эта жизнь лежала перед нашими глазами. Не надо русскому писателю быть профессиональным политиком, чтобы понимать, что происходит. Довольно иметь открытые глаза. У нас были только открытые глаза. И мой дневник, естественно, сделался записью общественно-политической.

Здесь кстати сказать, что даже внешнее, географическое, наше положение оказалось очень благоприятным для моей записи. Важен Петербург как общий центр событий. Но в самом Петербурге еще был частный центр: революция с самого начала сосредоточилась *около Думы*, т. е. около Таврического дворца. Прямые улицы, ведущие к нему, были во дни февраля и марта 17 года словно артериями, по которым бежала живая кровь к сердцу — к широкому дворцу екатерининских времен. Он задумчиво и гордо круглил свой купол за сетью обнаженных берез старинного парка.

Мы следили за событиями по минутам, — мы жили у самой решетки парка в бельэтаже последнего дома одной из улиц, ведущих ко дворцу. Все шесть лет — шесть веков — я смотрела из окна или с балкона то налево, как закатывается солнце в туманном далеке прямой улицы, то направо, как опушаются и обнажаются деревья Таврического сада. Я следила, как умирал старый дворец, на краткое время воскресший для новой жизни, — я видела, как умирал город... Да, целый город, Петербург, создан-

ный Петром и воспетый Пушкиным, милый, строгий и страшный город — он умирал... Последняя запись моя — это уже скорбная запись агонии.

Но я забегаю вперед. Я лишь хочу сказать, что и это внешнее обстоятельство, случайное наше положение вблизи центра событий, благоприятствовало ясности моих записей. Мне кажется, если бы я даже не была писателем, если б я даже вовсе не умела писать, но видела бы, что видела,— я бы научилась писать и не могла бы не записывать...

Война всколыхнула петербургскую интеллигенцию, обострила политические интересы, обострив в то же время борьбу партий внутри. Либералы резко стали за войну — и тем самым в какой-то мере за поддержку самодержавного правительства. Знаменитый «думский блок» был попыткой объединения левых либералов (ка-де) с более правыми — ради войны.

Другая часть интеллигенции была против войны — более или менее; тут народилось бесчисленное множество оттенков. Для нас, не чистых политиков, людей не ослепленных сложностью внутренних нитей, для нас, не потерявших еще человеческого здравого смысла,— одно было ясно: война для России, при ее современном политическом положении, не может окончиться естественно; раньше конца ее — будет революция. Это предчувствие,— более, это *знание* разделяли с нами многие.

«...Будет, да, несомненно,— писала я в 16-м году.— Но что будет? *Она*, революция настоящая, нужная, верная, или безликое стихийное *Оно*, крах,— что будет? Если бы все мы с ясностью видели, что грозные события близко, при дверях, если бы все мы одинаково понимали, были готовы встретить их... может быть, они стали бы не крахом, а спасением нашим...» Но грозы этой не видали «реальные политики», те именно, которые во время войны одни что-то делали в Думе, как-то все-таки направляли курс,— либералы. Во всяком случае они стояли за правительством; здание трещит, казалось нам,— и не должны ли они первые, своими руками, помочь разрушению того, что обречено разрушиться, чтобы сохранить нужное, чтобы не обвалилось все здание и не похоронило нас под обломками!

Но либералы все правели, ожесточая крайние левые партии (у них была кое-какая связь с низами, хотя слабая, кажется), ожесточая даже и не самые крайние. Я помню, как однажды Керенский, говоря со мной по телефону после какой-то очень грубой ошибки думских лидеров, на мой горестный вопрос: «Что же теперь будет?» — отвечал: «Будет то, что начинается с а...», т. е. анархия; т. е. крах. «*Оно*».

Керенского мы знали давно. Он бывал у нас и до войны. Во время войны мы, кроме того, встречались с ним и в бесчисленных левых кружках интеллигенции. Мы любили Керенского. В нем было что-то живое, порывистое и — детское. Несмотря на свою истерическую нервность, он тогда казался нам дальновиднее и трезвее многих.

Было бы и трудно, и бесполезно, и даже скучно рассказывать здесь по памяти о тех страницах моего дневника, которых нет передо мною. Исторические события того времени в общих чертах — известны; мелких подробностей не припомнишь; а центр тяжести дневника, самый уклон его — такого рода, что вздумай я говорить о нем кратко — ничего бы не вышло. Дело в том, что меня как писателя-беллетриста по преимуществу занимали не одни исторические события, свидетелем которых я была; меня занимали главным образом *люди в них*. Занимал каждый человек, его образ, его личность, его роль в этой громадной трагедии, его сила, его падения,— его путь, его жизнь. Да, историю делают не люди... но *и* люди тоже, в какой-то мере. Если не видеть и не присматриваться к отдельным точкам в стихийном потоке революции, можно перестать все понимать. И чем меньше этих точек, отдельных личностей,— тем бессмысленней, страшнее и *скучнее* становится историческое движение. Вот почему запись моя, продолжаясь, все более изменялась, пока не превратилась, к концу 19 года, в отрывочные, внешние, чисто

фактические заметки. С воцарением большевиков — стал исчезать *человек* как единица. Не только исчез он с моего горизонта, из моих глаз; он вообще начал уничтожаться, принципиально и фактически. Мало-помалу исчезла сама революция, ибо исчезла всякая борьба. Где нет никакой борьбы, какая революция?

Что осталось — ушло в подполье. Но в такое глубокое, такое темное подполье, что уже ни звука оттуда не доносилось на поверхность. На петербургских улицах, в петербургских домах в последнее время царила пугающая тишина, молчание рабов, доведенных в рабстве разъединенности до совершенства.

Самодержавие; война; первые дни свободы; первые дни светлой, как влюбленность, февральской революции; затем дни первых опасений и сомнений... Керенский в своем взлете... Ленин, присланный из Германии, встречаемый прожекторами... Июльское восстание... победа над ним, страшная, как поражение... Опять Керенский и люди, которые его окружают. Наконец, знаменитое К — С — К, т. е. Керенский, Савинков и Корнилов, вся эта потрясающая драма, которую довелось нам наблюдать с внутренней стороны. «Корниловский бунт», записали торопливые историки, простодушно поверив, что действительно *был* какой-то «корниловский бунт»... И наконец — последний акт, молнии выстрелов на черном октябрьском небе... Мы их видели с нашего балкона, слышали каждый... Это обстрел Зимнего дворца, и мы знали, что стреляют в людей, мужественно и беспомощно запершихся там, покинутых всеми — даже «главой» своим — Керенским.

Временное правительство — да ведь это все те же *мы*, те же интеллигенты, люди, из которых каждый имел для нас свое *лицо*... (Я уже не говорю, что были там и люди, с нами лично связанные.) Вот движение, вот борьба, вот история.

А потом наступил конец. Последняя точка борьбы — Учредительное собрание. Черные зимние вечера; наши друзья р. социалисты, недавние господа,— теперь приходящие к нам тайком, с поднятыми воротниками, загримированные... И последний вечер — последняя ночь, единственная ночь жизни Учредительного собрания, когда я подымала портьеры и вглядывалась в белую мглу сада, стараясь различить круглый купол дворца... «Они там... Они все еще сидят там... Что — там?»

Лишь утром большевики решили, что довольно этой комедии. Матрос Железняков (он знаменит тем, что на митингах требовал непременно «миллиона» голов буржуазии) объявил, что утомился, и закрыл собрание.

Сколько ни было дальше выстрелов, убийств, смертей — все равно. Дальше — падение, то медленное, то быстрое, агония революции и ее смерть.

Жизнь все суживалась, суживалась, все стыла, каменела,— даже самое время точно каменело. Все короче становились мои записи. Что писать? Нет людей, нет событий. Новый «быт», страшный, небывалый, нечеловеческий,— но и он едва нарождался...

И все-таки я пыталась иногда раскрывать мои тетради, пока, к весне 19 года, это стало фактически невозможно. О существовании тетрадей пополз слух. О них знал Горький. Я рисковала не только собой и нашим домом: слишком много *лиц* было в моих тетрадях. Некоторые из них еще не погибли, и не все были вне пределов досягаемости... А так как при большевистском режиме нет такого интимного уголка, нет такой частной квартиры, куда бы «власти» в любое время не могли ворваться (это лежит в самом принципе этих властей),— то мне оставалось одно: зарыть тетради в землю. Я это и сделала. Добрые люди взяли их и закопали где-то за городом, где — я не знаю точно.

Такова история моей книги, моего «Петербургского дневника» 1914—1919 годов.

Проходили — проползали месяцы. Уже давно была у нас не жизнь, а воистину «житие». Маленькая черная старая книжка валялась пустая на моем письменном столе. И я полуслучайно-полуневольно начала делать в ней какие-то отметки. Осторожные, невинные, без имен, иногда без чисел. Ведь даже когда не думаешь — все время чувствуешь,— там, в Совдепии,— что кто-то стоит у тебя за спиной и читает через плечо написанное.

А между тем все-таки писать было надо. Не хотелось, не умелось, но чувствовалось, что хоть два-три слова, две-три подробности — надо закрепить *сейчас*. И действительно: многое теперь, по воспоминанию, я просто не могла бы написать: я уж сама в это почти не верю, оно мне кажется слишком фантастичным. Если б у меня не было этих листиков, черных по белому, если б я в последнюю минуту не решилась на вполне безумный поступок — схватить их и спрятать в чемодан, с которым мы бежали,— мне все казалось бы, что я преувеличиваю, что я лгу.

Но вот они, эти строки. Я помню, как я их писала. Я помню, как я, из осторожности, преуменьшала, скользила по фактам,— а не преувеличивала. Я вспоминаю недописанные слова, вижу нарочные буквы. Для меня эти скользящие строки — налиты кровью и живут,— ибо я знаю *воздух*, в котором они рождались. Увы, как мало они значат для тех, кто никогда не дышал этим густым, совсем особенным, по тяжести, воздухом!

Я косиусь общей внешней обстановки, чтобы пояснить некоторые места, совсем непонятные.

К весне 19 года общее положение было такое: в силу бесчисленных (иногда противоречивых и спутанных, но всегда угрожающих) декретов, приблизительно все было «национализировано» — «большевизировано». Все считалось принадлежащим «государству» (большевикам). Не говоря о еще оставшихся фабриках и заводах,— но и все лавки, все магазины, все предприятия и учреждения, все дома, все недвижимости, почти все движимости (крупные) — все это по идее переходило в ведение и собственность государства. Декреты и направлялись в сторону воплощения этой идеи. Нельзя сказать, чтобы воплощение шло стройно. В конце концов это просто было желание прибрать все к своим рукам. И большею частью кончалось разрушением, уничтожением того, что объявлялось «национализированным». Захваченные магазины, предприятия и заводы закрывались; захват частной торговли повел к прекращению вообще всякой торговли, к закрытию *всех* магазинов и к страшному развитию торговли нелегальной, спекулятивной, воровской. На нее большевикам поневоле приходилось смотреть сквозь пальцы и лишь периодически громить и хватать покупающих-продающих на улицах, в частных помещениях, на рынках; рынки, единственный источник питания решительно для всех (даже для большинства коммунистов),— тоже были нелегальщиной. Террористические налеты на рынки, со стрельбой и смертоубийством, кончались просто разграблением продовольствия в пользу отряда, который совершал налет. Продовольствия прежде всего, но так как нет вещи, которой нельзя встретить на рынке, то забиралось и остальное — старые онучи, ручки от дверей, драные штаны, бронзовые подсвечники, древнее бархатное евангелие, выкраденное из какого-нибудь книгохранилища, дамские рубашки, обивка мебели... Мебель тоже считалась собственностью государства, а так как под полой дивана тащить нельзя, то люди сдирали обивку и норовили сбыть ее хоть за полфунта соломенного хлеба... Надо было видеть, как с визгами, воплями и стонами кидались торгующие врассыпную при слухе, что близки красноармейцы! Всякий хватал свою рухлядь, а часто, в суматохе, и чужую; бежали, толкались, лезли в пустые подвалы, в разбитые окна... Туда же спешили и покупатели,— ведь покупать в Совдепии не менее преступно, чем продавать,— хотя сам Зиновьев отлично знает, что без этого преступления Совдепия кончилась бы, за неимением подданных, дней через 10.

Мы называли нашу «республику» не РСФСР, а, между прочим, «РТП» — республикой торгово-продажной. Так оно фактически и было.

Надо отметить главную характерную черту в Совдепии: есть факт, над каждым фактом есть — вывеска, и каждая вывеска — абсолютная ложь по отношению к факту. О том, что скрывается под вывеской «Советов» («выборочного начала»), упоминается в моем дневнике.

Здесь скажу о петербургских домах. Эти полупустые, грязные руины — собственность

государства — управляются так называемыми «комитетами домовой бедноты». Принцип ясен по вывеске. На деле же это вот что: власти в лице Чрезвычайки совершенно открыто следят за комитетом каждого дома (была даже «неделя чистки комитетов»). По возможности комитетчиками назначаются «свои» люди, которые при постоянном контакте с районным Совдепом (местным полицейским участком) могли бы делать и нужные доносы. Требуется, чтобы в комитетах не было «буржуев», но так как действительная «беднота» теперь именно «буржуи», то фактически комитеты состоят из лиц, находящихся на большевистской службе, или спекулянтов, т. е. менее всего из «бедноты». Нейтральные жильцы дома, рабочие или просто обывательские низы обыкновенно в комитет не попадают, да и не стремятся туда.

Бывают счастливые исключения. Например, в доме одного писателя — «очень хороший комитет, младший дворник, председатель, такой добрый... Он нас не притесняет, он понимает, что все это рано или поздно кончится...» А вот другой, очень известный мне дом: вечные доносы, вечное врывание в квартиры, вечное преследование «буржуазии» — такой, например, как три барышни, жившие вместе, две учительницы в большевистских (других нет) школах и третья — врач в большевистской (других нет) больнице. Эту третью даже несколько раз арестовывали, то когда вообще всех врачей арестовывали, то по доносу комитетчика, который решил, что у нее какая-то подозрительная фамилия.

Наш дом около Таврического дворца был самым счастливым исключением из общего правила. И не случайно, а благодаря незабвенному другу нашему, удивительнейшему человеку, И. И.

На нем я должна остановиться. Он постоянно упоминается в моем дневнике. Он и жена его — люди, с которыми мы действительно вместе, почти не разлучаясь физически и душевно, переживали годы петербургской трагедии. Слишком много нужно бы говорить о нем, я не буду здесь вспоминать страницы моего зарытого дневника. Скажу лишь кратко, что И. И. — редкое сочетание очень серьезного ученого, известного своими творческими работами в Европе,— и деятельного человека жизни, отзывчивого и гуманного. Типичные черты русского интеллигента — крайняя прямота, стойкость, непримиримость — выражались у него не словесно, а именно действенно. Он жил по соседству с нами, но во время войны мы не были знакомы. Сочувствуя со дней юности партии, нам далекой — социал-демократической,— он сталкивался преимущественно с людьми, с которыми мы уже были в идейной борьбе. Правда, и у нас имелась некоторая связь через Горького: Горького мы знали давно, лет двадцать, он даже бывал у нас во время войны. Но мы не сходились никогда с Горьким, странная чуждость разделяла нас. Даже его несомненный литературный талант, сильный и неровный, которым мы порою восхищались, не сближал нас с ним. Впрочем, окружение Горького, постоянная толпа ничтожных и корыстных льстецов, которых он около себя терпел, отталкивало от него очень многих.

Эти льстецы обыкновенно даже не партийные люди; это просто литературные паразиты. Подобный «двор» — не редкость у русского писателя-самородка, имеющего громкий успех, если он при том слабохарактерен, некультурен и наивно тщеславен.

Паразитов горьковских И. И. весьма не любил, но по доброте своей Горькому их прощал; а с партийными людьми горьковского круга вел давнее знакомство.

И в дни февральской революции, когда вокруг Думы — вокруг Таврического дворца — кипели и подымались человеческие волны, когда в нашу квартиру втекали, попутно, люди, более близкие нам,— у И. И. собирались другие, иного толка. Казалось, в первые дни,— что смешались все толки, что нет разделения; но оно уже было. И чем дальше, тем делалось резче. Во время июльского восстания, определенно с.-д.-большевистского,— у И. И. в квартире скрывались социал-демократы, еще не вполне примкнувшие к большевизму, но уже чувствующие, что у них рыльце в пушку. Известный когда-то лишь своему муравейнику литературно-партийный хлыщ — Луначарский, ставший с тех пор литературным хлыщом

«всея Совдепии»,— во время июльского бунта жалобно прятался у давнего своего знакомого чуть не под кроватью. И так «дрянно» трусил, так дрожал за свою особу, гадая, куда бы ему удрать, что внушил отвращение даже снисходительным его укрывателям.

Вскоре после этого восстания, когда линия большевиков ярко определилась, когда все честные люди из не потерявших разум ее совершенно поняли, мы встретились с И. И. и его женой. Встретились и сразу сошлись крепко и близко.

Надвигалась буря. Лед гудел и трещал. Действительно, скоро он сломается на куски, разъединив прежде близких, и люди понеслись — куда? — на отдельных льдинах. Мы очутились на одной и той же льдине с И. И. Когда по месяцам нельзя было физически встретиться, даже перекликнуться с давними, милыми друзьями, ибо нельзя было преодолеть черных пространств страшного города,— каким счастьем и помощью был стук в дверь и шаги человека, то же самое понимающего, так же чувствующего, о том же ревнующего, тем же страдающего, чем страдали мы.

Деятельная, творческая природа И. И. не позволяла ему глядеть на совершающееся сложа руки. Он вечно бегал, вечно за кого-то хлопотал, кому-то помогал, кого-то спасал. Он делал дела и крупные и мелкие, ни от чего не отказывался, лишь бы кому-нибудь помочь. При всей своей непримиримости и кипучей ненависти к большевикам, при очень ясном взгляде на них — он не впадал в уныние: он до конца — до дня нашей разлуки — таким и остался: жарко верующим в Россию, верующим в ее непременное и скорое освобождение. Зная все, что мы перенесли, какие темные глубины мы проходили,— я знаю, какая нужна сила духа и сила жизни, чтобы не потерять веру, чтобы устоять на ногах,— остаться *человеком*. С какой благодарностью обращается мысль моя к И. И. Он помог нам — он и его жена — более, чем сами они об этом думают.

Не могу не прибавить, что сильнее чувства благодарности по отношению к этим людям, а также к другим, там оставшимся, там нечеловечески страдающим и погибающим, к миллионам людей с душой живой — сильнее всех чувств во мне говорит пламенное чувство долга. Я никогда не знала ранее, что оно может быть *пламенным*. Мы здесь; наши тела уже не в глубокой, темной яме, называемой Петербургом; — но не ради нашего избавления избавлены мы, нет у нас чувства избавления — и не может быть, пока звучат в ушах эти голоса оттуда — de profundis *. Каждая минута, когда мы не стремимся приблизить хотя на линию, на полмиллиметра освобождение сидящих в яме,— наш собственный провал, если есть эта минута,— не оправдано избавление наше, и да погибнем мы здесь, как погибли бы там. Все равно, сколько у каждого сил. Сколько бы ни было — он обязан положить их на дело погибающих — все.

И это я говорю не только себе, не только нам: говорю всякому русскому в Европе, даже всякому вообще *человеку*, если только он знает или может как-нибудь понять, что сейчас делается в России.

Я верю, что людям, достойным называться людьми, доступно и даже свойственно именно *пламенное* чувство долга...

Возвращаюсь, после невольного отступления, к фактам.

И. И. с самого начала пошел — «спасать квартиры от разграбления, жильцов от унижения». Сначала он был председателем одного из домовых комитетов, но затем его не утвердили — председателем стал старший дворник. Хитрый мужик, смекавший, что не век эта «ерунда» будет длиться и что ссориться ему с «господами» не расчет,— охотно уступал И. И. К тому же дворник более думал, как бы «спекульнуть» без риска, и был малограмотен. Остальная «беднота», состоявшая уже окончательно из спекулирующих, воров (один шофер хапнул 8 миллионов, попался и чуть не был расстрелян), тайных полицейских («чрезвычайных»), дезертиров и т. д., благодаря тому же малограмотству и отсутствию

* Из глубины (*лат.*).

интереса ко всему, кроме наживы,— эта «беднота» тоже не особенно восставала против энергичного И. И.

Надо все-таки видеть, что за колоссальная чепуха — домовой комитет. Противная, утомляющая работа, обходы неисполнимых декретов, извороты, чтобы отдалить ограбления, разговоры с тупыми посланцами из полиции... А вечные обыски! Как сейчас вижу длинную худую фигуру И. И. без воротника, в стареньком пальто, в 4 часа ночи среди подозрительных, подслеповатых людей с винтовками и кучи баб — новых сыщиков и сыщиц. Это И. И. в качестве уполномоченного от «комитета» сопровождает обыски уже в двадцатую квартиру.

Как известно, все население Петербурга взято «на учет». Всякий, так или иначе, обязан служить «государству» — занимать место если не в армии, то в каком-нибудь правительственном учреждении. Да ведь человек иначе и заработка никакого не может иметь. И почти вся оставшаяся интеллигенция очутилась в большевистских чиновниках. Платят за это ровно столько, чтобы умирать с голоду медленно, а не быстро. К весне 19 года почти все наши знакомые изменились до неузнаваемости, точно другой человек стал. Опухшим — их было очень много — рекомендовалось есть картофель с кожурой,— но к весне картофель вообще исчез, исчезло даже наше лакомство — лепешки из картофельных шкурок. Тогда царила вобла,— и, кажется, я до смертного часа не забуду ее пронзительный, тошный запах, подымавший голову из каждой тарелки супа, из каждой котомки прохожего.

Новые чиновники, загнанные на службу голодом и плеткой,— русские интеллигентные люди — не изменились, конечно, не стали большевиками. Водораздел между «склонившимися» и «сдавшимися», между служащими «за страх» и другими «за совесть» — всегда был очень ясен. Сдавшиеся, передавшиеся насчитываются единицами; они усердствуют, якшаются с комиссарами, говорят высокие слова о «народном гневе», но менее ловкие все-таки голодают (я все говорю о «чиновниках», а не об откровенных спекулянтах). Есть еще «приспособившиеся»; это просто люди обывательского типа; они тянут лямку, думая только о еде; не прочь извернуться, где могут, не прочь и ругнуть, за углом, советскую власть. Но к чести русской интеллигенции надо сказать, что громадная ее часть, подавляющее большинство, состоит именно из «склонившихся», из тех, что с великим страданием, со стиснутыми зубами несут чугунный крест жизни. Эти виноваты лишь в том, что они не герои, т. е. герои, но не активные. Они идут активно на медленную смерть, свою и близких; но нести чугунный крест — тоже своего рода геройство, хотя и пассивное.

К ним надо причислить и почти *всех* офицеров Красной Армии — бывших офицеров армии русской. Ведь когда офицеров мобилизуют (такие мобилизации объявлялись чуть не каждый месяц) — их сразу арестовывают; и не только самого офицера, но его жену, его детей, его мать, отца, сестер, братьев, даже двоюродных дядей и теток. Выдерживают офицера в тюрьме некоторое время непременно *вместе* с родственниками, чтобы понятно было, в чем дело, и если увидят, что офицер из «пассивных» героев — выпускают всех: офицера — в армию, родных под неусыпный надзор. Горе, если прилетит от армейского комиссара донос на этого «военспеца» (как они называются). Едут дяди и тетки,— не говоря о жене с детьми,— куда-то на принудительные работы, а то и запираются в прежний каземат.

Среди офицеров, впрочем, немало оказалось героев и активных. Этих расстреливали почти буквально на глазах жен. В моих листках приведены факты; они происходили на глазах близкого мне человека, женщины-врача, арестованной... за то, что у нее подозрительная фамилия.

Я веду вот к чему. Я хочу в грубых чертах определить, как разделяется сейчас *все население России вообще* по отношению к советской власти. Последние годы много дали нам; много видели мы со всех сторон, и я думаю, что не очень ошибусь в моей сводке. Делаю ее по главным линиям и совершенно объективно. Они относятся ко второй половине 19 года;

вряд ли могло в ней потом что-либо измениться коренным образом.

1. Собственно, народ, низы, крестьяне, в деревнях и Красной Армии, главная русская толща в подавляющем большинстве — нейтралы. По природе русский крестьянин — ярый частный собственник, по воспитанию (века длилось это воспитание!) — раб. Он хитер — но послушен, внешне, всякой силе, если почувствует, что это действительно грубая сила. Он будет молчать и ждать без конца, норовя за уголком устроиться по-своему, но лишь за уголком, у себя в уголке. Он еще весьма узко понимает и пространство, и время. Ему довольно безразличен «коммунизм», пока не коснулся его самого, пока это вообще какое-то «начальство». Если при этом начальстве можно забрать землю, разогнать помещиков и поспекулировать в городе — тем лучше. Но едва коммунистические лапы тянутся к деревне — мужик ершится. Упрямство у него такое же бесконечное, как и терпение. Землю, захваченное добро он считает *своими*, никакие речи никаких «товарищей» не разбудят его. Он не хочет работать «на чужих ребят», и когда большевики стали посылать отряды, чтобы реквизировать «излишки»,— эти излишки исчезли, а где не были припрятаны — там мужики встретили реквизиторов с винтовками и даже с пулеметами. Вскоре мужик сообразил, что спокойнее вырабатывать хлеба лишь столько, сколько надо для себя, его уж и защищать. И половина полей просто начала пустовать. Нахватанные керенки все зарываются да зарываются в кубышки; и вот мужик начинает хмуриться: да скоро ли время, чтобы свободно попользоваться накопленным богатством? Он ни минуты не сомневается, что «они» (большевики) кончаются; но когда? Пора бы... И «коммунист» — уже ругательное слово в деревне.

Воевать мужик так же не хочет, как не хотел при царе; и так же покоряется принудительному набору, как покорялся при царе. Кроме того, в деревне, особенно зимой, и делать нечего, и хлеб на счету; в Красной же Армии — обещают паек, одевку, обувку; да и веселее там молодому парню, уже привыкшему лодырничать. На фронт — не всех же на фронт. Посланные на фронт покоряются, пока над ними зоркие очи комиссаров; но бегут кучами при малейшей возможности. Панике поддаются с легкостью удивляющей, и тогда бегут слепо, не взирая ни на что. Веснами, едва пригреет солнышко, и можно в деревню,— бегут неудержимо и без паники: просто текут назад, прячась по лесам, органически превращаясь в «зеленых».

Большевики отлично все это знают. Прекрасно понимают своих подданных, свою армию,— учитывают все. Но они так же прекрасно учитывают, что их враги — европейцы ли, собственные ли белые генералы — ничего не понимают и ничего не знают. На этой слепоте, я полагаю, они и строят все свои главные надежды.

2. Рабочие? Пролетариат? Но, собственно, пролетариата в России почти не было и раньше, говорить же о нем сейчас, когда девять десятых фабрик закрылись,— просто смешно. Российские рабочие — те же крестьяне, и с закрытием заводов они расплылись — в деревню, в Красную Армию. За оставшимися в городах, на работающих фабриках, большевики следят особенно зорко, обращаются с ними и осторожно — и беспощадно. Периодически повторяются вспышки террора именно рабочего. И это понятно, ибо громадное большинство оставшихся рабочих уже почти не нейтрально, оно *враждебно* большевикам. Большевикам не по себе от этой, глухой пока, враждебности, и они ведут себя тут очень нервно; то заискивают, то неистовствуют. На официальных митингах все бродят какие-то искры, и порою достаточно одному взглянуть исподлобья, проворчать: «Надоело уже все это...», чтобы заволновалось собрание, чтобы занадрывались одни ораторы, чтобы побежали другие черным ходом к своим автомобилям. Слишком понятна эта неудержимо растущая враждебность к большевикам в средней массе рабочих: беспросветный голод, несмотря на увеличение ставок («Чего на эти ленинки купишь? Тыща тоже называется! Куча...» следует непечатное слово), беззаконие, расхищение, царящие на фабриках, разрушение производительного дела в корне и, наконец, неслыханное количество безработ-

ных — все это слишком достаточные причины рабочего озлобления. Пассивного, как у большинства русских людей, и особенно бессильного, потому что «власти» особенно заботятся о разъединении рабочих. Запрещены всякие организации, всякие сходки, сборища, митинги, кроме официально назначаемых. Сколько юрких сыщиков шныряют по фабрикам. Русские рабочие очутились в таких ежовых рукавицах, какие им не снились при царе. Вывеска — уверения, что их же рукавицы — «рабочее» же правительство,— на них более не действуют и никого не обманывают.

3. Городское обывательское населеиие, полуинтеллигенты, интеллигенты-чиновники, а также верхи и полуверхи Красной Армии, ее командный состав — об этом слое уже было упомянуто. Взятый en gros — он в подавляющем большинстве *непримирим* по отношению к «советской власти». Нейтралов сравнительно немного, да и нейтралами они могут быть названы лишь в той мере, в какой было названо нейтральным крестьянство. Под тончайшей пленкой — и у них, у нейтралов, лежит самая определенная враждебность к данной власти — трусливая ненависть или презрение. С каким злорадством накидывается обывательщина, верхняя и нижняя, на всякую неудачу большевиков, с какой жадностью ловит слухи о их близком падении. Не раз и не два мне собственными ушами приходилось слышать, как ждут освободителей: «Хоть сам черт, хоть дьявол,— только бы пришли! И чего они там, союзники эти самые! Часок только и пострелять с моря, и готово дело! Уж мы бы тут нашей здешней сволочи удрать не дали,— нет! Уж мы бы с ней тогда сами расправились!» Но этого «часочка стрельбы» настоящей не было, и разочарованные жители Петербурга после взрыва надежды молчаливо-злобными взглядами провожают автомобиль. (Автомобиль — это, значит, едут большевики. Автомобилей других нет.)

Вот моя сводка. И не моя вовсе — ее, такую, делают все в России, все знают, что в грубых и общих чертах отношение русского населения к большевистской власти именно таково. Я ничего не сказала о чистых спекулянтах. Но это не слои и не класс. Спекулянты, сколько бы их ни было, все-таки отдельные личности и принадлежат ко всем слоям и классам. Они, конечно, рады, что подвернулись такие роскошные условия — власть большевиков — для легкой наживы. Но в целом и на армию спекулянтов большевики не могут рассчитывать, как на твердую опору. Происходит та же приблизительно история, как с крестьянами. Кучи спекулянтов уже стонут: «Да когда же? Долго ли? Когда же попользоваться награбленным?» А жить все дороже, грабить надо шире, значит, и рисковать больше... Расчетливый спекулянт с таким же нетерпеливым ожиданием считает дни, как иной чиновник.

Да, вот факт, вот правда о России в немногих словах: *Россией сейчас распоряжается ничтожная кучка людей, к которой вся остальная часть населения, в громадном большинстве, относится отрицательно и даже враждебно.* Получается истинная картина чужеземного завоевания. Латышские, башкирские и китайские полки (самые надежные) дорисовывают эту картину. Из латышей и монголов составлена личная охрана большевиков: китайцы расстреливают арестованных — захваченных. (Чуть не написала «осужденных», но осужденных нет, ибо нет суда над захваченными. Их просто *так* расстреливают.) Китайские же полки или башкирские идут в тылу посланных в наступление красноармейцев, чтобы, когда они побегут (а они бегут!), встретить их пулеметным огнем и заставить повернуть.

Чем не монгольское иго?

Я знаю вопрос, который сам собой возникает после моих утверждений. Вот он: если все это правда, если это действительно власть кучки, беспримерное насилие меньшинства над таким большинством, как *почти* все население огромной страны,— почему нет внутреннего переворота? Почему хозяйничанье большевиков длится вот уже почти три года? Как это возможно?

Это не только возможно — это даже не удивительно для того, кто знает Россию, рус-

ский народ, его историю,— и в то же время знает большевиков. Россия — страна всех возможностей, сказал кто-то. И страна всех невозможностей, прибавлю я. О причинах такой на первый взгляд неестественной нелепости — длящегося владычества кучки партийных людей, недавно подпольных, над огромным народом вопреки его воле — об этом я говорю много в моем дневнике. Почти весь он, пожалуй, об этом. Здесь подчеркну только еще раз; мы знаем, что это именно так и должно было быть; но мы знаем еще — и это страшно важно! — что малейший *внешний толчок*, малейший камешек, упавший на черную неподвижность сегодняшней России,— произведет оглушительный взрыв. Ибо это чернота не болота, но чернота порохового погреба.

Никаких тут нет сомнений у большевиков. Никаких нет и не было сомнений у нас, всех остальных русских людей. Отсюда понятно, что переживали мы в мае 19 года, мы — и они, большевики. Они, впрочем, трусы, а у страха глаза велики; при одном лишь том факте, что наступает лето, делается возможным удар на Петербург, и все в городе ждали удара,— большевики засуетились, заволновались. А когда началось наступление с Ямбурга — паника их стала неописуема. Мы были гораздо скептичнее. Мы совершенно не знали, кто наступает, с какими силами, а главное — есть ли там, на Западе, какая-нибудь согласованность, есть ли *единая воля* у идущих — воля дойти во что бы то ни стало. Для внешнего толчка, самого легкого, но вполне достаточного, чтобы опрокинуть центральную власть, это единство воли необходимо. Паника большевиков, цену которой мы знали, не доказывала еще, что общий удар на Петербург предрешен. Напряжение в городе, однако, все возрастало и ширилось.

Нельзя передать словами краску, запах, воздух в такие минуты ожидания. Уже потому нельзя, что дни эти особенно тихи, молчаливы, никаких слов никто не говорит, да и зачем слова? Надо ждать и слушать; надо угадать, захватить мгновение... не переворота, а то последнее мгновение, когда можно сказать «пора»: когда можно встать действенно, за «тех» — против «этих».

Целые коллективы, по вывеске большевистские, в неусыпном напряжении ждали такой минуты. (Меня поймут, мне простят, конечно, мою бездоказательность и неопределенность: я пишу это в 20 году, во время *длящегося* царства большевиков). Красноармейцы, посылаемые на фронт, были проще и разговорчивее: «Мы до первого кордона. А там сейчас — на ту сторону». Помню их весело и глупо улыбающиеся лица.

События на Красной Горке (почти у самого Кронштадта) — неизвестны в подробностях; но, по всем вероятиям, это была ошибка, обман момента; слишком измученные ожиданием люди сказали себе «пора!» — а было вовсе не пора. Да настоящего момента для внутреннего восстания тогда и совсем не было (как не было его и после, осенью, во время наступления Юденича). Не было, видим мы теперь, *единой воли* у идущих, не было ее еще ни разу... Будет ли когда-нибудь?

Майская эпопея скатилась, как волна, оставив после себя полосы опустошения; нас только сдавили, задушили новыми распоряжениями и декретами, новыми запрещениями и ограничениями — новые замки повесили на двери тюремные. Да цены сразу удвоились, так что волей-неволей приходилось думать о последней рубашке — когда, сегодня или завтра, снимать ее, чтоб послать на рынок.

Но думалось и об этом как-то тупо. Не уныние, а именно тупость начинала все больше овладевать всеми. Собственно, наша внешняя жизнь изменялась так медленно и незаметно, что на первый взгляд вот тогда, весной 19 года, все было как бы то же: та же квартира, в кухне та же старенькая няня моя, та же преданная как служанка, деревенская девушка, с отвращением и покорностью глядящая на «этих коммунистов». Правда, пустели полки с книгами, унесли пианино, постепенно срывались занавесы с окон и дверей, а в кухне бедная моя, едва живая старушка тщетно суетилась над полупустыми горшками и бранилась с таинственными личностями, на ухо обещающими картофель по сто рублей фунт.

Кухня была у нас самое оживленное место в квартире. Кого-кого там не приходилось мне видеть! Кухонные митинги порою давали нам очень живую информацию.

Все пустеющая рабочая комната, балкон, с которого, поверх зеленых шапок Таврического сада, можно видеть главы страшного Смольного, бледно-золотые в белую майскую ночь,— о, какое странное томление, какая — словно предсмертная — тоска.

Тетрадей моих давно уже не было. Давно уже они покоились в могиле. Но вот тогда-то, в начале июня, я и нашла черную книжку, где стала делать не частые, краткие отметки.

Я их печатаю здесь, как они есть, в редких случаях прибавляя несколько поясняющих слов. Я не называю почти ни одного имени — причины понятны, о них уже сказано выше.

Черная книжка

1919 г. Июнь
Спб

...Не забывай моих последних дней...

...О, эти наши дни последние,
Остатки неподвижных дней.
И только небо в полночь меднее,
Да зори голые длинней...

Июнь... Все хорошо. Все, как быть должно. Инвалиды (грязный дом напротив нас, тоже угловой, с железными балконами) заводят свою музыку разно: то с самого утра, то попозже. Но заведя — уже не прекращают. Что-нибудь да зудит: или гармоника, или дудка, или граммофон. Иногда граммофон и гармоника вместе. В разных этажах. Кто не дудит — лежит брюхом на подоконниках, разнастанный, смотрит или плюет на тротуар.

После 11 ч. вечера, когда уже запрещено ходить по улицам (т. е. после 8 — ведь у нас «революционное» время, часы на 3 часа вперед!), музыка не кончается, но валявшиеся на подоконниках сходят на подъезд, усаживаются. Вокруг толпятся так называемые «барышни», в белых туфлях,— «Катьки мои толстоморденькие», о которых А. Блок написал:

«С юнкерьем гулять ходила,
С солдатьем гулять пошла».

Визги. Хохотки.

Инвалиды (и почему они — инвалиды? все они целы, никто не ранен, госпиталя тут нет) — «инвалиды» — здоровые, крепкие мужчины. Праздник и будни у них одинаковы. Они ничем не заняты. Слышно, будто спекулируют, но лишь по знакомству. Нам ни одной картофелины не продали.

А граммофон их звенит в ушах, даже ночью, светлой, как день, когда уже спят инвалиды, замолк граммофон.

Утрами по зеленой уличной траве извиваются змеями приютские дети,— «пролетарские» дети,— это их ведут в Таврический сад. Они — то в красных, то в желтых шапчонках, похожих на дурацкие колпаки. Мордочки землистого цвета, сами голоногие. На нашей улице, когда-то очень аристократической, очень много было красивых особняков. Они все давно реквизированы, наиболее разрушенные — покинуты, отданы «под детей». Приюты доканчивают эти особняки. Мимо некоторых уже пройти нельзя,— такая грязь и вонь. Стекла выбиты. На подоконниках лежат дети,— совершенно так, как инвалиды лежат,— мальчишки и девчонки, большие и малые, и, как инвалиды, глазеют и плюют на улицы. Самые маленькие играют сором на разломленных плитах тротуара, под деревьями, или бегают по уличной траве, шлепая голыми пятками. Ставят детей в пары и ведут в Тав-

рический лишь по утрам. Остальное время дня они свободны. И праздны, опять совершенно так же, как инвалиды.

Есть, впрочем, и много отличий между детьми и инвалидами. Хотя бы это одно: у детей лица желтые — у инвалидов красные.

Вчера (28 июня) дежурила у ворот. Ведь у нас со времени весенней большевистской паники установлено бессменное дежурство на тротуаре, день и ночь. Дежурят все, без изъятья, жильцы дома по очереди, по три часа каждый. Для чего это нужно сидеть на пустынной, всегда светлой улице — не знает никто. Но сидят. Где барышня на доске, где дитя, где старик. Под одними воротами раз видела дежурящую интеллигентного облика старуху; такую старуху, что ей вынесли на тротуар драное кресло из квартиры. Сидит покорно, защищает, бедная, свой «революционный» дом и «красный Петроград» от «белых негодяев»... которые даже не наступают.

Вчера, во время моих трех часов «защиты», — улица являла вид самый необыкновенный. Шныряли, грохоча и дребезжа, расшатанные, вонючие большевистские автомобили. Маршировали какие-то ободранцы с винтовками. Словом,— царило непривычное оживление. Узнаю тут же, на улице, что рядом в Таврическом дворце идет назначенный большевиками митинг и заседание их Совета. И что дела как-то неожиданно-неприятно там обертываются для большевиков, даже трамваи вдруг забастовали. Ну что же, разбастуют.

Без всякого волнения, почти без любопытства, слежу за шныряющими властями. Постоянная история, и ничего ни из одной не выходит...

Женщины с черновато-синими лицами, с горшками и посудинами в ослабевших руках (суп с воблой несут из общественной столовой) — останавливались на углах, шушукались, озираясь. Напрасно, голубушки! У надежды глаза так же велики, как и у страха.

Рынки опять разогнали и запечатали. Из казны дается на день 1/8 хлеба. Муку ржаную обещали нам принести тайком — 200 р. фунт.

Катя спросила у меня 300 рублей,— отдать за починку туфель.

Если ночью горит электричество — значит, в этом районе обыски. У нас уже было два. Оцепляют дом и ходят целую ночь, топчась, по квартирам. В первый раз обыском заведовал какой-то «товарищ Савин», подслеповатый, одетый, как рабочий. Сопровождающий обыск друг (ужасно он похож, без воротничка, на большую, худую, печальную птицу) — шепнул «товарищу», что тут, мол, писатели, какое у них оружие! Савин слегка ковырнул мои бумаги и спросил: участвую ли *я теперь* в периодических изданиях? На мой отрицательный ответ ничего, однако, не сказал. Куча баб в платках (новые сыщицы-коммунистки) интересовались больше содержимым моих шкафов. Шептались. В то время мы только что начинали продажу, и бабы явно были недовольны, что шкаф не пуст. Однако обошлось. Наш друг ходил по пятам каждой бабы.

На втором обыске женщин не было. Зато дети. Мальчик лет 9 на вид, шустрый и любопытный, усердно рылся в комодах и в письменном столе Дм. Серг. Но в комодах с особенным вкусом. Этот, наверно, «коммунист». При каком еще строе, кроме коммунистического, удалось бы юному государственному деятелю полазить по чужим ящикам! А тут — открывай любой. «Ведь, подумайте, ведь они детей развращают! Детей! Ведь я на этого мальчика без стыда и жалости смотреть не мог!» — вопил бедный И. И. в негодовании на другой день.

Яркое солнце, высокая ограда С. собора. На каменной приступочке сидит дама в трауре. Сидит бессильно, как-то вся опустившись. Вдруг тихо, мучительно протянула руку. Не на хлеб попросила — куда! Кто теперь в состоянии подать «на хлеб». На воблу.

Холеры еще нет. Есть дизентерия. И растет. С тех пор, как выключили все телефо-

ны,— мы почти не сообщаемся. Не знаем, кто болен, кто жив, кто умер. Трудно знать друг о друге,— а увидаться еще труднее.

Извозчика можно достать — от 500 р. конец.

Мухи. Тишина. Если кто-нибудь не возвращается домой — значит, его арестовали. Так арестовали мужа нашей квартирной соседки, древнего-древнего старика. Он не был, да и не мог быть причастен к «контрреволюции», он просто *шел по Гороховой*. И домой не пришел. Несчастная старуха неделю сходила с ума, а когда, наконец, узнала, где он сидит, и собралась послать ему еду (заключенные кормятся только тем, что им присылают «с воли») — то оказалось, что старец уже умер. От воспаления легких или от голода.

Так же не вернулся домой другой старик, знакомый З. Этот зашел случайно в швейцарское посольство, а там засада.

Еще не умер, сидит до сих пор. Любопытно, что он давно на большевистской же службе, в каком-то учреждении, которое его от Гороховой требует, он нужен... Но Гороховая не отдает.

Опять неудавшаяся гроза,— какое лето странное! Но посвежело.

А в общем, ничего не изменяется. Пыталась целый день продавать старые башмаки. Не дают полторы тысячи,— малы. Отдала задешево. Есть-то надо.

Еще одного надо записать в синодик. Передался большевикам А. Ф. Кони. Известный всему Петербургу сенатор Кони, писатель и лектор, хромой, 75-летний старец. За пролетку и крупу решил «служить пролетариату». Написал об этом «самому» Луначарскому. Тот бросился читать письмо всюду: «Товарищи! А. Ф. Кони — наш! Вот его письмо». Уже объявлены какие-то лекции Кони — красноармейцам.

Самое жалкое — это что он, кажется, не очень и нуждался. Дима * не так давно был у него. Зачем же это на старости лет? Крупы будет больше, будут за ним на лекции пролетку посылать,— но ведь стыдно!

С Москвой, жаль, почти нет сообщений. А то бы достать книжку Брюсова «Почему я стал коммунистом». Он теперь, говорят, важная шишка у большевиков. Общий цензор. (Издавна злоупотребляет наркотиками.)

Валерий Брюсов — один из наших «больших талантов». Поэт «конца века»,— их когда-то называли «декадентами». Мы с ним были всю жизнь очень хороши, хотя дружить так, как я дружила с Блоком и с Белым, с ним было трудно. Не больно ли, что как раз эти двое последних, лучшие, кажется, из поэтов и личные мои долголетние друзья — чуть не первыми пришли к большевикам? Впрочем,— какой большевик — Блок! Он и вертится где-то около, в левых эсерах. Он и А. Белый — это просто «потерянные дети», ничего не понимающие, аполитичные отныне и до века. Блок и сам как-то соглашался, что он «потерянное дитя», не больше.

Но бывают времена, когда нельзя быть безответственным, когда всякий обязан быть человеком. И я «взорвала мосты» между нами, как это ни больно. Пусть у Блока, да и у Белого,— «душа невинна»: я не прощу им никогда.

Брюсов другого типа. Он не «потерянное дитя», хотя так же безответствен. Но о разрыве с Брюсовым я не жалею. Я жалею его самого.

Все-таки самый замечательный русский поэт и писатель — Сологуб — остался «человеком». Не пошел к большевикам. И не пойдет. Невесело ему зато живется.

Молодой поэт Натан В., из кружка Горького, но очень восставший здесь против большевиков,— в Киеве очутился на посту Луначарского. Интеллигенты стали под его покровительство.

---

* Д. В. Философов.

Шла дама по Таврическому саду. На одной иоге туфля, на другой — лапоть.

Деревянные дома приказано снести иа дрова. О, разрушать живо, разрушать мастера. Разломают и растаскают.

Таскают и торцы. Сегодня сама видела, как мальчишка с невинным видом разбирал мостовую. Под торцом доски. Их еще ие трогают. Впрочем, нет, выворачивают и доски, ибо кроме «плешин» — вынутых торцов — кое-где на улицах есть и бездонные ямы.

N. был арестоваи в Павловске на музыке, во время облавы. Допрашивал сам Петерс, наш «беспощадный» (латыш). Не верил, что N. студент. Оттого, верно, и выпустил. На студентов особенное гонеиие. С весны их начали прибирать к рукам. Яростно мобилизуют. Но все-таки кое-кто выкручивается. Университет вообще разрушен, но остатки студентов все-таки нежелательный элемеит. Это, хотя и — увы! — пассивная, но все-таки оппозиция. Большевики же ие терпят вблизи никакой, даже пассивиой, даже глухой и немой. И если только могут, что только могут, уиичтожают. Непременно уничтожат студентов,— останутся только профессора. Студенты все-таки им, большевикам, кажутся *коллективной* оппозицией, а профессора разъедииеиы, каждый — отдельная оппозиция, и они их преследуют отдельио.

Сегодня прибавили еще 1/8 фуита хлеба на два дня. Какое объедение.

Ночи стали темнее.

Да, и очеиь темиее. Ведь уже старый июль вполовине. Сегодня 15 июля.

Косит дизентерия. Направо и иалево. Нет дома, где нет больных. В иашем доме уже двое умерло. Холера только в развитии.

16 июля. Утром из окна: едет воз гробов. Белые, иовые, блестят на солнце. Воз обвязаи веревками.

В гробах — покойиики, кому удалось похорониться. Это не всякому удается. Запаха я не слышала, хотя окно было отвореио. А на Загородном — пишет «Правда» — сильно пахнут, когда едут.

Няня моя, чтобы получить парусиновые туфли за 117 р. (ей удалось добыть ордер казенный!) стояла в очереди сегодня, вчера и третьего дня с 7 ч. утра до 5. Десять часов подряд.

Ничего не получила.

А И. И. ездил к Горькому, опять из-за брата (ведь у И. И. брата арестовали).

Рассказывает: попал на обед, по несчастью. Мне ие предложили, да я бы и не согласился ии за что взять его, горьковский, кусок в рот; но, признаюсь, был я голодеи, и иеприятно очеиь было: и котлеты, и огурцы свежие, кисель черничный...

Бедный И. И., когда-то *буквально спасший Горького от смерти*! За это ему теперь позволяется смотреть, как Горький обедает. И только; потому что на просьбу относительно брата Горький ответил: «Вы мне надоели! Ну и пусть вашего брата расстреляют!»

Об этом И. И. рассказывал с волиеиием, с дрожью в голосе. Не оттого, что расстреляют брата (его, вероятно, ие расстреляют), не оттого, что Горький забыл, что сделал для него И. И.,— а потому, что И. И. *видит* теперь Горького, настоящий облик человека, которого он любил... и любит, может быть, до сих пор.

Меня же Горький и не ранит (я никогда его не любила) и не удивляет (я всегда видела его довольно ясно). Это человек прежде всего не только иекультуриый, ио *неспособный* к культуре виутренно. А кроме того — у него совершеиио бабья душа. Он может быть и добр — и зол. Он все может и ни за что не отвечает. Ои какой-то бессознательиый. Сейчас ои прииосит миого вреда, играет роль крайне отрицательную,— но все это, в конце концов, жеиская пассивность,— «путь Магдалинин». Но Магдалииа, которая никогда не раскается, ибо никогда не поймет своих грехов.

Не завидую я его котлетам. Наша затхлая каша и водянистый суп, на которых мы сидим месяцами (равно, как и И. И.),— право, пища более здоровая!

Старика Г., знакомого З. (я о нем писала), не выпустили, но отправили в Москву, на работы, в лагерь. Обвинений никаких. На работу нужно ходить за 35 верст.

Что-то все делается, делается, мы чуем, а что — не знаем.

Границы плотно заперты. В «Правде» и в «Известиях» — абсолютная чепуха. А это наши две *единственные* газеты, два полулистика грязной бумаги,— официозы. (В «коммунистическом государстве» пресса допускается ведь только *казенная*. Книгоиздательство тоже только одно, государственное,— казенное. Впрочем, оно никаких книг и не издает, издает пока лишь брошюры коммунистические. Книги соответственные еще не написаны, все старые — «контрреволюционны»; можно подождать, кстати, и бумаги мало, «ленинки» печатать — и то не хватает.)

Что пишется в официозах — понять нельзя. Мы и не понимаем.

И никто. Думаю; сами большевики мало понимают, мало знают. Живут со дня на день. Зеленая армия ширится.

Дизентерия, дизентерия... И холера тоже. В субботу пять лет войне. *Наша* война кончиться не может, поэтому я уже и мира не понимаю!

Надо продавать все до нитки. Но не умею, плохо идет продажа.

Дмитрий * сидит до истощения, целыми днями, корректируя глупые, малограмотные переводы глупых романов для «Всемирной литературы». Это такое учреждение, созданное покровительством Горького и одного из его паразитов — Тихонова, для подкармливания будто бы интеллигентов. Переводы эти не печатаются — да и незачем их печатать.

Платят 300 «ленинок» с громадного листа (ремингтон на счет переводчика), а за корректуру — 100 «ленинок».

Дмитрий сидит над этими корректурами днем, а я по ночам. Над каким-то французским романом. переведенным голодной барышней, 14 ночей просидела.

Интересно, на что в Совдепии пригодились писатели. Да и то, в сущности, не пригодились. Это так, благотворительность, копеечка, поданная Горьким Мережковскому.

На копеечку эту (за 14 ночей я получила около тысячи «ленинок», полдня жизни) — не раскутишься. Выгоднее продать старые штаны.

Ощущение *лжи* вокруг — ощущение чисто физическое. Я этого раньше не знала. Как будто с дыханием в рот вливается какая-то холодная и липкая струя. Я чувствую не только ее липкость, но и особый запах, ни с чем не сравнимый.

Сегодня опять всю ночь горело электричество,— обыски. Верно, для принудительных работ.

Яркий день. Годовщина (пять лет!) войны. С тех пор почти не живу. О, как я ненавидела ее всегда, этот европейский позор, эту бессмысленную петлю, которую человечество накинуло на себя! Я уже не говорю о России. Я не говорю и о побежденных. Но с первого мгновения я знала, что эта война грозит неисчислимыми бедствиями *всей* Европе, и победителям и побежденным. Помню, как я упрямо, до тупости, восставала на войну, шла против если не всех,— то многих, иногда против самых близких людей (не против Д. С. **, он был со мной). Общественно — мы звука не могли издать не военного, благодаря царской цензуре. На мой доклад в Религиозно-философском о-ве, самый осторожный, нападали в течение двух заседаний. Я до сих пор утверждаю, что здравый смысл был на моей стороне. А после мне приходилось выслушивать такие вопросы: «Вот, вы всегда были против войны, значит, вы за большевиков?» За большевиков! Как будто мы их не знали, как будто мы не знали до всякой революции, что большевики — это перманентная война, безысходная война?

* Д. С. Мережковский.

** Мережковский.

Большевистская власть в России — порождение, детище войны. И пока она будет — будет война. Гражданская? Как бы не так! Просто себе война, только двойная еще. и внешняя, и внутренняя. И последняя в самой омерзительной форме террора, т. е. убийства вооруженными — безоружных и беззащитных. Но довольно об этом, довольно! Я слышу выстрелы. Оставляю перо, иду на открытый балкон.

Посередине улицы медленно собираются люди. Дети, женщины... даже знаменитые «инвалиды», что напротив, слезли с подоконников,— и музыку забыли. Глядят вверх. Совершенно безмолвствуют. Как завороженные — и взрослые, и дети. В чистейшем голубом воздухе, между домами,— круглые, точно белые клубочки, плавают дымки. Это «наши» (большевистские) части стреляют в небо по будто бы налетевшим «вражеским» аэропланам.

На белые ватные комочки «наших» орудий никто не смотрит. Глядят в другую сторону и выше, ища «врагов». Мальчишка жадно и робко указует куда-то перстом, все оборачиваются туда. Но, кажется, ничего не видят. По крайней мере я, несмотря на бинокль, ничего не вижу.

Кто — «они»? Белая армия? Союзники — англичане или французы? Зачем это? Прилетают любоваться, как мы вымираем? Да ведь с этой высоты все равно не видно.

Балкон меня не удовлетворяет. Втихомолку, накинув платок, бегу с Катей, горничной, по черному ходу вниз и подхожу к жидкой кучке посреди улицы.

Совсем ничего не вижу в небе (бинокль дома остался), а люди гробово молчат. Я жду. Вот, слышу, желтая баба шепчет соседке:

— И чего они — летают-летают... Союзники тоже... Хоть бы бумажку бросили, когда придут, или что...

Тихо говорила баба, но ближний «инвалид» слышал. Он, впрочем, невинен.

— Чего бумажку, булку бы сбросили, вот это дело!

Баба вдруг разъярилась:

— Булки захотел, толстомордый! Хоть бы бомбу шваркнули, и за то бы спасибо! Разорвало бы окаянных, да и нам уж один конец, легче бы!

Сказав это, баба крупными шагами, бодрясь, пошла прочь. Но я знаю — струсила. Хоть не видать ничего «такого» около, а все же... С улицы легче всего попасть на Гороховую, а там в списках потеряешься, и каюк. Это и бабам хорошо известно.

Пальба затихла, кучка стала расходиться. Вернулась и я домой.

Да зачем эти праздные налеты?

Вчера то же было, говорят, в Кронштадте. То же самое.

Зачем это?

Дни — как день один, громадный, только мигающий — ночью. Текучее неподвижное время. Лупорожий А-в с нашего двора, праздный ражий детина из шоферов (не совсем праздный, широко спекулирует, кажется),— купил наше пианино за 7 т. «ленинок», самовар новый за тысячу и за 7 т. мой парижский мех — жене.

Приходят, кроме того, всякие спекулянты, тип один, обычный.— тип нашего Гржебина: тот же аферизм, нажива на чужой петле. Гржебин даже любопытный индивидуум. Прирожденный паразит и мародер интеллигентской среды. Вечно он околачивался около всяких литературных предприятий, издательств,— к некоторым даже присасывался,— но, в общем, удачи не имел. Иногда промахивался: в книгоиздательстве «Шиповник» раз получил гонорар за художника Сомова, и когда это открылось,— слезно умолял не предавать дело огласке. До войны бедствовал, случалось — занимал по 5 рублей; во время войны уже несколько окрылился, завел свой журналишко, самый патриотический и военный — «Отечество».

С первого момента революции он, как клещ, впился в Горького. Не отставал от него ни на шаг, кто-то видел его на запятках автомобиля вел. княгини Ксении Александров-

ны, когда в нем, в мартовские дни, разъезжал Горький (Быть может, автомобиль был не Ксении, другой вел. княгини, за это не ручаюсь.)

Горькому сметливый Зиновий остался верен. Все поднимаясь и поднимаясь по паразитарной лестнице, он вышел в чины. Теперь он правая рука — главный фактор Горького. Вхож к нему во всякое время, достает ему по случаю разные «предметы искусства» — ведь Горький жадно скупает всякие вазы и эмали у презренных «буржуев», умирающих с голоду. (У старика Е., интеллигентного либерала, больного, сам приехал посмотреть остатки китайского фарфора. И как торговался!) Квартира Горького имеет вид музея — или лавки старьевщика, пожалуй: ведь горька участь Горького тут, мало он понимает в «предметах искусства», несмотря на всю охоту смертную. Часами сидит, перетирает эмали, любуется приобретенным... и, верно, думает, бедняжка, что это страшно «культурно!»

В последнее время стал скупать и порнографические альбомы. Но и в них ничего не понимает. Мне говорил один антиквар-библиотекарь, с невинной досадой: «Заплатил Горький за один альбом такой 10 тысяч, а он и пяти не стоит!»

Кроме альбомов и эмалей, Зиновий Гржебин поставляет Горькому и царские сторублевки. И. И. случайно натолкнулся на Гржебина в передней Горького с целым узлом таких сторублевок, завязанных в платок.

Но присосавшись к Горькому, Зиновий делает попутно и свои главные дела: какие-то громадные, темные обороты с финляндской бумагой, с финляндской валютой и даже с какими-то «масленками»; Бог уж их знает, что это за «масленки». Должно быть,— вкусные дела, ибо он живет в нашем доме в громадной квартире бывшего домовладельца, покупает сразу пуд телятины (50 тысяч), имеет свою пролетку и лошадь (даже не знаю, сколько,— тысячи 3 в день?).

К писателям Гржебин относится теперь по-меценатски. У него есть как бы свое (полулегальное, под крылом Горького) издательство. Он скупает всех писателей с именами,— скупает «впрок»,— ведь теперь нельзя издавать. На случай переворота — вся русская литература в его руках, по договорам, на многие лета,— и как выгодно приобретенная! Буквально, буквально за несколько кусков хлеба!

Ни один издатель при мне и со мной так бесстыдно не торговался, как Гржебин. А уж кажется, перевидали издателей мы на своем веку.

Стыдно сказать, за *сколько* он покупал меня и Мережковского. Стыдно не нам, конечно. Люди с петлей на шее уже таких вещей не стыдятся.

Однако что я — столько о Гржебине. Это сегодня день такой, все разные комиссионеры. Мебельщик развязно предлагал Д. С-чу продать ему «всю его личную библиотеку и рукописи». У Злобиных он уже купил гостиную — за 12 рублей (тысяч). Армянка-бриллиантщица поздно вечером принесла мне 6 тысяч за мою брошку (большой бриллиант). Шестьсот взяла себе. Показывала — в сумочке у нее великолепное бриллиантовое колье чье-то — 400 тысяч. Получит за комиссию 40 т. сразу.

Это все крупные аферисты, гады, которыми кишит наша гнилая «социалистическая» заводь. Мелочь же порой даже симпатична,— вроде чухонки, бывшей кухарки расстрелянного министра Щегловитого. Эти все-таки очень рискуют, когда тащат наши вещи на рынок. На рынках вечные облавы, разгоны, стрельба, избиения.

Сегодня избивали на Мальцевском. Убили 12-летнюю девочку. (Сами даже, говорят, смутились.)

Чем объяснить эти облавы? Разве любовью к искусству, главным образом. Через час после избиений те же люди на тех же местах снова торгуют тем же. Да и как иначе? Кто бы остался в живых, если б не торговали они — вопреки избиениям?

Надо понять, что мы не знаем даже того, что делается *буквально* в ста шагах от нас (в Таврическом дворце, например). Тогда будет понятно, что мы не можем составить себе

представлеиие о совершающемся в иескольких верстах, ие говоря уже о Юге или Европе!

Вот характериая иллюстрация.

На иедавией коифереиции «матросов и красноармейцев» иаш петербургский диктатор, Зиновьев (Радомысльский), пережил весьма иеприятиую, весьма щекотливую мииуту. Казалось бы, собрание иадежиое, профильтроваииое (других ие собирают). В «Правде», для осведомлеиия верноподданых, в отчете об этой коифереиции было иапечатано (цитирую дословио), что «т. Зииовьев объявил о прибытии великого писателя Горького, великого противиика войиы, теперь великого побориика советской власти». И Горький сказал речь: «...воюйте, а то придет Колчак и оторвет вам голову». После этого «был покрыт длительиыми овациями».

Нам посчастливилось узиать правду, помимо «Правды»,— от очевидцев, присутствовавших на собраиии (имеи, коиечно, ие иазову). Надежиое собраиие возмутилось. «Коммуиисты» вдруг точно взбесились: полезли иа Зииовьева с криками: «Долой войиу! Долой комиссаров!»

Кое-где стали сжиматься кулаки. Зииовьев, окружеииый, струсил. Хотел удрать задиим ходом,— и ие мог. Предусмотрительиая личпая секретарша Зииовьева, Костииа, бросилась отыскивать Горького. Ездила иа зииовьевском автомобиле по всему городу, даже в иаш дом заглядывала,— а вдруг Горький, случаем, у И. И.? Где-то отыскала, иакоиец, привезла — спасать Зииовьева, спасать большевиков.

Горький говорит мало, глухо, отрывисто,— будто лает. Насчет Колчака, «отрыва головы» и совета воевать — очевидцы ие говорили, может быть, ие дослышали.

Красиоречие Горького вряд ли могло иметь решающее зиачеиие, ио «верная и предаииая» часть сборища постаралась использовать выход «великого писателя, побориика» и т. д. как диверсию отвлекающую. После иее «коифереицию» быстро закоичили и закрыли.

Вскоре после иапечатаииого отчета И. И. был у Горького (все из-за брата). В упор спросил его, правда ли, что Горький большевиков спасал? Правда ли, что требовал продолжеиия войиы? Неужели, как выразился И. И.,— «Горький и этим теперь *опаскужен*»?

На это Горький пролаял мрачно, что ии слова ие говорил о войне. Будто бы в Москву даже ездил, чтобы «протестовать» — против иапечатаииого о ием, да вот «иичего сделать ие может».

Какой, подумаешь, иесчастиый, обижеииый!

Говорит еще, что в Москве — «вор иа воре, иегодяй иа иегодяе»... (а здесь? Кого ои спасал?).

Если можио было еще кем-иибудь возмущаться, то Горьким — первым. Но возмущеиие и иенависть — перегорели. Да *люди* и стали выше иеиависти. Сожалительиое презреиие, а иногда брезгливость. Больше иичего.

Оплакав Веигрию, большевики заскучали. Троцкий, главиокомаидующий армией «всея России», требует, одиако, чтобы к зиме эта армия уиичтожила всех «белых», которые еще занимают часть России. «Тогда мы поговорим с Европой».

Работы миого — ведь уже август, даже по старому стилю.

Косит дизеитерия.

Т. (моя сестра) лежит третью иеделю. Страшиая, желтая, худая. Лекарств иет.

Соли иет.

Почти иасильио записывают в партию коммуиистов. Открыто устрашают: «...а если кто...» Дураки — боятся.

Петерса убрали в Киев. Положеиие Киева острое. Кажется, его тесият всякие «баиды», от иих стоиут сами большевики. Впрочем,— что мы зиаем?

Арестоваииая (по доиосу домового комитета, из-за созвучий фамилий) и через 3 иедели выпущеииая, Ел. (близкий иам человек) рассказывает, между прочим.

Расстреливают офицеров, сидящих с женами вместе, человек 10—11 в день. Выводят на двор, комендант, с папироской в зубах, считает,— уводят.

При Ел. этот комендант (коменданты все из последних низов), проходя мимо тут же стоящих, помертвевших жен, шутил: «Вот, вы теперь молодая вдовушка! Да не жалейте, ваш муж мерзавец был! В Красной Армии служить не хотел».

Недавно расстреляли профессора Б. Никольского. Имущество его и великолепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались — дочь 18 лет и сын 17-ти. На днях сына потребовали во «Всеобуч» (всеобщее военное обучение). Он явился. Там ему сразу комиссар с хохотком объявил (шутники эти комиссары!): «А вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверькам скормили!»

Зверей Зоологического сада, еще не подохших, кормят свежими трупами расстрелянных, благо Петропавловская крепость близко,— это всем известно. Но родственникам, кажется, не объявляли раньше.

Объявление так подействовало на мальчика, что он четвертый день лежит в бреду. (Имя комиссара я знаю.)

Вчера доктор X. утешал И. И., что у них теперь хорошо устроилось, несмотря на недостаток мяса: сердце и печень человеческих трупов пропускают через мясорубку и выделывают пептоны, питательную среду, бульон... для культуры бацилл, например.

Доктор этот крайне изумился, когда И. И. внезапно завопил, что не переносит такого «глума» над человеческим телом, и убежал, схватив фуражку.

Надо помнить, что сейчас в Спб-ге, при абсолютном отсутствии одних вещей и скудости других, есть нечто в изобилии: трупы. Оставим расстрелянных. Но и смертность в городе, по скромной большевистской статистике (петитом),— 6,5%, при 1,2% рождений. Не забудем, что это *большевистская*, официальная статистика.

И. И. заболел. И сестра его — дизентерией. «Перспектив» для нас — никаких, кроме зимы без света и огня. Киев как будто еще раз взяли, кто — неизвестно. Не то Деникин, не то поляки, не то «банды». Может быть, и все они вместе.

Очень все неинтересно. Ни страха, ни надежды. Одна тяжелая свинцовая скука.

Петерс, уезжая в Киев (мы знаем, что Киев взяли потому, что Петерс уж в Москве: удрал, значит), решил возвратить нам телефоны. Причин возвращать их так же мало, как мало было отнимать. Но и за то спасибо.

Все теперь, все без исключения,— носители слухов. Носят их соответственно своей психологии: оптимисты — оптимистические, пессимисты — пессимистические. Так что каждый день есть *всякие* слухи, обыкновенно друг друга уничтожающие. Фактов же нет почти никаких. Газета — наш обрывок газеты,— если факты имеет, то не сообщает, тоже несет слухи, лишь определенно подтасованные. Изредка прорвется кусок паники, вроде «вновь угрожающей Антанты, лезущей на нас с еще окровавленной от Венгрии мордой...» или вроде внезапно появившегося Тамбово-Козловского (?) фронта.

Несомненный факт, что сегодня ночью (с 17 на 18 августа) где-то стреляли из тяжелых орудий. Но Кронштадт ли стрелял, в него ли стреляли — мы не знаем (слухи).

Должно быть, особенно серьезного ничего не происходит,— не слышно усиленного ерзанья большевистских автомобилей. Это у нас один из важных признаков: как начинается тарахтенье автомобилей,— завозились большевики, забеспокоились,— ну, значит, что-то есть новенькое, пахнет надеждой. Впрочем, мы привыкли, что они из-за всякого пустяка впадают в панику и начинают возиться, дребезжа своими расхлябанными, вонючими автомобилями. Все автомобили расхлябанные, полуразрушенные. У одного, кажется, Зиновьева — хороший. Любопытно видеть, как «следует» по стогнам града «начальник Северной коммуны». Человек он жирный, белотелый, курчавый. На фотографиях, в газете, выходит необыкновенно похожим на пышную, старую тетку. Зимой и

летом он без шапки. Когда едет в своем автомобиле,— открытом,— то возвышается на коленях у двух красноармейцев. Это его личная охрана. Он без нее — никуда, он трус первой руки. Впрочем, все они трусы. Троцкий держится за семью замками, а когда идет, то охранники его буквально теснят в кольце, давят кольцом.

Фунт чаю стоит 1200 р. Мы его давно уже не пьем. Сушим ломтики морковки или свеклы,— что есть. И завариваем. Ничего. Хорошо бы листьев, да какие-то грязные деревья в Таврическом саду, и бог их знает, может неподходящие.

В гречневой крупе (достаем иногда на рынке — 300 р. фунт), в каше-размазне — гвозди. Небольшие, но их очень много. При варке няня вчера вынула 12. Изо рта мы их продолжаем вынимать. Я только сейчас, вечером, в трех ложках нашла 2, тоже изо рта уже вынула. Верно, для тяжести прибавляют.

Но для чего в хлеб прибавляют толченое стекло,— не могу угадать. Такой хлеб прислали Злобиным из Москвы их знакомые — с оказией.

Читаю рассказ Лескова «Юдоль». Это о голоде в 1840-м году, в средней России. Наше положение очень напоминает положение крепостных в имении Орловской губернии. Так же должны были они умирать *на месте*, лишенные прав, лишенные и права отлучки. Разница: их «Юдоль» длилась всего 10 месяцев. И еще: дворовым крепостным выдавали помещики на день не 1/8 хлеба, а целых 3 фунта! Три фунта хлеба. Даже как-то не верится.

Сыпной тиф, дизентерия — продолжаются. Холодные дни, дожди. Сегодня было холодное солнце.

Все эти деникинские Саратовы, Тамбовы и Воронежи, о которых нам говорят то слухи, то, задушенно намекая, большевистские газеты,— оставляют нашу эпидерму бесчувственной. Нам нужны «ощущения», а не «представления».

Но и помимо этого,— когда я пытаюсь рассуждать,— я тоже не делаю радужных выводов. Не вижу я ни успеха «белых генералов» (если они одни), ни целесообразности движения *с юга*. (Вслух насчет неверия моего в «белых генералов» не говорю, это слишком ранит всех.) Большевики твердо и ясно знают, что без Петербурга центральная власть (хотя она и в Москве) не будет свалена. Большевики недаром всей силой, почти суеверно, держатся за Петербург. Они так и говорят, даже в Москве: «Пока есть у нас наш красный Петроград,— мы есть и мы непобедимы».

Да, это роковым образом так. Петербург — большевистский талисман. И большевистская голова.

Кроме того, «белые генералы» наши... Впрочем,— молчание, молчание. Если и думают многие, как я (опытны ведь мы все!), то все-таки теперь помолчим.

Продала старые портьеры. И новые. И подкладочный коленкор. 2 тысячи. Полтора дня жизни.

Большевики и сами знают, что будут свалены так или иначе,— но когда? В этом вопрос. Для России — *и для Европы* — это вопрос громадной важности. Я подчеркиваю, *для Европы*. Быть может, для Европы вопрос времени падения большевиков даже *важнее*, чем для России. Как это ясно!

Принудительная война, которую ведет наша кучка захватчиков, еще тем противнее обыкновенной, что представляет из себя «дурную бесконечность» и развращает данное поколение в корне — создает из мужика «вечного» армейца, праздного авантюриста. Кто не воюет, или *пока* не воюет, торгует (и ворует, конечно). *Не работает никто*. Воистину «торгово-продажная» республика, защищаемая одурелыми солдатами — рабами.

Если большевики падут лишь «в конце концов»,— то, пожалуй, под свалившимся окажется «пустое место». Поздравим тогда Европу. Впрочем, будет ли тогда кого поздравлять,— «в конце-то концов»?

Матросье кронштадтское ворчит, стонет,— надоело. «Давно бы сдались, да некому. Никто нейдет, никто не берет».

Что бы ни было далее — мы не забудем этого «союзникам». Англичанам,— ибо французы без них вряд ли что могут.

Да что — мы? Им не забудет этого и жизнь сама.

Вчера видела на улице, как маленькая, 4-летняя девочка колотила ручонками упавшую с разрушенного дома старую вывеску. Вместо дома среди досок, балок и кирпича — возвышалась только изразцовая печка. А на валявшейся вывеске были превкусно нарисованы яблоки, варенье, сахар и — булки, целая гора булок!

Я наклонилась над девочкой.

— За что же ты бьешь такие славные вещи?

— В руки не дается! В руки не дается! — с плачем повторяла девочка, продолжая колотить и топтать босыми ножками заколдованное варенье.

Чрезвычайку обновили. Старых расстреляли, кое-кого. Но воры и шантажисты — все.

Отмечаю (конец августа по нов. стилю), что, несмотря на отсутствие *фактов* и даже касающихся севера *слухов*, общее настроение в городе — повышенное, атмосфера просветленная. Верхи и низы одинаково, хотя безотчетно, вдруг стали утверждаться на ощущении, что скоро, к октябрю—ноябрю, все будет кончено.

Может быть, отчасти действуют и слишком настойчивые большевистские уверения, что «*напрасны* новые угрозы», «*тщетны* решения англичан кончить с Петербургом теперь же», «*нелепы* надежды Юденича на новое соглашение с Эстляндией» и т. д.

Агонизирующий Петербург, читая эти выкрики, радуется: ага, значит, есть «новые угрозы». Есть «решение англичан»! Есть речь о «соглашении Юденича с Эстляндией»!

Я прямо чувствую нарастание беспочвенных, казалось бы, надежд.

Рядом большевики пишут о своем наступлении на Псков. Возможно, отберут его; но и это вряд ли изменит настроение дня.

Наша Кассандра — Д. С. — пребывает в тех же мрачных тонах. Я... не говорю ничего. Но констатировать общее состояние атмосферы считаю долгом.

Живем буквально на то, что продаем, изо дня в день. Все дорожает в геометрической прогрессии, ибо рынки громят систематически. И, кажется, уже не столько принципиально, сколько утилитарно: нечем красноармейцев кормить. Обывательское продовольствие жадно забирается.

С.* с женой поехал недавно в К., на Волгу, где у него была своя дачка. Скоро вернулся. Заполняющие домик «коммунары» уделили хозяевам две каморки наверху. Незавидное было житье.

С. говорит, что на Волге — непрерывные крестьянские восстания. Карательные отряды поджигают деревни, расстреливают крестьян по 600 человек зараз.

Южные «слухи» упорны относительно Киева: он будто бы взят Петлюрой — в соединении с поляками и Деникиным.

(Вот что я заметила относительно природы «слуха» вообще. Во всяком слухе есть смешение *данного с должным*. Бывают слухи очень *неверные*,— с громадным преобла-

* Замечательный и очень известный писатель.

данием должного над данным; — не верны они, значит, фактически и тем не менее очень поучительны. Для умеющего учиться, конечно. Вот и теперь, Киев. Может быть, его *должно было бы* взять соединение Петлюры, поляков и Деникина. А как *данного* — такого соединения и не существует, может быть, если Киев и взят.)

Большевики признались, что Киев окружен с 3 сторон. Только сегодня (29 августа) признались, что «противник (какой? кто?) занял Одессу». (Одесса взята около месяца тому назад.)

Ах, да что эти южные «взятия». И мы — Россия, и большевики — наши завоеватели, в этом пункте единомысленны: занятие южных городов «белыми» нисколько не колеблет центральную власть и само по себе не твердо, не окончательно. Не удивлюсь, если тот же Киев сто раз еще будет взят обратно.

Хамье, отъевшееся, глубоко аполитичное и беспринципное (с одним непотрясаемым принципом — частной собственности), спешит «до переворота» реализовать нахваченные пуды грязной бумаги, «ленинок», — скупая все, что может. У нас. В каждом случае учитывая, конечно, степень нужды, прижимая наиболее голодных. Помещают свои «ленинки», как в банк, в бриллианты, меха, мебель, книги, фарфор — во что угодно. Это очень рассудительно.

Лупорожего А-ва с нашего двора, ражего детину из шоферов, который для жены купил мой парижский мех, — сцапали. Спекульнул со спиртом на $2^1/_2$ миллиона. Ловко!

А чем лучше Гржебин? Только вот не попался, и ему покровительствует Горький. Но жена Горького (вторая, — настоящая его жена где-то в Москве), бывшая актриса, теперь комиссарша всех российских театров, уже сколотила себе деньжат... это ни для кого не тайна. Очень любопытный тип эта дама-коммунистка. Каботинка до мозга костей, истеричка, довольно красивая, хотя *sur le retour* *, — она занималась прежде чем угодно, только не политикой. При начале власти большевиков сам Горький держался как-то невыясненно, неопределенно. Помню, как в ноябре 17 года я сама лично кричала Горькому (в последний раз, кажется, видела его тогда): «...а ваша-то собственная совесть что вам говорит? Ваша внутренняя человеческая совесть?», а он, на просьбы хлопотать перед большевиками о сидящих в крепости министрах, только лаял глухо: «Я с этими мерзавцами... и говорить... не могу».

Пока для Горького большевики, при случае, были «мерзавцами», — выжидала и Марья Федоровна. Но это длилось недолго. И теперь, — о, теперь она «коммунистка» душой и телом. В роль комиссарши, — министра всех театрально-художественных дел, — она вошла блестяще; в буквальном смысле «вошла в роль», как прежде входила на сцене, в других пьесах. Иногда художественная мера изменяет ей, и она сбивается на роль уже не министерши, а как будто императрицы («ей Богу, настоящая «Мария Федоровна», восклицал кто-то в эстетическом восхищении»). У нее два автомобиля, она ежедневно приезжает в свое министерство, в захваченный особняк на Литейном, — «к приему».

Приема ждут часами и артисты, и писатели, и художники. Она не торопится. Один раз, когда художник с большим именем, Д-ский, после долгого ожидания удостоился, наконец, впуска в министерский кабинет, он застал комиссаршу очень занятой... с сапожником. Она никак не могла растолковать этому противному сапожнику, какой ей хочется каблучок. И с чисто королевской милой очаровательностью вскрикнула, увидев Д-ского: «Ах, вот и художник! Ну нарисуйте же мне каблучок к моим ботинкам!»

Не знаю уж, воспользовался ли Д-ский «случаем» и попал или нет «в милость». Человек «придворной складки», конечно, воспользовался бы.

Теперь, вот в эти дни, у всех почему-то на устах одно слово: «*переворот*». У людей

---

* Не первой молодости (*фр.*).

«того» лагеря, не нашего — тоже. И спешат что-то успеть «до переворота». Спекулянты — реализовать «ленинки», причастные к «властям» — как-то «заручиться» (это ходячий термин).

Спешит и Марья Федоровна А-ва. На днях А-ский, зайдя по делу к Горькому, застал у М. Ф. совсем неожиданный «салон»: человек 15 самой «белогвардейской» породы — П., К. и т. д. Говорят о перевороте, и комиссарша уже играет на этой сцене совсем другую роль: роль «урожденной Желябужской». Вот и «заручилась» на случай переворота. Как не защитят ее гости — своего поля ягоду, «урожденную Желябужскую»?

Недаром, однако, были слухи, что прямолинейный Петерс, наш «беспощадный», в раже коммунистической «чистки», метил арестовать всю компанию: и комиссаршу, и Горького, и Гржебина, и Тихонова... Да широко махнул. В Киев услали.

Киев, если не взят, то, кажется, будет взят. Понять вообще ничего нельзя. Псков большевики тогда же взяли,— торжествовали довольно! Однако Зиновьев опять объявляет — мы, мол, накануне цинического выступления англичан...

Вы так боитесь, товарищ Зиновьев? Не слишком ли большие глаза у вашего страха? У моей надежды они гораздо меньше.

Атмосфера уверенности в перевороте, которую я недавно отметила, ее температура (говорю о чисто кожном ощущении) за последние дни, и как будто тоже без всяких причин,— сильно понизилась. Какая это странная вещь!

Разбираясь, откуда она могла взяться, я вот какое предлагаю объяснение: вероятно, *был*, опять ставился, вопрос о *вмешательстве*. Реально так или иначе снова *поднимался*. И это передалось через воздух. Только это могло родить такую всеобщую надежду, ибо: все мы здесь, сверху донизу, до последнего мальчишки, *знаем* (и большевики тоже!), что сейчас одно лишь так называемое «всешательство» может быть толчком, изменяющим наше положение.

Вмешательство! «Вмешательство во внутренние дела России»! Мы хохочем до слез,— истерических, трагических, правда,— когда читаем эту фразу в большевистских газетах. И большевики хохочут — над Европой,— когда пишут эти слова. Знают, каких она слов боится. Они и не скрывают, что рассчитывают на старость, глухоту, слепоту Европы, на страх ее перед традиционными словами.

В самом деле, каким «вмешательством» в какие «внутренние дела» какой «России» была бы стрельба нескольких английских крейсеров по Кронштадту? Матросы, скучающие, что «никто их не берет», сдались бы мгновенно, а петербургские большевики убежали бы еще раньше. (У них автомобили всегда наготове.) Но, конечно, все это лишь в том случае, если бы несомненно было, что стреляют «англичане», «союзники». (Так знают все, что самый легкий толчок «оттуда» — дело решающее.)

О, эта пресловутая «интервенция»! Хоть бы раньше, чем произносить это слово, европейцы полюбопытствовали взглянуть, что происходит с Россией. А происходит приблизительно то, что было после битвы при Калке: татары положили на русских доски, сели на доски — и пируют. Не ясно ли, что свободным, не связанным еще,— надо (и легко) столкнуть татар с досок. И отнюдь, отнюдь не из «сострадания» — а в собственных интересах, самых насущных! Ибо эти новые татары такого сорта, что чем дольше они пируют, тем грознее опасность для соседей попасть под те же доски.

Но, видно, и соседей наших, и Антанту Бог наказал — разум отнял. Даже просто здравый смысл. До сих пор они называют этот необходимый, и такой нетрудный, *внешний толчок*, жест самосохранения — «вмешательством во внутренние дела России».

Когда рассеется это марево? Не слишком ли поздно?

Вот мое соображение, сегодняшнее (26 августа), некий мой прогноз: если в течение ближайших недель не произойдет резко положительных *фактов*, указующих на вме-

шательство,— дело можно считать конченным. Т. е. это будет уже *факт невмешательства.*

Как выльется большевистская зима? Трудно вообразить себе наше внутреннее положение — оставим эту сторону. С внешней же думаю: к январю или раньше возможно соглашение большевиков с соседями («торговые сношения»). С Финляндией, со Швецией и, может быть (да, да!), с самой Антантой (снятие блокады). Я ничего не знаю, но вероятия большие...

Учесть последствия этого невозможно, однако в общих чертах они для нас, отсюда, очень ясны. Первый результат — усиление и укрепление Красной Армии. Ведь все, что получат большевики из Европы (причем глупой Европе они не дадут ничего — у них нет ничего),— все это пойдет комиссарам и Красной Армии. Ни одна кроха не достанется населению (да на что большевикам население?). Пожалуй, красноармейцы будут спекулировать на излишках,— только.

Слабое место большевиков — возможность голодных бунтов в армии. Это будет устранено...

Пусть совершается несчастие: мне не жаль Англии; что же, если она сама будет вооружать и кормить противника.

Европа получит по делам своим.

Ленин живет в Кремле, в «Кавалерском доме» (бывшем прислужьем) в двух комнатках; рядом, в таких же — Бонч *. Между ними проломили дверь, т. е. просто дыру, какая еще там дверь! И кто удостаивается деловой аудиенции у Бонча — видит и Ленина. Только что рассказывал такой удостоившийся, после долгих церемоний: сидит Ленин с компрессом на горле, кислый; оттого ли, что горло болит, или от дел неприятных — неизвестно.

Главный Совдеп московский — в генерал-губернаторском доме, но приемная — в швейцарской. Там стоит на голом столе бутылка, в бутылке — свечка.

В Москве зимой не будет «ни одного полена даже для Ленина», уверял нас один здешний «приспособившийся» (не большевик), заведующий у них топливом.

Кстати, он же рассказывал, что, живя вблизи Петропавловской крепости, слышит по ночам бесконечные расстрелы.— Мне кажется иногда, что я сxожу с ума. И думаю: нет, уж лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.

Электричество — 4 часа в сутки, от 8—12 (т. е. от 5—9 час. вечера). Ночи темные-темные.

Вчера (14 ст. ст.) была нежная осенняя погода. В саду пахло землей и тихой прудовой водой. Сегодня — дождь.

Ожидаются новые обыски. Вещевые, для армии. Обещают брать все, до занавесей и мебельной обивки включительно.

Сегодня (30 авг. нов. стиля) — теплый, влажный день. С утра часов до 2—3 — далекая канонада. Опять, верно, вялые английские шалости. Connu et vit! ** В московской газете довольно паническая статья «Теперь или никогда!», опять об «окровавленной морде» Антанты, собирающейся будто бы лезть в Петербург. Новых фактов никаких. Букет старых.

Здешняя наша «Правда» — прорвалась правдой (это случается). Делаю вырезку, с пометкой числа и года (30 августа 19 г. СПб.), и кладу в дневник. Пусть лежит на память.

* Бонч-Бруевич, старый партийный большевик, друг Ленина. Занимался когда-то исследованием сектантства.

** Знакомо и видено (*фр.*).

Вот эта вырезка дословно, с орфографией:

Рабочая масса к большевизму относится несочувственно, и, когда приезжает оратор или созывается общее собрание, т. т. рабочие прячутся по углам и всячески отлынивают. Такое отношение очень прискорбно. Пора одуматься.

Черехович.

* * *

Отдел недвижимых имуществ
Александро-невского района

Настроение «пахнет белогвардейским духом». Из 150 служащих всего 7 человек в коллективе (2 коммуниста, 3 кандидата и 2 сочувствующих). Все старания привлекать публику в нашу партию безрезультатны.

14-я Государств. типография. Петроград.

Весьма характерный «прорыв». Достанется за него завтра кому следует. Бедный «Черехович» неизвестный! Угораздило на такие откровенности пуститься!

Положим, это все знают, но писать об этом в большевистской газете — непорядок. Ведь это же правда,— а не «Правда».

Опять где-то стреляют, целыми днями. Должно быть, сами же большевики куда-нибудь палят зря, с испугу. В газете статья «*Совершим чудо*!», т. е. «дадим отпор Антанте».

Прибыл «сам» Троцкий. Много бытовых подробностей о грабежах, грязи и воровстве — но нет сил записывать.

В общем, несмотря на периодическую глухую орудийную стрельбу,— все то же, и вид города все тот же: по улицам, заросшим травой, в ямах, идут испитые люди с котомками и саквояжами, а иногда, клубясь вонючим, синим дымом, протарахтит большевистский автомобиль.

Нет, видно, ясны большевистские небеса. Мария Федоровна (каботинка, «жена» Горького) — не только перестала «заручаться», но даже внезапно сделалась уже не одним министром «всех театров», а также и министром «торговли и промышленности». Объявила сегодня об этом запросто И. И-чу. Положим, не хлопотно: «промышленности» никакой нет, а торгуют всем, чем ни попадя, и министру надо лишь этих всех «разгонять» (или хоть «делать вид»).

Будто бы арестовали в виде заложников Станиславского и Немировича *. Маловероятно, хотя Лилина (жена Станиславского) и Качалов — играют в Харькове и, говорят, очень радостно встретили Деникина. Были слухи, что Станиславский бывает в Кремле, как придворный увеселитель нового самодержца — Ленина, однако и этому я не очень верю. Мы так мало знаем о Москве.

Из Москвы приехал наш «единственный» — X. Очень забавно рассказывал обо всем. (Станиславского выпустили.) Но вот прелесть — это наш интернациональный хлыщ — Луначарский. Живет он в сиянии славы и роскоши, эдаким неразвенчанным Хлестаковым. Занимает, благодаря физическому устранению конкурентов, место единственного и первого «писателя земли русской». Недаром «Фауста» написал. Гете написал немецкого, старого, а Луначарский — русского, нового, и уж, конечно, лучшего, ибо «рабочего».

* Директора известного Художественного театра в Москве.

Официальное положение Луначарского дозволяет ему циркулярами призывать к себе уцелевших критиков, которым он жадно и долго читает свои поэмы. Притом безбоязненно: знает, что они, бедняги, словечка против не скажут — только и могут, что хвалить. Не очень-то накритикуешь, явившись на литературное чтение по приказу начальства! Будь газеты, Луначарский, верно, заказывал бы и статьи о себе.

До этого не доходили и писатели самые высокопоставленные, вроде великого князя К. Р. (Константина Романова), уважая все-таки закон внутренний — литературной свободы. Но для Луначарского нет и этих законов. Да и в самом деле: он устал быть *«вне»* литературы. Большевистские штыки позволяют ему если не *быть*, то *казаться* в самом сердце русской литературы. И он упустит такой случай?

Устроил себе, в звании литературного (всероссийского) комиссара, и «Дворец искусств». Новую свою «цыпочку», красивую Р., поставил... комиссаром над всеми цирками. Придумал это потому, что она вообще малограмотна, а любит только лошадей. (Старые жены министров большевистских чаще всего — отставлены. Даны им разные места, чтоб заняты были, а министры берут себе «цыпочек», которым уже даются места поближе и поважнее.)

У Луначарского, в бытность его в Петербурге, уже была местная «цыпочка», какая-то актриска из кафе-шантана. И вдруг (рассказывает Х.) — является теперь в Москву — с ребеночком. Но министр искусств не потерялся, тотчас откупился, ассигновал ей из народных сумм полтора миллиона (по-царски, знай наших!) — «на детский театр».

Сегодня, 2 сентября нов. ст., во вторник, записываю *прогноз* Дмитрия *, его «пророчества», притом с его согласия,— так он в них уверен.

Никакого наступления ни со стороны англичан, ни с других сторон, Финляндии, Эстляндии и т. п.—

— *не будет*

ни в ближайшие, ни в дальнейшие дни. Где-нибудь, кто-нибудь, возможно, еще постреляет — но и только.

Определенного примирения с большевиками у Европы тоже *не будет*. Все останется приблизительно в таком же положении, как сейчас. Выдержит ли Европа строгую блокаду — неизвестно; будет, однако, пытаться.

Деникин обязательно провалится.

Затем Дмитрий дальше пророчествует, уже о будущем годе, после этой зимы, в продолжение которой большевики сильно укрепятся... но я пока этого не записываю, лучше потом.

Дмитрий почему-то объявил, что «вот этот вторник был решающим». (Уж не Троцкий ли загипнотизировал его своими «красными башкирами»?)

Эти «пророчества» — в сущности, то, что мы все знаем, но не хотим знать, не должны и не можем говорить даже себе... если не хотим сейчас же умереть. Физически нельзя продолжать эту жизнь без постоянной надежды. В нас горит праведный инстинкт жизни, когда мы стараемся не терять надежду.

На Деникина, впрочем, никто почти не надеется, несмотря на его, казалось бы, колоссальные успехи, на все эти Харьковы, Орлы, на Мамонтова и т. д. *Слишком* мы здесь зрячи, слишком все знаем *изнутри*, чтобы не видеть, что ни к чему, кроме ухудшения нашего положения, не поведут наши «белые генералы», старые русские «остатки»,— если они не будут *честно* и *определенно* поддержаны Европой. А что у Европы нет этой прямой честности — мы видим.

* Д. С. Мережковского.

Опять пачками аресты. Опять те же,— Изгоев, Вера Гл. и пр., самые бессмысленные. Плюс еще всякие англичане. Пальбы нет.

Арестовали двух детей, 7 и 8 лет. Мать отправили на работы, отца неизвестно куда, а их, детей, в Гатчинский арестный приют. Это такая детская тюрьма, со всеми тюремными прелестями, «советские дети *не для иностранцев*», как мы говорим. Да, уж в этот приют «европейскую делегацию» не пустят (как, впрочем, и ни в какой другой приют: для этого есть один или два «образцовых», т. е. чисто декорационных).

Тетка арестованных детей (ее еще не арестовали) всюду ездит, хлопочет об освобождении,— напрасно. Была в Гатчине, видала их там. Плачет: голодают, говорит, оборванные, во вшах.

Любопытная это, вообще, штука — «красные дети». Большевики вовсю решили их для себя «использовать». Ни на что не налепили столь пышной вывески, как на несчастных совдепских детей. Нет таких громких слов, каких не произносили бы большевики тут, выхваляя себя. Мы-то знаем им цену и только тихо удивляемся, что есть в «Европах» дураки, которые им верят.

Бесплатное питание! Это матери, едва стоящие на ногах, должны водить детей в «общественные столовые», где дают ребенку тарелку воды, часто недокипяченой, с одиноко плавающим листом чего-то. Это посылаемые в школы «жмыхи», из-за которых дети дерутся, как звереныши.

Всеобщее бесплатное обучение! Приюты! Школы! — Много бы могла я тут рассказать, ибо имею *ежедневную, самую детальную*, информацию *изнутри*. Но я ограничусь выводом: это целое поколение русское, погибшее духовно и телесно. Счастье для тех, кто не выживет...

Кстати, недавно Горький «лаял» в интимном кругу, что «это черт знает, что в школах делается»... И действительно, средняя школа, преобразованная в одну «нормальную» советскую школу, т. е. заведение для обоих полов, сделалась странным заведением... Женские гимназии, институты соединили с кадетскими корпусами, туда же подбавили 14—15-летних мальцов прямо с улицы. всего повидавших... В гимназиях, по словам Горького тоже, есть уже беременные девочки 4-го класса... В «этом» красным детям дается полная «свобода». Но в остальном требуется самое строгое «коммунистическое» воспитание. Уже с девяти лет мальчика выпускают говорить на митинге, учат «агитации» и защите «советской власти». (Очевидно, более способных подготовляют и к действию в Чрезвычайке. Берут на обыски — это «практические занятия».)

Но довольно! довольно! Об этом будет время вспомнить...

Как это англичане терпят? Даже на них не похоже. Они как будто потеряли всякое понятие национальной гордости. Вот: большевики забрали английское посольство, вещи присвоили, сидит там Горький в виде оценщика-старьевщика, записывает «приобретенное».

И все-таки англичанам верят! Сегодня упорные слухи, что англичане взяли Толбухинский маяк и тралят мины.

Как бы не так.

Киев взят почти наверно,— по большевистским же газетам. Но какое это имеет значение?

Третий обыск, с Божией помощью! Я уже писала, что если не гаснет вечером электричество — значит, обыски в этом районе. В первую ночь, на 5 сентября, была, очевидно, проба. На 6-е, вечером, у нас сидел И. И., около 12 часов — шум со двора. Пришли! И. И. скорей убежал туда.

Всю ночь ходили по квартирам, всю ночь с ними И. И. (Поразительно, в эту ночь

почти все дома громадного района были обысканы. В одну ночь! По всей нашей улице, бесконечно длинной,— часовые.)

Я сидела до 4 часов ночи. Потом так устала — что легла, черт с ними, встану. На минуту уснула — явились.

Войдя в свою рабочую комнату, увидела субъекта, пыхающего махоркой и роющегося в ящиках с моими рукописями. Засунуть пакеты назад не может. Рвет.

— Дайте я вам помогу,— говорю я.— И лучше я сама вам все покажу. А то вы у меня все спутаете.

Махнул рукой:

— Тут все бумаги...

С ними, на этот раз, «барышня» в белой шляпке, негритянского типа. Она как-то стеснялась. И когда Дмитрий сказал: «Открыть вам этот ящик? Видите, это мои черновики...», барышня-сыщица потянула сыщика-рабочего за рукав: «Не надо...»

— Да вы чего ищете? — спрашиваю.

Новый жандарм заученным тоном ответил:

— Денег. Антисоветской литературы. Оружия.

Вещей они пока не забирали. Говорят, теперь будет другая серия.

Странное чувство *стыда*, такое жгучее,— не за себя, а за этих несчастных новых сыщиков с махоркой, с исканием «денег», беспомощных в своей подлости и презрительно жалких.

А рядом всякие бурные романтические истории (у сытых): Т. изгнал свою жену из «Всемирной литературы» (а также из своей квартиры). Она перекочевала к Горькому, который усыпал ее бриллиантами (? за что купила, за то и продаю, за точность не ручаюсь). И теперь лизуны, вроде X., Y., Z., не знают, чью пятку лизать: Т-ва, отставной жены или Марии Федоровны.

Аресты и обыски.

Сегодня 8 сентября. Положение то же, что было и неделю тому назад,— если не хуже: слухи о «мирных переговорах» с Эстляндией и Финляндией. (Что это еще за новое, неслыханное, умопомешательство? Как будто большевики могут с кем-нибудь «договориться» и договор *исполнять*?)

С 10 сентября я считаю дело конченным — в смысле большевистской зимы. Она делается фактом. Непредставима она до такой степени, что самые трезвые люди все-таки еще цепляются за какие-то надежды... Но зима эта — факт.

Всеобщая погоня за дровами, пайками, прошениями о невселении в квартиры, извороты с фунтом керосина и т. д. Блок, говорят (лично я с ним не сообщаюсь), даже болен от страха, что к нему в кабинет вселят красноармейцев. Жаль, если не вселят. Ему бы следовало их целых «12». Ведь это же, по его поэме, 12 апостолов, и впереди них «в венке из роз идет Христос»!

X. вывернулся. Получил вагон дров и устраивает с Горьким «Дом искусств».

Вот два писателя (первоклассные, из непримиримых) в приемной Комиссариата нар. просвещения. Комиссар К.— любезен. Обещает: «Мы вам дадим дрова; кладбищенские; мы березы с могил вырубаем — хорошие березы». (А возможно, что и кресты, кстати, вырубят. Дерево даже суше, а на что же кресты?)

К И. И. тоже «вселяют». Ему надо защитить свой кабинет. Бросился он в новую «комиссию по вселению». Рассказывает: — Видал, кажется, Совдепы всякие, но таких архаровцев не видал! Рыжие, всклокоченные, председатель с неизвестным акцентом, у одного на носу волчанка, баба в награбленной одежде... «Мы — шестерка!», а всех 12 сидит. Самого Кокко (начальник по вселению, национальность таинственна) —

нету. «Что? Кабинет? Какой кабинет? Какой ученый? Что-то не слыхали. Книги пишете? А в «Правде» не пишете? Верно, с буржуями возитесь. Нечего, нечего! Вот мы вам пришлем товарищей исследовать, какой такой ентген, какой такой ученый!»

Бедный И. И. кубарем оттуда выкатился. Ждет теперь «товарищей» — исследователей.

Пусть убивают нас, губят Россию (и себя в конечном счете) невежественные, непонимающие европейцы, вроде англичан. Но как могут распоряжаться нами откормленные русские эмигранты, разные «представители» пустых мест, несуществующие «делегации» и т. д. Когда к нам глухо доносятся голоса зарубежников, когда здешние наши палачи злорадно подхватывают эмигрантские свары и заявления — с одной стороны всяких большевиствующих тупиц о невмешательстве, с другой — безумные «непризнания независимости Финляндии» (!!) каких-то русских парижских «послов», мы здесь скрежещем зубами, сжимаем кулаки. О, если б не тряпка во рту, как мы крикнули бы им всем: «Что вы делаете? Кто вам дал право распоряжаться нами и Россией? России нет сейчас, а поскольку есть она — мы Россия, мы, а не вы! Как вы смеете от ее лица что-то «признавать», чего-то «не признавать», распоряжаться нами?

Впрочем, все они были бы только смешны и глупы, если бы глупость не смешивалась с кровью. Кровавая глупость! Ладно, в свое время за нее ответят.

Отдельные русские голоса за рубежом, трезвые,— слабы и не имеют значения. Трезвы только *недавно* бежавшие. Они еще чувствуют Россию, реальное ее положение. А для тех — точно ничего не случилось! Не понимают, между прочим, что и все их *партии* — уже фикция, туман прошлого, что ничего этого уже нет *безвозвратно*.

А здесь... Эстляндия 15-го начинает «мирные переговоры», сегодня Чичерин предлагает их всем окраинам, с Финляндией во главе, конечно. Англия и «шалости» прекратила.

Не ясно ли, что после этого...

Сегодня понедельник 15 (2) сентября. Жду, что в вечерней ихней тряпке будет очередной клик об очередных победах и «устрашенной» Финляндии, склоняющейся к самоубийству (мирным переговорам). Ведь «мир» с большевиками — это согласие на самоубийство или на разложение заживо.

24 (11) сентября. Вчера объявление о 67 расстрелянных в Москве (профессора, общественные деятели, женщины). Сегодня о 29 — здесь. О мирных переговорах с Эстляндией, прерванных, но готовящихся будто бы возобновиться,— ничего не знаем, не понимаем, не можем и нельзя ничего себе представить. Деникин взял, после Киева, Курск. Троцкий гремит о победах. Ощущение тьмы и ямы. Тихого умопомешательства.

Масло подбирается уже к 1000 р. за фунт. Остальное соответственно. У нас нет более ничего. Да и нигде ничего. И. И. уже «продался» тоже Гржебину — писать брошюры. Недавно такая была картина: у меня сидела торговка, скупающая за гроши нашу одежду. И. И. прислал сверху, с сестрой, свои туфли старые, галстуки, еще что-то: чуть не пиджак последний. А в это же время к нему, И. И., приехал Горький (пользоваться рентгеном И. И.). Вызвал, кстати, фактора своего, Гржебина (он в нашем доме живет). Тот прибежал. Принес каких-то китайских божков и акварельный альбом,— достал по поручению. Горький купил это за 10 тысяч. Эта сделка наверху, в квартире И. И., была удачнее нижней: вещи И. И., которые он послал продавать,— погибли у торговки вместе с моими. Торговка ведь берет без денег. А когда через несколько дней И. И. послал сестру к ней за деньгами — там оказалась засада, торговки нет, вещей нет, чуть и сестру не арестовали.

Опять выключили телефоны. Через 2 дня пробую — снова звонят. Постановили закрыть все заводы. Аптеки пусты. Ни одного лекарства.

(Какой шум у меня в голове! Странное состояние. Физическое или нравственное — не могу понять. Петр Верховенский у Достоевского — как верно о «равенстве в братстве». Механика. И смерть. Да, именно — механика смерти.)

Говорят (в ихней газете), что умер Леонид Андреев, у себя, в Финляндии. Он не испытал нашего. Но он понимал правду. За это ему вечное уважение.

X. и Горький остались. Процветают.

В литературную столовку пришла барышня. Спрашивает у заведующей: не здесь ли Дейч? (старик, толстовец). Та говорит: его еще нету. Барышня просит указать его, когда придет; мне, мол, его очень нужно. И ждет. Когда старец приплелся (он едва ходит) — заведующая указывает: вот он. Барышня к нему — ордер: вы арестованы! Все растерялись. Старик просит, чтобы ему хоть пообедать дали. Барышня любезно соглашается...

Изгоев и Потресов сидят на Шпалерной, в одной камере.

Из объявлений в газете, *за что* расстреляны:

«...Чеховский, б. дворянин, поляк, был против коммунистов, угрожал последним отплатить, когда придут белые...» № его 28.

Холодно, сыро. У нас пока ни полена, только утром в кухню.

Правительство «Сев.-Западное» — Маргулиеса и других — полная загадка. Большевики издеваются, ликуют.

Большевистские деньги почти не ходят вне городской черты. Скоро и здесь превратятся в грязную бумагу. Чистая.

Небывалый абсурд происходящего. Такой, что никакая человечность с ним не справляется. Никакое воображение.

11 окт. (28 сен.) После нашей недавней личной неудачи (объясню как-нибудь потом *) писать психологически невозможно; да и просто нечего. Исчезло ощущение связи событий среди этой трагической нелепости. Большевистские деньги падают с головокружительной быстротой, их отвергают даже в пригородах. Здесь — черный хлеб с соломой уже 180—200 р. фунт. Молоко давно 50 р. кружка (по случаю). Или больше? Не уловишь, цены растут *буквально* всякий час. Да и нет ничего.

Когда «их» в Москве взорвало (очень ловкий был взрыв, хотя по последствиям незначительный,— убило всего несколько не главных большевиков, да оглушило Стеклова) — мы думали, начнется кубический террор; но они как-то струсили и сверх своих обычных расстрелов не забуйствовали. Мы так давно живем среди потока слов (официальных) — «раздавить», «залить кровью», «заколотить в могилу» и т. д. и т. п., что каждодневное печатное повторение непечатной ругани этой — уже не действует, кажется старческим шамканьем. Теперь все заклинания «додавить» и «разгромить» направлены на Деникина, ибо он после Курска взял Воронеж (и Орел — по слухам).

Абсурдно-преступное поведение Антанты (Англии?) продолжается. На свою же голову, конечно, да нам от этого не легче.

Понять по-прежнему ничего нельзя.

Уже будто бы целых три самостийных пуговицы, Литва, Латвия и Эстония, объявили согласие «мирно переговариваться» с большевиками. Хотят, однако, не нормального мира, а какого-то полубрестского, с «нейтральными зонами» (опять абсурд). Тут же

* Мы пытались организовать побег на Режицу — Ригу. Это не вышло, как не удавались десятки еще других планов побега.

путается германский Гольц, и тут же кучка каких-то «белых» (??) ведет безнадежную борьбу у Луги!

Кошмар.

Все меньше у них автомобилей. Иногда дни проходят — не прогремит ни один.

Закрыли заводы, выкинули 10 тысяч рабочих. Льготы — месяц. Рабочие покорились, как всегда. Они не думают вперед (я приметила эту черту некультурных «масс»), льготный месяц на то и дается, уедут по деревням. («Чего — там, что еще будет через месяц, а пока — езжай до дому!»)

Здесь большевики организовали принудительную запись — в свою партию (не всегда закрывают принудительность даже легким флером). Снарядили, как они выражаются, «пару тысяч коммунистов на Южный фронт», чтобы «через какую-нибудь пару недель» догромить Деникина. (Это не я сближаю эти «пары», это так точно пишут наши «советские» журналисты.)

15 (2) октября. «Ну вот, и в четвертый раз высекли!» — говорит Дмитрий в 5 часов утра, после вчерашнего, нового, обыска.

Я с убеждением возражаю, что это неверно; это опять гоголевская унтер-офицерская вдова «сама себя высекла».

Очень хороша была плотная баба в белой кофте с *засученными рукавами* и с басом (несомненная прачка), рывшаяся в письменном столе Дмитрия. Она вынимала из конвертов какие-то письма, какие-то заметки.

— А мне жилательно йету тилиграмму прочесть...

Стала приглядываться и бормоча разбирать старую телеграмму — из кинематографа, кажется.

Другая баба, понежнее, спрашивала у меня «стремянку».

— Что это? Какую?

— Ну лестницу, что ли... На печку посмотреть.

Я тихо ее убедила, что на печку такой вышины очень трудно влезть, что никакой у нас «стремянки» нет и никто туда никогда и не лазил. Послушалась.

У меня в кабинете так постояли, даже столов не открыли. Со мной поздоровался испитой малый и «ручку поцеловал». Глядь — это Гессерих, один из «коренных мерзавцев нашего дома», или, по-советски, «кормернадов». В прошлый обыск он еще скакал по лестницам, скрываясь, как дезертир и т. д., а нынче уже руководит обыском, как член Чрезвычайки. Их, кормернадов. несколько; глава, конечно, Гржебин. Остальные простецкие (двое сидят). Гессерих одно время и жил у Гржебина.

Потолкались — ушли. Опять придут.

Сегодня грозные меры: выключаются *все* телефоны, закрываются *все* театры, *все* лавчонки (если уцелели), не выходить после 8 ч. вечера, и т. д. Дело в том, что вот уже 4 дня идет наступление белых с Ямбурга. Не хочу, не могу и не буду записывать всех слухов об этом, а ровно ничего, кроме слухов, самых обрывочных, у нас *нет*. Вот, впрочем, один, наиболее скромный и постоянный слух: какие «белые» и какой у них план — неизвестно, но они хотели закрепиться в Луге и Гатчине к 20-му и ждать (чего? тоже неизвестно). Однако красноармейцы так побежали, что белые растерялись, идут, идут и не могут их догнать. Взяв Лугу и Гатчину,— взяли *будто бы* уже и Ораниенбаум и взорвали мост на Ижоре. Насчет Ораниенбаума слух нетвердый. Псков *будто бы* взял фон дер Гольц (это совсем нетвердо).

На юге Деникин взял Орел (признано большевиками) и Мценск (не признано).

Мы глядим с тупым удивлением на то, что происходит. Что из этого выйдет? Ощущением, всей омозолившейся душой, мы склоняемся к тому, что *ничего не выйдет*. Одно

разве только: в буквальном смысле будем издыхать от голода, да еще всех нас пошлют копать рвы и строить баррикады.

Красноармейцы действительно подрали от Ямбурга, как зайцы, роя по пути картошку и пожирая ее сырую. Тут не слухи. Тут свидетельства самих действующих лиц. От кого дерут — сказать не могут,— не знают. Прослышали о каких-то «таньках», лучше до греха домой.

Завтра приезжает «сам» Троцкий. Вдыхать доблесть в бегущих.

Состояние большевиков — неизвестно. *Будто бы* не в последней панике, считая это «налетом банд», а что «сил нет».

Самое ужасное, что они, вероятно, правы, что сил нет, если не подтыкано хоть завалящими регулярными нерусскими войсками, хоть фон дер Гольцем. Большевики уповают на своих «красных башкир» в расчете, что им — все равно, лишь бы их откармливали и все позволяли. Их и откармливают, и расчет опять верный.

Газеты — обычны, т. е. понять ничего нельзя абсолютно, а слова те же — «додушить», «раздавить» и т. д.

(Черная книжечка моя кончилась, но осталась еще корка — в конце и в начале. Буду продолжать, как можно мельче, на корке.)

На корке

16 окт. (3), четв.— Неужели я снизойду до повторения здесь таких слухов: англичане вплотную бомбардируют Кронштадт. Взяли на Кр. Горке форт «Серая лошадь». Взято Лигово...

Но вот *почти* наверно: взято Красное Село, Гатчина, кр-армейцы продолжают бежать.

В ночь сегодня мобилизуют всех рабочих, заводы (оставшиеся) закрываются. Зиновьев вопит не своим голосом, чтобы «опомнились», не драли и что «никаких танек нет». Все равно дерут.

Оптимисты наши боятся слова сказать (чтоб не сглазить событий), но не выдерживают, шепчут, задыхаясь: Финляндия взяла Левашево... О, вздор, конечно! Т. е. вздор фактический, как данное,— как должное — это истина. И если бы выступила Финляндия...

Все равно, душа молчит, перетерпела, замозолилась, изверилась, разучилась надеяться. Но надеяться надо, надо, иначе смерть.

Голод полнейший. Рынки расхвачены. Фунта хлеба сегодня не могли достать. Масло, когда еще было,— было 1000—1200 р. фунт.

26 (13) октября, вторник.— Рука не подымалась писать. И теперь не подымается. Заставляю себя.

Вот две недели неописуемого кошмара. Троцкий дал приказ: «*гнать*» вперед красноармейцев (так и напечатал «гнать»), а в Петербурге копать окопы и строить баррикады. Все улицы перерыты, главным образом центральные. Караванная, например. Роют обыватели, схваченные силой. Воистину ассирийское рабство! Уж как эти невольники роют — другое дело. Не думаю, чтобы особенно крепки были правительственные баррикады, дойди дело до уличного боя.

Но в него никто не верил. Не могло до него дойти (ведь если бы освободители могли дойти до улиц Петербурга — на них уже не было бы ни одного коммуниста!).

Три дня, как большевики трубят о своих победах. Из фактов знаем только: белые оставили Царское, Павловск и Колпино. Почему оставили? Почему? Большевики их не прогнали, это мы знаем. Почему они ушли — мы не знаем.

Гатчина и Кр. Село еще заняты. Но если они уже начали уходить...

Большевики вывели свой крейсер «Севастополь» на Неву и стреляют с него в Лигово и вообще во все стороны наудачу. В частях города, близких к Неве, около площади Исаакия

например, дома дрожали и стекла лопались от этой умной бомбардировки близкого, но невидимого неприятеля.

Впрочем, два дня уже нет стрельбы. Под нашими окнами, у входа в Таврический сад,— окоп, на углу, в саду,— пушка.

О том, что мы едим и сколько это стоит — не пишу. Ложь, которая нас окружает... тоже не пишу.

Если они не могут взять Петербурга,— не могут,— они бы должны понимать, что, идя бессильно, они убивают невинных.

(Сбоку на полях) И тут эта неделя дифтеритного ужаса у Л. К. Нельзя добыть доктора (а ведь она сама — врач),— наконец добыли, все это пешком, нельзя добыть сыворотки... Как она пережила эту ночь? Теперь — последствия; начались нарывы в горле...

4 ноября (22 окт.), вторник.— Дрожа, пишу при последнем свете мутного дня. Холод в комнатах туманит мысли. В ушах непрерывный шум. Трудно. Хлеб — 300 р. фунт. Продавать больше нечего.

Близкие надежды всех — рухнули. (Мои, далекие, остались.) Большевики в непрерывном ликовании. Уверяют, что разбили белых совершенно и наступают во весь фронт. Вчера будто бы отобрали и Гатчину. Мы ничего не знаем о боях, но знаем: и Царское, и Гатчина — красные, однако большевики вступают туда лишь через 6—12 часов *после* очищения их белыми. Белые просто уходят (??).

Как дрожали большевики, что выступит Финляндия! Но она недвижима.

Сумасшествие с баррикадами продолжается. Центр города еще разрывают. Укрепили... цирк Чинизелли! На стройку баррикад хватают и гонят всех, без различия пола и возраста, устраивая облавы в трамваях и на квартирах. Да, этого еще никогда не было: казенные баррикады! И, главное, все ни к чему.

Эрмитаж и Публичную библиотеку замораживают: топлива нет.

Большевики, испугавшись, потеряли голову в эти дни: кое-что раздали, кое-что увезли — сами не знают, что теперь будут делать.

Уверяют, что и на юге их дела великолепны. Быть может. Все быть может. Ведь мы ничего не знаем абсолютно.

Перевертываю книгу, там тоже есть, в начале, место на переплете, на корке.

(Переверт)

Ноябрь.— Надо кончить эту книжку и спрятать. Куда? Посмотрим. Но хорошо, что она кончается. Кончился какой-то период. Идет новый,— на этот раз, действительно, последний.

Наступление Юденича (что это было на самом деле, как и почему — мы не знаем) для нас завершилось следующим: буквально «погнанные» вперед красноармейцы покатились за уходящими белыми и даже, раскатившись, заняли Гдов, который не могли занять летом. Армия Юденича совсем куда-то пропала, словно иголка. Что с ней случилось, зачем она вдруг стала уходить от Петербурга (от самого города! Разъезды белых были даже на Забалканском проспекте!), когда большевики из себя вышли от страха, когда их автомобили ночами пыхтели, готовые для бегства (один из них, очень важный, пыхтел и сверкал под окнами моей столовой, у нас во дворе его гараж),— не знаем, не можем понять! Но факт налицо: *они ушли.*

Говорят, прибалтийцы закрыли границу, и армия Юденича должна была переправляться в Финляндию. Ее особенно трусили большевики. Напрасно. Даже не шевельнулась.

Состояние Петербурга в данную минуту такое катастрофическое, какое, без этого движения Юденича, было бы еще месяца через три-четыре. К тому же ударили ранние морозы, выпал снег. Дров нет ни у кого, и никто их достать не может. В квартирах, без разли-

чия «классов»,— от 4° тепла до 2° мороза. Мы закрыли мой кабииет. И Димин. Закрываем столовую. И. И. живет с жеиой в одной только — ее — комиате. И без прислуги.

В коридоре прямо мороз. К 1 декабря совсем ие будет электричества (теперь мы во мраке полдия). Закроют школы. И богадельни. Стариков куда? Топить ими, верио. О том, чем мы питаемся со времени иаступления,— не пишу, не стоит, скучно. Просто почти ничего совсем *нет*. Есть еще кое-что (даже дрова) у Гржебина, primo-speculanto иашего дома. А мелкую нашу сошку расстреляли: зиаменитого Гессериха, что сначала жил у Гржебина, потом прятался, как дезертир, а потом приходил с обыском, как член Чрезвычайки. Да, кажется, и Алябьева тоже.

А матерому пауку — Гржебину уже и Дима принужден продаться — брошюры писать какие-то (??).

(Электричество погасло. Оно постоянно гаснет, когда и горит. Зажгла лампу. Керосин иа донышке.)

Собственно, гораздо *благороднее* теперь ие писать. Потому что общая мука жизни такова, что в писание о ией может войти... тщеславие. Непонятио? Да, а вот мы поиимаем. И Розанов поиял бы. (Несчастиый, удивительный Розанов, умерший в такой иищете. О нем вспомият когда-нибудь. Одна его история — целая историческая книга...)

Люди так жалки и страшны. Человек человеку — ворон. С голодными и хищными глазами. Рвут падаль иа улице равио и одичавшие собаки, и вороиье, и люди. Едут непроницаемые (какие-то нелюди) башкиры иа мохнатых лошаденках и заунывио воют, покачиваясь: Средияя Азия...

Блестящи дела большевиков и иа юге. Так ли блестящи, как они говорят,— ие зиаю, ио очевидно, что Деникин пошел уже не вперед, а назад. Это не удивляет нас. Разложились, верно. Генеральско-южиые движения обречены (как и генеральско-северные, оказывается).

Англичан здесь, конечно, и не было ни малейших: с моря слегка попалили французы (или кто?) и все успокоилось.

Большевики сиова принялись за свою «всемирную революцию»,— вплотную принялись. Да и не могут они от нее отстать, ие могут ее не устраивать всеми правдами и иеправдами, пока они существуют. Это самый смысл и иепременное условие их бытия. Страна, которая договаривается с ними о мире и ставит условием «отказ от пропаганды»,— просто дура.

Очень бы хотели мы все, здесь живущие в России, чтобы Англия поняла иа своей шкуре, что она проделывает. Германия уже понесла — и несет — свою кару. Ослепшая Европа (особеиио Англия) на очереди. Ведь она зарывается не плоше Германии. И тут же продолжает после мира,— подлого,— подлую войну с Германией — на костях России.

Как ни мелко писала я, исписывая внутреииюю часть переплета моей «Черной книжки»,— книжка кончается. Не буду, верио, писать больше. Да и о чем? Записывать каждый хрип иашей агоиии? Так однообразно. Так скучно.

Хочу завершить мою эту запись изумительным отрывком из *«Опавших листьев»* В. В. Розанова. Неизвестно, о чем писал он это — в 1912 году. Но это мы, мы — в коице 1919-го!

«И увидел я вдали смертное ложе. И что умирают победители, как побеждеииые, а побежденные, как победители.

И что идет снег и земля пуста.

Тогда я сказал: «Боже, отведи это, Боже, задержи».

И победа побледиела в душе моей. Потому что побледиела душа. Потому что где умирают, там ие сражаются. Не побеждают, ие бегут.

Но остаются недвижимыми костями, и на иих идет снег».

(Короб 11, стр. 251).

На нас идет снег. И мы — недвижимые кости. Не задержал, не отвел. Значит, так надо.

Смотреть в глаза людские...

Этим кончилась «Черная книжка». Но странное, порой непреодолимое влечение отметить некоторые наши минуты — осталось. В потайном кармане меховой шубки, которую я последнее время не спускала с плеч, лежал серенький блокнот. Его не нашли бы при обыске, его так, в кармане, я и привезла сюда. Отметки на этом блокноте — спутанны, порою кажутся полубредовыми, но они характерны и доходят вплоть до дня отъезда-бегства — 24 декабря 1919 года. Они писаны карандашом, очень мелко. Так как они составляют прямое продолжение «Черной книжки», то я их здесь с точностью переписываю.

Авт.

Серый блокнот

(карандашом)

Октябрь... Ноябрь... Декабрь...

Какие-то сны... О большевиках... Что их свалили... Кто? Новые, странные люди. Когда? Сорок седьмого февраля...

Приготовление к могиле: глубина холода; глубина тьмы; глубина тишины.

Все на ниточке! на ниточке!

Целый день капуста. А Нева-то стала, а еще едва ноябрь (нов. стиля). А мороз 10°.

«Дяденька, я боюсь!» — пищит мальчишка в тургеневском сне «Конец света». И вдруг: «Гляньте! земля провалилась!»

У нас улица провалилась. Окна закрыты, затыканы, чем можно. Да и нету там, за окнами, ничего. Тьма, тишина, холод, пустота.

У Л. К. после всего кошмара дифтеритного, нарывного, стрептококкового,— плеврит. На Т. страшно смотреть.

Не было в истории. Все аналогии — пустое. Громадный город — самоубийца. И это на глазах Европы, которая пальцем не шевелит, не то обыдиотев, не то осатанев от кровей.

Одно полено стоит 40 рублей, но достать нельзя ни одного... «под угрозой расстрела».

Летом дни катились один за другим, кругло щелкая, словно черепа. Катились, катились,— вдруг съежились, сморщились, черные, точно мороженые яблочки,— и еще скорее защелкали, катясь.

Неужели мне кажется, что уже нет спасения?

Прислали нам, в виде милостыни, немного дров. Надо было самим перетаскать их в квартиру. Сорок раз по лестнице!

13 ноября (31 окт.). Л. К. сегодня свезли в больницу. Хотя она сама врач — едва устроили ее. Да все равно там нельзя. В 3 градусах тепла с плевритом скорее умрешь, чем в 6°. Сегодня же декрет о призыве в Красную Армию всех оставшихся студентов, уже без малейшего исключения. Негодных в лагеря. В Петербурге оставляют лежачих. Этот призыв — карательная мера. Студентов считают скрытой оппозицией. Так чтобы пресечь.

Экие злые трусы! Студенты, действительно, все сплошь против большевиков, но студенты вполне бессильны: во-первых — их полтора человека, и никакого университета, в сущности, давно нет. Во-вторых, эти полтора человека, несмотря на службу в советских учреждениях, качаются от голода и совершенно ни на что не способны. (Не говорю о приспособившихся и спекулянтах; эти, конечно, и от призыва открутятся, но это исключения, и не их же трусит наша «власть»!)

Т. вся тихая, точно святая.

Лишь мы, лишь здесь, можем видеть, понимать, навеки в сердце хранить эту печать *святости* на некоторых лицах. Опять то, чего не бывало, то, чего никто не увидит, не узнает, и что в высочайшей степени — *есть* Истинное *бытие* посреди пляски призраков, в тени нашей фантасмагории.

В эти долгие-долгие часы тьмы все кажется, что ослеп. Ходишь с вытянутыми вперед руками, ощупывая ледяные стены коридора.

«Ваше время и власть тьмы».

Я поняла, что холод хуже голода, а тьма хуже и того, и другого вместе.

Но и голод, и холод, и тьма — вздор! Пустяки! Ничто — перед одним, еще худшим, непереносимым, кажется, в самом деле не — вы — но — симым... Но нельзя, не могу, потом! после!

Трудно постигаемая честность у И. И. А тут еще его вера в оптимизм. Держал пари с Гржебиным, что к 1 ноября (ст. стиля) Петербург будет освобожден. Еще в сентябре держал,— на 10 тысяч. И сегодня отнес Гржебину эти 10 тысяч, где-то их наскреб (пальто ватное и галстуки продал, кажется).

Это изумительно; может быть, кто-нибудь изумится еще более, узнав, что Гржебин такие 10 тысяч *взял*?

Напрасно. Гржебин взял. Гржебин и не то берет.

Дома у И. И. полный развал. Они с женой вдвоем, без прислуги, в громадной ледяной квартире с жестяной лампочкой, и стекло неподходящее, падает. Кашляющая, слабая жена И. И. моет посуду во тьме, в гигантской нетопленной кухне. Но она физически не может ничего делать, как и я. Сам И. И. целый день таскает на плечах в 5 этаж дрова свои (запас еще с лета остался, надо все в комнаты перетаскать, ведь каждое полено — как золото). Барышни Р-ские, над нами, во тьме занимаются тем, что распиливают на дрова свои шкафы и столы. Чем же и заниматься вечерами!

Горький очень доволен всем. Ждет мира со смирившейся Антантой.

Что ж, возможно. Европа склоняется.

В школах температура на 0°. Начальницу школы Ш. и ее мужа опять арестовали (?) Собственные ее дети ревут от страха, школьные дети ревут от холода.

У В. Ф. (центральное отопление) 1° морозу. Она уже не моется, не причесывается, не раздевается.

На всех фронтах «победы». Ждут мира. Только один фронт: холод. Зима наступила на целый месяц раньше обычного.

Я в полусне. Работа «советских учреждений» тормозится тем, что везде замерзли чернила.

Англия,— опять Принцевы Острова!!?

Что это?

Несчастный народ, бедные мои дикари...

Пользуюсь тем, что тускло загорелось (на сколько минут?) электричество. Что-то пишу. Продолжаются непрерывные морозы. Мило сказал Ллойд-Джордж о России: «Пусть они там поразмышляют в течение зимы». Очень недурно сказал. Кажется, этот субъект самый бесстыдный из бесстыднейших. Но логика истории беспощадна. И отомстит ему — рано или поздно. Не мы — так она.

Надо помнить, что у комиссаров есть все: и дрова, и свет, и еда. И всего *много*, так как их самих — *мало*.

Горький говорил по телефону со своим «Ильичем» (как он зовет Ленина). Тот ему первое с хохотком: «Ну что, вас еще там в Петрограде не взяли?»

Между нами и другими людьми теперь навеки стена и молчание. Рассказать ничего никому нельзя. Да если б и можно — не хочется. Молчание. И странный взгляд на них — сбоку: *ничего не знают*!

Отъединенность навсегда.

22 (9) ноября.— Свет был третьего дня в продолжение сорока минут. Сегодня нет и вовсе. Как и раньше. Катя (наша горничная) слегла. У нее печь разрушилась. Дима перевел ее в свою спальню, сам в холодной столовой. Я все утро убираю комнаты, а вчера ночью до 4 часов, задыхаясь в холодной саже, должна была мыть все, до стен (уж как могла!), ибо лампа неистово накоптила. Гржебин везет в Москву прошение за подписью сотни «художников и литераторов»,— скромное прошение о нескольких фунтах керосина!

Мы большею частью сидим при крошечных ночниках, ибо керосин последний. Дмитрию зажигается на полчаса лампа — лежит в шубе на своем диванчике, читает о Вавилоне и Египте.

Я пишу это, наклонившись к ночнику, едва вижу свои кривые строчки.

Большевики ликуют. Победы — и вдали мир с покоренной Антантой. Все думаю, думаю над одним вопросом, но решить его не могу. А вопрос такой: правительство Англии, что оно,— бесчестно или безмозгло? Оно непременно или то, или другое, тут сомнений нет.

Коробка спичек — 75 рублей. Дрова — 30 тысяч. Масло — 3 тысячи фунт. Одна свеча 400—500 р. Сахару нет уже ни за какие тысячи (равно и керосина).

На Николаевской улице вчера оказалась редкость: павшая лошадь. Люди, конечно, бросились к ней. Один из публики, наиболее энергичный, устроил очередь. И последним достались уже кишки только.

А знаете, что такое «китайское мясо?» Это вот что такое: трупы расстрелянных, как известно, «Чрезвычайка» отдает зверям Зоологического сада. И у нас, и в Москве. Расстреливают же китайцы. И у нас, и в Москве. Но при убивании, как и при отправке трупов зверям, китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а какой помоложе — утаивают и продают под видом телятины. У нас — и в Москве. У нас — на Сенном рынке. Доктор N (имя знаю) купил «с косточкой»,— узнал человечью. Понес в ЧК. Ему там очень внушительно посоветовали не протестовать, чтобы самому не попасть на Сенную. (Все это у меня из первоисточников.)

В Москве отравилась целая семья.

А на углу Морской и Невского, в реквизированном доме, будет «Дворец искусств». По примеру Москвы. Устраивают Максим Горький и... Прости им Бог, не хочу имен.

Трамван ниой день еще ползают, но по окраинам.

С тех пор как перестали освещать дома — улнцы совсем исчезлн: тнхая, черная яма, могильная.

Ходят по квартирам, стаскнвают с постелей, гонят куда-то на работы.

Л. К. взялн из больинцы домой, с плеврнтом. (В больннцах 2 °.) На лестиице она упала от слабостн.

Мороз, мороз непрерывный. Осеии вовсе ие было.

Днму такн взялн в каторжные («общественные») работы. Завтра в 6 утра — таскать бревна.

И вовсе оказалось, ие бревна!.. Несчастный Днма прншел сегодня домой только в 4 ч. дия, мокрый буквальио по колеио. Он так нстощен, слаб, страшеи, — что на него почти нельзя смотреть. (Он занимает очеиь важный пост в Публичной бнблнотеке, но более занят дежурством на канале (сторожит дрова на барке), чем работой с киигами. Сторожить дрова — входнт в службу.)

Сегодня его гоияли далеко за город, по Ирнновской дороге, с партией других каторжан, — *рыть окопы*!! Погода ужасиая, оттепель, грязь, мокрый снег.

Пока я Днму разувала, терла ему ногн щеткой, ои мие рассказывал, как нх собирали, как гналн...

На месте далн кнрку. Потрясающе ненужно н бесплодио. И всякнй знал, что зто прниудительная бесполезность (вспомииаю «Мертвый дом» Достоевского. Его отметку, что самое тяжелое в каторжных работах — сознанне ненужности твоей работы. А тут еще хуже: *отвратительность* этой неиужиой работы).

Никто ннчего не нарыл, да ннкто н не смотрел, чтобы рыли, чтоб из этого вышлн какнебудь окопы. Самое откровеииое нздевательство.

После долгих часов в воде тающего сиега толстый, откормленный холуй (бабы его тут же, в глаза, осыпали бесплодиымн ругательствамн: «Ишь, отъелся, морда лопнуть хочет!») стал выдавать «арестантам», с долгнмн церемоннямн, по 1 ф. хлеба. Днма прннес этот черный, с иглами соломы, фунт хлеба — с собой.

Асснрнйское рабство. Да иет, и не асснрнйское, н не снбнрская каторга, а что-то совсем вне прнмеров. Для тяжкой ненужной работы сгоняют людей полураздетых н шатающнхся от голода, — сгоняют в сиег, дождь, холод, тьму... Бывало ли?

Отмечаю *засилие безграмотных*. Вчера явнвшнйся властитель-красноармеец требовал на «работы» 95 рабов и иенстово зашумел, когда ему сказалн, что зто невозможио, ибо у нас всех жнльцов валовых, с грудиыми детьмн, — 81.

Не поннмал, слушать ие хотел, но скандалил даром, ибо против арифметнкн не пойдешь, из 81 не сделаешь 95. Обещал кары.

Видела Н. И. — из Царского. На мнннутку в кухне, всю обвязаниую, как монашеика. Обещала скоро опять быть, подробио рассказать, как она со своим мальчиком пыталась уйтн с отступающимн белыми и — вернулась назад.

— Но отчего же оии..? — спрашнваю.

— Их было всего 1 корпус. Да красные н не дралнсь. Послалн башкнр. Ну, зтнм все равно. А потом нагналн столько «человечины»...

Боже мой, боже мой! Ведь зта «человечина» — ведь зто и есть опять все то же «кнтайское мясо»...

Д. С. видел у заколочеииого Гостииого двора священника, протягивающего руку за милостыней.

Если будет «мнр» с иимн... Я поняла, что этого нельзя переиести. И это не простнтся.

Неужели есть какая-нибудь страна, какое-нибудь правительство (не большевиков), думающее, что *может* быть, *физически* может — мир с ними? Черт с ней, с моралью. Я сейчас говорю о конкретностях. «Они» подпишут всякие бумажки. Примут все условия, все границы. Что им? Они безграничны. Что им условия с «незаконным» (не «советским») правительством? Самый их принцип требует неисполнения таких условий. Но фикция мира в их интересах. Одурманив ею народ, приведя его к разоружению, — они тихими стопами внедрятся в беззащитную страну... ведь это же, прежде всего, партия «подпольных» действий. А в кармане у них уже готовые составы «национальных» большевистских правительств любой страны. Только подточить и посадить. Выждать, сколько нужно. «Мирный» переворот, по воле народа!

Каждое правительство каждой страны, — какой угодно, хоть самой Америки! — подписывая «мир» с большевиками, — подписывает прежде всего смертный приговор себе самому. Это $2\times2=4$.

Ну, а если после войны Европа стала думать, что $2\times2=5$?

Англия, в лице Ллойд-Джорджа, вероятно, и не очень честна, и не очень умна, а к тому же крайне невежественна.

В последнем она сама наивно признается.

Почти юродивое идиотство со стороны Европы посылать сюда «комиссии» или отдельных лиц для «ознакомления». Ведь их посылают — к большевикам в руки. Они их и «ознакомливают». Строят декорации, кормят в Астории и открыто сторожат денно и нощно, лишая всякого контакта с внешним миром. Попробовал бы такой «комиссионер» хотя бы на улицу один выйти! У дверей каждого — часовой.

Отсюда и г-н Форст (о нем я своевременно писала, да он, как немец, чувствует органическое «влечение, род недуга» к большевизму русскому), отсюда и этот махровый дурак мистер Гуд, разъезжающий в поезде Троцкого и, купленный вниманием добрых большевиков к его особе, — весь растекшийся от умиления.

Нет! Пришлите, голубчики, кого-нибудь «инкогнито». Пришлите не к ним — а к нам. Пусть поживут, как мы живем. Пусть увидят, что мы все видим. Пусть полюбуются и как существует «смысл» страны — ее интеллигенция. Вот будет дело.

А приезжающие к большевикам... могли бы и не трудиться. Пусть читают, не двигаясь с места, большевистские прокламации. Совершенно так же будут «осведомлены».

Неужели и добровольцев не найдется для «инкогнито»?

Кричу, никогда не кончу кричать об этом!

Н. И. говорит: «...они (белые) не понимают... они думают, что тут еще остались *живые люди...*»

Живых людей, *не связанных по рукам и ногам*, — здесь нет. А связанных, с кляпом во рту, ждущих только первой помощи — о, этих довольно! Такие «живые» люди почти все, кто еще жив физически.

Опять и опять вызываю добровольцев на «инкогнито»! Но предупреждаю: риск громадный. Весьма возможно, что тех, кто не успеет подохнуть (с непривычки это — в момент), — того свяжут или закопопатят, как нас. Доведут быстро до троглодитства и абсурда.

Мы недвижны и безгласны, мы (вместе с народом нашим) вряд ли уже достойны называться людьми — но мы еще живы, и — мы *знаем, знаем...*

Вот точная формула: если в Европе может, в XX веке, существовать страна с таким феноменальным, в истории небывалым, всеобщим *рабством*, и Европа этого не понимает, или это принимает — Европа должна провалиться. И туда ей и дорога.

Да, рабство. Физическое убиение духа, всякой личности, всего, что отличает человека от животного. Разрушение, обвал всей культуры. Бесчисленные тела белых негров.

Да что мне, что я оборванная, голодная, дрожащая от холода? Что — мне? Это ли страдание? Да я уж и не думаю об этом. Такой вздор, легко переносимый, страшный для слабых, избалованных европейцев. Не для нас. Есть ужас ужаснейший. Тупой ужас потери лица человеческого. И моего лица, — и всех, всех кругом...

Мы лежим и бормочем, как мертвецы у Достоевского, бессмысленный «бобок... бобок...»

Гроб на салазках. Везут родные. Надо же схоронить. Гроб на прокат. Есть еще?

Бабы, роя рвы в грязи: «А зачем тут окопы-то ефти?» Инструктор равнодушно: «Да тут белые в 30 верстах».

Индия? Евреи в Египте? Негры в Америке? Сколько веков до Р. Хр.? Кто — мы? Где — мы? Когда — мы?

При свете ночника. Странно, такая слабость, что почти ничего не понимаю. Надо стряхнуть.

Последние дрова. Последний керосин (в ночниках). Есть еще дрова, большие чурки, но некому их распилить и расколоть. Да и пилы нету.

Ш-скую выпустили. Держали в трех тюрьмах, с уголовными и проститутками. Оказалось потом, что за то, что у нее есть какой-то двоюродный брат (а она с ним не видится), который хотел перейти финляндскую границу. Мужа ее, арестованного за то же, потеряли в списках.

Они оба — муж и жена — очень интеллигентные люди, создатели одной из самых популярных в Петербурге гимназий и детского сада. Большевики, полуразрушив заведение, превратив его в «большевистскую школу», оставили чету Ш. заведующими. Кстати, еще о большевистских школах. Это, с известной точки зрения, самое отвратительное из большевистских деяний. Разрушение *вперед*, изничтожение будущих поколений. Не говоря уже о детских телах (что уж говорить, и так ясно!) — но происходит систематическое внутреннее разлагательство. Детям внушается беззаконие и принцип «силы как права». Фактически дети превращены в толпу хулиганов. Разврат в этих школах такой, что сам Горький плюет и ужасается, я уже писала. Девочки 12—13 лет оказываются беременными или сифилитичками. Ведь бывшие институты и женские гимназии механически, сразу, сливают с мужскими школами и с уличной толпой подростков, всего повидавших — юных хулиганов, — вот общий, первый принцип создания «нормальной» большевистской школы. Никакого «ученья» в этих школах не происходит, да и не может происходить, кроме декоративного, для коммунистов-контролеров, которые налетают и зорко следят: ведется ли школа в коммунистическом духе, поют ли дети «Интернационал» и не висит ли где в углу забытая икона. Насчет ученья — большевики, кажется, и сами понимают, что нельзя учиться 1) без книг, 2) без света, 3) в температуре, в которой замерзают чернила, 4) с распухшими руками и ногами, обернутыми тряпками, 5) с теми жалкими отбросами, которые посылаются раз в день в школу (знаменитое большевистское «питание детей!»), и, наконец, с малым количеством обалделых, беспомощных, качающихся от голода учительниц, понимающих одно: что ничего решительно тут нельзя сделать. Просто — служба; проклятая «советская» служба — или немедленная гибель. Учителей нет совершенно естественно: старые умерли, все более молодые мобилизованы.

Американцев бы сюда, так заботящихся о детях, что даже протестовавших против блокады: бедным большевичкам, мол, самим кушать нечего, и то они у себя последний кусок вырывают, чтобы деток попитать; снимите, злые дяди, блокаду — и расцветут бедные «красные» детки бывшей России!.. Кажется, и мистер Гуд, разъезжающий в императорском поезде Троцкого и кушающий там свежую икру, — лепетал что-то в этом роде.

Ну, да все равно. Бог с ней и с Америкой. Какая там Америка! Далеко Америка! И довольно об этом. Скажу еще только, что случай позволил мне наблюдать внешнюю и внут-

реннюю жизнь «советских школ» очень близко и что все, что я говорю, я говорю ответственно и с полным знанием дела. Я имею осязательные фактические данные и — полное беспристрастие, ибо *лично* тут никак не заинтересована. Все дети для меня равны. Ибо всякий *человек* должен прийти в такой же бездонный ужас, как и я, — если он только действительно увидит, своими глазами, то, что вижу я.

Начинаются «мирные» переговоры с прибалтийскими пуговицами. Пожалуйста, пожалуйста! Знаю, что будет, одного не знаю — сроков, времени. Сроки неподвластны логике. Будет же: большевики с места начнут вертеть перед бедными пуговицами «признанием полной независимости». Против этой конфетки ни одна современная пуговица устоять не может. Слепнет — и берет конфетку, хотя все зрячие видят, что в руках большевиков эта конфетка с мышьяком. Развязанными руками большевики обработают данную «независимую» пуговицу в «советскую», о, тоже самостоятельную и независимую! Мало ли у них таких «самостоятельных», даже помимо несчастной Украины, куда они сотый раз сажают «независимого» Раковского, перерезав очередную часть населения.

Впрочем, если б даже пуговицы и понимали, что лезут сами в петлю, — они ничего бы не могли поделать: за их спинками переговаривается Англия. Она идет по стопам Германии во времена Бреста. Пока еще прячет лицо, действует менее честно, нежели Германия, но, дайте срок, откроется.

Германия получила свое возмездие. Возмездие Англии — впереди.

Встряхиваю головой, протираю глаза и соображаю: о нашей жизни нельзя никому рассказать потому — что мы *забыли* сами (от привычки) основные абсурды, на которых все покоится, а говорим лишь о следствиях, о фактах, *вытекающих* из этих абсурдов. Естественно, что это плодит недоразумения.

Говорим? Даже и о следствиях, об этой цепи повседневных фактов — говорим ли мы? Вот, я — здесь, на этих тайных страницах разве... Ведь мы *безгласны* в самом прямом смысле этого слова, все мы со всем русским народом. Я обвиняю Европу, но как ей видеть, как понимать, что слышать? Будем объективны, будем справедливы. Россия гробово молчит: отсюда до Европы доходит лишь то, что угодно сказать большевикам.

А они и говорят, и очень громко, и очень настойчиво, вот что:

у нас — *революция*;

у нас — *диктатура пролетариата*, а коренной наш принцип — правительство *рабоче-крестьянское*. Мы постепенно вводим в жизнь, воплощаем все идеи научного *социализма*, мы уничтожили капитал, уничтожаем частную собственность, идем к уничтожению денег. Мы за полное равенство всех. У нас система *Советов* — совершеннейший из всех выборных институтов. Перевыборы строго совершаются каждые полгода, — сам народ управляет страной. Мы за мир всего мира, но так как враги наши не оставляют нас в покое, то для защиты своего социалистического строя народ создал могущественнейшую Красную Армию и борется за социализм, не жалея крови, терпит голод, нужду, лишения, — только бы не отняли у него «собственного» правительства. С внутренними врагами русский народ — рабочие и крестьяне — борется посредством созданных им правительственных учреждений — исполкомы, Чека и др. Все враги советской власти, без исключения, желают отдать фабрики — капиталистам, отняв у рабочих, а землю — помещикам, отняв у крестьян.

Революция — это мы.

Социализм и как совершеннейшая его точка коммунизм — это мы.

Рабочие и крестьяне — это мы.

Поэтому:

кто против *нас* — тот против революции (контрреволюционер), против социализма (социал-предатель), против рабочих, крестьян (буржуй, помещик, капиталист).

Вот, в главной черте, то, что говорят большевики в Европе. Говорят упорно и громко.

Еще бы не громок был их голос, когда он не заглушается ничьим, когда это *единственный* голос, идущий из России. Эту единственность они взяли силой, но главный их принцип, которого они не скрывают, — «*сила есть право*».

Признает ли Европа, тайно или бессознательно, этот принцип, против которого явно она вела войну с Германией, или просто не думает, не соображает, не разбирается, — пока оставим. Я веду вот к чему. Я веду к указанию на главные, коренные абсурды — основы нашей действительности. «Через головы европейских правительств», как все время говорят большевики, мне хотелось бы обратиться к рабочим всего мира, социалистам всего мира, с такими утверждениями (ответственными, ибо далее я предлагаю реальную проверку — жизненную).

Я утверждаю, что ничего из того, о чем говорят большевики в Европе, — нет.

Революции — *нет*.

Диктатуры пролетариата— *нет*.

Социализма — *нет*.

Советов, и тех, — *нет*.

Я могла бы здесь последовательно мотивировать каждое «нет», но это лишнее: разве в листках моего дневника недостаточно доказательств? Да и нужны ли словесные доказательства тем, кто хочет верить лжи?

Нет, я предложила бы иное... (Я знаю, знаю, что это мечты, это мои сказки, которые я сама себе рассказываю, сидя в холодной банке с пауками, сидя безгласно и слепо... Но пусть! Эти сказки все же трезвее действительности.)

Мне хотелось бы предложить рабочим всех стран следующее. Пусть каждая страна выберет двух уполномоченных, двух лиц, честности которых она бы верила (или ни в одной стране не найдется двух абсолютно честных людей?), — и пусть они поедут *инкогнито* (даже полуинкогнито) в Россию. Кроме честности нужно, конечно, мужество и бесстрашие, ибо такое дело — подвиг. Но не хочу я верить, что на целый народ в Европе не хватит двух подвижников!

И пусть они, вернувшись (если вернутся), скажут «всем, всем, всем»: есть ли в России революция? Есть ли диктатура пролетариата? Есть ли сам *пролетариат*? Есть ли «рабоче-крестьянское» правительство? Есть ли хоть что-нибудь похожее на проведение в жизнь принципов «социализма»? Есть ли Совет, т. е. существует ли в учреждениях, называемых Советами, хоть тень выборного начала?

В громадном *нет*, которым ответят на все эти вопросы *честные* люди, *честные* социалисты, вскроется и коренной, основной абсурд происходящего.

Пока он не вскрыт, пока далекие рабочие массы и социалистические партии верят плакатам, которыми большевики завесили границу России (я говорю о верящих наивно, а не о тех, кто ради собственного интереса, личного властолюбия и т. д. притворяется, что верит), — пока это так — до тех пор бесцельно осведомлять о тех фактах русской жизни, которых большевики скрыть не могут. Они оправданы.

Террор, — но ведь революция!

Поголовный набор, принудительный, — но ведь на «советскую» власть нападают, принуждают воевать!

Голод и разруха,— но ведь блокада! Ведь буржуазные правительства не признают «социализма»!

Все нищие,— но ведь равенство! (Равенства тоже нет, ибо нигде нет таких богачей, таких миллиардеров, как сейчас в России. Только их десятки — при миллионах нищих.)

Уничтожение науки, искусства, техники, всей культуры вместе с их представителями, интеллигенцией,— но ведь диктатура пролетариата! Все это — наука, искусство, техника — должно быть пролетарским, а интеллигенция, кроме того,— контрреволюционеры.

Нет свободы ни слова, ни передвижения, и вообще никаких свобод, все, вплоть до зем-

ли, взято «на учет» и в собственность правительства,— но ведь это же «рабоче-крестьянское» правительство, и поддержанное всем народом, который дает своих собственных представителей — в Советы!

Да, надо повалить основные абсурды. Разоблачить сплошную, сумасшедшую, основную *ложь*.

Основа, устой, почва, а также главное, беспрерывно действующее оружие большевистского правления — *ложь*.

И я утверждаю... (следующие две строки не могу разобрать; кажется, о том, что внезапно погас всякий свет и не могу кончить запись сегодняшнего дня).

26 ноября (10 декабря). Дни оттепели, грязи, тьмы. По улицам не столько ходят, сколько лежат.

Господи! А как выдержать этот «мир»? Стены тьмы окружили,— стены тьмы!

Говорят, что уже чума появилась. Легочная. Больше ни о чем не говорят. В газетах все то же. Разнузданная, непечатная ругань — всем правительствам на свете. Особенно Англии. И чем она-то им не угодила? Не говорит? Заговорит еще! Утрется от плевков,— и опять им заулыбается. Ничего, пусть, на свою голову!

О чем еще «говорят»? Ждут новых обысков. Дровяных. Больше ни о чем не говорят.

Русские за границей — «парии»? Вот как? Пожалуйста! С каким презрением (праведным) смотрела бы я на европейцев, попади я сейчас за границу. Не боюсь я их. С высоты моей горькой мудрости, моего опыта, смотрела бы я на них.

Ни-че-го не понимают!

9 (22 декабря) Горький вернулся из Москвы. Уверяет, что ездил «смягчать» политику, но ничего не добился. Обещают твердо стоять на прежней: непременно расстрелы, непременно заложники и «война до победного конца». Всякий «мир», который им удастся выловить, они тоже считают «победным концом». Ибо тогда-то и начнется настоящее внедрение в уловленную страну. Попалась птичка. Если в мирных условиях придется подписать «отказ от пропаганды» — что это меняет? «Исполнение условий по отношению к незаконному правительству (буржуазному, демократическому) — мы не считаем для себя обязательным».

Опять все то же. И вечно будет то же, всегда! И это нас не удивляет. Удивило бы другое.

Горький манил Антантой. Если, мол, ослабить террор — Антанта признает. На что «Ильич» бесстрастно ответил, «что и так признáет. Увидите. Очень скоро начнет с нами заговаривать, Англия уже начала. Ее принудят ее массы, над которыми мы работаем, Европа уже вся в руках своих рабочих масс. Держится лишь тонкая буржуазная скорлупа».

Да, большевики не утруждают себя дипломатией. Откровенны до последних пределов относительно своих планов,— убедились, что Европа все равно ничего не поймет. Не стесняются.

«Миры» свои хотят как по нотам разыграть. План этой «мирной» компании тоже объявляют во всеуслышание. Кратко он таков: и невинность сохранить, и капитал приобрести. Я слишком много писала об этих «мирах». Слишком ясно.

Для новорожденных пуговиц, вроде Эстонии, Латвии и т. д., они держат в одной руке заманчивую конфетку «независимости», другой протягивают петлю и зовут: «Эстоша, пойди в петельку! Латвийка уже протянула шейку!»

Перед далекими великими и глупыми (оглупевшими) державами они будут брячать красным золотом и поманывать мифическими «товарами» (?) Все это объявлено и расписано. Так и будет.

Порою изумляешься: и как это они воюют? Как это они, раздетые, наступают?

Ведь *лютая* зима! Вот сегодня 26° мороза по Реомюру!

Но и не воевать, сидеть дома, здесь, не легче. Даже когда топим печку, выше 7° не подымается. Мерзнут руки, все, за что ни возьмешься,— ледяное. Спим почти одетые. Окна к утру покрываются ледяной коркой.

Я давно поняла, что холод тяжелее голода. И все-таки, опять повторю, голод и холод вместе — ничто перед внутренним, душевным, духовным смертным страданием нашим,— единственным.

Запишу несколько цен данного момента. Это — зима 19/20 г.

Могу с точностью предсказать, на сколько подымется цена всякой вещи через полгода. Будет ровно втрое,— если эта вещь еще будет.

Ведь отчего сделалось бессмысленным писать дневник? Потому что уж с давних пор (год, может быть?) ничего нового сделаться здесь не может; все сделалось до конца, переверт наизнанку произошел. Никакого *качественного* изменения, пока сидят большевики,— сиди они хоть 10 лет; предстоят лишь *количественные* перемены, а так как есть точная наука — геометрия и так как мы имели время наблюдать способы ее приложения, то нет уже никакой надобности и сидеть тут в 20, 21-м году, чтобы точно знать в 20-м году положение в России. Высчитать, когда, во сколько раз будет больше смертей, например,— ничего не стоит, зная цифры данного дня.

Ohé, Bergson! Мы вышли из твоей философии! Кончена imprévisibilité! * Остался «учет»,— по Ленину.

Итак — вот сегодняшние цены, зима 19/20 г., декабрь (через полгода: втрое, кое-что вчетверо, большая часть — ни за какие деньги).

Фунт хлеба — 400 р., масла — 2300 р., мяса — 610—650 р., соль — 380 р., коробка спичек — 80 р., свеча — 500 р., мука — 600 р. (мука и хлеб — черные, и почти суррогат). Остальное соответственно.

А в «Доме искусств» — открытие. Был чай, пирожные (всего по сто рублей!), кончилось танцами: Оцуп провальсировал с m-me Ходасевич.

О спекулянтах нашего дома: жирный Алябьев, попавшийся на спирту (8 миллионов), был на краю смерти: спасся выдачей всех на месте расстрела. Теперь собирается «поднимать» к себе икону Скорбящей, молебен служить.

Другой, Яремич, пока расцветает: сидит уже в барской квартире, по нашей лестнице, обставил себя нашим пианино, часами И. И., чьим-то граммофоном, который непрерывно заводит,— и покровительственно «принимает» Диму.

Третий, primo-speculanto, ступенькой повыше,— Гржебин,— обставил себя награбленным у писателей. Тоже принимает «покровительственно», но старается изо всех сил, хотя и безуспешно, сохранить «оттенок благородства».

Люди ли это?

Я уже предпочитаю Г. из Смольного, из военной секции. Он очень интересен. Когда-нибудь напишу о нем подробно. Важная шишка. Русский. Выслужился из курьеров. Очень молод. Знает Достоевского наизусть. Любит Дмитрия. Почти обиделся, когда я спросила, знает ли он меня... Все понял, подписывая нам командировку, хотя «слово» между нами не было сказано...

Не коммунист, т. е. не записан в партию, потому что — «я верующий. Христианин». При записи в ком. партию нужно, оказывается, какое-то отречение...

О Г. я напишу впоследствии подробнее, и напишу с удовольствием... А теперь коснусь, кстати, того, чего я намеренно здесь еще не касалась.

Церкви.

* Эй! Бергсон!.. Кончена непредвиденность! (*фр.*).

Очень много можно тут сказать. Но я ограничусь самыми краткими словами и фактами. И эти-то факты упоминать тяжело.

Следует, говоря о данном моменте, разделить так:

1) Православие, церковь — иерархия.

2) Народ.

3) Тактика большевиков.

Летнее письмо патриарха, унизительное и заискивающее, к «советской власти», «всегда бережно относившейся» и т. д. Большевики с упоением напечатали его во всех газетах, но не преминули снабдить своими победно-ликующими комментариями. На униженную просьбу «не расстреливать священников» ответили просто ляганьем. С другой стороны — здешний митрополит, при той же, лишь более скрытой политике, ходит пешком, одемократился и благосклонен к интеллигентному кружку некоторых священников вроде А. В. и Е., пустившихся в новшества и делающихся все популярнее. Св. А. В. (мы его знали еще студентом) склоняется к кликушеству (говорю резко) — им поработилась даже Анна Вырубова, знаменитая «дочь Гришки Распутина» когда-то. Измученная интеллигенция влечется туда же.

Священники простецкие, не мудрствующие,— самые героичные. Их-то и расстреливают. Это и будут настоящие православные мученики.

Народ? Церкви полны молящихся. Народ дошел до предела отчаяния, отчаяние это слепое и слепо гонит его в церковь. Народ русский никогда не был православным. Никогда не был религиозным сознательно. Он имел данную форму христианства, но о христианстве никогда *не думал*. Этим объясняется та легкость, с которой каждый, если ему как бы предлагается выход из отчаянного положения — записаться в коммунисты,— тотчас сбрасывает всякую «религиозность». Отрекается, не почесавшись. (Даже Г. удивлялся.) Невинность ребенка или идиота. Женщины в особенности. Внешние традиции у многих под шумок хранятся. Так — любят венчаться в церкви. Не жалеют на это денег и очень хитрят. Ну, а кому все равно нет выбора, все равно отчаяние и некуда идти — идут в церковь. Кланяются, крестятся,— молятся, в самом деле молятся, ибо Кому-то, Кого не знают, несут душу, полную темного отчаяния.

Большевики сначала грубо наперли на церковь (истории с мощами), но теперь, кажется, изменяют тактику. Будут только презирать, чтобы ко времени, если понадобится, и церковь использовать. Некоторые, поумнее, говорят, что потребность «церковности» будет и должна удовлетворяться «их церковью» — коммунизмом. Это даже по-чертовски глубоко!

Написала — и как-то мне стало противно. Почти невыносимо говорить об этом! Страшно.

23 (10) декабря. Вот что надо не забыть. Вот чего не знают те, которые не сидят с нами, гуляют на свободе. Русские ли они? Я склонна думать, что они перестали быть русскими. Русские только мы, только в России.

Надо не забывать этих глаз, полных горечи и негодования, этих тихих слов, которыми мы обменивались здесь слишком часто:

— Опять!

— Опять?

— Да. Все то же. Опять объявили (белые, те или другие, очередная надежда на освобождение России, словом) — то же самое. Не признают «независимости» (чьей-нибудь). Опять большевики ликуют. Что ж, они правы. Победили.— Да, может, неправда? Да не могут же «они» держаться за старое безумие? Ведь это же приговор собственному делу?

— Вот, подите! Сумасшедшие. Слепые. Не только Россию глубже в землю зарывают — и себя хоронят. Что делать?

Но мы знали, что нам нечего делать. Даже сказать мы ничего не могли. А если б и могли?

Сказать — не поверят.
Кричать — не поймут.
И близится черед.
Свершается суд...

С неумолимой, роковой однообразностью каждая русская сила, собиравшаяся на большевиков, начинала с того, что кого-нибудь «не признавала»: даже Финляндию (фатальная архиглупость!), уж не говоря о Латвиях, Эстониях и т. п.

Мы содрогались, мы хохотали истерическим хохотом отчаяния — а они со всей преступной тупостью (честной, может быть) объявляли, что не позволят «расчленять Россию»... Россию, которой сейчас *нет*!

Это, во-первых, косвенное признание большевиков и России большевистской. Ведь они одни хотят своей «неделимой» России, они одни ею сейчас владеют и действенно эту неделимость поддерживают. Все *ими* провозглашенные «независимости» ихние, «советские», вроде Украины с Раковским,— конечно, вздор, куры смеются. Они «упустили» как Финляндию, так и все прибалтийские кусочки. И не взяв силой, подходят с «мирами»: им «хоть мытьем, хоть катаньем» — все равно. Уверившиеся маленькие государства, влюбленные в «независимость», идут на «мир» — что же им делать? Хитрое «мирное» завоевание, когда-то еще будет,— они глаза закрывают. Может, и не сейчас, а пока — «независимость». Если же, не дай Бог, белые свергнут большевиков,— каюк: ведь заранее объявляют, что никакой «независимости».

Все соседи, большие и маленькие, при таком положении, *не могут* содействовать белым, *должны*, естественно, стоять за большевиков сегодня.

Это практический результат. Но сам внутренний корень таких «непризнаний» стар, глуп, гнил. Не говоря даже о Польше и Финляндии (еще бы!) — но вот эти все Литвы, Латвии и т. д., «прибалтийские пуговицы», как я их называю без всякого презренья,— да почему им, в конце концов, не быть самостоятельными? Если они хотят и *могут*,— какое «патриотическое» русское чувство должно, смеет против этого протестовать? *Царское* чувство — пожалуй, чувство людей с седой и лысой душой, все равно близкой к гробу.

Вот эти седые и лысые души губят Россию, как и себя. Не раз, не два — все время!

А мы, отсюда мы, *знающие*, и уж, конечно, не менее русские, чем все это, по-своему честное, старье,— мы не только не боимся никакого «расчленения» царской России: мы хотим этого расчленения, мы верим, что будущая Россия, если станет «собираться», то в иных принципах и в тех пределах, в каких позволит новый принцип.

Это будущее. А сейчас, кроме того, как не радоваться каждому клочку земли, уверившемуся из-под власти большевиков? Да если б Смоленская губерния объявила себя независимой, свергла комиссаров и пожелала самоопределиться — да пусть, с Богом, самоопределяется, управляется, как может,— только бы не большевиками! Почему «не патриотично» признавать ее? Требовать, чтобы не смела освобождаться от большевиков? Этот дикий «патриотизм», в сущности, ставит знак равенства между Большевизией и Россией (в их понятии). «Не признаем частей, отделившихся от России!» — читай: от большевиков. Безумие. Бесчеловечность. Не могу больше писать. Не знаю, когда буду писать. Не знаю, что еще... Потом?

А сегодня опять с «человечиной». Это ядение человечины случается все чаще. Китайцы не дремлют. Притом выскакивают наружу, да еще в наше поле зрения, только отдельные случаи. Сколько их скрытых...

Я стараюсь скрепить душу железными полосами. Собрать в один комок. Не пишу больше ни о чем близком, маленьком, страшном. Оттого только об общем. Молчание.

Молчание...

Это последняя запись «Серого блокнота». На другой день, в среду, 24 декабря 1919 года, совершился наш отъезд из Петербурга с командировками на Г., а затем, в январе 1920 года,— переход польской границы.

Мучительные усилия и хлопоты, благодаря которым мог осуществиться наш отъезд из Петербурга, затем побег — не отражены в записи последних дней по причине весьма понятной. Хотя маленький блокнот не выходил из кармана моей меховой шубки, а шубку я носила, почти не снимая,— писать даже и то, что я писала, было безумием, при вечных повальных обысках. У меня физически не подымалась рука упомянуть о нашей последней надежде — надежде на освобождение.

Дневник в Совдепии,— не мемуары, не воспоминания «после», а именно «дневник»,— вещь исключительная; не думаю, чтобы их много нашлось в России, после освобождения. Разве комиссарские. Знаю человека, который для писания дневника прибегал к неслыханным ухищрениям, их невозможно рассказать; и не уверена все-таки, сохраняется ли он до сих пор.

Впрочем,— нужно ли жалеть? Не сделалась ли жизнь такою, что «дневник», всякий,— дневник мертвеца, лежащего в могиле?

Я знаю: теперь, за эти месяцы, в могиле Петербурга ничто не изменилось. Только процесс разложения идет дальше, своим определенным, естественным, известным всем путем.

Первая перемена произойдет лишь вслед за единственным событием, которого ждет вся Россия,— свержением большевиков.

Когда?

Не знаю времен и сроков. Боюсь слов. Боюсь предсказаний, но душа моя все-таки на этот страшный вопрос «когда»? — отвечает: скоро.

3 октября 1920 г.
Варшава.

Синяя книга

О синей книге

Эта книга — первая половина моего дневника, «Современной записи», которая велась в Петербурге в годы войны и революции. Часть, здесь напечатанная (авг. 14 г.—ноябрь17), уже в начале 18 г. не находилась в Спб-ге и затем в течение 8—9 лет считалась погибшей. Так как и погибла вторая половина — годы 18 и 19,— другим лицом и в другом направлении тоже увезенная из Петербурга.

Самый конец «Записи», последние месяцы 19 года (отрывочные заметки на блокноте), оставался при мне и отправился со мною, в моем кармане, за границу, когда мы туда бежали. Эти заметки вошли в книгу «Царство Антихриста», изданую по-русски, по-немецки и по-французски в 21 г.

В предисловии к заметкам я упоминаю о гибели двух первых частей дневника. Шли годы; сомневаться в этой гибели не приходилось. Можно себе представить, как нас поразило неожиданное возвращение одной из частей «Записи» — первой. Но, надо сказать, еще более поразило меня содержание рукописи. Читать собственный отчет о событиях (и каких!), собственный, *но десять лет не виденный* — это не часто доводится. И хорошо, пожалуй, что не часто. «Если ничего не забывать, так и жить было бы нельзя»,— сказал мне друг, в виде утешения, застав меня за первым перечитыванием этого длинно-

го, скучного и... *страшного* отчета. Да, забвенье нам послано как милосердие. Но все ли мы, всегда ли имеем право стремиться к нему и пользоваться им? А что, если, зачеркивая, изменяя, посредством забвенья, прошлое, отвертываясь от него и от *себя в нем*, мы лишаемся и своего будущего?

Вопрос о печатании этой потерянной и возвращенной рукописи долго оставался для меня вопросом. Не рано ли? Давность только десятилетняя... Но это как раз говорило в пользу напечатания дневника. Ведь он — только запись одного из тысячи наблюдателей прошлого. Пусть запись добросовестная, пусть наблюдательный пункт выгоден — неточности, неверности, фактические ошибки неизбежны. Через 50 лет их некому было бы поправить, тогда как теперь, когда живы еще многие свидетели тех же событий — даже участники, они всегда могут, указанием на то или другое искажение действительности, содействовать восстановлению ее подлинного образа.

Однако именно «живые люди» и усложняли вопрос. Печатать дневник имело смысл лишь в том виде, в каком он был написан, без малейших современных поправок (даже стиля), устранив только все чисто личное (его было немного) и вычеркнув некоторые имена. Но вычеркнуть другие все (тогда уж и мое) — значило бы зачеркнуть дневник. Между тем я знаю: большинство людей не любит, боится лишнего взгляда на прошлое, особенно на *себя* в нем. А вдруг увидишь там что-нибудь по-новому, вдруг *придется* осознать свою ошибку? Нет, лучше — под «крыло забвенья...» Это очень человеческое чувство, почти никто от него не свободен — ни я, конечно. Мне тоже тяжело наше прошлое, когда оно слишком живо вспомнится, слишком близко подступит. В данном, частном, случае — и для меня дневник мой не всегда приятное зеркало: приходится ведь отвечать не за одну главную внутреннюю линию (за нее я без труда отвечаю), но также и за ребяческие наивности, скорые суды, «самодельные» политические рассуждения и т. д. Да еще сознавать, что если не было каких-нибудь ошибок серьезных, фатальных, то лишь потому, может быть, что и «действий» не было...

Но, побеждая свою боязнь прошлого, не считаясь с ней в себе, *имею ли я право* считаться с ней в других? Как я смею решать, что другие, даже в этом маленьком случае, не найдут в себе силы бросить взгляд на свое прошлое, сказать ему новое «да» или новое «нет»?

Я и не решаю этого. То есть решаю, печатая дневник, заботиться о людях, там упоминаемых, не больше, чем о себе. Я не обманываю себя: те, кто страха — даже перед самой малой частицей *правды* — преодолеть не могут,— станут моими врагами. Это всегда так бывает. А частица правды в дневнике моем есть; о ней только я и думаю, и верю: кому-нибудь она нужна.

Жизнь, как уже сказано, поставила нас (меня и Д. С. Мережковского) в положение, близкое к событиям и некоторым людям, принимавшим в них участие. Среда петербургской интеллигенции была нам хорошо известна. Кое-кто из вернувшихся после февраля эмигрантов — тоже. И географически положение наше было благоприятно: ведь именно в Петербурге зарождались и развивались события. Но даже в самом Петербурге наша географическая точка была выгодна: мы жили около Думы у решетки Таврического сада.

Все остальное выяснится из самой книги. Скажу еще только вот что: пусть не ждут, что это «книга для легкого чтения». Совсем не для легкого. Дневник — не стройный «рассказ о жизни», когда описывающий сегодняшний день уже *знает* завтрашний, знает, чем все кончится. Дневник — само *течение жизни*. В этом отличие «Современной записи» от всяких «Воспоминаний», и в этом ее особые преимущества: она воскрешает атмосферу, воскрешая исчезнувшие из памяти мелочи.

«Воспоминания» могут дать образ времени. Но только дневник дает время в его длительности.

1 августа
С.-Петербург
1914. (Стиль старый)

Что писать? Можно ли? Ничего нет, кроме одного — *война*!

Не японская, не турецкая, а мировая. Страшно писать о ней мне, здесь. Она принадлежит всем, истории. Нужна ли обывательская запись?

Да и я, как всякий современник,— не могу ни в чем разобраться, ничего не понимаю, ошеломление.

Осталось одно. если писать,— простота.

Кажется, что все разыгралось в несколько дней. Но, конечно, нет. Мы не верили потому, что не хотели верить. Но если бы не закрывали глаз...

Меня, в предпоследние дни, поражали петербургские беспорядки. Я не была в городе, но к нам на дачу приезжали самые разнообразные люди и рассказывали, очень подробно, сочувственно... Однако я ровно ничего не понимала, и чувствовалось, что рассказывающий тоже ничего не понимает. И даже было ясно, что сами волнующиеся рабочие ничего не понимают, хотя разбивают вагоны трамвая, останавливают движение, идет стрельба, скачут казаки.

Выступление без повода, без предлогов, без лозунгов, без смысла... Что за чепуха? Против французских гостей они, что ли? Ничуть. Ни один не мог объяснить, в чем дело. И чего он хочет. Точно они по чьему-то формальному приказу били эти вагоны. Интеллигенция только рот раскрывала — на нее это, как июльский снег на голову. Да и для всех подпольных революционных организаций, очевидно.

М. приезжал взволнованный, говорил, что это «органическое» начало революции, а что нет лозунгов — виновата интеллигенция, их не дающая.

А я не знала, что думать. И не нравилось мне все это — сама не знаю почему.

Вероятно, решилась, бессознательно понялась близость неотвратимого несчастья с выстрела Принципа.

Мы стояли в саду, у калитки. Говорили с мужиком. Он растерянно лепетал, своими словами, о приказе приводить лошадей, о мобилизации... Это было задолго до 19 июля. Соня слушала молча. Вдруг махнула рукой и двинулась:

— Ну,— словом,— беда!

В этот момент я почувствовала, что кончено. Что действительно — беда. Кончено.

А потом опять робкая надежда — ведь нельзя. Невозможно! Невообразимо!

За несколько дней почти все наши уехали в город. Должны были вернуться вместе в субботу к нам. Нам предстояли очень важные разговоры, может быть — решения...

Но утром в субботу явилась Т.— одна. «Я за вами. Поедете в город сегодня».— «Зачем?» — «Громадные события, война. Надо быть всем вместе».— «Тем более, отчего же вы не приехали все?» — «Нет, надо быть со всеми, народ ходит с флагами, подъем патриотизма...»

В эту минуту — уже помимо моей воли — решилась моя позиция, мое отношение к событиям. То есть коренное. Быть с несчастной, непонимающей происходящего, толпой, заражаться ее «патриотическими» хождениями по улицам, где еще не убраны трамваи, которые она громила в другом, столь же неосмысленном «подъеме»? Быть щепкой в потоке событий? Я и не имею права сама одуматься, для себя осмыслить, что происходит? Зачем же столько лет мы искали сознания и открытых глаз на жизнь?

Нет, нет! Лучше, в эти первые секунды, — молчание, покров на голову, тишина.

Но все уже сошли с ума. Двинулась Сонина семья с детьми и старой теткой Олей. Неистовствовал Вася-депутат.

И мы поехали сюда, в Петербург. На автомобиле.

Неслыханная тяжесть. И внутреннее оглушение. Разрыв между внутренним и внешним.

Надо разбираться параллельно. И тихо.

Присоединение Англии обрадовало невольно. «Она» будет короче...

Сейчас Европа в пламенном кольце. Россия, Франция, Бельгия и Англия — против Германии и Австрии...

И это только пока. Нет, «она» не будет короткой. Напрасно надеются...

Смотрю на эти строки, написанные моей рукой, — и точно я с ума сошла. Мировая война!

Сейчас главный бой на западе. Наша мобилизация еще не закончена. Но уже миллионы двинуты к границам. Всякие сообщения с миром прерваны.

Никто не понимает, что такое война, — во-первых. И для нас, для России, — во-вторых. И я еще не понимаю. Но я чую здесь ужас беспримерный.

2 августа

Одно, что имеет смысл записывать, — мелочи. Крупное запишут без нас.

А мелочи — тихие, притайные, все непонятные. Потому что в корне-то лежит Громадное Безумие.

Все растерялись, все «мы», интеллигентные словесники. Помолчать бы, — но половина физиологически заразилась бессмысленным воинственным патриотизмом, как будто мы «тоже» Европа, как будто мы *смеем* (по совести) быть патриотами просто... Любить Россию, если действительно, — то нельзя, как Англию любит англичанин. Тяжкий молот наша любовь... настоящая.

Что такое отечество? Народ или государство? Все вместе. Но если я ненавижу *государство* российское? Если оно — против моего народа на моей земле?

Нет, рано об этом. Молчание.

В летнем Петербурге почти никого не было. Но быстро начали съезжаться, стекаться.

То там, то здесь собираемся. Большинство политиков и политиканствующих интеллигентов (у нас ведь все политики) так сбились с панталыку, что городят мальчишеский вздор. Ясно, всего ожидали — только не войны. Как-то вечером собрались у Славинского. Народу было порядочно. Карташев, со своими славянофильскими склонностями, очень в тоне хозяина.

Впрочем, не обошлось и без нашего «русского» вопроса: желать ли победы... самодержавию? Ведь мы вечно от этой печки танцуем (да и нельзя иначе, мы должны!). Военная победа — укрепит самодержавие... Приводились примеры... верные. Только... не беспримерно ли то, что сейчас происходит?

Говорили все. Когда очередь дошла до меня, я сказала очень осторожно, что войну, по существу, как таковую, отрицаю, что всякая война, кончающаяся полной победой одного государства над другим, над другой страной, носит в себе зародыш новой войны, ибо рождает национально-государственное озлобление, а каждая война отдаляет нас от того, к чему мы идем, от «вселенскости». Но что, конечно, учитывая реальность войны, я желаю сейчас победы союзников.

Керенский, который стоял направо, рядом со мною, и говорил тотчас после меня, подхватил эту «вселенскость» (упорно говоря «вселенность») и, с обычной нервностью своей, сказал приблизительно то же и так же кончил «за союзников». Но видно, что и он еще в полноте своей позиции не нашел. Военная зараза к нему пристать не может, просто потому, что у него не та физиология, он слишком революционер. А я начинаю прощупывать, что тут какое-то «или-или»... Впрочем, рано, потом.

Но, конечно, Керенский не угнетен той многосложнейшей задачей разрешить свое отношение к войне, какая стоит перед иными из нас. Революция и война — это все еще только одна из полярностей...

Очень важная, однако. Керенский не очень умен, но чем-то он мне всегда был особенно

понятен и приятен, со всем своим мальчишески смелым задором.

Да, а для нас еще пора молчания... И как жаль, что Карташев уже без оглядки внесся в войну, в проклятия немцам, в карту австрийских славян...

Мой неизменный Архип Белоусов (мужик-рабочий) мне пишет: «Душа моя осталась верна себе, я только невольно покорюсь войне, что действительно нада». (Он полутолстовец, интересный, начитанный фантазер.)

Швейцар наш говорит жене: «Что ж поделаешь, дело обчее, на всех враг пошел, всех защитить надо».

Володя-студент перешагнул через горе матери: «Да, это эгоизм, но я все равно пойду, не могу не идти», — и уехал вчера с преображенцами.

Писатели все взбесились. К. пишет у Суворина о Германии: «...надо доконать эту гидру». Всякие «гидры» теперь исчезли, и «революции», и «жидовства», одна осталась: Германия. Щеголев сделался патриотом, ничего кроме «ура» и «жажды победы» не признает. Е., который, по его словам, все войны отрицает, эту настолько признает, что все пороги обил, лишь бы «увидеть на себе прапорщичий мундир». (Не берут, за толщину, верно!)

Тысячи возвращающихся с курортов через Швецию создали в газетах особую рубрику: «Германские зверства». Возвращения тяжкие, непередаваемые, но... кто осуждает? Тысячными толпами текут евреи. Один, из Торнео, руку показывал: нет пальца. Ему оторвали его не немцы, а русские — на погроме. Это — что? Или евреи не были безоружны? А если и мы звери... кому перед кем кичиться?

Впрочем, теперь и Пуришкевич признает евреев и руку жмет Милюкову.

Волки и овцы строятся в один ряд, нашли третьего, кого есть.

Это война... Почему вообще война, всякая, — зло, а только эта одна — благо?

Никто не знает. Я верю, что многие так чувствуют. Я, нет. Да и мне все равно, что я чувствую. То есть я не имею права ни слова ей, войне, сказать, пока *только* чувствую. Я не верю чувствам: они не заслуживают слов, пока не оправданы чем-то высшим. И не закреплены правдой.

Впрочем, не надо об этом. Проще. Идет организованное самоистребление, человекоубийство. «Или всегда можно убить, или никогда нельзя». Да, если нет истории, нет движения, нет свободы, нет Бога. А если все это есть — так сказать нельзя. Должно каждому данному часу истории говорить «да» или «нет». И сегодняшнему часу я говорю, со дна моей человеческой души и человеческого разума, — «нет». Или могу молчать. Даже лучше, вернее — молчать.

А если слово — оно только «*нет*». Эта война — война. И войне я скажу: никогда нельзя, но уже никогда и не надо.

29 сентября

Война.

Разрушенная Бельгия (вчера взяли последнее — Антверпен), бомбы над родным Парижем, Нотрдамом, наше неясное положение со взятой Галицией и взятыми давно немцами польскими городами, а завтра, быть может, Варшавой... Генеральное сражение во Франции — длится более месяца. Ум человеческий отказывается воспринимать происходящее.

«Снижение» немцев, в смысле их всесокрушающей ярости, не подлежит сомнению. Реймс, Лувень... да что это перед красной водой рек, перед кровью, буквально стекающей со ступеней того же Реймского собора?

Как дымовая завеса висит ложь всем-всем-всем и натуральное какое-то озверение.

У нас в России... странно. Трезвая Россия — по манию царя. По манию царя Петербург великого Петра — провалился, разрушен. Худой знак! Воздвигнут некий Николоград —

по-казенному «Петроград». Толстый царедворец Витнер подсунул царю подписать: патриотично, мол, а то что за «бург», по-немецки (!?!).

Худо, худо в России. Наши счастливые союзники не знают боли раздирающей, в эти всем тяжкие дни, самую душу России. Не знают и, беспечные, узнать не хотят, понять не хотят. Не могут. Там, на Западе, ни народу, ни правительству не стыдно сближаться в этом, уже необходимом, общем безумии. А мы! А нам!

Тут мы покинуты нашими союзниками.

Господи! Спаси народ из глубины двойного несчастия его, тайного и явного!

Я почти не выхожу на улицу, мне жалки эти, уже подстроенные, «патриотические» демонстрации с хоругвями, флагами и «патретами».

30 сентября

Главное ощущение, главная атмосфера, что бы кто ни говорил,— это непоправимая тяжесть несчастия. Люди так невмерно, так невместимо жалки. Не заслоняет этого историческая грандиозность события. И все люди правы, хотя все в равной мере виноваты.

Сегодня известия плохи, а умолчания еще хуже. Вечером слухи, что германцы в 15 верстах от Варшавы. Жителям предложено выехать, телеграфное сообщение прервано. Говорят — наш фронт тонок. Варшаву сдадут. Польша несчастная, как Бельгия, но тоже не одним, а двумя несчастиями. У Бельгии цела душа, а Польша распята на двух крестах.

Мало верят у нас главнокомандующему — Ник. Ник. Романову. Знаменитую его прокламацию о «возрождении Польши» писали ему Струве и Львов (редактировали).

Царь ездил в действующую армию, но не проронил ни словечка. О, этот наш молчальник известный, наш «charmeur» *, со всеми «согласный» — и никогда ни с кем!

Убили сына К. Р.— Олега.

Я подло боюсь матерей, тех, что ждут все время вести о «павшем». Кажется, они чувствуют каждый проходящий миг: цепь мгновений сквозь душу продергивается, шершаво шелестя, цепляясь, медленно и незаметно.

Едкая мгла все лето нынче стояла над Россией, до Сибири — от непрерывных лесных и торфяных пожаров. К осени она порозовела, стала еще более едкой и страшной. Едкость и розовость ее тут, день и ночь.

Москва в повальном патриотизме, с погромными нотками. Петербургская интеллигенция в растерянности, работе и вражде. Общее несчастие не соединяет, а ожесточает. Мы все понимаем, что надо смотреть проще, но сложную душу не усмиришь и не урежешь насильно.

14 декабря

Люблю этот день, этот горький праздник «первенцев свободы». В этот день пишу мои редкие стихи. Сегодня написался «Петербург». Уж очень мне оскорбителен «Петроград», создание «растерянной челяди, что, властвуя, сама боится нас...». Да, но «близок ли день», когда «восстанет он» —

...Все тот же, в ризе девственных ночей,
Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург,
Созданье революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург?..

---

* Очарователь, соблазнитель (*фр.*).

Но это грех теперь — писать стихи. Вообще, хочется молчать. Я выхожу из молчания, лишь выведенная из него другими. Так, в прошлом месяце было собрание Рел.-фил. общества, на котором был мой доклад о войне. Я говорила вообще о «Великом пути» (с точки зрения всехристианства, конечно), об исторических моментах, как ступенях,— и о данном моменте, конечно. Да, что война — «снижение» *, это для меня теперь ясно. Я ее отрицаю не только метафизически, но исторически... т. е. моя метафизика истории ее, как таковую, отрицает... и лишь практически я ее признаю. Это, впрочем, очень важно. От этого я с правом сбрасываю с себя глупую кличку «пораженки». На войну нужно идти, нужно ее «принять»... но принять — корень ее отрицая, не затемняясь, не опьяняясь; не обманывая ни себя, ни других — не «снижаясь» внутренно.

Нельзя не «снижаясь»? Вздор. Если мы потеряем сознание,— все и так полусознательные — озвереют.

Да, это отправная точка. Только! Но непременная.

Были горячие прения. Их перенесли на следующее заседание. И там то же. Упрекали меня, конечно, в отвлеченности. Карташев моими же «воздушными ступенями» корил, по которым я не советовала как раз ходить. Это пусть! Но он сказал ужасную фразу: «...если не принять войны *религиозно*...».

Меня поддерживал, как всегда, М. и мой большой единомышленник по войне и антинационализму (зоологическому) — Дмитрий **.

Сложный вопрос России, конечно, вставал очень остро.

Эти два заседания опять показали, как бессмысленно, в конце концов, «болтать» о войне. Что знаешь, что думаешь — держи про себя. Особенно теперь, когда так остро, так больно... Такая вражда. Боже, но с каким безответственным легкомыслием кричат за войну, как безумно ее оправдывают! Какую тьму сгущают в грядущем! Нет, теперь нужно

— Лишь целомудрие молчания —
И, может быть, тихие молитвы...

1 апреля, 1915

Не было сил писать. Да и теперь нет. Война длится. Варшаву немцы не взяли, отрезали пол-Польши. А мы у австрийцев понабрали городов и крепостей. И наводим там самодержавные порядки. Дарданеллы бомбардируются союзниками.

Нигде ничего нет, у немцев хлеба, а у нас — овса и угля (кажется, припрятано).

Эта зима — вся в глухом, беспорядочном... даже не волнении, а возбуждении каком-то. Сплетаются, расплетаются интеллигентские кружки, борьба и споры, разделяются друзья, сходятся враги. Цензура свирепствует. У нас частые сборища разных «групп», и кончается это все-таки расколом между «приемлющими» войну «до победы» (с лозунгом «все для войны», даже до Пуришкевича и далее) — и «неприемлющими», которые, однако, очень разнообразны и часто лишь в этом одном пункте только и сходятся, так что действовать вместе абсолютно неспособны.

Да и как действовать? «Приемлющие» рвутся действовать, помогать «хоть самому черту, не только правительству», и... рвутся тщетно, ибо правительство решительно никого никуда не пускает и «честью просит» в его дела носа не совать; никакая, мол, мне общественная помощь не нужна. А если вы так преданы — сидите смирно и немо покоряйтесь, вот ваша помощь.

Отвечено ясно, а патриоты интеллигентные не унимаются. Даром, что все «седые и лысые».

---

* Слово, которое теперь так любят большевики, беря его в «товарном» смысле, было употреблено мною впервые в этом докладе и обозначало внутреннее, духовное падение, понижение уровня человеческой морали. (*Примечание 1927 г.*).

** Д. С. Мережковский.

От седых и лысых я, по воскресеньям, перехожу к самой зеленой молодежи: являются всякие студенты-поэты, студенты просто, гимназисты и гимназистки, всякие мальчики и девочки.

Поэзию я слушаю, но не поощряю, а хочу понять, как они к *жизни* относятся. и навожу их на споры о войне и политике,— ничуть их не поучая, впрочем. Мне интересно, что они сами думают, какие они есть, а педагогика всякая мне скучна до последней степени. Смотрю — пока мне любопытно, люблю умных и настоящих и равнодушно забываю ненужных.

Отношение к войне у многих очень хорошее, трезвое, свежее, сознательное.

О, война! Тяжесть и утомление мира неописуемо. *Такого* в истории мы еще не видали.

Немцы ничего не взяли, кроме Бельгии. И куска Польши. Невозможен мир... но и война тоже?

28 апреля

Глупо здесь писать о войне, о том, что пишут газеты.

А газеты притом врут отчаянно. Положение такое, что ни у кого, кажется, нет кусочка души нераненой.

Как будто живешь, как будто «пьеса» да «пресса», а в сущности Фата-Моргана.

Но я заставлю себя коснуться и Фата-Морганы, чтобы отдохнуть от газетно-протокольного.

Вот хотя бы история моей пьесы «Зеленое кольцо» в Александринке. Ведь все было готово для ее постановки, директор одобрил, Мейерхольд начал работу, как вдруг... профессора из Москвы признали ее безнравственной! Чтобы пройти официальный этап — Литературный комитет — и пройти с деликатностью (в здешнем сидит Дмитрий), я послала ее в Московский комитет. И там, всячески расхвалив пьесу с художественной стороны,— решили, что она — неморальна, ибо «автор отдает предпочтение молодым перед пожилыми». Честное слово! Также то «не морально», что молодежь читает Гегеля и занимается историей!

Ну, тут пошел скандал. Директор вытребовал этот комический протокол. Начали думать, как покелейнее старичков оборвать. В это время началась война, все спуталось; я и сама думать забыла о всяких пьесах. Но перед Рождеством случилась неожиданность. Савина прочитала мою пьесу (ей случайно послал Мейерхольд) и — возжелала ее играть! Играть Савиной там немного чего было, полумолодая роль матери, всего в одном действии, хотя роль трудная... Чего захотела царица Александринки — то закон! И пьеса пошла. Савина сама очень интересна. Когда я бывала у нее, с Мейерхольдом, или она ко мне приезжала (еще вот в эту пятницу опять была, очень любопытно рассказывала о Тургеневе и Полонском),— я старалась. чтобы она не столько о моей пьесе говорила, сколько вообще, о себе, чтобы проявлялась, такое она талантливо-художественное явление. Жалею, что мало записывала из ее бесед.

Однако дотянули премьеру до 18 февраля. Ей предшествовал гам в газетах (как же: Мейерхольд, Савина, Гиппиус — вот так соединение! Муравейнику, при цензуре неслыханной, как на это не кинуться). Сама премьера прошла очень обыкновенно, то есть одни в восторге, другие в ненависти, газеты в неистовстве. Савина играла, конечно, не мою героиню, а свою, и конечно, очень талантливо. Декорация второго акта (заседание «юных») очень хороша: звезды в длинных, черных, зимних окнах. Но актеры нервничали и были лучше на генеральной репетиции. (Из первых — я была всего на одной, на вечерней, с Блоком. Так что «кухни» почти не видала.)

А на генеральную мы любопытно ехали.

Утром,— поэтому я, конечно, опаздываю,— Дмитрий уехал раньше, автомобиль тоже

опаздывает, и мы выходим на улицу часу в первом. Садимся в автомобиль — вдруг идет Керенский, довольно грустный и кислый (он болен последнюю зиму),— от решетки Таврического сада, от Думы.

— Куда это вы?

Д. В. объясняет. А у меня мысль:

— Да поедемте с нами.

Я, признаться, вовсе не для пьесы повлекла Керенского: он как-то у нас находится не в том плане жизни, где пьеса, книги, литература. Совсем в другом (хотя очень важном). Но с нами ехала К. (она, наконец, легально была в России, отвоеванная Д. В. у Белецкого перед войной). Как же Керенского не познакомить с К., если пока нельзя с Ел.!

Они, кажется, отлично познакомились.

Приехали в театр ко второму действию. Там пришлось бегать за кулисы, туда-сюда, в антракте даже не помню, видела ли Керенского.

Домой вернулись усталые, поздно. Звонят рецензенты насчет билетов и всяких пустяков. Потом вдруг приносят букет красных цветов и записку. Читаем все, с К.,— и никак не можем ни записки прочесть (такие каракули), ни даже понять, от кого она. Наконец, по теории исключения всех других возможных, убеждаемся, что она от Керенского. Скажите пожалуйста! Да еще какая восторженная! Впрочем, в нем есть что-то гимназическое, мальчишеское, в нем самом, что, должно быть, и мило в нем. И это и приблизило к нему моих героев «Зеленого кольца». А подлинное его революционство заставило, быть может, почувствовать цензурно-скрытую остроту этой пьесы.— Ну, а записку целиком мы так и не могли прочесть. Написал! «Еще раз целую Ваши руки — я волновался как мальчик это (...) Вы (...) молодых и взволновали (...) сколько (?) больного (...)» Остальные слова — неисследимы.

Отмечаю отношение Керенского потому, что оно было неожиданно; а неистовая злость «старых» и всяческий восторг «юных» — как по мерке.

Да, да, все это Фата-Моргана, пустое, несуществующее. Разве писать проще, фактическое содержание дней, только? Не удержишься в этих рамках. Ведь, кроме главного центра,— вокруг закишели всякие «вопросы», точно издевающиеся: польский, еврейский, государственный вообще и в частности, экономический вообще и в частности... (При этом замечательно, что нет «русского» вопроса. Честное слово нет, в его надлежащей постановке.)

В воскресенье днем — наплыв молодежи. И «Зел. кольцо», и масса «поэтов». Много полуфутуристических я еще не пускаю, они грязны, топотливы и грубы. Еще стащат что-нибудь. Потом приехал Немирович-Данченко. Опять театр!

Вчера — совсем другой «план», куча всяких «интеллигентов» («седые и лысые» в большинстве). Между прочим, Горький.

Хотят новое Англо-русское о-во создать, *не* консервативное. Я люблю англичан, но я так ярко понимаю, что они нас не понимают (и не очень хотят),— что как-то немею при всяком сближении и замыкаюсь. Что-то вроде покорной гордости.

Конечно, из этой затеи о-ва ничего не выйдет. Ах, сколько начатых «дел» у нашей отстраненной от всяких дел интеллигенции!

Богучарский смертельно болен. Я ему сейчас не завидую, но когда он умрет и привыкнет «там» — о, как я ему буду завидовать!

Богучарский удивительно хороший человек. Он — «приемлющий» войну, он один из тех, кто рвался «делать», помогать России, сжав зубы, *несмотря* на правительство, и... деланию этому все время правительство мешало. Ведь даже старейшее Вольно-экономическое о-во закрыли!

Москвичи осатанели от православного патриотизма. Вяч. Иванов, Эрн, Флоренский, Булгаков, Трубецкой и т. д., и т. д. О, Москва, непонятный и часто неожиданный город,

где то восстание — то погром, то декадентство — то урапатриотизм,— и все это даже вместе, все дико и близко связано общими корнями, как Герцен, Бакунин и — аксаковская славянофильщина.

У нас цензура сейчас — хуже николаевской раз в пять. Не «военная» — общая. Напечатанное месяц тому назад — перепечатать уже нельзя. Рассказы из детской жизни цензурует генерал Дракке... Очень этичен и строг.

Скрябин умер. Многие, впрочем, умерли. Сыновья З. Ратьковой живы, на войне. Не успеешь с кем-нибудь поспорить — он уж на войне.

Белая ночь глядит мне в глаза. Небо розовое над деревьями Таврического сада, тихими, острыми. Вот-вот солнце взойдет. Есть нам что ему показать. А еще говорят — «солнцу кровь не велено показывать...»

Все время видит оно — кровь.

15 мая

Все более и более ясные формы принимает наш внутренний ужас, хотя он под покрывалом, и я лишь слепо ощупываю его. Но все-таки я нащупываю, а другие и притронуться не хотят. Едва я открываю рот — как «реальные» политики накидываются на меня с целой тьмой возражений, в которых я, однако, вижу роковую тупость.

Да, и до войны я не любила нашу «парламентскую оппозицию», наших кадетов. И до войны я считала их умными, честными... простофилями, «благородными иностранцами» в России. Чтобы вести себя «по-европейски»,— и чтобы это было кстати,— надо позаботиться устроить Европу... Но что я думала до войны — это неважно, да неважны и мои личные симпатии. Я говорю о теперешнем моменте и думаю о кадетах, о нашей влиятельной думской партии, с точки зрения *политической целесообразности*. Я сужу их линию поведения, насколько могу объективно, и — увы! — начинаю видеть ошибки фатальные.

Лозунг «все для войны!» может, при известной совокупности обстоятельств, звучать прежде всего как лозунг: «Ничего для победы!» Да, да, это кажется дико, это то, чего никогда не поймут союзники, ибо это *русский язык*, но... как русские не понимают?

Боюсь, что и я этого... не хочу до конца понять. Ибо — какой же вывод? Где выход? Ведь революция во время войны — помимо того, что она невозможна,— как осмелиться желать ее? Мне закрывают этим рот. И значит, говорят далее,— думать только о войне, вести войну, не глядя, с кем ради нее соединяешься, не думая, что ты помогаешь правительству, а считая, что правительство тебе помогает... Оно плохо? Когда пожар — хватай хоть дырявую пожарную кишку, все-таки помощь...

Какие слова-слова-слова! Страшно, что они такие искренние — и такие фатально-ребяческие! Мы двинуться не можем, мы друг к другу руки не можем протянуть, чтобы по пальцам не ударили, и тут «считать», что «мы» ведем войну («народ!») и только берем снисходительно помощь от царя. Кого обманывают? Себя, себя!

Народ ни малейшей войны не ведет, он абсолютно ничего не понимает. А мы абсолютно ничего ему не можем сказать. Физически не можем. Да, если б вдруг, сейчас, и смогли... пожалуй, не сумели бы. Столетия разделили нас не плоше Вавилонской башни.

Но что гадать — вот данное. Мы,— весь тонкий, сознательный слой России,— безгласны и бездвижны, сколько бы мы ни трепыхались. Быть может, мы уже атрофированы. Темная толща идет на войну по приказанию свыше, по инерции слепой покорности. Но эта покорность — страшна. Она может повернуть на такую же слепую непокорность, если между исполняющими приказы и приказывающими будет вечно эта глухая пустота,— никого и ничего. Или еще, быть может, хуже. Но я «восхищаю недарованное», оформливаю еще бесформенное. Подождем.

Скажу только, что народ *не хочет* войны. Это у него верный инстинкт — кто же хочет

войны. Первично-примитивно, если душу открыть. Это вечно верно, не хочу войны. Вернее так: никому *не хочется* войны. Для того, чтобы сказать себе: да, не хочется и праведно не хочется, но вот потому-то и поэтому-то — *надо*, неизбежно, и я моей разумной волей, на этот час, побеждаю это «не хочется», *хочу* делать то, что «не хочется», для такой примитивной работы внутренней нужен проблеск сознания.

А сознания у народа ни проблеска нет. То, что говорят ему, к сознанию не ведет. Царь приказывает — они идут, не слыша сопроводительных, казенно-патриотических, слов. Общество, интеллигенция говорят в унисон, те же и такие же патриотически-казенные слова: т. е. «приявшие войну», а не «приявшие» физически молчат, с начала до конца, и считаются «пораженцами»... да, кажется, растерялись бы, испугались бы, дай им *вдруг* возможность говорить громко. «Вдруг» нужных слов не найдешь, особенно если привык к молчанию.

Разве между собою мы, сознательные, находим нужные слова? Вот недавно у нас было еще собрание. Интеллигенция, не пристающая ни к кадетам, ни к революционерам (беру за одну скобку левые партии). Это — так называемые «радикалы». Они большею частью у нас из поправевших эсдеков.

(К ним, в сущности, принадлежал и Богучарский. Он умер, умер Богучарский.)

Но довольно странно, что тут же очутился и Горький. И даже в таких близких настроениях, что как будто вместе они все строят новую «радикально-демократическую» партию. Это и был главный вопрос собрания. Странно насчет Горького потому, что он давнишний эсдек (насколько он в политике сознателен... Мало!) Были кое-кто из нетвердых кадетов... были все наши «седые и лысые». Была Кускова. Единственная «умная» женщина, одна и на Петербург, и на Москву (она живет в Москве). Умная! необыкновенно непроницательная, близорукая, в той же политике.

Я забыла сказать, что зимой, когда сдвинулись особенно все «вопросы» (польский, еврейский и т. д.) и когда я сказала, что признаю первым и главным — вопрос русский, это дало кому-то мысль образовать еще одну группу — «русскую». Сказано-сделано, готово! Есть русская группа. О мысли такой группы мы не очень подробно сговорились. Некоторые, как М., Керенский и отчасти Дмитрий, поняли «группу» в моем смысле, т. е. как наш русский вопрос — наш *внутренний*, и наше к нему отношение в данный момент, *при войне*. Коренной неизбитый вопрос, от разрешения которого зависят автоматически все другие. Поэтому важен так был Керенский, позиция которого мне все больше и больше нравится.

На первом же собрании выяснилось, что многие совсем не понимают, в чем суть. А иные, как, например, Карташев, со своей национальной тягой, склонны были сделать из этой «группы»,— членами которой мнили только *по крови* русских,— зерно какой-то педагогической академии, где бы интеллигенция петербургская поучалась националистическим чувствам. Помню, как твердокаменный Ник. Дим. Соколов завел длинную шарманку о... федерализме, Дмитрий о самодержавии (не в практических тонах), Карташев свое, Керенский, конечно, свое, и верное, но сбивчиво, и только бегал из угла в угол, закуривал и бросал папироску, загорался и гас. М. поручено было составить записку по существу вопроса, я взялась помогать, но как-то уж видно было, что толку дальнейшего не будет. И не было. Записку мы, однако, написали. В очень осторожных тонах, не помню ее точно, помню лишь, что там говорилось о некоторых допустимых и при войне действиях на правительство, но не революционного порядка, ввиду того, что положение ухудшается; что *если* даже во время войны и не будет никаких неорганизованных, стихийных внутренних вспышек,— а они возможны,— то после войны пожар неизбежен; а чтобы он не был стихийным,— об этом организационном деле надо думать *теперь же*. Уже с этого момента.

Почему-то записка никуда не попала (не помню почему), и лишь на этом последнем,

«радикально-демократическом» собрании, у нас, М. ее прочел.

Изумительно, что ни Горький, ни Кускова, ни один «седой и лысый» даже не поняли, о чем речь! Даже никакого «вопроса» не усмотрели! Кускова объявила, что это все «старое», а т. к. война будто бы все изменила, то и все углы зрения должны быть другими. Впрочем, Кускова и раньше, когда была у нас одна, на мой окольный вопрос: «Как бы у нас да не было революции?» — сказала твердо:

— Никакой революции ни под каким видом не будет.

— А что же будет?

— Enrichissez vous *. Вот что будет.

Пожала плечами. Принялась рассказывать о ростовских спекуляциях.

Я — воистину не знаю, что будет (вот «радикально-демократической» партии, да еще с Горьким,— наверное, не будет!). Но я щурю глаза и вижу — темно в красном тумане войны. Все в нем возможности. Зачем себя обманывать? Еще страшнее, если неожиданно вдруг будет что-нибудь...

Я боюсь сказать несправедливое о наших «либералах», но очень, очень я их боюсь. Уж очень они слепы... а говорят, что видят.

Керенского не было среди «радикалов».

Я знаю, что кадеты в Думе *уже* покрыли П-во...

28 мая

Не хочется писать, приневоливаю себя, записываю частные вещи.

Как противна наша присяжная литература. Завопила, как зарезанная, о войне, с первого момента. И так бездарно, один стыд сплошной. Об А. я и не говорю. Но Брюсов! Но Блок! и все, по нисходящей линии. Не хватило их на молчание. И наказаны печатью бездарности.

А вот был у нас Шохор-Троцкий. Просил кое-кого собрать — привез материал «Толстовцы и война». Толстовцы ведь теперь сплошь в тюрьмах сидят за свое отношение к войне. Скоро и сам Шохор садится.

Собрались. Читали. Иное любопытно. Сережа Попов со своими письмами («брат мой околоточный!»), с ангельским терпением побоев в тюрьмах — святое дитя. И много их, святых. Но... что-то тут не то. Дети, дети! Не победить так войну!

Потом пришел сам Чертков.

Сидел (вдвоем с Шохором) целый вечер. Поразительно «не нравится» этот человек. Смиренно-иронический. Сдержанная усмешка, недобрая, кривит губы. В нем точно его «изюминка» задеревенела, большая и ненужная. В небросающейся в глаза косоворотке. Ирония у него решительно во всем. Даже когда он смиренно пьет горячую воду с леденцами (вместо чаю с сахаром) — и это он делает как-то иронически. Так же и спорит, и когда ирония зазвучит нотками пренебрежительными — спохватывается и прикрывает их — смиренными.

Не глуп, конечно,— и зол.

Он оставил нам рукопись — «Толстой и его уход из Ясной Поляны»,— ненапечатанную, да и невозможную к печати. Думаю, даже и в Англии. Это как будто объективный подбор фактов, скрепленный строками дневника самого Толстого,— даже в самый момент ухода. Рукопись потрясающая и... какая-то «немыслимая». В самом факте ее существования есть что-то невозможное. Оскорбительное... для кого? Для Софьи Андреевны? В самом подборе фактов видна злобная к ней ненависть Черткова... Для Толстого, может быть? Не знаю. Кажется — для любви Толстого к этой женщине.

На рукописи прегадкая надпись — просьба Черткова «ничего отсюда не переписывать».

---

* Обогащайтесь (*фр.*).

Мне бы и в голову не пришло сделать такую вещь, но, при надписи, я чуть-чуть нарочно не сделала, и если кое-чего не переписала — то исключительно из лени, из отвращения ко всякой «переписке».

Перо Черткова умело подчеркивает «убийственные» деяния Софьи Андр. До мелких черточек. Вечные тайные поиски завещания, которое она хотела уничтожить. Вплоть до шаренья по карманам. И тяжелые сцены. А когда будто бы кто-то сказал ей: «Да вы убиваете Льва Николаевича!» — она ответила: «Ну, так что ж! Я поеду за границу! Кстати, я там никогда не была!»

Любопытно, что это, вероятно, *правда*, т. е. так, вероятно, она и ответила, только... под пером Черткова это звучит зверски, и никто иначе, как зверскими, этих слов не услышит; а я вот иными могу их представить; вот близкими к тем словам, которые она мне сказала на балконе Ясной Поляны, в холодный майский вечер, в 1904 году. Мы стояли втроем, я, Дмитрий и она, смотрели в сумеречный сад. Я, кажется, сказала, что мы — на дороге за границу, едем туда прямо из Москвы. Софья Андреевна, с живой быстротой полусерьезной шутки, возразила: «Нет, нет, вы лучше оставайтесь здесь, у Льва Николаевича, а я поеду с Дмитрием Сергеевичем за границу; *ведь я там никогда не была!*»

И если представить себе, что в ответе на упрек «кого-то», очевидно, ненавистного, С. А. *назло* кинула привычную фразу — то несомненное ее «зверство» несколько затмится... Но, конечно, я С. А. не оправдываю. (Раз уж меня тянут к суду над ней чертковскими «фактами».) В ночь ухода Толстой (по его словам его собственного дневника) уже лежал в постели, но не спал, когда увидел свет из-за чуть притворенной двери в кабинете. Он понял, что это С. А. опять со свечой роется в его бумагах, ищет опять завещание. Ему стало так тяжело, что он долго не окликал ее. Наконец, все-таки окликнул, и тогда она вышла, как будто только что встала «посмотреть, спокойно ли он спит», ибо «тревожилась о его здоровье». Эта ложь (все по записи Толстого) была последней каплей всех домашних лжей, которая и переполнила его чашу терпения. Тут замечательный, страшный штрих в дневниках. Подлинных слов не помню, но знаю, что он пишет, как сел на кровати еще в темноте, один (С. А., простившись, ушла), *и стал считать свой пульс*. Он был силен и ровен.

После этого Толстой встал и начал одеваться тихо-тихо, боясь, что «она» услышит, вернется.

Остальное известно, через полтора часа его уже не было в Ясной Поляне. Ушел от лжи — навстречу смерти.

Как все-таки хорошо, что он уже умер! Что он не видит этого страшного часа — этой небывалой войны. А если и видит... то он ему не страшен, ибо он *понимает*... а мы, здесь, ничего!

23 июля

Мы скачем на автомобиле с одной дачи на другую. Там, по Балтийской дороге, нельзя было оставаться. Далеко, глухо, а время такое тревожное. Пока мы в Спб-ге, а потом поедем недалеко, в старое имение екатерининских времен — Коерово, по царскосельскому шоссе.

Более мутного момента еще не было за год войны. Вероятно, не было и за всю жизнь нашу, и за жизнь наших отцов.

Мы отдали назад всю Галицию (это ничего), эвакуирована Варшава. Взята Либава, Виндава, кажется, Митава, очищена Рига. Сильнейшее наступление на нас, а у нас... *нет снарядов*!

Это знала думская оппозиция уже в январе! И тогда было условлено — молчать! Вот когда в первый раз кадеты сознательно прикрывали правительство.

Впрочем, об этом лучше меня будет рассказано в истории.

19-го собралась Дума — правительство сдалось тут, отчего же? Но действует все

время надвое, тишком. Посменяло министров, одних ворон на других и... больше ничего не хочет или не может.

На двух уже бывших заседаниях — без счету патриотических слов. Левые были бесплодно резки. Так воспитаны, что умеют только жаловаться, притом всегда несколько отвлеченно. «Государственный муж» Милюков произносил прекрасные слова, но... ответственного министерства не требовал. Воздержание, при всех обстоятельствах, его главное свойство.

Сказать по правде — положение так сложно, что я разобраться, хоть первичным образом, хоть для себя,— еще не могу. А нужно сделать это добросовестно и беспристрастно, в соответствии с разумом.

Пока я знаю лишь вот что:

Я знаю, что Россия с данным правительством прилично одолеть немцев — не может. Это уже подтверждено событиями. Это — несомненно и бесповоротно. А как одолеть правительство — я не знаю. То есть не вижу еще конкретных путей для конкретных людей, которых тоже не вижу. Кто? какие?

Не понимаю (честно говорю это себе) и боюсь, что все запутались, все ничего не понимают. Какое время!

Мыза Коерово.

Запись в белой тетрадке

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДНЕВНИК

(Август—сентябрь 15 г.)

(Одна из современных позиций)

На том, что стало ясно для всех, не будем останавливаться. Но далеко еще не все ясно. Нет меры ясности, которой требует сегодняшний день. Жизнь учит нас заботливо, но мы не привыкли разгадывать ее темный язык.

Благодаря нашему воспитанию (или нашей невоспитанности) мы — *консервативны*. Это наше главное свойство. Консервативны, малоподвижны, туги к восприятию момента, ненаходчивы, несообразительны, как-то оседлы — все, с верху донизу, с права до лева. Жизнь бежит, кипя, мы — будто за ней, но не поспеваем, отстаем, ибо каждый заботится прежде всего, как бы не потерять своего *места*. Соотношение сил этим сохраняется, пребывает. Но какие силы в пустоте? Марево: жизнь ушла вперед.

Одинаково консервативны в этом смысле: и Дурново, и Милюков, и Чхеидзе. Я беру три имени *не лично*, а общеопределительно, как три ясных линии политических.

Что ни происходит, как ни толкает, ни вертит, ни учит жизнь —

Дурново все так же требует «держать и не пущать»,

Милюков все так же умеренничает и воздерживается,

Чхеидзе все так же предается своим прекрасным утопиям.

В обычное время деятельность Дурново весьма вредна, деятельность Милюкова весьма полезна, а Чхеидзе — почтенна. Так было. Но так уже *не* есть, ибо сейчас есть то, чего не было,— есть война. И все изменилось. В новом, багровом, луче изменились цвета.

Установим исходную точку. Исходная точка — необходимость защиты и сохранения России, самостоятельной жизни русского народа. То есть — успешное продолжение и *окончание* борьбы с Германией.

Рассматривая под этим знаком тройственную линию нашего политического консерватизма, мы должны *иначе* оценивать деятельность каждой из трех групп.

Деятельность «Дурново» так вредила России и уже так навредила ее сегодняшней задаче, что едва ли стоит сейчас останавливаться на пояснениях. Сейчас яд этот открыт, губительность его, кажется, ясна для всех. Не слишком ли поздно? Другой вопрос. Но мы кое-как восприняли в этой стороне наглядный урок жизни. Однако вред продолжается...

Деятельность «Милюкова» — полезна ли она в данный час России и ее первой задаче — успешной обороне?

Нет, не полезна, и вот почему: она попустительна ко вреду. Есть моменты истории, когда позиция «умеренности» преступна, как позиция предательства. Жизнь разжевала и в рот положила «умеренным» горький плод их «январского молчания», но и поныне костенеют они в том же своем принципе «понемножку». Они как будто увидели весь яд «Дурново» и видят его продолжающее действие, но все думают, как бы воспрепятствовать ему «повежливее». ...Нет, и думание, и делание «умеренной оппозиции» сейчас прежде всего *не действенно*. Оно равняется нулю и останется нулевым практически. А так как, волею времени и совокупных причин, как раз от умеренных требуется сию минуту главное делание (они — в центре политики), то эта пустота — уже не нуль, а делание *отрицательное* — вред.

А что же деятельность «Чхеидзе», столь «почтенная» в мирное время, то есть — крайних наших?

Поскольку она успешна — она *опасна*, и счастье, что она не успешна. Оторванная от центрально-важных сейчас, лево-государственных, политических кругов, недвижно-консервативная в себе, деятельность неорганизованных «левых» с подкладкой не политики, а социализма (то есть внеисторической утопичности) — такая деятельность только и может быть или неуспешна или — вредна.

Правые — и не понимают, и не идут, и никого никуда не пускают.

Средние — понимают, но никуда не идут, стоят, ждут (чего?).

Левые — ничего не понимают, но идут неизвестно куда и на что, как слепые.

Со всеми же вместе что будет? С Россией? Или она уже обречена — за старый и вечный свой грех долготерпения?

Самодержавие... Пока эта точка горит — всего можно ожидать, ни на что нельзя надеяться. (Не долго ли горит, не перегорела ли Россия?)

Непонимающие низы, одни, с этой точкой не справятся. (Если бы справились по-своему — то не к добру. Ведь ее и «погасить в уме» надо!)

Умеренные и вежливые верхи — (в своей умеренности) все «обхаживают» самодержавие (будто его можно обойти!) Но с них больше спросится — ой, как спросится! — потому что спасти Россию сейчас можно — *не снизу*. Ее могли бы спасти эти политические верхи. Но только в известном контакте, в каком-то сговоре, с крайними левыми, т. е. поступившись известной долей своей умеренности... я не сомневаюсь, что при этом контакте и крайние поступились бы известной долей своей крайности.

Мыза Коерово.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДНЕВНИКА

3 сентября — 15 г.

События развертываются с невиданной быстротой. Написанное здесь, выше, две недели тому назад — уже старо. Но совершенно верно. События только оправдали мою точку зрения. Неумолимы события.

Теперь для большинства видна горящая точка русского самодержавия. Жизнь кричит во все горло: без революционной воли, без акта хотя бы *внутренне* революционного, эта точка даже не потускнеет, не то что не погаснет. Разве вместе с Россией.

Вчера, 2 сентября, разогнали Думу. Это сделал царь с Горемыкиным. Причина — главная — знаменитый «думский блок». Он был так бледен, программа так умеренна, что иного результата и нельзя было ожидать. Царь смело разогнал либералов. Опять: «бессмысленные мечтания!» *Мечтаний* он не боится. Пожалуй, за ними проглядит и другое: голое, дикое и страшное не для него одного, страшное своей полной обиженностью не только от мечтаний, но и от разума.

Это опасность не пустая. Это — РЕАЛИЗМ.

Картина происшедшего за эти дни — история «блока», вот:

Умеренно-левые, те, кого сейчас вынесло на гребень политической войны, стали перед выбором: олибералить правых — или умерить левых.

Казалось бы, органическое влечение к.-д. вправо не должно играть роли в такой момент. Следовало выбирать по разуму путь наиболее практический, действенный.

Однако думские политики к.-д. сделали первый выбор: еще умерив себя самих — они подтянулись к *правой* середине и правых к ней же подтянули, для блока.

Левые остались, как были, предоставленные себе. Только расстояние между ними и умеренными еще увеличилось.

А блок прекрасных «мечтаний», так естественно названных «бессмысленными», оказался просто бесплодным и для данной минуты *вредным*: послужил роспуску Думы, а она была нужна, как зацепка, надежда гласности, сдержка левой стихийности.

Умеренные, еще умерившись под блоком, всему покорились. Выслушали указ о роспуске и разошлись.

Все это очень хорошо. Все это, само по себе взятое, прекрасно и может быть полезно... в свои времена. А когда немец у дверей (надо же помнить), все это неразумно, потому что *не действительно*.

Царь последовательнее всех. Он и возложил всю надежду на чудо.

Пожалуй, других надежд сейчас и нету.

Впрочем, это неинтересно повторять унылое «надо было...». Важнее знать, что сейчас *надо*, и хотя это очень трудная задача — попробуем анализировать положение далее.

Вспомним исходную точку: ОТСТОЯТЬ РОССИЮ ОТ НЕМЦЕВ. Уже выяснившееся, непременное условие для этого: немедленная и коренная перемена политического строя.

Умеренно-левые наши политики — только они! — имеют организационные способности. И если бы они понесли эти способности, и свое значение, и готовность к жертвам не вправо, а *влево* — получилось бы движение к перелому. Ибо возможность перелома находится: влево от умеренных и вправо от левых, как раз *между ними*.

Правый блок свел возможность осуществления перелома к минимуму.

Наоборот, БЛОК ЛЕВЫЙ, т. е. соединение УМЕРЕННЫХ с ЛЕВЫМИ, и только он один, мог бы найти и действительные средства к осуществлению перелома.

В данном же состоянии действенных, действительных, путей и средств нет ни у кого.

Левые знают свои средства: забастовки, личный террор... Они *совершенно* не годятся. Каждый час забастовки ослабляет армию; при данном положении этот час может растянуться неопределенно и превратиться в уличные бунты со всеми последствиями (самое страшное).

Между тем, если бы умеренные, приняв искренно и уже безоглядно лозунг «перелома», сблокировались бы с левыми в Думе — они могли бы приложить к их кругам свои организационные способности и политические навыки.

Получилась бы внутренняя *революционная* сила, но сама себя сдерживающая от всех *несвоевременных* выступлений.

Нам сейчас нужен, необходим — только один рубль. Не надеясь на рубль — умеренные мечтают о сорока пяти копейках. Но смиренно попросить «хоть сорок пять копеечек» — верное средство получить в ответ оплеуху или «дурака».

Потребуйте рубль двадцать. Но требуйте — не просите. Тотчас полезут за кошельком и выложат заветный рубль. Надо, чтобы была опаска: не дашь рубль — весь кошелек возьмут.

От просьб опаска не родится, а от недоброго — добром ничего получить нельзя. Ничего.

ПРОДОЛЖЕНИЕ «СОВРЕМЕННОЙ ЗАПИСИ» В Спб-ге

4 сентября

Мы еще не вернулись совсем в город, приехали всего на несколько дней. Беру свою книгу для записывания хроники. Поразительно все идет «по писаному».

Но сначала общее.

Варшава давно сдана. И Либава, и Ковно. Немцы наступают по всему фронту, все крепости сданы, очищена Вильна, из Минска бегут. Вопрос об эвакуации Петрограда открыт. Тысячная толпа беженцев тянется к центру России.

Внутреннее положение не менее угрожающе. Главнокомандующий сменен, сам царь поехал на фронт.

Думский блок (ведь он от к.-д. до националистов включительно) получил только свое. На первый же пункт программы (к.-д. пожертвовали «ответственным» министерством, лишь попросили, скромно и неопределенно, «министерство, пользующееся доверием страны») — отказ, а затем Горемыкин привез от царя... роспуск Думы. Приказ еще не был опубликован, когда мы говорили с Керенским о серьезном положении по телефону. Керенский и сказал, что в принципе дело решено. Уверяет, что волнения уже начались. Что получены, вечером, сведения о начавшихся забастовках на всех заводах. что правительственный акт только и можно назвать безумием. (Не надо думать, что это мы столь свободно говорим по телефону в Петербурге. Нет, мы умеем не только писать, но и разговаривать эзоповским языком.)

— Что же теперь будет? — спрашиваю я под конец.

— А будет... то, что начинается с а...

Керенский прав, и я его понимаю: будет анархия. Во всяком случае, нельзя не учитывать яркой возможности *неорганизованной* революции, вызываемой безумными действиями. Правительства в ответе за ошибки политиков. «Умеренные» просьбы должны давать правит. реакцию. Лишь известная политическая неумеренность может добиться необходимого минимума.

А *только* он спасет Россию. Его нет — и каждый день стены сдвигаются: стена немцев и стена хаотического бунта внутреннего. Они сдвинутся и сольются. Какие возможности!

Я не стану повторять все то же, все то же: ответственность всецело лежит на кадетах, которые, не понимая момента, выбрали блок с правыми вместо блока с левыми. Борьба с пр-вом посредством олиберален‹ия› правых кругов — обречена на крах. Ведь надо же знать, когда и где живешь, с кем имеешь дело. И это — «политика»? Да зачем, почему, для чего снизошло бы пр-во к покорнейшим просьбам Милюкова с Шульгиным и с Борисом Сувориным? (он тоже за бло и «доверие»). Пр-во не боится никаких разумно-вежливых слов. Анархия не боится, ибо ничего не видит и не понимает. В предупреждение «злоумышленных эксцессов» (видали, мол, виды!) этот рамоли-Горемыкин созвал к себе на днях... всех градоначальников. У цензуры пока заметны признаки острого помешательства, но вскоре она просто все закроет, и когда на улицах будут расстрелы — газеты запишут усиленно о театре.

Правительство, в конце концов, не боится и немцев.

Но неужели наши главные «политики», наши думцы, кадеты, неужели они о сю пору еще не убедились бесповоротно, что:

БЕЗ ПЕРЕМЕНЫ П-ВА НЕВОЗМОЖНО ОСТАНОВИТЬ НАШЕСТВИЕ НЕМЦЕВ, КАК НЕВОЗМОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕССМЫСЛЕННОЕ ВОССТАНИЕ?

Я хочу знать; это нужно знать; ибо если они в этом еще *не* твердо убеждены и действуют, как действуют,— то они только легкомысленные, ошибающиеся люди; а если убеждены, и все-таки по-своему, бесплодному (вредному) действуют,— они преступники.

Так или иначе — ответственность лежит на них, ибо, по времени, *им* должно действовать.

В Петербурге нет дров, мало припасов. Дороги загромождены. Самые страшные и грубые слухи волнуют массы. Атмосфера зараженная, нервная и... беспомощная. Кажется, вопли беженцев висят в воздухе... Всякий день пахнет катастрофой.

— Что же будет? Ведь невыноси-тель-но! — говорит старый извозчик.

А матрос Ваня Пугачев пожимает плечами:

— Уж где этот малодушный человек (царь), там обязательно несчастье.

«Только вся Рассея — от Алексея до Алексея».

Это, оказывается, Гришка Распутин убедил Николая взять самому командование.

Да, тяжелы, видно, грехи России, ибо горька чаша ее. И далеко не выпита.

Третьего дня было жарко, ярко, летне. Петербург, весь напряженно и бессильно взволнованный, сверкал на солнце. Черные от людей, облепленные людьми, трамваи порывисто визжали, едва брали мосты. Паперть Невского костела, как мухами, усыпана беженцами: сидят на паперти. Женщины, дети...

Указ о роспуске Думы «приял силу», несмотря на сильное давление союзников. Конечно, они не хотят. Но с достаточной ли ясностью видят они путь гибели наш? Неужели — поздно?

...И вот Господь неумолимо
Мою Россию отстранит...

Уж и Дурново умер и, мертвый, торжествует больше, чем когда-либо. Вводится предварительная цензура. «Не уявися, что будем!» — восклицает... Б. Суворин.

Родзянко отказано в аудиенции. Депутация московских съездов, думаю, не будет принята. А если и будет...

Умеренные возглашают: «Спокойствие, спокойствие, спокойствие!» — как, бывало, Куропаткин в японской войне: «Терпение, терпение, терпение».

Что же, можно молчать.

Зато громко говорят немецкие орудия.

23 ноября

Почти три месяца прошло. Трагизм превзошел ожидания: вылился в трагическую, каменную успокоенность, полную победу полной реакции.

Когда распустили Думу (за блок и московский съезд), она громко покричала «ура» и тихо разошлась. Лозунг депутатов был: «сохраняйте спокойствие». И сами сохранили его и помогли, при содействии правительства, другим в этом занятии. Пока что — хлыщ и провокатор Хвостов (новый министр) задействовал, черносотенцы съехались с уволенными (в г. совете сидящими) министрами, «объединенное дворянство» со своей стороны «припало к самодержцу».

На съезде митрополит объявил: не только царь — помазанник, но «соизволением Божиим поставленные министры тоже имеют на себе от Духа Свята» (Хвостов, например, ну и прочие). Таково, мол, «учение церкви». Своего рода декларация.

В указе о разгоне Думы было определено, что ее вновь соберут «не позже ноября». Однако вот не желают, Хвостов смеется: это «каприз»! Отложим лучше.

Блокисты не знают, куда девать глаза. Хранят свое спокойствие, хотя на сердце-то скребет...

...Без утра пробил час вечерний

И гаснет серая заря...
Вы отданы на посмех черни
Коварной волею царя...

Воистину на посмех. И то ли еще будет!

Войне конца-краю не видать. Германия уже съела, при помощи «коварной» Болгарии — новой союзницы,— Сербию; совсем. Ездят прямо из Берлина в Константинополь. Вот, неославянофилы, ваш Царь-Град, получайте. Закидали шапками?

У нас, и у союзников, на всех фронтах — окостенение. Во всяком случае мы ничего не знаем. Газет почти нельзя читать. Пустота и вялое вранье.

Царь катается по фронту со своим мальчиком и принимает знаки верноподданства. Туда, сюда — и опять в Царское, к престарелому своему Горемыкину.

Смутно помню этого Горемыкина в давние времена у баронессы Икскуль. Он там неизбежно и безлично присутствовал, на всех вечерах, и назывался «серым другом». Теперь уж он «белый», а не серый.

Впрочем, Николай вовсе не к этому белому дяде рвется в Царское. Там ведь Гришенька, кой, в свободные от блуда и пьянства часы, управляет Россией, сменяет министров и указует линию. В прочее время Россия ждет... пребывая в покое.

Сто раз мы имели случай лицезреть этого прохвоста; быть может, это упущение с исторической, с литературной, с какой еще угодно точки зрения, однако доводы разума были слабее моей брезгливости. А любопытство... тоже действовало вяло, так как этого сорта «старцев» немало мы перевидали. Этот — что называется «в случае» попал во дворец, а Щетинин, например, только тем от Гришки и отличается, что «неудачник», к царям не попал. Остальное — детально того же стиля, разве вот Щетинин «с теориями» поверх практики (ахинею несет и безграмотно ее записывает, а Гришка ни бе, ни ме окончательно). Гришка начался в те же времена, как и Щетинин, но последний пошел «по демократии» и не успел, до провала, зацепиться (хоть и закидывал удочки в высшие слои); Гришка же, смышленая шельма, никого вокруг не собирал, в одиночку «там и сям» нюхал. То — пропадал, то — опять всплывал. Наконец, наступив на одного лаврского архимандрита (настоящего монаха, имевшего некое, малое, царское благоволение), как на ступеньку, ступеньку продавил, а к «царям» подтянулся. После летнего, перед войной, покушения на него безносой бабы особенно утвердился.

Да, вот годы, как безграмотный буквально, пьяный и болезненно-развратный мужик по своему произволу распоряжается делами государства Российского. И теперь, в это особенно время — *особенно*. Хвостов ненавидит его, а потому думаю, что Хвостов недолговечен. Ненавидит же просто из зависти. Но тот его перетянет. Остальные министры все побывали у Гришки на поклоне и клялись, целуя край его хламиды. (Это не «художественный образ», а факт: иногда надо к балахону прикладываться.)

Экая, прости Господи, сумасшедшая страна. И бедный Милюков тут думает «действовать» — в своих европейских манжетах.

Что это, идеализм, слепота, упрямство?

О, наши «реальные» политики!

24 ноября

Вот именно указ опять отложил Думу. И срок созыва уже не указан, а «пока не будет готов в комиссиях бюджет».

Все передовицы сегодня белы, как снег. В «Речи», впрочем, остались кусочки, то там, то сям, отрывочные, что если дело не станет, мы поторопимся с бюджетом, вот и все.

Теперь уже очевидно: любые шаги общества, интеллигенции, депутатов, умеренных партий и т. д. по избранному ими пути «спокойной оппозиции» — должны покрывать их гораздо большим позором, чем отсутствие всяких шагов. Смирение так смирение.

Сложить руки и не мешать событиям. А события будут. Неумолимо будут, если

Россия не пересидела свое время, не перегноилась, не перепрела в крепостничестве. Возможно ведь и это.

Только вот: если поле все-таки будет вспахано, и хорошо,— нашим «политикам» нельзя будет сказать: «и мы пахали». Если же такая борозда пройдет, что все поле вверх тормашками перевернется, тогда... тогда, увы, не сможет сказать наша «парламентарская умеренность»: «а мы не виноваты». Потому что виноваты. Отнюдь не в плохом делании, а в *никаком*. Ведь только они *сейчас* могут что-то делать. И делают — «Ничего».

Разве не вина?

Плеханов и другие заграничники вредны становятся (мало, ибо значения не имеют). Но они вполне невинны: оттуда не видать. Ничего. Ровно ничего.

Кажется, там разделение по линии войны. Борису я перестала отвечать, бесполезно сквозь такую цензуру. По-видимому, он увлечен войной (еще бы, во Франции!), хотя в «Призыве» не участвует. «Призыв» — это тамошний журнал стоящих за войну русских социалистов. Я его не знаю, но верю тут Керенскому, который им возмущен. Керенский приблизительно на моей позиции стоит не только по отношению к войне, но, главное, по отношению к данному внутреннему положению *военной* России. Он не умнее тамошних эмигрантов, но он *здесь*, а потому он видит, что здесь такое. А эмигранты слепы. Я даже боюсь, что все эмигранты слепы, всех толков, и «призывисты», и не призывисты. Поразному, но в равной степени. Ибо и противопризывисты, отрицающие войну, тоже путного ничего не говорят, отрицают просто и глупо, вне времени и пространства. А такого узкого и близкого положения, что ПРИ ЭТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЯ ПРИЛИЧНО С ВОЙНОЙ НЕ РАЗВЯЖЕТСЯ,— не понимают вовсе, и, конечно, ничего дальнейшего, что из этой аксиомы вытекает.

Депутат — грузин Чхеидзе, уж на что немудрящий, а и тот великолепно понимает и на этом именно стоит. Интересно, что он, грузин, утверждает это положение, как самый горячий русский патриот (подлинный); стоит, прежде всего, на любви к России. «Если б, говорит, я мог верить, что Россия не погибнет в войне, оставаясь при царе, теперь... Но я не верю; ведь я вижу. Ведь все равно...»

Да, вот тут важно: а вдруг — все равно будет... что?

Керенский уверяет, что болен. Он часто к нам забегает.

Мои юные поэты, студенты и другие — постепенно преображаются, являясь в защитках. Кого взяли в солдаты, кого в юнкера, кто приспособился к лазарету. Все там будем. Живы еще гимназисты и барышни.

Много есть чего сказать о более «штатском» (об Андрее Белом, Боре Бугаеве, например, погибающем в Швейцарии у Штейнера), но как-то не говорится. И я все пишу почти газетно, что не будет интересно.

Газетное. Как бы не так. Газеты... пишут о театре. Даже Б. Суворину запретили писать без предварительной цензуры и оштрафовали за вчерашнюю заметку на 3 тысячи.

Большею частью газеты белы, как полотно.

Молчание. Мороз крепкий (15° с ветром). «Чертоград» замерз. Ледяной покой... и даже без «капризов».

Хвостов, стиснув зубы, «охраняет» Гришку. Впрочем, черт их разберет, кто кого охраняет. У Гришки охрана, у Хвостова — своя, хвостовские наблюдатели наблюдают за гришкиными, гришкины — за хвостовскими.

26 января

Только сегодня объявил Н., что Думу дозволяет на 9 февраля. Белый дядя Горемыкин с почетом ушел на днях, взяли Штюрмера Бориса. Знаем эту цацу по Ярославлю, где он был губернатором в 1902 году. В тот год мы с Дм. ездили за Волгу, к староверам и сектантам, «во град Китеж», на Светлое озеро. Были и в Ярославле, где Штюрмер нас «по-европейски» принимал. На обратном пути у него же видели приехавшего

Иоанна Кроштадтского, очень было примечательно. К несчастью, моя статья обо всем этом путешествии написана была в жесточайших цензурных условиях (двойной цензуры), а записную книжку я потеряла.

...Впрочем, не об этом речь, а о Штюрмере, о котором... почти нечего сказать. Внутренне — охранитель не без жестокости, но без творчества и яркости; внешне — щеголяющий (или щеголявший) своей «культурностью» перед писателями церемониймейстер. Впрочем, выставлял и свое «русофильство» (он из немцев), и церковную религиозность. Всегда имел тайную склонность к темным личностям.

Его премьерство не произвело впечатления на фундаментально «успокоенное» общество. Да и в самом деле! Не все ли равно? И Хвостов, и Штюрмер — да мало ли их, премьеров и не премьеров,— было и будет? Не знают, что и с разрешенной Думой теперь делать. После ужина — горчица.

Война — в статике. У нас (Рига — Двинск) и на западе. Балканы германцы уже прикончили. Греция замерла. Англичане ушли из Дарданелл.

Хлеба в Германии жидко, и она пошла бы на мир при данном ее блестящем положении. Но мир сейчас был бы столь же бессмыслен, как и продолжение войны. Замечательно: никому нет никуда выхода. И не предвидится.

При этом плохо везде. Истощение и неустройство.

У нас особенно худо. Нынешняя зима впятеро тяжелее и дороже прошлогодней. Рядом — постыдная роскошь наживателей.

...Интеллигенция как-то осела, завяла, не столь тормошится. Думское «успокоение» подействовало и на нее. Керенский все время болен, белый как бумага, уверяет, что у него «туберкулез». Однако не успокаивается, где-то скачет. К сожалению, я сейчас не знаю, что делается в подпольных партийных кругах. Но по некоторым признакам видно, что ничего замечательного. Если там ведется какая-нибудь пропаганда, то она, по стиснутости, особого влияния не может иметь. В данный момент, по крайней мере. И с другой стороны, благодаря стиснутости и подпольности, она ведется неразумно, несознательно, безответственно безответственными...

Уже выдвинул Штюрмер сразу двух своих мерзавцев: Гурлянда и Манасевича. Стыдно сказать, что знаешь их. А я знаю обоих. С Гурляндом сразу резко столкнулась в споре за губернаторским столом в Ярославле. А Манасевича видела тоже, за обедом у одной парижской дамы. Но об охраннически-провокаторской деятельности последнего мы были предупреждены, я уже не вступала с ним в споры, а любопытно наблюдала его и слушала... с какой-то «бурцевской» точки зрения...

В то время мы жили в Париже. И были уже близки с нашими друзьями-эмигрантами, Савинковым и др.

Теперь охраннику доверен важный пост...

Несчастная страна, вот что...

На днях уехала К. опять за границу. Вечером, перед ее отъездом (она у нас ночевала), приехал Керенский.

С того весеннего знакомства, когда мы взяли Керенского в автомобиль и похитили на «Зеленое кольцо»,— Керенский с К. уже много видались, и в Москве, где она жила, и здесь.

Керенский приехал поздно, с какого-то собрания, почти без голоса (и вообще-то он больной). Мы сидели вчетвером (Дмитрий уже лег спать). Я отпаивала Керенского бутылкой какого-то завалящего вина.

Сразу образовались две партии, а бедная К. сделалась объектом, за который они боролись.

К. едет «туда»... что она скажет «призывистам» о здешнем. (Писем ведь везти нельзя.)

Я, конечно, соединилась с Керенским, на другой стороне был вечный противник —

Д. В., один из «приемлющих» войну, один из желающих помогать войне все равно с кем. Я уважаю его страдание, но я боюсь его покорной слепоты...

Мы спорили, наперерыв стараясь, чтобы К. поняла и передала обе точки зрения,— но, в конце концов, мы же ее окончательно запутали.

Господи, да и как передать сознательное *ощущение* волоска, на котором все висит? Сознательное, но недоказуемое. Видишь — а другой не видит. А издали, как ни расписывай, и самый зрячий не увидит. Ничего. О нашем, русском, внутреннем *военном* положении...

...Споры только сбивают с толку. Замечательная русская черта: непонимание точности, слепота ко всякой мере. Если я не «жажду победы» — значит, я «жажду поражения». Малейшая общая критика «побединцев», просто разбор положения — повергает в ярость, и все кончается одним: если ты не националист — значит, ты за Германию. Или открыто будь «пораженцем» и садись в тюрьму, как чертова там Роза Люксембург села,— или закрой глаза и кричи «ура», без рассуждений.

То «или-или» — какого в жизни не бывает.

Да я сейчас даже именно войной занята, а не решением принципиальных вопросов. нет: близким, узким,— сейчасной Россией (при войне). Какая-то ЧРЕВАТОСТЬ в воздухе; ведь нельзя же только — ЖДАТЬ!

27 февраля

Кажется, скоро я свою запись прекращу. Не ко времени. Нельзя дома держать. Сыщики не отходят от нашего подъезда.

И скоро я — который раз!
Сберу бумажные завалы
И отвезу — который раз!
Чтоб спрятали их генералы.

Право, придется все сбирать, и мои многочисленные стихи, и эту запись (о, первым делом!), и всякую, самую частную литературу. У родственных Д. В. генералов вернее сбережется.

Следят, конечно, не за нами... Хотя теперь следят за всеми. А если найдут о Грише непочтительное...

Хотела бы я знать, как может понять нормальный англичанин вот это чувство *слежения* за твоими мыслями, когда у него этого опыта не было, и у отца, и у деда его не было?

Не поймет. А я вот чувствую глаза за спиной, и даже сейчас (хотя знаю, что сейчас реально глаз нет, а завтра это будет запечатано до лучших времен и увезено из дома) — я *все-таки* не свободна и *не* пишу все, что думаю.

Нет, не испытав —

(На случайном листке)

Июль, 16 г.

Вернулись из Кисловодска, жаркое лето, едем через несколько дней на дачу.

Сейчас, в светлый вечер, стояли с Димой на балконе. Долго-долго. Справа, из-за угла огибая решетку Таврического сада, выходили стройные серые четырехугольники солдат, стройно и мерно двигались, в равном расстоянии друг от друга,— по прямой, как стрела, Сергиевской — в пылающее закатным огнем небо.

Они шли гулко и пели. Все одну и ту же, одну и ту же песню. Дальние, влево, уже почти не видны были, тонули в алости, а справа все лились, лились новые, выплывали стройными колоннами из-за сада.

Прощайте, родные,
Прощайте, друзья,

Прощай, дорогая
Невеста моя...

Так и не было конца этому прощанью, не было конца этому серому потоку. Сколько их! До сих пор идут. До сих пор поют.

1 октября. (Синяя книга)

Вчера у нас был свящ. Агеев — «земпоп», как он себя называет. Один из уполномоченных земск. союза (единственный поп). Перекочевал в Киев, оттуда действует.

Большой жизненный инстинкт. Рассказывал голосом надежды вещи страшные и безнадежные. Впрочем,— надежда всегда есть, если есть мужество глядеть данному в глаза.

Душа человеческая разрушается от войны — тут нет ничего неожиданного. Для видящих. А другие — что делать! пусть примут это, неожиданное, хоть с болью — но как факт. Пора.

Лев Толстой в «Одумайтесь» (по поводу японской войны) потрясающе ярок в отрицательной части и детски беспомощен во второй, положительной. Именно детски. Требование чуда (внешнего) от человечества не менее «безнравственно» (терминология Вейнингера), нежели требование чуда от Бога. Пожалуй, еще безнравственнее и алогичнее, ибо это — развращение воли.

Кто спорит, что ЧУДО могло бы прекратить войну. Момент неделанья, который требует Толстой от людей сразу, сейчас, в то время, когда уже делается война,— чудо. Взывать к чуду — развращать волю.

Все взяты на войну. Или почти все. Все ранены. Или почти все. Кто не телом — душой.

Роет тихая лопата,
Роет яму не спеша.
Нет возврата, нет возврата,
Если ранена душа...

И душа в порочном круге, всякий день. Вот мать, у которой убили сына. Глаз на нее поднять нельзя. Все рассуждения, все мысли перед ней замолкают. Только бы ей утешение.

Да, впрочем, я здесь кончаю мои рассуждения о войне, «как таковой». Давно пора. Все сказано. И остается. Вот уже когда „le vin est tiré! *..“ и когда теперь все дело в том, как мы его допьем.

Мало мы понимаем. Может быть, живем только по легкомыслию. Легкомыслие проходит (его отпущенный запас) — и мы умираем.

Не пишется о фактах, о слухах, о делах нашего «тыла». Мы верного ничего не знаем. А что знаем — тому не верим; да и таким все кажется ничтожным. Неподобным и нелепым.

Керенский после своей операции (туберкулез у него оказался в почке, и одну почку ему вырезали) — более или менее оправился. Но не вполне еще, кажется.

Мы стараемся никого не видеть. Видеть — это видеть не людей, а голое страдание.

Интеллигенция загнана в подполье. Копошатся там, как белые, вялые мухи.

Если моя непосредственная жажда, чтобы война кончилась, жажда *чуда* — да прости мне Бог. Не мне — *нам*, ибо нас, обуянных этой жаждой, так много, и все больше... Молчу. Молчу.

3 октября

Мое странное состояние (не пишется о фактах и слухах, и все ничтожно) не мое только состояние: общее. Атмосферное.

В атмосфере глубокий и зловещий ШТИЛЬ. Низкие-низкие тучи — и тишина.

Никто не сомневается, что будет революция. Никто не знает, какая и когда она будет,

* Вино открыто! (*фр.*).

и — не ужасио ли? — иикто не думает об этом. Оцепеиели.

Заботит, что иечего есть, иегде жить, ио тоже заботит полутупо, оцепенело.

Против самых иевероятных, даже ие дерзких, а имеиио иевероятных, шагов правительства иет возмущеиия, даже иет удивлеиия. Спокойствие... отчаяиья. Право, не зиаю.

Очеиь «притайио». Дышит ли тайной?

Может быть, да, может быть, иет. Мы в полосе штиля. Низкие, аспидиые тучи.

Единственно, что написано о войие,— это потрясающие литания Шарля Пеги, французского поэта, убитого иа Марие. Вот что я прииимаю, ии иа лииию ие сдвигаясь с моего бесповоротиого и цельиого отрицания идеи войиы.

Эти литания были иаписаны за два года до войны. Таков геиий.

Не заставить ли себя иарисовать жанровую картиику из современной (вориной) жизии? Уж очень банальио, ибо воры — все. Все тащат, кто сколько захватит, от миллиона до рубля. Ниже брезгуют, да есть ли ииже? Наш рубль стоит копейку.

Два дия идет мокрый снег. Вокруг — полиейшая пришиблеииость. Даже столп серединных упований, твердокамеиный Милюков,— «сдал»: уже не хочет и созыва Думы теперь — поздно, мол.

Да новый наш министр — шалунишка Протопопов и не будет созывать. К Протопопову я вернусь (стоит!), а пока скажу лишь, что он, иа миинистерском кресле,— этот символ и знак: все поздно, все невмеияемы.

Дела иа войие — никто их ие может изъясиить. Никто их ие понимает.

Аспидные тучи стали еще аспиднее — если можио.

16 октября

Все по-прежиему. На войне германцы взялись за Румынию — плотио. У иас, конечно, иехватка патронов. В тылу — нехватка решительио всего. Карточный сахар.

Говорят о московских беспорядках. Но все как-то... неважно для всех.

Дм. С. ставит свою пьесу иа Александриике. Тоже ие важио.

Но не будем вдаваться в «иастроеиия». Фактики любопытиее.

Протопопов захлебнулся от счастия быть миинистром (и это бывший лидер знаменитого думского блока!). Не вылезает из жандармского мундира (который со времеи Плеве, тоже любителя, висел иа гвоздике) — и вообще абсолютио иеприличеи.

Штюрмер выпустил Сухомлиинова (история, оцеии!). Царь ие любил «белого дядю» Горемыкииа; кажется, ои иадоедал ему с докладами. Да, впрочем, — кого ои любит? Родзянку «органически ие выносит»; от одиой его походки у „charmeur'a" «голова иачииает болеть», и ои «ии на что ие согласеи».

С «дядей» приходилось мучиться — кем замеиить? Гришка, свалив Хвостова, которого после идиотской охраниическо-сплетнической истории, будто Хвостов убить его собирался, ииаче не иазывал, как «убивцем»,— вериый Гришка опять помог: «...чем не премьер Владимирыч Бориска..?»

И вправду — чем? Гришкина замеиа Хвостова Протопоповым очень поиравилась в Царском: иеобходимо сказать, что Протопопов иеустанио и хламиду Гришкину целует, и сам «с голосами» до такой степеии, что даже в ием что-то «Гришенькиио», «чудесное» мелькает... в Царском.

Штюрмер же тоже ревнитель церковио-божествеииого. За него и Питирим-митрополит станет. (Впрочем, для Питиримки Гришииого кивка за глаза довольио.)

Ну и стал Штюрмер «хозяииом». И выпустил Сухомлинова.

О М. Р. и говорить ие стоит. Его с поклоиами выпустят. Его дело миллиониое.

Войиа всем, кажется, иадоела выше горла. Однако ии смерти, ии живота не видно... иикому.

О иас и говорить нечего, ио думаю, что ии для кого из этой каши добра ие выйдет.

22 октября

Вчера была премьера «Романтиков» в Александринке. Мы сидели в оркестре. Вызывать стали после II действия, вызывали яро и много, причем не кричали «автора», но все время «Мережковского». Зал переполнен.

Пьеса далеко не совершенная, но в ней много недурного. Успех определенный.

Но как все это суетливо. И опять — «ничтожно».

Третьего дня на генеральной — столько интеллигентско-писательской старой гвардии... Чьи-то седые бороды — и защитки рядом.

Был у нас Вол. Ратьков. (Он с первого дня на войне.) Грудь в крестах. А сам, по-моему, сумасшедший. Все они полусумасшедшие «оттуда». Все, до слез доводящие одним видом своим.

По местам бунты. Семнадцатого бастовали заводы: солдаты не захотели быть усмирителями. Пришлось вызвать казаков. Не знаю, чем это кончилось. Вообще мы мало (все) знаем. Мертвый штиль, безлюбопытный, не способствует осведомлению.

Понемногу мы все в корне делаемся «цензурными». Привычка. Китайский башмачок. Сними его поздно — нога не вырастет.

В самом деле, темные слухи никого не волнуют, хотя всем им вяло верят. Занимает дороговизна и голод. А фронты... Насколько можно разобраться — кажется, все в падении.

...и дикий мир
В безумии своем застыл.

Люди гибнут, как трава, облетают, как одуванчики. Молодые, старые, дети... все сравнялись. Даже глупые и умные.

Или сумасшедшие.

29 октября

Умер в Москве старообрядческий еписк. Михаил (т. н. Канадский). .

Его везла из Симбирска в Петербург сестра. Нервно-расстроенного. (Мы его лет 5—6 не видали, уже тогда он был не совсем нормального вида.)

На ст. Сортировочной, под Москвой, он вышел и бесследно исчез. Лишь через несколько дней его подняли на улице, как «неизвестного», избитого, с переломанными ребрами, в горячечном бреду от начавшегося заражения крови. В больнице, в светлую минуту, он назвал себя. Тогда приехал свящ. с Рогожского — его «исправить». В стар. больнице скончался.

Это был примечательный человек.

Русский еврей. Православный архимандрит. Казанский духовный профессор. Старообрядческий епископ. Прогрессивный журналист, судимый и гонимый. Интеллигент, ссылаемый и скрывающийся за границей. Аскет в Белоострове, отдающий всякому всякую копейку. Религиозный проповедник, пророк «нового» христианства среди рабочих, бурный, жертвенный, как дитя беспомощный, хилый; маленький, нервно-возбужденный, беспорядочно-быстрый в движениях, рассеянный, заросший черной круглой бородой, совершенно лысый. Он был вовсе не стар: года 42. Говорил он скоро-скоро, руки у него дрожали и все что-то перебирали...

В 1902 году церковное начальство вызвало его из Казани в Спб. как опытного полемиста с интеллигентными «еретиками» тогдашних рел.-фил. собраний. И он с ними боролся... Но потом все изменилось.

В 1908/9 году он бывал у нас уже иным, уже в кафтане стар. епископа, уже после смелых и горячих обвинений православной церкви. Его «Я обвиняю...» многим памятно.

Отсюда ведут начало его поразительные попытки создать новую церковь «Голгофского христианства». С внешней стороны это была демократизация идеи церкви, причем весьма важно отрицание *сектантства* (именно в «сектантство» выливаются все подобные попытки).

Многие знают происходившее лучше меня: в эти годы путаность и детская порывистость Михаила удерживали нас от близости к нему.

Но великого уважения достойна память мятежного и бедного пророка. Его жертвенность была той ценностью, которой так мало в мире (а в христианских церквах?).

И как завершенно он кончил жизнь! Воистину «пострадал», скитаясь, полубезумный, когда «народ», его же «демократия» — ломовые извозчики — избили его, переломили 4 ребра и бросили на улице; в переполненной больнице для бедных, в коридоре, лежал и умирал этот «неизвестный». Не только «демократия» постаралась над ним: его даже не осмотрели, в 40-градусном жару веревками прикрутили руки к койке — точно распяли действительно. Даже когда он назвался, когда старообрядцы пошли к старшему врачу, тот им отвечал: «Ну, до завтра, теперь вечер, я спать хочу». Сломанные ребра были открыты лишь перед смертью, после 4—5-дневного «распятия» в «голгофской больнице».

Вот о Михаиле.

И теперь, сразу, о Протопопове. О нашем «возлюбленном» министре. Надо отметить, что он сделался тов. председателя Гос. думы, лишь выйдя из сумасшедшего дома, где провел несколько лет. Ярко выраженное религиозное умопомешательство. (Еп. Михаил никогда не был сумасшедшим. Его религия не исходила из болезни. Его нервность, быть может, была результатом всей его жизни, внешней и внутренней, целиком.) Но я напрасно и вспомнила опять Михаила. Я хочу забыть о нем на Протопопове, а не «сравнивать» их.

Итак — карьера Пр-ва величественна. Из тов. председателя он скакнул в думский блок и заиграл роль его лидера. Затеял миллионную банковскую газету (рьяно туда закупались сотрудники).

Поехал с Милюковым официально в Англию. (По дороге что-то проврался, темная история, замазали.) И вот, наконец, «полюбил государя, и государь его полюбил» (понимай: Гришенька тоже). Тут он и сделался нашим министром вн. дел.

Созвал как-то на «дружеское» совещание прогрессивных думцев (Милюкова, конечно). Совещание застенографировано. Оно весело и неправдоподобно, как фарс. Точно в кривом зеркале играют произведение Тэффи. Да нет, тут скорее Джером-Джером... только он приличнее. Стоило бы сохранить стенограмму для назидания потомства.

Россия — очень большой сумасшедший дом. Если сразу войти в залу желтого дома, на какой-нибудь вечер безумцев,— вы, не зная, не поймете этого. Как будто и ничего. А они все безумцы.

Есть трагически-помешанные, несчастные. Есть и тихие идиоты, со счастливым смехом на отвисших устах собирающие щепочки и, не торопясь, хохоча, поджигающие их серниками. Протопопов из этих «тихих». Поджигательству его никто не мешает, ведь его власть. И дарована ему «свыше».

Таково данное.

4 ноября

Первого открылась Дума. Милюков произнес длинную речь, чрезвычайно для него резкую. Говорил об «измене» в придворных и правит. кругах, о роли царицы Ал., о Распутине (да и о Грише!), Штюрмере, Манасевиче, Питириме — о всей клике дураков, шпионов, взяточников и просто подлецов. Приводил факты и выдержки из немецких газет. Но центром речи его я считаю следующие, по существу ответственные, слова: «Теперь мы видим и знаем, что с этим пр-вом мы так же не можем законодательствовать, как не можем вести Россию к победе».

Цитирую по стенограмме. Нового тут ничего нет, дело известное. Милюкову можно бы сказать с горечью: «Теперь видите?» и прибавить: «Не поздно ли?»

Но не в том дело. Для него пусть лучше поздно, чем никогда. А вот почему эти ответ-

ственные слова фактически — безответственны? Увидели, что «ничего не можем с ними» ... и продолжаем с ними? Как же так?

Речь произвела в Думе впечатление. Чхеидзе и Керенскому просто закрыли рот. Всем остальным не просто, а по печатному. Не только речь Милюкова, но и речи правых, и даже все попытки «своими средствами» передать что-либо о думском заседании — было истреблено. Даже заголовки не позволили.

Вечером из цензуры сказали: «Вы поменьше присылайте, нам приказ поступать *по-зверски*».

На другой день вместо газет вышла небывало белая бумага. То же и на третий день, и далее.

Министры не присутствовали на этом первом заседании Думы, но им тотчас все было доложено. Собравшись вечером экстренно, они решили привлечь Милюкова к суду по 103 ст. (оскорбление величества). Не верится, ибо слишком это даже для них глупо.

Следующие заседания протекли столь же возбужденно (Аджемов, Шульгин), и столь же было в газетах.

«Блокисты» решительно стали в глазах пр-ва — «крамольниками». Увы, только в глазах пр-ва. Если бы с горчичное зерно попало в них «крамольства» действительно! Именно крошечное зернышко *в них* — целый капитал. Но капитала они не приобрели, а невинность потеряли очень определенно.

Сегодня даже было в газетах заявление Родзянко, что «отчеты не появляются в газетах по независящим обстоятельствам». Сегодня же и пр-венное сообщение: «Не верить темным слухам о сепаратном мире, ибо Россия будет твердо и неуклонно...» и т. д.

Царь только вчера получил речь Милюкова и дал телеграмму, чтобы Шуваев и Григорович поскорее бросились в Думу и покормили ее шоколадом уверения, заверения и уважения. Эти так сегодня и сделали.

Штюрмеру, видно, не сдобровать. Уж очень прискандален. Хотят, нечего делать, его «уйти». Назначить Григоровича исп. долж. премьера, а выдвинуть снова Кривошеина. Отчего это у нас все или «поздно» — или «рано»? Никогда еще не было — «пора».

Милюков увидел правду — «поздно» (и сам не отрицает), но дальше увидения — идти «рано». Два-три года тому назад, когда лезли с Кривошеиным, было ему «рано». Теперь никто, ни он сам, не сомневаются, что давным-давно — «поздно».

Вот в этом вся суть: у нас, русских, нет внутреннего понятия о времени, о часе, о «пора». Мы и слова этого почти не знаем. Ощущение это чуждо.

Рано для революции (ну, конечно) и поздно для реформ (без сомнения!).

Рано было бороться с пр-вом даже так, как сейчас борются Милюков и Шульгин... и уже поздно — теперь.

Нет выхода. Но и не может быть его у народа, который не понимает слова «пора» и не умеет произнести в пору это слово.

Что нам пишут о фронте — мы почти не читаем. Мы с ним давно разъединены: умолчаниями, утомлениями, беспорядочно-страшным тыловым хаосом. Грозным.

Да, грозным. Если мы ничего не сделаем — сделается «*что-то*» само. И лик его темен.

14 ноября

Я уезжаю в Кисловодск. Не стоит брать с собой эту книгу. Записывать, не около решетки Таврического дворца, можно лишь «психологию» (логические выводы все уже сделаны), а психология скучна. Вне Петербурга у нас ничего не *случается*, это я давно заметила, ничего, имеющего значения. Все только приходит из Петербурга, зачавшись в нем. И знать, и видеть, и понимать (и писать) я могу только здесь.

Пока что: Штюрмер ушел, назначен Трепов (тоже фрукт!). Блокисты, по своему обыкновению, растеряны (заседаний не будет до 19-го). Будто бы уходит и Протопопов (не верю). Министра иностранных дел не имеем (это теперь-то!).

Румын мы посадили в кашу: немцы уже перешли Дунай.

Было у нас заседание совета Религ.-фил. об-ва (насчет собрания в память еп. Михаила).

Не знаю, как нынешнюю зиму сложатся собрания нашего Общества. Думаю, мало что выйдет. Первая «военная» зима, 14/15, прошла очень остро, в борьбе между «нами», религиозными осудителями войны, как таковой, и «ними», старыми «националистами», вечными. Вторая зима (15/16) началась, после долгих споров, вопросом «конкретным», докладом Дм. Вл. Философова о церкви и государстве, по поводу «записки» думских священников, весьма слабой и реакционной. Были, с одной стороны, эти священники, беспомощно что-то лепетавшие, с другой стороны, видные думцы. Между прочим, говорил тогда и Керенский.

Должна признаться, что я не слышала ни одного слова из его речи. И вот почему: Керенский стоял не на кафедре, а вплотную за моим стулом, за длинным зеленым столом. Кафедра была за нашими спинами, а за кафедрой, на стене, висел громадный, во весь рост портрет Николая II. В мое ручное зеркало попало лицо Керенского и, совсем рядом,— лицо Николая. Портрет очень недурной, видно похожий (не серовский ли?). Эти два лица *рядом*, казавшиеся даже на одной плоскости, т. к. я смотрела в один глаз,— до такой степени заинтересовали меня своим гармоничным контрастом, своим интересным «аккордом», что я уже и не слышала речи Керенского. В самом деле, смотреть на эти два лица рядом — очень поучительно. Являются самые неожиданные мысли — именно благодаря «аккорду», в котором, однако, все — вопящий диссонанс. Не умею этого объяснить, когда-нибудь просто вернусь к детальному описанию обоих лиц — вместе.

На заседание нынешнего совета явились к нам два старообрядческих епископа: Иннокентий и Геронтий. И два с ними начетчика. Один сухонький, другой плотный, розовый, бородатый, но со слезой,— меховщик Голубин.

Я тщательно проветрила комнаты и убрала даже пепельницы, не только папиросы.

Сидели владыки в шапочках, кои принесли с собой в саквояжике. Синие пелеринки (манатейки) с красным кантиком. Молодые, истовые. Пили воду (вместо чая). Решительно и положительно, даже как-то мило, ничего не понимают. Еще бы. Консервация — их суть, весь их смысл.

Заседание о Михаиле будет, вероятно, уже после нашего отъезда.

Прошлое, первое нынче осенью, не было очень интересно. Книга Бердяева интересна лишь в смысле ее приближения к полуизуверческой секте «Чемряков»-Щетининцев. Эту секту, после провала старца — Щетинина, подобрал прохвост Бонч-Бруевич (Щетинин — неудачливый Распутин) и начал обрабатывать оставшихся последователей на «божественную» социал-демократию большевистского пошиба. Очень любопытно.

И чего только нет в России! Мы сами даже не знаем. Страна великих и пугающих нелепостей.

ОТРЫВКИ ИЗ ЛЕТУЧИХ ЛИСТКОВ В КИСЛОВОДСКЕ

Декабрь 1916 — начало янв. 1917

...Здесь трудно и тяжело жить, здесь слепо жить. Светит солнце, горит снег, кажется, что ничего не происходит. А ведь происходит! Глухие раскаты громов. Я могу здесь только приводить в порядок мысли. Или беспорядочно отмечать новые. Но о событиях по газетам, да еще провинциальным, в углу — я писать не могу.

К вопросам «по существу» я уже не буду возвращаться. Только — о данном часе истории и о данном положении России и хочется говорить. Еще о том, как бессильно мы, русские сознательные люди, враждуем друг с другом... не умея даже сознательно определить свою позицию и найти для нее соответственное имя.

Целая куча разномыслящих окрещена именем «пораженцев», причем это слово давно

изменило свой смысл первоначальный. Теперь пораженка я, Чхенкели и — Вильсон. А ведь слово Вильсона — первое честное, разумное, по земному святое слово о войне (мир без победителей и без побежденных, как единое разумное и желанное окончание войны).

А в России зовут «пораженцем» того, кто во время войны смеет говорить о чем-либо, кроме «полной победы». И такой «пораженец» равен — «изменнику» родины. Да каким голосом, какой рупор нужен, чтобы кричать: война ВСЕ РАВНО так в России не кончится! Все равно — будет крах! Будет! Революция или безумный бунт: тем безумнее и страшнее, чем упрямее отвертываются от бессомненного те, что ОДНИ могли бы, приняв на руки вот это идущее, сделать из него «революцию». Сделать, чтобы это была ОНА, а не всесметающее Оно.

И ведь видят как будто. Не Милюкова ли слова: «С этим пр-вом мы не можем вести войну...!» Конечно, не можем. Конечно, нельзя. А если нельзя — то ведь ясно же: *будет крах*. Наши политические разумные верхи ведут свою, чисто оппозиционную и абсолютно безуспешную политику (правый блок), единственный результат которой — их полное отъединение от низов. Поэтому то, что будет,— будет голо — снизу.

Будет, значит, крах; анархия... почем я знаю! Я боюсь, ибо во время войны революция *только снизу* — особенно страшна. Кто ей поставит пределы? *Кто* будет кончать ненавистную войну? Именно кончать?

«Другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь...» — несчастный народ, несчастная Россия... Нет, не хочу. Хочу, чтобы это была именно Революция, чтобы она взяла, честная, войну в свои руки и докончила ее. Если она кончит — то уж прикончит. Убьет.

Вот чего хотим мы, сегодняшние так называемые «пораженцы». Пораженцы?

Нас убеждают еще наши противники, что надо теперь лишь в тиши «подготовлять» революцию, а чтобы была она — *после* войны. После того, как «Россия с этим пр-вом», с которым она «не может вести войну», доведет ее до конца? О, реальные политики! Такого выбора: революция теперь или революция после войны — совсем *нет*. А есть совсем другой. Вот мы, «пораженцы», и выбираем революцию, выбираем нашей горячей надеждой, что будет Она, а не страшное, м. б. длительное, м. б. даже бесплодное. *Оно*. Ведь и «по Милюкову» других выборов нет...

Или я во всем ошибаюсь? А если Россия может в позоре рабства до конца войны дотащиться? Может? Не может?

Допускаю, что может. Но допускаю формально, вопреки разуму. А уже веры нет ни капли. Я этого не представляю себе и ничего об этом не могу говорить.

А чуть гляжу в другое — я живая мука, и страх, что будет «Оно», гибло-ужасное, и надежда, что нет, что мы успеем...

(Продолжение, там же)

Даже не помнится об этом жалком дворцовом убийстве пьяного Гришки. Было — не было, это важно для Пуришкевича. Это не то.

А что России так не «дотащиться» до конца войны — это важно. Не дотащиться. Через год, через два (?), но *будет что-то*, после чего: или мы победим войну, или война победит нас.

Ответственность громадная лежит на наших государственных слоях интеллигенции, которые сейчас *одни* могут действовать. Дело решится в зависимости от того, в какой мере они окажутся внутри Неизбежного, причастны к нему, т. е. и властны над ним.

Увы, пока они думают не о победе над войной, а только над Германией. Ничему не учатся.

Хотя бы узкий переворот подготавливали. Хотя бы тут подумали о «политике», а не о своей доктринерской «честной прямоте» парламентских деятелей (причем у нас «нет парламента»).

Я говорю — год, два... Но это абсурд. Скрытая ненависть к войне так растет, что войну

надо, и для окончания, *оканчивания*, как-то иначе повернуть. Надо, чтоб война стала войной для конца себя. Или ненависть к войне, распучившись, разорвет ее на куски. И это будет не конец: змеиные куски живут и отдельно.

Отсюда не видишь мелкого, но зато чувствуешь яркое общее. Вернувшись под аспидное небо, к моей синей книжке, к слепой твердости «приявших войну»,— не ослепну ли я? Нет, просто буду молчать — и ждать бессильно. При каждом случае гадая в страхе и сомнении: еще не то. Или то? Нет, еще не сегодня. Завтра? Или послезавтра?

Я ничего не могу изменить, только знаю, что *будет*. А кто мог бы, ни линийку,— те не знают, что *будет*. Слова?

...Слова — как пена,
Невозвратимы — и ничтожны...
Слова — измена,
Когда деянья невозможны...

* * *

Я не фаталистка. Я думаю, что люди (воля) что-то весят в истории. Оттого так нужно, чтобы видели жизнь те, кто может действовать.

Быть может, и теперь уже поздно. А когда придет Она или Оно — поздно, наверное. Уже какое будет. Их нее — нижнее — только нижнее. А ведь война. Ведь война!

* * *

Если начнется ударами, периодическими бунтами, то авось кому надо успеют понять, принять, помочь... Впрочем, я не знаю, как будет. Будет. Надоело все об одном. Выбора нет.

1917

С.-Петербург. Опять СИНЯЯ КНИГА

2 февраля. Четверг

Мы дома. Глубокие снега, жестокий мороз. Но по утрам в Таврическом саду небо светит розово. И розовит мертвый круглый купол Думы.

Было бы бесполезно выписывать здесь упущенную хронику. В общем — «все на своих местах». Ничего неожиданного для такой Кассандры, как я.

К удивлению, здесь речь Вильсона не получила заслуженного внимания. А ведь это же — «новое о войне», и притом в самой доступной, обязательной — реальной плоскости. Речь эта, и вообще весь Вильсон с его делами и словами, примечательнейшее событие современности. Это — вскрытие сути нашего времени, мера исторической эпохи. Она дает формулу, соответствующую высоте культурного уровня человечества в данный момент всемирной истории.

И еще не «снижение» — война? Для упрощенной ясности, для тех, кто не хочет понимать простой линии, на которой я фактически с первого момента войны, и кто доселе шамкает о «пораженчестве»,— я просто сую Вильсона и не разговариваю дальше.

Убийство Гришки и здесь продолжает мне казаться жалкой вещью. Заговорщиков и убийц, «завистливых родственников», разослали по вотчинам, а Гришку в Царском Селе вся высочайшая семья хоронила.

Теперь ждем чудес на могиле. Без этого не обойдется. Ведь мученик. Охота была этой мрази венец создавать. А пока болото — черти найдутся, всех не перебьешь.

Ради нового премьера Думу отложили на месяц. Пусть к делам приобвыкнет, а то ничего не знает.

Да чуть не все новые, незнающие. Т. е. все самые старые. Протопопов набрал. А он крепок, особенно теперь, когда Гришенькино место пусто. Протопопов же сам с «божественной слезой» и на прорицания, хотя еще робко, но уже посягает.

Со стороны взглянуть — комедия. Ну, пусть чужие смеются. Я не могу. У меня смех в горле останавливается.

Ведь это — мы. Ведь это Россия в таком стыде.

И что еще будет!

11 февраля. Суббота

Во вторник откроется Дума. Петербург полон самыми злыми (?) слухами. Да уж и не слухами только. Очень неопределенно говорят, что к 14-му, к открытию Думы, будет приурочено выступление рабочих. Что они пойдут к Думе изъявлять поддержку ее требованиям... очевидно, оппозиционным, но каким? Требованиям ответственного министерства, что ли, или милюковского — «доверия»? Слухи не определяют.

Мне это кажется нереальным. Ничего этого, думаю, не будет. Причин много, почему не будет, а главная причина (даже упраздняющая перечисление других) это — что рабочие думский блок *поддерживать не будут*.

Если это глупо, то в политической глупости этой повинны не рабочие. Повинны «реальные» политики, сам думский блок. Наши «парламентарии» не только не хотят никакой «поддержки» от рабочих, они ее боятся, как огня; самый слух об этом считают порочащим их «добрые имена. Кто-то где-то обмолвился, что в рабочих кругах опираются на какие-то слова или чуть ли не на письмо Милюкова. Боже, как он тщательно отбояривался, как внушительно заявлял протесты. Это было похоже не на одно отгораживание, а почти на «гонение» левых и низов.

На днях у нас был Керенский и возмущенно рассказывал недавнюю историю ареста рабочих из военно-промышленного комитета и поведение, всю позицию Милюкова при этом случае. Керенский кипятился, из себя выходил — а я только пожимала плечами. Ничего нового. Милюков и его блок верны себе. Были слепы и пребывают в слепоте (хотя *говорят*, что видят, значит, «грех остается на них»).

Керенский непоседлив и нетерпелив, как всегда. Но он прав сейчас глубоко, даже в нетерпении и возмущении своем. Провожая его, в передней, я спросила (после операции мы еще не видались):

— Ну, как же вы теперь себя чувствуете?

— Я? Что ж, физически — да, лучше, чем прежде, а так... лучше не говорить.

Махнул рукой с таким отчаянием, что я вдруг вспомнила один из его давнишних телефонов: «А теперь будет то, что начинается с а...»

А рабочие все же не пойдут 14-го поддерживать Думу.

Следовало бы подвести счеты сегодняшнего дня, самые грубые,— но разве кратко. Ведь все то же повторять, все то же.

Партия государственная, либерально-парламентарная, вся ее работа и «правый» думский блок — остались бесплодными *абсолютно*. Напротив, если правит. курс изменился — то в сторону горшей реакции. Формула Чхеидзе, за которую два года тому назад, даже у нас, в 4-х стенах, несчастные «либералы» клеймили этого левого депутата (лично ничем не замечательного) — «пораженцем», а «либерало-христиане» — дураком и монофизитом,— эта формула давно принята словесно тем же Милюковым: «С ЭТИМ ПР-ВОМ РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ДАЛЬШЕ ВЕСТИ ВОЙНУ, НЕ МОЖЕТ ДАТЬ ЕЙ ХОРОШЕЕ ОКОНЧАНИЕ». Принята, признана — и больше ничего. От выводов отворачиваются. Дошло до того, что наша союзница Англия позволяет себе теперь говорить то же: «С этим правительством Россия...» и т. д.

Англия глубоко равнодушна к нам, еще бы! Но о войне-то она ведь очень заботится. Кое-что понимает.

Во вторник откроется Дума. Положение ее унизительно и безвыходно. При любом поведении (в рамках либерального блока) ее достоинство опять ущербится. Minimum не достигнут; а ради него было пожертвовано решительно всем. Даже не приблизились к minimum'у, а для него не побоялись вырыть пропасть между умеренными государственными политиками и революционной интеллигенцией, вместе со смутными русскими революционными низами (всех последних я, для краткости, и беру под один знак «левых элементов»).

Эти левые, от которых блок не уставал публично отрекаться, готовят свои выпады, своими средствами (что же им делать, одним? ничего не делать?). А эти средства сегодня, для сегодняшнего часа не полезны, а *вредны*.

Да в свое время отметится — чтó бы не свершилось далее — это «безумство мудрых», это упорство отталкивания, это «гонение» — как большая политическая ошибка.

Впрочем, ошибки и грехи не моя забота, и обвинять мне никого не дано. Записываю факты, каковыми они рисуются с точки зрения здравого смысла и практической логики. Кладу запись «в бутылку». Ни для чьих сегодняшних ушей она не нужна.

Слова и смысл их — все утратило значение. Люди закрутились в петлю. А если..?

Нет. Хорошо бы ослепнуть и оглохнуть. Даже без «бутылки», даже не интересоваться. Писать стихи «о вечности и красоте» (ах, если б я могла!), перестать быть «человеком».

Хорошие стихи — чем не позиция? Во всяком случае, моя теперешняя политическая позиция «здравого ума и твердой памяти» столь же фактически бездейственна (ведь она только моя и «в бутылке»), как и загадочная позиция «хороших стихов».

Если же писать — поменьше мнений. Поголее факты.

Меня жизнь оправдает.

22 февраля. Среда

Слухи о готовящихся выступлениях так разрослись перед 14-м, что думцы-блокисты стали пускать контрслухи, будто выступления предполагаются провокаторские.

Тогда я позвонила к одному из «нереальных» политиков, т. е. к одному из левых интеллигентов. Правда, лично он звезд не хватает и в политике его, всяческой, я весьма сомневаюсь — даже в правильной информации сомневаюсь,— однако насчет «провокации» может знать.

Он ее отверг и был очень утвердителен насчет скорых возможностей: «движение в прекрасных руках».

Между тем 14-го, как я предрекала, ровно ничего не случилось.

Вернее — случилось большое «Ничего». Протопопов делал вид, что беспокоится, наставил за воротами пулеметов (особенно около Думы, на путях к ней; мы, например, кругом в пулеметах), собрал преображенцев...

Но и в Думе было — «Ничего». Министров ни малейших. Охота им туда ездить, только время тратить! Блокистам дан был, для точения зубов, один продовольственный Риттих, но он мудро завел шарманку на два часа, а потом блокисты скисли. «Он сорвал настроение Думы», писали газеты.

Милюков попытался, но не смог. Повторение всем надоело. Кончил: «Хоть с этим правительством Россия не может победить, но мы должны вести ее к полной победе, и она победит» (?).

С тех пор, вот неделя, так и ползет: ни шатко ни валко. Голицын в Думу вовсе носа не показал и ни малейшей «декларацией» никого не удостоил.

Протопопов предпочитает ездить в Царское, говорить о божественном.

Белые места в газетах запрещены (нововведение), и речи думцев поэтому столь высоко обессмыслены, что даже Пуришкевич застонал: «Не печатайте меня вовсе!»

Говорил дельное Керенский, но такое дельное, что пр-во затребовало его стенограмму. Дума прикрыла, не дала.

С хлебом, да и со всем остальным, у нас плохо.

А в общем — опять *штиль*. Даже слухи, после четырнадцатого, как-то внезапно и странно сгасли. Я слышала, однако, вскользь (не желая настаивать), будто все осталось, а 14-го будто ничего не было, ибо «не желали связывать с Думой». Ага! Это похоже на правду. Если даже все остальное вздор, то вот это психологически верно.

Но констатирую полный внешний штиль всей недели. Опять притайно. Дышит ли тайной?

Может быть — да, может быть — нет. Мы так привыкли к вечному «нет», что не верим даже тому, что наверно знаем.

И раз делать ничего не можем — то боимся одинаково и «да» и «нет»...

Я ведь знаю, что... будет.— Но нет смелости желать, ибо... Впрочем, об этом слишком много сказано. Молчание.

Театры полны. На лекциях биток. У нас в Рел.-фил. об-ве Андрей Белый читал дважды. Публичная лекция была ничего, а закрытое заседание довольно позорное: почти не могу видеть эту праздничную толпу, жаждущую «антропософии». И лица с особенным выражением — я замечала его на лекциях-проповедях Штейнера: выражение удовлетворяемой похоти.

Особенно же противен был в программе неожиданно прочтенный патриото-русопятский «псалом» Клюева. Клюев — поэт в армяке (не без таланта), давно путавшийся с Блоком, потом валандавшийся даже в кабаре «Бродячей собаки» (там он ходил в пиджачной паре), но с войны особенно вверзившийся в «пейзанизм». Жирная, лоснящаяся физиономия. Рот круглый, трубкой. Хлыст. За ним ходит «архангел» в валенках.

Бедная Россия. Да опомнись же!

23 февраля. Четверг

Сегодня беспорядки. Никто, конечно, в точности ничего не знает. Общая версия, что началось на Выборгской, из-за хлеба. Кое-где остановили трамваи (и разбили). Будто бы убили пристава. Будто бы пошли на Шпалерную, высадили ворота (сняли с петель) и остановили завод. А потом пошли покорно, куда надо, под конвоем городовых — все «будто бы».

Опять кадетская версия о провокации — что все вызвано «провокационно», что нарочно, мол, спрятали хлеб (ведь остановили железнодорожное движение?), чтобы «голодные бунты» оправдали желанный правительству сепаратный мир.

Вот и глупые и слепые выверты. Надо же такое придумать!

Боюсь, что дело гораздо проще. Так как (до сих пор) никакой картины организованного выступления не наблюдается, то очень похоже, что это обыкновенный голодный бунтик, какие случаются и в Германии. Правда, параллелей нельзя проводить, ибо здесь надо учитывать громадный факт саморазложения правительства. И вполне учесть его нельзя, с полной ясностью.

Как в воде, да еще мутной, мы глядим и не видим, в каком расстоянии мы от *краха*.

Он неизбежен. Не только избежать, но даже изменить его как-нибудь — мы уже не в состоянии (это-то теперь ясно). Воля спряталась в узкую область просто желаний. И я не хочу высказывать желания. Не нужно. Там борются инстинкты и малодушие, страх и надежда, там тоже нет ничего ясного.

Если завтра все успокоится и опять мы затерпим — по-русски тупо, бездумно и молча,— это ровно ничего не изменит в будущем. Без достоинства бунтовали — без достоинства покоримся.

Ну, а если без достоинства — не покоримся? Это лучше? Это хуже?

Какая мука. Молчу. Молчу.

Думаю о войне. Гляжу в ее сторону. Вижу: коллективная усталость от бессмыслия и ужаса овладевает человечеством. Война верно выедает внутренности человека. Она почти гальванизированная плоть, тело, мясо — дерущееся.

Царь уехал на фронт. Лафа теперь в Царском Г-ке «пресекать». Хотя они «пресекать» будут так же бессильно, как мы бессильно будем бунтовать. Какое же из двух бессилий победит?

Бедная земля моя. Очнись!

24 февраля. Пятница

Беспорядки продолжаются. Но довольно, пока, невинные (?). По Невскому разъезжают молоденькие казаки (новые, без казачьих традиций), гонят толпу на тротуары, случайно подмяли бабу, военную сборщицу, и сами смутились.

Толпа — мальчишки и барышни.

Впрочем, на самом Невском рабочие останавливают трамваи, отнимая ключи.

Трамваи почти нигде не ходят, особенно на окраинах, откуда попасть к нам совсем нельзя. Разве пешком. А морозно и ветрено. Днем было солнце, и это придавало веселость (зловещую) невским демонстрациям.

Министры целый день сидят и совещаются. Пусть совещаются. Царь уже обратно скачет, но не из-за демонстраций, а потому, что у Алексея сделалась корь.

Анекдотично. Французы ничего не понимают. Да и кто поймет? Только мы одни. Отец и помазанник. Благодать выше законов. На что они при благодати!

Но не смеюсь. Пусть чужие...

Был mr. Petit, рассказывал о конференции. Он «получил телеграмму от Albert Thomas — Soyez interprèt auprès * de Vr.Doumergue. Понял смысл. Doumergue с ним не расставался и, сразу по приезде, сказал, что хочет видеть крупных политических деятелей. В тот день, в вестибюле Европ. гостиницы, Палеолог отозвал Petit в сторону и сообщил, что, ввиду желания Doumergue'а видеть Гучкова, Милюкова etc., он их всех приглашает в посольство завтракать. Завтрак состоялся. Был и Поливанов. Беседа была откровенная».

(Я вставляю: совсем как «во всех Европах». И послы и «крупные политические деятели...» Ну, послам и Бог велел не понимать, что они не в. Европах, а эти-то! Наши-то! Доморощенные-то слепцы! Туда же, не понимают ничего!)

Продолжаю рассказ Petit:

Во время поездки в Москву Petit сопровождал Doumergue'а. Из официальных interpret'ов были два офицера генерал. штаба, Муханов и Солдатенков. Doumergue их стеснялся и уверял, что шпионы. В Москве Doumergue беседовал у себя, отдельно, с кн. Львовым и Челноковым. Львов произвел на него сильное впечатление. Любопытно, что во время беседы в номер вошел, не постучавшись, Муханов. Извинился и вышел. Потом и во время беседы Челнокова с Мильераном то же произошло, тоже вошел — не Муханов, а Солдатенков.

Интересен инцидент в Купеческой управе. Было много гостей, между прочим. Шебеко. Булочкин сказал официальную речь. Doumergue (ничего не понял) отвечал. Этим должно было кончиться. Но через толпу пробрался Рябушинский, вынул из кармана записку и хорошо прочел резкую французскую речь. Нация во вражде с правительством, пр-во мешает нации работать и т. д. И что заем не имеет успеха.

Doumergue "avait un petit air adsent" **, а Шебеко страшно злился. Тотчас по всем редакциям телефон, чтоб не только не печатать речи Рябушинского, но даже

* Переводчик при (*фр.*).

** Был немного рассеян (*фр.*).

не упоминать его фамилии. Doumergue не знал, кто Рябушинский, и очень удивился, что это "membre du Conseil de l'Empire" et archimillionaire *. Уехала делегация через Колу.

После этой длинной записи о старых уже делах (но как характерно!) возвращаюсь к сегодняшнему дню.

Утром говорили, что путиловцы стали на работу, но затем выяснилось, что нет. Еду по Сергиевской, солнечно, морозно. Вдали крики небольших кучек манифестантов. То там, то здесь.

Спрашиваю извозчика:

— А что они кричат?

— Кто их знает. Кто что попало, то и кричит.

— А ты слышал?

— Мне что. Кричат и кричат. Все разное. И не поймешь их.

Бедная Россия. Откроешь ли глаза?

25 февраля. Суббота

Однако дела не утихают, а как будто разгораются. Медленно, но упорно. (Никакого систематического плана не видно, до сих пор; если есть что-нибудь — то небольшое и очень внутри.)

Трамваи остановились по всему городу. На Знаменской площади митинг (мальчишки сидели, как воробьи, на памятнике Ал. III). У здания гор. думы была первая стрельба — стреляли драгуны.

Пр-во, по настоянию Родзянко, согласилось передать продовольственное дело городскому управлению. Как всегда — это поздно. Риттих клялся Думе, что в хлебе недостатка нет. Возможно, что и правда. Но даже если... то, конечно, и это «поздно». Хлеб незаметно забывается, забылся, как случайность.

Газеты завтра не выйдут, разве «Новое время», которое долгом почтет наплевать на «мятежников». Хорошо бы, чтобы они пришли и «сняли» рабочих.

Все-таки я еще не знаю, чем и как может это (хорошо) окончиться. Ведь 1905/1906 год пережили, когда сомнения не было, что не только хорошо кончится, но уже кончилось. И вот...

Но не забуду: теперь все другое. Теперь безмернее все, ибо война безмерная.

Карташев упорно стоит на том, что это «балет»,— и студенты, и красные флаги, и военные грузовики, медленно двигающиеся по Невскому за толпой (нет проезда), в странном положении конвоирующих эти красные флаги. Если балет... какой горький, зловещий балет! Или...

Завтра предрекают решительный день (воскресный). Не начали бы стрелять вовсю. А тогда... это тебе не Германия, и уже выйдет не «бабий» бунт. Но я боюсь говорить. Помолчим.

Интересно, что правительство не проявляет явных признаков жизни. Где оно и кто, собственно, распоряжается — не понять. Это ново. Нет никакого прежнего Трепова — «патронов на толпу не жалеть». Премьер (я даже не сразу вспоминаю, кто у нас) точно умер у себя на квартире. Протопопов тоже адски пришипился. Кто-то где-то что-то будто приказывает. Хабалов? И не Хабалов. Душит чей-то гигантский труп. И только. Странное ощущение.

Дума «заняла революционную позицию...», как вагон трамвая ее занимает, когда поставлен поперек рельсов. Не более. У интеллигентов либерального толка вообще сейчас ни малейшей связи с движением. Не знаю, есть ли реальная и у других

---

* Член Государственной думы и архимиллионер (*фр.*).

9 630

(сомневаюсь), но у либерало-оппозиционистов нет связи даже созерцательно-сочувственной. Они шипят: какие безумцы! Нужно с армией! Надо подождать! Теперь все для войны! Пораженцы!

Никто их не слышит. Бесплодно охрипли в Думе. И с каждым нарастающим мгновением они как будто все меньше делаются нужны. («Как будто!» А ведь они нужны!)

Если совершится... пусть не в этот, двадцатый раз,— опоздавшим либералам солоно будет это сознание. Неужели так никогда и не поймут они свою *ответственность* за настоящие и... будущие минуты?

В наших краях спокойно. Наискосок казармы, сзади казармы, напротив инвалиды. Поперек улицы шагает часовой.

Вместо Беляева назначен ген. Маниковский.

26 февраля. Воскресенье

День чрезвычайно резкий. Газеты совсем не вышли. Даже «Новое время» (сняли наборщиков). Только «Земщина» и «Христианское чтение» (трогательная солидарность!).

Вчера было заседание гор. думы. Длилось до 3 часов ночи. Председательствовал Базунов. Превратилось в широкое политическое заседание при участии рабочих (от кооперативов), попечительств и депутатов. Говорил и Керенский. Постановлено было много всяких хороших вещей.

Сегодня с утра вывешено объявление Хабалова, что «беспорядки будут подавляться вооруженной силой». На объявление никто не смотрит. Взглянут — и мимо. У лавок стоят молчаливые хвосты. Морозно и светло. На ближайших улицах как будто даже тихо. Но Невский оцеплен. Появились «старые» казаки и стали с нагайками скакать вдоль тротуаров, хлеща женщин и студентов. (Это я видела также и здесь, на Сергиевской, своими глазами.)

На Знаменской площади казаки вчерашние — «новые» — защищали народ от полиции. Убили пристава, городовых оттеснили на Лиговку, а когда вернулись — их встретили криками: «Ура, товарищи казаки!».

Не то сегодня. Часа в 3 была на Невском серьезная стрельба, раненых и убитых несли тут же в приемный покой под каланчу. Сидящие в Евр. гост. заперты безвыходно и говорят нам оттуда, что стрельба длится часами. Настроение войск неопределенное. Есть, очевидно, стреляющие (драгуны), но есть и оцепленные, т. е. отказавшиеся. Вчера отказался Московский полк. Сегодня, к вечеру, имеем определенные сведения, что — не отказался, а возмутился — Павловский. Казармы оцеплены и все Марсово поле кругом, убили командира и нескольких офицеров.

Сейчас в Думе идет сеньорен-конвент, на завтра назначено экстренное общее заседание.

Связь между революционным движением и Думой весьма неопределенна, не видна. «Интеллигенция» продолжает быть за бортом. Нет даже осведомления у них настоящего.

Идет где-то Совет рабочих депутатов (1905 год?), вырабатываются будто бы лозунги... (Для новых не поздно ли схватились? Успеют ли? А старые, 12-летние, сгодятся ли?)

До сих пор не видно, как, чем это может кончиться. На красных флагах было пока старое «долой самодержавие» (это годится). Было, кажется, и «долой войну», но, к счастью, большого успеха не имело. Да, предоставленная себе, не организованная стихия ширится, и о войне, о том, что ведь ВОЙНА — и здесь, и страшная,— забыли.

Это естественно. Это понятно, слишком понятно, после действий правительства и после лозунга думских и не думских интеллигентов-либералов: все для войны! Понятен этот перегиб, но ведь он — страшен!

Впрочем, теперь поздно думать. И все равно, если это лишь вспышка и будет

подавлена (если!),— ничему не научатся либералы: им опять будет «рано» думать о революции.

Но я сознаюсь, что говорю о думском блоке недостаточно объективно. Я готова признать, что для «пропаганды» он имел свое значение. Только *дела* он никакого, даже своего прямого, не сделал. А в иные времена *все дело в деле* — исключительно.

Я готова признать, что даже теперь, даже в этот миг (если это миг предреволюционный) для «умеренных» наших деятелей — ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО. Но данный миг последний. Последнее милосердие. Они еще могут... нет, не верю, что могут, скажу *могли бы* — кое-что спасти и кое-как спастись. Еще сегодня могли бы, завтра — поздно. Но ведь нужно рискнуть тотчас же, именно сегодня, признать этот миг предреволюционным наверняка. Ибо лишь с этим признанием они примут завтрашнюю революцию, пройдут сквозь нее, внесут в нее свой строгий дух.

Они не смогут, ибо в последний миг это еще труднее, чем раньше, когда они уже не смогли. Но я обязана констатировать, что еще не поздно. Без обвинений, с ужасом, вижу я, что не смогут. Да и слишком трудно. А между тем оно не простится — кем-то, чем-то. Если б простилось! Но нет. Безголовая революция — отрубленная, мертвая голова.

Кто будет строить? Кто-нибудь. Какие-нибудь третьи. Но не сегодняшние Милюковы и не сегодняшние под-Чхеидзе.

Бедная Россия. Незачем скрывать — есть в ней какой-то подлый слой. Вот те, страшные, наполняющие сегодня театры битком. Да, битком сидят на «Маскараде» в Имп. театре, пришли ведь отовсюду пешком (иных сообщений нет), любуются Юрьевым и постановкой Мейерхольда — «один просцениум стоил 18 тысяч». А вдоль Невского стрекочут пулеметы. В это же самое время (знаю от очевидца) шальная пуля застигла студента, покупавшего билет у барышника. Историческая картина!

Все школы, гимназии, курсы — закрыты. Сияют одни театры и... костры расположившихся на улицах бивуаком войск. Закрыты и сады, где мирно гуляли дети: Летний и наш, Таврический. Из окон на Невском стреляют, а «публика» спешит в театр. Студент живот свой положил ради «искусства»...

Но не надо никого судить. Не судительное время — грозное. И что бы ни было дальше — *радостное*. Ни полкапли этой странной, внеразумной, живой радости не давала ни секунды война. Нет оправдания войне — для современного человеческого существа. Все в войне кричит для нас: «Назад!». Все в революционном движении: «Вперед!». Даже при внешних сближениях — вдруг, точно искра, *качественное* различие. Качественное.

27 февраля. Понедельник

12 ч. дня. Вчера вечером в заседании фракции говорили, что у пр-ва существует колебание между диктатурой Протопопова и министерством якобы «доверия» с ген. Алексеевым во главе. Но поздно ночью пришел указ о роспуске Думы до 1 апреля. Дума *будто бы* решила не расходиться. И в самом деле она, кажется, там сидит. Все прилегающие к нам улицы запружены солдатами, очевидно, присоединившимися к движению. Приходивший утром Н. Д. Соколов рассказывает, что вчера на Невском стреляла учебная команда павловцев, которых в это время заперли. Это ускорило восстание полка. Литовцы и волынцы решили присоединиться к павловцам.

1¹/₂ ч. дня. Идут по Сергиевской мимо наших окон вооруженные рабочие, солдаты, народ. Все автомобили останавливаются, солдаты высаживают едущих, стреляют в воздух, садятся и уезжают. Много автомобилей с красными флагами, заворачивающих к Думе.

2 ч. дня. Делегация от 25 тыс. восставших войск подошла к Думе, сняла охрану и заняла ее место.

Экстренное заседание Думы продолжается?

Мимо окон идет странная толпа: солдаты без винтовок, рабочие с шашками, подростки и даже дети от 7—8 лет со штыками, с кортиками. Сомнительны лишь артиллеристы и часть семеновцев. Но вся улица, каждая сияющая баба убеждена, что они пойдут «за народ».

4 ч. дня. Известие о телеграммах Родзянки к царю; первая — с мольбой о смене правительства, вторая — почти паническая — «последний час настал, династия в опасности»; и две его же телеграммы Брусилову и Рузскому с просьбой поддержать ходатайство у царя. Оба ответили — первый: «Исполнил свой долг перед царем и родиной», второй: «Телеграмму получил, поручение исполнил».

4 часа. Стреляют,— большей частью в воздух. Известия: раскрыты тюрьмы, заключенные освобождены. Кем? Толпы чаще всего — смешанные. Кое-где солдаты «снимали» рабочих (Орудийный зав.) — рабочие высыпали на улицы. Из предварилки, между прочим, выпущен и Манасевич, его чуть ли не до дому проводили.

Взята Петропавловская крепость. Революционные войска сделали ее своей базой. Когда оттуда выпустили Хрусталева-Носаря (председателя Сов. рабочих депутатов в 1905 г.), рабочие и солдаты встретили его восторженно. По рассказу Вани Пугачева на кухне (Ваня — старинный знакомый, молодой матрос):

«Он столько лет страдал за народ, так вот недаром». (Мое примечание: Носарь эти десять лет провел в Париже, где вел себя сомнительно, вернулся только с полгода; по всем сведениям — сумасшедший...) «Сейчас это его взяли и повезли в Думу. А он по дороге: постойте, говорит, товарищи, сначала идите в окружной суд, сожгите их гадкие дела, там и мое есть. Они пошли, подожгли, и сейчас горит. Ну, привезли в Думу — к депутатам. Те сейчас согласились, пусть он какую хочет должность берет и министров выбирает. Стал он, значит, глава Совета рабочих депутатов». (Мое примечание: Ваня совсем не «серый» матрос; но какая каша, даже любопытно: «глава» Сов. раб. депутатов — «выбирает» министров и садится на любую «должность»)... «Потом говорит: поедемте на Финляндский вокзал вызванные войска встречать, чтобы они сразу стали за народ. Ну, и уехали».

Окружной суд, действительно, горит. Разгромлено также охранное отделение и дела сожжены.

4$^1/_2$ часа. Стрельба продолжается, но вместе с тем о прав. войсках ничего не слышно. Ганфман поехал в Думу на моторе, но «инсургенты» его высадили. В Думе идут жаркие прения. Умеренные хотят временное министерство с популярным генералом «для избежания анархии», левые хотят временного правительства из видных думцев и общественных деятелей.

Узнала, что Дума, получив приказ о роспуске, вовсе не решила «не расходиться», весьма заколебалась и даже начала было собираться восвояси; но ее почти механически задержали события — первые подошедшие войска из восставших, за которыми полились без перерыва и другие. Передают, что Родзянко ходит, растерянно ударяя себя руками: «Сделали меня революционером! Сделали!»

Беляев предложил ему сформировать кабинет, но Родзянко ответил: «Поздно».

5 часов. В Думе образовался комитет «для водворения порядка и для сношения с учреждениями и лицами». Двенадцать: Родзянко, Некрасов, Коновалов, Дмитрюков, Керенский, Чхеидзе, Шульгин, Шидловский, Милюков, Караулов, Львов и Ржевский.

Комитет заседает перманентно. Тут же во дворце Таврическом (в какой зале — не знаю) заседает и Сов. раб. депутатов. В какой они связи с комитетом — не выясняется определенно. Но там и представители кооперативов.

5$^1/_2$ часов. Арестовали Щегловитого. Под революционной охраной привезли в Думу. Родзянко протестовал, но Керенский, под свою ответственность, посадил его в министерский павильон и запер.

(Голицын известил Родзянку, что уходит, равно будто бы и другие министры, кроме Протопопова.)

Все ворота и подъезды велено держать открытыми. У нас на дворе солдаты искали двух городовых, живущих в доме. Но те переоделись и скрылись. Солдаты, кажется, были выпивши, один стрельнул в окно. Угрожали старшему, ранили его, когда он молил о пощаде.

На улицах пулеметы и даже пушки — все забранные революционерами, ибо, повторяю, о правит. войсках не слышно, а полиция скрылась.

Насчет других районов — слухи противоречивы: кто говорит, что довольно порядливо, другие — что были разгромы лавок — ружейной на Невском и Гв. о-ва.

6 часов. В восставших полках, в некоторых, убиты офицеры, командиры и генералы. Слух (непроверенный), что убит японский посланник, принятый за офицера. Насчет артиллеристов и семеновцев все так же неопределенно. На улицах ни одной лошади, ни в каком виде; только гудящие автомобили, похожие на дикобразов: торчат кругом щетиной блестящие иглы штыков.

7 часов. На Литейной, 46, хотят выпустить «Известия» от комитета журналистов — там Земгор, союзы и т. д. «Известия» думцев, которые они уже начали было печатать в типографии «Нов. вр.», не вышли; явились вооруженные рабочие и заставили напечатать несколько революционных прокламаций «неприятного» тона — по словам Волковысского (сотр. моск. газеты «Утро России»). Он же говорит, что «движение принимает стихийный характер». Родзянко и думцы теряют всякое влияние. Мало, мол, они нас предавали. Терпи, да терпи, да сами разговаривали...

(Это похоже на правду. И эта возможность, конечно, самая ужасная. Да, неизъяснимо все страшно. Небывало страшно. То «необойдимое», что зналось, *все равно будет*. И лик его закрыт. Что же? «Она» — или «Оно»?)

9 часов. Есть тайные слухи, что министры засели в градоначальстве и совещаются под председательством Протопопова. Вызваны, кажется, войска из Петергофа. Будто бы начало сражения на Измайловском, но еще не проверено.

Воззвание от Совета раб. депутатов. Очень куцее и смутное. «Связывайтесь между собой... Выбирайте депутатов... Занимайте здания...» О связи своей с думским комитетом — ни слова.

Все думают, что и с правительством еще предстоит бойня... Но странно, что оно так стерлось, точно провалилось. Если соберет какие-нибудь силы — не задумается начать расстрел Гос. думы.

Вдоль Сергиевской уже смотрит пушка, но эта — революционная. (Ядра-то у всякой те же.)

О назначении будто бы Алексеева — слух смолк. Говорят о приезде то Ник. Ник-ча, то Мих. Ал-ча, то еще кого-то.

(Опять где-то стрельба.)

11 час. веч. Вышли какие-то «Известия». Общее подтверждается. Это Комитет петерб. журналистов. Есть еще воззвание рабоч. депутатов: «Граждане, кормите восставших солдат...»

О связи (?), об отношениях между комитетом думским и СРД — ни тут, ни там — ни слова.

12 час. У нас телефоны продолжаются, но верного ничего. От выводов и впечатлений хочется воздержаться. Одно только: сейчас Дума не во власти ли войск — солдат и рабочих? *Уже* не во власти ли?

28 февраля. Вторник

Вчера не кончила и сегодня, очевидно, всего не напишу.

Грозная страшная сказка.

Н. Слонимский пришел (студент, в муз. команде преображенцев), принес листки. Рассказывал много интересного. Сам в экстазе, забыл весь свой индивидуализм.

«Известия» Сов. раб. депутатов: он заявляет, что заседает в Таврич. дворце, выбрал «районных комиссаров», призывает бороться «за полное устранение старого правительства и за созыв Учр. собрания на основе всеобщего, тайного...» и т. д.

Все это хорошо и решительно, а вот далее идут «воззвания», от которых так и ударило затхлостью, двенадцатилетней давностью, точно эти бумажки с 1905 года пролежали в сыром подвале (так ведь оно и есть, а новеньких и не успели написать, да и не хватит их, писак этих, одних, на новенькие).

Вот из «манифеста» СДРП, ЦК-та: «...войти в сношения с пролетариатом воюющих стран против своих угнетателей и поработителей, царских правительств и капиталистических клик для немедленного прекращения человеческой бойни, которая навязана порабощенным народам».

Да ведь это по тону и почти дословно — живая «Новая жизнь» «социал-демократа большевика» Ленина пятых годов, где еще Минский, напрасно стараясь сделать свои «надстройки», получил арест и гибель эмиграции. И та же приподнятая тупость, и невежество, и непонимание момента, времени, истории.

Но... даже тут,— не говоря о других воззваниях и заявлениях Сов. раб. деп., с которыми уже, по существу, нельзя не соглашаться,— есть действенность, есть властность; и она — противопоставлена нежному безвластию думцев. Они сами не знают, чего желают, даже не знают, каких желаний пожелать. И как им быть — с царем? Без царя? Они только обходят осторожно все вопросы, все ответы. Стоит взглянуть на комитетские «Известия», на «Извещение», подписанное Родзянкой. Все это производит жалкое впечатление робости, растерянности, нерешительности.

Из-за каждой строчки несется знаменитый вопль Родзянки: «Сделали меня революционером! Сделали!»

Между тем ясно: если не их будет сейчас власть — будет очень худо России. *Очень худо.* Но это какое-то проклятие, что они даже в совершившейся, помимо них, революции (и не оттого ли, что «помимо»?) не могут стать на мудрую, но революционную точку ...состояния (точки «зрения» теперь мало).

Они — чужаки, а те, левые,— хозяева. Сейчас они погубители своего добра (не виноватые, ибо давно одни) — и все же хозяева.

Будет еще борьба. Господи! Спаси Россию. Спаси, спаси, спаси. Внутренне спаси, по Твоему веди.

В 4 часа известие: по Вознесенскому едет присоединившаяся артиллерия. На немецкой кирхе пулемет, стреляет в толпу.

Пришел Карташев, тоже в волнении и уже в экстазе (теперь не «балет»!).

— Сам видел, собственными глазами, Питиримку повезли! Питиримку взяли и в Думу солдаты везут!

Это наш достойный митрополит, друг покойного Гриши.

Войска — по мере присоединения, а присоединяются они неудержимо — лавиной текут к Думе. К ним выходят, говорят. Знаю, что говорили речи Милюков, Родзянко и Керенский.

Контакт между комитетом и Советом РД неуловим. Какой-то, очевидно, есть, хотя они действуют параллельно; например, и те, и другие — «организовывают милицию». Но ведь вот: Керенский и Чхеидзе в одно и то же время и в комитете, и в Совете. Может ли комитет объявить себя правительством? Если может, то может и Совет. Дело в том, что комитет ни за что и никогда этого не сделает, на это не способен. А Совет весьма и весьма способен.

Страшно.

Приходят люди, люди... Записать всего нельзя. Они приходят с разных концов города и рассказывают все разное, и получается одна грандиозная картина.

Мы сидели все в столовой, когда вдруг совсем близко застрекотали пулеметы. Это началось в 5. Оказывается, пулемет и на нашей крыше, и на доме напротив, да и все ближайшие к нам (к Думе) дома в пулеметах. Их еще с 14 Протопопов наставил на всех высотах, даже на церквах (на соборе Спаса Преображения тоже). Алекс.-невский участок за пулемет с утра подожгли.

Но кто стреляет? Хотя бы с нашего дома? Очевидно, переодетые — «верные» — городовые.

Мы перешли на другую половину квартиры — что на улицу. Но не тут-то было. Началось с противоположного дома, прямо в окно. Улица опустела. Затем прошла вооруженная толпа. Часть ее поднялась наверх, по лестнице, искать пулемет на чердаке. Весь двор в солдатах. По ним жарят. Мы меняли половины в зависимости, с какой стороны меньше трескотня.

Тут же явился Боря Бугаев * из Царского, огорошенный всей этой картиной уже на вокзале (в Царском ничего, слухи, но стоят себе городовые).

С вокзала к нам Боря полз 5 часов. Пулеметы со всех крыш. Раза три он прятался, ложился в снег, за какие-то заборы (даже на Кирочной), путаясь в шубе.

Боря вчера был у Масловского (Мстиславского) в Ник. академии. Тот в самых кислых, пессимистических тонах. И недоволен, и «нет дисциплины», и того, и сего... Между тем он — максималист. Я долго приглядывалась к нему и даже защищала, но года два тому назад стало выясняться, что эта личность весьма «мерцающая». Керенский даже ездил исследовать его «дело» на юг. Почему-то не довел до конца... Внешнее что-то помешало. Но из организации м. д.** его исключили, ибо достаточно было и добытого.

А бедный Боря, это гениальное, лысое, неосмысленное дитя,— с ним дружит. С ним — и с Ив. Разумником, этим, точно ядовитой змеей укушенным,— «писателем».

В $8^1/_2$ вечера — еще вышли «Известия». Да, идет внутренняя борьба. Родзянко тщетно хочет организовать войска. К нему пойдут офицеры. Но к Совету пойдут солдаты, пойдет народ. Совет ясно и властно зовет к Республике, к Учр. собранию, к новой власти. Совет — революционен... А у нас сейчас революция.

Сидим в столовой — звонок. Три полусолдата, мальчишки. Сильно в подпитии. С ружьями и револьверами. Пришли «отбирать оружие». Вид, однако, добродушный. Рады.

Звонит Petit. В посольствах интересуются отношением «временного пр-ва» (?) к войне. Жадно расспрашивал, правда ли, что председатель Раб. совета — Хрусталев-Носарь.

Еще звонок. Сообщают, что «позиция Родзянко очень шаткая».

Еще звонок (позднее вечером). Из хорошего источника. Будто бы в ставке до вчерашнего вечера ничего не знали о *серьезности* положения. Узнав — решили послать три хорошо подобранные дивизии для «усмирения бунта».

И еще позднее — всякие кислые известия о нарастающей стихии, о падении дисциплины, о вражде Совета к думцам...

Но довольно. Всего не перепишешь. Уже намечаются, конечно, беспорядки. Уже много пьяных солдат, отбившихся от своих частей. И это Таврическое двоевластие...

Но какие лица хорошие. Какие есть юные, новые, медовые революционеры. И какая невиданная, молниеносная революция.

Однако, выстрел. Ночь будет, кажется, неспокойная.

---

* Андрей Белый.

** Решительно не могу вспомнить сейчас (в 29 году), что за организация «м. д.».

P. S. Позднее ночью

Не могу, приписываю два слова. Слишком ясно вдруг все понялось. Вся позиция Комитета, вся осторожность и слабость его «заявлений» — все это вот отчего: в них теплится еще надежда, что царь утвердит этот комитет как официальное правительство, дав ему широкие полномочия, может быть, «ответственность» — почем я знаю! Но еще теплится, да, да, как самое желанное, именно эта надежда. Не хотят они никакой республики, не могут они ее выдержать. А вот, по-европейски, «коалиционное министерство», утвержденное *Верховной властью*...— Керенский и Чхеидзе? Ну, они из «утвержденного»-то автоматически выпадут.

Самодержавие так всегда было непонятно им, что они могли все чего-то просить у царя. Только просить могли у «законной власти». Революция свергла эту власть — без их участия. Они не свергали. Они лишь механически остались на поверхности — сверху. Пассивно-явочным порядком. Но они *естественно* безвластны, ибо *взять* власть они не могут, власть должна быть им дана, и дана сверху; раньше, чем они себя почувствуют *облеченными* властью, они и не будут властны.

Все их речи, все слова я могу провести с этой подкладкой. Я пишу это сегодня, ибо завтра может сгаснуть их последняя надежда. И тогда все увидят. Но что будет?

Они-то верны себе. Но что будет? Ведь я хочу, чтоб эта надежда оказалась напрасной... Но что будет?

Я хочу явно чуда.

И вижу больше, чем умею сказать.

1 марта. Среда

С утра текут, текут мимо нас полки к Думе. И довольно стройно, с флагами, со знаменами, с музыкой. Дмитрий даже сегодня пришел в «розовые тона», ввиду обилия войск дисциплинированных.

Мы вышли около часу на улицу, завернули за угол, к Думе. Увидели, что не только по нашей, но по всем прилегающим улицам течет эта лавина войск, мерцая алыми пятнами. День удивительный: легко-морозный, белый, весь зимний — и весь уже весенний. Широкое, веселое небо. Порою начиналась неожиданная, чисто вешняя пурга, летели, кружась, ласковые белые хлопья и вдруг золотели, пронизанные солнечным лучом. Такой золотой бывает летний дождь; а вот и золотая весенняя пурга.

С нами был и Боря Бугаев (он у нас эти дни). В толпе, теснящейся около войск, по тротуарам, столько знакомых, милых лиц, молодых и старых. Но все лица, и незнакомые,— милые, радостные, верящие какие-то... Незабвенное утро, алые крылья и марсельеза в снежной, золотом отливающей, белости...

Вернулись домой со встретившимся там Мих. Ив. Туган-Барановским. Застали уже кучу народа, студентов, офицеров (юных, тоже недавних студентов, когда-то из моего «Золотого кольца»).

Уже ясно, более или менее, для всех то, что мне понялось вчера вечером насчет комитета. Будет еще яснее.

Утренняя светлость сегодня — это опьянение правдой революции, это влюбленность во взятую (не «дарованную») свободу, и это и в полках с музыкой, и в ясных лицах улицы, народа. И нет этой светлости (и даже ее понимания) у тех, кто должен бы сейчас стать на первое место. Должен — и не может, и не станет, и обманет...

4 часа. Прибывают всякие войска. Все отчетливее разлад между комитетом и Советом. Слух о том, что к царю (он где-то застрял между Псковом и Бологим со своим поездом) посланы или поехали думцы за отречением. И даже будто бы он уже отрекся в пользу Алексея с регентством Мих. Ал. Это, конечно (если это так), идет от комитета. Вероятно, у них последняя надежда на самого Николая исчезла (поздно!), ну, так вот,

чтоб хоть оформить приблизительно. Хоть что-нибудь сверху, какая-нибудь «верховная санкция революции»...

У нас пулеметы протопоповские затихли, но в других районах действуют вовсю и сегодня. «Геройчные» городовые, мало притом осведомленные, жарят с Исаакиевского собора...

За несколько дней до событий Протопопов получил «высочайшую благодарность за успешное предотвращение беспорядков 14 февраля». Он хвастался, после убийства Гришки, что «подавил революцию сверху. Я подавлю ее и снизу». Вот наставил пулеметов. А жандармы о сю пору защищают уже несуществующий «старый режим».

А полки все идут с громадными красными знаменами. Возвращаются одни — идут другие. Трогательно и... страшно, что они так неудержимо текут, чтобы продефилировать перед Думой. Точно получить ее санкцию. Этот акт «доверия» — громадный факт; и плюс... а что тут страшного — я знаю и молчу.

Боря смотрит в окно и кричит:

— Священный хоровод!

Все прибывают в Думу и арестованные министры, всякие сановники. Даже Теляковского повезли (на его доме был пулемет). Арестованных запирают в министерский павильон. Милюков хотел отпустить Щегловитова, но Керенский властно запер и его в павильоне. О Протопопове — смутно, будто он сам пришел арестовываться. Не проверено.

6 часов. Люди, вести, звонки. Зензинов, оказывается, в Совете. Приехал случайно из Москвы по лит. делам, здесь события и захватили его. Мы знали его лет 10, еще в Париже, еще до его ссылки в Русское Устье. С.-р. типа святого, слабого. аскетического. С Керенским его Дима же и познакомил, введя его в один из «кругов»... Сейчас узнаем, что он в Совете — из числа крайних. Вот тебе и на!

Хрусталев сидит себе в Совете, и ни с места, хотя ему всячески намекают, что ведь он не выбран... Ему что.

По рассказам Бори, видевшего вчера и Масловского, и Разумника, оба трезвы, пессимистичны, оба против Совета, против «коммуны» и боятся стихии и крайности.

До сих пор ни одного «имени», никто не выдвинулся. Действует наиболее ярко (не в смысле той или другой крайности, но в смысле связи и соединения всех) — Керенский. В нем есть горячая интуиция, и революционность сейчасная, я тут в него верю. Это хорошо, что он и в комитете, и в Совете.

В 8 часов. Боре телефонировал из Думы Ив. Разумник. Он сидит там в виде наблюдателя, вклепанного между комитетом и Советом; следит, должно быть, как развертывается это историческое, двуглавое заседание. Начало заседания теряется в прошлом, не виден и конец; очевидно, будет всю ночь. Доходит, кажется, до последней остроты. Боря позвал Ив. Раз., если будет перед ночью перерыв, зайти к нам, отдохнуть, рассказать.

Ив. Раз. у нас не бывает (его трудно выносить), но теперь отлично, пусть придет. У нас все равно штаб-квартира для знакомых и полузнакомых (иногда вовсе незнакомых) людей, плетущихся пешком в Думу (в Тавріч. дворец). Кого обогреваем, кого чаем поим, кого кормим.

В 11 часов. Телефон от Petit. Был в Думе. Полный хаос. Родзянко и к нему (наверное, тоже хлопая себя по бедрам): «Voila, m-r Petit, nous sommes en pleine révolution!»*.

Затем пришел Ив. Разумник, обезноженный, истомленный и еще простуженный. В Т. дворце перерыв заседания на час. К 12 он опять туда пойдет.

Мы взяли его в гостиную, усадили в кресло, дали холодного чаю. Были только Дмитрий, Боря и я.

* Вот, м-р Рети, мы в самой революции (*фр.*).

Надо сказать правду, навел он на нас ужаснейший мрак. И сам в полном отчаянии и безнадежности. Но передам лишь кратко факты, по его словам.

Совет раб. депутатов состоит из 250—300 (если не больше) человек. Из него выделен свой «Исполнительный комитет». Хрусталева в комитете нет. Отношения с думским комитетом — *враждебные*. Родзянко и Гучков отправились утром на Никол. вокзал, чтобы ехать к царю (за отречением? или как? и посланные кем?), но рабочие не дали им вагонов. (Потом, позднее, все же поехали, с кем-то еще.) Царь и не на свободе, и не в плену, его не пускают железнодорожные рабочие. Поезд где-то между Бологим и Псковом.

В Совете и комитете РД роль играет Гиммер (Суханов), Н. Д. Соколов, какой-то «товарищ Безымянный», вообще большевики. Открыто говорят, что не желают повторения 1848 года, когда рабочие таскали каштаны для либералов, а те их расстреляли. «Лучше мы либералов расстреляем». В войсках дезорганизация полная. Когда посылают на вокзал 600 человек — приходят 30. Нынче в 6 ч. у. сказали, что из Красного идет полк с артиллерией и обозом. Все были уверены, что прав-ный. Но на вокзале оказалось, что «наш». Продефилировал перед Думой. Затем его отправили в... здание м-ва путей сообщения, превратив здание в казармы.

«Буржуазная» милиция не удалась. Действует милиция с-деков. Думский комитет не давал ей оружия — взяла силой.

Была мысль позвать Горького в Совет, чтобы образумить рабочих. Но Горький в плену у своих Гиммеров и Тихоновых.

Керенский — в советском комитете занимает самый правый фланг (а в думском — самый левый).

Совет уже разослал по провинции агентов с лозунгом «конфисковать помещичьи земли». А Гвоздев, только освобожденный из тюрьмы, не выбран в исполн. ком.— как слишком правый.

Вообще же Ив. Разумник смотрит на Совет с полным ужасом и отвращением, как не на «коммуну» даже, а скорей как на «пугачевщину».

Теперь все уперлось и заострилось перед вопросом о конструировании власти. (Совершенно естественно.) И вот — не могут согласиться. Если все так — то они и не согласятся ни за что. Между тем *нужно* согласиться, и не через 3 ночи, а именно в эту ночь. Когда же еще?

Интеллигенты, вожаки Совета (интересно, насколько они вожаки? Быть может, они уже не вполне владеют всем Советом и собой?), обязаны идти на уступки. Но и думцы-комитетчики обязаны. И на большие уступки. Вот в каком принудительном виде и когда преподносится им «левый блок». Не миновали. И я думаю, что они на уступки пойдут. Верить невозможно, что не пойдут. Ведь тут и воли не надо, чтобы пойти. Безвыходно, они понимают. (Другой вопрос, если все «поздно» теперь.)

Но положение безумно острое. И такой черной краской нарисовал его Разумник, что мы упали духом. Весь же вопрос в эту минуту: будет создана власть — или не будет.

Совершенно понятно, что уже ни один из Комитетов *целиком*, ни думский, ни советский, властью стать не может. Нужно что-то новое, третье.

Много было еще разных вестей, даже после ухода Разумника, но не хочется писать. Все о главном думается. Приподымаю портьеру, открываю замерзшее окно, вглядываюсь в близкие, голые деревья Таврического сада, стараюсь разглядеть невиданный круглый купол дворца. Что-то там сейчас под ним?

А сегодня туда привезли Сухомлинова. Одну минуту казалось, что его солдаты растерзают...

Протопопов, действительно, явился сам. С ужимочками, играя от страха сума-

сшедшего. Прямо к Керенскому: «ваше высокопревосходительство...» Тот на него накричал и приобщил к другим в павильоне.

Светлое утро сегодня. И темный вечер.

2 марта. Четверг

Сегодня утром все притайно, странно тихо. И погода вдруг сероватая, темная. Пришли два офицера-прапорщика (бывшие студенты). Уж, конечно, не «черносотенные» офицеры. Но творится что-то нелепое, неудержимое, и они растеряны. Солдаты то арестуют офицеров, то освобождают, очевидно, сами не знают, что нужно делать и чего они хотят. На улице отношение к офицерам явно враждебное.

Только что видели прокламацию Совета с призывом не слушаться думского комитета.

А в последнем номере советских «Известий» (да, теперь это уже не «Совет раб. депутатов», а «Совет рабочих и *солдатских* депутатов») напечатан весьма странный «Приказ по гарнизону № 1». В нем сказано, между прочим,— «слушаться только тех приказов, которые не противоречат приказам Сов. раб. и солд. депутатов».

Часа в три пришел Руманов из Думы, обезноженный: автомобиль отняли. «Верст по 18 в день делаю». Оптимистичен, но не заражает. Позицию думцев определил очень точно, с наивной прямотой: «Они считают, что власть выпала из рук законных носителей. Они ее подобрали и неподвижно хранят и передадут новой законной власти, которая должна иметь от старой ниточку преемственности».

Прозрачно-ясно. Вот, чуть исчезла их надежда на Николая II самого — они стали добиваться его отречения и Алексея с регентством Михаила. Ниточка... если не канат. А не «облеченные» — безвластны.

Сидельцы в министерском павильоне (много их там) являют художественную картину: Горемыкин с сигарой. Стишинский — задыхающийся. Маклаков в отчаянии просил, чтобы ему дали револьвер. И все везут новых.

В здании Думы — разрастающийся хаос. Гржебин составляет «Известия Р. деп.», Лившиц, Неманов, Поляков (кадеты) — просто «Известия» (д. ком-та).

Демидов и Вася (Степанов, думец, кадет, мой двоюродный брат) ездили в Царское от д. ком.— назначить «коменданта» для охраны царской семьи. Проговорили с тамошним комендантом и как-то неопределенно глупо вернулись «вообще».

Люди являлись, сменялись, но ничего толкового не приносили. Беспокойство нарастало. Что же там, наконец? Решат ли выбрать правительство или треснут окончательно?

Пришел невинный и детски сияющий секретарь Льва Толстого — Булгаков.

Потом пришли Petit. Он отправился в Думу, она осталась пока у нас.

Вернулся Боря Бугаев: хотел проехать в Царское за вещами, но это оказалось невозможным, не попал.

Сидим, сумерки, огня не зажигаем, ждем, на душе беспокойно. Страх — и уже начинающееся возмущение.

Вдруг — это было уже в 6 — телефон, сообщение (самое верное, ибо от Зензинова идущее): «Кабинет избран. Все хорошо. Соглашение достигнуто».

Перечислим имена. Не пишу их здесь (это ведь история), лишь главное: премьером Львов (москвич, правее кадетов), затем Некрасов, Гучков, Милюков, Керенский (юст.). Замечу следующее: *революционный* кабинет *не* содержит в себе *ни одного революционера*, кроме Керенского. Правда, он один многих стоит, но все же факт: все остальные или октябристы, или кадеты, притом правые, кроме Некрасова, который был одно время кадетом левым.

Как личности — все честные люди, но не крупные, решительно. Милюков умный, но я абсолютно не представляю себе, во что превратится его ум в атмосфере рево-

люции. Как он будет шагать по этой горящей, ему ненавистной, почве? Да он и не виноват будет, если сразу споткнется. Тут нужен громадный такт; откуда — если он в *несвойственной* ему среде будет вертеться?

Вот Керенский — другое дело. Но он один.

Родзянки нет. Между тем, если говорить не по существу уже, а в смысле «имен», имя Родзянки ровно столь же «не пользующееся доверием демократии», сколько имена Милюкова и Гучкова.

Все это поневоле приводит в смущение. В сомнение насчет будущего...

Но не будем гадать ни о чем, слава Богу, первый кризис разрешен.

Вернувшись из Думы, Petit подтвердил имена и факт образования кабинета.

Вечером разные вести о подходящих будто бы правительственных войсках. Здешние не трусят: «придут — будут наши». Да какие, в самом деле, войска? Отрекся уже царь или не отрекся?

На кухне наш «герой» — матрос Ваня Пугачев. Страшно действует. Он уже в Совете — депутатом. Пришел прямо из Думы. Говорит охриплым голосом. Чуть выпил. В упоении, но рассказывает очень толково, как их смутил сегодня Приказ № 1.

— Это тонкие люди иначе поняли бы. А мы прямо поняли. Обезоруживай офицеров. Лейт. Кузьмин расплакался. А есть у нас капитан II ранга Лялин — тот отец родной. Поехали мы в автомобиле, он говорит: вот адъютанта Саблина — убивайте. Он вам враг, а вот Ден, хоть и фамилия нерусская, друг вам. Вы много сделали. Крови мало пролито. Во Франции сколько крови пролили...

Потом продолжает:

— Сейчас в Думе у меня товарищи просили, чтоб левый депутат удостоверил, что Учр. собрание будет и что верит новому правительству. Я прямо к Керенскому, а он шепотом говорит. Я к Суханову — и тот только рукой машет. Прислали нам Стеклова, стал говорить — и в обморок упал. Уж устал очень.

Поздно ночью — такие, наконец, вести, определенные: Николай подписал отречение на станции Дно в пользу Алексея, регентом Мих. Ал.— Что же теперь будет с законниками? Ведь главное, что сегодня примирило, вероятно, левых и с «именами», это — что решено Учредительное собрание. Что же это будет за Учредительное собрание при учрежденной монархии и регентстве?

3 марта. Пятница

Утром — тишина. Никаких даже листков. Мимо окон толпа рабочих, предшествуемая казаками, с громадным красным знаменем на двух древках: «Да здравствует социалистическая республика». Пенье. Затем все опять тихо.

Наша домашняя демократия грубо, но верно определяет положение: «Рабочие Мих. Ал. не хотят, оттого и манифест не выходит».

Царь, оказывается, отрекся и за себя, и за Алексея («мне тяжело расставаться с сыном») в пользу Михаила Александровича. Когда сегодня днем нам сказали, что новый кабинет на это согласился (и Керенский?), что Михаил будет «пешкой» и т. д.,— мы не очень поверили. Помимо, что это плохо, ибо около Романовых завьется сильная черносотенная партия, подпираемая церковью,— это представляется невозможным при общей ситуации данного момента. Само в себе абсурдным, неосуществимым.

И вышло: с привезенным царским отречением Керенский (с Шульгиным и еще с кем-то) отправился к Михаилу. Говорят, что без очень определенного давления со стороны депутатов (т. е. Керенского), Михаил, подумав, тоже отказался: если должно быть Учредительное собрание,— то оно, мол, и решит форму правления. Это только логично. Тут Керенский опять спас положение: не говоря о том, что весь воздух против династии, Учр. собр. при Михаиле делалось абсурдом; Керенский при Михаиле и с фикцией Учр. собр. автоматически вылетает из кабинета, а рабочие Советов начинали черт знает что.

уже с развязанными руками. Ведь в новое правительство из Совета пошел один Керенский, только — он — к своим вчерашним «врагам», Милюкову и Гучкову. Он один понял, чего требует мгновение, и решил, говорят, мгновенно, на свой страх; пришел в Совет и объявил там о своем вхождении в министерство post factum. Знал при этом, что другие, как Чхеидзе например (туповатый, неприятный человек), решили ни в каком случае в п-во не входить, чтоб оставаться по-своему «чистенькими» и действовать независимо в Совете. Но такова сила верно угаданного момента (и личного полного «доверия» к Керенскому, конечно), что пламенная речь нового министра — и тов. председателя Совета — вызвала бурное одобрение Совета, который сделал ему овацию. Утвердил и одобрил то, на что «позволения» ему не дал бы, вероятно.

Итак, с Мих. Алек. выяснено. Керенский на прощанье крепко пожал вел. князю руку: «Вы благородный человек».

Тотчас поползли вести, что военный министр Гучков и мин. ин. дел Милюков уходят. Это очень, слишком, похоже на правду. Однако оказалось неправдой. Хотела написать «к счастью», да и в самом деле, это было бы новым узлом сейчас, но... я не понимаю, как будут министерствовать Гучков и Милюков, *не чувствуя* себя министрами. Ведь они не «облечены» властью никем, а пока не «облечены» — в свою власть они не верят и никогда не поверят. Это кроме факта, что они не знают, не видят того места и времени, когда и где им суждено действовать, *органически* не понимают, что они — во «время» и в «стихии» РЕВОЛЮЦИИ.

Посмотрим.

Кто о чем, а посольства только о войне. Французам наплевать, что у нас внутри, лишь бы Россия хорошо дралась, и всячески пристают, какие известия с фронта. Их успокоили, что в данный момент положение «утешительное», а на Кавказе даже «блестящее». (Дима же и передавал им нужные справки!)

Французы близоруки. В их же интересах следовало бы им к нашему внутреннему внимательно относиться. В военных интересах. Ведь это безумно связано. Теперь не понимая, они и потом ничего не поймут. Заботятся *сейчас* о кавказском фронте! Как будто это им что-нибудь объяснит и предскажет. О войне надо заботиться *отсюда*.

Много мелких вестей и глупых слухов. Например, слух, что «Вильгельм убит». Постарались! Из правых кругов, сановничьих, Дима много узнавал комического и трагического. Но это в его записи. Уж слишком широк диапазон соприкосновений в нашем доме: от Сухановых, даже от Вань Пугачевых — до посольств и сановников с генералами. Мне не угнаться.

Любопытно, что до сих пор правительство не может напечатать ни одного приказа, не может заявить о своем существовании, ровно ничего не может: все типографии у ком. рабочих, и наборщики ничего не соглашаются печатать без его разрешения. А разрешение не приходит. В чем же дело — неясно. Завтра не выйдет ни одна газета.

Московские пришли: старые, от 28 ф.— точно столетние. А новые — читаешь, и кажется — лучше нельзя, ангелы поют на небесах и никакого Совета раб. депут. не существует.

Сегодня революционеры реквизировали лошадей из цирка Чинизелли и гарцевали воистину «на конях»,— дрессированных. На Невском сламывали отовсюду орлов, очень мирно, дворники подметали, мальчишки крылья таскали, крича: «Вот крылышко на обед».

Боря, однако, кричит: «Какая двоекрылая у нас безголовица!»

Именно.

«Секрет» Протопопова, который он пожелал, придя в Думу арестоваться, открыть «его превосходительству» Керенскому, заключался в списке домов, где были им наставлены пулеметы. Затем он сказал: «Я оставался министром, чтобы сделать революцию. Я сознательно подготовил ее взрыв».

Безумный шут.

Теляковского выпустили. Он напялил громадный красный бант.

Много еще всего... В церкви о сю пору «самодержавнейшего» ... Тоже не «облечены» приказом и ие могут отменить. Впрочем, где-то поп на свой страх, растерявшись, хватил: «Ис-пол-ни-тель-ный ко-ми-тет...»

Господи, Господи! Дай нам разум.

4 марта. Суббота

Утром — ничего, газет нету, вестей нету. Смутные слухи о трениях с Сов. Наконец, как будто выясняется: спор — насчет времени. Учр. с. немедля — или после войны.

Вот вышли «Известия». Ничего, хороший тон. Раб. сов. пока отлично себя держит. Доверие к Керенскому, вошедшему в кабинет, положительно спасает дело.

Даже Д. В., вечный противник Керенского, вечно споривший с ним, сегодня признал: «А. Ф. оказался живым воплощением революционного и государственного пафоса. Обдумывать некогда. Надо действовать по интуиции. И каждый раз у него интуиция гениальна. Напротив, у Милюкова нет интуиции. Его речь — бестактна в той обстановке, в которой он говорил».

Это подлинные слова Д. В., и ведь это только то сознание, к которому должны, обязаны, хоть теперь, прийти все кадеты и кадетствующие. И о сю пору не приходят, и не верю я, что придут. Я их ненавижу от страха (за Россию), совершенно так же, как их действенных антиподов, крайних левых («голых» левых с «голыми» низами).

В Керенском — потенция моста, соединение тех и других и преображения их во что-то единое третье, революционно-творческое (единственно нужное сейчас).

Ведь вот: между ЭВОЛЮЦИОННО-ТВОРЧЕСКИМ и РЕВОЛЮЦИОННО-РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ — *пропасть* в данный момент. И если не будет наводки мостов и не пойдут по мостам обе наши теперешние, слепые, неподвижности, претворяясь друг в друга, создавая третью силу, РЕВОЛЮЦИОННО-ТВОРЧЕСКУЮ,— Россия (да и обе неподвижности) свалится в эту пропасть.

Часа в три лазарет инвалидов, что против нас, высыпал на улицу. Одноногие, калеки, тоже пошли в Думу, и знамя себе устроили красное, и тоже «республика», «земля и воля» и все такое. Мы отворили занесенные сугробами окна (снегу сегодня, снегу намело — небывало!), махали им красным. Стали они красных лент просить, мы им бросили все, что имели, даже красные цветы гвоздики (стояли у меня с первого представления «Зел. кольца»).

Ваня Пугачев каждый день является к нам из Думы (сидит в Сов. р. д.).

Рассуждает: «Дом Романовых достаточно себя показал. Не мужественно Николай себя вел. Ну, мы терпели, как крепостные. Довольно. А только Родзянке народ не доверился. Вот Керенский и Чхеидзе — этим народ поверил, как они ни в чем не замечены. Это дело совсем иное. А войну сразу прекратить немыслимо, Вильгельм брат двоюродный, если он власть возьмет — он иам опять Романова посадит, очень просто. И опять это на триста лет».

Не вижу что-то другого нашего Ваню — Румянцева (солдат-рабочий). И Сережу Глебова. Последний очень иителлигентен.

Какая сегодня опять белоперистая вешняя пурга. И сиянье.

Вышли газеты. За ними — хвосты. Все похожи в смысле «ангелы поют на небесах, и штандарт Времен. пр-ва скачет». Однако трения не ликвидированы. Меньшинство Сов. р. д., но самое энергичное, не позволяет рабочим печатать некоторые газеты и, главное, становиться на работы. А пока заводы не работают — положение не может считаться твердым.

В аполитических низах, у просто «улицы», переходящей в «демократию», общее

настроение: против Романовых (отсюда и против «царя», ибо, к счастью, это у них неразрывно соединено). Потихоньку всплывает вопрос церкви. Ее собственная позиция для меня даже неинтересна, до такой степени заранее могла быть предугадана во всех подробностях. Кое-где на образах — красные банты (в церкви). Кое в каких церквах — «самодержавнейший». А в одной священник объявил притчу: «Ну, братцы, кому башка не дорога — пусть поминает, я не буду». Здесь священник проповедует покорность новому «благоверному правительству» (во имя невмешательства церкви в политику); там — плачет о царе-помазаннике, с благодатью... К такому плачу слушатели относятся разно: где-то плакали вместе с проповедником, а на Лиговке солдаты повели батюшку вон. Не смутился; можете, говорит, убить меня за правду. ...Не убили, конечно.

С жгучим любопытством прислушиваюсь тут к аполитической, уличной, широкой демократии. Одни искренно думают, что «свергли царя» — значит, «свергли и церковь» — «отменено учреждение». Привыкли сплошь соединять вместе, неразрывно. И логично. Хотя говорят «церковь» — но весьма подразумевают «попов», ибо насчет церкви находятся в самом полном, круглом невежестве. (Естественно.) У более безграмотных это более выпукло: «Сама видела, написано: долой монахию. Всех, значит, монахов, по шапке». Или: «А мы нынче нарочно в церковь пошли, слушали-слушали, дьякон бормочет, поминать не смеет, а других слов для служения нет, так и кончили, почитай, без службы...»

Солдат подхватывает:

— Понятное дело. Как пойдут, бывало, частить и старуху и родичей... Глядь — и обедня...

Пока записываю лишь наблюдения, без выводов. Вернусь.

Город еще полон кипеньем. Нынче мимо нас шла двухверстая толпа с пением и флагом — «Да здравствует Совет рабочих депутатов».

6 марта. Понедельник

Устала сегодня, а писать надо много.

Был Н. Д. Соколов, этот вечно здоровый, никаких звезд не хватающий, твердокаменный попович, присяжный поверенный — председательствующий в Сов. раб. депутатов.

Это он с Сухановым-Гиммером там «верховодит», и про него П. М. Макаров (тоже присяж. пов. и вся та же «совместная», лево-интеллигентская группа до революции) только что спрашивал: «До сих пор в красном колпаке? Не порозовел? В первые дни был прямо *кровавый*, нашей крови требовал».

На мой взгляд, или «розовеет» или хочет показать *здесь*, что весьма розов. Смущается своей «кровавостью». Уверяет, что своим присутствием «смягчает» настроение масс. Приводил разные примеры выкручиванья, когда предлагалось броситься или на зверство (моментально ехать расстреливать павловских юнкеров за хранение учебных пулеметов) или на глупость (похороны «жертв» на Дворцовой, мерзлой, площади).

Рассказывал многое — «с того берега», конечно. Уверял, что составлению кабинета «мешали не мы. Мы даже не возражали против лиц. Берите кого хотите. Нам была важна декларация нового правительства. Все ее 8 пунктов даже моей рукой написаны. И мы делали уступки. Например, в одном пункте Милюков просил добавить насчет союзников. Мы согласились, я приписал...»

Распространялся насчет промахов пр-ва и его неистребимого монархизма (Гучков, Милюков).

Странный, в конце концов, факт получился: существование рядом с Временным пр-вом двухтысячной толпы, властного и буйного перманентного митинга — этого Совета раб. и солд. депутатов. Н. Д. Соколов рассказывал мне подробно (полусмущаясь, полуизвиняясь), что он именно в напряженной атмосфере митинга написал *Приказ № 1*

(где, что называется, хвачено). Приказ будто бы необходим был, так как из-за интриг Гучкова армия в период междуцарствия присягнула Михаилу... «Но вы понимаете, в такой бурлящей атмосфере у меня не могло выйти иначе, я думал о солдатах, а не об офицерах, ясно, что именно это у меня и вышло более сильно...» *.

Сей «митинг» столь «властный», что к нему даже Рузский с запросами обращается. Сам себя избравший парламент. Советский исп. ком. иногда соглашается с пр-вом — иногда нет. Выходит, что иногда можно слушаться пр-ва — иногда нет. Они, советские, «стоят на стороне народных интересов», как они говорят, и следят за действиями правительства, которому «не вполне доверяют».

Со своей точки зрения, они, конечно, правы, ибо какие же это «революционные» министры, Гучков и Милюков? Но вообще-то тут коренная нелепость, чреватая всякими возможностями. Если бы только «революционность» митинга-совета восприняла какую-нибудь твердую, но одну линию, что-нибудь оформила и себя ограничила... но беда в том, что ничего этого пока не намечается. И левые интеллигенты, туда всунувшиеся, могут «смягчать», но ничего не вносят твердого и *не* ведут.

Да что они сами-то? Я не говорю о Соколове, но другие, знают ли они, чего хотят и чего не хотят?

Рядом еще чепуха какая-то с Горьким. Окруженный своими, заевшими его, большевиками Гиммерами и Тихоновыми, он принялся почему-то за «эстетство», выбрали они «комитет эстетов» для украшения революции; заседают, привлекли Алекс. Бенуа (который никогда не знает, что он, где он и почему он). Был на эстетном заседании и Макаров, и Батюшков. Но эти — чужаки, а горьковский кружок очень сплочен. Что-то противное, некместное, невременное. Батюшков говорит, что от противности даже не досидел. Беседовал там с большевиками. Они страстно ждут Ленина — недели через две. «Вот бы дотянуть до его приезда, а тогда мы свергнем нынешнее правительство».

Это по словам Батюшкова. Д. В. резюмирует: «Итак, нашу судьбу станет решать Ленин». Что касается меня, то я одинаково вижу обе возможности: путь опоминанья — и путь всезабвенья. Если не

...предрешена судьба от века,—

то каким мы путем пойдем — будет в громадной степени зависеть от нас самих.

Поворота к оформленью, к творчеству, пока еще не видно. Но, может быть, еще рано. Вон, со страстью думают только о «свержениях».

Рабочие до сих пор не стали на работу.

7 марта. Вторник

Мороз 11° сегодня. Исключительная зима. Ни одной оттепели не было.

Положение то же. Или разве подчеркнуто то же. Сов. раб. и с. издают приказы, их только и слушаются.

В Кронштадте и Гельсингфорсе убито до 200 офицеров. Гучков прямо приписывает это Приказу № 1. Адм. Непенин телеграфировал: «Балтийский флот как боевая единица не существует. Пришлите комиссаров».

Поехали депутаты. Когда они выходили с вокзала, а Непенин шел к ним навстречу — ему всадили в спину нож.

Здесь, между «двумя берегами», правительственным и «советским», нет не только координации действий (разве для далекого и грубого взора), но почти нет контакта.

Интеллигенция силой вещей оказалась на ЭТОМ берегу, т. е. на правительственном, кроме нескольких: 1) фанатиков, 2) тщеславцев, 3) бессознательных, 4) природно-

* Мое примечание от 10 сент. 17:

— И вовсе не он даже и писал-то,— говорит Ганфман,— а Кливанский из «Дня». Но этот сразу покаялся и скрывает. Н. Д. же полухвастается, ибо только присутствовал.

ограниченных. В данный момент и все эти разновидности уже не владеют толпой, а она ими владеет. Да, Россией уже правит «митинг» со всей его митинговой психологией, а вовсе не серое, честное, культурное и бессильное (ареволюционное) Вр. пр-во. Пока, впрочем, не Россией, а лишь Петербургом правит; но Россия — неизвестность...

Контакта с вооруженным митингом у нас, интеллигентов правительственной стороны, очень мало и через отдельных интеллигентов-выходцев, ибо они очень охраняют «тот берег».

Есть еще средняя часть, безвластная абсолютно: распыленные эсэры например. Они «туда» лишь вхожи. Большинство из них просто в ужасе, как Ив. Разумник и Мстиславский.

Но такое отсутствие контакта — преступная вещь. Сегодня нам в панике звонил Макаров: дайте знать в Думу, чтоб от Сов. раб. д. послали делегатов в Ораниенбаум, на автомобиле: солдаты громят тамошний дворец и никого не слушают.

Любопытно, что П. М. Макаров теперь правительственное лицо: Керенский сделал его комиссаром по охране дворцов (Н. Н. Львов ушел, не желая проводить коренной реформы в ведомстве двора; что, мол, за революция, лучше просто «беречь гнездо». Хорош. На его место хотят Урусова или Головина Ф. А.). Но хорош и «правительственный» Макаров. Звонит, для контакта с Советом,— нам! Уж, кажется, ни в какой мере не «официальны». Мы бросились к М-х-у, сообщились с Думой через какую-то «комнату» и Тихонова; потом, вечером, Тихонов зашел к нам в переднюю (видела его мельком) сказать, что все было исполнено.

Керенский ездил на днях в Зимний дворец. Взошел на ступени трона (только на ступени!) и объявил всей челяди, что «Дворец отныне национальная собственность», благодарил за сохранность в эти дни. Сделал все это с большим достоинством. Лакеи боялись издевок, угроз; услыхав милостивую благодарность — толпой бросились Керенского провожать, преданно кланяясь. Керенский был с Макаровым (который это и передавал сегодня вечером у нас). Когда они ехали из дворца в открытом автомобиле — им кланялись и прохожие.

Керенский — сейчас единственный ни на одном из «двух берегов», а там, где быть надлежит: с русской революцией. Единственный. Один. Но это страшно, что *один*. Он гениальный интуит, однако не «всеобъемлющая» личность: одному же вообще никому сейчас быть нельзя. А что на верной точке только один — прямо страшно.

Или будут многие и все больше — или и Керенский сковырнется.

Роль и поведение Горького — совершенно фатальны. Да, это милый, нежный готтентот, которому подарили бусы и цилиндр. И все это «эстетное» трио по «устройству революционных празднеств» (похорон?) весьма фатально: Горький, Бенуа и Шаляпин. И в то же время, через Тихоно-Сухановых, Горький опирается на самую слепую часть «митинга».

К «бо-зарам» уже прилепились и всякие проходимцы. Например, Гржебин раскатывает на реквизированных автомобилях, занят по горло, помогает клеить новое, свободное «министерство искусств» (пролетарских, очевидно). Что за чепуха. И как это безобразно-уродливо, прежде всего. В pendant к уродливому копанью могил в центре города, на Дворцовой площади, для «гражданского» там хороненья сборных трупов, держащихся в ожидании,— под видом «жертв революции». Там немало и городовых. Офицеров и вообще настоящих «жертв» (отсюда и оттуда) родственники давно схоронили.

Дворцовую же площадь поковыряли, но, кажется, бросят: трудно ковырять мерзлую, замощенную землю; да еще под ней всякие трубы... остроумно!

В России, по газетам, спокойно. Но и в Петербурге, по газетам, спокойно... И на фронте, по газетам, спокойно. Однако Рузский просит прислать делегатов.

8 марта. Среда

Сегодня как будто легче. С фронта известия разноречивые, но есть и благоприятные. Советские «Известия» не дурного тона. Правда, есть и такие факты: захватным правом эсдеки издали № «Сельского вестника», где объявили о конфискации земли, и сегодня уже есть серьезные слухи об аграрных беспорядках в Новгородской губернии.

В типографии «Копейки» Бонч-Бруевич наставил пулеметов и объявил «осадное положение». Несчастная «Копейка» изнемогает. Да, если в таких условиях будут выходить «Известия», и под Бончем, то добра не жди. Бонч-Бруевич определенный дурак, но притом упрямый и подколодный.

Ораниенбаумский дворец как будто и не горел, как будто это лишь паника Макарова и Карташева.

Бывают моменты дела, когда нельзя смотреть только на количество опасностей (и пристально заниматься их обсуждением). А я, на *этом* берегу,— ни о чем, кроме «опасности революции», не слышу. Неужели я их отрицаю? Но верно ли это, что все (здесь) *только* ими и заняты? Я невольно уступаю, я говорю и о «митинге», и о Тришке-Ленине (о Ленине — это специальность Дмитрия: именно от Ленина он ждет самого худого), о проклятых «социалистах» (Карташев), о фронте и войне (Д. В.), и о каких-то планомерных «четырех опасностях» Ганфмана.

Я говорю — но опасностей столько, что если говорить серьезно обо всех, то уже ни минуты времени ни у кого не останется.

Честное слово, не «заячьим сердцем и огненным любопытством», как Карташев, следила я за революцией. У меня был тяжелый скепсис (он и теперь со мной, только не хочу я его *примата*), а карташевское слово «балет» мне было оскорбительно.

Но зачем эти рассуждения? Они здесь не нужны. Царь арестован. О Нилове и Воейкове умалчивается. Похорон на Дворцовой площади, кажется, не будет. Но где-нибудь да будут. От чего, от чего, а от похорон никогда русский человек не откажется.

9 марта. Четверг

Можно бояться, можно предвидеть, понимать, можно знать — все равно: этих дней наших предвесенних, морозных, белоперистых дней нашей революции, у нас уже никто не отнимет. Радость. И такая... сама по себе радость, огненная, красная и белая. В веках незабвенная. Вот когда можно было себя чувствовать *со всеми*, вот когда... (а не в войне).

У нас «двоевластие». И нелепости Совета с его неумными прокламациями. И «засилие» большевиков. И угрожающий фронт. И... общее легкомыслие. Не от легкомыслия ли не хочу я ужасаться всем этим до темноты?

Но ведь я все вижу.

Время старое — я не забываю. Время страшное, я не забываю. И все-таки надо же хоть немного верить в Россию. Неужели она никогда не нащупает *меры*, не узнает своих времен?

Бог спасет Россию.

Николай был дан ей мудро, чтобы она проснулась.

Какая роковая у него судьба. *Был* ли он?

Он молчаливо, как всегда, проехал тенью в Царскосельский дворец, где его и заперли.

Вернется ли к нам цезаризм, самодержавие, державие?

Не знаю; все конвульсии и петли возможны в истории. Но это всего лишь конвульсии, лишь петли, которым заворачивается единый исторический путь.

Россия освобождена — но не очищена. Она уже не в муках родов — но она еще очень, очень больна. Опасно больна, не будем обманываться, разве этого я хочу? Но первый крик младенца *всегда радость*, хотя бы и знали, что еще могут погибнуть и мать и дитя.

. . . .

В самом советском комитете уже начались нелады. Бонч безумствует, окруженный пулеметами. Грозил Тихонову арестом. В то же время рекомендует своего брата, генерала «контрразведки», «вместо Рузского». Кого-то из членов комитета уже изобличили в провокаторстве, что тщательно скрывают.

Незавидное прошлое притершегося к большевикам Гржебина никого не интересует: напрасно...

Звонил французский посол Палеолог: «ничего не понимает» и требует «влиятельных общественных деятелей» для информации. Тоже хорош. Четыре года тут сидит и даже никого не знает. Теперь поздно спохватился. Думает (Д. В.), что к нему не пойдут — некогда. Подчас Вр. правительство действует молниеносно (Керенский, толчки Сов. р. д.). Амнистия, отмена смертной казни, временные суды, всеобщее уравнение прав, смена старого персонала — порою кажется, что история идет с быстротой обезумевшего аэроплана.

Но вот... я подхожу к самому главному, чего доселе почти намеренно не касалась. Подхожу к самому сейчас острому вопросу — *вопросу* о *войне.*

Длить умолчаний дольше нельзя. Завтра в Совете он, кажется, будет обсуждаться решительно. В Совете? А в правительстве? Оно будет молчать.

Вопрос о войне должен, и немедля, найти свою дорогу.

Для меня, просто для моего человеческого здравого смысла, эта дорога ясна.

Это лишь продолжение той самой линии, на которой я стояла с начала войны. И, насколько я помню и понимаю,— Керенский. (Но знать — еще ничто. Надо осуществлять знаемое. Керенский теперь — при возможности осуществления знаемого. Осуществит ли? Ведь он — один.)

Для памяти, для себя, обозначу, хоть кратко, эту *сегодняшнюю* линию «о войне». Вот: я ЗА войну. То есть: за ее наискорейший и достойный КОНЕЦ.

Долой побединство! Война должна изменить свой лик. Война должна теперь стать действительно войной за свободу. Мы будем защищать *нашу* Россию от Вильгельма, пока он идет на нее, как защищали бы от Романова, если бы шел он.

Война, как таковая,— горькое наследие, но именно потому, что мы так рабски приняли ее и так долго сидели в рабах,— мы виноваты в войне. И теперь надо принять ее как свой же грех, поднять ее как подвиг искупленья и с непрежней, новой силой донести до настоящего конца.

Ей не будет настоящего конца, если мы *сейчас* отвернемся от нее. Мы отвернемся — она застигнет и задавит.

Безумным и преступным ребячеством звучат эти корявые прокламации: «...немедленное прекращение кровавой бойни...» Что это? «Глупость или измена?» — как спрашивал когда-то Милюков (о другом). Прекратите, пожалуйста, немедля. Не убивайте немцев — пусть они нас убивают. Но не будет ли именно тогда — «бойня»? Прекратить «по соглашению»? Согласитесь, пожалуйста, с немцами немедля. Ведь они-то — не согласятся. Да, в этом «немедля» только и может быть: или извращенное толстовство, или неприкрытое преступление.

Но вот что нужно и можно «немедля». Нужно не медля ни дня объявить, именно от нового русского, *нашего* правительства, русское новое военное «во имя». Конкретно: необходима абсолютно ясная и совершенно твердая декларация насчет наших целей войны. Декларация, прежде всего чуждая всякому *побединству.* Союзники *не смогут* против нее протестовать (если бы втайне и хотели), особенно если хоть немного взглянут в нашу сторону и учтут наши «опасности» (им же грозящие).

Наши времена сократились. И наши «опасности» неслыханно все возрастают, если теперь, после революции, мы будем тянуть в войне ту же политику, совершенно ту же самую, форменно, как при царе. Да мы не будем — так как это *невозможно*; это

само все равно провалится. Значит — изменить ее нужно...

Может быть, то, что я пишу,— слишком обще, грубо и наивно. Но ведь я не министр иностранных дел. Я намечаю сегодняшнюю схему действий — и, вопреки всем политикам мира, буду утверждать, что сию минуту, для нас, для войны, она верна. Осуществима? Нет?

Даже если не осуществима. Долг Керенского — пытаться ее осуществить.

Он один. Какое несчастие. Ему надо *действовать обеими руками (одной — за мир, другой — за утверждение защитной силы)*. Но левая рука его схвачена «глупцами или изменниками», а правую крепко держит Милюков с «победным концом». (Ведь Милюков — министр иностранных дел.)

Если будет крах... не хочу, не время судить, да и не все ли равно, кто виноват, когда уже будет крах! Но как тяжело, если он все-таки придет и если из-за него выглянут не только глупые и изменнические рожи, но лица людей честных, искренних и слепых; если еще раз выглянет лик думского «блока» беспомощной гримасой.

Но молчу. Молчу.

10 марта. Пятница

А дворец-то Ораниенбаумский все-таки сгорел или горел... Хотя верного опять ничего.

Ал. Бенуа сидел у нас весь день. Повествовал о своей эпопее министерства «бо-заров» с Горьким, Шаляпиным и — Гржебиным.

Тут все чепуха. Тут и Макаров, и Головин, и вдруг, случайно,— какой-то подозрительный Неклюдов, потом споры, кому быть министром этого нового грядущего министерства, потом стычка Львова с Керенским, потом, тут же, о поощрении со стороны Сов. раб. деп., перманентное заседание художников у Неклюдова (?), потом мысль Д. В., что нет ли тут закулисной борьбы между Керенским и Горьким... Дмитрий вдруг вопит: «Выжечь весь этот эстетизм!» — и, наконец, мы перестаем понимать что бы то ни было... глядим друг на друга, изумившись, раз навсегда, точно открыли, что «все это — капитан Копейкин».

Надо еще знать, что мы только что три часа говорили с другими о совсем других делах, а в промежутках я бегала в заднюю комнату, где меня ждали два офицера (два бывших студента из моих воскресников), слушать довольно печальные вести о положении офицеров и о том, как солдаты понимают «свободу».

В полку Ястребова было 1600 солдат, потом 300, а вчера уже только 30. Остальные «свободные граждане» — где? Шатаются и грабят лавки как будто.

«Рабочая газета» (меньшевистская) очень разумна, советские «Известия» весьма приглажены и — не идут, по слухам: раскупается большевистская «Правда».

Все «44 опасности» продолжают существовать. Многие, боюсь, неизбежны.

Вот рядом поникшая церковь. Жалкое послание синода, подписанное «8-ю смиренными» (первый «смиренный» — Владимир). Покоряйтеся, мол, чада, ибо «всякая власть от Бога»...

(Интересно, когда, по их мнению, лишился министр Протопопов «духа свята», до ареста в павильоне или уже в павильоне?)

Бульварные газеты полны царских сплетен. Нашли и вырыли Гришку — в лесу у Царского парка, под алтарем строющейся церкви. Отрыли, осмотрели, вывезли, автомобиль застрял в ухабах где-то на далеком пустыре. Гришку выгрузили, стали жечь. Жгли долго, остатки разбросали повсюду, что сгорело дотла — рассеяли.

Психологически понятно, однако что-то здесь по-русски грязное.

Воейков в Думе, в павильоне. Не унывает, анекдоты рассказывает.

«Русская воля» распоясалась весьма неприлично-рекламно. Надела такой пышный красный бант — что любо-дорого. А следовало бы ей помнить, что «из сказки слова

не выкинешь», и никто не забудет, что она — «основана знаменитым Протопоповым».

11 марта. Суббота

Надо изменить стиль моей записи. Без рассуждений, поголее факты. Да вот, не умею я. И так трудно, записывая тут же, а не после, отделять факты важные от не важных. Что делать! Это дневник, а не мемуары, и свои преимущества дневник имеет, не для любителей «легкого чтения» только. А для внимательного человека, не боящегося монотонностей и мелочей.

С трех часов у нас заседание совета Религиозно-фил. о-ва. Хотим составить «записку» для правительства, оформить наши пожелания и указать пути к полному отделению церкви от государства.

Когда все ушли — пришел В. Зензинов. Он весь на розовой воде (такой уж человек). Находит, что со всех сторон «все улаживается». Влияние большевиков будто бы падает. Горький и Соколов среди рабочих никакого влияния не имеют. Насчет фронта и немцев — говорит, что Керенский был вчера в большой мрачности, но сегодня гораздо лучше.

Уверяет, что Керенский — фактический «премьер». (Если так — очень хорошо.)

Вечером — Сытин. Опять сложная история. Роман Сытина с Горьким опять подогрелся, очевидно. Какая-то газета с Горьким, и Сытин уверяет, что «и Суханов раскаивается и они будут за войну, но я им не верю». Мы всячески остерегали Сытина, информировали, как могли.

И к чему кипим мы во всем этом с такой глупой самоотверженностью? Самим нам негде своего слова сказать, «партийность» газетная теперь особенно расцветает, а туда «свободных» граждан не пускают. Внепартийная же наша печать вся такова, что в нее, особенно в данное время, мы сами не пойдем. Вся вроде «Русской воли» с ее красным бантом.

Писателям писать негде. Но мы примиряемся с ролью «тайных советников» и весьма самоотверженно ее исполняем. Сегодня я серьезно потребовала у Сытина, чтобы он поддержал газету Зензинова, а не Горького, ибо за Зензиновым стоит Керенский.

Горький слаб и малосознателен. В лапах людей — «с задачами», для которых они хотят его «использовать».

Как политическая фигура — он ничто.

12 марта. Воскресенье

С утра, одновременно, самые несовместимые люди. Рассадили их по разным комнатам (иных уже просто отправили).

Сытин, едва войдя,— ко мне: «Вы правы...» Говорил с горькистами и заслышал большевистскую дуду. Полагаю, впрочем, что они его там всячески замасливали и Гиммер ему пел «раскаянье», ибо у Сытина все в голове перепуталось.

Тут, кстати, под окнами у нас стотысячная процессия с лимонно-голубыми знаменами: украинцы. И весьма выразительные надписи: «федеративная республика» и «самостийность».

Сытин потрясался и боялся, тем более что от хитрости способен самого себя перехитрить. Газету Керенского клянется поддержать (идет к нему завтра сам) и в то же время проговорился, что и газету Гиммер—Горький не оставит; подозреваю, что на сотню-другую тысяч уж ангажировался. (Даст ли куда-нибудь — еще вопрос.)

А я — из одной комнаты — в другую, к И. Г. (не нравится он мне и данная позиция кадетов не нравится: чисто внешнее, неискреннее, *приспособление* к революции, в виде объявления себя партией «народной свободы», республиканцами, а не конституционалистами. Ничего при этом не понимают, о войне говорят абсолютно *старым* голосом, как будто ничего не случилось).

Ранним вечером явились В., Г., Карташев, М. и др.— все с этой «запиской» к Вр. правительству насчет церковных дел.

Могу ли я еще что-нибудь? Просто ложусь спать.

13 марта. Понедельник

Отречение Михаила Ал. произошло на Миллионной, 12, в квартире, куда он попал случайно, не найдя ночлега в Петербурге. Приехал поздно из Царского и бродил пешком по улицам. В Царское же он тогда поехал с миссией от Родзянки, повидать Алекс. Федоровну. До царицы не добрался, уже высаживали из автомобилей. Из кабинета Родзянки он и говорил прямым проводом с Алексеевым. Но все было уже поздно.

14 марта. Вторник

Часов около шести нынче приехал Керенский. Мы с ним все неудержимо расцеловались.

Он, конечно, немного сумасшедший. Но пафотически-бодрый. Просил Дмитрия написать брошюру о декабристах (Сытин обещает распространить ее в миллионе экземпляров), чтобы, напомнив о первых революционерах-*офицерах*,— смягчить трения в войсках.

Дмитрий, конечно, и туда и сюда: «Я не могу, мне трудно, я теперь как раз пишу роман «Декабристы», тут нужно совсем другое...»

— Нет, нет, пожалуйста, вам З. Н. поможет. Дмитрий согласился, в конце концов.

Керенский — тот же Керенский, что кашлял у нас в углу, запускал попавшийся под руку случайный детский волчок с моего стола (во время какого-то интеллигентского собрания. И так запустил, что доселе половины волчка нету, где-нибудь под книжными шкафами или архивными ящиками). Тот же Керенский, который говорил речь за моим стулом в религ.-филос. собрании, где дальше, за ним, стоял во весь рост Николай II, а я, в маленьком ручном зеркале, сблизив два лица, смотрела на них. До сих пор они остались у меня в зрительной памяти — рядом. Лицо Керенского — узкое, бледно-белое, с узкими глазами, с ребячески-оттопыренной верхней губой, странное, подвижное, все — живое, чем-то напоминающее лицо Пьеро. Лицо Николая — спокойное, незначительно-приятное (и, видно, очень схожее). Добрые... или нет, какие-то «молчащие» глаза. Этот офицер — точно отсутствовал. Страшно *был* — и все-таки страшно *не был*. Непередаваемое впечатление (и тогда) от сближенности обоих лиц. Торчащие кверху, короткие, волосы Пьеро-Керенского — и реденькие, гладенько-причесанные волосики приятного офицера. Крамольник — и царь. Пьеро — и «charmeur». С.-р. под наблюдением охранки — и его величество император Божьей милостью.

Сколько месяцев прошло? Крамольник — министр, царь под арестом, под охраной этого же крамольника. Я читала самые волшебные страницы самой интересной книги — Истории; и для меня, современницы, эти страницы иллюстрированы. Charmeur, бедный, как смотрят теперь твои голубые глаза? Верно, с тем же спокойствием Небытия.

Но я совсем отошла в сторону — в незабываемое впечатление аккорда двух лиц — Керенского и Николая II. Аккорда такого диссонирующего — и пленительного, и странного.

Возвращаюсь. Итак, сегодня — это все тот же Керенский. Тот же... и чем-то неуловимо уже *другой*. Он в черной тужурке (министр-товарищ), как никогда не ходил раньше. Раньше он даже был «элегантен», без всякого внешнего «демократизма». Он спешит, как всегда, сердится, как всегда... Честное слово, я не могу поймать в словах его перемену, и, однако, она уже *есть*. Она чувствуется.

Бранясь «налево», Керенский о группе Горького сказал (чуть-чуть «свысока»), что очень рад, если будет «грамотная» большевистская газета, она будет полемизировать с «Правдой», бороться с ней в известном смысле. А Горький с Сухановым будто бы те-

перь эту борьбу и ставят себе задачей. «Вообще, ведут себя теперь хорошо».

Мы не возражали, спросили о «дозорщиках». Керенский резко сказал:

— Им предлагали войти в кабинет, они отказались. А теперь не терпится. Постепенно они перейдут к работе и просто станут правительственными комиссарами.

Относительно смен старого персонала уверяет, что у синодального Львова есть «пафос шуганья» (не похоже), наиболее трусливые Милюков и Шульгин (похоже).

Бранил Соколова.

Дима спросил: «А вы знаете, что Приказ № 1 даже его рукой и написан?»

Керенский закипел.

— Это уже не большевизм, а глупизм. Я бы на месте Соколова молчал. Если об этом узнают, ему не поздоровится.

Бегал по комнате, вдруг заторопился:

— Ну, мне пора... Ведь я у вас «инкогнито»...

Непоседливый, как и без «инкогнито»,— исчез. Да, прежний Керенский и — на какую-то линийку — не прежний.

Быть может, он на одну линийку *более* уверен в себе и во всем происходящем — *неужели нужно*?

Не знаю. Определить не могу.

На улице сегодня оттепель, раскисло, расчернело, темно. С музыкой и красными флагами идут мимо нас войска, войска...

А хорошо, что революция была вся в зимнем солнце, в «белоперистости вешних пург».

Такой белоперистый день — 1 марта, среда, высшая точка революционного пафоса. И не весь день, а только до начала вечера.

Есть всегда такой вечный миг — он где-то перед самым «достижением» или тотчас после него — где-то около.

15 марта. Среда

Нынче с утра «земпоп» Аггеев. Бодр и всячески действен. Теперь уж нечего ему бояться двух заветных букв: е. н. (епархиальное начальство). От нас прямо помчал к Львову. А к нам явился из Думы.

Говорил, что Львов делает глупости, а петербургское духовенство и того хуже. Вздумало *выбирать* митрополита.

Аггеев вкусно живет и вкусно хлопочет.

Вечером был Руманов, новые еще какие-то планы Сытина, и ничему я ровно не верю.

Этот тип — Сытин — очень художественный, но не моего романа. И, главное, ничему я от Сытина не верю. Русский «делец»: душа да душа, а слова — никакого.

16 марта. Четверг

Каждый день мимо нас полки с музыкой. Третьего дня Павловский; вчера стрелки, сегодня — что-то много. Надписи на флагах (кроме, конечно, «республики») — «война до победы», «товарищи, делайте снаряды», «берегите завоеванную свободу».

Все это близко от настоящего, верного пути. И близко от него «декларация» Сов. раб. и с. депутатов о войне — «К народам всего мира». Очень хорошо, что Сов. р. д. по поводу войны, наконец, высказался. Очень нехорошо, что молчит Вр. пр-во. Ему надо бы тут перескакать Совет, а оно молчит, и дни идут, и даже неизвестно, что и когда оно скажет. Непростительная ошибка. Теперь если и надумают что-нибудь, все будет с запозданием, в хвосте.

«К народам всего мира» — не плохо, несмотря на некоторые места, которые можно истолковать как «подозрительные», и на корявый, чисто эсдечный, не русский язык кое-где. Но сущность мне близка, сущность, в конце концов, приближается к знаменитому

заявлению Вильсона. Эти «без аннексий и контрибуций» и есть ведь его «мир без победы». Общий тон отнюдь *не* «долой войну» немедленно, а, напротив, «защищать свободу своей земли до последней капли крови». Лозунг «долой Вильгельма» очень... как бы сказать, «симпатичен» и понятен, только грешит наивностью.

Да, теперь все другим пахнет. Надо, чтобы война стала совсем другой.

17 марта. Пятница

Синодский обер-прокурор Львов настоятельно зовет к себе в «товарищи» Карташева. (Это не без выдумки и хлопот Аггеева, очевидно.)

Карташев, конечно, пришел к нам. Много об этом говорили. Я думаю, что он пойдет. Но я думаю тоже, что ему не следует идти. Благодаря нашим глухим несогласиям со времени войны — я своего мнения отрицательного к его данному шагу почти не высказывала, т. е., высказав,— намеренно на нем не настаивала. Пусть делает, как хочет. Однако я убеждена, что это *со всех сторон* шаг ложный.

Карташев, бывший церковник, за последние десять лет, перелив, так сказать, свою религиозность и церковность, внутренно, за края церкви «*православной*»,— отошел от последней и жизненно. Из профессоров Духовной академии сделался профессором светским. Порывание жизненной этой связи было у него соединено с отрывом внутренним, оба отрыва являлись действием согласным и оба стоили ему не дешево. Надо при этом знать, что Карташев — человек типа «пророческого», в широком, именно религиозном смысле и в очень современном духе. В нем громадная, своеобразная сила. Но рядом, как-то сбоку, у него выросло увлечение вопросами чисто общественными, государственными, политикой... в которой он, в сущности, дитя. Трудно объяснить всю внутреннюю сложность этого характера, но свое «двоение» он часто и сам признает.

Теперь, вступая в контакт с «государственной» стороной церкви, в контакт жизненный с учреждением, с которым этот контакт порвал, когда порвал внутренний,— он делает это во имя чего? Что изменилось? Когда?

Наблюдая, слушая, вижу: он смотрит сам на это странно; вот этой своей приставной стороной: смотрит «узкополитически» «послужить государству» — и точка. Но ведь он, и перелившись за православные края, относится к церкви *религиозно?* Ведь она для него не «министерство юстиции»? И он зряч к церкви; он знает, что сейчас внутренней пользы церкви, в смысле ее движения, принести нельзя. Значит, урегулировать просто ее отношения с новым государством? Но на это именно Карташев не нужен. Нужен: или искренний, простой церковник, честный, вроде Е. Трубецкого, или, напротив, такой же прямой — дельный и простой — политик — не Львов, Львов — дурак. И то, если б стать обер-прокурором... «Товарищем» же Львову, человеком такой самобытной и громадной ценности, притом столь мучительной и яркой сложности, как Карташев,— это со всех сторон затмение, самоизничтожение. Даже грубо смотря — жалко: он худ, остр, тонок, истеричен, проникновенно-умен, порывист — и сдержан, вибрирует, как струна, слаб здоровьем; нервно-работоспособен; при неистовой его добросовестности погрязнет дотла в государственно-синодально-поповских делах и делишках.

И *во всяком случае* будет потерян для своего, для глубины, для *своей* сущности. (Прибавлю, что «политика» его — кадетирующая, военная, национальная.)

Львов уже возил его в синод, знакомя с делами. Карташев встретил там жену Тернавцева: «красивый брюнет» — арестован.

Опять полки с музыкой и со знаменами «ярче роз».

Сегодня был напечатан мой крамольный «Петербург», написанный 14 дек. 14 года.

И в белоперистости вешних пург
Восстанет он...

Страшно. Так и восстал.

18 марта. Суббота

Не дают работать, целый день колесо А., М., Ч., потом опять Карташев, Т., Аггеев... И все — *не* приятно.

Карташев, конечно, пошел в «товарищи» Львова — как его вкусно, сдобно, мягко и безапелляционно насаживал на это Аггеев!

Ничего не могу сказать об этом, кроме того, что уже сказала.

В лучшем случае у Карташева пропадет время, в худшем — он сам для настоящего религиозного делания.

М. мне очень жаль. Столько в нем хорошего, верного, настоящего — и бессильного. Не совсем понимаю его сегодняшнее настроение, унылое, с «охлократическим» страхом. М. точно болен душой — как болен телом.

Газеты почти все — панические. И так чрезмерно говорят за войну (без нового голоса, главное), что вредно действуют.

Долбят «демократию», как глупые дятлы. Та, пока что, обещает (кроме «Правды», да и «Правда» завертелась) — а они долбят.

Особенно неистов Мзура из «Веч. времени». Как бы об этом Мзуре чего в охранке не оказалось... Я все время жду.

Нет, верные вещи надо уметь верно сказать, притом чисто и «власть имеюще». А правительство (Керенский) — молчит.

19 марта. Воскресенье

Весенний день, не оттепель — а дружное таяние снегов. Часа два сидели на открытом окне и смотрели на тысячные процессии.

Сначала шли «женщины». Несметное количество; шествие невиданное (никогда в истории, думаю). Три, очень красиво, ехали на конях. Вера Фигнер — в открытом автомобиле. Женская и цепь вокруг. На углу образовался затор, ибо шли по Потемкинской войска. Женщины кричали войскам — «ура».

Буду очень рада, если «женский» вопрос разрешится просто и радикально, как «еврейский» (и тем падет). Ибо он весьма противен. Женщины, специализировавшиеся на этом вопросе, плохо доказывают свое «человечество». Перовская, та же Вера Фигнер (да и мало ли) занимались не «женскими», а общечеловеческими вопросами, наравне с людьми, и просто были наравне с людьми. Точно можно, у кого-то попросив,— *получить* «равенство»! Нелепее, чем просить у царя «революцию» и ждать, что он ее даст из рук в руки, готовенькую. Нет, женщинам, чтобы равными быть,— нужно равными становиться. Другое дело внешне облегчить процесс *становления* (если он действительно возможен). Это — могут женщинам дать мужчины, и я, конечно, за это дарование. Но процесс будет долог. Долго еще женщины, получив «права», не будут понимать, какие они с ними получили «обязанности». Поразительно, что женщины, в большинстве, понимают «право», но что такое «обязанность»... не понимают.

Когда у нас поднимался вопрос «польский» и т. п. (а вопросы в разрезе национальностей проще и целомудреннее «полового» разреза) — не ясно ли было, что думать следует о *«вопросе русском»*, остальные разрешатся сами — не? «Приложится». Так и «женские права».

Если бы заботу и силы, отданные «женской» свободе, женщины приложили бы к общечеловеческой — они свою имели бы попутно и не получили бы от мужчин, а завоевали бы *рядом* с ними.

Всякое специальное — «женское» движение возбуждает в мужчинах чувства, весьма далекие именно от «равенства». Так, один самый обыкновенный человек — мужчина,— стоя сегодня у окна, умилялся: «И ведь хорошенькие какие есть!». Уж, конечно, он за всяческие всем права и свободы. Однако на «женское шествие» — совсем другая реакция.

Вам это приятно, амазонки?

После «баб» и «дам» — шли опять неисчислимые полки.

Мы с Дмитрием уехали в Союз писателей, вернулись — они все идут.

В Союзе этом — какая старая гвардия! И где они прятались? Не выписываю имен, ибо — все, и все те же, до Марьи Валентиновны Ватсон, с ее качающейся головой.

О «целях» возрождающегося Союза не могли договориться. «Цели» вдруг куда-то исчезли. Прежде надо было «протестовать», можно было как-то выражать стремление к свободе слова, еще к какой-нибудь,— а тут хлоп! Все свободы даны, хоть отбавляй. Что же делать?

Пока решили все «отложить», даже выбор совета.

Вечером были у Х. Много любопытного узнали о вчерашнем заседании Совета раб. депутатов.

Богданов (группа Суханова) торжественно провалился со своим предложением реорганизовать Совет.

Предложение самое разумное, но руководители толпы не учли, что, потакая толпе, они попадают к ней в лапы. Речь свою Богданов засладил мармеладом и тут: вы, мол, нам нужны, вы создали революцию... и т. д. И лишь потом пошли всякие «но» и предложения всех переизбрать. (Указывал, что их более тысячи, что это даже неудобно...)

«Лейб-компанейцы» отнюдь этого не желают. Вот еще! Вершили дела всего российского государства и вдруг возвращайся в ряды простых рабочих и солдат.

Прямо заявили: вы же говорили только что, что мы нужны? Так мы расходиться не желаем.

Заседание было бурное. Богданов стучал по пюпитру, кричал: «Я вас не боюсь!» Однако должен был взять свой проект обратно. Кажется, вожаки смущены. Не знают, как и поправить дело. Опасаются, что Совет потребует перевыборов комитета, и все эти якобы властвующие будут забаллотированы.

Зала заседания — непривлекательна. Публику пускают лишь на хоры, где сидят и «караульные» солдаты. Сидят в нижнем белье, чай пьют, курят. В залах везде такая грязь, что противно смотреть.

Газета Горького будет называться «Новая жизнь» (прямо по стопам «великого» Ленина в 1905/6 году). Так как редакция *против войны* (ага, безумцы! Это теперь-то!), а высказывать это ввиду общего настроения будто бы невозможно (врут, а не врут — так в «настроение» вцепятся, его будут разъедать!), то газета будто бы этого вопроса вовсе не станет касаться (еще милее! О «бо-зарах» начнут писать? Какое вранье!).

Сытин, конечно, исчез. Это меня «не радует — не ранит», ибо я привыкла ему не верить.

22 марта. Среда

Солдаты буйствовали в Петропавловске, ворвались к заключенным министрам, выбросили у них подушки и одеяла. Тревожно и в Царском. Керенский сам ездил туда арестовывать Вырубову — спасая ее от возможного самосуда?

Но вот нечто хуже: у нас прорыв на Стоходе. Тяжелые потери. Общее отношение к этому — еще не разобрать. А ведь это начинается экзамен революции.

Еще хуже: правительство о войне молчит.

Сытин, на днях, по-сытински цинично и по-мужицки вкусно, толковал нам, что никогда вятский мужик на фронте не усидит, коли прослышал, что дома будут делить «землю». Улыбаясь, суживая глаза, успокаивал: «Ну, что же, у нас есть Волга, Сибирь... эка если Питер возьмут!»

Сегодня был А. Блок. С фронта приехал (он там в Земсоюзе, что ли). Говорит,

там тускло. Радости революционной не ощущается. Будни войны невыносимы. (В начале-то на войну как на «праздник» смотрел, прямо ужасал меня: «Весело»! Абсолютно ни в чем он никогда не отдает себе отчета, не может. Хочет ли?) Сейчас растерян. Спрашивает беспомощно: «Что же мне теперь делать, чтобы послужить демократии?»

Союзные посольства в тревоге: и Стоход — и фабрики до сих пор не работают.

Лучше бы подумали, что нет декларации правительственной до сих пор. И боюсь, что пр-во терроризировано союзниками в этом отношении. О, Господи! Не понимают они, на свою голову, нашего момента.

Потому что не понимают нас. Не взглянули вовремя со вниманием. Что — теперь!

25 марта. Суббота

Пропускаю дни.

Правительство о войне (о целях войны) — молчит.

А Милюков, на днях, всем корреспондентам заявил опять, *прежним голосом*, что России нужны проливы и Константинополь. «Правдисты» естественно взбесились. Я и секунды не останавливаюсь на том, что нужны ли эти чертовы проливы нам или не нужны. Если они во сто раз нужнее, чем это кажется Милюкову,— во сто раз непростимее его фатальная *бестактность*. Почти хочется разорвать на себе одежды. Роковое непонимание момента, на свою же голову! (и хоть бы только на свою).

Керенский должен был официально заявить, что «это личное мнение Милюкова, а не пр-ва». То же заявил и Некрасов. Очень красиво, нечего сказать. Хорошая дорога к «укреплению» пр-ва, к поднятию «престижа власти». А декларации нет, как нет.

В четверг Х. говорил, что Сов. раб. деп. требует Милюкова к ответу (источник прямой — Суханов).

Вчера поздно, когда все уже спали и я сидела одна,— звонок телефона. Подхожу — Керенский. Просит: «Нельзя ли, чтобы кто-нибудь из вас пришел завтра утром ко мне в министерство... Вы, З. Н., я знаю, встаете поздно...» — «А Дм. Вл. болен, я попрошу Дм. Серг-ча прийти, непременно...» — подхватываю я. Он объясняет, как пройти...

И сегодня утром Дмитрий туда отправился. Не так давно Дмитрий поместил в «Дне» статью под заглавием «14 марта». «Речь» ее отвергла, ибо статья была тона примирительного и во многом утверждала декларацию Советов о войне. Несмотря на то, что Дмитрий в статье стоял ясно на правительственном, а не на советском берегу и строго это подчеркивал,— «Речь» не могла вместить; она круглый враг всего, что касается революции. Даже не судит — отвергает без суда. Позиция непримиримая (и слепая). Если б она хоть была всегда скрытая, а то прорывается, и в самые неподходящие моменты.

Но Дмитрий в статье указывал, однако, что должно правительство высказаться.

К сожалению, Дмитрий вернулся от Керенского какой-то растерянный, и без толку, путем ничего не рассказал. Говорит, что Керенский в смятении, с умом за разумом, согласен, что правительственная декларация необходима. Однако не согласен с манифестом 14 марта, ибо там есть предавание западной демократии. (Там есть кое-что похуже, но кто мешает взять только хорошее?) Что декларация пр-вом теперь вырабатывается, но что она вряд ли понравится «дозорщикам» и что, пожалуй, всему пр-ву придется (поэтому??..). О Совете говорил, что это «кучка фанатиков», а вовсе не вся Россия, что нет «двоевластия» и пр-во одно. Тем не менее тут же весьма волновался по поводу этой «кучки» и уверял, что они делают серьезный нажим в смысле мира сепаратного.

Дмитрий, конечно, сел на своего «грядущего» Ленина, принялся им Керенского вовсю пугать; говорит, что и Керенский от Ленина тоже в панике, бегал по кабинету (там сидел и глухарь-Водовозов), хватался за виски: «Нет, нет, мне придется уйти».

Рассказ бестолковый, но, кажется, и свидание было бестолковое. Хотя я все-таки очень жалею, что не пошла с Дмитрием.

Макаров сегодня жаловался, что этот «тупица» Скобелев с наглостью требует Зимнего дворца под Совет рабочих и солдатских депутатов. Да, действительно!

Нет покоя, все думаю, какая возможна бы мудрая, новая, крепкая и достойная декларация пр-ва о войне, обезоруживающая всякие Советы,— и честная. Возможна?

Америка (выступавшая против Германии) мне продолжает нравиться. Нет, Вильсон не идеалист. Достойное и реально-историческое поведение. Очень последовательное. Современно-сознательное. Во времени и в пространстве, что называется.

Были похороны «жертв» на Марсовом поле. День выдался грязный, мокрый, черноватый. Лужи блестели. Лавки заперты, трамваев нет, «два миллиона» (как говорили) народу, и в порядке, никакой Ходынки не случилось.

Я (вечером, на кухне, осторожно). Ну, что же там было? И как же так, схоронили, со святыми упокой, вечной памяти даже не спели, зарыли — готово?

Ваня Румянцев (не Пугачев, а солдат с завода, щупленький). Почему вы так думаете, Зинаида Николаевна? От каждого полка был хор, и спели все, и помолились как лучше не надо, по-товарищески. А что самосильно, что попов не было, так на что их? Теперь эта сторона взяла, так они готовы идти, даже стремились. А другая бы взяла, они этих самых жертв на виселицу пошли бы провожать. Нет уж, не надо...

И я молчу, не нахожу возраженья, думаю о том, что ведь и Толстого они не пошли провожать, и не только не «стремились», а даже молиться о нем не молились... начальство запретило. Тот же Аггеев, из страха перед «е. н.», как он сам признался, даже на толстовское заседание Рел.-фил. о-ва *не пошел*. (После смерти Толстого.) Я никого не виню, я лишь отмечаю.

А Гришку Питирим соборно отпел и под алтарем погреб.

Безнадежно глубоко (хотя фатально-несознательно) воспринял народ связь православия и самодержавия.

Карташев пропал на целую неделю. Весь в бумагах и мелких консисторских делишках. Да и что можно тут сделать, даже если бы был не тупой и упрямый Львов? Как жаль! То есть как жаль, во всех отношениях, что Карт. туда пошел.

5 апреля. Среда

Вот как долго я здесь не писала.

Даже не знаю, что записано, что нет. А в субботу, 8-го, мы уезжаем опять в Кисловодск. (Возьму книгу с собой.) Теперь очень трудно ехать. И не хочется (надо). В субботу же, через час после нашего отъезда, должны приехать (едут через Англию и Швецию) — наши давние друзья-эмигранты, Ел. Х., Борис Савинков (Ропшин). Когда-нибудь я напишу десятилетнюю историю наших глубоких с ними отношений. Ел. и Борис люди поразительно разные. Я обоих люблю — и совершенно по-разному. Зная их жизнь в эмиграции, непрерывно (т. е. с перерывами нашего пребывания в России) общаясь с ними за последние десять лет — я жгуче интересуюсь теперь их ролью в революционной России. Борис в начале войны часто писал мне, но сношения так были затруднены, что я почти не могла отвечать.

Они оба так любопытны, что, повторяю, здесь говорить о них между прочим — не стоит. Тремя словами только обозначу главную внутреннюю сущность каждого: Ел.— светлый, раскрытый, общественный (коллективный) человек. Борис Савинков — сильный, сжатый, властный индивидуалист. Личник. (Оба, в своем, часто крайние.) У первого доминируют чувства, у второго — ум. У первого — центробежность, у второго — центростремительность.

По этим внутренним линиям строится и внешняя жизнь каждого, их деятельность. Принцип «демократичности» и «аристократичности» (очень широко понимая). Они —

друзья, старые, давние. Могли бы — но что-то мешает — дополнять друг друга; часто сталкиваются. И не расходятся окончательно, не могут. К тому же Ел. так добр, кроток и верен в любви, что *лично* и не может совсем поссориться с давним другом-соработником.

Как, чем, в какой мере, на каких линиях будут нужны эти «революционеры» уже совершившейся русской революции? Силою вещей до сих пор оба (я их почти как символы тут беру) были разрушителями. Рассуждая теоретически — принцип Ел. был более близок к «созиданию», к его возможностям. Но... где савинковская твердость? Нехватка.

Суживая вновь принципы, символы, до лиц, отмечу, что относительно лиц данных придется учитывать и десятилетнюю эмиграцию. Последние же годы ее — полная оторванность от России. И, кажется, насчет войны они там особенно не могли понимать положение России. Оттуда. Из Франции.

Я так пристально и подробно останавливаюсь на личностях в моей записи потому, что не умею верить в события, совершающиеся вне всякого элемента личных воль. «Люди что-то весят в истории», этого не обойдешь. Я склонна преувеличивать вес, но это мои ошибки; преуменьшить его — будет такой же ошибкой.

Из других возвращающихся эмигрантов близко знаю я еще Б. Н. Моисеенко (и брат его С. Н., но он, кажется, не приезжает, он на Яве), Чернова не видела случайно; однако имею представление об этом фрукте. Его в партии терпеть не могли, однако считали партийным «лидером», чему я всегда изумлялась: по его «литературе» — это самоуверенный и самоупоенный тупяк. Авксентьев — культурный. Эмиграция его отяжелила, и он тут вряд ли заблестит. Но человек, кажется, весьма ничего себе, порядочный.

Х-ие остановятся в нашей квартире, на Сергиевской. Савинков будет жить у Макарова.

Что, однако, случилось?

Очень много важного. Но сначала запишу факты мелкие, случаи, так сказать, собственные. Чтобы перебить «отвлечения» и «рассуждения». (Ибо чувствую, опять в них влезу.)

Поехали мы, все трое, по настоянию Макарова, в Зимний дворец, на «театральное совещание». Это было 29 марта. Головин, долженствовавший председательствовать, не прибыл, вертелся, вместо него, бедный Павел Михайлович.

Мы приехали с «Детского подъезда». В залу с колоннами било с Невы весеннее солнце. Вот это только и было приятно. В общем же — зрелище печальное.

Все «звезды» и воротилы бывших «императорских», ныне «государственных» театров, московских и петербургских.

Южин, Карпов, Собинов, Давыдов, Фокин... и масса других.

Все они и все театры зажелали: 1) автономии, 2) субсидии. Только об этом и говорили.

Немирович-Данченко, директор не государственного, а Художественного театра в Москве,— выделялся и прямо потрясал там культурностью.

Заседание тянулось неприятно и бесцельно. Уже смотрели друг на друга глупыми волками. Наконец, Дима вышел, за ним я, потом Дмитрий, и мы уехали.

А вечером, у нас, было «тайное» совещание — с Головиным, Макаровым, Бенуа и Немировичем:

Последнего мы убеждали идти в помощники к Головину, быть, в сущности, настоящим директором театров. Ведь в таком виде — все это рухнет... Головину очень этого хотелось. Немирович и так и сяк... Казалось — устроено, нет: Немирович хочет «выждать». В самом деле, уж очень бурно, шатко, неверно, валко. Останется ли и Головин?

На следующий день Немирович опять был у нас, долго сидел, пояснял, почему хочет «годить». Пусть театры «поавтономят...»

Далее.

Приехал Плеханов. Его мы часто встречали за границей. У Савинкова не раз и в других местах. Совсем европеец, культурный, образованный, серьезный, марксист несколько академического типа. Кажется мне, что не придется он по мерке нашей революции, ни она ему. Пока — восторгов его приезд будто не вызвал.

Вот Ленин... Да, приехал-таки этот «Тришка» наконец! Встреча была помпезная, с прожекторами. Но... он приехал *через Германию*. Немцы набрали целую кучу таких «вредных» тришек, дали целый поезд, запломбировали его (чтоб дух на немецкую землю не прошел) и отправили нам: получайте.

Ленин немедленно, в тот же вечер, задействовал: объявил, что отрекается от социал-демократии (даже большевизма), а называет себя отныне «социал-коммунистом».

Была, наконец, эта долгожданная, запоздавшая декларация пр-ва о войне.

Хлипкая, слабая, безвластная, неясная. То же, те же, «без аннексий», но с мямленьем, и все вполголоса, и жидкое «оборончество» — и что еще?

Если теперь не время действовать смелее (хотя бы с риском), то когда же? Теперь за войну мог бы громко звучать только голос того, кто ненавидел (и ненавидит) войну.

Тех «действий *обеими руками*» Керенского, о которых я писала, из декларации не вытекает. Их и не видно. Не заметно реальной и властной заботы об армии, об установлении там твердых линий «свободы», в пределах которых *сохраняется* сила армии, как сила. (Ведь Приказ № 1 еще не парализован. Армию свободно наводняют любые агитаторы. Ведь там не чувствуется *новой* власти, а только исчезновение старой!)

Одна рука уже бездействует. Не лучше и с другой. За *мир* ничего явного не сделано. Наши «цели войны» не объявлены с несомненной определенностью. Наше военное положение отнюдь не таково, чтобы мы могли диктовать Германии условия мира, куда там! И, однако, мы должны бы решиться на нечто вроде этого, прямо должны. Всякий день, не уставая, пусть хоть полуофициально, твердить о наших условиях мира. В сговоре с союзниками (вдолбить им, что нельзя упустить этой минуты...), но и до фактического сговора, даже ради него,— все-таки не мямлить и не молчать — диктовать Германии «условия» приемлемого мира.

Это должно делать почти грубо, чтобы было понятно всем (всем — только грубое и понятно). Облекать каждодневно в реальную форму, выражать денно и нощно согласие на немедленный, справедливый и бескорыстный мир — хоть завтра. Хоть через час. Орать на весь фронт и тыл, что если час пришел и мира *нет* — то лишь потому, что Германия на мир не соглашается, не хочет мира и все равно ползет на нас. И тогда все равно не будет мира, а будет война — или бойня.

В конце концов «условия» эти более или менее известны, но они не *сказаны*, поэтому они не существуют, нет для них *одной* формы. Первый звук, в этом смысле, не найден. Да его сразу и не найдешь — но нужно все время искать, пробовать.

Да, великое горе, что союзники не понимают важности момента. У них ничего не случилось. Они думают о себе, я это понимаю. Но для себя же им нужно учитывать нас!

Был В. Зензинов, я с ним долго говорила и о «декларации» пр-ва и обо всем этом. Декларацией, как он говорил, он тоже не удовлетворен (кажется, и никто, нигде не удовлетворен, даже в самом пр-ве). На мои «дикие» предложения и проекты «подиктовать» условия мира он только глядел полуопасно.

Общая робость и мямленье. Что хранит правительство? Чего кто боится? Ну, Германия все это отвергнет. Ну, она даже не ответит. Так что же?

Быть может, я мечтаю? Я говорю много вздору, конечно,— *но я стою за линию*

и буду утверждать, что она, в общем, верна. Скажу (шепотом, про себя, чтобы потом не очень стыдиться) еще больше. В стороне союзников (если они так нисколько не сдвинутся) можно бы рискнуть вплоть до мысли о «сепаратном» мире. Это во всяком случае заставило бы их задуматься взглянуть внимательнее в нашу сторону. А то они слишком спокойны. Не знают, что мы — во всяком случае *не Европа*. Странно думать о России и видеть ее в образе... Милюкова.

Впрочем, я Бог знает куда залетела. Сама себя перестала понимать. В голове все самые известные вещи... Но форма — это не мое дело, всякий оформит лучше меня — и *можно* найти форму, от которой не отвертелись бы союзники.

Довольно, пора кончать. Будь что будет. Я хочу думать, хочу — что будет хорошо. Я верю Керенскому, лишь бы ему не мешали. Со связанными руками не задействуешь. Ни твердости, ни власти не проявишь (именно *власть* нужна).

Пока — кроме СЛОВ (притом безвластных и слов-то) ничего от пр-ва нашего нет.

Кисловодск

17 апреля

Идет дождь. Туман. Холодно. Здесь невероятная дыра, полная просто нелепостями. Прислужьи забастовки. Трусящие, но грабящие домовладельцы. Тоже какой-то «солдатский совет».

Милы — дети, гимназистки и гимназисты. Только они светло глядят вперед.

23 апреля. Воскресенье

Грандиозный разлив Дона; мост провалился, почта не ходит. Мы отрезаны. Смешно записывать отрывочные сведения из местных газет и случайного петербургского письма. У меня есть мнения и догадки, но как это сидеть и гадать впустую?

Отмечу то, что вижу отсюда: буча из-за войны разгорается. Иностранная «нота», как бы от всего пр-ва, но явно составленная Милюковым (голову даю на отсечение), возбудила совершенно ненужным образом. Было соединенное заседание пр-ва и Сов. р. и с., после чего пр-во дало «разъяснение», весьма жалкое.

Кажется, положение острое. (Издали.)

2 мая

Однако дела неважны. Здесь — забастовки, с самыми неумеренными требованиями, которые длятся, длятся и кончаются тем, что Совет грозит: «У нас 600 штыков!», после чего «требования принимаются».

В Петербурге 21-го было побоище. Вооруженные рабочие стреляли в безоружных солдат.

Мы знаем здесь... почти ничего не знаем. Железнодорожный мост не исправлен. Газеты беспорядочны. Письма запаздывают. Из этого хаоса сведений можно, однако, вынести, что дела ухудшаются: Гучков и Грузинов ушли, в армии плохо, развал самый беспардонный везде. Пожалуй, уж и все пр-во ушло во славу ленинцев и черносотенцев.

Тревожно и страшно — вдали. Гораздо хуже, чем там, когда в тот же момент все знаешь и видишь. Тут точно оглох.

4 мая.

Беспорядочность сведений продолжается. Знаем, что ушел Милюков (достукался), вместо него Терещенко. Это фигура... никакая, «меценат» и купчик-модерн. Очевидно, его взяли за то, что по-английски хорошо говорит. Вместо Гучкова — сам Керенский. Это похоже на хорошее. Одна рука у него освободилась. Теперь он может поднять *свой* голос.

«Победицы» в унынии и панике. Но я далеко еще не в унынии и от войны.

Весь вопрос, будет ли Керенский действовать *обеими* руками. И найдет ли он себе необходимых помощников в этом деле. Он один в верной линии, но он — один.

9 мая

В Петербурге уже «коалиционное» министерство. Чернов (гм! гм!), Скобелев (глупый человек), Церетели (порядочный, но мямля) и Пешехонов (литератор).

Посмотрим, что будет. Нельзя же с этих пор падать в уныние. Или так вихляться над настроением, как Дмитрий.

Попробуем верить в грядущее.

20 мая. Суббота

Завтра Троица. Погода сырая. Путь не восстановлен. Телеграфа нет из-за снежной бури по всей России.

При общем тяжелом положении тыла, при смутном состоянии фронта — жить здесь трудно. Но не поддаюсь тяжести. Это был бы грех сознания.

Керенский военный министр. Пока что — он действует отлично. Не совсем так, как я себе рисовала, отчетливых действий «обеими руками» я не вижу (может быть, отсюда не вижу?), но *говорит* он о войне прекрасно.

О Милюкове и Гучкове теперь все, благородные и хамы, улица, интеллигенты и партийники, говорят то, что я говорила несколько лет подряд (а теперь не стала бы говорить). Обрадовались! Нашли время! Теперь поздно. Не нужно.

Кающийся кадет, министр Некрасов, только что болтал где-то о «бесполезности правого блока». (Этого Некрасова я знаю. Бывал у нас. Считался «левым» кадетом. Не замечателен. Кажется, очень хитрый и без стержня.)

Милюков остался совершенно в том же состоянии. Ни разучился, ни научился. Сейчас, уязвленный, сидит у себя и новому пр-ву верит «постольку-поскольку...» Ну: Бог с ним. Жаль ведь не его. Жаль того, что он имеет и что *не умеет* отдать России.

Керенский — настоящий человек на настоящем месте. The right man on the right place *, как говорят умные англичане. Или — the man on the right moment? ** А если только for one moment? *** Не будем загадывать. Во всяком случае, он имеет право говорить о войне, за войну — именно потому, что он против войны (как таковой). Он был «пораженцем» — по глупой терминологии «побединцев». (И меня звали «пораженкой».)

18 июня. Воскресенье

Через неделю, вероятно, уедем. Положение тяжелое. Знаем это из кучи газет, из петербургских писем, из атмосферного ощущения.

Вот главное: «коалиционное» министерство совершенно так же, как и первое, *власти не имеет*. Везде разруха, развал, распущенность. «Большевизм» пришелся по нраву нашей темной, невежественной, развращенной рабством и войной массе.

Началась «вольница», дезертирство. Начались разные «республики» — Кронштадт, Царицын, Новороссийск, Кирсанов и т. д. В Петербурге «налеты» и «захваты», на фронте разложение, неповиновение и бунты. Керенский неутомимо разъезжает по фронту и подправляет дела то там, то здесь, но ведь это же невозможно! Ведь он должен создать систему, ведь его не хватит, и никого одного не может хватить.

В тылу — забастовки, тупые и грабительские,— преступные в данный момент. Украина и Финляндия самовольно грозят отложиться. Совет раб. и с. депут., даже общий съезд Советов почти так же бессильны, как пр-во, ибо силою вещей поправели и отме-

* Человек на своем месте (*англ.*).

** Человек, нужный в данное время (*англ.*).

*** Для этого времени (*англ.*).

жевываются от «большевиков». Последние на 10 июня назначили вооруженную демонстрацию, тайно подготовив кронштадтцев, анархистов, тысячи рабочих и т. д. Съезд Советов вместе с пр-вом заседали всю ночь, достигли отмены этой страшной «демонстрации» с лозунгом «долой все», предотвратили самоубийство, но... только на этот раз, конечно. Против тупого и животного бунта нельзя долго держаться увещеваниями. А бунт подымается именно бессмысленный и тупой. Наверху видимость борьбы такая: большевики орут, что правительство, хотя объявило войну чисто оборонительной, допускает возможность и наступления с нашей стороны; значит, мол, лжет, хочет продолжать «без конца» ту же войну, в угоду «союзническому империализму». Вожаки большевизма, конечно, понимают, сами-то, грубый абсурд положения, что при войне оборонительной не должно никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах быть наступления, даже с намерениями возвратить свои же земли (как у нас). Вожаки великолепно это понимают, но они пользуются круглым ничегонепониманием тех, которых намерены привести в бунтовское состояние. Вернее — из пассивно-бунтовского состояния перевести в активно-бунтовское. Какие же у них, собственно, цели, для чего должна послужить им эта акция — с полной отчетливостью я не вижу. Не знаю, как они сами это определяют. Даже не ясно, в чьих интересах действуют. Наиболее ясен тут интерес германский, конечно.

Очень стараются большевики «литературные», из окружения Горького. Но перед ними я подчас вовсе теряюсь. Не верится как-то, что они сознательно жаждали слепых кровопролитий, немиручих; чтобы они действительно не понимали, что говорят. Вот я давно знаю Базарова. Это умный, образованный и тихий человек. Что у него теперь внутри? Он написал, что даже не сепаратного мира «мы хотим», но... сепаратной войны. Честное слово. Какая-то новая война, Россия против всего мира, одна,— и это «немедленно». Точно не статья Базарова, а сонный бред папуаса; только *ответственный*, ибо слушают его тучи подпапуасов, готовых одинаково на все...

Главные вожаки большевизма — к России никакого отношения не имеют и о ней меньше всего заботятся. Они ее не знают — откуда? В громадном большинстве не русские, а русские — давние эмигранты. Но они нащупывают инстинкты, чтобы их использовать в интересах... право, не знаю точно, своих или германских, только не в интересах русского народа. Это — *наверно*.

Цинически-наивный эгоизм дезертиров, тупо-невежественный («молодой, мне пожить хочется, не хочу войны»), вызываемый проповедью большевиков, конечно, хуже всяких «воинственных» настроений, которые вызывала царская палка. Прямо сознаюсь — хуже. Вскрывается животное отсутствие *совести*.

Немилосердна эта тяжесть «свободы», навалившаяся на вчерашних ребят. Совесть их еще не просыпалась, ни проблеска сознания нет, одни инстинкты: есть, пить, гулять... да еще шевелится темный инстинкт широкой русской «вольницы» (*не* «воли»).

Хочется взывать к милосердию. Но кто способен дать его сейчас России? Несчастной, неповинной, опоздавшей на века России — опять и здесь опоздавшей?

Оказать им милосердие — это сейчас значит: создать власть. Человеческую — но настоящую власть, суровую, быть может, *жестокую* — да, да,— жестокую по своей прямоте, если это нужно.

Такова минута.

Какие люди сделают? Наше Вр. пр-во — Церетели, Пешехонов, Скобелев? Не смешно, а невольно улыбаюсь. Они только умели «страдать» от «власти» и всю жизнь ее ненавидели. (Не говорю уже о личных их способностях.) Керенский? Я убеждена, что он *понимает* момент, *знает*, что именно это нужно: «взять на себя и дать им», но... я далеко не убеждена, что он: 1) сможет взять на себя и 2) что, если бы смог взять,— тяжесть не раздавила бы слабых плеч.

10 630

Не сможет потому уже, что хотя и понимает,— но и в нем сидит то же впитанное отвращение к власти, к ее непременно внешним, обязательно насильническим, приемам. Не сможет. Остановится. Испугается.

Носители власти должны не бояться своей власти. Только тогда она будет настоящая. Ее требует наша историческая минута. И такой власти нет. И, кажется, нет для нее людей.

Нет сейчас в мире народа более безгосударственного, бессовестного и безбожного, чем мы. Свалились лохмотья, почти сами, и вот под ними голый человек, первобытный — но слабый, так как измученный, истощенный. Война выела последнее. И война тут. Ее надо кончить. Оконченная без достоинства — не простится.

А что, если слишком долго стыла Россия в рабстве? Что, если застыла и теперь, оттаяв, не оживает — а разлагается?

Не могу, не хочу, нельзя верить, что это так. Но время единственное по тяжести. Война, война. Теперь все силы надо обратить на войну, на ее *поднятие* на плечи, на ее напряженное заканчивание.

Война — единое возможное искупление прошлого. Сохранение будущего. Единое средство опомниться. Последнее испытание.

13 июля. Четверг

Еще мы здесь, в Кисловодске. Не могу записать всего, что было в эти дни-годы. Запишу кратко.

18 июня началось наше наступление на юго-западе. В этот же день в Спб. была вторая попытка выступления большевиков, кое-как обошедшаяся. Но тупая стихия, раздражаемая загадочными мерзавчиками, нарастала, нарывала...

День радости и надежды 18 июня быстро прошел. Уже в первой телеграмме о наступлении была странная фраза, которая заставила меня задуматься: «...теперь, что бы ни было дальше...»

А дальше: дни ужаса 3, 4 и 5 июля, дни петербургского мятежа. Около тысячи жертв. Кронштадтцы, анархисты, воры, грабители, темный гарнизон явились вооруженными на улицы. Было открыто, что это связано с немецкой организацией (?). (По безответности, по бессмыслию и ничегонепониманию делающих бунт — это очень напоминало беспорядки в июле 14 года, перед войной, когда немецкая рука вполне доказана.)

Ленин, Зиновьев, Ганецкий, Троцкий, Стеклов, Каменев — вот псевдонимы вожаков, скрывающие их неблагозвучные фамилии. Против них выдвигается формальное обвинение в связях с германским правительством.

Для усмирения бунта была приведена в действие артиллерия. Вызваны войска с фронта.

(Я много знаю подробностей из частных писем, но не хочу их приводить здесь, отсюда пишу лишь «отчетно».)

До 11-го бунт еще не был вполне ликвидирован. Кадеты все ушли из пр-ва. (Уйти легко.) Ушел и Львов.

Вот последнее: наши войска с фронта самовольно бегут, открывая дорогу немцам. Верные части гибнут, массами гибнут офицеры, а солдаты уходят. И немцы вливаются в ворота, вослед убегающего стада.

Они — трусы даже на улицах Петербурга; ложились и сдавались безоружным. Ведь они так же не знали, «во имя» чего бунтуют, как (до сих пор!) не знают, во имя чего воевать. Ну и уходи. Побунтовать все-таки не так страшно дома, и свой брат,— а немцы-то ой-ой!

Я еще говорила о совести. Какая совесть там, где нет первого проблеска сознания?

Бунтовские плакаты особенно подчеркивали, что бунт был без признака смысла — у его делателей. «Вся власть Советам». «Долой министров-капиталистов». Никто не знал,

для чего это. Какие это министры-капиталисты? Кадеты?.. Но и они уже ушли. «Советов» же бунтовщики знать не хотели. Чернова окружили, затрещал пиджак, Троцкий-Бронштейн явился спасителем, обратившись к «революционным матросам»: «Кронштадтцы! Краса и гордость русской революции!..» Польщенная «краса» не устояла, выпустила из лап звериных черновский пиджак, ради столь милых слов Бронштейна.

Уже правда ли все происходящее?

Похоже на предутренний кошмар.

Еще: обостряется голод, форменный.

Что прибавить к этому? *Слова* правительств о «решительных действиях». Опять слова. Кто-то арестован, кто-то освобожден... Окровавленные камни, и те вопиют против большевиков, но они пока безнаказанны. Пока?

Вот еще что можно прибавить: я все-таки верю, что будет, будет когда-нибудь хорошо. Будет свобода. Будет Россия. Будет мир.

19 июля. Среда

Вовек проклята сегодня годовщина. Трехлетие войны.

Но сегодня ничего не запишу из совершающегося. Сегодня хоть в трех словах, для памяти, о здешнем. И даже не о здешнем, а просто отмечу, что мы несколько раз видели генерала Рузского (он был у нас). Маленький, худенький старичок, постукивающий мягкой палкой с резиновым наконечником. Слабенький, вечно у него воспаление в легких. Недавно оправился от последнего. Болтун невероятный, и никак уйти не может, в дверях стоит, а не уходит. Как-то встретился у нас с кучей молодых офицеров, которые приглашали нас читать на вечере Займа Свободы. Кстати, тут же приехали в Кисловодск и волынцы (оркестр). Вечер этот, сказать между прочим, состоялся в курзале, мы участвовали. (Я давным-давно отказываюсь от всех вечеров, годы, но тут решила изменить правилу — нельзя.)

Рузский с офицерами держал себя... отечески-генеральски. Щеголял этой «отечественностью»... ведь революция! И все же оставался генералом.

Я спрашивала его о родзянковской телеграмме в феврале. Он стал уверять, что «Родзянко сам виноват. Что же он вовремя не приехал? Я царю сейчас же, вечером (или за обедом), сказал, он на все был согласен. И ждал Родзянку. А Родзянко опоздал».

— А скажите, генерал,— если только это не нескромный вопрос, почему вы ушли весной?

— Не я ушел, это «меня ушли»,— с готовностью отвечал Рузский.— Это Гучков. Приехал он на фронт — ко мне...

Пошла длиннейшая история его каких-то несогласий с Гучковым.

— А тут сейчас же и сам он ушел,— заключил Рузский.

Говорил еще, что немцы могут взять Петербург в любой день — в какой только пожелают.

Где Борис Савинков? Первое письмо от него из Петербурга я получила давно, несколько иронического тона в описании быта новых «товарищей»-министров, очень сдержанное, без особых восторгов относительно революционного аспекта. В конце спрашивал: «Я все думаю, *свои ли мы*?» Действительно, ведь с начала войны мы ничего толком не знаем друг о друге.

Затем было второе письмо: он уже комиссаром 7-й армии, на фронте. Писал о войне — и мне отношение понравилось: чувствуется серьезность к серьезному вопросу. На мой вопрос о Керенском (я писала, что мы ближе всего к позиции Керенского) ответил: «Я с Керенским всей душой...», было какое-то «но», должно быть, неважное, ибо я его не помню. По-моему, Савинков должен был находиться там, где происходило наступление. В газетах часто попадается его имя и в очень хорошем виде!

Савинков именно такой, какой он есть, очень может (или мог бы) пригодиться.

26 июля

С каждым днем все хуже.

За это время: кризис правительства дошел до предела. Керенский подал в отставку. Все испугались, заседали ночами, решили просить его остаться и самому составить кабинет. Раньше он пытался сговориться с кадетами, но ничего не вышло: кадеты против декларации 8 июля (какая это?). Затем история с Черновым, который открыто ведет себя максималистом. (По-моему — Чернов против Керенского: задыхается от тщеславной зависти.)

Трудно знать все отсюда. Пишу, что ловлю, для памяти.

Итак — кадеты отказались войти «партийно» (допустили вхождение личное, на свою «совесть»). Чернов подал в отставку, мотивируя, что он оклеветан и восстановить истину ему легче, не будучи министром. Отставка принята. Это все до 23 июля включительно.

А сегодня — краткие и дикие сведения по телеграмме: правительство Керенским составлено — неожиданное и (боюсь) мертворожденное. Не видно его принципа. Веет случайностью, путаностью. Противоречиями.

Премьер, конечно, Керенский (он же военный министр), его фактический товарищ («управляющий военным ведомством») — наш Борис Савинков (как? когда? откуда? Но это-то очень хорошо). Остались: Терещенко, Пешехонов, Скобелев, да недавний, несуществующий, Ефремов, явились Никитин (?), Ольденбург и — уже совершенно непонятным образом — опять явился Чернов. Чудеса; хорошо, если не глупые. Вместо Львова — Карташев. (Как жаль его. Прежде только бессилие, а теперь сверх него еще и ответственность. Из этого для него ничего доброго, кроме худого, не выйдет.)

Ушел, тоже не понять почему, Церетели.

Нет, надо знать *изнутри*, что это такое.

На фронте то же уродство и бегство. В тылу крах полный. Ленина, Троцкого и Зиновьева привлекают к суду, но они не поддаются судейской привлекательности и не намерены показываться. Ленин с Зиновьевым прозрачно скрываются, Троцкий действует в Совете и ухом не ведет.

Несчастная страна. Бог действительно наказал ее: отнял разум.

И куда мы едем? Только ли в голод или еще в немцев и, сверх того, в царство Бронштейнов и Нахамкесов? Какие перспективы!

Писала ли я, что милейшей дубинке Н. Д. Соколову отлился подвиг Приказа № 1? Поехал на фронт с увещаниями, а воспитанные его Приказом товарищи-солдаты вдрызг увещателя исколотили. Каской по черепу. Однако не видно плодов учения. Только выйдя из больницы, заявил во всех газетах, что он «большевиком никогда не был» (?).

Чхенкели ограбили по дороге в Коджары, чуть не убили.

Во время июльского мятежа какие-то солдаты, в тумане обалдения, несли плакат: «первая пуля Керенскому».

Как мы счастливы. Мы видели медовый месяц революции и не видели ее «в грязи, во прахе и в крови».

Но что мы еще увидим!

1 августа. Вторник

В пятницу (тяжелый день) едем. Русские дела все те же. Как будто меньше удирание от немцев со времени восстановления смертной казни на фронте. Но только «меньше», ибо восстановили-то слепо, слабо, неуверенно, точно крадучись. Я считаю, что это преступно. Или не восстановляй, или так, чтобы каждый солдат знал с полной несомненностью: если идешь вперед — может быть, умрешь, может быть, нет, на войне не всех убивают:

если идешь иазад, самовольио,— умрешь *наверно.*

Только так.

Очеиь плохи дела. Мы все отдали иазад, иемцы грозят и югу, н северу. Большевики (из мелких, из завалящнх) арестоваиы, как, напрнмер, Луначарский. Этот претенциозно-беспомощный шут хлестаковского типа достаточно известен по эмиграцнн. Савинков любил копировать его развязиое малограмотство.

Чернова свергнуть не удалось (что случилось?), и ои продолжает максимальиичать. Зато иаш Борис по всем видимостям ведет себя молодцом. Как я рада, что ои у дел! И рада не столько за иего, сколько за дело.

Учр. собраиие отложено. Что еще будет с этим пр-вом — неизвестио.

Но иадо же верить в хорошее. Ведь «хорошее» или «дурное» — не предопределеио заранее, не написано; ведь это иаши человеческие дела; ведь от иас (в громадиой доле) зависит, куда мы пойдем: к хорошему или дурному. Если не так, то жить напрасио.

Петербург

8 августа. Вторник

Сегодня в 6 час. вечера прнехалн. С приключениями н муками, с разрывом поезда.

Через два часа после приезда у иас был Борис Савииков. Трезвый и сильный. Положение обрисовал крайне острое.

Вот в кратких чертах: у нас ожидаются территориальные потери. На севере — Рига н далее до Нарвы, иа юге — Молдавия и Бессарабия. Виутрениий развал экоиомическнй н политическнй — полиый. Дорога каждая мннута, ибо это минуты — предпоследние. Необходимо ввести военное положеиие по всей России. Должен приехать (послезавтра) нз ставки Корнилов, чтобы предложить, вместе с Савииковым, Кереискому прииятие серьезных мер. На предполагающееся через несколько дией Московское совещание правнтельство должно явиться не с пустыми руками, а с определениой программой ближайших действий. *Твердая власть.*

Дело, конечно, ясиое и иеизбежиое, ио... что случилось? Где Керенскнй? Что тут произошло? Керенского ли подмеиили, мы ли его ранее ие видели? Разрослось ли в нем вот это — останавливающееся перед прямой иеобходимостью «*взять власть*» начало, я еще ие вижу. Надо больше узнать. Факт, что Кереиский — боится. Чего? Кого?

9 августа. Среда

Утром был Карташев (о ием, ныиешнем «мнннстре исповеданий», потом. Безотрадио). Были и другие людн. Затем, к вечеру, опять приехал Борис.

В эту иочь ои очеиь серьезно говорил с Керенским. И — подал в отставку. Все дело внсит на волоске.

Завтра должен быть Корнилов. Борис думает, что ои, пожалуй, вовсе ие приедет.

Что же сталось с Кереиским? По рассказам блнзких — он неузнаваем н невмеиям. Идея Савннкова такова: иастоятельио иужио, чтобы явилась, накоиец, действительиая власть, вполие осуществимая в обстановке сегодняшиего дня при такой комбинации: Кереиский остается во главе (это непременно), его ближайшие помощиики-сотрудники — Кориилов и Борис. Кориилов — это, зиачит, опора войск, защнта России, реальное возрожденне армни; Кереиский н Савинков — защита свободы. При определеииой и ясной тактической программе, иа которой должны согласиться Кереиский и Кориилов (об этой программе скажу в свое время подробиее), нежелательиые элементы в пр-ве, вроде Чериова, выпадают автоматически..

Савииков поннмает и положение дел — и вообще все, самым блистательиым образом. И я должиа тут же, сразу, сказать: при всей моей к иему зрячести я ие вижу, чтобы Савииковым двнгало *сейчас* его громадное честолюбие. Напротнв, я утверждаю, что главиый

двигатель его во всем этом деле — подлинная, умная, любовь к *России* и к *ее свободе*. Его честолюбие — на втором плане, где его присутствие даже требуется.

Вижу это помимо взора на предмет — взора, совпадающего с Савинковым,— по тысяче признаков. Нет стремления создать из Керенского с его помощниками форменную «диктатуру»: широкие полномочия Корнилова и Савинкова ограничены строгими линиями принятой, очень подробной, тактической программы. Если Савинков хочет быть одним из этих «помощников» Керенского, то ведь он и может им действительно быть. Тут *его* место. И данный миг России (ее революции) — тоже *его* — российского революционера-государственника (суженного, конечно, и подпольной своей биографией, и долгой эмиграцией, однако данная минута требует именно такого, пусть суженного; она сама узко-остра).

Когда еще и где может до такой степени понадобиться Савинков? Горючая беда России, что все ее люди не на своих местах; если же попадают случаем — то не в свое время: или «рано» или «поздно».

На Корнилова Савинков тоже смотрит очень трезво. Корнилов — честный и прямой солдат. Он, главным образом, хочет спасти Россию. Если для этого пришлось бы заплатить свободой, он заплатил бы, не задумываясь.

— Да и заплатит, если будет действовать один и после очередных разгромов,— говорит Савинков.— Он любит свободу, я это знаю совершенно твердо. Но Россия для него — первое, свобода — второе. Как для Керенского (поймите, это факт, и естественный) свобода, революция — первое, Россия — второе. Для меня же (м. б. я ошибаюсь), для меня эти оба сливаются в одно. Нет первого и второго места. Неразделимы. Вот потому-то я хочу непременно соединить сейчас Керенского и Корнилова. Вы спрашиваете, останусь ли я действовать с Корниловым или с Керенским, если их пути разделятся. Я представляю себе, что Корнилов не захочет быть с Керенским, захочет против него, один, спасать Россию. В ставке темные элементы; они, к счастью, ни малейшего влияния на Корнилова не имеют. Но допустим... Я, конечно, не останусь с Корниловым. Я в него, без Керенского, не верю. Я это в лицо говорил самому Корнилову. Говорил прямо: тогда мы будем врагами. Тогда и я буду в вас стрелять, и вы в меня. Он, как солдат, понял меня тотчас, согласился. Керенского же я признаю сейчас как главу возможного русского правительства необходимым; я служу Керенскому, а не Корнилову; но я не верю, что и Керенский, один, спасет Россию и свободу; ничего он не спасет. И я не представляю себе, как я буду служить Керенскому, если он сам захочет оставаться один и вести далее ту колеблющуюся политику, которую ведет сейчас. Сегодня, в нашем ночном разговоре, подчеркнулись эти колебания. Я счел своим долгом подать в отставку. Он ее не то принял, не то не принял. Но дело нельзя замазывать. Завтра я ее повторю решительно.

Я свела многое из слов Савинкова вместе. Начинаю кое-что улавливать.

Поразительно: Керенский точно лишился всякого понимания. Он под перекрестными влияниями. Поддается всем чуть не по-женски. Развратился и бытовым образом. Завел (живет — в Зимнем дворце!) «придворные» порядки, что отзывается несчастным мещанством, parvenu. Он никогда не был умен, но, кажется, и гениальная интуиция покинула его, когда прошли праздничные, медовые дни прекраснодушия и наступили суровые (ой, какие суровые!) будни. И опьянел он... не от власти, а от «успеха» в смысле шаляпинском. А тут еще, вероятно, и чувство, что «идет книзу». Он не видит людей. Положим, этого у него и раньше не было, а теперь он окончательно ослеп (теперь, когда ему надо выбирать людей!). Он и Савинкова принял за «верного и преданного ему душой и телом слугу» — только. Как такого «слугу» и вывез его, скоропалительно, с собой — с фронта. (Кажется, они были вместе во время июньского наступления.) И заволновался, забоялся, когда прнметил, что Савинков не без остроты... Стал подозревать его... в чем? А тут еще миленькие «товарищи», с.-ры, ненавидевшие Савинкова-Ропшина.

А Керенский их боится. Когда он составлял последнее министерство, к нему пришла троица из ЦИ ком. эсэровской п. с ультиматумом: или он сохраняет Чернова, или партия с.-ров не поддерживает пр-во. И Керенский взял Чернова, все зная и ненавидя его.

Да, ведь еще 14 марта, когда Керенский был у нас впервые министром (юстиции тогда), в нем уже чувствовалась, абсолютно неуловимая, перемена. Что это было? Что-то... И это «что-то» разрослось...

10 августа. Четверг

Безумный день. Часов в 8 вечера приехал Савинков. Сказал, что все кончено. Что он решил со своей отставкой. Просил вызвать Карташева. (Карт. несколько в курсе дела и Савинкову сочувствует.)

— Но Карташев теперь, наверное, в Зимнем дворце,— возражаю я.

— Нет, дома, вечернее заседание отменено.

Звоню. Карташев дома, обещает прийти. Узнаем от Бориса следующее.

Корнилов, оказывается, сегодня приехал. Телеграмму, где Керенский «любезно» разрешил ему не приезжать, «если не удобно»,— получить не успел.

С вокзала отправился прямо к Керенскому. Неизвестно, что было говорено на этом первом заседании; но Корнилов приехал, тотчас после него,— к Савинкову и с какою-то странною подозрительностью.

Час разговора, однако, совершенно рассеял эту подозрительность. И Корнилов подписал знаменитую записку (программу) о необходимых мерах в армии и в тылу. Подписал ее и Савинков. И приехавший с Корниловым помощник Савинкова в бытность его комиссаром — Филоненко. (Неизвестный нам, но почему-то Борис очень стоит за него.)

После этого Керенский опять потребовал к себе Корнилова, от*менив* общее прав-ное заседание, а допустив лишь Терещенку и еще кого-то.

А Савинков поехал к нам. Корнилов сегодня же уезжает обратно. Савинков отправится провожать его в вагон часам к 12 ночи.

— Хотите, я прочту вам записку? — предложил Борис.— Она со мной, у меня в автомобиле.

Сбегал, принес тяжелый портфель. И мы принялись за чтение.

Прочел ее нам Савинков всю, полностью. Начиная с подробнейшего, всестороннего отчета о фактическом состоянии фронта (потрясающе оно даже внешне!) и кончая таким же отчетливым изложением тех немедленных мер, какие должны быть приняты и на фронте, и в тылу. Эта длиннейшая записка, где обдумано и взвешено каждое слово, найдет когда-нибудь своего комментатора — во всех случаях не пропадет. Я скажу лишь главное: это без спора тот minimum, который еще мог бы спасти честь революции и жизнь России при ее данном, неслыханном положении.

Дима, впрочем, находит, что «кое-что в записке продумано недостаточно, а кое-что поставлено слишком остро, напр. милитаризация железных дорог. Но важен ее принцип: «Соединение с Корниловым, поднятие боеспособности армии без помощи Советов, оборона как центральная прав-ная деятельность, беспощадная борьба с большевиками».

Я думаю, что да, будет еще с Керенским торговля... Но, кажется, это и в деталях minimum, вплоть до милитаризации железных дорог и смертной казни в тылу (какое же иначе общее военное положение?). Воображаю, как заорут «товарищи!» (А Керенский их боится, вот это надо помнить.)

Они заорут, ибо увидят тут «борьбу с Советами» — безобразным, уродливо разросшимся явлением, рассадником большевизма, явлением, перед которым и ныне «демократические лидеры» и подлидеры, не большевики, благоговейно склоняются. Какая-то непроворотимая, глупая преступность!

Они будут правы, это борьба с Советами, хотя прямо в записке ничего не сказано об

уничтожении Советов. Напротив, Борис сказал даже, что «нужно сохранить войсковые организации, без них невозможно». Но никакие комитеты не должны, конечно, вмешиваться в дела командования. Их деятельность (выборных организаций) ограничивается.

А все же это (наконец-то!) борьба с Советами. И как иначе, если вводится серьезная, настоящая борьба с большевиками?

К половине чтения записки пришел Карташев. Дослушали вместе.

Сегодня Карташев видел Керенского, т. е. потребовал впуска к нему в кабинет неофициального. (Вот как теперь! Не прежний свой брат-интеллигент, вечно вместе на частных собраниях!) Сказал, говорит, ему все, что хотел сказать, и ушел, ответа намеренно не требуя. Да, кстати, тут пришел полковник Барановский («нянька» Керенского, по выражению Карташева), и лучше было удалиться.

Уже почти в 12 часов ночи мы кончили записку.

Борис очень скоро уехал — на вокзал, провожать Корнилова. Карташев, пользуясь отменой заседания, ушел в один старый «интеллигентский» кружок (где — отсюда слышу — они будут болты болтать и гадать, какими еще аудиенциями «надавить» на Керенского)...

. . . .

...А что говорят с.-эры? Лучшие, самые лучшие, из честных честные? Вот: «Чернов — негодяй, которому мы за границей и руки не подавали, но... мы сидим с ним рядом в Центр. комит. партии, и партия ультимативно отстаивает его в правительстве. Громадное большинство в Цент. ком. партии с.-р. — или дрянь, или ничтожество. Все у нас построено на обмане. Масловский — определенный, форменный провокатор. Но вот — мы его оправдали (большинством двух голосов). Да, у нас многие — просто германские агенты, получающие большие деньги... Но мы молчим. Многих из нас тянет уехать куда-нибудь... Но мы не можем и не хотим уйти из партии. Чистка ее невозможна. Кто будет чистить? Мы, «призывисты», стоим за Россию, за войну, но... мы дали свои имена максималистской, интернационалистской, черновской газете «Дело народа».

Ручаюсь честью, что не прибавила ни одного слова своего, все это точнейшая *сводка* подлинных слов. Если, в ужасе, не хочешь ни понимать, ни верить, умоляешь, если так, отколоться с честной частью партии, оставить Чернова — возражают:

— Вот Плеханов откололся, ушел в чистоту, кое-кто ушел с ним — и какое влияние имеет эта группа? От нас откололась «Воля народа», правые оборонцы, кто их газету читает? А имя Чернова — вы не знаете, что оно значит для крестьян. Чернов н......, да, но он может в один день 13 речей произнести!

Бред, бред, бред. Какое зрелище!.. да что тут говорить! Бред.

11 августа. Пятница

Едва живу опять от усталости. И что это будет, с этим Московским совещанием? Трехтысячная бессмыслица. Чертова болтовня.

В 7 часов уже приехал Борис.

Сегодня он официально понес бумагу об отставке Керенскому.

— Вот мое прошение, г. министр. Оно принято?

— Да.

Небрежно бросил бумагу на стол. Раздражен, возбужден, почти в истерике.

(Ведь вот зловредный корень всего: Керенский не верит Савинкову, Савинков не верит Керенскому, Керенский не верит Корнилову, но и Корнилов ему не верит. Мелкий факт: вчера Корнилов ехал по вызову, однако мог думать, что и для ареста: приехал, окруженный своими «зверями-текинцами».)

Сцена продолжается.

После того, как прошение было «принято», Савинков попросил позволения сказать несколько слов «частным образом». Он заговорил очень тихо, очень спокойно (это он умеет), но чем спокойнее он был, тем раздраженнее Керенский.

— Он на меня кричал, до оскорбительности высказывая недоверие...

Савинков уверяет, что он, хотя разговор был объявлен «частным», держал себя «по-солдатски» перед начальственной истерикой г. министра. Охотно верю, ибо тут был свой яд. Керенский пуще бесился и положения не выигрывал.

Но выходит полная нелепица. Керенский не то подозревает его в контрреволюционстве, не то в заговоре — против него самого.

— Вы — Ленин, только с другой стороны! Вы — террорист! Ну, что ж, приходите, убивайте меня. Вы выходите из правительства, ну что ж! Теперь вам открывается широкое поле независимой политической деятельности.

На последнее Борис, все тем же тихим голосом, возразил, что он уже «докладывал г. министру»: после отставки он уйдет из политики, поступит в полк и уедет на фронт.

Внезапно кинувшись в сторону, Керенский стал спрашивать, а где Борис был вчера вечером, когда Корнилов поехал к нему?

— Если вы меня допрашиваете, как прокурор, то я вам скажу: я был у Мережковских.

Затем «г. министр» вновь бросился на контрреволюцию и стал бессмысленно грозить, что сам устроит всеобщую забастовку, если свобода окажется в опасности (???).

По привычке всегда что-нибудь вертеть в руках (вспомним детский волчок с моего стола, половина которого так и пропала под шкафами), тут Керенский вертел карандаш, да, кстати, и «прошение» Савинкова. Карандаш нервно чертил на прошении какие-то буквы. Это были все те же: «К», «С», потом опять «К»... После многих еще частностей, упреков Керенского в каком-то «недисциплинарном» мелком поступке (не то Савинков из ставки не в тот день приехал, не то в другой туда выехал), после препирательства о Филоненко: «Я не могу его терпеть. Я ему уже совершенно не доверяю». На что Савинков отвечал: «А я доверяю и стою за него»,— после всех этих деталей (быть может, я их путаю) — Керенский закончил выпадом, очень характерным. Теребя бумагу, исчерченную «К», «С» и «К»,— резко заявил, что Савинков напрасно возлагает надежды на «триумвират»: есть «К», и оно останется, а другого «К» и «С» — не будет.

Так они расстались. Дело, кажется, хуже, чем ...сейчас, когда я это пишу, после 2-х ночи,— внезапный телефонный звонок.

— Алло!

— Это вы, З. Н.?

— Да. Что, милый Б. В.?

— Я хотел с вами посоветоваться. Сейчас узнал, что Керенский хочет, чтобы я взял назад свою отставку. Что мне делать?

— Как это было? Он сам?..

— Нет, но я знаю это официально. Он уехал сегодня в Москву, на совещание.

Конечно, первое мое слово было за то, чтоб он остался, чтобы еще продолжал борьбу. Дело слишком важно...

— Хорошо, я подумаю...

С головокружительной быстротой все меняется.

Керенский мечется, словно в мышеловке.

Завтра совещание.

12 августа. Суббота

Борис был, как всегда. Керенскому он дал знать, что согласен остаться на известных условиях.

На Керенского будто бы повлияла телеграмма Корнилова, который требовал, чтобы Сав-ва не удалять, а также то, что все кадеты явились к нему с отставками, едва он их умаслил. Не знаю.

Любопытно составлял Керенский свое последнее (летом) министерство. В Царском. Савинков сам писал лист. Там был прежде всего Плеханов. Затем бабушка Брешковская (вместо Чернова, как имя). Бабушке была послана срочная телеграмма, и Керенский волновался, что она вовремя не приедет, только через 24 часа. Вместе, Керенский с Савинковым, ездили на автомобиле к Плеханову.

Плеханов согласился.

Затем, в ночь, Керенский поехал в Спб., в Зимний дворец.

И — говорит Савинков — тут же к нему зашмыгали всякие «либерданы» (кличка мелкой сошки из кучек «Либера» и «Дана»). Один — в очках, другой — в pince-nez, третий — без ничего; под конец явилась знаменитая делегация из Гоца. Зензинова и еще кого-то, с ультиматумом насчет Чернова. И к утру от списка не осталось ни черта. Савинкову было поручено послать Плеханову телеграмму с отказом и встретить на вокзале Брешковскую с извинением: напрасно, мол, тревожились.

Таким образом и составилось «коалиционное» министерство, которого из Кисловодска «нельзя было понять». Нельзя, не зная, что происходит за кулисами.

Да, везде и всегда кулисы...

13 августа. Воскресенье

Сегодня первый раз, что Борис у нас не был. Совещание в Москве открылось (там — частичная забастовка, у нас — тихо).

Керенский сказал длинную речь. Если не считать появившегося у него заплетания языка — обыкновенную свою речь: пафотическую, местами недурную. Только уже несовременную, ибо опять не деловую, а «праздничную». (Праздник у нас, подумаешь!) Затем говорил Авксентьев, затем Прокопович. И затем... мы ничего не знаем, ибо вечерних газет не было, редакции пусты, да и завтра не будет газет — «товарищи»-наборщики «праздничают».

Ввергнувшись сразу в пучину здешних «дворцовых» дел, я не успела ничего сказать о бытовом Петербурге и внешнем виде его. Он, действительно, весьма нов.

Часто видела я летний Петербург. Но в таком сером, неумытом и расхлястанном образе не был он никогда. Кучами шатаются праздные солдаты, плюя подсолнухи. Спят днем в Таврическом саду. Фуражка на затылке. Глаза тупые и скучающие. Скучно здоровенному парню. На войну он тебе не пойдет, нет! А побунтовать... это другое дело. Еще не отбунтовался, а занятия никакого.

Наш «быт» сводится к заботе о «хлебе насущном». После юга мы сразу перешли почти на голодный паек. О белом хлебе забыли и думать. Но что еще будет!

14 августа. Понедельник

Днем был Л.

Рассказывал, как он, по нынешней его должности «комиссара печати» (или вроде), закрывал и арестовывал «Правду» после июльских дней. Много любопытного также рассказывал о нынешней «придворности» Керенского.

Л. с досадой говорил о нем. Очень за Савинкова. Просил его познакомить с ним.

Московское сов., по-видимому, скрипит и трещит. Все полно глупыми слухами, как дымом... которого, однако, нет без огня. Факт тот, что Корнилов торжественно явился в Москву, *не встреченный* Керенским и даже будто бы вопреки категорическому приказу Керенского не являться,— торжественным кортежем проследовал к Иверской, и толпы народа кричали «ура». Затем он выступал на совещании. Тоже овация. А кучке, демонстративно молчащей, кричали: «Изменники! Гады!».

Впрочем, тут же и Керенскому сделали овацию.

Керенский — вагон, сошедший с рельсов. Вихляется, качается, болезненно, и — без красоты малейшей. Он близок к концу, и самое горькое, если конец будет без достоинства.

Я его любила прежним (и не отрекаюсь), я понимаю его трудное положение, я помню, как он в первые дни свободы «клялся» перед Советами быть всегда с «демократией», как он одним взмахом пера «навсегда» уничтожил смертную казнь... Его стали носить на руках. И теперь у него, вероятно, двойной ужас, и праведный и неправедный, когда он читает ядовитенькие стишки в поднимающей голову «Правде»:

Плачет, смеется,
В любви клянется,
Но кто поверит —
Тот ошибется...

Праведный ужас: ведь если соединиться с Корниловым и Савинковым, ведь это измена «клятвам Совету», и опять «смертная казнь» — «измена *моей* весне». Я клялся быть с демократией, «умереть без нее» — и должен действовать без нее, даже как бы против нее. В этом ужасе есть внутренний трагизм, хотя при большей глубине ума и души — он не последний. Т. е. это драма, а не трагедия.

Но перед Керенским сейчас только два пути достойных, только два. Или впредь вместе с Корниловым, Савинковым и знаменитой программой или, если не можешь, нет нужной силы, объяви тихо и открыто: вот какой момент, вот что требуется, но я этого не вмещаю и потому ухожу. И уйти... уже не бутафорски, а по-человечески, бесповоротно. Я боюсь, что оба пути слишком героичны... *для Керенского*. Оба, даже второй, человеческий. И он ищет третьего пути, хочет что-то удержать, замазать, длить дленье... Третьего нет, и Керенский найдет «беспутность», найдет бесславную гибель ... и хорошо, если только свою. В такой момент и на таком месте человек *обязан* быть героичен, обязан выбрать или...

Или — что? Ничего. Посмотрим. Увидим. Не время еще задавать «последние» вопросы. Один из них хотела я задать себе: а понимает ли Керенский маленькое, коротенькое, простое словечко — РОССИЯ?

Довольно пока о Керенском. Борис был нынче вечером. Томится от выжидательного безделья и неопределенного своего положения. Дела сдал несколько дней тому назад, но никто их не делает, все военное ведомство и министерство пока остановилось.

От этого «канительного» состояния, которое Борису очень не по характеру, он уже стал ездить в «Привал комедиантов». Утешается, что там он — писатель и поэт Ропшин. А то, говорит, я уже и забыл... (Это жаль, он очень талантлив.)

Ну, посмотрим, посмотрим.

17 августа. Четверг

С понедельника не писала. Бронхит. А погода стоит теплая, еще летняя. Надо бы скорее на нашу дачу ехать, последние дни. Но уже очень и здесь заварено, как-то уехать трудно. Дача, положим, недалеко (около той же Сиверской, где нас «постигла» война), в имении князя Витгенштейна. Газеты — в тот же день, имеется телефон, прекрасный дом. Разрыва с Петербургом как будто и нет — как я люблю старинные парки осенью! — а все же и отсюда не оторвешься. Сиверская мне напоминает «беду войны», только теперешняя дача называется как-то пророчески-современно «Красная дача»... (Она и в самом деле вся красная.)

А что случилось?

Борис бывал все дни. В том же состоянии ожиданья.

Московское сов. развертывалось приблизительно так, как мы ожидали. П-во «гово-

рило» о своей силе, но силы ни малейшей не чувствовалось. Трагическое лицо Керенского я точно видела отсюда...

Вчера Борис сидел недолго.

Был последний вечер неизвестности — утром сегодня, 17-го, ожидался из Москвы Керенский.

Борис обещал известить нас мгновенно по выяснении чего-нибудь.

И сегодня, часу в седьмом,— телефон. Ротмистр Миронович. Сообщает мне, «по поручению управляющего военным ведомством», что «отставка признана невозможной», он остается.

Прекрасно.

А около восьми, перед ужином, является и сам Борис. Вот что он рассказывает.

К Керенскому, когда он нынче утром приехал, пошли с докладом Якубович и Туманов. Очень долго и, по-видимости, бесплодно с ним разговаривали. Он — ни с чем не соглашается. Филоненку ни за что не хочет оставить. (Тут же и телогрей его Барановский; он тоже за Савинкова, хотя и робеет.) Каждый раз, когда Туманов и Якубович предлагали вызвать самого Савинкова,— Керенский делал вид, что не слышит, хватался за что ни попадя на столе, за газету, за ключ... обыкновенная его манера. Отставку Савинкова, которую они опять ему преподнесли (для «резолюции», что ли? Неужели ту, исчерченную?),— небрежно бросил к себе в стол. Так ни с чем они и ретировались.

Между тем *в это же время* Савинков получает через адъютанта приглашение явиться к Керенскому. По дороге сталкивается с выходящими из кабинета своими защитниками. По их перевернутым лицам видит, что дело плохо. В этом убеждении идет к «г. министру».

Свидание произошло наедине, даже без Барановского.

— Он мне сказал,— повествует Савинков,— и довольно спокойно, вот что: «На московском совещании я убедился, что власть правительства совершенно подорвана,— оно не имеет силы. Вы были причиной, что и в ставке зародилось движение контрреволюционное,— теперь вы не имеете права уходить из правительства, свобода и родина требуют, чтобы вы остались на своем посту, исполнили свой долг перед ними...» Я так же спокойно ему ответил, что могу служить только при условии доверия с его стороны — ко мне и к моим помощникам... «Я вынужден оставить Филоненко»,— перебил меня Керенский. Так и сказал «вынужден». Все более или менее выяснилось. Однако мне надо было еще сказать ему несколько слов частным образом. Я напомнил ему, как оскорбителен был последний его разговор со мною.— Тогда я вам ничего не ответил, но забыть этого еще не могу. Вы разве забыли?

Он подошел ко мне, странно улыбнулся... «Да, я забыл. Я, кажется, все забыл. Я... больной человек. Нет, не то. Я умер, меня уже нет. На этом совещании я умер. Я уже никого не могу оскорбить, и никто меня не может оскорбить...»

Савинков вышел от него и сразу был встречен сияющими и угодливыми лицами. Ведь тайные разговоры во дворцах мгновенно делаются явными для всех...

В 4 часа было общее заседание пр-ва. И там Савинкова встречали всякими приветливыми улыбками. Особенно старался Терещенко. Авксентьев кислился. Чернова не было вовсе.

На заседании — вопль Зарудного по поводу взорвавшейся и сгоревшей Казани. Требовал серьезных мер. Керенский круто повернул в ту же сторону. Образовали комиссию, в нее включился тотчас и Савинков. Он надеется завтра предложить к подписи целый список лиц для ареста.

Борис в очень добром духе. Знает, что Керенский будет еще «торговаться», что много еще кое-чего предстоит, но все-таки утверждает:

— Первая линия окопов взята.

— Их четыре...— возражаю я осторожно.

Записка Корнилова ведь еще не подписана. Однако,— если не ждать вопиющих непоследовательностей,— должна быть подписана.

Как все это странно, если вдуматься. Какая драма для благородной души. Быть может, душа Керенского умирает перед невозможностью для себя —

...Нельзя! Ведь душа, неисцельно потерянная,
Умрет в крови.
И надо! — твердит глубина неизмеренная
Моей любви.

Есть души, которые, услыхав повелительное «Иди, убей»,— умирают, не исполняя. (Впрочем, я увлекаюсь во всех смыслах. Драмы *личные* здесь не пример. Здесь они отступают.)

В Савинкове — да, есть что-то страшное. И ой-ой какое трагичное. Достаточно взглянуть на его неправильное и замечательное лицо со вниманием.

Сейчас он, после всего этого дня, сидел за моим столом (где я пишу) и вспоминал свои новые стихи (рукописи у него за границей). Записывал. И ему ужасно хотелось, чтобы это были «хорошие» стихи, чтобы мне понравились. (Ропшин-поэт — такой же мой «крестник», как и Ропшин-романист. Лет 6 тому назад я его толкнула на стихи, в Каннах, своим сонетом, затем терцинами.)

— Знаете, я боюсь... Последнее время я писал несколько иначе, свободным стихом. И я боюсь... Гораздо больше, чем Корнилова.

Я улыбаюсь невольно.

— Ну, что ж, надо ж и вам чего-нибудь бояться. Кто это сказал: «Только дурак решительно ничего не боится?..»

Кстати, я ему тут же нашла одно его прежнее стихотворение со словами:

...Убийца в Божий град не внидет...
Его затопчет Рыжий Конь...

Он прочел (забыл совсем) и вдруг странно посмотрел:

— Да, да... так это и будет. Я знаю, что... умру от покушения.

Это был вовсе не страх смерти. Было что-то больше этого.

18 августа. Пятница

Сегодня мы на обед позвали Савинкова и, по уговору с ним, Л., Дмитрий позвал, попозже, Руманова, который тоже бабочкой полетел на Савинкова (крылышки бы не обжег).

Мы были вчетвером. Скоро Борис заторопился (теперь уж не сможет так ездить к нам, влез в каторжную работу).

Л. попросил его подвезти; Р. пошел лезть в свой автомобиль, а Борис вызвал меня и Дмитрия на секунду в другую комнату, чтобы сказать несколько слов. Сегодня Керенский лично говорил Лебедеву, что хочет быть министром без портфеля, что так все складывается, что так лучше.

Конечно, так всего лучше — и естественнее для совести Керенского. Это — принятие «первого» пути, конечно (власть К. К. С.), но это смягчение форм, которые для Керенского и не свойственны. Пусть он *отдает* себя на делание нужное; *положит* на него свою душу. Такая душа спасается и спасет, ибо это тоже «героизм».

20 августа. Воскресенье

Вчера была К. Ушла, опять пришла и дожидалась у меня Ел. и Зензинова с заседания своего ЦК в одном из дворцов.

Явились только после 2-х. (Дмитрий давно лег спать.) Некогда было говорить ни о чем. С весны Зензинов очень изменился, потемнел; полевел, «жертвенность» его при-

няла тупой и упрямый оттенок, неприятный.

Центр. ком. партии требует Савинкова к ответу, очевидно, из-за корниловской записки. Тот самый ЦК, где «громадное большинство или немецкие агенты, или ничтожество». (Между прочим, там — чуть ли не председателем или вроде — подозрительный старикашка Натансон, приехавший *через Германию.*)

Сегодня утром приехал Д. В. с дачи. Затем всякие звонки. Пришел Карташев — вчера вернулся из Москвы. Приехал к вечеру и Савинков, которому я днем успела сообщить, что его требуют в ЦК, влекут к ответу.

Конечно, он, Савинков, не пойдет туда для объяснений. Он даже права не имеет говорить о правительственной военной политике перед — хотя бы не уличенными — германскими агентами. Я думаю, формально сошлется на проезд многих через Германию.

Но, конечно, будут... уговоры подчиниться постановлению ЦК и явиться на допрос. Расспросы о подробностях записки, есть ли там уничтожение выборного начала в армии и т. д.

Продолжаю не понимать. Позиция партии с.-ров сейчас, несомненно, преступная. А лично, в самых честных, самых чистых (говорю только о них) младенчество какое-то, и не знаешь, что с этим делать...

Что они думают о «комбинации» и о принципе «записки»?

О, какие детски-искренние, преступно-путаные речи! Они сами вовсе не против «серьезных мер». Даже так: если Каледин с казаками спасет Россию — пусть. И тут же: комбинация Керенский—Корнилов—Савинков — пуф, авантюра, вводить военное положение в тылу — нельзя, «репрессивные» меры невозможны, милитаризация железных дорог — невводима; нельзя «превращать страну в казармы» и грозить смертной казнью. Наконец, «если только эта «записка» будет Керенским подписана — министерство взорвется, все социалисты уйдут или будут отозваны, и мы сами, первые (наша партия), пойдем «ПОДЫМАТЬ ВОССТАНИЕ».

За точность слов ручаюсь *. Воочию вижу полную картину слепого «партийного» плена. Добровольного кандального рабства. Сила гипноза, очарования, «большинства». Партия с.-эров сейчас вся как-то болезненно распухла, раздалась вширь («землица!»), у них (у лучших) наивное торжество: вся Россия стала эсэровской! Все «массы» с нами! Торжествуя, «большинство» и максимальничает; максимализм лучшего меньшинства — только от невозможности не быть со «всеми».

Кое-кто, самоутешаясь, наивно мечтает изнутри «править» ЦК, а через него направлять и стихийную часть партии. Мне даже странно это выписывать. Какая устрашающая мечтательность!

Кончаю. Еще одно вот только, самое трудное (и о чем почти не говорили!). Это что немцы перешли Двину, Рига, наверно, будет взята — если только уже не взята в данный момент.

21 августа. Понедельник

Взята.

Мы отходим на линию Чудского озера — Псков. Очень хорошо. Правительство отнеслось к этому фаталистически вяло. Ожидали, мол.

Город не разобрать. Что — он? Очевидно, нет воображения. На Выборгской заходили большевики с плакатами: «Немедленный мир!» Все, значит, идет последовательно. Дальше.

Была у К. (погода летняя, жаркая). Сидит сычом Вол. Зензинов, обложенный газетами

---

* И более ни за что. Вряд ли все это было сознательной тактикой партии. Скорей настроением. Кто не был в то время «в настроениях»? И я тоже, конечно. Мои настроения понятны. Верны ли были мои выводы — другой вопрос. Выписываю просто, как было записано, без поправок. (*Примеч. 1928 г.*).

(своими; другие ведь, честный и умный «День» например,— «не имеют никакого влияния»).

Никнет аскетическим профилем; недоумело:

— Вот Ригу взяли...

— Ну, так вам что? — резко говорю я.— А вы спешите пользоваться «влиянием», идите на Выборгскую требовать немедленного мира с немедленной землей.

Пошла оттуда обедать на Фурштадтскую, запуталась в казарменных переулках; они страшны даже: грязь, мусор, разваленные кучи «гарнизона», толстомордые солдаты и на панели, и подоконниках, семечки, гогот и гармоника. Какая тебе еще Рига! Мы не «империалисты», чтоб о Риге думать. Погуляем и здесь. А потом домой, чтоб «землицу»...

Сейчас (поздно вечером) мне звонил Л. Говорил, что оказал весьма сильное давление на Керенского в том смысле, чтоб передать Савинкову и военное, и морское министерство. (К Борису за эти дни несколько раз заезжал Керенский; подолгу говорил с ним.)

Далее Л. сообщил, что, для подкрепления, он еще пишет об этом же Керенскому письмо. Я посоветовала краткость и определенность.

Ах, все это, все это — поздно! Опять, как вечно у нас: «рано», другие, что «поздно». Я, конечно, говорю — «поздно». Увы, да, поздно. Хорошо, если не «слишком», а только «немного» поздно.

Царя увезли в Тобольск (наш Макаров, П. М., его и вез). Не «гидры» ли боятся (главное и, кажется, единственное занятие которой — «подымать голову»)? Но сами-то гидры бывают разные.

Штюрмер умер в больнице? Несчастный «царедворец». Помню его ярославским губернатором. Как он гордился своими предками, книгой царственных автографов, дедовскими масонскими знаками. Как он был «очарователен» с нами и... с Иоанном Кронштадтским! Какие обеды задавал!

Стыдно сказать — нельзя умолчать: прежде во дворцах жили все-таки воспитанные люди. Даже присяжный поверенный Керенский не удержался в пределах такта. А уж о немытом Чернове не стоит и говорить.

Отчего свобода, такая сама по себе прекрасная, так безобразит людей? И неужели это уродство обязательно?

22 августа. Вторник

Дождь проливной; явился Л. Еще не написал письма Керенскому, хочет вместе с нами.

Стали мы помогать писать (писал Л.). Можно бы, конечно, покороче и посильнее, если подольше думать,— но ладно и так. Сказано, что нужно. Все те же настоятельные предложения или «властвовать», или передать фактическую власть «более способным», вроде Савинкова, а самому быть «надпартийным» президентом российской республики (т. е. необходимым «символом»).

Подписались все. Запечатали моей печатью, и Л. унес письмо.

Не успел Л. уйти — другие, другие, наконец, и М. По программе — с головной болью. В это время у нас из-под крыши повалил дым. Улицу запрудили праздные пожарные. Постояли, напустили своего дыма и уехали, а дымы сами понемногу рассеялись.

Пришел Д. В. из своей «Речи», рассказывает:

— Сейчас встретил защитный автомобиль. Выскакивает оттуда Н. Д. Соколов: «Ах, я и не знал, что вы в городе. Вы домой? Я вас подвезу». Я говорю — нет, Н. Д., я не люблю казенных автомобилей; я ведь никакого отношения к власти не имею... «Что вы, это случайно, а мне нужно бы с вами поговорить...» Тут я ему прямо сказал, что, по-моему, он, сознательно или нет, столько зла сделал России, что мне трудно с ним говорить. Он растерялся, поглядел на меня глазами лани: «В таком случае я хочу длинного и серьезного разговора, я слишком дорожу вашим мнением, я вам позвоню». Так мы и расстались.

Голова у него до сих пор в ермолке, от удара солдатского.

Я долго с М. говорила.

Вот его позиция: *никакой революции у нас не было.* Не было борьбы. Старая власть саморазложилась, отпала, и народ оказался просто голым. Оттого и лозунги старые, вытащенные наспех из десятилетних ящиков. Новые рождаются в процессе борьбы, а процесса не было. Революционное настроение, ища выхода, бросается на призраки контрреволюции, но это призраки, и оно — беспредметно.

Кое-какая доля правды тут есть, но с общей схемой согласиться нельзя. И во всяком случае я не вижу *действенного* отсюда вывода. Как прогноз — это печально; не ждать ли нам второй революции, которая сейчас может быть только отчаянной — омерзительной?

К концу вечера пришли Ел. и К. С. Ел. и М. говорили довольно интересно.

М. опять излагает свою теорию о «небытии» революции, но затем я перевела на данный момент, с условием обсуждать сейчас нужные действия исключительно с точки зрения их *целесообразности.*

Сбивался, конечно, М. на обобщения и отвлеченности. Однако можно было согласиться, что есть два пути: воздействие внутреннее (разговоры, уговоры) и внешнее (военные меры). Первое сейчас неизбежно переливается в демагогию. Демагогия — это беспредельная (всякая) попытка поставить предел — уничтожает работу. М. отвергал и целесообразность этого «насилия над душами». Путь второй (внешние меры, «насилие над телами») — конечно, лишь отрицательный, т. е. могущий не двинуть вперед, но возвратить сошедший с рельсов поезд — на рельсы (по которым уже можно двигаться вперед). Но он не только бывает целесообразен: в иные моменты он *один* и целесообразен.

Собеседники соглашались во всем, но схватились за последнее: вот именно теперь — не момент. В принципе они совсем не против, но сейчас — за демагогию, которая нужна «как оттяжка времени». Ну, да, словом — «рано..» (вплоть до «поздно»).

Звучало это мутно, компромиссно... Бояться насилия над телами и нисколько не бояться насилия над душами?

Мне припомнилось: «Не бойтесь убивающих тело и более уже ничего не могущих сделать...»

...Потом я спрашивала Ел., что же Борис? Как суд над ним в ЦК? Пойдет? (Нынче он уехал в ставку дня на три.)

Борис, оказывается, отвечает формально: не могу, по моему фактическому положению, объясняться с откровенностью перед людьми, среди которых есть подозреваемые в сношениях с врагом.

Ну что же, ясно, что он прав.

23 августа. Среда

Вечером Д. В., оставшийся в городе, часов около 12 сидел в столовой (пишу по его точной записи и рассказу). Постучали во входную дверь. Дима решил, что это Савинков, который всегда так приходил. (Дверь от столовой близко, а звонок прислуге очень далеко.)

Подойдя к двери, Дима, однако, сообразил, что Савинков — на фронте, в ставке, а потому окликнул:

— Кто там?

— Министр.

Голоса Дима не узнает. Открывает дверь на полуосвещенное pallier.

Стоит шофер, в буквальном смысле слова: гетры, картуз. Оказывается Керенский.

Кер. Я к вам на одну минуту...

Дим. Какая досада, что нет Мережковскнх, они сегодия уехалн на дачу.

Кер. Ничего, я все равно на одну мннуту, вы им передаднте, что я благодарю их и вас всех за письмо.

Переходят в гостниую. Керенскнй шагает во всю длниу, Д. В. за ннм.

Дим. Письмо напнсано коротко, без мотивов, но зто итог долгих размышленнй.

Кер. А все-такн оно недодумано. Мне трудно, потому что я борюсь с большевнкамн левыми н большевнкамн правымн, а от меия требуют, чтобы я опирался иа тех нлн другнх. Или у меня армия без штаба, илн штаб без армии. Я хочу идти посереднне, а мне не помогают.

Дим. Но выбрать надо. Илн вы бернте иа себя перед «товарнщами» позор обороны н тогда гоиите в шею Чернова, илн заключайте мнр. Я вот зти дии все думаю, что мнр прндется заключнть...

Кер. Что вы говорнте?

Дим. Да как же нначе, когда войиу мы вестн не можем и не хотим. Когда ведешь войну, иечего разбнрать, кто помогает, а вы бонтесь большевиков справа.

Кер. Да, потому что оии ндут на разрыв с демократией. Я зтого не хочу.

Дим. Нужиы уступкн. Жертвуйте большевнкамн слева, хотя бы Чериовым.

Кер. (со злобой). А вы поговорнте с вашимн друзьямн. Это онн посадили мие Чернова...

...Ну что я могу сделать, когда... Чериов — мне навязан, а большевики все больше подымают голову. Я говорю, конечно, не о сволочи нз «Новой жизнн», а о рабочнх массах.

Дим. И у иих новый прием. Я слышал, что онн пользуются рижским разгромом. Говорят: вот, все ндет по-иашему, мы требовали, чтобы 18 июия ие иачниали иаступления...

Кер. Да, да, зто н я слышал.

Дим. Так прнннмайте же меры! Громите их! Помннте, что вы всенародный презндент республикн, что вы над партиямн, что вы нзбранннк демократии, а ие социалистическнх партнй.

Кер. Ну, конечно, опора в *демократии,* да ведь мы иичего социалнстнческого н не делаем. Мы просто ведем демократнческую программу.

Дим. Ее че вндно. Оиа иикого не удовлетворяет.

Кер. Так что же делать с такнмн тнпамн, как Чериов?

Дим. Да властвуйте же иаконец! Как президеит — вы должиы составлять подходящее мнннстерство.

Кер. Властвовать! Ведь зто значнт изображать самодержца. Толпа нмеино зтого н хочет.

Дим. Не бойтесь. Вы для нее снмвол свободы и власти.

Кер. Да, трудно, трудио...— Ну, прощайте. Не забудьте поблагодарить З. Н. н Д. С.

Далее Д. В. прнбавляет:

«Ушел так же стремнтельно, как н пришел. Перемеиа в лице у него громадная. Впечатлеиие морфнномана, который может понимать, оживляться только после впрыскнвання. Нет даже уверенности, что он слышал, запомнил наш разговор. Я встретнл его ласково н вообще «подбодрял».

...Все, говорнт Д. В., там в паннке, даже Зензннов. Весь город ждет выступлення большевнков. Ощущенне, что *никакой власти нет*.

Карташев в паннке сугубой, фаталистнческой: «Все пропало».

...Странен темп нстории. Кажется — вот-вот что-то случится, предел... Аи — длится. Илн душит, душнт, н конца краю не видать,— ан хлоп, все сразу валнтся, н не успел даже подумать, что, мол, все валится,— как оио уже свалеио, коичеио, лежит.

В общем, конечно, знаешь,— но ошнбаешься в диях, в неделях, даже в месяцах.

Пишу 31 августа (Четвр.)

Дни 26 августа, 29-го и 30-го — ошеломляющие по событиям (т. е. начиная с 26 августа).

Утром я выбежала в столовую: «Что случилось?» Д. В.: «А то, что генерал Корнилов потерял терпение и повел войска на Петербург».

В течение трех дней загадочная картина то прояснялась, то запутывалась. Главное-то было явно через 2—3 часа, т. е. что лопнул нарыв вражды. Керенского к Корнилову (не обратно). Что нападающая сторона Керенский, а не Корнилов. И, наконец, третье: что сейчас перетянет Керенский, а не Корнилов, не ожидавший прямого удара.

Утопая в куче противоречивых фактов, останавливаясь перед явными провалами — неизвестностями, перед явными Х-ами, отмахиваясь от сумасшедшей истерики газет,— я пытаюсь слепить из кусочков действительности образ того, что произошло *на самом деле.*

И пока намеренно воздерживаюсь от *всякой* оценки (хотя внутри она уже складывается). Только то, что знаю *сейчас.*

26-го, в субботу, к вечеру, приехал к Керенскому из ставки Вл. Львов (бывший об.-прокурор синода). Перед своим отъездом в Москву и затем в ставку, дней 10 тому назад, он тоже был у Керенского, говорил с ним наедине, разговор неизвестен. Точно так же наедине был и второй разговор с Львовым, уже приехавшим из ставки. Было назначено вечернее заседание: но когда министры стали собираться в Зимний дворец, из кабинета вылетел Керенский, один, без Львова, потрясая какой-то бумажкой с набросанными рукой Львова строками, и, весь бледный и «вдохновенный», объявил, что «открыт заговор ген. Корнилова», что это тотчас будет проверено и ген. Корнилов немедленно будет смещен с должности главнокомандующего как «изменник».

Можно себе представить, во что обратились фигуры министров, ничего не понимавших. Первым нашелся услужливый Некрасов, «поверивший» на слово г-ну премьеру и тотчас захлопотавший. Но, кажется, ничего еще не мог понять Савинков, тем более что он лишь в этот день сам вернулся из ставки, от Корнилова. Савинкова взял Керенский, к прямому проводу, соединились с Корниловым: Керенский, заявив, что рядом с ним стоит В. Львов (хотя ни малейшего Львова *не было*), запросил Корнилова: «Подтверждает ли он то, что говорит от него приехавший и *стоящий перед проводом Львов*». Когда выползла лента с совершенно покойным «да» — Керенский бросил все, отскочил назад, к министрам, уже в полной истерике, с криками об «измене», о «мятеже», о том, что немедленно он смещает Корнилова и дает приказ о его аресте в ставке.

Тут я подробностей еще не знаю, знаю только, что Керенский *приказал* Савинкову продолжать разговор с Корниловым и на вопрос Корнилова, когда Керенский с членами пр-ва прибудет, как условлено, в ставку,— отвечал: «Приеду 27-го». Приказал так ответить — *уже посреди* всей этой бучи, *уже* крича и думая об аресте Корнилова, а не о поездке к нему. Объяснил, что это «необходимая уловка», чтобы пока — Корнилов ничего не подозревал, не знал, что все открыто (???). Карташев присутствовал при разговоре этом, стоял у провода.

Опять не знаю никаких дальнейших точных подробностей сумасшедше-истерического вечера. Знаю, что к Керенскому даже Милюкова привозили, но и тот отступился, не будучи в состоянии ни толку добиться, ни каким бы то ни было способом уяснить себе, в чем дело, ни задержать поток действий Керенского за фалды, чтобы иметь минуту для соображения,— напрасно! Он визжал свое, не слушая и, вероятно, даже физически не слыша никаких слов, к нему обращенных.

По отрывочным выкрикам Керенского и по отрывочным строкам невидимого Львова (арестован), набросанным тут же, во время свидания,— выходило как будто так, что Корнилов как будто послал Львова к Керенскому чуть ли не с ультиматумом, с требова-

нием какой-то диктатуры, или директории, или чего-то вроде этого. Кроме этих, крайне сбивчивых, передач Керенского, министры не имели никаких данных и никаких ниоткуда сведений; Корнилов только подтвердил «то, что говорил Львов», а «что́ говорил Львов» — никто не слышал, ибо никто Львова так и не видал.

До утра воскресенья это не выходило из стен дворца; на другой день министры (чуть ли там не ночевавшие) вновь приступили к Керенскому, чтобы заставить его путем объясниться, принять разумное решение, но... Керенский в этот день окончательно и уже бесповоротно огорошил их. Он *уже послал* приказ об отставке Корнилова. Ему велено немедля сложить с себя верховное командование. Это командование принимает на себя сам Керенский. *Уже* написана (Некрасовым, «не видевшим, но уверовавшим») и разослана телеграмма «всем, всем, всем», объявляющая Корнилова «мятежником, изменником, посягнувшим на верховную власть», и повелевающая никаким его приказам не подчиняться. Наконец, для полного вразумления министров, стоявших с открытыми ртами, для отнятия у них последнего сомнения, что Корнилов мятежник, и изменник, и заговорщик,— открыл им Керенский: «С фронта уже двинуто на Петербург несколько мятежных дивизий», они уже идут. Необходимо организовать оборону «Петрограда и революции».

Только что ошеломленные министры хотели и это как-нибудь осмыслить — «верующий» Некрасов вырвался к газетчикам и жадно, со смаком, как первый вестник, объявил им все, вплоть до всероссийского текста о гнусном «мятеже» и об опасности, грозящей «революции» от корниловской дивизии.

И «революционный Петроград» с этой минуты забыл от отдыхе: единственный раз, когда газеты вышли в понедельник. Вообще — легко представить, что иачалось. «Правительственные войска» (тут ведь не немцы, бояться нечего) весело бросились разбирать железные дороги, «подступы к Петрограду», Красная гвардия бодро завооружалась, кронштадтцы («краса и гордость русской революции») прибыли немедля для охраны Зимнего дворца и самого Керенского — (с крейсера «Аврора»).

Корнилов, получив нежданно и негаданно — как снег на голову — свою отставку, да еще всенародное объявление его мятежником, да еще указания, что он «послал Львова к Керенскому»,— должен был в первую минуту подумать, что кто-то сошел с ума. В следующую минуту он возмутился. Две его телеграммы представляют собою первое настоящее сильное слово, сказанное со времени революции. Он там называет вещи своими именами... «телеграмма министра-председателя является во всей своей первой части сплошной ложью. Не *я* послал В. Львова к Вр. пр-ву, а *он* приехал ко мне, как посланец мин-ра-пред.»... «так совершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу отечества...»

Не ставит. Решает. Уже решила. Я поклялась воздерживаться от выводов... Ибо не все еще знаю. Но *это* я знаю, ведь уже с первого момента всем видно было, что НЕТ НИКАКОГО КОРНИЛОВСКОГО МЯТЕЖА. Я фактически не знаю, что́ говорил Львов, и вообще не знаю (кто знает?) этот инцидент, но абсолютно не верю ни в какие «ультиматумы». Дурацкий вздор, чтоб Корнилов ни с того ни с сего послал их с Львовым! А что касается «мятежных дивизий», идущих на Петроград, то не нужно быть ни особенным психологом, ни политиком, а довольно иметь здравое соображение, чтобы, зная детально все предыдущее со всеми действующими лицами,— догадаться: эти дивизии, по всем признакам, шли в Петербург *с ведома* Керенского, быть может, даже по его условию с Корниловым через Савинкова (который только что ездил в ставку) ибо: 1) на очереди были меры корниловской записки, ее Керенский всякий день намеревался утвердить, а это предполагало посылку войск с фронта; 2) бесспорно ожидался в Петербурге — самим Керенским — большевистский бунт, ожидался ежедневно, и это само собой разумело войска с фронта.

Я почти убеждена, что знаменитые дивизии шли в Петербург для Керенского — с его полного ведома или по его формениому распоряжению.

Поведение же его столь сумасшедше-фатально, что... это уже почти не вина, это какой-то Рок.

«Керенский в эти минуты был жалок...» — говорит Карташев.

Но не менее, если не более, жалки были и окружающие этого опасно обезумевшего человека. Ничего разумно не понимающие (да и можно ли понять?), чующие, что перед ними совершается непоправимое,— и бессильные что-нибудь сделать.

Действительно, с того момента, как на всю Россию раздался крик Керенского об «измене» главнокомандующего,— все стало непоправимым. Возмущенный Корнилов послал свои воззвания с отказом «сдать должность». Лихорадочно и весело «революционный гарнизон» стал готовиться к бою с «мятежными» дружинами, которые *повел* Корнилов на Петроград. Время ли, да и кому было задумываться над простым вопросом: как это «*повел*» Корнилов свои войска, когда сам он спокойно сидит в ставке? И что это за «войска» — много ли их? Годные весьма для приструнивания «большевистских» здешних трусов, для укрепления существующей власти, но что же это за несчастный «заговорщик», посылающий горсточку солдат для борьбы и свержения всероссийского правительства, чуть ли не для «насаждения монархизма?»

Полагаю, если бы черные элементы ставки имели на Корнилова серьезное влияние, если бы Корнилов вместе с ними начал «заговор»,— он был бы немного иначе обставлен, не столь детски (хотя успех его и тогда для меня еще под сомнением).

Но я продолжаю пока летучие факты.

«Кровопролития» не вышло. Под Лугой, и еще где-то, посланные Корниловым дивизии и «петроградцы» встретились. Недоумело постояли друг против друга. Особенно изумлены были «корниловцы». Идут «защищать Временное правительство» и встречаются с «врагом», который идет «защищать Временное правительство» тоже,— и то же. Ну, постояли, подумали: ничего не поняли; только, помня уроки агитаторов на фронте, что «с врагом надо брататься», принялись и тут жадно брататься.

Однако торжественный клич дня: «Полная победа петроградского гарнизона над корниловскими войсками».

Да, произошло громадной важности событие; но все целиком оно произошло *здесь*, в Петербурге. Здесь громыхнулся камень, сброшенный рукой безумца, отсюда пойдут и круги. Там, со стороны Корнилова, просто НЕ БЫЛО НИЧЕГО.

Здесь все началось, здесь будет и доигрываться. Сюда должны быть обращены взоры. Я — созерцатель и записчик — буду смотреть со вниманием на здешнее. Кто хочет и еще надеется действовать — пусть тоже пытается действовать здесь.

Но что можно еще сделать?

Наш Борис (пишу внешние факты) был назначен петерб. ген.-губернатором. Пробыл три дня. Сегодня уже ушел от всех должностей. Предполагаю, что его не пожелала всесильная теперь советская «демократия». Такая удача привалила — «корниловщина»! — да чтоб тут сразу и ненавистного Савинкова не сбросить?

Но и Керенский теперь всецело в руках максималистов и большевиков. Кончен бал. Они уже не «подымают голову», они сидят. Завтра, конечно, подымутся и на ноги. Во весь рост.

1 сентября. Пятница

Встали. Стоят. Скоро поднимутся и на цыпочках, еще выше станут.

За это время все министры только и делают, что подают в отставку. (Я их понимаю — ничего-то не понимая!)

Чернов сразу ушел «по политическим обстоятельствам» (?). Остальные перемещались, уходили, приходили, то скопом, то в одиночку... Керенский между тем не уставая громил

«изменника» на всю Россию, отрешал, предавал суду и т. д. Назначил Алексеева под себя, а сам сделался главнокомандующим. Почему мне вспоминается Николай II? Не похоже — и странно соединено, в каком-то таинственном аккорде (как их два лица, когда-то, рядом — в моем зеркале). И еще... Последние акты всех трагедий почти всегда похожи, сходствуют — при разности. *Последние акты.*

Керенский стал снова тяпать «коалицию» (судя по газетам; подтверждений не имею, но, очевидно, так). Совсем было стяпал с тремя кадетами, затем Барышниковым, Коноваловым... Но тут опять явились будто бы «товарищи от ЦК» и прекратили все. В смятении полуназначенные и полуоставшиеся министры потекли из Зимнего дворца. Кого назад покличут?

Большевикам широко открыли двери тюрьмы (немного их там и оставалось, но все же — всему остатку). Они требуют «всех долой»: кадетов и буржуазию немедленно арестовать; Алексеева, который послан арестовывать Корнилова,— арестовать, и т. д.

Теперь их требования фактически опираются на Керенского, который сам опирается... на что? На свое бывшее имя, на свою репутацию в прошлом? Оседает опора...

Дело идет к террору. В газетах появились белые места, особенно в «Речи» (кадеты ведь тоже считаются «изменниками»). «Новое время» вовсе закрыли.

Ни секунды я не была «на стороне Корнилова» уже потому, что этой «стороны» вовсе не было. Но и с Керенским — рабом большевиков, я бы тоже не осталась. Последнее — потому, что я уже совершенно не верю в полезность каких-либо действий около него. Зная лишь внешние голые факты — объясняю себе поступок Бориса, остававшегося у Керенского (лишь через 3 дня удаленного) двояко: может быть, он еще верил в действие, а если верить — то, конечно, оставаться здесь, у истока происшествия, на месте преступления; быть может, также Борис, учитывая всеобщую силу гипноза «корниловщины», сотворения бывшим—небывшего, увидел себя (если б сразу ушел) в положении «сторонника Корнилова» — против Керенского. То (пусть призрачное) положение — именно то, которое он для себя отвергал. «Если Корнилов захочет один спасать Россию, пойдет против Керенского...— это невероятно, но, допустим,— я, конечно, не останусь с Корниловым. Я в него без Керенского не верю...» (Это он говорил в начале августа.) И вышло, как по нотам. «Невероятное» (выступление Корнилова) не случилось, но оказалось «допустимым». *Как бы* случившимся. И Борис не мог *как бы* остаться с Корниловым.

А то, что он остался с Керенским, уж само собой вышло тоже «как бы».

Теперь или ничего не делать (деятелям), или свергать Керенского. Х. тотчас возражает мне: «Свергать! А кого же на его место? Об этом надо раньше подумать». Да, нет «готового» и «желанного», однако эдак и Николая нельзя было свергать. Да всякий лучше теперь. Если выбор — с Керенским или без Керенского валиться в яму (если уж «поздно»), то, пожалуй, все-таки лучше без Керенского.

Керенский — самодержец-безумец и теперь раб большевиков.

Большевики же все, без единого исключения, разделяются на:

1) тупых фанатиков;

2) дураков природных, невежд и хамов;

3) мерзавцев определенных и агентов Германии.

Николай II — самодержец-упрямец...

Оба положения имеют один конец — *крах.*

7 сентября. Среда

Данный момент: устроить правительство Керенского так и не позволили — Советы, окончательно обольшевичевшиеся, черновцы и всякие максималисты, зовущие себя почему-то «революционной демократией». Назначили на 12-е число свое великое совещание, а пока у нас «совет пяти», т. е. Керенского с четырьмя ничтожествами. Некоторые бывшие министры не вовсе ушли — остались «старшими дворниками», т. е. управляющими

министерствами «без входа» к Керенскому (!). Только Чернов ушел плотно. чтобы немедля начать кампанию против того же Керенского. Он хочет одного: сам быть премьером. Ну, в «социалистическом министерстве», конечно, в коалиции с... большевиками. После съедения Керенского.

Я сказала, что теперь «всякий будет лучше Керенского». Да, «всякий» лучше для борьбы с контрреволюцией, т. е. с большевиками. Чернов — объект борьбы, он сам — контрреволюция, как бы сам большевик.

«Краса и гордость» непрерывно орет, что она «спасла» Вр. пр-во, чтобы этого не забывали и по гроб жизни были ей благодарны. Кто, собственно, благодарен — неизвестно. ибо никакого прежнего пр-ва уже и нет, один Керенский. А Керенского эта «краса», отнюдь не скрываясь, хочет съесть.

Петербург в одну неделю сделался неузнаваем. Уж был хорош! — но теперь он воистину страшен. В мокрой черноте кишат — буквально — серые горы солдатского мяса: расхлястанные, грегочущие и торжествующие... люди? Абсолютно праздные, никуда не идущие даже, а так шатающиеся и стоящие, распущенно-самодовольные.

Вот и у Бориса и Л. (они за это время уже успели как-то соединиться).

Картина всего происшедшего, нарисованная раньше, в общем так *верна*, что я почти ничего не имею прибавить. Корнилов как не был «мятежником», так им и не сделался. В момент естественного возмущения Корнилова всей «провокацией» черные элементы ставки пытались, видимо, использовать это возмущение известным образом. Но влияние их на Корнилова было всегда так ничтожно, что и в данный час не оказало действия. Говорят, что знаменитые телеграммы-манифесты редактированы Завойко. Но это абсолютно безразлично, ибо они остаются настоящим, истинным криком благородного и сильного человека, пламенно любящего Россию и свободу. Если бы Корнилов не послал этих телеграмм, если бы он сразу, бессловно, покорился и тотчас по непонятному, единоличному приказу Керенского стал «сдавать должность» — как знающий за собой вину «изменник» — *это был бы не Корнилов.*

И если б теперь он не понял, что «провокация» остается провокацией, но что дело обернулось безнадежно, что разъяснить ничего нельзя; если б он сейчас еще пытался бороться или бежал — это был бы не Корнилов. Я думаю, Корнилов так спокойно дождался Алексеева, приехавшего смещать и арестовывать его,— именно потому, что слишком уверен в своей правоте и смотрит на суд как на прямой выход из темной и недоразуменной запутанности оплетших его нитей. Это опять похоже на Корнилова. Боюсь, что тут ошибется его честная и наивная прямота. Еще какой будет суд. Ведь если он будет настоящий, высветляющий — он должен безвозвратно осудить Керенского.

Борис рассказывает: *только в ночь на субботу*, 26-е, он вернулся из ставки от Корнилова. Львова там видел, мельком. Весь день пятницы провел в «торговле» с Корниловым из-за границ военного положения. Керенский поручил Савинкову выторговать Петроградский округ, и Савинков, с картой в руках, выключал этот округ, сам, говорит, понимая, что делаю идиотскую и почти невозможную вещь. Но так желал Керенский, обещая, что «если, мол, эта уступка будет сделана»... С величайшими трудами Савинкову удалось добиться такого выключения. С этим он и вернулся от совершенно спокойного Корнилова, который уже имел обещание Керенского приехать в ставку 27-го. Все по расчету, что «записка» (в которую, кроме вышесказанного ограничения, были внесены некоторые и другие уступки по настоянию Керенского) будет принята и подписана *26-го*. Ко времени ее объявления — 27—28 — подойдут и надежные дивизии с фронта, чтобы предупредить беспорядки. (3—5 июля, во время первого большевистского выступления, Керенский рвал и метал, что войска не подошли вовремя, а лишь к 6-му.)

Весь этот план был не только известен Керенскому, но при нем и с ним созидался.

Только одна деталь, относительно корниловских войск, о которой Борис сказал:

— Это для меня не ясно. Когда мы уславливались точно о посылке войск, я ему указал, чтобы он не посылал, во-первых, своей «дикой» дивизии (текинцев) и, во-вторых,— Крымова. Однако он их послал. Я не понимаю, зачем он это сделал...

Но возвращаюсь к подробностям дня субботы. Утром Борис тотчас сделал обстоятельный доклад Керенскому. Ничего определенного в ответ не получил, ушел. Через несколько часов вернулся, опять с тем же — и опять тот же результат. Тогда Борис настоятельно попросил позволения сказать г. министру несколько слов наедине. Все вышли из кабинета. И в третий раз Савинков представил весь свой доклад, присовокупив: «дело *очень* серьезно»...

На это Керенский бросил бумаги в стол, сказав, что «хорошо, он решит дело в вечернем заседании Вр. правительства».

Но ранее этого заседания, *за час*, приехал Львов... и воспоследовало то, что воспоследовало.

Истерика, в эти часы, Керенского трудно описуема. Все рассказы очевидцев сходятся. Не один Милюков был туда привезен: самые разнообразные люди все время пытались привести Керенского в разум хоть на одну секунду, надеясь разъяснить «чертово недоразумение»,— тщетно; Керенский уже ничего не слышал. Уже было сделано, сказано непоправимое.

Однако голым безумием да истерикой не объяснишь действий Керенского. Заведомой злой хитростью, расчетливо и обманно схватившейся за возможность сразу свалить врага,— тоже. Керенский — не так хитер и ловок, недальновиден. Внезапным, больным страхом, помутняющим зрение, одним страхом за себя и свое положение опять невозможно объяснить всего. Я решаю, что тут была сложность всех трех импульсов: и безумия, и расчетливого обмана, и страха. Сплелись в один роковой узор и были покрыты тем «керенским вдохновением», когда человек этот собою уже не владеет и себя не чувствует, а владеет им целостно дух... какой подвернется, темный или светлый. Нет, темный, ибо на комбинацию истерики, лжи и страха светлый не посмотрит. И дух темный давно уже ходит по пятам этого потерянного «вождя».

Я все отвлекаюсь. Я ведь еще не подчеркнула, что до сих пор то, из-за чего как будто запылал сыр-бор, совершенно не выяснено. Какой «ультиматум» привез от Корнилова Львов? Где этот ультиматум? И что это, наконец,— «диктатура»? Чья, Корнилова? Или это «директория»? Где доказательство, что Корнилов послал Львова к Керенскому, а не Керенский его — к Корнилову?

Где, наконец, сам Львов?

Это — одно, известно: Львов, арестованный Керенским, так с тех пор и сидит. Так с тех пор никто его и не видел, и никому он ничего не говорил, ничего не объяснил. Потрясающе!

Я спрашивала Карташева: но ведь перед своим отъездом в ставку Львов был у Керенского? Разговор их неизвестен. Но почему хоть теперь не спросить у Керенского, в чем он заключался?

Карташев, оказывается, спрашивал.

— Керенский уверяет, что тогда Львов бормотал что-то невразумительное и понять было нельзя.

Керенский «уверяет». А теперь уверяет, что вернувшийся Львов так вразумительно сказал о «мятеже», что сразу все сделалось бесповоротно ясно и в ту же минуту надлежало оповестить Россию: «Всем, всем, всем! Русская армия под командованием изменника!»

Нет, моя голова может от многого отказаться, но не от здравого смысла. И перед этим последним требованием я пасую, отступаю, немею.

Не понимаю. И только боюсь... будущего.

Ведь уже через два часа после объявления «корниловского мятежа» Петербург пред-

ставлял определенную картину. Победители сразу и полностью использовали положение.

Что касается Савинкова, то я с приблизительной точностью угадала, *почему* не мог он не остаться с Керенским, на своем месте. Не было двух сторон, не было «корниловской» стороны. Если б Савинков ушел от Керенского — он ушел бы «никуда»; но этому никто не поверил бы: его уход был бы только лишним доказательством бытия корниловского заговора. (Так же, как если б Корнилов — убежал.)

На своем новом посту генерал-губернатора Савинков сделал все, что мог, чтобы предотвратить хоть возможность недоразуменной бойни между идущими фронтовыми войсками и нелепо рвущимся куда-то гарнизоном (подстегивали большевики).

Через три дня Керенский по телефону, без объяснений причин, сообщил Савинкову, что он «увольняется от всех должностей».

Не соблюдены были примитивные правила приличия. Не до того. Да ведь все равно не скроешь больше, кто настоящая теперь власть, над нами и... над Керенским.

Последнее свидание «г. министра» с прогнанным «помощником» кратко и дико. Керенский его целовал, истеричничал, уверял, что «вполне ему доверяет...», но Савинков сдержанно ответил на это, что «он-то ему больше уже ни в чем не доверяет» *.

---

* *Примечание 1929 года.* В связи со всем, что в этой книге записано о *«деле Корнилова»*, будет небезынтересно остановиться на свидетельстве (сильно запоздавшем!) одного из его главных участников — А. Ф. Керенского. После двенадцати лет молчания Керенский решился, наконец, «вспомнить» эти страшные дни. В «Воспоминаниях» его (Совр. зап. 1929. Июль) есть кое-что поразительное, непонятное, достойное отметы.— Цепь своих действий Керенский передает весьма согласно моей записи и даже в описании своих «состояиий» кое-где приближается к моему рассказу, напр., при роковом визите Львова: «Не успел Львов кончить, *я уже не размышлял, а действовал...*» «...Я выхватил бумажку у него из рук (что-то тут же набросанное) и спрятал ее в карман своего френча...» и т. п. Не обошлось, положим, и тут, в фактической стороне, без искажений и своеобразных умолчаиий (см. мою запись от 19 окт. 17 г.,— объяснения только что выпущенного Львова). Обходя молчанием одни факты, касаясь иных вскользь (знаменитой записки Корнилова, роли Савинкова),— Керенский зато говорит о «монархическом заговоре», о намерении Корн. свергнуть Вр. пр. и убить его, Керенского,— как о *факте несомненном*; доказательств, впрочем, не приводит, и большинство людей, доносивших ему о заговоре, не названы. Утверждение, хотя бы бездоказательное, хотя бы ведущее к великой путанице в рассказе,— со стороны Керенского еще понятно, ввиду цели мемуариста — оправдать себя, свою роль в этой темной истории. Но уже совершенно непонятно, для чего Керенский, не останавливаясь, начинает рисовать картины действительности в таком абсолютно-ложном виде, что невольно поражаешься: ведь слишком известен всем их подлинный вид. С каким расчетом — или в каком «состоянии» — можно сегодня серьезно писать, например, что в августе 17 года России уже не грозило ни малейшей опасности от большевиков, «загнанных в подполье», что Вр. прав. вполне овладело армией, страной, рабочими, крестьянами, что только «мятеж» Корнилова всю страну «мгновенно» вернул к анархии (и воскресил большевиков)?! Таково исходное положение мемуаров Керенского...

Но *права* имеют объективную силу. И, повинуясь ей, против Керенского встали даже такие друзья, которые, в недавней защите его против «корниловщины» моего дневника, не постеснялись заподозрить подлинность записи. Ныне о странном рисунке положения Керенского в «Последн. нов.» говорится: «Просто даже неловко доказывать, что оно не имеет ничего общего с той реальной действительностью, которая была тогда, в августе 17 г.». И далее, после указаний на все противоречия, в которых запутался Керенский: «И для слепого ясно, что с самого начала революции до октября 17 г. в России реальна была лишь одна опасность, опасность *«левая»*.

Да, «и для слепого ясно...» И для него ясно, чего стоят «воспоминания» Керенского, возлагающего всю вину за падение России на погибшего Корнилова, на его «мятеж», в котором Керенский «сразу увидел смертельную опасность для государства...», хотя, по его же словам, в тех же «воспоминаниях», нисколько этой опасности не боялся» (??)

От меня, впрочем, далека теперь мысль «возлагать» какие-нибудь вины и на Керенского. Меня интересует, как всегда, только правда. В сознательном или бессознательном состоянии отступает от нее Керенский — я не догадываюсь, да это и не имеет значения. Во всяком случае — отступил он от правды без всякой пользы и для себя и для журнала, напечатавшего «воспоминания». (*З. Г.*).

10 сентября. Воскресенье

Все дальнейшее развивается нормально. Травля Керенского Черновым началась. И прямо, и перекидным огнем. Вчера были прямые шлепки грязи («Керенский подозрителен» и т. п.), а сегодня — «Керенский — жертва» в руках Савинкова, Филоненко и Корнилова, «гнусных мятежников и контрреволюционеров», пытавшихся уничтожить демократию и превратить «страну в казарму». Эти «гнусные черносотенные замыслы», интриги, подготовление восстания и мятежа велись за «спиною Керенского», говорит Чернов (сегодня, а завтра в «Деле» Чернова опять пойдет непосредственная еда и Керенского).

Ах, дорогие товарищи, вы ничего не знали? Ни о записке, ни о колебаниях Керенского, ни о его полусогласиях — вы не знали? Какое жалкое вранье! Не выбирают средств для своих целей.

Президиум Совета раб. и солд. (Чхеидзе, Скобелев, Церетели и др.) на днях, после принятия большевистской резолюции, ушел. Вчера был поставлен на переизбрание и — провалился. Победители — Троцкий, Каменев, Луначарский, Нахамкес — захлебываются от торжества. Дело их выгорает. «Перевернулась страница»... да, конечно...

Керенский давно уехал в ставку и там застрял. Не то он переживает события, не то подготовляет переезд пр-ва в Москву. Зачем? Военные дела наши — хуже нельзя (вчера — обход Двинска), однако теперь и военные дела зависят от *здешних* (которые в состоянии, кажется, безнадежном). Немцы, если придут, то в зависимости от здешнего положения. И все же не раньше весны. Слухам о мире даже «на наш счет» — мало верится, хотя они растут.

Я делаю ошибку, увлекаясь подробностями происходящего, так как всего, что мы видим и слышим, всего, что делается, меняясь каждый час,— записать я не имею просто физической возможности. Будем же сухи и кратки.

Два слова о Крымове (которого Борис, уславливаясь с Корн. о присылке войск, просил не посылать и который почему-то был все-таки послан).

Когда эти защитные войска были объявлены «мятежными» и затем «сдавшимися», Крымов явился к Керенскому. Выйдя от Керенского — он застрелился... «Умираю от великой любви к родине...» Беседа их с Керенским неизвестна (опять «неизвестна»! Как разговор с Львовым).

Этот Крымов участвовал в очень серьезном военно-фронтовом заговоре против Николая II перед революцией. Заговору помешала только разразившаяся революция.

А насчет Львова, который так и сидит, так и невидим, так и остается загадочнейшим из сфинксов,— пустили версию, что он «клинически помешан». Я думаю, это сами г-да министры, которые продолжают ничего не понимать — и не могут так продолжать ничего не понимать. Не могут верить, что Корнилов послал Львова к Керенскому с ультиматумом (разум не позволяет); и не смеют поверить, что он никакого ультиматума не привозил (честь не позволяет), ведь если поверили, что не привозил,— то как же они кроют обман или галлюцинацию Керенского, ездят в Зимний дворец, не уходят и не орут во все горло о том, что произошло?

А такой выход, что «Львов — помешанный», что-то наболтал, на что-то, случайно, натолкнул, Керенский вскипел и поторопился, конечно, но... и т. д.,— такой выход несколько устраивает положение, хотя бы временно... А ведь и правительство-то «временное»...

Я это отлично понимаю. Многие разумные люди, истомленные атмосферой нелепого безрассудства, с облегчением схватились за этот лжевыход. Ибо — что меняется, если Львов сумасшедший? Тем страшнее и стыднее: от случайного бреда помешанного перевернулась страница русской истории. И перевернул ее поверивший сумасшедшему. Жалкая была бы картина!

Но и она — попытка к самоутешению. Ибо я твердо уверена (да и каждый трезвый и

честный перед собой человек), что:

1) нисколько Львов ие сумасшедший;

2) иикаких он ультиматумов не привозил.

Поздно веч. 10-го же

Дай Бог завтра вырваться на дачу. Эти дни сплошь Борис, Ляцкий и все другие. Страшная обида, что мы уезжаем (далеко ли?), особенио ввиду плапов Бориса с газетой. В них боюсь верить; во всяком случае об этом — после.

Сейчас мне рассказывали (с омерзением) зиакомые, как 3—5 июля у иих «скрывался» дрожащий Луначарский, до «поганости» перетрусивший, и все трясся, куда бы ему уехать, и все врал, нагадив.

Часа в 4 сегодня был Карташев — только что подал в отставку. Опять! Если опять с тем же результатом... Ведь уж сколько их подавали...

Мотивировал, что «при засилии крайних социалистических элемеитов...» и т. д.

Терещенко уговаривал: ах, подождите, приедет Керенский — мы вместе подадим, будет демонстрация. Этот никогда даже и не подаст.

Вечером Карташев уехал в Москву, чтобы там сдать дела своему товарищу С. Котляревскому. Жаль, Карташев тут очень вмешал свое юное кадетство, к которому относится прозелитически-горячо. Il est plus miluqué, que Milukoff *.

Но и за то спасибо, что освободился... если освободился. Останется.

18 сеит. Поиедельник

«...Демократическое совещание в Александринке началось 14-го. Длится. Жалко. Сегодня оно какое-то параличное. Керенский тоже в параличе. Правительства иет. Дем. сов. хочет еще родить какой-то Предпарламент. Чем все кончится — можно предугадать, ио... смертельиая лень предугадывать.

20 сеитября. Среда

Затяжная скука (иесмотря на всю остроту, невероятную, положения).

Вчера Борис. У него теперь проект соединения с казаками (и если не выйдет с ними газета — ехать на Дон). На это соединение я гляжу весьма сомиительио. Не только для нас, но и для него. Жечь корабли надо, ио разумно ли все? И какая такая газета будет иметь «видимость»? Целесообразно ли рыть хотя бы «видимую» пропасть между собою и праведно откалывающейся частью эсэров, стоящих иа верном пути? Не следует ли сейчас говорить самые *правые* вещи — в *левых* газетах? Не это ли только имеет значение?

Демокр. сов. позорно провалилось. Сначала незначительным большииством (вчера вечером) высказалось «за коалицию». Потом идиотски стало голосовать — «с к. д.» или «без». И решило — «без». После этого внезапно громадиым большинством все отменило. И, накоиец, решило не разъезжаться, «пока чего-нибудь ие решит».

Сидит... в количестве 1700 человек, абсолютно глупо и зверски.

И Керенский сидит... ждет. Правительства нет.

Сейчас был Карташев, приехавший из Москвы.

Он как бы ушел... а в сущности нет. Заиимается ведомством, отставка его не прииията, «соборники» и синодчики всполошились, как бы к церкви ие был приставлен «революционер», «социалист», т. е. «не верующий в нее». Послали митр. Платона к Керенскому, с просьбой оставить им Карташева. (Т. е. *не* революционера, *не* социалиста, верующего в церковь.)

Мие все так же, если не больше, жаль Карташева, его ценность.

Он весь в кадетском прозелитизме (его вечная «добросовестность»). И совершеиио наивно говорит: «Конечно, если верующий (тут подразумевается «верующий в Бога»).—

* Он более Милюков, чем сам Милюков (*фр.*).

то только и может быть кадет. Какой же социалист — религиозный»...

Звонит Л. Не может приехать, сидит в типографии, где у него «начались большевистские беспорядки» (?).

Свидание наше с «казаками» по поводу газеты будет завтра, у нас. Хорошо, если б они не понадобились. А газета нужна.

Д. В. от всего отстраняется. Дмитрий весь в мгновенных впечатлениях, линии часто не имеет.

Позднее, 20-го же

Л. таки был. Арестовал кучу самых погромных прокламаций. Грозил закрыть типографию.

Привез показания Савинкова по корниловскому делу. Они очень точны и правдивы. Ничего нового для этой книги. Только детали.

Говорили много о Савинкове. Л. недурно его нащупывает.

Гораздо позднее, около 1 часу, телефонировал Борис. На собрании «Воли народа», где он только что был, получилось странное сообщение: что будто *президиум* Дем. совещания голосовал «коалицию» и большинством 28 голосов (59 и 31) высказался *против*, после чего будто бы Керенский «сложил полномочия». Удивляюсь, не разбираюсь, спрашиваю:

— Что же теперь будет?

— Да ничего... будет Авксентьев.

(Борис мог бы ответить мне совершенно так, как в 16-м году, кажется, или раньше ответил мне на подобный же вопрос Керенский, после роспуска Думы: «Будет то, что начинается с а... И конечно, сегодня А большое (Авксентьев) гораздо менее вероятно, нежели а маленькое... Будет не А...вксентьев, но а...нархия, все равно, «сложил» уже Керенский с себя какие-то «полномочия» или еще нет. Да и весть-то чепушистая.)

Вероятно, это в связи с дневным происшествием: Керенский прислал в президиум извещение — намерен сформировать кабинет и завтра его объявить.

На это было отвечено строго и внушительно, чтобы и думать не сметь. Нн-ни. Ни в каком случае.

21 сентября. Четверг

Два казака. Настоящие, здоровенные, под притолоку головами. У одного — обманно-юношеское лицо с коротким и тупым носом, с низким лбом под седеющими кудрями — лицо римской статуи. Другой — губы вперед, черные усы, казак и казак.

Не глупые (по-моему — хитрые), не сложные, знающие только здравый смысл. Знающие свое, такое далекое всяким «нам» с нашими интеллигентскими извилинами, далекое всяким газетам, всякому Струве, Амфитеатрову... да и самой «политике» в настоящем смысле слова.

Это те «правофланговые», с которыми faute de mieux * хочет соединиться Борис для газеты. В их газете уже сидит Амфитеатров, но они смотрят на него столь же невинными глазами, как и на газету и на нас.

Были, кроме них и Бориса,— Карташев, Л., М. и Филоненко.

Два слова о Филоненко, из-за которого, между прочим, тоже воевал Борис с Керенским, отстаивал его. Этот Филоненко уже не в первый раз у нас, его и раньше Савинков привозил на газетные совещания. (Я просила привезти его, ибо хотела видеть, в чем штука, что за человека Борис так яростно отстаивает.)

Должна сказать, что он производит очень *неприятное* впечатление. И не только на меня, но на всех нас, даже на Л. Небольшой черный офицер, лицо и голова — не то что некрасивы, но есть напоминающее «череп». Беспокойливость взгляда и движений (быть

* За неимением лучшего (*фр.*).

может, после корниловской истории он несколько «не в себе», недаром пнсал в газеты какие-то декадентски-невразумительные и «лирические» письма; а может, и онн — наигранное). Присматриваясь и разбираясь, вне «впечатлений», иахожу: он очень не глуп, даже в известном смысле тонок, и *совершенно* не заслуживает доверия. Я ровно ничего о нем не знаю и уж, конечно, никакого его «дна» не знаю, однако вижу, что у него *два дна*. Почему так стоит за него Борис? Филоненко его ставленник, он был его помощнном иа фронте... это ничего бы не значило, но Филоненко так умно и тонко н непрерывно выражает полную преданность идеям, задачам и самому Борису лично. Борис *должен* этому поддаваться. Его и вообще-то «преданностью» весьма может связывать, но когда это грубо и человек глупый н маленький,— то кроме маленькой личной приятности и маленьких неудобств из этого ннчего не выходит. И Борис уже только смотрит свысока на этих вассалов. Филоненко же не таков: он, повторяю, так умно «предан», что не сразу разберешься. А это „tare“ * Бориса — весить людей отчасти и по их отношению к себе.

Я предполагаю (насколько видно), что Филоненко поставил свою карту на Савинкова. Очень боится (все больше и больше), что она будет бита. Другой же карты пока у него нет, и он еще не хочет отвлекаться для поисков ее. Но, конечно, исчезнет, решнв, что проиграл.

Мы нисколько не скрылн от Борнса, что Филоненко нам не нравится. Он даже обещал к нам его не прнвознть без дела **.

Что касается казаков н казачьей газеты, то я — против. Это не средство для достижения целей Бориса. Действовать «право» — надо, но действительна эта правнзна лишь нз левого угла.

Карташев бредит новым блоком направо — без предела. Нет, если спасать все-таки «стеиающую тварь» — нужна мера. А без меры — прежде всего *не выйдет*.

Никаких «полномочий» Керенский и не думал «складывать». Изобретают теперь Предпарламент и чтобы пр-во (будущее) перед ним отвечало. Занятие для Предпарламента готово одно (других не намечается): свергать правительства. Керенскнй согласен.

Большевики, напротнв, нн с чем не согласны. Ушли из заседання.

Предрекают скорую резню. И серьезную. Конечно! Очень серьезную.

На улице тьма, почти однннаковая н днем н ночью. Склизь.

Уехать бы завтра на дачу. Там сияющне золотом березы и призрак покоя.

Призрак, ибо и там все думаешь об одном и пишутся такие стихн, как «Гибель»: «Близки кровавые зрачки... дымящаяся пасть... Погибнуть? Пасть..?»

Впрочем, последний раз я не стихами только занималась: М. дал мне свое «воззвание» против большевиков. Длинные, скучные страннцы... А по-моему,— следовало бы манифест, резкнй и краткнй, от молчаливой интеллигенции. «Ввиду преступного слабоволия правительства...»

Но, конечно, я понимаю: ведь это опять лишь слова. И даже на слова, какне определенные, уже не способна интеллигенция. Какой у нее «меч духа»! Ни черта не выйдет, тем более что тут М. С ним как-то особенно не выходит.

30 сентября. Суббота

Со дня последней записи мы уже ездили на Красную дачу и вновь приехалн в Петербург. Нас вызвалн из-за газеты (уже не казачьей). Не пишу обо всех этих канителях, собраниях, свиданнях с Савннковым и Л., ибо это кухня, и какой выйдет обед, и выйдет ли,— еще неизвестно.

Сегодня немцы сделали десант на Элеле-Даго. В стране нарастающая анархия.

---

* Недостаток (*фр.*).

** С Фил. нам еще пришлось свндеться гораздо позднее, чуть не через год. Он уже разошелся с Сав. (чего мы не зналн) и был в Спб. нелегально. К моему впечатленню тогда прибавилось еще одно, неожиданиое: нииогда не видалн мы человека с таким бесстрашнем, смелостью — до дерзости. Это в нем было (хотя н не послужило к тому, чего он хотел). (*Примечание 1929 г.*).

Позорное Демократическое совещание своим очередным позором и кончилось. На днях откроется этот Предпарламент — водевиль для разъезда.

«Дохлая» правительственная коалиция всем одинаково претит. Карташев идет по той наклонной плоскости, на которую вступил весной. Его ценность все равно, уже *наверно*, будет потеряна. Но мне его жалко и как человека. И чем заразился?

Сохранившие остаток разума и зрения видят, как все это кончится.

Все — вплоть до «Дня» — грезят о штыке («да будет он благословен»), но — поздно! поздно! Говорится: «пуля — дура, штык — молодец»; и вот, опоздали мы со штыком, дождемся мы «пули-дуры».

Керенский продолжает падение, а большевики уже бесповоротно овладели Советами. Троцкий — председатель.

Когда именно будет резня, пальба, восстание, погром в Петербурге — еще не определено. Будет.

8 октября. Воскресенье. Кр. дача

Нужно иметь недюжинные силы, чтобы не пасть духом. Я почти пала. Почти...

Керенский настоял, чтобы пр-во уезжало в Москву. И с Предпарламентом, который под именем «Совета Российской республики» вчера открылся в Мариинском дворце. (Я и не написала, что у нас объявлено: пусть Россия называется республикой. Ну что ж, «пусть называется». Никого «слово» не утешило, ровно ничего не изменило.)

Открытие нового места для говорения было кислое. Председатель — Авксентьев. Внедрили туда и к.-д., и «цензовые элементы». На первом же заседании Троцкий, с пособниками, устроил базарный скандал, после которого большевики, с угрозами, ушли. (Это их теперешняя тактика везде.)

А «Совет р.» — тоже разошелся, до вторника. И то барские языки устали.

Внешнее положение — самое угрожающее. Весь Рижский залив взят, с островами. Но вряд ли до весны немцы и при теперешнем положении двинутся на Петербург.

Или разве, если Керенский отъездом пр-ва ускорит дело. Отдаст Петербург сначала на бойню большевистскую, а потом и немцам. Уж очень хочется ему улепетнуть от своих августовских «спасителей». Еще выпустят ли? Они уже начали возмущаться.

Будет у нас, наконец, чистая «Петроградская» республика, сама себе голова анархическая.

Когда история преломит перспективы — быть может, кто-нибудь вновь попробует надеть венец героя на Керенского. Но пусть зачтется и мой голос. Я говорю не лично. И я умею смотреть на близкое издали, не увлекаясь. Керенский *был* тем, чем был в начале революции. И Керенский сейчас — малодушный и несознательный человек; а так как фактически он стоит наверху, то в падении России на дно кровавого рва повинен — он. Он. Пусть это помнят.

Жить становится невмоготу.

19 октября. Четв. (давно Спб.)

Собственно, все, даже мелкие, течения жизни сейчас важны и вся упущенная мною хронология. Но почему-то, от «революционной привычки», что ли, я впала в тупую скуку и лень записывать. Особенная, атмосферная, скука. Душенье.

Резких изменений пока еще нет. Предпарламент на днях оскандалился, вроде Дем. сов.: *не мог* вынести резолюцию по обороне. Борис выбран в этот, как он говорит, «предбанник» (Учр. собр.— будет баня!) от казаков. Вообще он, кажется, с «казачьем» что-то варит (уж не газетное, с газетой всякая возня в других аспектах).

Быть может, это и недурно, быть может, казаки и пригодились бы для известного момента... если б знать, какие у них силы и что у них на уме. Даже не в смысле их «правости», в «делах» — правости сейчас никакой не надо бояться. Они хороши бы как

сила внешняя для опоры средней массы демократов-оборонцев (кооператоров, крест. сов. и т. д.).

Но боюсь, что и Борис не вполне все знает о казаках. Они загадочные. Керенского терпеть не могут.

Вот уже две недели, как большевики, отъединившись от всех других партий (их опора — темные стада гарнизона, матросов и всяких отшибленных людей плюс — анархисты и погромщики просто),— держат город в трепете, обещая генеральное выступление, погром для цели: «Вся власть Советам» (т. е. большевикам). Назначили самовольно съезд Советов, сначала на 20-е, когда и объявили было знаменитое выступление, но затем отложили и то, и другое — на 25 октября. Ленин каждодневно в «Рабочем пути» (б. «Правда»), совершенно открыто, наставляет на этот погром, утверждая его как дело решенное. Газеты спешат сообщить, что пр-во «собирается» его арестовать. Вид: Керенский, во всем своем «дохлом» окружении, кричит Ленину:

— Антропка-а-а... Иди сюда-а... Тебя тятька высечь хочи-и-ить!

Оповещенный Антропка и не думает идти, хотя, в отличие от Антропки тургеневского, не затихает, голос подает все время и ни в какую порку не верит. И прав...

Это *мы* еще сохраняли остатки наивности, веря иной раз оповещенным намерениям «власти». Стоит этой власти что-либо пропикать, как знай: именно этого не будет. Просто замнется. С переездом пр-ва в Москву уже замялось. Хотя и думаю, что Керенский, попробовав почву и видя, что ниоткуда не одобрен, решил пришипиться и удрать молчком — ищи ветра в поле! притом ищи пешком, ибо всякое пассажирское движение проектируется приостановить. Или это тоже вранье, и дороги просто сами собой остановятся? Ну, Керенский все-таки удерет, в последнюю минуту.

Было у нас много разных «газетных» заседаний, бывали мы у Л. и у Бориса, но вот отмечу один недавний вечер, как не лишенный любопытности.

У Глазберга (крупного дельца) на Вас. острове по инициативе М., вкупе с теми интеллигентскими кругами (ныне раздробленными остатками, непристроенными или полупристроенными к пр-ву), что процветали здесь до революции. Ну, и всякого жита по лопате. Цель — посовещаться о «возможности коллективного протеста интеллигенции против большевиков». Замечательно, что самого М. не было: уехал зачем-то в Новгород. Лекции, что ли, читать... (Вовремя!) Докладывала его проекты Z. У. Тут явился на сцену и мой резкий манифест с Красной дачи.

Мы, с Борисом и Л., приехали, когда было уже порядочно народу. Жаль, что не помню всех. Была Кускова (она в «предбаннике», а муж ее, Прокопович, чего-то министр). Был ничего не понимающий и от всего отставший Батюшков. (Между прочим: после всех дебатов, после ужина, когда Борис, сидевший со мной рядом, уехал — он меня спросил: «А это кто такой?»)

Был Карташев, Макаров, конечно, кн. Андроников и т. д.

Ни малейшей тени «коллективизма» не вышло, конечно. О предмете, т. е. большевиках и о данной минуте, говорил только Борис, предлагавший как можно скорее собрать полуоткрытый митинг, да мы, защищавшие наш резкий манифест и вообще стоявшие хоть за какое-нибудь определенное реагирование.

Карташев совершенно безотносительно занесся в свое, в мечты о создании опять какой-то «национальной» партии со Струве; говорили и другие — вообще, но со слезой: а больше всех меня поразила Кускова, эта «умная» женщина, отличающаяся какой-то исключительной политической и жизненной недальновидностью. И знаю я это ее свойство, и каждый раз поражаюсь.

Она говорила длинно-предлинно, и смысл ее речи был тот, что «ничего не нужно», а нужно все продолжать, как интеллигенция делала и делает. Подробно и много она рассказывала о митингах, и «как слушали ее солдаты»! и о том, что где на оборону или

войска какой-нибудь сбор, «то ни один солдат мимо не пройдет, каждый положит»... ну и дальше все в том же роде. Назад она везла нас в своем министерском автомобиле и еще определеннее высказывалась все в том же духе. Допускала, что, «может быть, и нужна борьба с большевиками, но это дело не наше, не интеллигентское» (и выходило так, что и не «правительственное»), это дело солдатское, может быть, и Бориса Викторовича дела, только не наше». А «наше» дело, значит, работать внутри, говорить на митингах, убеждать, вразумлять, потихоньку, полегоньку свою линию гнуть, брошюрки писать...

Да где она?! Да когда это все?! Завтра эти «солдатики» в нас из пушек запалят, мы по углам попрячемся, а она — митинги? Я не слепая, я знаю, что от этих пушек никакие манифесты интеллигентские не спасут, но чувство чести обязывает нас вовремя поднять голос, чтобы знали, на стороне *каких* мы пушек, когда они будут стрелять друг в друга; *отвечать* за одни пушки, как за свои. Как за свое дело. А не то что «пусть там разные Борисы Викторовичи с большевиками как хотят, а мы свою, внутреннюю, мирно-демократическую, возродительную линийку, ниточку будем тащить себе».

И вот все оно и правительство — подобное же. Из этих же интеллигентов-демократов, близоруких на 1 № без очков.

Я уж потом замолчала. Потом она увидит, скоро. Пушка далеко стреляет.

За ужином вышел чуть не скандал. Дмитрий стал очень открыто и верно (совсем не грубо) говорить о Керенском. Князь Андронников почти разрыдался и вышел из-за стола: «Не могу, не могу слышать этого о светлом человеке!»

Ну, все в подобном роде. Великолепный, по нынешним временам, ужин. Фрукты, баранки, белое вино. Глазберг — хозяин. Результат — никчемный.

Главное впечатление — точно располагаются на кипящем вулкане строить дачу. Дым глаза ест, земля трясется, камни вверх летят, гул — а они меряют вышину окон, да сколько бы ступенек хорошо на крыльце сделать. Да и то не торопятся. Можно и так погодить. Еще посмотрим.

Но ни дыма, ни камней — определенно не видят. Точно их нет.

Дело Корнилова неудержимо высветляется. Медленно, постепенно обнажается эта история от последних клочков здравого смысла. Когда я рисовала картину вероятную, в первые часы — затем в первые недели — картина, в общем, оказывалась верна, только провалы, иксы, неизвестные места мы невольно заполняли, со смягчением в сторону хоть какого-нибудь смысла. Но по мере физического высветления темных мест — с изумлением убеждаешься, что тут, кроме лжи, фальши, безумия,— еще отсутствие здравого смысла в той высокой степени... на которую сразу не вскочишь.

Львов, только что выпущенный, много раз допрашиваемый, нисколько не оказавшийся «помешанным» (еще бы, он просто глупый), говорит и печатает потрясающие вещи. Которых никто не слышит, ибо дело сделано, «корниловщина» припечатана плотно; и в интересах не только «победителей», но и Керенского с его окружением — эту печать удержать, к сделанному (удачно) не возвращаться, не ворошить. И всякое внимание к этому темному пятну усиленно отвлекается, оттягивается. Козырь, попавший к ним, большевики (да и черновцы, и далее) из рук не выпустят, не дураки! А кто желал бы тут света, те бессильны; вертятся щепками в общем потоке. Но здесь я запишу протокольно то, что уже высветилось.

Львов ездил в ставку по *поручению* Керенского. Керенский дал ему категорическое поручение представить от ставки и от общественных организаций их мнение о реконструкции власти в смысле ее усиления. (Это собственные слова Львова, а далее цитирую уж прямо по его показаниям.)

«Никакого ультиматума я ни от кого не привозил и не мог привезти, потому что ни от кого таких полномочий не получал». С Корниловым «у нас была простая беседа, во время которой обсуждались различные пожелания. Эти пожелания я, приехав, и высказал

Керенскому». Повторяю, «никакого ультнмативного требования я *не* предъявлял и не мог предъявнть, Корнилов его нс предъявлял, н я этого от его именн не высказывал, и я не понимаю, кому такое *толкование моих слов и для чего понадобилось*?»

«Говорил я с Керенским в теченне часа; внезапно Керенский потребовал, чтобы я иабросал свон слова на бумаге. Выхватывая отдельные мыслн, я набросал нх, и *мне Керенский не дал даже прочесть*, вырвал бумагу и положнл в карман. Толкованне, приданное написанным словам «Корнилов предлагает»,— я *считаю подвохом*».

«Говорить по прямому проводу с Корниловым от моего имени я Керенского не уполномочивал, но когда Керенский прочел мне ленту в своем кабинете, я уже не мог высказаться даже по этому поводу, т. к. Керенский тут же арестовал меня». «Он поставил меня в унизительное положенне; в Зимнем дворце устроены камеры с часовымн; первую ночь я провел в постели с двумя часовыми в головах. В соседней комиате (б. Алекс. III) Керенский пел рулады из опер...»

Что, еще ие бред? Под рулады безумца, мешающего спать честному дураку-арестанту,— провалилась Россия в помойную яму всеобщей лжи.

В рассказе, у меня, тогда была *одна* неточность, не меияющая дела ничуть, но для добросовестности исправлю зту мелочь. Когда Керенски выбежал к приезжающим министрам с бумажкой Львова («не дал прочесть...», «потребовал набросать...», «выхватывая отдельные мысли, я набросал...»),— в это время Львов еще не был арестован, он уехал из дворца; Львов приехал тотчас после разговора по прямому проводу, и тогда, без объяснений, Керенский и арестовал его.

Как можно видеть, высветления темных мест отнюдь ие изменяют первую картину (см. запись от 31 авг.). Только подчеркивают ее гомерическую и преступную нелепнцу. Действительно, чертова провокация!

21 октября. Суббота

Завтра, 22-го, в воскресенье, назначено грандиозное моленье казачьих частей с крестным ходом. Завтра же «день Советов» (не «выступление», ибо выступление назначено на 25-е, однако «экивочно» обещается и раньше, если будет нужно). Казачнй ход, конечно, демонстрация. Нн одна сторона не хочет «начинать». И положенне все напряженнее — до невыносимостн.

Керенскнй забеспокоился. Сначала этот ход разрешил. Потом, сегодня, стал метаться, нельзя ли запретить, но так, чтобы не от него шло запрещенне. Погнал Карташева к митрополиту. Тот покорио поехал, ннчего не выгорело.

А тут еще сегодня Бурцев хватил крупным шрнфтом в «Общем деле»: Граждане, все иа ногн! Измена! Только что, мол, узнал, что военный министр Верховскнй предложил, в заседании комиссии, заключить сепаратный мир. Терещенко будто бы обозвал все пр-во «сумасшедшим домом». «Алексеев плакал...»

Карташев вьется: «Это бурцевская чепуха, он раздувает мелкий инцидент...» Но Карташев вьется и мажет по своему двойному положению правительствеиного и кадетского агеита. Верховский (о нем все мнения сходятся) полуистеричный вьюн, дрянь самая зловредная.

Я не знаю, когда — завтра или не завтра — начнется прорезыванье нарыва. Не знаю, чем оно кончится, я не смею желать, чтобы оно началось скорее... И все-такн желаю. Так жить нельзя.

И ведь когда-нибудь да будет же революциониая борьба н победа... даже после контрреволюционной победы большевнков, еслн и эта чаша горечи нас не мннует, еслн и это испытанне надо пройти. А думаю — надо...

Вчера у нас было «газетное» собранне, Борис очень иастаивал, чтобы следующее назначить поскорее, во вторник. Я согласилась, хотя какое тут собрание, что еще во вторник будет!.. Вот книга! Чуть сядешь за нее — какой-нибудь дикий телефон!

Сейчас больше 2-х ночи. Подхожу к аппарату. Чепуха, масса голосов, в конце концов мы оказываемся втроем.

Я. Алло! Кто звонит?

Голос. Вам что угодно?

Я. Мне ничего не угодно, ко мне звонят, и я спрашиваю: кто?

Гол. Я звоню 417-21.

Друг. гол. Я здесь, это Пав. Мих. Макаров, я звоню к вам, Зин. Ник-на...

1 голос (радостно). Пав. Мих., я звоню к вам! Началось выступление большевиков — на Фурштадтской...

П. М. Да, и на Сергиевской...

Голос. Откуда вы знаете? Значит, правительству было известно?..

П. М. Да с кем я говорю?

(А я все слушаю.)

Первый голос стал изъяснять свои официальные титулы, которые я забыла. Говорит, будто из Зимнего дворца. Выходило как-то, что он спешит известить П. М-ча *от пр-ва* о выступлении большевиков, а П. М. уже знает *от того же пр-ва*, которое... неизвестно что́. Наконец, запыхавшийся голос от нас отстал. Спрашиваю П. М-ча, зачем же он-то ко мне звонил?

— Вы слышали?

— Да, но что же делать? А вы еще что-нибудь хотели сказать мне?

— Я хотел попытаться, не найду ли у вас Бориса Викторовича. Его нигде нет...

Далее оказывается: Керенский телефонограммой отменил-таки завтрашнее моленье. Казаки подчинились, но с глухим ропотом. (Они ненавидят Керенского.) А большевики между тем и, моленья не ожидая,— выступили?

Скучная ночь. Я заперла, на всякий случай, окна. Мы как раз около казарм, на соединении Сергиевской и Фурштадтской.

Пока что — улица тиха и черна самым обыкновенным образом.

24 октября. Вторник

Ничего в ту ночь и на следующий день не произошло. Сегодня, после все усиливающихся угроз и самого напряженного состояния города, после истории с Верховским и его ухода, положение следующее.

Большевики со вчерашнего дня внедрились в штаб, сделав «военно-революционный комитет», без подписи которого все военные приказания недействительны. (Тихая сапа!)

Сегодня несчастный Керенский выступал в Предпарламенте с речью, где говорил, что все попытки и средства уладить конфликт исчерпаны (а до сих пор все уговаривал!) и что он просит у Совета санкции для решительных мер и вообще поддержки пр-ва. Нашел у кого просить и когда!

Имел очередные рукоплескания, а затем... началась тягучая, преступная болтовня до вечера, все «вырабатывали» разные резолюции; кончилось, как всегда, полуничем, левая часть (не большевики, большевики давно ушли, а вот эти полубольшевики) — пятью голосами победила, и резолюция такая, что Предпарламент поддерживает пр-во при условиях: земля — земельным комитетам, активная политика мира и создание какого-то «комитета спасения».

Противно выписывать все это бесполезное и праздное идиотство, ибо в то же самое время: Выборгская сторона отложилась, в Петропавл. крепости весь гарнизон «за Советы», мосты разведены.

Люди, которых мы видели:

X.— в панике и не сомневается в господстве большевиков.

П. М. Макаров — в панике, не сомневается в том же; прибавляет, что довольно 5 дней этого господства, чтобы все было погублено; называет Керенского предателем и думает,

11—630

что министрам не следует ночевать сегодня дома.

Карташев — в активной панике, все погибло, проклинает Керенского.

Гальперн говорит, что все пр-во в панике, однако идет болтовня, положение неопределенное. Борис — ничего не говорит. Звонил мне сегодня об отмене сегодняшнего собрания (еще бы!), П-лу М-чу велел сказать, что домой вернется «очень» поздно (т. е. не вернется).

Все как будто в одинаковой панике, и ни у кого нет активности самопроявления, даже у большевиков. На улице тишь и темь. Электричество неопределенно гаснет, и тогда надо сидеть особенно инертно, ибо ни свечей, ни керосина нет.

Дело в том, что многие хотят бороться с большевиками, но никто не хочет защищать Керенского. И пустое место — Вр. правительство. Казаки будто бы предложили поддержку под условием освобождения Корнилова. Но это глупо: Керенский уже не имеет власти ничего сделать, даже если б обещал. Если б! А он и слышать ничего не слышит.

Было днем такое положение: что резолюция Пред-та как бы упраздняет пр-во, как будто оно уходит с заменой «социалистическим». Однако авторы резолюции (левые, интернационалисты) потом любезно пояснили: нет, это не выражение «недоверия к пр-ву» (?), а мы только ставим своим свои условия (?)

И — «правительство» остается. «Правительство продолжает борьбу с большевиками» (т. е. не борьбу, а свои поздние, предательские глупости).

Сейчас большевики захватили «Пта» (Пет. телегр. агентство) и телеграф. Правительство послало туда броневиков, а броневики перешли к большевикам, жадно братаясь. На Невском сейчас стрельба.

Словом, готовится «социальный переворот», самый темный, идиотический и грязный, какой только будет в истории. И ждать его нужно с часу на час.

Ведь шло все как по писаному. Предпоследний акт начался с визга Керенского 26—27 августа; я нахожу, что акт еще затянулся — два месяца! Зато мы без антракта вступаем в последний. Жизнь очень затягивает свои трагедии. Еще неизвестно, когда мы доберемся до эпилога.

Сейчас скучно уже потому, что слишком все видно было заранее.

Скучно и противно до того, что даже страха нет. И нет — нигде — элемента борьбы. Разве лишь у тех горит «вдохновение», кто работает на Германию.

Возмущаться *ими* — не стоит. Одураченной темнотой — нельзя. Защищать Керенского — нет охоты. Бороться с ордой за свою жизнь — бесполезно. В эту секунду нет *стана*, в котором надо быть. И я определенно вне этой унизительной... «борьбы». Это, пока что, не революция и не контрреволюция, это просто — «блевотина войны».

* * *

Бедное «потерянное дитя», Боря Бугаев, приезжал сюда и уехал вчера обратно в Москву. Невменяемо. Безответственно. Возится с этим большевиком — Ив. Разумником (да, вот куда этого метнуло!) и с «провокатором» Масловским... «Я только литературно!» Это теперь, несчастный! — Другое «потерянное дитя», похожее,— А. Блок. Он сам сказал, когда я его в савинковскую газету, а он мне и понес «потерянные» вещи: что я, мол, не могу, я имею определенную склонность к большевикам (sic!), я ненавижу Англию и люблю Германию, нужен немедленный мир назло английским империалистам. ...Честное слово! Положением России доволен — «ведь она не очень и страдает...» Слова «отечество» уже не признает... Все время оговаривался, что хоть он теперь и так, но «вы меня ведь не разлюбите, ведь вы ко мне по-прежнему?» Спорить с ним бесполезно. Он ходит «по ступеням вечности», а в «вечности» мы все «большевики» (но там, в этой вечности, Троцким не пахнет, нет!).

С Блоком и с Борей (много у нас этих самородков!) можно говорить лишь в четвертом измерении. Но они этого не понимают и потому произносят слова, в 3 измерениях прегнусно звучащие. Ведь год тому назад Блок был за войну («прежде все — весело!», говорил он), был исключительно ярым антисемитом («всех жидов перевешать») и т. д. Вот и относись к этим «потерянным детям» по-человечески!

Электричество что-то не гасиет. Верно потому, что большевики заседают «перманентно». Сейчас нам приносили свежие большевистские прокламации. Все там гидры, «поднявшие головы», гидра и Керенский — послал передавшихся броневиков. Заверения, что «дело революции (тьфу, тьфу!) в твердых руках».

25 октября. Среда

Пишу днем, т. е. серыми сумерками.— Одна подушка уже навалилась на другую: *город в руках большевиков.*

Ночью, по дороге из Зимнего дворца, арестовали Карташева и Гальперина. 4 часа держали в Павловских казармах, потом выпустили, несколько измывшись.

Продолжаю при электричестве

Я выходила с Дмитрием. Шли в аспидных сумерках по Сергиевской. Мзглять, тишь, безмолвие, безлюдие, серая кислая подушка.

На окраинах листки: объявляется, что «Правительство низложено». Прокоповича тоже арестовали на улице и Гвоздева, потом выпустили. (Явно пробуют лапой, осторожно... Ничего!) Заняли вокзалы, Мариинский дворец (высадив без грома «предбанник»), телеграфы, типографии «Русской воли» и «Биржевых». В Зимнем дворце еще пока сидят министры, окруженные «верными» (?) войсками.

Последние вести таковы: Керенский вовсе не «бежал», а рано утром уехал в Лугу, надеясь оттуда привести помощь, но...

Электричество погасло. Теперь 7 ч. 40 минут вечера. Продолжаю с огарком... Итак: но если даже Лужский гарнизон пойдет (если!), то пешком, ибо эти живо разберут пути. На Гороховой уже разобрали мостовую, разборщики храбрые.

Казаки опять дали знать (кому?), что «готовы поддержать Вр. пр-во». Но как-то кисловато. Мало их, что ли? Некрасов, который после своей неприглядной роли 26 августа давно уж «сторонкой ходит», чуя гибель корабля,— разыскивает Савинкова. Ну, теперь его не разыщешь, если он не хочет быть разысканным.

Верховский, по-видимому, предался большевикам, руководит.

Очень красивенький пейзаж. Между революцией и тем, что сейчас происходит, такая же разница, как между мартом и октябрем, между сияющим тогдашним небом весны и сегодняшними грязными, темно-серыми, склизкими тучами.

Данный, значит, час таков: все бронштейны в беспечальном и самоуверенном торжестве. Остатки «пр-ва» сидят в Зимнем дворце. Карташев недавно телефонировал домой в общеуспокоительных тонах, но прибавил, что «сидеть будет долго».

Послы заявили, что больш. правительства они не признают: это победителей не смутило. Они уже успели оповестить фронт о своем торжестве, о «немедленном мире», и уже началось там — немедленно! — поголовное бегство.

Очень трудно писать при огарке. Телефоны еще действуют, лишь некоторые выключены. Позже, если узнаю что-либо достоверное (*не* слухи, коих все время — тьма), опять запишу, возжегши свою «революционную лампаду» — последний кривой огарок.

В 10 ч. вечера

(Электричество только что зажглось)

Была сильная стрельба из тяжелых орудий, слышная здесь. Звонят, что будто бы крейсера, пришедшие из Кронштадта (между ними и «Аврора», команду которой Керенский взял для своей охраны в корниловские дни), обстреливали Зимний дворец. Дворец

будто бы уже взят. Арестовано ли сидевшее там пр-во — в точиости пока иеизвестно.

Город до такой степени в руках большевиков, что уже и «директория», или нечто в этом роде, назначена: Ленин, Троцкий — наверно, Верховский н другие — по слухам.

Пока больше ничего не знаю. (Да что знать еще, все ясно.)

Позднее. Опровергается весть о взятии 6-ми Зимнего дворца. Сражеиье длится. С балкона видны сверкающие иа небе вспышки, как частые молиии. Слышины глухие удары. Кажется, стреляют и из дворца, по Неве и по «Авроре». Не сдаются. Но — оии почти голые: там лишь юнкера, ударный батальои и жеиский батальои. Больше никого.

Кереиский уехал раным-рано, на частном автомобиле. Улизнул-таки! А зти сидят, не повинные ни в чем, кроме своей пешечиости и покорства, под тяжелым обстрелом.

Если еще живы.

26 октября. Четверг

Торжество победителей. Вчера, после обстрела, Зимний дворец был взят. Сидевших там миинстров (всех до 17, кажется) заключили в Петропавловскую крепость. Подробности узнаем скоро.

В 5 ч. утра было дано зиать в квартиру Карташева. Сегодия около 11 ч. Т. с Д. В. отвезли ему в крепость белье и провизию. Говорят, там беспорядок и чепуха.

Вчера, вечером, городская дума истерически металась, то посылая «парламеитеров» на «Аврору», то предлагая всем составом «идти умирать вместе с правительством». Ни нз первого, ин нз второго ннчего, конечно, не вышло. Маслов, миинстр земледелия (соц.), послал в гор. думу «посмертную» записку с «проклятием и презрением» демократии, которая посадила его в пр-во, а в такой час «умывает руки».

Луначарский из гор. думы просто взял и пошел в Смольный. Прямым путем.

Однако пока что на съезде от большевиков отгородились почти все, даже интернационалисты и черновцы. Последние отозвали своих из «военно-рев. комитета». (Все началось с этого комитета. Если чериовцы там были — значит, и они начинали.)

Позиция казаков: не двинулнсь, заявив, что их слншком мало и они выступят только с подкреплеиием. Психологически все понятно. Защищать Керенского, который потом объявил бы их контрреволюционерами?..

Но дело ие в психологиях теперь. Остается факт — объявленное большевистское правительство: где премьер — Ленин-Ульяиов, министр иностр. дел — Бронштейн, призрения — г-жа Коллонтай и т. д.

Как заправит это пр-во — увидит тот, кто останется в живых. Грамотных, я думаю, мало кто останется: петербуржцы сейчас в руках и распоряжении 200-тысячной баиды гарнизоиа, возглавляемой кучкой мошеииков.

Все газеты (кроме «Биржевых» и «Р. воли») вышли было... но по выходе были у газетчиков отобраны и на улицах сожжены.

Газету Бурцева «Общее дело» накануне своего падения запретил Керенский. Бурцев тотчас выпустил «Наше общее дело», и его отобралн, сожгли — уже большевики, причем (зти шутить не любят) засадили самого Бурцева в Петропавловку. Убеждеиа, что он иисколько не смущен. Его вечно, при всех случаях, все правительства, во всех местах земного шара,— арестовывают. Он приспособился. Вынырнет.

Мы отрезаиы от мира и ничего, кроме слухов, не имеем. Ведь все радио даже получают — и рассылают — большевики.

К Х. из крепости телефонировали, что просят доктора — Терещенко и раненый вчера при аресте Рутеиберг: «А мы другого доктора не знаем».

Погадавши, подумавши... Х. решил ехать, спросил автомобиль и пропуск. Еще не возвращался.

Кажется, большевики быстро обнажатся от всех, кто ие они. Уже почти обнажились.

Под ними... вовсе не «большевики», а вся беспросветно-глупая чернь и дезертиры, пойманные прежде всего на слове «мир». Но хотя — черт их знает, эти «партии», черновцы, например, или новожизненцы (интернационалисты)... Ведь и они о той же, большевистской, дорожке мечтали. Не злятся ли теперь и потому, что «не они», что у них-то пороху не хватило (демагогически)?

Позже

Х. вернулся. Видел Терещенку, Рутенберга и Бурцева, да, кстати, и Щегловитова с Сухомлиновым. Карташева увидит завтра. Терещенко простужен (в Трубецком бастионе, где они все сидят, не топили, а там сырость), кроме того, с непривычки трусит. Рутенберг и Бурцев абсолютно спокойны. Еще бы, еще бы. Рутенберг — старый террорист (это он убил Гапона), а о Бурцеве я уже говорила. Маслов в тяжелом нервном состоянии («социалист» называется!, но, впрочем, я его не знаю).

Х. говорит, что старая команда ему, как отцу родному, обрадовалась. Они под большевиками просто потому, что «большевики взяли палку». Новый комендант растерян. Все обеспокоены — «что слышно о Керенском?»

Непрерывные слухи об идущих сюда войсках и т. д. очень похожи на легенду, необходимую притихшим жителям завоеванного города. Я боюсь, что ни один полк уже не откликнется на зов Керенского — поздно.

Сейчас легенда сформировалась в целое сражение где-то или на станции Дно (блаженной, милой памяти Марта!), или в Вырицах.

27 октября. Пятница

Целый день народ, не могла писать раньше.— То же захватное положение. Газеты социалистические, но антибольшевистские, вышли под цензурой, кроме «Новой жизни», остальные запрещены. В «Известиях» (Советы) изгнана редакция, посажен туда больш. Зиновьев. «Гол. солдата» — запрещен. Вся «демократия», все отгородившиеся от б-ков и ушедшие с пресловутого съезда организации собрались в гос. думе. Дума объявила, что не разойдется (пока не придут разгонять, конечно!), и выпустила № «Солдатского голоса» — очень резко против захватчиков. Номер раскидывался с думского балкона. Невский полон, в сущности, все «обалдевши», с тупо раскрытыми ртами. В Думе и Некрасов, ловко не попавший в бастион.

Интересны подробности взятия министров. Когда, после падения Зимнего дворца (тут тоже много любопытного, но — после), их вывели, около 30 человек, без шапок, без верхней одежды, в темноту, солдатская чернь их едва не растерзала. Отстояли. Повели по грязи, пешком. На Троицком мосту встретили автомобиль с пулеметом; автомобиль испугался, что это враждебные войска, и принялся в них жарить; и все они — солдаты первые, с криками,— должны были лечь в грязь.

Слухи, слухи о разных «новых правительствах» в разных городах. Каледин, мол, идет на Москву, а Корнилов, мол, из Быхова скрылся. (Корнилов-то уж бегал из плена посерьезнее, германского... почему бы не уйти ему из большевистского?)

Уже не слухи — или тоже слухи, но упорные,— что Керенский с какими-то фронтовыми войсками в Гатчине. И Лужский гарнизон сдался без боя. От Гатчины к Спб. наши «победители» уж разобрали путь, готовятся.

Захватчики между тем спешат. Троцкий-Бронштейн уже выпустил Декрет о мире. А захватили они решительно все.

Возвращаюсь на минуту к Зимнему дворцу. Обстрел был из тяжелых орудий, но не с «Авроры», которая уверяет, что стреляла холостыми, как сигнал, ибо, говорит, если б не холостыми, то дворец превратился бы в развалины. Юнкера и женщины защищались от напирающих сзади солдатских банд, как могли (и перебили же их), пока министры не решили прекратить это бесплодие кровавое. И все равно инсургенты проникли уже внутрь предательством.

Когда же хлынули «революционные» (тьфу! тьфу!) войска, Кекссольмский полк и еще какие-то,— они прямо принялись за грабеж и разрушение, ломали, били кладовые, вытаскивали серебро; чесо не могли унести — то уничтожали: давили дорогой фарфор, резали ковры, изрезали и проткнули портрет Серова, наконец, добрались до винного погреба... Нет, слишком стыдно писать...

Но надо знать все: женский батальон, израненный, затащили в Павловские казармы и там посоловно изнасиловали...

«Министров-социалистов» сесодня выпустили. И они... вышли, оставив своих коалиционистов-кадет в бастионе.

28 октября. Суббота

Только четвертый день мы под «властью тьмы», а точно годы проходят. Очень тревожно за тех, кто остался в крепости, косда «товарищи-социалисты» ушли. Караул все меняется, черт знает, на что он не способен. Там чепуха, свиданий никому не дают, потом одним фуксом дали, потом опять всех высадили... Весь день нынче возимся с сор. думой («комитет спасения»). Д. В. там даже был.

С утра слухи о сражении за Моск. заставой: оказалось, вздор. Днем будто аэроплан над городом разбрасывал листки Керенскосо (не видала ни листков, ничего). Последнее и подтверждающееся: прав. войска и казаки уже были в Царском, сде сарнизон, как Лужский и Гатчинский, или сдавался, или, обезоруженный, побрел кучами в Спб. Почему же они *были* в Царском — а теперь в Гатчине, на 20 верст дальше?

Командует, соворят, казачий генерал Краснов и слух: исполняет приказы только Каледина (и Каледин-то за тысячу верст!), а Керенский, который с ними,— у них будто бы «на веревочке». По выражению казака-солдата: «Если что не по-нашему, так мы ему и солову свернем».

Как значительны войска — неизвестно. Здешние стясивают на вокзалы своих — силы Петросрадскосо сарнизона (шваль) и красносвардейцев. Эти храбрые, но все сброд, мальчишки.

Генерал Маниковский, арестованный с правительством, освобожден, хотя еще сесодня утром большевики хотели есо расстрелять. Он соворил сесодня, что с казаками и с Керенским находился также и Борис. (Очень вероятно. Не сидит же он, сложа руки.)

Сейчас льет проливной дождь. В сороде — полуокопавшиеся в домовых комитетах обыватели да посромщики. Наиболее орсанизованные части большевиков стянуты к окраинам, ждя сражения. Вечером шлялась во тьме лишь вооруженная сволочь и мальчишки с винтовками. А весь «вр. комитет», т. е. Бронштейны-Ленины, переехал из Смольносо... не в засаженный, осрабленный и разрушенный Зимний дворец — нет! — а на верную «Аврору»... Мало ли что...

Очень важно отметить следующее.

Все сазеты оставшиеся ($^3/_4$ запрещены), вплоть до «Нов. жизни», отмежевываются от большевиков, хотя и в разных степенях. «Нов. жизнь», конечно, менее друсих. Лезет, подмисивая, с блоком и тут же «катесорически осуждает», словом, обычная подлость. «Воля народа» резка до последней степени. Почти столько же резко и «Дело» Чернова. Значит: кроме срупп с.-д. меньшевиков и с.-д. интернационалистов, правые с.-эры и главная сруппа — с.-эры черновцы — от большевиков отмежевываются? Но... в то же время намечается у последних с.-эров, очень еще прикрыто, *желание использовать авантюру для себя.* (Широкое движение, движение, уловимое лишь для знающесо все кулисы и мобили.)

То есть: левые за большевиками, партии, особенно с.-эры черновцы, как бы *переманивают* «товарищей» сарнизона и красносвардейцев (и т. д.): большевики, мол, обещают вам мир, землю и волю и социалистическое устройство, но все это они вам не дадут, а можем дать — и дадим в превосходной степени! — *мы.* У них только обещания, а у нас

это же — немедленное и готовое. *Мы* устроим настоящее социалистическое правительство без малейших буржуев, *мы* будем бороться со всякими «корниловцами», *мы* вам дадим самый мгновенный «мир» со всей мгновенной «землей». С большевиками же, товарищи дорогие, и бороться не стоит, это провокация, если кто говорит, что с ними нужно бороться, просто мы возьмем их под бойкот. А так как мы — все, то большевики от нашего бойкота в свое время и «лопнут, как мыльный пузырь».

Вот упрощенный смысл народившегося движения, которое обещает... не хочу и определять, что именно, однако очень много и, между прочим, ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ БЕЗ КОНЦА И КРАЯ.

Вместо того, чтобы помочь поднять опрокинутый полуразбитый вагон, лежащий на насыпи вверх колесами,— отогнав от вагона разрушителей, конечно,— напрячь общие силы, на рельсы его поставить, да осмотреть, да починить,— эта наша упрямая «дура», партийная интеллигенция,— желает только сама усесться на этот вагон... Чтобы наши «зады» на нем были — не большевистские. И обещает никого не подпускать, кто бы ни вздумал вагон начать поднимать... а какая это и без того будет тяжкая работа!

Нечего бездельно гадать, чем все кончится. Шведы (или немцы!) взяли острова, близок десант в Гельсингфорсе. Все это по слухам, ибо из ставки вестей не шлют, вооруженные большевики у проводов, но... быть может, просто — «вот приедет немец, немец нас рассудит»...

29 октября. Воскресенье

Узел туже, туже... Около 6 часов прекратились телефоны — станция все время переходила то к юнкерам, то к большевикам, и, наконец, все спуталось. На улицах толпы, стрельба. Павловское юнк. уч. расстреляно, Владимирское горит; слышно, что юнкера с этим глупым полковником Полковниковым заседали в Инж. замке. О войсках Керенского слухов много — сообщений не добыть. Из дому выходить больше нельзя. Сегодня в нашей квартире (в столовой) дежурит домовой комитет, в 3 часа будет другая смена.

Вчера две фатальные фигуры X. и Y. отправились было соглашательной «делегацией» к войскам Керенского — «во избежание кровопролития». Но это вам, голубчики, не в Зимний дворец шмыгнуть с ультиматумом Чернова. На первом вокзале их схватили большевики, били прикладами, чуть не застрелили, арестовали, издевнулись вдосталь, а потом вышвырнули в зад ногой.

Толпа, чернь, гарнизон — бессознательны абсолютно и сами не понимают, на кого и за кого они идут.

Газеты все задушены, даже «Рабочая»; только украдкой вылезает «Дело» Чернова (ах, как он жаждет, подпольно, соглашательства с большевиками!), да красуется, помимо «Правды», эта тля — «Новая жизнь».

Петропавловка изолирована, сегодня даже X. туда не пустили. Вероятно, там, и на «Авроре», засели главари. И надо помнить, что они способны на все, а чернь под их ногами — способна еще даже больше, чем на все. И главари не очень-то ею владеют.

Петербург — просто жители — угрюмо и озлобленно молчит, нахмуренный, как октябрь. О, какие противные, черные, страшные и стыдные дни!

30 октября. Понедельник. 7 час. веч.

Положение неопределенное, т. е. очень плохое. Почти ни у кого нет сил выносить напряжение, и оно спадает, ничем не разрешившись.

ВОЙСКА КЕРЕНСКОГО НЕ ПРИШЛИ (и не придут, это уж ясно). Не то — говорят — в них раскол, не то их мало. Похоже, что и то, и другое. Здесь усиливаются «соглашательные» голоса, особенно из «Новой жизни». Она уж готова на правительство с большевиками — «левых дем. партий». (Т. е. *мы* — с ними.)

Телефон не действует, занят Красной гвардией. Зверства «большевистской» черни над

юнкерами — несказанные. Заключенные министры, в Петропавловке, отданы «на милость» (?) «победителей». Ушедшая было «Аврора» вернулась назад вместе с другими крейсерами. Вся эта храбрая и грозная (для нас, не для немцев) флотилия — стоит на Неве.

31 октября. Вторник

Отвратительная тошнота. До вечера не было никаких даже слухов. А газет только две — «Правда» и «Нов. жизнь». Телефон не действует. Был всем потрясенный X., рассказывал о «петропавловском застенке». Воистину застенок — что там делают с недобитыми юнкерами!

Поздно вечером кое-что узнали, и очень правдоподобное.

Дело не в том, что у Керенского «мало сил». Он мог бы иметь достаточно, прийти и кончить все здешнее 3 дня тому назад, но... (нет слов для этого, и лучше я никак не буду говорить) — *он опять колеблется!* Отсюда вижу, как он то падает в прострации на диван (найдет диван!), то вытягивает шею к разнообразным «согласителям», предлагающим ему всякие «демократические» меры «во избежание крови». И в то время, когда здесь уже льется кровь детей-юнкеров, женщин, а в сырых казематах сидят люди пожилые, честные, ценные, виноватые лишь в том, что *поверили* Керенскому, взяли на себя каторжный и унизительный (при нем) правительственный труд! Сидят под ежеминутной угрозой самосуда пьяных матросов — озверение растет по часам.

А Керенский — не все договорил еще! Его еще зудит выехать в автомобиле к «своему народу», к знаменитому Петроградскому гарнизону — и поуговаривать. УЖ БЫЛО. Оказывается — выезжал. И не раз. Гарнизон не уговорился нисколько. Но он и не сражается. Постоит — и назад с позиций, спать. Сражается сброд и Красная Армия, мальчишки-рабочие с винтовками.

Казаки озлоблены до последней степени. Еще бы! Каково им там, в этом, поистине дурацком, положении? И Борису, если он там тоже сидит с ними. Каждое столкновение казаков с красными (столкновений все же предотвратить нельзя — Керенский, верно, смахивает слезу пальцем перчатки) — кончается для красных плохо.

Керенский имеет сношение со здешними соглашателями-черновцами? Они же (как я верно писала) выбиваются из сил, желая воспользоваться *для себя* делом большевиков, которые исполнили грязную работу захватчиков и убийц. Черновцы мечтают приступить к дележке добычи, и непременно с тем, чтобы вся добыча была ихняя; вам же, грабители и убийцы, мы обещаем полную безнаказанность... Мало? Ну, вот вам уголок стола во время пира, мы ничего... (уж не говорят о «бойкоте», уж «согласны пустить и кое-каких большевиков в свое министерство...») А что говорят большевики? Они-то — согласились делить по-черновски свою добычу? Они ничего не говорят. Они делают — свое.

Черновцы и всякие другие интернационалисты этим молчаньем не смущены. Убеждены, что все равно — разбойникам одним с добычей не справиться. Действительно, у них сейчас: служащие не служат, министерства не работают, банки не открываются, телефон не звонит, ставка не шлет известий, торговцы не торгуют, даже актеры не играют. Весь Петербург озлоблен не менее казаков, но молчит и сопротивляется лишь пассивно.

Однако страшно ли «обезьяне со штыком» пассивное сопротивление? И на что разбойникам министерства? На что им банки? Им сейчас нужны деньги, а для этого штык лучше служащих откроет банк. Они старались — и отдадут крупинку награбленного Чернову или кому бы то ни было?! У них можно только *отнять*, а они уж носом чуют, что «отниманьем» не очень пахнет. Еще боятся, еще шлют своих копьеносцев к «позициям» с колючей проволокой и хромыми пушками (оружие, однако, почти все в их руках) — но уже понемногу смелеют, тянут лапу... щупают; попробуют — можно. Дальше валяй.

Не бесцельно ли позорятся соглашатели, деля капитал (Россию) без «Хозяев»?

Я лишь рисую сегодняшнее положение. И вот, наконец, последнее известие, естест-

венно вытекающее из предыдущих: *три дня перемирия* между войсками Керенского и большевиками. Во всех случаях это великолепно для большевиков. В три дня многое сделается и многое для них выяснится. Можно еще, «на всякий случай», укрепить свои позиции, подзуживая победительное торжество и терроризируя обывателей. Можно, кроме того, и поагитировать в «братских» войсках, теряющих терпение и, конечно, не пылающих высоким духом. Много, много можно сделать, пока болтают черновцы.

А немец — что? Или он — не сейчас?

О Москве: там 2000 убитых? Большевики стреляли из тяжелых орудий прямо по улицам. Объявлено было «перемирие», превратившееся в бушевание черни, пьяной, ибо она тут же громила винные погреба.

Да. Прикончила война душу нашу человеческую. Выела — и выплюнула.

1 ноября. Среда

Все идет естественным (логическим) порядком. Как по писаному — впрочем, ярче и ужаснее всякого «писаного». Дополнения ко вчерашнему такие: здешние соглашатели продолжают соглашаться... между собой о том, что нужно согласиться с большевиками. В думском комитете до последнего поту сидели, все разговаривали, обсуждали состав нового «левого» правительства, чуть не все имена выбрали... так, как будто все у них в кармане и большевики положили завоеванный «Петроград» к их ногам. Самый жгучий вопрос решали: соглашаться ли им с большевиками? Решили. Соглашаться. Как вопрос о соглашательстве стоит у большевиков — этим не занимались. Разумелось само собой, что большевики только и ожидают, когда снизойдут к ним другие левые партии (!!).

В думском комитете, где осталось большевиков весьма немного, из захудалых,— да и те просто «присутствовали»,— назначения так и сыпались. Чернов, конечно, премьером... Очевидец рассказывал мне, что это жалкое и страшное совещание все время сопровождалось смехом и что это было особенно трагично. Предлагали так просто, кого кто придумает. Предложили знаменитого Н. Д. Соколова — его кандидатура была встречена особым взрывом смеха, но благосклонно. Вообще захудалые большевики мало против кого возражали, они помалкивали и только смеялись. Горячо галдели все остальные.

Чернов — вернее черновцы, ибо самого-то Чернова где-то нету, портфель министра нар. просв. снисходительно обещали Луначарскому. (А он давно в Смольном!) Проекты блистательные...

...Царское было раньше оставлено; туда, после оставления Гатчины, явились, свободно и смело, большевики. Распубликовали, что «Царское взято». Застрелили спокойно коменданта (не огорчайтесь, А. Ф., это не «демократическая» кровь), стали сплошь врываться в квартиры. Над Плехановым издевались самым площадным образом, в один день обыскивали его 15 (sic!) раз. Больной, туберкулезный старик слег в постель, положение его серьезно.

Вот картина. Не думаю, однако, чтобы кто-нибудь, по каким угодно рассказам и записям, мог понять и представить себе нашу здесь *атмосферу*. В ней надо жить самому.

Сегодня большевики, разведя все мосты, просунули на буксире (!) свои броненосцы по Неве к Смольному. Совершенно еще не встречавшееся безумие.

По городу открыто ходят весьма известные германские шпионы. В Смольном они называются: «представители германской и австрийской демократии». Избиение офицеров и юнкеров тоже входило в задачу Бронштейна? Кажется, с моста Мойки сброшено пока только 11, трупы вылавливаются. Убит и князь Туманов — нашли под мостом.

Самое последнее известие: Керенский и не в Гатчине, а совершенно неизвестно где. Слух, что к нему собрался было ехать Луначарский (это еще что?), но Керенского нет.

2 ноября. Четверг

Я веду эту запись не только для сводки фактов, но и для посильной передачи

атмосферы, в которой живу. Поэтому записываю и слухи по мере их поступления.

Сегодня почти все, записанное вчера, подтверждается. В чисто большевистских газетах трактуется с подробностями «бегство» Керенского. Будто бы в Гатчине его предали изменившие казаки, и он убежал на извозчике, переодевшись матросом. И даже, наконец, что в Пскове, окруженный враждебными солдатами, он застрелился.

Из этого верно *только одно*, конечно: что Керенский куда-то скрылся, его при «его» войсках нет, и никаких уже «его войск» — нет.

Соглашательские потуги (вчерашнее «министерство») стыдливо затихли.

Масса явных вздоров о Германии, о наступлении Каледина на Харьков (психологически понятные легенды). А вот не вздор: в Москве, вопреки вчерашним успокоительным известиям, полнейшая и самая страшная бойня: расстреливают Кремль, разрушают Национальную и Лоскутную гостиницы. Штаб на Пречистенке. Много убитых в частных квартирах — их выносят на лестницу (из дома нельзя выйти). Много женщин и детей. Винные склады разбиты и разграблены. Большевистские комитеты уже не справляются с толпой и солдатами, взывают о помощи к здешним.

Черно-красная буря над Москвой. Перехлест.

Уехать нельзя и внешне (*и внутренно*). Да и некуда.

Пока формулирую кратчайшим образом происходящее так: Николай II начал, либералы-политики продолжили — поддержали, Керенский закончил.

Я не переменилась к Керенскому. Я всегда буду утверждать, как праведную, его позицию во время войны, во время революции — до июля. Там были ошибки, человеческие; но в марте он буквально *спас* Россию от немедленного безумного взрыва. После конца июня (благодаря накоплению ошибок) он был кончен и, оставаясь *конченым*, во главе держал руль *мертвыми* руками, пока корабль России шел в водоворот.

Это конец. О начале — Николае II — никто не спорит. О продолжателях-поддерживателях, кадетах, правом блоке и т. д. — я довольно здесь писала. Я их не виню. Они были слепы и действовали, как слепые. Они не взяли в руки *неизбежное*, думали, отвертываясь, что оно — избежно. Все видели, что КАМЕНЬ УПАДЕТ (моя запись 15/16-го года), все, кроме них. Когда камень упал, и тут они почти ничего не увидели, не поняли, не приняли. Его свято принял на свои слабые плечи Керенский. И нес, держал (один!), пока не сошел с ума от непосильной ноши, и камень — не без его содействия — не рухнул всею своею миллионнопудовой тяжестью — на Россию.

3 ноября. Пятница

Весь день тревога о заключенных. Сигнал к ней дал Х., вернувшийся из Петропавловки. Там плохо, сам «комендант» боится матросов, как способных на все при малейшей тревоге. Надо ухитриться перевести пленников. Куда угодно — только из этой матросско-большевистской цитадели. Обращаться к Бронштейну — единственный *вполне* бесполезный путь. Помимо противности вступать с ним в сношения — это так же бесцельно, как начать разговор с чужой обезьяной. Была у нас мать Терещенки. Мы лишь одно могли придумать — скользкий путь обращения к послам. Она видела Фрэнсиса, увидит завтра Бьюкенена. Но их тоже положение — обращаться к «правительству», которого они не признают? Надо хранить международные традиции: но все же надо понимать, что это...... для которой нет ни признания, ни непризнания.

Посольства охраняются польскими легионерами.

О Москве сведения потрясающие. (Сейчас — опять, что утихает, но уже и не верится.) Город в полном мраке, телефон оборван. Внезапно Луначарский, сей «покровитель культуры», зарвал на себе волосы и, задыхаясь, закричал (в газетах), что если только все так, то он «уйдет, уйдет из большевистского пр-ва!» Сидит.

Соглашатели хлебнули помоев впустую: большевики недаром смеялись — они-то

ровно ни на что не согласны. Теперь — когда они упоены московскими и керенскими «победами»? Соглашателям вынесли такие «условия», что оставалось лишь утереться и пошлепать восвояси. Даже поденинцы из «Новой жизни» ошарашились, даже с.-эры черновцы дрогнули. Однако эти еще надеются, что б-ки пойдут на уступочки (легкомыслие), уверяют, что среди б-ков — раскол... А, кажется, у них свой начинается раскол, и некоторые с.-эры («левые») готовы, без соглашений, прямо броситься к большевикам: возьмите нас, мы уже сами большевики.

В Царском убили священника за молебен о прекращении бойни (на глазах его детей). Здесь тишина, церковь все недавние молитвы за Врем. пр-во тотчас же покорно выпустила. Банки закрыты.

Где Керенский — неизвестно; в этой истории с большевистскими «победами» и его «побегом» есть какие-то факты, которых я просто *не знаю*. Борис там с ним был, это очевидно. Одну ночь он ночевал в Царском, наверно (косвенные сведения). Но был и в Гатчине. Ну, даст весть.

4 ноября. Суббота

Все то же. Писать противно. Газеты — ложь сплошная.

Впрочем: расстрелянная Москва покорилась большевикам.

Столицы взяты вражескими — и варварскими — войсками. Бежать некуда. Родины нет.

5 ноября. Воскресенье

Приехал Горький из Москвы. Начал с того, что объявил: «Ничего особенного в Москве не происходило» (?!) Х. видел его мельком, когда он ехал в свою «Нов. жизнь». Будто бы «растерян», однако «Нов. жизнь» поддерживает; помогать заключенным (у него масса личных друзей среди б-кого «правительства») и не думает.

В стане захватчиков есть брожения; но что это, когда два столпа непримиримых и непобедимых на своих местах: Ленин и Троцкий. Их дохождение до последних пределов и незыблемость объясняется: у Ленина — попроще, у Троцкого — посложнее.

Любопытны подробности недавних встреч фронтовых войск с большевистскими (где всегда есть агитаторы). Войска начинают с озлобления, со стычек, с расстрела... а большевики, не сражаясь, постепенно их разлагают, заманивают и, главное, как зверей, *прикармливают*. Навезли туда мяса, хлеба, колбас — и расточают, не считая. Для этого они специально здесь ограбили все интендантство, провиант, заготовленный для фронта. Конечно, и вином это мясо поливается. Видя такой рай большевистский, такое «угощение», эти изголодавшиеся дети-звери тотчас становятся «колбасными» большевиками. Это очень страшно, ибо уж очень явственен — дьявол.

Керенский, действительно, убежал — во время начавшихся «переговоров» между «его» войсками и б-стскими. Всех подробностей еще не знаю, но общая схема, кажется, верна: эти «переговоры» — результат его непрерывных колебаний (в такие минуты!), его зигзагов. Он медлил, отдавал противоречивые приказы ставке, то выслать войска, то не надо, вызванные возвращал с дороги, торговался и тут (наверно, с Борисом и с казаками: их было мало, они должны были требовать подкрепления). Устраивал «перемирия» для выслушивания приезжающих «соглашателей»... Словом, та же преступная канитель — наверно.

Рассказывают (очевидцы), что у него были моменты истерического геройства. Он как-то остановил свой автомобиль и, выйдя, один, без стражи, подошел к толпе бунтующих солдат... которая от него шарахнулась в сторону. Он бросил им: «Мерзавцы!», пошел, опять один, к своему автомобилю, уехал.

Да, фатальный человек; слабый... герой. Мужественный... предатель. Женственный... революционер. Истерический главнокомандующий. Нежный, пылкий, боящийся крови — убийца. И очень, очень, весь — несчастный.

6 ноября. Понедельник

Я кончу, видно, свою запись в аду. Впрочем, — ад был в Москве, у нас еще предадье, т. е. не лупят нас из тяжелых орудий и не душат в домах. Московские зверства не преувеличены — преуменьшены.

Очень странно то, что я сейчас скажу. Но... мне СКУЧНО писать. Да, среди красного тумана, среди этих омерзительных и небывалых ужасов, на дне этого бессмыслия — скука. Вихрь событий и — неподвижность. Все рушится, летит к черту и — нет жизни. Нет того, что делает жизнь: элемента борьбы. В человеческой жизни всегда присутствует элемент волевой борьбы; его сейчас почти нет. Его так мало в центре событий, что они точно сами делаются, хотя и посредством людей. И пахнут мертвечиной. Даже в землетрясении, в гибели и несчастии совсем внешнем больше жизни и больше смысла, чем в самой гуще ныне происходящего — только начинающего свой круг, быть может. Зачем, к чему теперь какие-то человеческие смыслы, мысли и слова, когда стреляют вполне бессмысленные пушки, когда все делается посредством «как бы» людей и уже не людей? Страшен автомат — машина в подобии человека. Не страшнее ли человек — в полном подобии машины, т. е. без смысла и без воли?

Это — война, только в последнем ее, небывалом, идеальном пределе: обнаженная от всего, голая, последняя. Как если бы пушки сами застреляли, слепые, не знающие, куда и зачем. И *человеку* в этой «войне машин» было бы — сверх всех представимых чувств — еще СКУЧНО.

Я буду, конечно, писать... Так, потому что я летописец. Потому что я дышу, сплю, ем... Но я не живу.

Завтра предполагается ограбление б-ками Государственного банка. За отказом служащих допустить это ограбление на виду — б-ки сменили полк. Ограбят завтра при помощи этой новой стражи.

Видела жену Коновалова, жену Третьякова. Союзные посольства дали знать в Смольный, что если будут допущены насилия над министрами — они порывают все связи с Россией. Что еще они могут сделать? Третьякова предлагает путь подкупа (в виде залога; да, этим, видно, и кончится). Они выйти согласятся лишь вместе.

У Х. был Горький. Он производит *страшное* впечатление. Темный весь, черный, «некочной». Говорит — будто глухо лает. Бедной Коноваловой при нем было очень тяжело. (Она — миловидная француженка, виноватая перед Горьким лишь в том разве, что ее муж «буржуй и кадет».) И вообще получалась какая-то каменная атмосфера. Он от всяких хлопот за министров начисто отказывается.

— Я... органически... не могу... говорить с этими... мерзавцами. С Лениным и Троцким.

Только что упоминал о Луначарском (сотрудник «Н. жизни», а Ленин — когда-то совсем его «товарищ») — я и возражаю, что поговорите, мол, тогда с Луначарским... Ничего. Только все о своей статье, которую уж он «написал»... для «Нов. жизни»... для завтрашнего №... Да черт в статьях! Х. пошел провожать Коновалову, тяжесть сгустилась. Дима хотел уйти... Тогда уж я прямо к Горькому: никакие, говорю, статьи в «Нов. жиз.» не отделят вас от б-ков, «мерзавцев», по вашим словам; вам надо уйти из этой компании. И, помимо всей «тени» в чьих-нибудь глазах, падающей от близости к б-кам, — что сам он, спрашиваю, сам-то перед собой? Что говорит его *собственная совесть*?

Он встал, что-то глухо пролаял:

— А если... уйти... с кем быть?

Дмитрий живо возразил:

— Если нечего есть — есть ли все-таки человеческое мясо?

Здесь обрывается текст моей «Петербургской записи» 〈...〉

КРИТИКА

Лев Шестов

Преодоление самоочевидностей

(К столетию рождения Ф. М. Достоевского)

...Кто знает, быть может, жить —
значит умереть, а умереть — жить.
Еврипид

I

«Кто знает, — может, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь», — говорит Еврипид. Платон, в одном из своих диалогов, заставляет самого Сократа, мудрейшего из людей и как раз того, кто создал теорию о понятиях и первый увидел в отчетливости и ясности наших суждений основной признак их истинности, повторить эти слова. Вообще у Платона Сократ почти всегда, когда заходит речь о смерти, говорит то же или почти то же, что Еврипид: никто не знает, не есть ли жизнь — смерть и не есть ли смерть — жизнь. Мудрейшие из людей еще с древнейших времен живут в таком загадочном безумии незнания. Только посредственные люди твердо знают, что такое жизнь, что такое смерть...

Как случилось, как могло случиться, что мудрейшие люди теряются там, где обыкновенные люди не находят никаких трудностей? И почему трудности — мучительнейшие, невыносимейшие трудности выпадают на долю наиболее одаренных людей? Что может быть ужаснее, чем не знать, жив ли ты или мертв! «Справедливость» требовала бы, чтоб такое знание или незнание было бы уделом равно всех людей. Да что справедливость! Сама логика того требует: бессмысленно и нелепо, чтобы одним людям было дано, а другим не было дано отличать жизнь от смерти. Ибо отличающие и не отличающие — уже совершенно различные существа, которых мы не вправе объединять в одном понятии — «человек». Кто твердо знает, что такое жизнь, что такое смерть, тот человек. Кто этого не знает, кто хоть изредка, на мгновение теряет из виду грань, отделяющую жизнь от смерти, тот уже перестал быть человеком и превратился... во что он превратился? Где тот Эдип, которому суждено разгадать эту загадку из загадок, проникнуть в эту великую тайну?

Нужно, однако, прибавить: «по природе» все люди умеют отличать жизнь от смерти, и отличают легко, безошибочно. Неумение приходит — к тем, кто на это обречен, — лишь с течением времени и, если не все обманывает, всегда вдруг, внезапно, неизвестно откуда. А потом вот еще: это «неумение» отнюдь не всегда присуще и тем, кому оно дано. Оно является только иногда, на время, и так же внезапно и неожиданно исчезает, как и появляется. И Еврипид, и Сократ, и все те, на которых было возложено священное бремя последнего незнания, обычно, подобно всем другим людям, твердо знали и знают, что такое и жизнь и что такое смерть. Но в исключительные минуты они чувствовали, что их обычное знание, то знание, которое роднило и сближало их с остальными, столь похожими на них существами, и таким образом связывало их со всем миром, покидает их. То, что все знают, что все признают, что и они сами не так давно знали и что во всеобщем признании находило себе подтверждение и последнее оправдание, — этого они не могут назвать своим знанием. У них есть другое знание, не признанное, не оправданное, не могущее быть оправданным. И точно, разве можно надеяться добыть когда-нибудь общее признание для утверждения Еврипида? Разве не ясно всякому, что жизнь есть жизнь, а смерть — есть смерть и что смешивать жизнь со смертью и смерть с жизнью может либо безумие, либо злая воля, поставившая себе задачей во что бы то ни стало опрокинуть все очевидности и внести смятение и смуту в умы?..

Как же посмел Еврипид произнести, а Платон повторить пред лицом всего мира эти вызывающие слова? И почему история, истребляющая все бесполезное и бессмысленное, сохранила нам их? Скажут, простая случайность: иной раз рыбья кость и ничтожная раковина сохраняются тысячелетиями. Сущность в том, что хоть упомянутые слова и сохранились, но они не сыграли никакой роли в истории духовного развития человечества. История превратила их в окаменелости, свидетельствующие о прошлом, но мертвые для будущего, — и этим навсегда и бесповоротно осудила их. Такое заключение как бы само собой напрашивается. И в самом деле: не разрушать же из-за одного или нескольких изречений поэтов и философов общие законы человеческого развития и даже основные принципы нашего мышления!..

Может быть, представят и другое «возражение». Может быть, напомнят, что в одной мудрой древней книге сказано: кто хочет знать, что было и что будет, что под землей и что над небом, тому бы лучше совсем на свет не рождаться. Но я отвечу, что в той же книге рассказано, что ангел смерти, слетающий к человеку, чтоб разлучить его душу с телом, весь сплошь покрыт глазами. Почему так, зачем понадобилось ангелу столько глаз, ему, который все видел на небе и которому на земле и разглядывать нечего? И вот, я думаю, что эти глаза у него не для себя. Бывает так, что ангел смерти, явившись за душой, убеждается, что он пришел слишком рано, что не наступил еще человеку срок покинуть землю. Он не трогает его души, даже не показывается ей, но, прежде чем удалиться, незаметно оставляет человеку еще два глаза из бесчисленных собственных глаз. И тогда человек внезапно начинает видеть сверх того, что видят все и что он сам видит своими старыми глазами, что-то совсем новое. И видит новое по-новому, как видят не люди, а существа «иных миров», так, что оно не «необходимо», а «свободно» есть. т. е. одновременно есть и его тут же нет, что оно является, когда исчезает, и исчезает, когда является. Прежние природные, «как у всех», глаза свидетельствуют об этом «новом» прямо противоположное тому, что видят глаза, оставленные ангелом. А так как остальные органы восприятия и даже сам разум наш согласован с обычным зрением и весь, личный и коллективный, «опыт» человека тоже согласован с обычным зрением, то новые видения кажутся незаконными, нелепыми, фантастическими, просто призраками или галлюцинациями расстроенного воображения. Кажется, что еще немного и уже наступит безумие: не то поэтическое вдохновенное безумие, о котором трактуют даже в учебниках по эстетике и философии и которое под именем эроса, мании или экстаза уже описано и оправдано кем нужно и где нужно, а то безумие, за которое сажают в желтый дом. И тогда начинается борьба между двумя зрениями — естественным и неестественным, — борьба, исход которой так же кажется проблематичен и таинствен, как и ее начало.

Одним из таких людей, обладавшим двойным зрением, и был, без сомнения, Достоевский. Когда слетел к нему ангел смерти? Естественнее всего предположить, что это произошло тогда, когда его с товарищами привели на эшафот и прочли ему смертный приговор. Но естественные предположения едва ли здесь уместны. Мы попали в область неестественного, вечно фантастического par excellence * и, если хотим что-нибудь здесь разглядеть, нам прежде всего нужно отказаться от тех методологических приемов, которые до сих пор нам обеспечивали достоверность наших истин и нашего познания. Пожалуй, от нас потребуется и еще большая жертва: готовность признать, что достоверность вовсе и не есть предикат истины или, лучше сказать, что достоверность никакого отношения к истине не имеет. Об этом еще придется говорить. но уже из приведенных слов Еврипида мы можем убедиться, что достоверность сама по себе. а истина сама по себе. Ибо если Еврипид прав и точно никто не знает, что смерть не есть жизнь, а жизнь не есть смерть, то разве этой истине суждено стать когда-нибудь достоверной? Пусть все до одного

* В высшей степени, преимущественно (*фр.*).

люди, отходя ко сну и вставая, повторяют слова Еврипида — они останутся такими же загадочными и проблематическими, какими они были для него самого, когда он впервые услышал их в сокровенной глубине своей души. Он принял их потому, что они чем-то пленили его. Он высказал их, хотя знал, что никто не поверит им, если даже и все услышат. Но сделать их достоверными он не мог, не пытался и, позволяю себе думать, не хотел. Может быть, вся пленительность и притягательная сила таких истин в том, что они освобождают нас от достоверности, что они подают нам надежду на возможность преодоления того, что именуется самоочевидностями.

Итак, не в тот момент, когда Достоевский стоял на эшафоте и ждал исполнения над собой приговора, слетел к нему страшный ангел смерти. И даже не тогда, когда он жил в каторге среди обрекавших других и ставших обреченными людей. Об этом свидетельствуют «Записки из Мертвого дома», одно из лучших произведений Достоевского. Автор «Записок из Мертвого дома» весь еще полон надежд. Ему, конечно, трудно, неслыханно трудно. Он не раз говорит — и в этом нет преувеличения,— что каторжная тюрьма, в которую согнали несколько сотен крепких, сильных, большей частью незаурядных, еще молодых, но выбитых из колеи и полных затаенной вражды и ненависти людей, была настоящим адом. Но за стенами этой тюрьмы, всегда помнил он, была иная жизнь. Край неба, видный даже из-за высокой острожной ограды, обещал в будущем, и не так уже отдаленном, волю. Придет время — и тюрьма, клейменные лица, нечеловеческая ругань, вечные драки, зверское начальство, смрад, грязь, свои и чужие вечно брящающие цепи — все кончится, все пройдет и начнется новое, высокое, благородное существование. «Не навсегда же я здесь»,— постоянно повторяет он себе. Скоро, скоро я буду «там». А «там», на воле, есть все, о чем тоскует, чего ждет измученная душа. Здесь только тяжкий сон, кошмар. А там великое, счастливое пробуждение. Раскройте тюремные двери, прогоните конвойных, снимите кандалы — больше ничего не нужно: остальное я найду в том вольном, прекрасном мире, который я и прежде видел, но не умел оценить. Сколько искренних, вдохновенных страниц написал на эту тему Достоевский! «Какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде. Я начертал себе программу всего будущего и положил твердо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что я все это исполню и могу исполнить. Я ждал, я звал поскорее свою свободу. Я хотел попробовать себя вновь на новой борьбе. Порой захватывало меня судорожное нетерпение...» Как жадно ждал он того дня, когда окончится каторга и начнется новая жизнь! И как глубоко он был убежден, что только бы выйти из тюрьмы, и он покажет всем — себе и другим, — что наша земная жизнь есть великий дар Божий. Если только не допускать прежних падений и ошибок, то можно уже здесь, на земле, найти все, что нужно человеку, и уйти из жизни, как уходили патриархи, «насытившись днями». «Записки из Мертвого дома» — единственное в своем роде произведение Достоевского, не похожее на все, что он писал до и после них. В них столько выдержанности, ровности, тихого, величавого спокойствия — и это при колоссальном внутреннем напряжении. Притом живой, горячий, не напускной интерес ко всему, что проходит пред глазами. Если не все обманывает — эти записки правдивая летопись той тюрьмы, в которой Достоевский провел четыре года. Нет как будто ничего вымышленного — не изменены даже имена и фамилии арестантов. Достоевский, очевидно, тогда всей душой был убежден, что то, что проходило пред его глазами, — хоть оно было ужасно и отвратительно, — все же было действительностью и притом единственно возможной действительностью. Были арестанты, смелые, трусливые, лживые, правдивые, страшные, безобидные, красивые, безобразные. Были смотрители, конвойные, майоры, бабы, приносившие калачи, фельдшера, врачи. Самые разнообразные люди — но действительные, настоящие, реальные, «окончательные» люди. И жизнь их тоже реальная, «окончательная» жизнь. Правда — бедная, жалкая, скучная, томительная, трудная. Но ведь

это же не «вся жизнь», как не все небо было в том голубом клочке, который виден был поверх тюремных стен. Настоящая, полная, содержательная, осмысленная жизнь — там, где над человеком не клочок синевы, а грандиозный купол, где нет стен, где бесконечный простор и широкая, ничем не ограниченная свобода — в России, в Москве, Петербурге, среди умных, добрых, деятельных и тоже свободных людей.

II

Окончилась каторга, окончилась последовавшая за каторгой военная служба. Достоевский в Твери, потом в Петербурге. Все, чего он ждал, пришло. Над ним уже не краешек голубого неба, а все небо. Он вольный, свободный человек, такой же, как и те люди, судьбе которых он завидовал, когда носил свои кандалы. Осталось только исполнить обеты, которые он добровольно наложил на себя, когда был в тюрьме. Нужно полагать, что Достоевский не скоро забыл о своих обетах и «программе» и делал не одну отчаянную попытку устроить свою жизнь так, чтобы не повторялись прежние «ошибки и падения». Но, по-видимому, чем больше он старался, тем меньше у него выходило. Он стал замечать, что свободная жизнь все больше и больше начинает походить на каторжную и что «все небо», которое прежде, когда он жил в заключении, казалось безграничным и в своей безграничности так много сулящим, так же теснит и давит, как и низкие потолки его острожной камеры. И идеалы,— те идеалы, которыми он умиротворял свою изнемогавшую душу в дни, когда, сопричисленный к злодеям, он жил среди последних людей и делил с ними их участь, эти идеалы не возвышают, не освобождают, а сковывают и принижают, как арестантские кандалы. Небо давит, идеалы сковывают — и вся человеческая жизнь, как и жизнь обитателей «Мертвого дома», превращается в тяжелый, мучительный сон, в непрерывный кошмар...

Почему так случилось? Вчера еще написаны были «Записки из Мертвого дома», в которых только жизнь каторжников, подневольных мучеников, изображалась как кошмар — от него же пробуждение обетовано после истечения определенного, назначенного срока, приближение которого ежедневно с полной безошибочностью учитывалось по осторожным палям. Кошмарна жизнь только там, в неволе. Жизнь на свободе прекрасна. Стоит снять цепи и открыть двери тюрьмы и человек будет свободным, начнет жить полной жизнью. Так, помним, думал Достоевский. Об этом свидетельствовали и его глаза, и все остальные чувства, и даже «божественный» разум. И вдруг, наряду с теми свидетельствами,— новое свидетельство, прямо противоположное. Достоевский, конечно, не подозревал об ангеле смерти. Может, и слыхал или читал о нем, но менее всего могло прийти ему в голову, что этот таинственный, невидимый гость захочет поделиться со смертным своей способностью прозрения. Но от полученного дара он не мог отказаться, как не можем мы отказаться и от даров ангела жизни. Все, что у нас есть, мы получили от кого-то и откуда-то, получили не спрошенные, еще прежде, чем умели задавать вопросы и отвечать на них. Второе зрение пришло к Достоевскому непрошеным, с такою же неожиданностью и так же самовольно, как и первое. Отличие только одно, на которое я уже указывал, но на котором, ввиду его необычайного значения, нужно еще раз остановиться: в то время как первое зрение, «естественные глаза», появляется у человека одновременно со всеми другими способностями восприятия и потому находится с ними в полной гармонии и согласии, второе зрение приходит много позже и из таких рук, которые менее всего озабочены сохранением согласованности и гармонии. Ведь смерть есть величайшая дисгармония и самое грубое, притом явно умышленное нарушение согласованности. Если мы в самом деле верили в то, что закон противоречия есть самый незыблемый принцип, как учил Аристотель,— то мы

обязаны были бы сказать: в мире есть либо жизнь, либо смерть — обе они одновременно существовать не могут.

Но либо закон противоречия совсем не так незыблем и всеобъемлющ, либо человек не смеет им всегда руководиться и пользуется им лишь в тех пределах, в каких он сам способен быть творцом. Там, где человек — хозяин, где он распоряжается, там этот закон ему служит. Два больше одного, а не меньше и не равняется одному. Но жизнь создана не человеком, не им создана и смерть. И обе они, хотя и взаимно одна другую исключают, все же одновременно существуют в мире, доводя до отчаяния человеческую мысль и принуждая ее признаться, что она не знает, где кончается жизнь и где начинается смерть и не есть ли то, что ей кажется жизнью,— смерть и то, что ей кажется смертью,— жизнь.

Достоевский вдруг «увидел», что небо и каторжные стены, идеалы и кандалы вовсе не противоположное, как хотелось ему, как думалось ему прежде, когда он хотел и думал, как все нормальные люди. Не противоположное, а одинаковое. Нет неба, нигде нет неба, есть только низкий, давящий «горизонт», нет идеалов, возносящих горе, есть только цепи, хотя и невидимые, но связывающие еще более прочно, чем тюремные кандалы. И никакими подвигами, никакими «добрыми делами» не дано человеку спастись из места своего «бессрочного заключения». Обеты «исправиться», которые он давал в каторге, стали казаться ему кощунственными. С ним произошло приблизительно то же, что и с Лютером, который с таким неподдельным ужасом и отвращением вспоминал об обетах, данных им при вступлении в монастырь: Ecce, Deus, ubi voto im pietatem et blasphemiam per totam meam vitam *.

Это новое «видение» и составляет основную тему «Записок из подполья», одного из самых замечательных произведений не только русской, но и мировой литературы. В этой небольшой вещи, как известно, все увидели и до сих пор хотят видеть только «обличение». Где-то, в подполье, есть такие жалкие, больные, несчастные, обиженные судьбой, ненормальные люди, которые в своем бессмысленном озлоблении доходят до геркулесовых столбов отрицания. И будто бы это только теперь, в наше время, появились такие люди, а прежде их совсем и не было. Правда, сам Достоевский много способствовал такого рода истолкованию, он даже подсказывает его в сделанном им к «Запискам» примечании. И, может быть, он был при этом правдив и искренен. Истины, подобные тем, которые открылись подпольному человеку, по самому своему происхождению таковы, что их можно высказать, но нельзя и нет надобности делать их предметом общего, постоянного достояния. Их, как я уже указывал, не удается сделать своей собственностью даже тому, кому они открылись. Сам Достоевский до конца своей жизни не знал достоверно, точно ли он видел то, о чем рассказывал в «Записках из подполья», или он бредил наяву, выдавая галлюцинации и призраки за действительность. Оттого так своеобразна и манера изложения «подпольного» человека, оттого у него каждая последующая фраза опровергает и смеется над предыдущей. Оттого эта странная череда и даже смесь внезапных, ничем не объясняемых восторгов и упоений с безмерными, тоже ничем не объяснимыми отчаяниями. Он точно сорвался со стремнины и стремглав, с головокружительной быстротой несется в бездонную пропасть. Никогда не испытанное, радостное чувство полета и страх пред беспочвенностью, пред всепоглощающей бездной.

С первых же страниц рассказа мы чувствуем, какая огромная, на наше суждение сверхъестественная (на этот раз, быть может, наше суждение нас не обманывает — вспомните об ангеле смерти) сила подхватила его. Он в исступлении, он «вне себя» (или, как обычно говорил Достоевский, «не в себе»), он мчится вперед, сам не зная куда, он ждет, сам не зная чего. Прочтите отрывок, которым заканчивается первая глава «Записок»: «Да-с, человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом

---

* И вот, Бог, даю обет благочестия и богохульства на всю мою жизнь (*лат.*).

по преимуществу бесхарактерным, деятель — существом по преимуществу ограниченным. Это сорокалетнее мое убеждение. Мне теперь сорок лет, а ведь сорок лет — это вся жизнь. Больше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно! Кто живет дольше сорока лет — отвечайте искренно, честно? Я вам скажу, кто живет: дураки и негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу, всем этим сребровласым и благоухающим старцам! Всему свету в глаза скажу! Я имею право так говорить, потому что сам до шестидесяти лет проживу! До семидесяти лет проживу! До восьмидесяти проживу! Постойте, дайте дух перевести!»

III

И точно, уже с самого начала необходимо остановиться и перевести дух. И каждую следующую главу Достоевский мог бы закончить теми же словами: дайте дух перевести. И у него самого, и у читателя дух захватывает от той бурной и дикой стремительности, с какой «новые» мысли вырываются из неведомых до того глубин его встревоженной души. Он не знает, что с ним, зачем эти мысли. Не знает даже, мысли ли это или просто наваждение. К добру они, ко злу? Спросить некого: на такие вопросы никто не может ответить. Никто — ни другие, ни сам Достоевский — не может быть уверен, что эти вопросы можно задавать, что они имеют какой-нибудь смысл. Но и отогнать их нельзя и, даже кажется иной раз, не нужно. В самом деле, такая мысль: человек девятнадцатого столетия должен быть существом по преимуществу бесхарактерным, деятель — ограниченным. Что это такое: серьезное убеждение или пустые слова? На первый взгляд, и вопроса быть не может: слова. Но позвольте напомнить, что один из величайших мыслителей древности, «всеми признанный» Плотин (о нем Достоевский, кажется, и не слышал), высказал ту же мысль, хотя в иной форме. И он утверждает, что «деятель» всегда ограничен, что сущность деятельности — самоограничение. Кому не под силу, кто не хочет «думать», «созерцать», тот действует. Но Плотин, такой же «исступленный», как и Достоевский, эту мысль высказывает совершенно спокойно, как чуть ли не что-то само собою разумеющееся, всем известное и всеми признанное. Может быть, он и прав: когда хочешь сказать такое, что идет вразрез с общепринятыми суждениями, лучше всего совсем и не повышать голоса. Проблематическое, даже совершенно невероятное, преподнесенное как само собою разумеющееся, часто принимается как и в самом деле очевидное. Впоследствии и Достоевский иной раз пользовался таким приемом, но сейчас он слишком взволнован и встревожен нахлынувшими на него «откровениями» и далеко не владеет собой. Да и той школы, той опоры, которую имел за собой Плотин, у Достоевского не было. Плотин — последний в целом ряде рожденных Грецией великих мыслителей. За ним — чуть ли не тысячелетие напряженнейшего философского творчества. Тут и стоики, и академики, тут Филон Александрийский, Аристотель, Платон, Сократ, Парменид. Все величайшие мастера и художники слова и мировые признанные авторитеты. Ведь и Платон знал «подполье», только он назвал его пещерой и создал великолепную, прогремевшую на весь мир притчу о людях как обитателях пещеры. Но он это умел так сделать, что никому и на ум не пришло, что платоновская пещера — есть подполье и что Платон — ненормальный, болезненный, озлобленный человек, по поводу которого другим нормальным людям полагается измышлять теории оздоровления и т. п. А между тем с Достоевским в подполье произошло то же, что и с Платоном в «пещере»: явились «новые глаза», и там, где «все» видели реальность, человек видит только тени и призраки, а в том, что «для всех» не существует,— истинную, единственную действительность. Не знаю, кто достиг больше своей цели: Платон, создавший идеализм и покоривший себе человечество, или Достоевский, рассказавший о своих видениях в такой форме, что все отшатнулись от подполь-

ного человека. Я сказал «своей цели», но, пожалуй, я неточно, даже неправильно выразился. Едва ли у Достоевского или Платона была определенная, сознательная задача, когда один говорил о пещере, другой о подполье, как едва ли можно допустить сознательную цель у существа, впервые вырывающегося из небытия к бытию. Цели приходят позже, много позже, а «в начале» цели не бывает. Человека давит мучительное чувство небытия, чувство, которое на нашем языке и не имеет даже для себя особого названия. Это то — неизреченное, как принято говорить,— но на самом деле не неизреченное, а еще не осуществившееся. Может быть, до некоторой степени понятие об этом или хоть намек на это состояние мы дадим, если скажем, что тут чувство абсолютной невыносимости того состояния равновесия, законченности, удовлетворенности, в котором обычное сознание — «многие» у Платона или «всемство» (все мы) у Достоевского — видит идеал человеческого достижения. Антисфен, считавший себя учеником Сократа, говорил, что он лучше готов сойти с ума, чем испытать чувство удовольствия. И Диоген, в котором современники видели сошедшего с ума Сократа, тоже больше всего в мире боялся равновесия и законченности. И, по-видимому, жизнь Диогена, в некоторых отношениях, полнее раскрывает пред нами сущность Сократа, чем блестящие диалоги Платона. Во всяком случае тот, кто хочет постичь Сократа, должен по меньшей мере столько же вглядываться в отвратительное лицо Диогена, как и в прекрасный, классический образ Платона. Сошедший с ума Сократ, быть может, и есть тот Сократ, который больше всего о себе расскажет. Ведь здравомыслящий человек — и умный и глупый — говорит не о себе, а о том, что, может быть, нужно и полезно всем. Здравомыслящий человек только потому и здравомыслящий, что он высказывает годные для всех суждения. И даже сам видит только то, что всем и всегда нужно. Здравомыслящий человек есть, так сказать,— «человек вообще». И, быть может, любопытнейший парадокс истории, над которым очень бы следовало задуматься философам, в том, что Сократ, бывший менее всего «человеком вообще», требовал от людей, чтобы они его считали человеком вообще par excellence и ничего другого в нем не искали. Этот завет Сократа принял от него и осуществил Платон. И только киники — предшественники христианских святых — пытались выдать миру великую тайну Сократа. Но киники прошли бесследно в истории. История тем и замечательна, что она с неслыханным — почти сознательно человеческим искусством заметает следы всего необычайного и экстраординарного, происходившего в мире. Оттого-то и историки, т. е. те люди, которые наиболее всего интересовались прошлым человечества, особенно прочно убеждены, что все в мире происходило всегда «естественно» и по «достаточным основаниям». Основная задача науки истории, как ее понимали всегда и понимают сейчас, в том именно и состоит, чтобы воссоздать прошлое как непрерывную цепь причинно меж собой связанных событий. Для историков Сократ был и должен был быть только человеком вообще. То, что в нем было собственно сократовского «не имело будущего» и потому для историка как бы и не существовало. Историк ценит только то, что попадает в реку времени и питает ее, а остальное его не касается. Он даже убежден, что остальное бесследно исчезает. Ведь это «остальное», то, что из Сократа делало Сократа, не есть ни материя, ни энергия, которая оберегается от гибели никем не созданными, а потому вечными законами. Собственно, Сократ для историка это то, что ничем не охранено. Пришел — ушел. Был — нет. Это ни в какой, ни в земной, ни во вселенской экономии учету не подлежит. Важен Сократ «деятель», тот, который оставил после себя следы в потоке общественного бытия. «Мысли» Сократа нам нужны и теперь. Нужны и некоторые поступки и дела его, которые могут служить образцом для других — как, напр[имер], его мужество и спокойствие в час смерти. Но сам Сократ — разве он кому-нибудь нужен? Оттого он и исчез бесследно, что никому не нужен. Был бы нужен, был бы и «закон», надежно его охраняющий. Есть ведь «закон» сохранения материи, не допускающий, чтоб хоть один атом превратился в небытие!

IV

Глазами историка, естественными глазами смотрел и Достоевский на жизнь. Но когда явились вторые глаза, он увидел другое. «Подполье» — это вовсе не та мизерная конура, куда Достоевский поместил своего героя, и не его одиночество, полнее которого не бывает ни под землей, ни на дне морском, выражаясь языком Толстого. Наоборот,— это нужно себе всегда повторять,— Достоевский ушел в одиночество, чтоб спастись от того подполья (по-платоновски — пещеры), в котором обречены жить «все» и в котором эти же все видят единственно действительный и даже единственно возможный мир, т. е. мир, оправданный разумом. То же наблюдаем мы и у средневековых монахов. И они больше всего боялись того «равновесия» душевного, в котором наш разум уверенно видит последнюю земную цель. Аскетизм и самобичевание имели своей задачей отнюдь не умерщвление плоти, как это обычно думают. Монахи и пустынники, изнурявшие себя постом, бдением и т. п. «трудами», прежде всего стремились вырваться из того «всемства», о котором говорит у Достоевского подпольный человек и которое на школьном философском языке называется «сознание вообще». Основное правило exercitia spiritualia * формулируется Игнатием Лойолой в следующих словах: quanto se magis reperit anima segregatam et solitariam, tinto aptiorem se ipsam reddit ad quaerendum intelligendumque Creatorem et Dominum suum **.

«Всемство» — главный враг Достоевского, то «всемство», без которого люди считают существование совершенно немыслимым. Еще Аристотель провозгласил: человек, который ни в ком не нуждается, есть либо Бог, имеющий все в себе самом, либо дикий зверь. Достоевский, как и спасавшие свою душу святые, всегда слышал какой-то таинственный голос: дерзай, ступай в пустыню, в одиночество. Будешь либо зверем, либо богом. Причем вперед ничего не известно. Прежде откажись от «всемства», а там — видно будет. Впрочем, по-видимому, даже и того хуже: если откажешься от «всемства», то сперва превратишься в зверя и только потом — когда потом, этого никто не знает — наступит, и то не наверное, последнее великое превращение, возможность которого Аристотель допускал, конечно, лишь затем, чтобы не отказаться от полноты теоретической формулировки. Разве не очевидно, не самоочевидно, что человек может обратиться в дикого зверя, но уже богом ему не дано стать? Общечеловеческий опыт, опыт нашего многотысячелетнего исторического существования с достаточной убедительностью подтверждает общие соображения разума: в зверей люди сплошь и рядом обращаются — и в каких грубых, тупых, диких зверей,— богов же среди людей еще не было. И личный опыт «подпольного» человека таков же. Прочтите его собственные признания. На каждой почти странице он рассказывает про себя почти невероятные вещи, в которых, пожалуй, и дикий зверь постыдился бы признаться. «На деле мне надо знаешь чего: чтоб вы провалились, вот чего. Мне надо спокойствия. Да, я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться или чтоб мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне всегда чай пить. Знала ли ты это или нет? Ну, а я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себялюбец, лентяй». И на следующей странице еще: «Я самый гадкий, самый смешной, самый мелочный, самый завистливый, самый глупый из всех на земле червяков». Такими признаниями пересыпаны все «Записки». И, если вам угодно, можете добавить от себя, сколько придет в голову, превосходных степеней от разных унизительных слов: подпольный человек ни от чего не откажется, все примет и еще побла-

* Духовного труда (*лат.*).

** Чем больше отделяется и уединяется душа, тем более способной становится она искать и постичь Творца и Господа своего (*лат.*).

годарит вас за изобретательность. Но не торопитесь торжествовать над ним: такие же признания вы найдете в книгах и исповедях величайших святых. Все они считали себя «самыми» — непременно *самыми* — безобразными, гнусными, пошлыми, слабыми, бездарными существами на свете. Бернард Клервосский, св. Тереза, ее ученик Джиованни дель Кроче и кто угодно из святых до конца своей жизни *все* были в безумном ужасе от своей ничтожности и греховности. Весь смысл христианства и вся та великая жажда искупления, которая была главным двигателем духовной жизни раннего и позднего средневековья, родилась из того рода прозрений. Cur deus homo? Почему понадобилось Богу стать человеком и вынести все те неслыханные муки и надругательства, о которых повествуют Евангелия? Ведь только потому, что иначе нельзя было спасти и искупить мерзость и ничтожность человека. Так безмерно велика человеческая низость, так глубоко пал человек, что никакими земными сокровищами нельзя было уже искупить вину его — ни золотом, ни серебром, ни гекатомбами, ни даже делами величайшего подвижничества. Потребовалось, чтоб Бог отдал своего единственного сына, потребовалась такая жертва из жертв — иначе нельзя было спасти грешника. Так верили, так видели, так буквально говорили святые. То же увидел и Достоевский, когда отлетел от него ангел смерти, оставив ему неприметно новые глаза. В этом смысле «Записки из подполья» могут быть лучшим комментарием к писаниям прославленных святых. Я не хочу этим сказать, что Достоевский излагал «своими словами» то, о чем узнал из чужих книг. Если б он ничего и не слышал о жизни святых, он все же написал бы свои «Записки». И есть все основания думать, что в то время, когда он описывал подполье, он очень мало знал книги святых. Это обстоятельство придает особую ценность «Запискам». Достоевский не чувствует за собой решительно никакого авторитета и поддерживающего его предания. Он говорит за свой страх, и ему кажется, что он один только, впервые с тех пор, как стоит мир, увидел то необычайное, что ему открылось. «Я один — а они все»,— с ужасом восклицает он. Вырванный из «всемства», из того единственно реального мира, который свою реальность только на «всемстве» и основывает, ибо какое другое основание мир мог когда-либо отыскать для себя,— Достоевский точно повис в воздухе. Почва ушла из-под его ног, и он не знает, что это такое: начало гибели или чудо нового рождения. Может ли человек существовать, не опираясь ни на что, или ему предстоит самому в ничто обратиться, раз он утратил под ногами почву? Древние говорили, что боги тем отличаются от смертных, что никогда не касаются ногами земли, что им не нужна опора, почва. Но то — боги, да еще притом древние, языческие боги, т. е. мифологические, сказочные, выдуманные боги, так основательно высмеянные современной научной мыслью...

Достоевский все это знает, как и всякий другой, лучше, чем всякий другой. Знает, что и древние боги и новый Бог давно уже выведены разумом за пределы возможного опыта и превращены в чистые идеи. Современная ему русская литература возвестила это со всей торжественностью, которая допускалась тогдашней цензурой. Да и западноевропейская литература с ее философскими столпами, Кантом и Контом, была достаточно открыта Достоевскому, хотя ни Канта, ни Конта он никогда не читал. Да в чтении и надобности не было. «Пределы возможного опыта»,— девиз XIX столетия, передавшийся по наследству и нашему столетию как глубочайшее прозрение научной мысли,— стояли китайской стеной пред человеческой пытливостью. Ни для кого не было сомнения, что есть некий «опыт», коллективный и даже соборный опыт человечества, и что нам дано постигнуть только то, что не выходит за его пределы, точно определяемые нашим разумом. И вот этот «возможный опыт» и его «пределы», как они рисовались Канту и Конту, показались Достоевскому вновь возведенной кем-то тюремной оградой. Страшны были стены прежней каторжной тюрьмы. Но из-за них виделся все-таки хоть краешек неба. А за пределами возможного опыта не было ничего видно.

Тут был последний конец, завершение,— дальше уже некуда было идти. Стена с дантовской надписью: lasciate ogni speranza *.

V

В «Записках из Мертвого дома» Достоевский много рассказывает о бессрочных каторжных и об их отчаянных попытках побега. Знает человек, чем рискует и что ставит на карту. И как мало надежды на удачу. И все же решается. Уже в каторге Достоевского больше всего привлекали решительные люди, которые умеют ни перед чем не останавливаться. Он всячески старался разгадать их психологию — но разгадать ему так и не удалось. И не потому, что у него не хватило наблюдательности или проницательности или что мысль его недостаточно напряженно работала, а потому, что тут разгадки и быть не может. «Решительность» ничем не «объяснишь». Достоевский мог только констатировать, что везде мало решительных людей, мало их и в каторге. Правильней было бы сказать, что решительных людей совсем и не бывает, а бывают только великие решения, которые «понять» нельзя, так как они обыкновенно ни на чем не основаны и, по существу своему, исключают всякие основания. Они не подходят ни под какое правило, они потому «решения» и потому «великие», что идут мимо и вне правил, а стало быть, и всяких возможных объяснений. В бытность свою в каторге Достоевский еще не дал себе в этом отчета. Он верил, как и все, что есть пределы человеческого опыта и что пределы эти определяются вечными, ненарушимыми принципами. Но в «Записках из подполья» ему открылась новая, неслыханная истина: таких вечных принципов — нет. И закон достаточного основания, которым эти принципы держатся, только самовнушение влюбленной в себя и обоготворившей себя ограниченности. «Пред стеной непосредственные люди и деятели искренно пасуют. Для них стена не отвод, как для нас, не предлог воротиться с дороги, предлог, в который обыкновенно наш брат и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всей искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно-разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое... Ну-с, такого-то вот непосредственного человека я и считаю нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать природа, любезно зарождая его на земле. Я такому человеку до крайней меры завидую. Он глуп, я в этом с вами и не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почем вы знаете? Может быть, даже это очень красиво». Вдумайтесь в эти слова, они стоят того, чтобы в них вдуматься. Это не мимолетный, дразнящий парадокс — это великое *философское* откровение, посетившее Достоевского. Конечно, оно выражено, как и все «новые» мысли подпольного человека, не в форме ответа, а в форме вопроса. И притом неизбежное «может быть», как бы умышленно затем и приставленное, чтоб превратить зарождающиеся ответы в новый, не допускающий никакого ответа вопрос. Может быть, нормальному человеку полагается быть глупым! Может быть, это даже красиво! И дальше — все то же: везде ослабляющее, дискредитирующее мысль «быть может», тот невыносимый для здравого смысла дрожащий, мигающий полусвет, при котором исчезает всякая определенность очертаний и стираются границы между предметами, до того стираются, что не знаешь, где кончается один и начинается другой. Уверенность в себе пропадает, твердое движение в определенном направлении становится невозможным. И самое главное — вдруг это незнание начинает казаться не проклятием, а благодатным даром... «О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек... если бы его

* Входящий, оставь упованья (*ит.*).— *Пер. М. Лозинского.*

просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы... тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных своих выгод, следственно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро? О младенец, о чистое, невинное дитя!.. Выгода! Что такое выгода? А что, если так случится, что человеческая выгода *иной раз* не только может, но и должна именно в том и состоять, что в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного? А если так, если может быть такой случай, то все правило прахом пошло». Что привлекает Достоевского? Авось внезапность, потемки, своеволье — как раз все то, что здравым смыслом и наукой почитается как нечто не существующее или существующее отрицательно. Достоевскому хорошо известно, что думают все. Знает он тоже, хотя он и не был знаком с учениями философов, что с древнейших времен неуважение к правилу считалось величайшим преступлением. И вот страшное подозрение закралось в его душу: что, если именно в этом люди всегда заблуждались?!

Поразительно, что, не имея никакой научно-философской подготовки, он так верно разглядел, в чем основная, вековечная проблема философии. «Записки из подполья» не обсуждаются и даже не называются по имени ни в одном философском учебнике. Нет иностранных слов, нет школьной терминологии, нет академического штемпеля: значит, не философия. На самом же деле, если была когда-либо написана «Критика Чистого Разума», то ее нужно искать у Достоевского — в «Зап[исках] из подполья» и в его больших романах, целиком из этих «Записок» вышедших. То, что нам дал Кант под этим заглавием, есть не критика, а апология чистого разума. Кант не дерзнул критиковать разум, несмотря на то, что, как ему казалось, он, благодаря Юму, проснулся от догматической дремоты. Как он поставил вопрос? Есть наука математика, есть науки естественные — возможна ли наука метафизика, логическая конструкция которой была бы той же, что и логическая конструкция *уже оправдавших* себя положительных наук? Это он считал критикой! И пробуждением! Но ведь прежде всего, если уж он хотел критиковать и проснуться, нужно было поставить вопрос о том, оправдали ли себя точно «положительные» науки и вправе ли он называть свое знание знанием? Не есть ли то, чему они нас учат, обман и иллюзия? Такого вопроса он не ставит: настолько он не пробудился от своего ученого сна. Он «убежден», что положительные науки «оправдали» себя «успехом», т. е. теми «выгодами», которые они принесли людям,— стало быть, они суду не подлежат, а сами — судят. И если метафизика хочет существовать — она должна предварительно испросить санкции и благословения у математики и естествознания.

Дальнейшее известно: оправдавшие себя «успехом» науки стали науками только благодаря тому, что в их распоряжении был ряд «принципов», «правил», синтетические суждения à priori. Правил незыблемых, всеобщих и необходимых, от власти которых не может освободить, по мнению Канта, смертного никакое пробуждение. А так как эти правила применимы в «пределах возможного опыта», а за этими пределами неприменимы, то, стало быть, метафизика, которая стремится (по мнению Канта) к запредельному, невозможна. Так рассудил Кант, воплотивший в свои суждения всю практику научного мышления исторического человечества. Достоевский, хоть он о Канте не имел никакого представления, поставил тот же вопрос — но прозрение его было много глубже. Кант глядел на мир общими человеческими глазами. У Достоевского были, как мы знаем, «свои» глаза.

У Достоевского не положительные науки судят метафизику, а метафизика — положительные науки. Кант спрашивает: возможна ли метафизика? Если возможна, будем продолжать попытки наших предшественников, если невозможна — бросим, возлюбим

нашу ограниченность и поклонимся ей. Возможность — естественный предел, в нем есть нечто успокаивающее, даже мистическое. Это — вечная истина: veritas alterna *. Само католичество, опирающееся на откровение, учит: Deus impossibilia non jubet **.

Бог не требует невозможного. Но тут-то и проявляет себя «второе зрение». Подпольный человек, тот подпольный человек, который со столь ужасающей искренностью заявил нам, что он хуже всех людей на свете, вдруг, сам не зная по какому праву, срывается со своего места и резким, диким, отвратительным (все в подпольном человеке отвратительно), не своим голосом (у подпольного человека не свой голос, как и глаза у него не свои) кричит: ложь, обман! Бог *требует* невозможного. *Бог только требует невозможного.* Это «все вы» пасуете пред стеной и видите в стене что-то успокаивающее, окончательное, даже, как католики, мистическое. Но я вам заявляю, что ваши стены, ваше «невозможное» только предлог и отвод и ваш Бог, тот Бог, который не требует невозможного, есть не Бог, а гнусный идол — одна из тех больших или малых выгод, дальше которых вы никогда не шли и не пойдете. Метафизика невозможна! Стало быть,— ни о чем, кроме метафизики, ни думать, ни говорить не буду... «У меня, господа, есть приятель... Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам велеречиво и ясно, как именно нужно поступить ему по законам рассудка и истины. Мало того, с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных, человеческих интересах: с насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели, и ровно через четверть часа, без всякого постороннего повода, а именно почему-то внутреннему, что сильнее всех его интересов, выкинет совершенно другое колено, т. е. явно пойдет против всего, об чем сам и говорил: и против законов рассудка, и против собственной выгоды, ну, одним словом, против всего. Против какого такого «всего»? И что это за «внутреннее», которое сильнее всех «интересов»? «Все» — это, выражаясь школьным языком, законы рассудка и совокупность «очевидностей». «Внутреннее» — «иррациональный остаток», находящийся за пределами возможного опыта. Ибо тот опыт, с которого, по Канту (Кант — нарицательное имя: Кант — это «всемство», все мы), начинается всякое знание и из которого выросла наша наука, не включает и не хочет включить то «внутреннее», о котором говорит Достоевский. «Опыт» Канта есть коллективный опыт человечества, и только популярное, торопливое истолкование смешивает его с фактами материального или духовного бытия. Иначе говоря, этот «опыт» уже непременно предполагает готовую теорию, т. е. систему правил, законов, о которых Кант, конечно, правду сказал, что не природа людям, а люди природе диктуют законы. Но тут-то и начинается коренное расхождение и взаимное «непонимание» между школьной философией, с одной стороны, и устремлениями Достоевского — с другой. Как только Кант слышит слово «закон» — он обнажает голову: не смеет и не хочет спорить. Раз диктуются законы, значит — власть, раз власть, значит, нужно покориться, ибо высшая добродетель человека в покорности. Но, конечно, не живой «человек» диктует законы природе. Такой человек и сам только природа, т. е. то, что подчиняется. Высшая, последняя, окончательная власть принадлежит «человеку вообще», т. е. началу идеальному, равно далекому и от одушевленного существа, и от неодушевленного тела. Иначе говоря: над всем, что есть, стоит принцип, правило, закон. Наиболее адекватное, хотя и не столь соблазнительное выражение кантовской мысли было бы: не природа и не человек диктует законы, а природе и человеку диктуются законы законами же. Иначе говоря: вначале был закон. Если бы Кант так выразил свое основное положение, он был бы ближе и к научному мировоззрению, которое он стремился оправдать.

* Истина переменна (*лат.*).
** Бог не требует невозможного (*лат.*).

и вместе с тем к обычному здравому смыслу, из которого научное мировоззрение и выросло. Тогда бы исчезла разница между теоретическим и практическим разумом, т. е. был бы достигнут философский идеал: «Поступай так, чтоб принцип твоего поведения мог стать всеобщим законом». Т. е. «правило» есть то, чем оправдывается поступок, подобно тому, как в правиле выражается и истина. И природа, и мораль выросли из правил, из автономных, самодовлеющих принципов, которые одни имеют надэмпирическое, вневременное бытие. Повторяю еще раз: Кант не сам все это выдумал — он только отчетливее формулировал то, к чему привела людей научная мысль. Вместо сонма свободных, невидимых духов, индивидуальных и капризных, которыми мифология населила мир, наука создала новый мир призраков — принципов, всегда себе равных и неизменных, и в этом усмотрела окончательное преодоление древнего суеверия. В этом сущность идеализма, в этом современность видит высшее, последнее достижение.

Достоевский, хотя и не имел профессиональной подготовки, с необычной чуткостью понял, как должен быть поставлен основной вопрос философии. Возможна ли метафизика как наука?

Но, во 1-х, почему метафизика должна быть наукой? Во 2-х, какой смысл в наших устах иметь слово «возможный»? Наука предполагает, как свое необходимое условие, то, что Достоевский называл «всемством», т. е. всеми признанные суждения. Есть такие всеми признанные суждения, и эти суждения имеют огромные, сверхъестественные преимущества пред суждениями, не принятыми всеми,— только они называются истинными. Достоевский превосходно понимал, почему наука и здравый смысл так гоняются за всеобщими и необходимыми суждениями. «Факты» сами по себе не «обогащают» нас, не приносят никаких выгод. Что с того, если мы подметили, что камень согрелся на солнце, кусок дерева держался на воде, несколько глотков воды утолили жажду и т. п. Науке отдельные факты не нужны, она даже и не интересуется ими. Ей нужно то, что факты чудесным образом превращает в «опыт». Когда я получаю право сказать: солнце всегда согревает камень, дерево никогда не тонет в воде, вода всегда утоляет жажду и т. п., только тогда добывается научное знание. Иначе говоря: знание становится знанием лишь постольку, поскольку мы в факте открываем «чистый» принцип, то невидимое глазу «всегда», тот всемогущий призрак, который унаследовал власть и права изгнанных из мира богов и демонов. То же, что в физическом мире, наблюдаем мы и в мире нравственном. И там место богов заняли принципы: уничтожьте принципы — и все смешается, не будет ни добра, ни зла, подобно тому, как и в мире внешнем, если исчезнут законы, все что угодно будет возникать из всего чего угодно. Само представление об истине и лжи, о добре и зле предполагает вечный, неизменный порядок. Это и стремится выявить наука, создавая теорию. Если мы знаем, что солнце *не может* не согреть камень, дерево *не может* тонуть в воде, что вода *необходимо* утоляет жажду, т. е. если мы можем наблюдённый факт превратить в теорию, поставив его под охрану невидимого, но вечного, никогда не возникшего и потому никогда не могущего исчезнуть закона,— у нас есть наука. То же нужно сказать и о морали. И она держится только законом: все должны поступать так, чтоб в поступках их проявлялась безусловная готовность подчиниться правилу. Только при таком условии возможно социальное существование человека. Все это Достоевский знал превосходно, хотя в истории философии был настолько несведущ, что ему казалось, будто идея «чистого разума» как единственного властителя и господина вселенной была изобретена в самое последнее время и творцом ее был Клод Бернар. И что, тоже в самое последнее время, кто-то, по-видимому все тот же Клод Бернар, выдумал новую науку «этику», которая окончательно решила, что и над людьми единственный хозяин — все тот же закон, навсегда вытеснивший Бога. Достоевский умышленно влагает свои

собственные философские размышления в уста невежественного Димитрия Карамазова. Образованные люди — даже Иван Карамазов — все на стороне Клода Бернара с его «эфикой» и «законами природы». Очевидно, что от его проницательности не укрылось то обстоятельство, что научная вышколенность ума в каком-то смысле парализует человеческие силы и обрекает нас на ограниченность. Конечно, он мог об этом прочесть и в Библии. Но, кто не читал и не знает Библии? Наверное, и Клод Бернар, и те, у кого Клод Бернар учился, читали Библию. Но неужели в этой книге искать философской истины? В книге невежественных, почти не затронутых культурой людей? Другого выхода Достоевский не находил. И ему пришлось, вслед за бл. Августином, воскликнуть: Surgunt indocti et rapiunt coelum! — Бог весть откуда приходят невежественные люди и восхищают небо!

VI

Surgunt indocti et rapiunt coelum! Чтоб восхитить небо, нужно отказаться от учености, от основных идей, которые мы впитали в себя с молоком матери. Больше того, нужно отказаться, как мы могли уже убедиться из приведенных цитат, вообще от идей, т. е. усомниться в той чудотворной их силе, при посредстве которой они превращают факты в «теорию». Научное мышление наделило идеи высшей прерогативой: они решали и судили, что возможно и что невозможно, они определяли границу между действительностью и мечтой, между добром и злом, должным и не должным. Мы помним первый бешеный, безудержный наскок подпольного человека на застывшие в сознании своих суверенных, неотъемлемых прав самоочевидности. Слушайте дальше — но забудьте и думать, что вы имеете дело с оплеванным, ничтожным петербургским чиновником. Диалектика Достоевского, как в «Записках из подполья», так и в других его произведениях, может быть свободно поставлена наряду с диалектикой какого угодно из признанных европейских философов, а по смелости мысли — я этого не боюсь сказать — едва ли многие из избранников человечества сравнятся с ним. Что же до самопрезрения — еще раз повторю — он делит его со всеми святыми всего мира... «Продолжаю о людях с крепкими нервами... Эти господа... пред невозможностью тотчас же смиряются. Невозможность — значит, каменная стена! Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж нечего морщиться, принимай как есть. Уж как докажут тебе, что, в сущности, одна капелька твоего собственного жиру тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных, так уж принимай, нечего делать-то, потому дважды два — математика. Попробуйте возражать! — Помилуйте, закричат вам, возражать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается: ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ли вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следовательно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена и т. д., и т. д. Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что эта каменная стена, а у меня сил не хватило. Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает хоть какое-нибудь слово на мир, единственно потому, что она дважды два четыре! О нелепость нелепостей! То ли дело все понимать, все сознавать, все возможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих стен, если вам мерзит примириться; дойти путем самых неизбежных логических комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной-то стене будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, что

вовсе не виноват, и вследствие этого, молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться, выходит, тебе не на кого; что предмета не находится, а может быть, никогда и не найдется, что тут подмен и шулерство, что тут просто бурда,— неизвестно что и неизвестно кто; но, несмотря на все эти неизвестности, у вас все-таки болит, и чем больше неизвестно, тем больше болит». Может быть, вы уже устали следить за Достоевским и за его отчаянными попытками преодолеть непреодолимые самоочевидности? Вы не знаете, серьезно ли он говорит или дразнит вас изощренной софистикой. Ну, можно ли, в самом деле, не пасовать пред стеной? Противопоставлять природе, которая делает свое, не спрашивая нас, наше слабое, ничтожное я, да еще притом самоуверенно квалифицировать суждения, такую возможность отрицающие, как «нелепость нелепостей»? Но ведь Достоевский и усомнился в том, вправе ли наш разум судить о возможном и невозможном. Такого вопроса «теория познания» не ставит. Ибо, если разуму не дано судить о возможном и невозможном, то кому же тогда судить? Тогда, стало быть, все — возможно и все — невозможно. А тут Достоевский, словно насмехаясь над нами, и сам признает, что сил-то у него нет, чтоб пробить стену. Значит, признает какую-то невозможность, какие-то пределы. Зачем же он только что утверждал противоположное? Ведь таким образом мы придем уже к абсолютному хаосу или даже не к хаосу, а к какому-то грандиозному ничто, в котором вместе с правилами, законами и идеями исчезнет и всякая действительность. Но, по-видимому, за известными гранями приходится и такое испытать. Человек, освобождающийся от кошмарной власти посторонних идей, подходит к чему-то столь необычному и столь новому, что ему должно казаться, что он вышел из области действительности и подошел к вечному, изначальному небытию. Достоевский был не первым из людей, которому пришлось испытать это невообразимо страшное чувство перехода в инобытийное существование, состояние человека, вынужденного отказаться от той опоры, которая нам дается «принципами». За полторы тысячи лет до него величайший философ Плотин, тоже подобно Достоевскому попытавшийся взлететь над нашим «опытом» — знанием, рассказывает, что первое впечатление от этого взлета такое, будто все исчезло, и безумный страх, что осталось только чистое ничто. Прибавлю, что Плотин не все рассказал и, пожалуй, главное утаил. По-видимому, не только первое, но и второе, и все последующие впечатления остаются такие же. Душа, выброшенная за нормальные пределы, никогда не может отделаться от безумного страха, что бы нам ни передавали об экстатических восторгах.

Тут восторг не погашает и не исключает ужасов. Тут эти состояния органически связаны: чтоб был великий восторг, нужен великий ужас. И нужно сверхъестественное душевное напряжение, чтоб человек дерзнул противопоставить себя всему миру, всей природе и даже последней самоочевидности: «все» не считается со мной, но и я не считаюсь с «всем». Пусть «все» торжествует. Достоевскому доставляет даже особого рода наслаждение повествовать о своих непрерывных поражениях и неудачах. Никто ни до него, ни после не описывал с такой томительной, выматывающей душу обстоятельностью унижение и муки раздавленного «самоочевидностями» человека. Достоевский не успокаивается, пока ему не удастся вырвать у самого себя признание: «Да разве сознающий человек может уважать себя». И точно, кто может уважать бессилие и ничтожество? А все «Записки» только и свидетельствуют что о бессилии и унижениях. Подпольного человека бранят, выталкивают, бьют, что угодно с ним делают. А он словно ищет случая еще, еще и еще «претерпеть». Точно, чем больше его оскорбляют, унижают, уничижают — тем ближе он к своей заветной цели. А цель одна, как мы знаем: вырваться из пещеры, из того завороженного царства, где над человеком господствуют законы, принципы, самоочевидности,— из «идеального» царства «здоровых» и «нормальных» людей. Подпольный человек — самое несчастное, жалкое, обиженное существо.

Но «нормальный» человек, т. е. человек, живущий в том же подполье, только и не подозревающий, что подполье есть подполье, и убежденный, что его жизнь есть настоящая, высшая жизнь, его знание — наиболее совершенное знание, его добро — абсолютное добро, что он альфа и омега, начало и конец всего, такой человек даже в подпольном крае вызывает гомерический хохот. Прочтите, как описывает Достоевский «нормальных» людей, и спросите, что лучше, мучительные ли судороги «сомнительного» пробуждения или тупая, серая, зевающая, удушающая прочность «несомненного» сна. Тогда, быть может, вам не покажется таким парадоксальным противопоставление одного человека «всей» природе. При все видимой бессмыслице это все-таки не так «бессмысленно», как апофеоз «всемства», той золотой средины, при которой только и могли вырасти наше «знание» и наше «добро».

Аристотеля (когда Достоевский называет Клода Бернара, он de facto * имеет в виду Аристотеля) его биограф называет «преувеличенно умеренным». И точно, Аристотель был гением и несравненным певцом «всемства», т. е. середины и посредственности. Он впервые твердо установил принцип: «законченность есть признак совершенства», он и создал идеальную, навеки образцовую систему знания и «эфики». Не случайно, конечно, средние века, когда «пределы возможного опыта» расширялись до фактической беспредельности, так прочно держались аристотелевской философии. Аристотель был необходим богословам, как римская государственная организация — папам. Католичество было и должно было быть complexio oppositorum **: без «умеряющего» Аристотеля и римских юристов оно никогда бы не добилось победы на земле...

Может быть, теперь именно уместно указать и на то обстоятельство, что в русской литературе Достоевский не стоит одиноко. Впереди его и даже над ним должен быть поставлен Гоголь. Все произведения Гоголя — и «Ревизор», и «Женитьба», и «Мертвые души», и даже его ранние рассказы, так весело и красочно рисующие малороссийский «быт»,— одни непрерывающиеся «Записки из подполья». Пушкин, читая Гоголя, воскликнул: «Боже, какая грустная Россия!» Но Гоголь не о России говорил — ему весь мир представлялся завороженным царством. Достоевский понимал это: «Изображения Гоголя,— писал он,— давят ум непосильными вопросами». «Скучно жить на свете, господа!» — этот страшный вопль, который как бы против воли вырвался из души Гоголя, не к России относился. Не потому «скучно», что на свете больше, чем хотелось бы, Чичиковых, Ноздревых и Собакевичей. Для Гоголя Чичиковы и Ноздревы были не «они», не другие, которых нужно было бы «поднять» до себя. Он сам сказал нам,— и это не лицемерное смирение, а ужасающая правда,— что не других, а себя самого описывал и осмеивал он в героях «Ревизора» и «Мертвых душ». Книги Гоголя до тех пор останутся для людей запечатанными семью печатями, пока они не согласятся принять это гоголевское признание. Не худшие из нас, а лучшие — живые автоматы, заведенные таинственной рукой и не дерзающие нигде и ни в чем проявить свой собственный почин, свою личную волю. Некоторые, очень немногие, чувствуют, что их жизнь есть не жизнь, а смерть. Но и их хватает только на то, чтоб, подобно гоголевским мертвецам, изредка, в глухие ночные часы, вырываться из своих могил и тревожить своих оцепеневших соседей страшными, душу раздирающими криками: душно нам, душно! Сам Гоголь чувствовал себя огромным, бесформенным Вием, у которого веки до земли и который не в силах их хоть чуть-чуть приподнять, чтоб увидеть краешек неба, открытый даже жалким обитателям Мертвого дома. Его сверкающие остроумием и несравненным юмором произведения — самая потрясающая из мировых трагедий, как и его личная жизненная судьба. И его посетил грозный ангел и наделил

* Фактически (*лат.*).
** Совокупность противоположностей (*лат.*).

проклятым даром второго видения. Или этот дар не проклятие, а благословение? Если бы хоть на этот вопрос можно было ответить! Но весь смысл второго видения в том, чтоб задавать вопросы, на которые нет ответов, и именно потому, что они так настоятельно требуют ответов. Бесчисленный сонм чертей и иных могучих духов не мог приподнять веки Вию. Не может открыть глаза и Гоголь, хоть весь он сосредоточен на одном помысле, на одном желании. Он может только терзать себя и безумствовать — отдать себя в руки духовному палачу отцу Матвею, уничтожать свои лучшие рукописи, писать дикие письма друзьям своим. И, по-видимому, в каком-то смысле эти беспощадные самоистязания, этот неслыханный духовный аскетизм «нужнее», чем его дивные литературные произведения. Может быть, нет иного способа, чтоб вырваться из власти «всемства»! Гоголь не употребляет этого слова. Гоголь даже ничего не слышал о Клоде Бернаре и никогда, конечно, не подозревал, что Аристотель заворожил мир законом противоречия и другими самоочевидностями. Гоголь не получил никакого образования и был indoctus * в такой же степени, как и те галилейские плотники и рыбаки, о которых говорит бл. Августин. И все-таки,— а может быть, именно потому еще мучительней, чем Достоевский, он чувствовал над собой и всем миром страшную власть чистого разума, тех идей, которые создал «нормальный», непосредственный человек и которые выявила и прославила теоретическая философия, принявшая наследие Аристотеля.

VII

Мне уже приходилось однажды указывать, что самое верное, т. е. единственно исчерпывающее, определение философии мы находим у Плотина. На вопрос, что такое философия, он отвечает: to timiotaton, т. е. самое важное. Помимо того, что этим определением, как будто даже без заранее обдуманного намерения, разрушаются существовавшие уже в древности перегородки, коими философия отграничивалась от соседних с ней областей религиозного творчесва и искусства — ибо ведь и художник, и пророк ищут to timiotaton,— помимо того, в определении Плотина философия не только не ставится под контроль и начало науки, но прямо ей противопоставляется. Науке нет дела до важного и неважного. Наука объективна, бесстрастна. Ей все — равно. Она спокойно зрит на правых и виновных, не ведает ни жалости, ни гнева. Но так как там, где нет гнева и жалости, где равнодушно относятся к правым и виновным, где все «явления» только классифицируются, но не квалифицируются, не может быть важного и неважного, то, стало быть, философия, определяемая как to timiotaton, уже ни в коем случае не может быть наукой. Даже больше того, она необходимо должна столкнуться с наукой, и как раз в основном вопросе о своем суверенитете. Наука претендует на достоверность, т. е. на всеобщность и необходимость своих утверждений. В этом ее сила, историческое значение и великий, величайший соблазн. Повторю еще раз: глубоко заблуждаются те ученые — а таких множество,— которые воображают, что они только «собирают и описывают факты». Факты сами по себе для науки совершенно не нужны, даже для таких наук, как ботаника, зоология, история, география. Науке нужна теория, т. е. то, что чудесным образом превращает однажды происшедшее, для обычного глаза «случайное»,— в необходимое. Отнять у науки это суверенное право — значит свести ее с пьедестала, обессилить ее. Самое простое описание самого простого факта уже предполагает верховную прерогативу — прерогативу

* Неученый (*лат.*).

последнего суда. Наука не констатирует, а *судит*. Она не изображает действительность, а творит истину по собственным, автономным, ею же созданным законам. Наука, иначе говоря, есть жизнь пред судом разума. Разум решает, чему быть и чему не быть. Решает он по собственным — этого нельзя забывать ни на минуту — законам, совершенно не считаясь с тем, что он именует «человеческим, слишком человеческим». Материя и энергия неуничтожимы, а Сократ и Джордано Бруно уничтожимы, постановляет разум: и все беспрекословно повинуются, никто не дерзает и вопроса поставить, почему разум издал такой закон, почему он так отечески заботливо хранил материю и энергию и забыл о Сократе и Бруно! И еще меньше дерзают поставить другой вопрос. Положим, что разум и постановил этот возмутительный закон, пренебрегши всем, что свято для людей, всем to timiotaton, но откуда он взял силы провести свое решение? Да еще так, что за все бесконечное существование мира ни разу не случилось, чтоб хоть один атом пропал бесследно и хоть один не то уж пудо-фут, но золотников дюйм энергии расстаял в пространстве? Ведь это самое настоящее, неслыханное чудо! Тем более, что, собственно говоря, никакого разума и нет. Попробуйте найти его, указать: ничего не выйдет. Чудеса он творит, как наиреальнейшее существо, а существования не имеет. И мы все, приученные к самому крайнему недоверию, такое чудо спокойно допускаем — ибо наука, создаваемая разумом, умеет хорошо заплатить нам: из ничего не стоящих «фактов» создает «опыт», благодаря которому мы становимся «властелинами над природой». Разум привел человека на высокую гору и, указывая на весь мир, сказал: все отдам тебе, если, падши, поклонишься. Человек *поклонился* и получил, хотя, правда, далеко не сполна, обещанное. С тех пор величайшей обязанностью человека считается обязанность поклоняться разуму. Нам даже представляется немыслимым, т. е. в каком-то смысле невозможным, иное отношение к разуму. Относительно Бога есть заповедь: возлюби Господа Бога всем сердцем и душой. Разум обходится без заповеди: и так возлюбят, без всякого приказания. Теория познания только воспевает разум, допрашивать же его никто не решается и еще меньше решаются оспаривать его суверенные права. Чудо превращения фактов в «опыт» всех покорило и соблазнило; все признали, что разум судит, но сам суду не подлежит.

Достоевский своими вторыми глазами скоро увидел, что «опыт», с которого люди начинают свою науку, есть не действительность, а теория. И что теория не может оправдываться никакими успехами, завоеваниями, даже чудесами. И он поставил вопрос, вправе ли «всемство» (от него же и пошли самоочевидности) пользоваться теми высокими прерогативами, которые оно искони себе присвоило, иначе говоря, вправе ли разум автономно судить, не давая в том никому отчета, или мы имеем тут дело только с освященным веками захватом. Таким образом, спор «всемства» с отдельным, живым человеком представлялся ему не как спор об истине, а как спор о праве. «Всемство» захватило власть — нужно отбить ее, и, чтоб отбить, прежде всего нужно перестать верить в закономерность захвата и сказать себе, что противник держится не собственными силами, а нашей верой в его силы. «Законы природы» с их непреоборимостью, истины с их самоочевидностью — может быть, только «наваждение», такое же самовнушение или внушение извне, какое бывает у петуха, если обвести вокруг него меловую черту. Петух не выйдет за черту, как если бы это была не черта, а каменная стена. И если бы петух умел «мыслить» и выражать свои мысли в словах, он бы создал теорию познания, говорил о самоочевидностях и в меловой черте видел предел возможного опыта. А раз так, стало быть, с предпосылками научного знания нужно бороться уже не доказательствами, а совсем иными приемами. Доказательства годились лишь до того, пока в душе была еще вера в предпосылки, которыми они только и держались. Но раз веры нет, нужно другое. «Дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти: по крайней мере человек всегда боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. По-

ложни, что человек только то и делает, что отыскивает эти дважды два четыре, океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании, но отыскать, действительно найти — ей Богу как-то боится... Но дважды два четыре — ведь это, по моему мнению, только нахальство. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги, руки в боки, и плюется. Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь; но если уже все хвалить, то и дважды два пять тоже премилая вещица». Вы не привыкли к таким возражениям против философских теорий, вы, пожалуй, оскорблены тем, что, говоря о теории познания, я позволяю себе цитировать такие места из Достоевского. Вы были бы правы и возражения точно были бы неуместны, если бы не поднят был вопрос о захвате, если бы тут шел вопрос о праве. Но в том-то и дело, что «дважды два четыре», или разум со всеми его самоочевидностями, не хотят допустить спора о праве. Да и не могут, ибо допустить такой спор для них значило бы погубить наверняка свое дело. Они не хотят судиться, они хотят быть и судьями и законодателями, и всякого, кто этого права за ними не признает, предают анафеме, отлучают от всечеловеческой, вселенской церкви. Тут кончается всякая возможность спора, тут начинается тяжелая, отчаянная борьба, борьба на жизнь и на смерть. Подпольный человек от имени разума объявлен лишенным покровительства законов. Законы, как мы знаем, покровительствуют только материи, энергии и принципам. Сократ, Джордано Бруно и какой хотите вы великий и малый человек — все оказываются ничем и никем не охраняемыми. И вот ничтожный, забитый, жалкий человек дерзает встать на защиту своих «мнимых» прав. И посмотрите, насколько глубже и проникновеннее взгляд этого отверженного чиновничишки, чем рассуждения многих заправских ученых. Обычно философ борется с материализмом и очень гордится, если ему удастся собрать несколько более или менее удачных соображений для опровержения своих противников. Достоевский же, дальше Клода Бернара не пошедший, даже не удостаивает материалистов спора. Он знает, что материализм сам по себе бессилен, что держится он только идеализмом, идеями, т. е. все тем же разумом, не признающим над собой никакого начала. Но как свергнуть его, этого самоуверенного тирана, какие методы для борьбы придумать? Не забывайте, что спорить с ним невозможно. Все доказательства — разумные доказательства, т. е. затем только и созданные, чтоб поддерживать исходящие от разума директивы. Остается одно: насмехаться, браниться и на все, чего требует разум, отвечать решительным отказом. Разум создает нормы и благословляет нормальных людей, Достоевский ему отвечает: «Почему вы так твердо, так торжественно убеждены, что только одно нормальное и положительное — одним словом, только одно благоденствие нужно? Не ошибается ли разум в выгодах? Ведь, быть может, человек любит не одно благоденствие. Может быть, он ровно настолько же любит страдание?.. А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти — и это факт. Тут уже и со всемирной историей нечего справляться; спросите себя самого, если вы только жили. Что же касается моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь даже очень приятно. Я ведь тут, собственно, не за страдание стою и не за благоденствие. Стою я... *за свой каприз и чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится*. Страдания, например, в водевилях не допускаются, я это знаю. В хрустальном дворце оно немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усомниться? А между тем я уверен, что человек от *настоящего страдания, т. е. от разрушения и хаоса, никогда не откажется*» (везде подчеркнуто мною). Пред лицом таких «возражений» самая тонкая, самая изощренная аргументация, накопленная в течение тысячелетий теориями познания, падает. Не закон, не принцип требует себе и получает гарантию, а каприз, каприз, относительно которого и мудрейшие и глупейшие люди всех времен и народов всегда знали, что ему, по самому его существу, именно *невозможно* ни иметь, ни давать какие

12—630

бы то ни было гарантии. Спорить против этого — значит спорить против самоочевидности. Но в том-то и дело, что, как я уже не раз говорил, Достоевский именно с самоочевидностями и борется. Наши самоочевидности, только наши самовнушения, как и наша жизнь,— он все время об этом говорит,— есть не жизнь, а смерть. И если вы хотите «постичь» Достоевского, вы сами непрерывно должны повторять его «основное положение»: дважды два четыре есть начало смерти. Нужно выбирать: либо опрокинем дважды два четыре, либо признаем, что последнее слово, последний суд над жизнью — есть смерть. Отсюда и ненависть Достоевского к благоденствию, уравновешенности, удовлетворению и его фантастический парадокс: человек любит страдание. «Все можно сказать о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображенью в голову может притти. Одного только нельзя сказать, что благоразумно. На первом слове поперхнетесь». Правда, тут нужно исправить подпольного человека — он допустил чисто фактическую погрешность, которая, впрочем, не усилила, а скорее ослабила его «аргументацию». Совершенно неверно, будто бы нельзя сказать, что всемирная история шла соответственно требованиям разума и что кто захочет такое утверждать, поперхнется на первом слове. Сколько людей такое утверждали,— целые трактаты на эту тему писали. И какие красноречивые, доказательные! Философию истории создали, в которой почти математически доказывалось, что в основе исторического движения лежит «разумная» идея. Гегель стяжал себе бессмертие своей философией истории, и какой человек после Гегеля поперхнется, произнося слово «прогресс»? А теодицеи! Разве теодицею — ту же, в сущности, философию истории — люди не придумали? И разве Лейбницу его теодицея доставила меньше славы, чем Гегелю его философия истории? И разве она недостаточно плавно написана? Хоть раз заикнулся, поперхнулся он? Но что Лейбниц! Родоначальником теодицей является сам божественный Плотин, тот Плотин, который поведал миру о своих неизреченных постижениях, постижениях, открывающихся лишь тем, кому дано в состоянии исступления или экстаза выйти за пределы возможного для «всемства» опыта. Этимологическое значение слова «теодицея» — оправдание Бога, но и у Лейбница, во всем следовавшего Плотину, и у самого Плотина теодицея оправдывает не Бога, а «дважды два четыре». Поскольку Плотин как учитель и представитель философской школы был верноподданным разума, он и не мог ни к чему другому стремиться. Ему нужно было не «каприз гарантировать» — «каприз, своеволие есть источник зла на земле», машинально почти повторяет он вслед за своими предшественниками. Каприз, по традиции школ, нужно во что бы то ни стало убить, уничтожить, растворить в «принципе». Поэтому он в своей теодицее, послужившей образцом для всех последующих, единственно только и озабочен тем, чтоб доказать, что, что бы ни происходило в мире, принципы поколеблены быть не могут. Люди рождаются и умирают, появляются и исчезают, но «дважды два четыре» — вечно: всегда было и всегда будет. «Каприз» тоже родился, т. е. его не было и он возник: стало быть, очевидно, что ему не полагается от разума никаких гарантий и охран. Самое его появление на свет уже было неким дерзновением, т. е. нечестием. Нечестие же рано или поздно влечет за собой соответствующее возмездие: закон Немезиды или Адрастеи неумолим и беспощаден, как и полагается всякому «естественному» закону. Соответственно этому в теодицее Платона вопрос о судьбах отдельных людей или даже целых народов уходит на второй план. Попал человек в рабство, подвергся обиде, потерял близких, даже отечество — это в порядке вещей. Ведь тут пострадало только что-то отдельное, случайное, некий «каприз», тут спрашивать не о чем, тут вопрос просто неуместен. Вопрос является тогда лишь, когда страдает принцип. Только принцип, все тот же принцип «дважды два четыре» заслуживает охраны и гарантий и получает их. Вас ограбили, замучили, оскорбили — Адрастее до этого дела нет, так что если виновниками ваших бед окажется стихия или зверь, то это нигде во вселенной не вызовет реакции и никто не придет к

вам на помощь. Ибо такого закона, что человек не должен гибнуть или страдать, разум не издал. Но вот человек позволил себе так или иначе нарушить «закон»: отнял что-нибудь у другого, ударил его или подверг иному лишению, гораздо меньшему, чем те обиды, которые выпадают на долю смертного ежечасно и ежедневно от «каприза» стихии. Это уже не может быть прощено. Бдительная Адрастея неусыпно следит за тем, чтоб ни одно нарушение закона не прошло безнаказанно для нарушителя, хотя о потерпевшем она никогда не вспомнит. Если вы убьете, то вернетесь вновь после смерти на землю и будете убиты, если ограбите — то будете ограблены, если изнасилуете женщину, вы родитесь женщиной и подвергнетесь такому же насилию и т. д. до самых незначительных мелочей. Не в том дело, что ограбленный вами человек или обесчещенная женщина потерпела, терпеть и выносить — удел смертных, и в этом нет зла, почему никто в мире и не озабочен тем, чтоб помочь пострадавшим. Зло в том, что насильник или убийца нарушил закон. Это — абсолютно недопустимо и это требует компенсации. Как в материальном, так и в «идеальном» мире все держится на «равновесии», и даже, в сущности, самое понятие о равновесии материальный мир заимствовал у идеального. Поразительно, что Плотин, человек необычно острого и проницательного ума, совершенно не замечает, что неусыпная деятельность Адрастеи «гарантирует» не только «равновесие», но и неизбежный рост зла в мире. Ибо для равновесия необходимо, чтоб каждое преступление погашалось преступлением же, и таким образом однажды совершенное преступление увековечивается. Если я убил, то буду убит и сам, но мой убийца должен быть тоже убитым и т. д. без конца. А так как сверх увековеченных, по требованию Адрастеи, преступлений могут и должны быть и новые, вольные, то ясно, что каждое следующее поколение необходимо будет преступнее предыдущего. Не знаю, что сказал бы Плотин, если бы кто-нибудь обратил его внимание на указанное мною обстоятельство. Всего вероятнее, что нисколько не смутился бы. Ведь «принцип», «равновесие», «дважды два четыре» — соблюдены, дань разуму уплачена. О чем же еще хлопотать?

VIII

И точно, пока мы в пределах разума, в пределах, в которых протекает то, что «всемство» называет «жизнью», понимание, осмысливание происходящего должно быть сведено к чисто механическому объяснению. В материальном мире — равновесие, в моральном — справедливость, то же равновесие, только под другим именем. И философия, которая хочет быть наукой, озабочена только тем, чтоб уравнение, в котором выражается для нашего разума вселенная, было так разрешено, чтоб по замене неизвестных величин полученными корнями мы имели бы тождество. Для этой цели, которую предполагают столь бесспорной, что в ней видят условие возможности не только мышления, но и бытия, ничего не жаль. Чтоб равновесие не нарушилось, к охране его приставляется бессмертная и страшная Адрастея. Правда, это уже совсем не «естественно», это — чудо из чудес. Пока идет речь о том, что дважды два — четыре, т. е. пока мы оперируем над отвлеченными числами, куда еще ни шло. Тут неизменность двух частей уравнения обеспечена взаимным соглашением «всемства», как бы безмолвным contrat social *. Но ведь наука этим не удовлетворяется. Ей мало господствовать в созданном человеком мире идеального. Она хочет господствовать и в мире реальном, хочет, чтоб, как в сказке, сама золотая рыбка у нее на посылках служила. И она придумывает Адрастею, охраняющую милое нашему разуму равновесие; притом ухитряется сделать это так незаметно, поставить ее так далеко от подчиненного ей мира явлений, что никому в го-

* Социальный контракт (*фр.*).

лову не приходит заподозрить тут «неестественность». Величайший произвол проходит под флагом естественной необходимости. Достоевскому нужно было прийтн в «нсступление», чтоб посметь увидеть в притязаниях Адрастеи «нахальство», как и самому Плотину необходимы были его экстазы, «выхожденця», чтоб освободнться от властн философских самоочевидностей. И теперь, читая Достоевского, мы не знаем точно, вправе лн мы возмущаться наглостью «дважды два четыре», или, по-старому, должны гнуть пред ннм шею. Сам Достоевскнй не «знал» с «достоверностью», свалил лн он своего врага нлн был им низвержен. Не знал до самых последних дней своей жизни. Вырвавшнсь из «всемства», он попал в бесконечно запутанный лабиринт, в непроходимые дебрн, и потерял способность судить, и не знал притом, было ли то, собственно, потерей илн приобретением. Ему пришлось пожелать «самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, еднщственно для того, чтоб ко всему тому благоразумию прнмешать свой пагубный фантастический элемент». Фантастнческий элемент! Иначе говоря, своей проблемой он сделал не тот естественный, раз навсегда определенный, а потому как будто бы понятный порядок, а самое Адрастею с ее вечными загадками и неразрешимыми тайнами. Созданная «всемством» наука прогнала за пределы своего поля зрення Адрастею с ее капрнзами, фантазиями и чудесамн н, чтоб «жить спокойно», прнтворилась, что никаких капрнзов, никакнх чудес, ничего фантастического в мире она не находнт. Достоевский возненавидел и спокойствие, н все «выгоды», которые «порядок» приносит с собой человеку. Оттого нн наша теория познания, ни «логнка» уже не нмпонируют ему больше. Он старается не оправдать, а поколебать, преодолеть все наши самоочевндности. «Вы верите в хрустальное зданне, навекн нерушимое, т. е. в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я, может быть, потому и боюсь этого здання, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет ему н украдкой языка выставить. Вот виднте ли: если вместо дворца будет курятннк н пойдет дождь, я может быть и влезу в курятник, чтоб не замочиться, но все-таки курятника не приму за дворец из благодарностн, что он меня от дождя сохранил. Вы смеетесь, вы даже говорите, что в зтом случае курятник н хоромы — все равно. Да, отвечаю я, еслн бы надо было жить только для того, чтоб не замочиться. Но что же делать, если я забрал себе в голову, что живут н не для одного зтого и что если уже жить, так в хоромах». Как полагается подпольному человеку, он «доказательств» не прнводнт: знает, что если до доказательств дойдет, то разум восторжествует. Его аргументацня — неслыханная: язык выставнть, кукиш показать. Вы опять негодуете: как можно такие приемы называть «аргументацней» н требовать от наукн, чтоб она с зтой аргументацней счнталась. Но подпольный человек вовсе и не добнвается, чтоб с ннм «считалнсь»,— и, быть может, зто в нем самая замечательная черта. Он понимает, что «всеобщее признание» ему ннчего не даст, и вовсе не хочет ннкого убеждать. Не хочет он и писать на будущих веках, как на скрижалях, т. е. направлять историю. Его «ннтересы» вне «всемства», а стало быть, и «вне историн». Вы опять смеетесь? — говорит он.— Извольте смеяться; я все насмешки приму и все-таки не скажу, что я сыт, когда есть хочу, все-таки знаю, что не успокоюсь на компромиссе... Я не приму за венец желаний монх капитальный дом с квартирами для бедных жильцов по контракту... А не хотите меня удостонть внимания, так ведь кланяться я не буду. У меня есть подполье. А покамест я жнву н желаю, да отсохнн моя рука, коль я хоть один кирпнч на такой дом прннесу. Не смотрите на то, что я давеча сам хрустальное здание отверг, еднщственно по той причине, что его нельзя будет языком подразнить. Я зто говорил вовсе не потому, что так люблю язык свой выставлять. Я, может быть, на то только н сердился, что такого здання, которому бы можно было не выставлять языка, нз всех ваших зданий до снх пор не находнтся». Твердой, определенной цели нет у подпольного человека. Хотеть он хочет, безумно, страстно, безудержно чего-то хочет, но чего он хочет — не знает и ннкогда знать не будет. То он гово-

рит, что никогда не откажется от удовольствия язык выставлять, то заявляет, что вовсе уж не так любит дразнить. То утверждает, что с него достаточно его подполья, что ему ничего другого не нужно, то отправляет подполье к черту. Вот какой исступленной тирадой вдруг прорывает его: «Итак, да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я его вижу, не хочу им быть (хотя все-таки не перестаю ему завидовать). Нет, нет, подполье во всяком случае выгоднее. Там по крайней мере можно!.. Эх! Да ведь я и тут вру! Вру, потому что и сам знаю как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!» То, что происходит в душе подпольного человека, менее всего похоже на «мышление», и даже на «искания». Он не «думает», он отчаянно мечется, стучится куда попало, бьется обо все встречающиеся ему по пути стены. Его постоянно взрывает, возносит Бог знает как высоко и потом швыряет тоже в Бог знает какие пропасти и глубины. Он уже не направляет себя, им владеет сила бесконечно более могучая, чем он сам. «Если б я верил сам хоть чему-нибудь из того, что теперь написал. Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одному таки словечку не верю из того, что настрочил. То есть и верю, пожалуй, но в то же время неизвестно почему чувствую и подозреваю, что вру, как сапожник»... Достоверности, сопровождающей обычные наши суждения и дающей прочность истинам «всемства», нет и не может быть у того, кого ангел смерти наделил своим загадочным даром. Нужно жить без достоверности, без уверенности. Нужно предать дух свой в чужие руки, стать как бы материалом, глиной, из которой невидимый и неведомый горшечник вылепит что-то, тоже совершенно неизвестное. Только это одно прочно сознает подпольный человек. Он «увидел», что ни «дела́» разума, ни никакие другие человеческие «дела́» не спасут его. Он пересмотрел, и с какой тщательностью, с каким сверхчеловеческим напряжением, все, что может сделать человек со своим разумом,— все хрустальные дворцы, и убедился, что это не дворцы, а курятники и муравейники, ибо все они построены на начале смерти — на «дважды два четыре». И чем больше он это чувствует, тем сильнее рвется на простор из глубины его души то «неразумное», неизвестное, тот первозданный хаос, который больше всего пугает обычное сознание. Поэтому-то он в своей «теории познания» отказывается от достоверности и принимает за последнюю свою цель — неизвестность, поэтому он дерзает противопоставлять самоочевидностям такую аргументацию, как кукиш или высунутый язык, поэтому он воспевает ничем не обусловленный, неподдающийся никакому учету, вечно иррациональный каприз, поэтому он смеется над всеми человеческими «добродетелями».

Мих. Цетлин

Иван Бунин. Роза Иерихона.

Книгоизд-во «Слово». Берлин. 1924 год

«Се тебе, душа моя, вверяет Владыка талант: со страхом приими дар».

Так молится Бунин в рассказе «Пост», являющемся как бы признанием автора о его творчестве; как бы некоторой «поэтикой» Бунина. И эти слова молитвы могли бы служить эпиграфом к его книге.

В «Розе Иерихона» собрано все, что было рассеяно по газетам и журналам за последние годы. И если почти каждый из этих коротких рассказов был в свое время значительным литературным явлением, то, собранные вместе, они сливаются в одно целое, начинают светиться и жить по-новому, богатой и значительной жизнью.

Бунин — первый современный русский писатель, он продолжатель классической традиции в русской литературе. Эти формулы медленно входят в сознание читателей, долго вслед за критиками считавших Бунина не то пейзажистом, не то бытовиком из «Знанья». Лишенный ходулей эффектного сюжета и броской новизны, его талант, казалось, только медленно рос. На самом же деле Бунин быстро стал и оставался все тем же совершенным и завершенным художником. И это только мы постепенно начинали замечать, насколько тонка его фактура, как глубоко мироощущение. Место Бунина в русской литературе было особое. Те, кто могли быть его соперниками, являлись писателями иной литературной формации, иного лагеря. Бунин был чужд главному руслу русской литературы последних десятилетий, ее «буре и натиску», влияниям Достоевского, символизму. Он был классиком, не в том только смысле слова, какой мы прилагаем ко всем большим писателям, не потому, что скоро гимназисты будут со скукой заучивать наизусть отрывки его прозы. Он один из немногочисленных русских писателей, в котором определенно выражены подлинные элементы классицизма. То, что мы условно называем «классицизмом» и «романтизмом», есть в каждом произведении искусства, только в разных степенях и формах. Поэтому можно говорить о романтизме Расина или Корнеля и о классицизме Кольриджа и Китса. Классическое начало есть в каждом достойном этого имени художнике, это — начало формообразующее, мужское, начало разума, равновесия, меры, ясности и простоты. В русской литературе оно было сравнительно слабо, в ней не было форм и формул, готового русла для классического ренессанса. Но все же оно было, и его легко отметить и в пушкинской гармонии и в уравновешенности Гончарова и в торжественности ломоносовской оды. Есть оно и в плавном ритме бунинской прозы, в том, как приводится к простоте и единству, как стройно организуется все сложное и страстное в его душе. И снова вспоминается его «поэтика», рассказ «Пост»: «Я работаю легко, споро, с редкой остротой душевного зренья, которая дает такое непередаваемое счастье... Усталый, умиротворенный, я кладу перо, мысленно благодаря Бога за силы, за труд... Ей, Господи, не даждь ми духа праздности, уныния. Больше мне ничего не надо. Все есть у меня, все в мире — мое». Какие прекрасные высокие слова. Как сливаются в этом дивном рассказе чистота говеющей девушки и строгая душевная собранность творящего художника. И когда Бунин спрашивает о девушке: «Дочь она мне? Невеста?» — хочется ответить ему: нет, не дочь, не невеста, а муза, чистая, девически-прекрасная, одухотворенная муза!

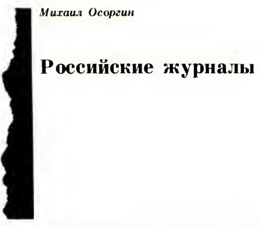
Может быть, не будет парадоксальным утверждать, что бунинским «классицизмом»

можно отчасти объяснить и его исключительную непримиримость по отношению к большевикам. В его рассказах есть черты, которые, пожалуй, можно назвать социалистическими. Несомненно, что буржуа ему более чужд, чем рабочий или крестьянин. «Господин из Сан-Франциско» почти памфлет против буржуазии. Совсем по-толстовски своим сочувствием к горю простых людей и отрицанием барских затей звучит рассказ «Старуха». Но революция, по существу, романтична. Бунину глубоко чужда и отвратительна ее истерическая, безумная стихия. Для него немыслимо было, ни на секунду трагическое недоразумение, в такой тупик заведшее Блока и многих других. И, отрицая, он должен был остаться в своем отрицании последовательным до конца. Ведь его классическому духу чуждо все нечистое, смешанное, ублюдочное, всякая ложь и компромисс. И эта абсолютная непримиримость может вызывать ненависть, но не может не внушать уважения. В русской литературе было так много другого и в прежние, и особенно в наши смутные дни, что бескомпромиссность, непримиримость представляется культурным подвигом.

Одной из черт классицизма Бунина является необыкновенная его писательская скупость и сжатость. Какая сложная трагедия сконцентрирована на нескольких страницах в рассказе «В ночном море». Целая женская жизнь трогательно передана в «Готами». Критика уже говорила о музыке «Косцов». Но эта торжественная симфония по размерам не больше короткого этюда. Из рассказа «Преображение» можно бы сделать длинную философски-религиозную повесть. А вот как кратко и своеобразно передана схема крестьянской, человеческой жизни в этом рассказе: «Это они со стариком были строителями и владыками всего этого обширного, прочного, теперь уже давно обжитого, вросшего в свое место, грязного и уютного гнезда с его гумном, дуплистыми лозинами, амбарами, черной избой в три связи, грубым до дикости скотным двором, потонувшим в навозе и переполненным сытой скотиной. Это они когда-то были молоды, красивы, разумны и строги, а потом стали понемногу сдавать да сдавать, как-то теряться среди все увеличивающейся и крепнущей молодежи, то в одном, то в другом уступать им свою волю и наконец совсем сошли на нет, захирели, высохли, сгорбились, забились на полати, на печь, отчудились сперва от семьи, а потом и друг от друга, чтобы уже навеки разлучиться по могилам».

Бунин часто и мастерски описывает смерть. Но делает он это так истово, так благоговейно, что поистине преображает ее, как она преобразила в его рассказе молодого крестьянина. Почти все, чего бы он ни касался, полно какой-то особой, чистой, немного холодной духовности и красоты. Он редко остается только в «человеческом, слишком человеческом», а выводит нас на просторы океана и полей, окружает человека природой, брызгами моря, воздушностью неба. Но изредка, и особенно в последнее время, проникают в его творчество ноты едкого безысходного отчаянья, от которго душно, как под крышкою гроба. В рассказе «В ночном море» два человека беседуют о своей любви к умершей женщине и один из собеседников обречен на близкую смерть, но вы чувствуете, что и второй собеседник, и вы сами, и все в мире осуждено на смерть, что нет ничего ценного, что любовь — это только «половое умиление», что люди только временно отпущенные мертвецы. Не так резко, но то же самое звучит и в «Безумном художнике», и в «Конце»: «России — конец, да и всему, всей моей жизни тоже конец, даже если случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине». Чуда, по крайней мере не с единичными людьми, а с Россией, не случилось. Однако, несмотря на свою безнадежность, нашел же Бунин в замечательной по силе лиризма «Несрочной весне» побеждающую отчаяние силу в воспоминаниях, в природе, в прозрении иной жизни, в «летейских тенях» прошлого и в надежде на «несрочную весну». И этим снова явил победу своего мужественного духа над «злой и ледяной пучиной», которая изредка грозит изменить гармоничный лик его музы.

Михаил Осоргин



Российские журналы

В нашем распоряжении их немного, и далеко не все выпуски каждого издания. Но, по-видимому, перечисленными в заголовке названиями исчерпываются все преемники «толстых» русских журналов, имеющие известную долговечность и не преследующие узкопартийных или профессиональных заданий. Во всяком случае, в них присутствует вся наличная российская художественная литература, исключая футуристов (их журнал «Леф»), имажинистов («Гостиница для путешествующих в прекрасном») и группы с полицейскими функциями («На посту»). Журналы мемуарные, иллюстрированные и специальные оставляем в стороне.

Было время, когда каждый русский интеллигент считал своей обязанностью если не выписывать, то все же неизменно просматривать, хотя бы в библиотеке, толстый журнал своего «направления». Выход новой книжки «Русского богатства», «Русской мысли», «Вестника Европы», «Мира божьего» и других — для столичных, и особенно для провинциальных интеллигентов, был событием большой важности. Журналы, с их цельными литературно-общественными группировками, были зиждителями идеологий и показателями литературных достижений. Их первая роль теперь совершенно отпала, как за отсутствием идеологических группировок, так, быть может, и за отсутствием идеологий. При данном положении периодической печати в России толстый журнал может интересовать читателей только как новый сборник произведений довольно ограниченного круга писателей, встречающихся в тех или иных комбинациях во всех журналах. Отдел публицистический, бывший раньше и знаменем и центром интереса журнала, теперь совсем отсутствует,— поскольку под публицистикой разумеется предельно-независимое и убежденное слово. В данных российских условиях публицистику сменила официозная статья в духе правящей партии, и делает слабую попытку заменить статья литературно-критическая, как наименее четкая для слабограмотных цензоров. Расцвел поэтому (почти до военных размеров) отдел библиографии. В некоторых журналах неплох отдел «научный» (точнее — популярно-научный) и мемуарный. Впрочем, «мемуарность» лежит в основе и произведений художественных.

Все это, естественно, ограничивает наш интерес произведениями беллетристическими, в которых духу времени все же легче сказаться с относительной независимостью. Но при той смутности представлений об уклонах российского бытия, которая неизбежна для эмиграции, и этот чисто художественный материал дает очень многое; поэтому нам кажется своевременным и ненапрасным большое внимание заграничных читателей к толстым журналам их родины.

Из названных мог бы быть очень интересным журнал «Печать и революция», художественного отдела не имеющий, но наполовину историко-литературный и библиографический. Мешает ему официозность, приказанное «направление» как в подборе материала, так и в трактовке вопросов. Марксистский подход к художественному слову, к искусству, к театру, к музыке есть не только нонсенс, но и крайняя безвкусица; это давно доказано

на опыте писаниями Плеханова, Фриче, Луначарского, Когана, Львова-Рогачевского и многих малых последователей в основе своей ложного приема. Еще хуже, когда марксизм делается правительственной религией и когда «критика» начинает служить целям морализующе-полицейским. Поэтому крупицы дельного и кусочки понимания тонут в море толкуемых лозунгов, обязательных слов и никчемных отвлечений, и какая-то однообразная и кислая серость облекает весь критический отдел журнала, в который свежая мысль, не связанная обязательствами, не пытается проникнуть даже контрабандно. Несколько любопытнее отдел печати иностранной, и иногда богат и значителен отдел мемуарный (хотя также с неизбежным душком). Поэтому для нас журнал «Печать и революция» интересен лишь как довольно толковый справочник о выходящих в России новых книгах; эта хроника богата и отлично классифицируется.

Самым значительным полуофициозом художественной литературы является «Красная новь», издаваемая Госиздатом под редакцией А. Вронского, человека вполне литературного, мысли марксистской, но не чиновничьей. В этом журнале «попутчики» (писатели не коммунисты) встречаются с ура-коммунистами и с серенькой плеядой пролетарцев; последних жизненная логика понемногу вытесняет, так как журнал по своей солидности и по своей цене не может предназначаться для слишком откровенных малограмотных литературных опытов. Отдел научно-популярный обычен, заграничный очень слаб, а интересен, безусловно, отдел «Литературные края», в котором изредка проскользает — разумеется, в пределах пансионской благовоспитанности — маленькая разумная ересь (статьи А. Вронского, А. Лежнева). Порою посвящаются страницы и зарубежной литературе, причем — помимо того или иного к ней отношения — авторами проявляется глубочайшее, вероятно, даже от них независящее, с нею незнакомство. Если нам недостаточно известна литература российская, то не подлежит сомнению, что эмигрантские издания доходят до российских обозревателей только случайно, урывками и в минимальном количестве.

Трудно сказать, что из себя представляет журнал «Россия» — журнал так называемых честных сменовеховцев, редактируемый И. Г. Лежневым. До появления «Русского современника» он, по-видимому, привлекал сотрудников, искавших журнала «частного», с некоторым оттенком самостоятельности. В нем можно встретить имена А. Белого, Сергеева-Ценского, Эренбурга, Ольги Форш и др. В нем делают попытку живой публицистики «ленинец» И. Лежнев и старый народник Богораз (Тан). Первому нельзя отказать в том, что он сумел сказать литературно-пролетарской молодежи, увлеченной революционно-бытовым репортажем, немало горьких и отрезвляющих истин. Но сказать, что журнал «Россия» имеет свою независимую линию, свою самостоятельную от начальственных влияний идеологию,— конечно нельзя. Скорее это попытка практического и идейного приспособления, честной дружбы с начальством,— дружбы, как известно, всегда кончающейся служебным подчинением.

В нынешнем году в Москве начал выходить журнал «Русский современник», издаваемый при ближайшем участии М. Горького, Е. Замятина, А. Н. Тихонова, К. Чуковского и А. Эфроса. Журнал — исключительно литературно-художественный, без политического отдела. К нему приходится относиться, как к первому опыту журнала независимого; в переводе на современный русский язык это должно значить: не забегающего вперед и не стремящегося приспособиться и снискать особое расположение начальства. О настоящей «независимости», конечно, речи пока быть не может. Помимо указанного, с нашей точки зрения похвального качества, журнал интересен тем, что он собрал вокруг себя лучшие литературные силы России, и «старые» и новые. В трех первых книжках помещены произведения Ф. Сологуба, Е. Замятина, А. Ахматовой, М. Горького, Н. Клюева, Н. Асеева, Б. Пильняка, И. Бабеля, В. Шкловского, К. Чуковского, А. Эфроса, Б. Эйхенбаума, С. Парнок, А. Толстого, С. Есенина, Л. Леонова, О. Мандельштама, С. Федорченко, В. Ходасевича,

А. Беиуа, Н. Тихоиова, М. Цветаевой, И. Грабаря, Л. Гроссмаиа и др. Подбор беллетристики зиачительио лучше всех других журиалов. Избегая «кирпичей», обычио загромождающих толстые журиалы, «Русский современиик» стремится показать лучшее, что есть сейчас в иовейшей русской литературе,— ие ставя иикаких политических изгородей и руководясь лишь критерием художествеииости. Очеиь свежи и иитересиы и его историко-литературиые материалы (Чехов, Достоевский, Ал. Блок). В последией (третьей) киижке очеиь хороши статьи и обзоры, касающиеся искусства, культуры и быта. Отличеи отдел библиографический, чуждый общеобразовательиого марксистского пристрастия. Чувствуется и иесколько большее зиакомство с литературой зарубежиой.

Как я уже сказал, иам приходится ограиичивать свой живой иитерес почти исключительио отделами беллетристики, так как в других (публицистическом, иаучио-популяриом и даже критическом) отделах — при связаииости слова вообще — иового слова ие иайти. Но литературио-художествеииая часть журиалов дает ли что-иибудь иовое, яркое, утешительиое?

Думаю, что беспристрастиый и ие слишком ревиивый читатель-заграиичиик должеи ответить иа этот вопрос утвердительио, хоть и без особого эитузиазма. За годы безвремеиья литературиого геиия в России ие иародилось, и иельзя иазвать имеии, при звуке которого умолкли бы споры. Но лаборатория российского творчества иикогда ие бастовала и в материале для обработки (а ои дается только жизнью) иедостатка, коиечно, ие ощущала. При полиом уважеиии к литературиым имеиам эмиграции приходится призиать, что за весь период бежеиства иаши здешиие писатели общего уровия русской литературы ие повысили и иовых, выше прежией цеииости, вкладов в ее сокровищиицу ие сделали. И по литературиой форме, и по виутреиией зиачительиости иаписаииое здесь «старым» поколеиием писателей в лучшем случае ие превышает иаписаииого ими до революции — в России. Лучшим произведеиием И. Буиииа остается все же «Господии из Сан-Фраициско», лучшими стихами К. Бальмоита — его стихи московского периода. Если здесь как будто ярче расцвела муза Марииы Цветаевой, то этим она обязаиа опять-таки Москве и пережитому в тяжкие годы; иачатое там — здесь было лишь доработаио и отшлифоваио в сравиительиом покое (как в свое время И. Буиии шлифовал иа Капри зародившееся в Москве; иа Капри иаписаи и «Господии из Саи-Фраициско»,— ио это же ие «заграиичное» творчество!). Новый крупиый писатель обиаружился за рубежом только одии — М. Алдаиов, ио, прииимая этот плюс, ие забудем о мииусе — о миогих безиадежио здесь увядших.

Так обстоит дело там, где «охраияются духовиые цеииости» и где иет препои свободиому писательскому слову. Ииаче обстоит дело в России, где писательское слово должио было побороть почти иепреодолимые препоиы и где в течеиие ряда лет художествеииая литература фактически почти ие существовала, во всяком случае, ие переходила из рукописи иа свиицовый иабор. Если здесь литература продолжалась, то там оиа должиа была иарождаться виовь. И оиа иародилась.

Имеиио по журиалам и удобиее всего следить за этим процессом. Прежде всего оии использованы были «иовыми писателями», пролетарцами, и «первыми попутчиками». Опыт оказался печальиым, так как большииство их оказалось копировальщиками старых иародииков, ио зиачительио меиее грамотиыми; выдвииулись лишь едииицы, иемедлеиио же увлекшиеся боевыми лозуигами футуристов и вообще «левого фроита», любопытиого в теоретических построеииях и бессильиого и иепродуктивиого иа практике (ыиешиияя группа «Горн» и компания «Лефа»). Одиовремеиио зашевелилась петербургская молодежь, в лице «серапиоиов», все же державшихся за фалды старой литературы. Распылились и оии, также выделив из себя более живучее и способиое, если ие к достижеиию, то хотя бы к обучеиию.

Когда литературиый «иэп» выиудил издательства прибегиуть к помощи оставшихся в России «настоящих» писателей, преимуществеиио из довоеииой литературиой молоде-

жи.— образовалась группа «попутчиков», рискнувшая появляться и под советским флагом, но без коммунистических обязательств, под различно всеми толкуемым условием «приятия революции» (характерное по тому времени письмо А. Соболя в «Правде»). Так как официозам пришлось конкурировать с частными издательствами, то известная доза художественно-литературного либерализма (А. Вронский) была допущена. Далее, уже в порядке внутрироссийского «честного сменовеховства» стала возможной лежневская «Россия». Наконец, очевидно, в результате слишком громкого и слишком обоснованного протеста против «директивов постового милицейского» и «легких ручных кандалов» (смотрите в предыдущей книжке «Современных записок» мою статью «Российские писатели о себе» — с цитатами из статей разных авторов), также в общем порядке российской приспособляемости (отказ от политики), появляется и «Русский современник», носящий уже признаки «частного» предприятия и приемлемый для непопутчиков (в последней книжке два имени зарубежных авторов, и одно из них — Марина Цветаева, именуемая в «Красной нови» белогвардейской поэтессой).

Таким образом в российской писательской среде делается отбор уже не по признаку благонамеренности или неяркой вредности (попутчики), а по объективной художественной ценности творчества.

При таких условиях кое-какие суждения о новейшей русской литературе все же можно высказать. Кратко я сказал бы так. Большого писателя, способного создать школу или покорить и равнодушные сердца, нет. Но есть литературная молодежь яркого таланта и значительных достижений. Так, на фоне уже выдыхающихся Пильняков и Вс. Ивановых следует отметить И. Бабеля и Л. Леонова, пишущих и в «Красной нови», и в «Русском современнике». Бабель в разных изданиях печатает отрывки своей книги «Конармия» — род художественных мемуаров. Автор не только яркий бытовик и сильнейший портретист, но и обладатель своего, металлической отточенности стиля. Некоторые отрывки его книги («Тимошенко и Мельников», «Шевелев», «Коники», «Чесники» и др.) написаны с такой силой и художественной чеканкой, что напоминают о впечатлении, некогда произведенном в России лучшими из первых рассказов Горького. Этим я их не сравниваю, а лишь хочу указать на силу творческого натиска нового писателя, хотя несомненно Бабель Горькому многим должен быть обязан. Исключительно хороши также «Одесские рассказы» Бабеля. Но и недостатки его не могут ускользнуть от читателя: так он еще не освободился от положительно губящего молодых русских писателей стремления к новизне образов («во влажной глубине глаз «быка» нашел я зеркала, в которых разгораются зеленые костры измены соседей наших Махмед-ханов»); но никогда все-таки Бабель не делает этого так безвкусно и неискусно, как Вс. Иванов и другие эпатанты буржуев.

Другой писатель, мною названный, Леонид Леонов. Насколько Бабель, блестящий бытовик, уже выявился, настолько трудно пока определить Леонова. В «Красной нови» (кн. 3-я за 1924 г.) напечатан его рассказ «Конец мелкого человека»; это — линия Гоголя и Достоевского. В книге 1-й и 2-й «Русского современника» большая повесть «Записки некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулеве Андреем Петровичем Ковякиным»; это — линия Лескова и Щедрина. Его «Туатамур» (вышел отдельной книжечкой) — необыкновенно искусная стилизация, так что трудно даже указать его предшественника в этой области,— стилизация чувств восточных и речи татарской, написанная... бытовиком среднероссийской провинции. Его сказка «Бурыга» (напечатана в «Шиповнике», в 1922 г.) говорит о даре легкого русейшего юмора; здесь Леонову предшествует Ремизов. Леонов ищет себя, да и пишет он всего третий год. Коммунистическая критика, не отрицая его дарований, косится на него, как на «ходатая за маленького, безвестного человека, перетираемого жерновами революции». Так выражается о нем А. Вронский, отказывающий Леонову даже в звании «попутчика», дарованном Пильняку, Бабелю и другим.

И правда, Леонов не попутчик: у него свои пути, но в них он еще не разобрался. Несо-

мненно одно: Леонов в нынешней российской лнтературе еднннственный типолог, и зто сразу делает его продолжателем линии классической литературы. Его человек не случаен, и жизнь его героя не зпнзод. Леонов не фотограф, не мемуарист, а мыслящий бытоосознатель. И ближе всего ему не плакатный «человек будущего» и не тлеющий «дореволюционный мертвец», а жнвой тип переходной зпохи — зпохи великого пролома. С неменьшей смелостью, чем лнтературные вояки, он идет за революцней, но ннтересуют его пе огни будущего, а сложный органнческнй процесс настоящего, и пока другие ищут глазом маяк,— он ухом припадает к родной земле, стонущей в муках смерти и рождения. Как бы ни относнться к еще немногому, написанному Леоновым, но, кажется, лишь на него можно указать, как на наметившуюся надежду русской литературы, не сегодняшней, а большой, настоящей.

Если заглянуть в отделы поззнн, о позтах с историческими заслугами в статье о современности упоминать не прнходится. К последним в Россин прндется отнести и Белого, и Вячеслава Иванова, и, пожалуй, Ахматову, застывшую в своем творчестве. Но Есенин, Тихонов и Пастернак — крупные лнтературные явления. Я огранндчусь этим упоминанием, так как толстые журналы отводят стихам мало места, а сборнннкн позтов нам здесь недоступны.

Пять нмен, мною выделенных, литературы еще не делают. Но приятно видеть, как начавшееся соревнованне журналов производит литературный отбор и имен, и произведений. Уже последняя книжка «Русского современнннка» показывает, что и при нынешних условнях возможно создать интересный и читаемый номер журнала, защищенный от нападок с двух полнтнческнх флангов н — при некоторой бледностн — сохраняющий живой и спокойный облик. Еслн зто путь к независимости хотя бы одной художественной лнтературы, то мы его прнветствуем, если зто лнщь временное явление — мы его охотно отмечаем. В России совершенно напрасно полагают, что зарубежный читатель враждебно смотрнт на россннские литературные достиження; привычка к европейской свободе слова все же приучила эмиграцню, даже самую нетерпнмую, прилагать к художественным произведениям критерий аполнтнческой оценки, по крайней мере,— поскольку речь идет об интеллигентном чнтателе. Было бы очень приятно встретнть в русской критике такое отношение к литературе н искусству змигрантским. Попытку отметим в статье Грабаря «Искусство змнграции» («Русскнй современннк», 3). Если когда-нибудь примирение «двух Россий» пронзойдет, то первым мостом будет, конечно, мост литературы и искусства, слиянне двух концов единой, напрасно разорванной цепн.

Константин Бальмонт

Марина Цветаева

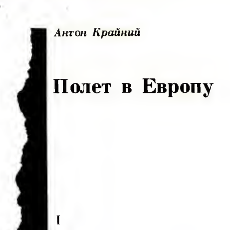
Наряду с Анной Ахматовой, Марина Цветаева занимает в данное время первенствующее место среди русских поэтесс. Ее своеобразный стих, полная внутренняя свобода, лирическая сила, неподдельная искренность и настоящая женственность настроений — качества, никогда ей не изменяющие.

Вспоминая свою мучительную жизнь в Москве, я вспомнил также целый ряд ее чарующих стихотворений и изумительных стихотвореньиц ее семилетней девочки Али. Эти строки должны быть напечатаны, и, несомненно, они найдут отклик во всех, кто чувствует поэзию.

Вспоминая те, уже далекие, дни в Москве и не зная, где сейчас Марина Цветаева и жива ли она, я не могу не сказать, что две эти поэтические души, мать и дочь, более похожие на двух сестер, являли из себя самое трогательное видение полной отрешенности от действительности и вольной жизни среди грез,— при таких условиях, при которых другие только стонут, болеют и умирают. Душевная сила любви к любви и любви к красоте как бы освобождала две эти человеческие птицы от боли и тоски. Голод, холод, полная отброшенность — и вечное щебетанье, и всегда бодрая походка, и улыбчивое лицо. Это были две подвижницы, и, глядя на них, я не раз вновь ощущал в себе силу, которая вот уже погасла совсем.

В голодные дни Марина, если у ней было шесть картофелин, приносила три мне. Когда я тяжко захворал из-за невозможности достать крепкую обувь, она откуда-то раздобыла несколько щепоток настоящего чаю...

Да пошлет ей Судьба те лучезарные сны и те победительные напевы, которые составляют душевную сущность Марины Цветаевой и этого божественного дитяти, Али, в шесть и семь лет узнавшей, что мудрость умеет расцветать золотыми цветами.



Антон Крайний

Полет в Европу

I

Надо, прежде всего, воскреснуть.

Двадцать лет непрерывного вглядыванья в литературу, оценки писателей, стараний выразить то, что видишь; двадцать лет критической работы... и затем, с начала 18-го года, конец. Нет не только меня (что — я?), нет литературы, нет писателей, нет ничего: темный провал.

Я говорил прежде не раз, что в России мало существует «литература» (в западном понятии), существуют, главным образом, писатели. Что у нас есть отдельные, крупные личности, а общность литературная, лицо литературы, смутно, сложно, неопределенно.

Теперь вижу: я ошибался. Теперь вижу — нет, была и «литература», была общая чаша, громадная, полная... чем? драгоценными камнями? Ценными во всяком случае. Разной ценности. От алмаза до скромного аквамарина. Даже еще проще попадались камушки.

Дело критиков было разбираться в этом богатстве, отмечать ценность и место всякого камня. Мы это посильно и делали. Если находили совсем негодный булыжник — старались его удалить.

Так было. Пока не пришли новые времена.

Сначала прихлопнули нас всех темной, тяжелой крышкой. Наступила — смерть не смерть — смертная тишина.

Но слишком велика была чаша российской литературы; мешала *там* и под крышкой. Сокровище — да; но такое, что нельзя его ни продать, ни обменять; да еще сторожить надо усиленно — а это дорого. Уничтожить? пробовали,— очень уж долгая история. И чашу русской литературы из России выбросили. Она опрокинулась, и все, что было в ней,— брызгами разлеталось по Европе.

Погибло? Пропало? Разбилось? Ну, разбивается только стекло. О нем и не забота. Установим пока первое данное: русская современная литература (в лице главных ее писателей) из России выплеснута в Европу. Здесь ее и надо искать, если о ней говорить. Что с кем случилось после встряски, удара, полета?

Может быть, неслыханное испытание и не так бесполезно для русских писателей. Во всяком случае для критика, если он сам уцелел, вовремя пришел в себя и может оглядеться вокруг,— оно полезно: вернее ценишь, яснее видишь... и писателей, и свои собственные ошибки. Разве не случалось нам звать искусством то, что затем на глазах развеялось пылью? И не надеялись ли мы порою на художника, который, когда буря сорвала с него одежды, оказался просто ничтожеством?

Зато вдвое, во сто раз дороже и ценнее испытание выдержавший; тот, кто продолжает свое дело на чужбине, без родины, без земли,— почти без тела; если даже раны его неизлечимы — творчество его бессмертно...

Оставим, однако, лирику. Посмотрим просто, что делается с нашей литературой в Европе.

В Европе... не в России. Что *сделали* в России с русскими писателями — мы видели, а что *делается* с немногими, подлинными, там еще остающимися, я не знаю (конечно, знал бы, если бы, чудом, наперекор рассудку и вопреки стихиям, там кто-нибудь расцвел, как Ааронов жезл). Там, из старых, все время действовали,— да и по сию пору, кажется, писателями считаются,— Ясинский и Луначарский, а третий — Брюсов. Но первые два, как не были в литературе, так и остались вне ее. Луначарский всячески пытался объявить себя Гете: по декрету — не вышло; Фауста своего написал (рабочего) — тоже ни черта; теперь махнул рукой и просто живет — неразвенчанным Хлестаковым. Брюсов в литературе был, но автоматически из нее выпал. Последние стихи этого, когда-то талантливого, человека возбуждают лишь удивление и неприятную жалость.

Из живых, там погребенных,— Сологуб. Но он должен был приехать сюда три года тому назад. Накануне отъезда трагически погибла его жена. С этих пор мы не должны говорить о «жизни» Сологуба; с этих пор начинается его «житие».

Какое имя ни вспомнишь — все здесь. Последний по времени «европеец» — Арцыбашев. Известное писательское «целомудрие» еще не позволяет ему отдаться, что называется, чисто «художественному творчеству». Но с какой силой, с каким блеском заговорил он после пятилетнего молчания! Каждая критическая статья его — воистину «художественное» произведение. Он покуда в Варшаве (Польша ведь тоже ныне в некотором роде «Европа») и печатается в маленькой местной газете «Свобода»... Я с грустью (и с некоторым ужасом) думаю, что вырвавшийся из плена Арцыбашев только в этой «Свободе» и мог обрести свободу слова... Попади он сразу к нам, в гущу эмигрантской прессы, его бы укротили. Художникам не полагается писать статей. По нынешним временам всякая статья — «политика» (и правда, никак не увернешься, раз заговорил просто по-человечески). Беллетристу же у нас, в данную минуту, дозволяется знать свою беллетристику, а дальше — чтобы ни ногой.

Арцыбашев — настоящий художник. У него очень неровный, со срывами, но сильный талант. До сих пор помнится мне его давняя, острая и глубокая вещь — «Смерть Ланде». Но Арцыбашев не только художественный писатель, он как-то весь талантлив, сам; не художник-беллетрист, а и художник-человек. Поэтому я и говорю о несомненной *художественности* его статей. У нас же «художество» сейчас загнано в рамки «беллетристики», иного места ему не полагается. Это печальная действительность, но это, конечно, минует. Пока же я радуюсь, что Арцыбашев нашел свободу хоть в этой маленькой, малочитаемой «Свободе».

«Очистив» Россию от современной русской литературы, от Арцыбашевых, Буниных, Мережковских, Куприных, Ремизовых и т. д., и т. д., распорядители (как мы знаем) ныне принялись за коренное очищение ее и от всего русского литературного наследия. Кстати и вообще от литературы, от всего, что имеет отношение к культуре духа. Не имея возможности уничтожить или выбросить писателей, которые уже умерли, они принуждены ограничиться физическим уничтожением их книг. Русским известно, какие сотни авторов числятся в списке г-жи Крупской: по ее декрету книги велено отыскивать, отбирать и отправлять на бумажную фабрику. Русским известно, что в списке этом и Толстой, и Достоевский... да кстати, и Платон, вплоть до его биографии. Иностранцам же об этом мы не говорим, не стоит, все равно не поверят.

Земля пустынна: ни травинки, все срезано; и вот, судорожно еще роются в ней черные ногти; нащупывают, вырывают корни, чтобы уж и корней не осталось, памяти не осталось, чтобы не тургеневская Фнистерархорн, а кремлевская дама Крупская могла сказать: «Хорошо! совсем чисто».

Трудно при этих обстоятельствах говорить мне о литературе в России.

Мог бы я, пожалуй, вспомнить об яйцах, из которых «очистители» пытались одно время высидеть «собственную» литературу. Но я хочу говорить об искусстве, об эстетике;

из яиц же вылупились такие непристойные гады, что неуместно мне их на сей раз касаться. Замечу лишь, кстати, что ничего иного из «собственных» яиц и не могло вылупиться. Неужели никому не приходило в голову оставить в стороне всякую «политику», все ужасы, разрушенье, удушенье, кровь (это тоже зовется «политикой»), взглянуть на происходящее в России и на советских повелителей *только* с эстетической точки зрения? Вне «правды и добра» — исключительно под углом «красоты»? Попробуйте. Если насчет всех прочих сторон («политика») еще могут найтись спорщики, то уже тут бесспорно: никогда еще мир не видал такого полного, такого плоского, такого смрадного — *уродства*.

...Земля впервые им оскорблена...»

II

Может показаться странным, что наша литература на новых местах, за шесть лет, дала сравнительно мало нового.

Но это не странно. Я упомянул выше о «писательском целомудрии». Есть, действительно, кроме обычночеловеческих, еще специально-писательская честность и писательское целомудрие. На мой-то личный взгляд человек с писателем так слиты, что и не разрежешь их никаким ножом; однако я, по многим причинам, на этом сейчас не настаиваю и говорю только о честности и целомудрии специфически-писательских. (Последнее свойство можно с некоторой натяжкой назвать и «вкусом».)

Как общее правило: чем больше и ярче талант,— тем больше у писателя и художественной честности, и целомудрия. Вот одно из объяснений, почему наиболее сильные, крупные художники дали за эти шесть лет меньше нового, чем дали бы без катастрофы,— не личной, даже не литературной, сейчас не об этом говорю,— но без катастрофы общероссийской. Как, в самом деле, выдумывать, когда честность подсказывает, что всякая выдумка будет бледнее действительности? Да и о каких людях писать, а главное — о какой жизни, если всякая жизнь разрушена, а лица людей искажены? Но и это не все. Смыкает уста и «целомудрие». Есть ли поэт, который будет писать стихотворение у еще теплого тела матери? А ощущение умершей или умирающей России носил в себе долго каждый русский писатель; пожалуй, и теперь носит, на самом дне души.

Обычно писатель, изменяющий целомудрию, наказан в самом творчестве своем: никогда еще не появлялось *художественного* произведения о войне — во время войны, или о революции — во время революции.

Но можно говорить о прошлом... К этому и приходят мало-помалу русские писатели, оправляясь от пережитого: ведь они все-таки писатели, и недаром же не погибли.

Ив. Бунин — без сомнения, первый в современности художник-беллетрист. Очень много у него и честности писательской, и целомудрия, и самого тонкого вкуса. Он долго молчал. Ему, по индивидуальному свойству таланта, трудно писать о прошлом. Он весь видимый, осязательный,— настоящий. И теперь, когда он пишет о минувшем,— до волшебного обмана претворяет он его в живое, сейчасное: возвращает время на круги свои. Все тот же Бунин, только, если можно, стал он еще строже, еще собраннее, упругий стиль — совершеннее. Современная наша литература и в Европе сохранила своего российского премьера.

Но и я в Европе воскресаю с прежней моей критической беспристрастностью, с постоянным стремлением к точности. Я не «хвалю» Бунина (никого я не «хвалю» и не «браню»), я его определяю, как определял и много лет тому назад. Радуюсь, что и тогда не ошибался. Но кое-что к моим определениям я еще прибавлю.

Бунин — «не милосерден» к своему читателю: он не «учит» его, когда бьет, а просто

бьет так, что и убьет — не заметит. Это происходит оттого, что Бунин *слишком* художник. Оттого, что, рисуя картину, он дает ей чересчур полное подобие жизни, вдвигает в нее читателя, заставляет в ней жить чувственно, как в собственном моменте реальной жизни... и переживает так же отрывочно и слепо, как обычно люди переживают дни своей жизни. Почти сон... иногда тяжелый, иногда веселый, а то страшный, будто кошмар... Если выйдешь из него, не умрешь, то остается чувственное воспоминание, чувственная радость, что прошло... и только. Такова сама жизнь. Таков чистый художник жизни — Бунин. Он дает куски жизни, и не только не дает *смысла* ее (кто мог его дать?), но он — в своих произведениях — и сам доселе не искал его и почти не позволял искать другим. Хорошо это или плохо? Не знаю, этим вопросом сейчас не занимаюсь. Также не знаю, в хулу или похвалу Бунину и последнее мое наблюдение, почти догадка, почти предчувствие: в новых его вещах,— вот в этих до боли сжатых, может быть, не в словах, а в молчаниях за словами,— есть новая боль, новое воздыхание. Есть жажда, пусть пока неосознанная, найти какой-то синтез своего творчества.

Ошибаюсь ли я — скажет время, а пока пойдем дальше собирать камушки русской — ныне европейской — литературы.

Как их много! Некоторые для меня новы, будто и заблестели только здесь. Вот, например, молодой писатель Алданов. Откровенно пишет о прошлом, о далеком прошлом, исторические, европейско-русские романы. Жанр, недоступный хотя бы и Бунину, потому уже, что в Алданове напополам и Европы и России, а Бунин костью, плотью, кровью — российский; воистину «писатель *земли* русской».

У Алданова — хороший живой язык, умная, культурная манера. Архитектура, строение романа, ему еще не дается; но у него положительно есть чувство меры (какая редкость в русском писателе!), и, может быть, это тип романиста, которого не хватало нашей литературе.

Я был бы, однако, не точен и несправедлив, если б умолчал о двух вещах: первая — впечатление какой-то разреженности от алдановской беллетристики. Это, впрочем, неопределимое впечатление; вторая вещь яснее и важнее. Алданов тенденциозен; это его право, и никогда я не отрицал его в художнике. Но у Алданова прорывается тенденциозность иронически-легкая, не глубокая, примитивная; освещение исторических фактов в манере журналиста, а не беллетриста. Вдруг начинается работа белыми нитками; очень тщательная, но самая тщательность возбуждает досаду. Таков образ Екатерины и еще каких-то русских персонажей (в романе «Термидор»). Да и «смешной» Кант выписан неловко и совсем не смешно. В романе «Елена — маленький остров» таких срывов почти нет, и вообще этот роман, несмотря на неудачную постройку, тоньше и проще «Термидора».

Какого размера дистанция отделяет писателя Алданова от другого русского писателя — Ивана Шмелева! Именно по противоположности он мне здесь раньше других и пришел на ум.

Этот — старый мой знакомец. В России он пользовался известностью умеренной, но в некоторых кругах его любили, особенно после «Человека из ресторана». Я о нем собирался писать, но потом решил выждать дальнейшей индивидуализации писателя. Во время войны его очерки «Суровые дни» — единственная книга, которую я смог прочесть без особого оскорбления. С тех пор ее не перечитывал, но, помнится, в ней подкупала бесхитростная взволнованность души.

Шмелев, как Бунин, весь русский, с головы до пят. Но у Бунина есть, сверх этого, магичность исключительного таланта и сдержанность, собранность; они приближают его к всемирности. Шмелев же остается русским, только русским, со всеми русскими и грехами, и дарами. В слишком европейце Алданове есть жидковатость; слишком русский Шмелев так густ, что ложка стоит, а глотать — иной раз и подавишься. Чувства меры не

имеет никакого. По-русски безмерное — святое — бурленне души заставляет его забывать и о писательском целомудрии, которое в иные времена смыкает уста художника. Кнпнт в сердце, через край хлещет, где тут думать о мере! Флобер во время войны 70-го года по ночам просыпался, сидел в подушках, страдал и плакал, а утром, за своим столом, опять терпеливо и медленно весил, мернл, точнл каждую фразу романа,— не мог иначе. У Шмелева слова не поспевают — даже не за мыслями его, а за стихийным потоком чувств. Он не властен над ними, не властен и над словамн: он сам в потоке.

Оттого Шмелев в Европе н не прошел полосы молчания, как Бунин и некоторые другие. Только что его выбросило, после крушения на западные берега, как он издал книжку «Это было» — повесть с художественной точки зрения самую неудачную. По размеру она не велика, но кажется неестественно длинной, главным образом потому, что без разбору вся — в крике. Слишком я понимаю вот это русское безмерное бурленне и крик сердечный (еще бы! теперь-то;). Но как же быть? Искусство имеет свой закон, «его же непрейдеши»: нельзя кричать все в ту же силу, все на тех же высоких нотах. Кто не хочет подчиняться этому закону — тот может быть чем угодно: пророком, святым... но только не художником.

Шмелева должен любить читатель (русский), любить именно с его воплями, с водопадом и пеной слов. Но любовь (да и нелюбовь) перед судом искусства не значит ничего. Флобера, например, читатель терпеть не мог. И ничего это не доказало. Любовь также еще не ручательство, что путь художника верен, и Шмелеву не надо это забывать.

Если б у Шмелева не было большого природного дара и больших возможностей, я бы и не сказал о нем всего, что сказал. Похвалил бы вскользь или вовсе промолчал.

Но природный талант, да еще в соединении с горением душевным — редкая ценность. Она — обязывает. И я считаю себя вправе предъявлять к этому писателю очень строгие требования. Кому много дано, с того больше и спрашивается.

Но «спрашивать» нужно с толком: со Шмелева требуется одно, а вот с Бориса Зайцева, например, совсем другое. Впрочем, с Зайцева я как-то вообще не могу ничего «требовать» (только разве «надеяться» на него): слишком он нежен, тонок, такой нежно-скользящий, легкий и пленительный. В нем «печаль полей», в нем «тихие зори»... «Сердце немеет и лежит распростертое...»; «... из зеркальных далей, по реке нисходит *благословение горя...*».

В 1907 г. я писал о Зайцеве, что в картинно-неподвижном творчестве его почти нет ощущения личности, нет *человека.* Есть последовательно: хаос, стихия, земля, тварь, толпа... А человека еще нет. Есть дыхание, но это дыхание космоса, точно вся земная грудь подымается. Нет лика — нет лица...

Да, нету; герои его рассказов — «зелень полей», «черный обворожительный ком — земля», вся тварь, «совокупно (и покорно) стенающая об избавлении»; а герои-люди, если искать в них людей,— кажутся странно-легкими, мерцают, скользят... потому-то и они — также земля, та же зелень полевая. «Не они ли в той зелени, и то зеленое не в них ли?» — говорит сам Зайцев.

И лежит на страницах художника луч, не греющий *человеческого* сердца,— луч тихой примиренности — «благословения горя».

«Читая Зайцева, грустишь, но ждешь...» — писал я в те годы. Рождения человека ждешь, конечно. И теперь — с еще более нетерпеливой надеждой, чем тогда (я уж сказал, что *требований* к Зайцеву предъявлять я не могу). Что же будет с ним? Неужели останется он в своем очарованном кругу печали, среди скользящих призраков и *теперь*, после страшных лет борьбы Безличного с Личностью? Неужели не обратится примиренность его — в непримиримость и не откроет ему *человека* безмерность горя, которое уже нельзя «благословить»?

III

Я вижу, что поставил себе неисполнимую задачу,— в рамках этой одной статьи, по крайней мере. Слишком богата наша «европейская» литература, слишком много здесь писателей. Почти каждому хочется — и нужно — взглянуть в лицо после страшного перерыва. А я едва успел отметить и первых! Основательно очистили Россию, поработали-таки над «изъятием ценностей».

Довели чистоту до того, что наконец и сами «изъятели» потянулись в Европу. Скучно, должно быть, стало. Непривычно. Говорить о них не буду, «ценностей» между ними, очевидно, нет,— скажу лишь об одном усердном «изъятеле» — Максиме Горьком.

Цену этого большого, недурно подделанного, сердолика я определил лет 20 тому назад; отметил и время, когда он окончательно треснул. Говорить, значит, о Горьком, как о писателе, мне трудно, но мало того: о нем и вообще трудно говорить лишь как о писателе, почти невозможно. Чтобы понятно было, *почему* трудно, я позволю себе привести маленький отрывок из моей статьи 1904 года, которую здесь нашел и сам удивился ее точности. В 1904 году, дома, я был свободен, мог говорить о ком хочу, что хочу, и вот что я говорил.

«...М. Горький как художник, если и расцветал для кого-нибудь,— отцвел, забыт. Его не видят, на него и не смотрят. Горький-*писатель* давно заслонен *деятелем*-Горьким... Потерявшие в огне общественных страстей всякое понятие о литературной перспективе наши критики еще кричат по привычке: Горький и Толстой! Горький и Гете!.. ...но «горкиада» не литературная эпоха. Горький — *пророк* нашего злополучного времени. И важна его *проповедь*, его и его учеников, а не их художественные произведения... Всякая проповедь судится в своих крайних точках. К чему же ведет проповедь Горького, если идти до конца? Она исторически необходима, но убийственна для попавших в ее полосу. Она освобождает человека от всего, что он имеет и когда-либо имел: от любви, от нравственности, от имущества, от знания, от красоты, от долга, от семьи, от всякого помышления о Боге, от всякой надежды, от всякого страха, от всякого духовного или телесного устремления и, наконец, от всякой воли,— она не освобождает лишь от *инстинкта* жить... Что это? Зверство? Вряд ли. От зверя — потенция движения вверх. Здесь же, в истории, уже поднявшись вверх, волна упала... от человека — во что-то конечное, слепое, глухое, немое, только мычащее и смердящее...»

Если уже тогда, 20 лет тому назад, Горький был «проповедник», а не писатель, и если таковы «конечные точки, последняя цель» этой проповеди (а время как будто наглядное нам дало подтверждение, неправда ли?) — то не дико ли мне вдруг взять да и заговорить сейчас о его «художественных произведениях»? Не понятно ли все само собою? И не лучше ли, если уж нельзя рассказать, как этот удачный проповедник по достижении цели помогал «изъятию» всяческих ценностей, не лучше ли было бы вовсе о нем молчать?

Пожалуй. Вот только одно еще: почему Горький потянулся в Европу? Ему ли в России скучать? Многолетние труды увенчались полным успехом. Писать — просторно, нельзя просторнее. Никакой помехи в России, только почет и поощрение. Казалось бы: живи и будь счастлив.

Так вот нет. Дело в том, что Горький отравлен тайной, вполне безнадежной, любовью, которая, как змея, источила всю его жизнь. На заре туманной юности он влюбился... в «культуру».

Ужаснее этого с ним ничего не могло случиться.

Повторилась и до сих пор повторяется вот эта проклятая история:

Он был титулярный советник,
Она генеральская дочь.
Он ей в любви изъяснялся.

Она прогнала его прочь.

Что же Горький? Известно что́:

Пошел титулярный советник
И пьянствовал с горя всю ночь.
И в винном тумане носилась
Пред ним генеральская дочь.

Как в нитшевских «вечных повторениях» кружится Горький, с теми вариациями, что после очередного выгона погружается в пьянство не от вина, а от бешенства. В такие «ночи» он не щадит свою неясную, недостижимую возлюбленную; тут-то он «по-русски» позорил Америку и «плевал в лицо прекрасной Франции». Но плюет и позорит — не верьте, он не излечен; все равно, во всяком тумане, носится «пред ним генеральская дочь».

Не будем же строги к титулярному советнику. Может быть, даже «изъятелем-то», да и проповедником разрушения, помощником разрушителей стал он благодаря этой роковой своей страсти. Любовь к «культуре» *при полной к ней неспособности* — недуг, выедающий, сжигающий не только талант писательский, но и душу человеческую.

Горький уедет домой, в «чистое» свое место, но опять приедет в Европу, чтобы снова уехать. И так будет продолжаться, пока он жив. И ничего не изменится.

Дальнейшие его литературные произведения нам безразличны. Они тоже не изменятся. Ведь катастрофа, постигшая русских писателей, русскую литературу, не могла на него никак повлиять,— просто потому, что *для него* ее не было.

Об этой катастрофе еще несколько слов — с другой точки зрения.

Имели ли мы, русские, хоть приблизительное представление, в какой степени наша литература неизвестна Европе? Просто не знакома,— никто не смотрел, никто не видал; и знакомиться с ней европейцам очень тяжело. Не в них и не в нас вина (если есть вина); должно быть, самый дух наш труден для восприятия.

Прежде мы как-то об этом не думали и мало заботились; теперь, выброшенные из России, мы лбами столкнулись с иностранцами. Мы поневоле ищем хоть какого-нибудь своего места на чужой земле. И писатели, прежде даже чем собрались с силами для новой работы, стали пытаться издавать русские свои книги на иностранных языках.

Не буду входить в подробности этих опытов, коснусь только первых итогов,— они грустны. Но тем более виноваты мы будем, если придем в уныние и прекратим работу сближения с европейцами и усилия дать им о нас понятие. Пусть они нас судят, пусть даже осудят, но пусть хоть как-нибудь в нашей литературе разбираются.

Теперь знают они о нас плачевно мало (говорю преимущественно о Франции, где живу). Для них есть какая-то общая „âme russe“ *, в которой они отчета себе не отдают, да и смотрят в пол-глаза; кроме того, есть, в смысле интереса, «экзотика».

Таков, в грубых чертах, рисунок европейского отношения к русской литературе, да и вообще к русскому искусству (к русскому балету, музыкантам, художникам — преимущественно интерес «экзотики»).

Если наши писатели, всей кучей вытряхнутые в Европу, сами еще перепутаны, как шахматы в ящике, то для иностранцев они даже не шахматы, а просто шашки, все одинаковые. Они их искренно не различают,— да и откуда им знать, действительно, где конь, где ферзь, где пешка? Узнавать — долгая, трудная история. И они подходят к нам с привычным критерием — «экзотики».

«Деревня» Бунина? вещь удивительная! прекрасная! высокоинтересная! (французы специально так воспитаны, чтобы не скупиться на похвалы, раз уж они о ком-нибудь говорят); не менее, однако, любопытна! интересна! и т. д. (экзотична) и книга, положим.

* Русская душа (*фр.*).

Гребенщикова о «сибирских» мужиках. Любезные французы даже и не подозревают, что если Бунин чистейшего огня рубин, то Гребенщиков — дай Бог с речного берега камушек; что дома, на родной шахматной доске, Бунин стоял рядом с ферзью, а Гребенщикова на этой доске, пожалуй, и вовсе не бывало.

Я привел пример насчет Гребенщикова, этого серого повествователя-этнографа, как первый попавшийся. Таких примеров сколько угодно. Вот «Суламифь» Куприна. Аляповатая вещь, олеография, малодостойная таланта этого писателя (о нем теперешнем, о нем «в Европе» я при случае еще поговорю). Но «Суламифь» нравится,— в ней двойная экзотика, и русская, и восточная. Нравится средне, конечно, в меру интереса к экзотике, хотя любезность и требует от француза расшаркнуться: «Это перл!»

Но, повторяю, писателям нашим нечего смущаться. Принимать, понимать данное и упорно идти вперед. Авось доживем и до первого *строгого* слова иностранца, до первого знака, что Европа литературную Россию глубже шкурки увидала.

С этой стороны катастрофа наша может оказаться благодетельной. Как никак — есть же в русской литературе некий дух, от проникновения в который Европа не только не проиграет, а, пожалуй, выиграет: омолодится.

Да и нашим писателям это сближение не к худу. И у старого Запада есть чему поучиться. Выбросили литературу за окно, окно захлопнули. Ничего. Откроются когда-нибудь двери в Россию; и литература вернется туда, Бог даст, с большим, чем прежде, сознанием всемирности.

О молодых и средних

I

Наши деды не так уж были глупы, когда при всяком удобном (и даже неудобном) случае пили за «Истину, Добро и Красоту».

Избитая триада! Правда, кто не избивал ее? Избивали, забывали, вспоминали, чтобы снова избивать; в результате — болят руки у избивателей, а триада стоит себе, нерушимая и, главное, неделимая; и по-прежнему только к ней влечется воля человеческая.

Триада нераздельна, однако Истина — Добро — Красота (будем уж держаться этой терминологии, хотя в разные слова облекало ее человечество) — отнюдь не слиты, отнюдь не одно и то же. Неделимость их в том, что нельзя взять одно из трех понятий и, углубив его, не дойти до двух других.

Неразрывность слишком ясная: можем ли мы себе представить, что кто-нибудь желает Истины... безобразной и ложной? Или уродливого, лживого Добра? Или злобной и фальшивой Красоты? Сказать это можно по капризу, по озорству (и говорили, когда увлекались Ницше), но пожелать действительно — противно природе человеческой.

Однако в многосложной и многообразной плоскости относительной эта абсолютная триада — некий равнобедренный треугольник — отражается расстроенно. Мы привыкли к этому обыденному делению, да ничего безнадежного тут и нет: ведь за какой уголок треугольника ни схватишься (только по-настоящему), вытянешь-то все равно его весь.

Проще говоря: под каким углом зрения мы данное явление ни рассматриваем — судимым оно оказывается как в трех измерениях, так и во всех трех планах.

Поэтому мне, в сущности, безразлично, с какого угла начинать. Пишу ли я о Добре — я тем самым говорю и об Истине, и о Красоте. Пишу ли о Красоте — разумею Красоту истинную, то есть добрую. (Недаром Сологуб, в самые «демонические» времена, сказал, осмелился сказать: «Красота и Нравственность (Добро) — это две сестры: одну обижают — другая плачет».) Нет областей, по которым не пролегали бы эти три пути, и это

дает мне свободу, «которую уже никто не отнимет у меня», а также и свободу выбора.

Если я сейчас выбираю «угол» Красоты, то даже не потому, что говорю об искусстве. Или, во всяком случае, не только потому. Но слишком помрачены в сознании человеческом Истина и Добро — Красота как будто меньше. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что прекрасное — понятнее; или думают, что оно понятнее,— но и это важно.

II

Мне ставили в упрек, что в предыдущей записи я говорил только о корифеях нашей литературы. И только об эмиграции. Неясно упрекали не то в предпочтении старых писателей — старым же, но оставшимся в России; не то в сознательном обходе новой, молодой, послереволюционной литературы.

Слишком просто было бы ответить, что о корифеях стоит поговорить, и не виноват же я, что они эмигранты. Это ведь прежде всего факт.

Но, конечно, для меня дело голыми фактами не исчерпывается. И я хочу расшифровать неясные упреки и вопросы, свести сущность их к одному главному вопросу, очень мучительному, очень искреннему у искренних и объективно важному.

Формулирую его так: «Каково поступательное движение и развитие нашей русской литературы за годы революции, *если оно есть*?»

Центр тяжести спора — в последней части вопроса: есть или нет? За каждым из этих утверждений лежит длинная психологическая цепь других, соответственных утверждений; но мы не будем этого касаться хотя бы потому, что всякий утверждающий, говорит ли он «да» или «нет»,— не прав: как раз *утверждать* тут нельзя ничего.

Я и не утверждаю. Но я думаю, я боюсь, что развития русской литературы *нет*; что течение ее за последние годы приостановилось. Доказать я это не могу, как не могут, впрочем, ничего доказать и мои противники; но рассказать, почему я так думаю, показать, отчего этого боюсь и чем в страхе утешаюсь, может быть, следует.

Заранее отвожу от себя упрек в субъективности. Если это недостаток — кто от него свободен?

III

Мне пришлось видеть близко целый кусок истории литературы, наблюдать смену течений, очень у нас быструю, но вначале правильную.

Если брать общó, то можно заметить один закон для всех литератур всех времен: период более или менее реалистический — сменяется периодом романтизма; и этот, в свою очередь, новым, опять реалистическим.

Наша литература (и наше искусство), при всей своей молодости, имела те же смены, вначале трудно уследимые. Гораздо ярче смена 90-х годов. Наивный реализм изжил себя, довел литературу до упадка и кончился, уступив место победоносному шествию неоромантизма. (Напоминаю, что говорю об общей линии; и не об отдельных писателях, но о плеядах.)

Русская литература никогда не шла вне жизни; а чем дальше — тем все больше испытывала она на себе влияние общих условий. Темп ее движения ускорялся в связи с темпом развития событий, иногда перегонял их. И период романтики не успел нормально завершиться, как уже влилось в это течение следующее, опять реалистическое. Смешение получилось довольно чудовищное: гиперболический и *утопический* реализм. В нем, отображенно, были уже все элементы большевизма.

Перед самой войной и в годы войны я имел возможность особенно близко следить за молодой литературой. Из доброй сотни молодежи, от 14 до 26 лет, посещавших частное общество «П. и П.» (поэтов и прозаиков), две трети, по крайней мере, уже были захвачены потомком этого «утопического реализма» или клонили к нему. Талантливые и бездарные, разделялись они не по признаку таланта, а как раз по тяготению или отталкиванию от «нового» — и тогда уродливо-смешанного течения.

Кстати о «таланте», этом современном божке. За талант, говорят, все прощается! За талант ли? Может быть, за «прекрасное», созданное талантливым человеком?

«Прекрасное» редко, а талантов... гораздо больше, чем мы думаем. Таланты на каждом шагу. Талант — некое имение; получить его по воле нельзя, но, получив, разорить, опозорить, во зло обратить — сколько угодно. Это чаще всего и происходит. Прекрасное же редко потому, что не талантом оно создается и не человеком, а какой-то их таинственной *сцепкой*, да еще качеством *воли* человека, талант имеющего. Когда, не понимая процесса творчества, обособляют и обожествляют «талант», право, хочется встать на защиту *искусства* от *бесчеловечья*.

Но возвратимся к пребольшевистской литературной молодежи.

Когда пришел настоящий большевизм, он наделся на них, как перчатка на руку. Плотно и крепко. Утопический реализм (литературный) нашел свои берега, вернее — свое безбережье.

Таланты остались талантами. Но талант начали употреблять на схватыванье и передачу видимого, на извлечение из видимого черт наиболее кошмарных и на обработку их в сверхкошмар, в сверхбезобразие. Это «сверх» обыкновенно не удается, и мы получаем только цепь бесполезно уродливых описаний. Например, описывать физические отправления стало считаться самым щегольским «реализмом».

Талантлив ли Есенин? Конечно. Я его знал до всякой революции, видел еще обожающим последнего романтика — Блока. И тогда Есенин был сосуд, готовый к приятию росы большевизма. Каково же прекрасное, созданное этим талантом?

Я не имею сейчас в виду давать обстоятельный отзыв об Есенине. А все мы знаем, что если взять у него несколько *характерных* строчек, особенно из последнего периода, то... лучше их не цитировать. Окажется, что еще самое пристойное из его дерзаний, это — как он

Стоит на подоконнике
И... на луну.

Кусиков тоже талантлив (менее). А прозаики Зощенко, Пильняк? Последний (он недавно был исключительно обласкан советскими вельможами) изощряет свой талант, описывая лежанье героя на грязном полу вокзала или путешествие «В теплушке» с таким... уж не реализмом, а натурализмом, что и опять предпочитаю воздержаться от цитат.

Самое интересное, что эти описания ни для чего не нужны. Ничем не связаны. Описание для описания, «искусство для искусства».

Может быть, Маяковский не «талантлив»? Этот, ныне уже немолодой, пребольшевик с быстротой молнии съел в свое время Игоря Северянина, за которым еще влачился романтический шлейф. «Поэзами» нежного коммивояжера, тоже талантливого, сильно увлекалась было средняя петербургская барышня. Но слишком он оказался нежен. «Ноздря» Маяковского (по комвыраженью) давно учуяла, что не тут ракам зимовать. Надо «хватить», а для этого надо издумать всякий раз «погаже». Когда стремлению к «погаже» не стало внешних препон (фактически единственная русская «свобода») — легко представить, что получилось у Маяковского и у всех плывущих по этому течению.

Я должен, однако, сказать, что есть писатели из среднемолодой группы, то есть моложе старых Маяковских, но старше самых юных, впервые открывших глаза в России года 18-го, которым по натуре, должно быть, несвойственно это: «хватить погаже». Вот хотя

бы один из «Серапионов» — М. Слонимский. Могу засвидетельствовать, что у него имелся талант: я присутствовал при его первых, еще «комнатных», литературных шагах в 19 году.

Называю его в *серединной* группе молодых, хотя писать он начал только в 19—20 гг. Но он успел прожить несколько сознательных лет в нормальной обстановке, да еще в очень хорошей, интеллигентной и литературной семье; он успел *читать книги*. Может быть, и это повлияло на его «натуру», трудно сказать; но маяковщины и пильняковщины тогда, в 19 году, в нем не замечалось.

Ну, а теперь? Теперь он в той же победной колеснице всеобщего, жизнелитсратурного, «утопического реализма»; только «натура» мешает ему сравняться в славе с другими, менее его талантливыми, и он в этой колеснице лишь малая спица.

Есть, наверно, и кроме Слонимского среднемолодые, которым натура не позволяет «хватать»; тогда общая нота, которую они все-таки тянут, выходит просто послабее. Но ни в одной строке русских писателей, так называемых «новых» — quasi-молодых, молодых и юных, я до сих пор иной, действительно *новой*, ноты не уловил. Сильный, слабый, талантливый, бездарный, но все тот же «реализм»... физических отправлений, скажу я, не боясь грубого слова.

Отмечаю это с ужасом, с болью, рад был бы, если б кто-нибудь опроверг меня. Знаю, что мы далеко не все видим отсюда; но в том, что видим, я этой новой ноты не улавливаю.

Знаю также, почему, если я прав, нет нового у «новых» писателей и почему быть еще не может.

Почему же?

IV

Я уже предлагал — мимоходом, правда,— взглянуть на кое-каких юных писателей и на происходящее в России с *эстетической* точки зрения, попробовать оценить все под углом Красоты. Мне казалось, что для правильной оценки достаточно одного взгляда. Но сегодня вижу: и в эстетике не обойдешься без пояснений и толкований.

Кратко исследовав воду в литературной реке, исследуем и русло ее, и берега. Это не менее важно.

«...Группа пролетарских писателей во главе с Машировым-Самобытником и Садофьевым опубликовала, наряду с другими комячейками, «клятву»: беречь как зеницу ока великое наследство Ленина и «неуклонно идти вперед по его верным и победным путям».

«К этой Аннибаловой клятве *присоединились* члены объединения *ленинградских* писателей: Ал. Толстой, Всев. Иванов и все Серапионовы братья: Зощенко, Слонимский и т. д.».

Газета, отмечая факт, дает ему оценку именно эстетическую, ту, которую предлагаю сделать и я. Да, действительно, «шедевр»; действительно, «нет ничего ужаснее для писателя, как утерять „чувство смешного“».

Безобразие самое несомненное — мелкое безобразие. Оно-то всегда и смешно, и ужасно. Зощенки и Слонимские, «ленинградские» беллетристы, когда подписывали клятву верности, чувствовали ли ужасное и смешное безобразие этого своего писанья? Допустим, что они искренни, допустим, что не чувствовали. Тем хуже. Если чувство красоты и безобразия у них утеряно, не должно ли это обстоятельство мешать им творить прекрасное?

Можно идти и с другого конца.

Я не читал од Брюсова на смерть Ленина, выпущенных им во время «всеобщей пляски язычников вокруг гроба умершего шамана». Но я читал стихи Брюсова последнего периода и совершенно уверен, что «оды» этого, когда-то Божьей милостью, поэта

немногим выше «художественных» произведений распоследнего комсомольца из комсомольской молодежной газеты.

Как седовласый Брюсов, так и среднемолодой Слонимский, оба одинаково неспособны на «прекрасное»: они оба утеряли чувство прекрасного.

Ну, а юные? «Племя незнакомое». Мирошины и Садофьевы, которые едва знали азбуку, когда прекратились все книги, а в школе (если были в ней) выучились одному: что есть коммунизм, Ленин его пророк, остальное — гиль?

Они видели жизнь... как она есть в России, под большевиками. Другой не видели. Сравнивать не с чем. Видели безобразие. Но не знают, что это безобразие, потому что не видели красивого.

Чувства красоты они не могли утерять — они его не имели. Имели, конечно, в зародыше, по наследственности; но ведь это нежное семя требует ухода и поливки. А его только и заливают что грязью да кровью.

Так и талант,— между ними, наверно, много талантливых. Я говорил, какая хрупкая вещь талант.

Что же, легко этим Садофьевым, этим «юным», творить прекрасное, когда они уже творят безобразное, подписывая «клятвы», и даже не подозревают, что «ужасны и смешны»?

Сказать по правде, никого так не жалко, как их. Не в них ли наше будущее, не они ли наша надежда? Не для них ли и мы все работали, несли что-то, чтобы они взяли от нашего и претворили в новое и не прервалась бы цепь?

А цепь, кажется, уже прервалась. Невинные, как замершие и подобранные в день похорон Ленина дети, не будут ли, как они, забыты и наши «новые» русские писатели?

Но не хочу преувеличивать. Я ни минуты не сомневаюсь, что Россия не погибла, не погибла и русская литература. Прерыв — вероятен. Мы опять вступим, может быть, в полосу, когда «литературы» как будто нет, есть отдельные «самородки». Самородки выдержат все. Долежат в земле до своего времени. Если и прав я, если не слышим мы «новых» голосов — нужно ли бояться? Мы слышим только тех, кто пишет без ощущения красоты и безобразия, кто подписывает свое имя под клятвами Ленину, кто не знает смешного и ужасного. А новое, если и родилось, растет в тишине, до своего часа. Скорее бы уж пробил этот час!

Не знаю, достаточно ли подчеркнул я, что в литературных моих оценках очень малую роль играет география, то есть местожительство писателя и даже молодость и старость. Линия моего разделения проходит иначе.

Не спорю, факт, что лучшие наши писатели очутились в Европе, имеет для меня свой смысл. Однако в Европе теперь целые косяки писателей и журналистов, которые на новом месте не сделались для меня лучше. И обратно: Сологуб без выезда сидит в Петербурге, а вот последние его стихи в «Беседе» я считаю истинно прекрасными. Прелесть этих шиллеровских строк не уничтожается даже уродством их воспроизведения: «склонись пред тайной вещей...», что должно означать не «вещи», а «вещую» тайну.

Брюсов завтра сделается посланником в Лондоне, Зощенко или Слонимский — редактором «Накануне» в Берлине (нарочно беру вне возрастов). Что же, это возвратит им чувство красоты, которое они одинаково потеряли? Не возвратит,— как пребывание в России Сологуба не заставило его это чувство потерять.

Да один ли Сологуб? Там Сергеев-Ценский, этот замечательный писатель, о котором я когда-то говорил, что он стоит «на острие». Там Анна Ахматова, женственная, такая, казалось, робкая, словно былинка гнущаяся — и не сломившаяся, и смелая в своих последних стихах, по-прежнему прекрасных. Там Замятин, беллетрист талантливый, очень неровный, хотя очень изысканный. О Замятине я когда-нибудь поговорю подробнее; сейчас скажу только, что ему с особым усердием начали подражать всякие молодые

Слонимские; но далее беспомощно-внешнего подражания дело не пошло. Не хватило их, не увидели, что вот за таким-то и за таким-то «стилем», постройкой слов, у Замятина в каждом рассказе есть что-то еще, что, худо ли, хорошо ли, слова эти связывает, дает им жизнь, делает их искусством.

В России М. Пришвин. Не знаю, что пишет он теперь и может ли писать. Но думаю, что этот не первоклассный, но чуткий, «земляной», художник не стал подражать Пильнякам, не описывает его «вокзалов», не потерял чувства красоты, какое имел ранее.

Многих еще можно бы вспомнить... Не отдает ли художник своему творению живое сердце, живую кровь? И какова кровь, каково сердце — таково будет и творение.

V

До сих пор я говорил об арифметичном. И даже, для ясности, еще упрощал без того простые линии.

На Брюсове, на Самобытниках и Слонимских — до грубости наглядно: утеряли различие между безобразным и прекрасным — утеряли и способность творить прекрасное.

Но есть явления — в душе человеческой и в литературе — более тонкие: к ним с арифметикой не подойдешь. Всей сложности их и нельзя разобрать. Но одну черту русского духа, с частой яркостью в нашей литературе отраженную (в лесковском «Памве смиренном», например), я хочу отметить.

Ею определяется иногда весь облик писателя или его облик известного периода — данная книга.

Затрудняюсь дать имя этому душевному свойству: все названия будут неточны.

Что это — фатализм? Высшая покорность? «Радость страдания», доходящая до экстатической любви к терзателям, жертвенный порыв, мазохизм?

Пожалуй, «мазохизм» — слово наиболее точное, но употреблять мы его будем не в осудительном смысле. Мазохизм, как я его беру, черта русского, по преимуществу, духа, и сама по себе еще не отрицательная.

Вот последняя книга М. Волошина — «Стихи». Стихи прекрасные, и удивительно воплощают они дух героического мазохизма. Ни слепоты, ни закрыванья глаз: с четкостью реалиста не «утопического», а настоящего дает Волошин образы Смерти, не боится никаких слов, описывая «бред разведок, ужас чрезвычаек», находит чутко соответственные ритмы, отбрасывая рифму, где она не нужна.

И стихи волевые: Волошин не идет — он бросается навстречу «апокалипсическому зверю», прямо в его «зияющую пасть»; можно сказать — прет на рожон, все равно какой. Он кричит: «Господи, вот плоть моя!» — и, конечно, зовет всех броситься в ту же «пасть».

Вот что он пишет «перед приходом советской власти в Крым» — в Крыму.

> Бей в лицо и режь нам грудь ножами,
> Жги войной, усобьем, мятежами...
>
> . . . .
>
> Нам ли весить замысел Господний?
> Все поймем, все вынесем, любя —
> Жгучий ветр полярной Преисподней,—
> *Божий Бич,— приветствую тебя*!

Своеобразный привет! Такой же посылал архиерей Лу — Аттиле. Лу — «святой». А сколько русских Лу, святых именно этой святостью! Волошин сумел найти для мазохистической святости художественное воплощение; я знаю другого поэта в России, которого, по первым книгам, я считал талантливее Волошина. Он не воспел мазохизма,—

потому, может быть, что давно из поэта стал священником. Но и он громко зовет «целовать следы ног Ленина, давшего нам такие муки», то есть давшего возможность сделаться мазохистскими «святыми».

Оставим пока в стороне святость; но думаю, что ей, как и мазохистическому художественному творчеству, положен предел.

Возьмите книжку Волошина. Читайте внимательно, одно за другим, его искусные, разнообразно построенные стихотворения. Меняется ритм, но не звук голоса. Напряжение и жертва,— на каждой странице совершаемая и никогда не довершенная,— начинают раздражать. Мало-помалу с порыва, переведенного в дленье, совлекаются красивые одежды. И соблазн кончен. В голой самодовлеющей жертве, в человеке, самоупоенно кидающемся в «пасть», в отказе его от борьбы, то есть жизни, мы уже ясно видим ложь. И делается странно, что нас могла влечь поверхностная красивость этих ритмичных воплений.

Так разлагается, под чуть внимательным взором, мазохизм героический. Но то же происходит и с мазохизмом другого оттенка — нежным, жертвенно-женственным.

Очерки Б. Зайцева, его последняя книга («Улица Св. Николая») — вот этот женственный мазохизм.

Зайцев не кидается, подобно Волошину, в «пасть». Он никуда не кидается, он самособирается, самозавивается; его жертвенность устремлена внутрь.

Оба поклонились Року, Неизбежности, Судьбе; оба вне борьбы; но Волошин обязательно лезет на ближайший рожон, Зайцев жмется по стенке.

«Есть Судьба. Хочешь не хочешь — ее примешь. Я уже принял... Прохожу сквозь тебя, жизнь, и посматриваю...». «Ну, несись, черный корабль... кровавя след за собой. Твори судьбу». И далее: «Все — сон. Все — нежность, стон любви, томленье смерти». «Смерть — наш хозяин; кровь — утучненье полей; стон — песня».

Тут соблазн искусства еще, пожалуй, сильнее. Потому что сам *этот* мазохизм, безвольное, безбольное умиранье, истаиванье, особенно соблазнителен по нашим временам: чем жестче борьба и жизнь — тем слаще и проще уйти, закрыться, истаять тихо, истеплиться крошечной свечечкой. Не тут ли правда? И разве не красиво?

На бренность этой красоты, на неподлинность этой правды может открыть глаза Любовь. Кому и зачем жертва, если: «привет бесцельности!» И что за искусство, падающее, замирающее, истаивающее,— ведь «хозяин всего — Смерть?»

Мне вспомнилась здесь третья книга, третьего современного писателя. Почему? Он стоит как будто в стороне. И жертвенности в его книге как будто нет...

Эта книга «Конь вороной» Ропшина. Подойдем к ней с художественной стороны. Через эстетику доберемся и до сущности.

Автор хочет сделать его продолжением своего первого романа («Конь блед», 1909 г.). Сближает заглавия, выводит того же героя... Автор как будто хочет, чтобы мы судили вторую книгу в связи с первой. Будем судить.

В «Коне бледном» главное действие — внутреннее, рост души героя. В центре — одна из глубочайших моральных проблем — *о праве человека убить*. Герой постепенно переносит для себя эту проблему в плоскость религиозную, но переносит не рассудочно, а естественно, как бы не по воле автора, а по законам внутренней логики. Только художник мог нам так показать этот процесс. Не менее тонко сделано и подхождение героя к «жертвенности» (в «Коне бледе»), совсем иной, чем у Волошина и Зайцева.

Жорж понял, через любовь к другу и любовь к женщине (и опять не умственно, а кожно, действенно), что убить *для себя* нельзя никогда, что это вина неискупимая. А если и поднимает еще человек тяжесть вины — убийства *не для себя*,— то нужно ему принять и ее искупленье — готовность к жертве. Не жертва — искупленье, а именно готовность к ней. А совершится она или не совершится — это уж «не моя, а Твоя да будет воля».

Много было в книге виешних художествеиных иедочетов, даже промахов. Сейчас их ие помню. Вот стиль, например, претендующий иа простоту, сжатый, сухой,— он местами переходил в безритменную обрывочность, утомлял, как стук. Модный стиль того времени; художники, да и сам Ропшии, скоро от него отказались. Были и другие неловкости... Но они не мешали и не мешают с правом назвать зту киигу — настоящей литературой.

Ради связи второго романа с первым автор сделал очеиь много. Внешие сблизил заглавия, жертвуя вкусом. Вкус не доказывается, но и так поиятно: если «Коиь блед» сразу вдвигает нас в особый мир, то от «вороного» (пока не прочтешь эпиграфы) первое впечатление получается такое же, как от любой «гиедой лошади».

Тем более зто досадно, что «Черный Всадник» с мерой в руке довольно искусственно сцеплен с романом. Разве в том смысле, что современность нашу часто иазывают «апокалиптической».

Черный Всадник — только в мыслях и соображеииях героя, Жоржа. Но тот ли зто Жорж? Автор все время старается убедить нас, что да, тот самый. Жорж часто «вспоминает»:

«Не убий!» Когда-то эти слова произили меня копьем. Теперь... теперь они мие кажутся ложью. «Не убий»... но все убивают вокруг... Такова жизнь... К чему же тогда покаяние?.. Какой кощунственный балаган.

Не верится, чтобы Жорж, хоть и на 13 лет постаревший, из террориста сделавшийся белым, зеленым и т. д. борцом с красными, рассуждал с такой невнятной и банальной первобытностью. Чем чаще он «вспоминает», чем больше еваигельских цитат приводит,— тем яснее: или он все забыл, или зто самозванец, которому до Евангелия никогда и дела не было.

«Проблем» психологических, моральных и других в романе, собственно, нет. Есть описаиие, иногда живое, отдельных зпизодов междоусобицы. Герой, иесмотря на старанья, ие имеет сил связать их в себе, собою, в нечто целое. У него даже иет художественного чутья для отбора фактов, иначе писательское целомудрие подсказало бы ему *меру* в иаиизывании убийств. Иногда наибольшее *число* производит наименьшее впечатление.

У Жоржа две возлюбленные. Впрочем, оии ие женщины, оии две аллегории России, чего Жорж нисколько не скрывает: «Россия — Ольга, Ольга — Россия. Если не будет Ольги — не будет и России», и иаоборот. Но Груша тоже Россия. Груша — крестьянская Россия, и оиа не приняла большевиков; а когда он находит, иаконец, Ольгу — Россию городскую,— то оказывается, что она коммунистка.

И опять подчеркивает, чтоб уж нельзя было не понять: «...мир опустел для меня. Россия — Ольга, Ольга — Россия. Неправда. А Груша?..

Даже и заботы нет облечь какой-ибудь живой видимостью зти аллегории. «Блестят голубые глаза, рассыпались русые косы...». Повторяющееся упоминание, что обе аллегории «обнимают одинаково» и что у обеих «высокая, белая, мягкая грудь»,— мало способствует их оживлению.

А стиль? Пародируя «Коня бледного», Ропшии доводит обрывочность стиля до прямой антихудожествеииости. Стучит, стучит... особенно в диалогах. Даже краткие — они кажутся длииными, ибо при этом стиле неизбежио строятся на повторениях. Есть иежные тонкие места (описание «беспорочного» утра, иапример); ио зато есть и удивительные: «..какая женщина устоит... не истомится, ие взволнуется страстью? Чье сердце выдержит самоубийствеиный поедииок? Но ведь теперь между нами (с Ольгой) даже не бездна, а *колодец* ее». К зтому «колодцу бездны» (?) Жорж возвращается, очевидно, плененный иовым литературиым образом.

В чем же, однако, дело? Как мог талантливый писатель дать такую неудачную художествеино книгу? Кто — Жорж, какую полосу заставляет его проходить автор?

Эта полоса — мазохизм. Не волошинский, не зайцевский мазохизм, все-таки положительный и поскольку-постольку отразимый в искусстве. Мазохизм Жоржа — *отрицательный*. Он вынужденный и вырожденный в растерянное метанье, в беспорядочную кучу злобных вопросов без ожидания ответов.

В начале кажется, однако, что и Жорж, и дикогероический мазохист Волошин, и нежно-тихий Зайцев,— все они вместе и говорят одно: «Что менялось? Знаки и возглавья? Ныне ль, даве ль — все одно и то же...». «То же, что было и раньше... Чем я отличаюсь от комиссара? Все виноваты. Или все правы. Все прах земной, все пух...». «Все сон. Все стон любви, томленье смерти...».

Так равны, что и не разберешь, кто говорит. Все трое — вне борьбы, ибо не могут быть за одних или за других. Жорж как будто борется, но это художественная фальшь; нельзя бороться, говоря себе: «Истина разорвана на две части: одна у них, другая у нас» (впрочем, Жорж из борьбы и уходит).

Вместе... но вот черта, их разделяющая. Волошин говорит: «...стою меж них (меж борющихся) в ревущем пламени и дыме,

И всеми силами моими
Молюсь *за тех* и *за других*».

Безумная молитва, абсурдная молитва, от нее отвращается простое, не мазохистичное, сердце человеческое. Но у Волошина она искренна. Он — молится. И Зайцев молится — благословеньем, издалека, и тех и других.

Герой «Коня» не молится, а судит «тех и других». Не благословляет, а проклинает. Не любит, а ненавидит. О жертве, даже о пылающей (волошинской) или истаивающей (зайцевской), вовсе не думает. Если б и погиб — ничего не искупила бы, ничего не завершила *случайная* жертва. Все превращается в случайность: и дела его, и пути его. Мутный образ Жоржа — сам образ мазохизма отрицательного, во все времена обреченного на *бесформенность*.

И однако, в заключение я скажу несколько слов, которые, может быть, покажутся противоречивыми. Но внутренняя логика не всегда совпадает с внешней.

Я скажу, что книга Ропшина все-таки *существует*.

Она имеет небольшую художественную ценность. В ней мало доброты, немного правды.

Но в ней — *страданье*.

Когда страданье выражено, оформлено и найден ему самоутешающий исход — его уже как бы нет. Волошин, бросаясь «и на тот, и на другой» рожон, доходит до восторга; а безбольным истаиваньем своим — не доволен ли Зайцев? И замкнут круг.

Книга Ропшина никого не «соблазнит». Но в ней не замыкаются круги. Она сама живет, как почти непретворенный хаос.

Есть ли страданье в тех старых, молодых и юных русских писателях, что потеряли чувство Прекрасного (Истинного и Доброго) или не успели его приобрести? Если есть — они живы. В меру страданья, которому не находят близкого утешенья,— живы и они.

Но страданье не надо ни судить, ни мерить. Можно только сказать: вот, оно — есть.

Марк Слоним

Живая литература и мертвые критики

I

В эмиграции существует весьма распространенная порода людей, присвоивших себе неблагодарную обязанность: быть постоянными плакальщиками на похоронах России. Что бы ни случилось дома, какой бы оборот ни принимали там события — плакальщики механически повторяют свое затверженное причитание и поют отходную родине и ее народу. Подобно длинноволосому витии из «Двенадцати» Блока, умеют они только восклицать «погибла Россия», и всякое противоположное утверждение считают или позорным оскорблением национального чувства, или большевистским измышлением.

Сидя на «реках Вавилонских» изгнания, плакальщики замечают в России только смерть, только необъятный могильный холм, безмолвно возвышающийся над великой страной. И так вошло в их духовную привычку видеть на всем, идущем из России, печать гибели, знак уничтожения, что всякую весть о ростках жизни — вопреки и наперекор мукам, распаду и безумию последних лет — встречают они с гневом и презрением.

Особенно если речь идет о духовной, умственной жизни России. Плакальщики знают твердо и определенно: ни науки, ни искусства, ни литературы, ни движения мысли в России нет. Если что и осталось от прежнего духовного богатства — то это перенесено в Европу русскими эмигрантами. В России — место пусто, а в Париже, Берлине, Праге и Белграде сидят достойные наследники Ломоносова, Пушкина и Тургенева и, точно новые весталки, поддерживают трепетный огонек русской культуры.

Этих добровольных весталок развелось за границей довольно много, и в них записались и Карташев, и Струве, и Мережковский. Недавно на гостеприимных страницах «Современных записок» объявил свое присоединение к весталкам и плакальщикам и Антон Крайний, убежденный, очевидно, злобно похоронными причитаниями Зинаиды Гиппиус в ее «Дневнике».

Антон Крайний считался некогда острым, тонким критиком. Это было в те времена, когда он защищал в девяностых годах «новые веяния», боролся против реалистического направления в русской литературе во имя символизма и стремился очистить искусство от заразы политики и публицистики.

Но это было давно, очень давно, и с тех пор Антон Крайний успел, как мы увидим, сильно измениться. Его покинули критическое чутье, понимание сложности литературных явлений, любовь к свежему и молодому в искусстве и даже прежние эстетические симпатии. Остались только злая ирония, несправедливая резкость и холодный блеск ума.

Он говорил умно и резко,
И тусклые очки
Метали прямо и без блеска
Слепые огоньки.

Сквозь очки предвзятости, злобы и политики захотел увидать Антон Крайний русскую литературу — и ничего не увидал, кроме ямы, пустоты, исполнической безликости смерти. И даже для того, чтобы говорить об этой пустоте, надо было в себе самом смерть преодолеть: так и начинает Антон Крайний свою литературную запись: «Надо прежде всего воскреснуть». «Двадцать лет критической работы... И затем, с начала 18-го года, конец. Нет не только меня (что — я), нет литературы, нет писателей, нет ничего: темный провал».

В России литературы нет. Чаша русской литературы из России выброшена. «Она опрокинулась, и все, что было в ней, брызгами разлетелось по Европе». «Русская современная литература (в лице главных ее писателей) из России выплеснута в Европу. Здесь ее и надо искать, если о ней говорить». «Какое имя ни вспомнишь — все здесь».

Нового ничего нет в мыслях Антона Крайнего. Эти мотивы слышали мы часто — и знакомы нам и это огульное отрицание всего, что осталось в советских тисках и все-таки выжило, и это горделивое самовозвеличение «истинной России», той самой, которая, слава Богу, не в Москве, а в Париже. Ново только то, что высказаны они не со столбцов «Нового времени» или «Руля», где им полагалось красоваться, и не публицистом из «Освага», а литературным критиком, завоевавшим себе крупное имя. И когда высказаны! Через шесть лет после того самого 1918 года, который отмечает, по мнению А. Крайнего, переход в небытие русской литературы в России и ввод во владение наследников ее за границей. Казалось бы, пора прекратить и систему причитаний, и подмену литературной критики той самой тенденциозной публицистикой, против которой А. Крайний боролся в славные времена «Нового пути», «Вопросов жизни» и «Скорпиона».

II

За эти шесть лет русская литература, как и вся Россия, испытала тягчайшие удары. Стихия голода, нужды, разрушения убивала ее носителей, уничтожала проводники слова — журналы, газеты, издательства. Фанатическое безумие и невежество нынешних хозяев исторической сцены сознательно истребляло «буржуазное» искусство, «крамолу» в литературе, запрещало, изымало, сковывало. Все это известно нам не менее, чем А. Крайнему, и возбуждает в нас не меньшую скорбь и негодование. Но нам известно и другое. Нам известно, что русские ученые, писатели, художники, несмотря на все муки и унижения, несмотря на бедствия, голод и холод, работали не покладая рук и там — в России — сохранили русскую культуру.

Для А. Крайнего скиния завета — здесь, здесь горит светоч мысли и творчества. И даже физически — «какое имя ни вспомнишь — все здесь».

Достаточно воспользоваться простым методом перечисления, чтобы тотчас же увидать всю неправильность этого легковесного и легкомысленного утверждения. Что сделает А. Крайний с именами Анны Ахматовой, Сологуба, Кузмина, Замятина? Отчего, вспоминая, позабыл он, что не здесь — а там — Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин, Валерий Брюсов, Андрей Белый — прежние друзья и соратники? Как мог А. Крайний,— если он хотел быть справедливым,— презирать литературную молодежь — от «Серапионов» до имажинистов, независимо от того, нравится ли она ему или нет?

Но, очевидно, дело не в простом списке и не в том, «чья перетянет» и кого окажется больше — русских в Париже или русских в России,— а в том, что сделали те и другие, каковы художественные достижения здесь и там, начиная с 1918 года.

И надобно тотчас же ответить: как ни была бледна русская литература за пережитые шесть лет, все новое, значительное, интересное, что она дала, пришло из России, а не из заграницы. Исторически невозможно было ждать от литературы великих творений за последние годы: уже давно отмечено, что эпохи социально-политических потрясений, особенно их кульминационные моменты, почти никогда не совпадают с крупными достижениями в области искусства. Но всего изданного и написанного в России, начиная от того самого 18-го года, который для А. Крайнего служит могильным крестом российской словесности, достаточно, чтобы опровергнуть неврастенические выкрики о смерти родной литературы.

Возьмем поэзию революционной эпохи, открывающуюся таким произведением, как «Двенадцать» Блока. Где и когда были написаны последние сонеты Вячеслава Иванова, «Свирель» и «Только любовь» Сологуба, «Колчан» и «Огненный столп» Гумилева, «Подорожник» и «Анно Домини» А. Ахматовой, «Стихи о России» и «Стихи о терроре» М. Волошина, сборники стихотворений Цветаевой, А. Белого, Пастернака, Мандельштама, Шкапской и многих других! И неужели А. Крайний может серьезно говорить о том, что немота сковала уста русской музы, когда голос ее порою бывает слышен даже сквозь нарочитое косноязычие Есениных и озорное гиканье Маяковских?

В области прозы меньше достижений. И все же — есть и романы и рассказы Замятина, и «Котик Летаев» Белого, и «Эгерия» Муратова, изданная в Берлине, но написанная в России. И прекрасные повести Яковлева и Сергеева-Ценского, и произведения серапионовской братии.

Что может противопоставить этому эмиграция?

III

Это основной, решающий вопрос. Ведь только в эмиграции находится современная русская литература — от Бунина до Зайцева, по заявлению А. Крайнего. Мало того: здесь за границей она свободна духовно и зачастую обеспечена материально или, во всяком случае, находится в условиях более человеческих, нежели на родине.

Но как объяснить творческую скудость литературной эмиграции. И А. Крайний спешит предупредить этот вопрос и заявляет: «Может показаться странным, что наша литература на новых местах за шесть лет дала сравнительно мало нового». А. Крайний объясняет это явление... писательским целомудрием, невозможностью выдумывать, когда жизнь ярче выдумки, невозможностью «писать стихотворение у еще теплого тела матери. А ощущение умершей или умирающей России носил в себе долго каждый русский писатель, пожалуй, и теперь носит, на самом дне души».

Если А. Крайний прав и каждый писатель носит в душе только ощущение смерти или умирания, тогда немудрено, что иссякло творчество. Даже говоря о смерти, творчество утверждает жизнь — жизнью питается. Опустошенность не может родить поэтического порыва.

И дело, конечно, не в «целомудрии», а в духовной оторванности, в потере точки опоры, в эмиграции духовной, а не только физической.

Эмигрантом был Герцен — и написал «С того берега» и «Былое и думы»; долгие годы жил вне родины Тургенев — и едва ли не лучшие творения его приходятся на эту пору.

А нынешняя литературная эмиграция, какие ценности она приобрела за время свободной жизни своей вне большевистской тюрьмы?

Поражает, до чего скудна именно струя художественного творчества в эмиграции. В области науки и общественности дело обстоит лучше: продолжает работать мысль, чувствуется напряженное искание новых путей, стремление вдуматься в российский сдвиг, понять ту новую жизнь, которая медленно пробивается из-под обломков прошлого. Но в литературе — ничего.

И не о России, а об эмиграции должен был бы произнести свое суровое слово отрицания А. Крайний.

За эти шесть лет — ни одного нового умственного или художественного течения, ни одной новой поэтической школы, ни одного крупного беллетриста, ни одного серьезного поэта.

И все это на фоне безмолвия тех, кто для А. Крайнего воплощает всю современную русскую литературу, или при слабом мерцанье поэтических огоньков второго сорта.

Бунин, несомненно, большой художник — но кроме нескольких стихотворений, значительно уступающих его прежним произведениям, и двух-трех маленьких рассказов («Безумный художник», «Несрочная весна»), опять-таки не принадлежащих к числу лучших его творений,— он ничем не обогатил литературу эмиграции.

Совсем замолк Куприн. Только одно его стихотворение в прозе «Золотой петух» достойно внимания, все остальное, что он опубликовал, точно вытащено из архива, в котором автор откладывал свои неудавшиеся вещи.

Более всех остальных жив еще Шмелев. До сих пор дал он только первую часть «Солнца мертвых». Лучшее его произведение за последние годы — «Неупиваемая чаша» — написано в России.

Из России же привез Зайцев свой сборник «Италия», «Карла У» и «Улицу св. Николая», и бледен и неудачен новый его роман — «Золотой узор», печатающийся в «Современных записках» по соседству с А. Крайним. Что дали в эмиграции Мережковский, Ремизов, З. Гиппиус?

Но, быть может, на чужой земле расцвело «племя младое, незнаемое»?

Увы, то же безотрадное зрелище. Эмиграция выдвинула лишь А. Алданова, этого истого западника, лишь за границей раскрывшего свой несомненный, хотя и несколько отмеченный подражательностью талант исторического повествователя.

«Подает надежды» Лукаш, еще неровный, не установившийся; и надежд не оправдал быстро высказавшийся и ничего не сказавший А. Дроздов.

Еще хуже в области стихотворчества. Кроме перепевов Бальмонта, только книги Ходасевича и Марины Цветаевой — подлинные достижения. Затем идут многочисленные «вторые ученики» класса муз — начиная от Сирина, кончая Глебом Струве.

Эмигрантский итог — безрадостный. И самое страшное, что не только не родились в эмиграции новые писатели, но и старые захирели. Если бы русская литература действительно исчерпывалась только эмиграцией, было бы от чего прийти в отчаяние, усомниться в будущем. Но, к счастью, эмигрантская литература лишь ветвь на общем стволе. Она жива постольку, поскольку жив ствол; она питается его соками, она расцветает, если обмен этот жив и полон, и засыхает, едва он прекращается. И недаром — лучшие писатели в эмиграции те, кто сохранил внутреннюю связь с Россией или только недавно приехал из нее.

Любопытно, что даже литературные споры, полемика, борьба, нередко сопряженная с негодующей страстностью, вызывались преувеличениями поэтической моды или озорства, шедшими из России. Даже для литературного скандала понадобилось выписать из России Есениных и Кусиковых, даже для щекотанья нервов парадоксами потребовались «гости», недолго продержавшиеся в эмиграции — Эренбург и Шкловский.

В России молодежь интересуется литературой. В России люди ухитряются производить огромную работу над поэтическим языком, строить и обосновывать теории формального метода, подготовлять изыскания, собирать материалы (ценные труды «Опояза», Жирмунского, Эйхенбаума, Тынянова и многих других). Даже в тех самых рассадниках пролетарской поэзии, искусственно заведенных попечительной властью во славу большевизма, из которых, по словам А. Крайнего, выходят «непристойные гады»,— даже там идет брожение живой мысли, а иногда и серьезная поэтическая работа, обращающая во прах нелепые мечты о правительственной литературе.

И все это происходит в той самой России, где на мысль воздвигнуты жесточайшие гонения, где идеи монополизированы государством, где творения Толстого и Достоевского взяты под подозрение, где литературные чекисты пытаются Парнас сделать отделением Коминтерна. Какие героические усилия необходимы, чтобы жить, творить, работать в этих кошмарных условиях? И какую крепость, какую жизненную силу обнаружила, уцелев и развиваясь, та русская литература, которую эмигрантские критики и нытики давно считают мертвой?

13 – 630

IV

Если бы А. Крайний исходил в своей «Литературной записи» из соображений критика и историка литературы, он не мог бы свести русскую словесность к двум рассказам Бунина и Куприна и повести Шмелева, он не был бы в силах пройти мимо всего того, что сквозь муки и унижения пронесла русская литература за годы революции. И если его поразила слепота и критическая нечувствительность — то это месть муз. А. Крайний изменил им ради ветреного, коварного и кровожадного божка политики. Политические соображения, политичекая злоба и любовь продиктовали критику его легковесные оценки. Политика лишила его чувства меры и художественного чутья ⟨...⟩

Да, умерла старая Россия. Не Россия — а только один лик ее исторических воплощений. И для тех, кто, быть может, сам того не сознавая, был кровно связан с определенными формами быта, жизни и психики,— наступил темный провал, смертная тишина, конец. Это субъективное ощущение смерти они переносят на всю Россию.

Умерли они сами — а им кажется, что в посольских церквах надо служить панихиду по России. Их жизнь застыла, и очутились они на чужой земле, а им чудится, что родина исчезла и «земля пустынна, ни травинки, все срезано».

И поэтому не говорит А. Крайний о тех писателях, которые пытались и пытаются воскреснуть вместе с новой Россией, и с ней жить и творить. Имена А. Белого и В. Иванова, Ахматовой и Замятина, Блока и Волошина не приходят ему на уста. И Брюсов для него «автоматически выпадает из литературы» потому только, что он перешел к большевикам. А о Горьком у критика нашлось только определение писателя, как человека, помогавшего «изъятию всяческих ценностей», «дальнейшие литературные произведения которого для нас безразличны» ⟨...⟩

И если не безразличны для А. Крайнего последующие произведения монархиствующего Бунина, то не могут быть для него безразличны и дальнейшие творения большевиствующего Горького. Монархизм Бунина и большевизм Горького — пена на взбаламученном море политических превращений, а творчество их — драгоценные камни в полной чаше русского художества.

Ан. Франс до недавнего времени был коммунистом. Не предложит ли А. Крайний выбросить его «за борт литературы» и не возьмется ли он доказывать какому-нибудь образованному французу, что «дальнейшие произведения А. Франса безразличны и что гордиться им нечего?»

Пора прекратить постоянное пошлое зубоскальство над Горьким и понять, что Горький-художник принадлежит не коммунистической партии, а всей мыслящей и культурной России. И эта Россия от Горького не отказывается и безразличным для себя его считать не может.

Она не отказывается и от Бунина, и от Куприна. А между тем, если говорить об их политических высказываниях, то они, пожалуй, не лучше горьковских.

Горький поддерживал большевиков. Это преступление. А Куприн на страницах «Русской газеты» проповедует возврат к монархии. А Бунин на собраниях эмиграции, скандируя, заявляет, что только восстановление прошлого спасет Россию. Почему эта проповедь — не преступление в глазах А. Крайнего?

Не потому ли, что сам он близок к этим взглядам и чтит эту проповедь? ⟨...⟩

И сколько бы ни отрицала «старая гвардия» это новое, сколько бы ни оплакивала былое великолепие и мечтала об его возврате — настоящая жизнь идет вне ее и помимо ее.

И пусть плакальщики произносят надгробное слово русской литературе и думают, будто за пределами их прихода, за оградой их храма — гробовая тишина, пустота, отчаяние смерти! Ведь все равно жива и будет жить русская литература — и безнадежно мертвы лишь ее могильщики и отрицатели.

Именной указатель

Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881—1925) — русский писатель-сатирик. В предреволюционные годы редактировал лнберальные юмористические журналы «Сатирикон» и «Новый сатирикон». Эмигрнровал в 1919 г., проживал в Константннополе и Праге. Он создает полные горького сарказма рассказы о «заграничном бытие». Это циклы «Константинопольский зверинец», «Галантная жизнь Константинополя», «Осколки разбитого вдребезги». Онн проннзаны тоской о былой Руси — богатой, могущественной, о собственной разрушенной судьбе, о неприятии чужого образа жизни. Так снмволично звучит фраза персонажа из рассказа «Русскнй в Европах»: «Русский человек за всех должен платить! Получите сполна».

«...Эволюцией жив мир. Стройность, порядок — вот что нужно нам для дыхания, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание, что единственное понятне, которое сейчас нужно защищать всеми силамн,— зто понятне Родины, которая выше всяких личностей и классов н всяких отдельных задач»,— зто очень современная мысль. Она из книги «Дюжнна ножей в спину революции», отрывки из первого издания (Париж, 1921) которой публикуются.

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878—1943) — публицист, однн из лидеров партии зсеров, представлявший ее правое крыло. В 1917 г. член исполкома Петроградского Совета, председатель Всероссийского Совета крестьянских депутатов, министр внутренннх дел во Временном правительстве. После революции жил в Париже, был однн из пяти (с 1925 г.— четырех) редакторов журнала «Современные записки», хотя особой актнвности не проявлял. С начала второй мнровой войны в США.

Публикуемая статья «Patriotica» появилась в первом номере «Современных записок» (1920) и имела большой читательский резонанс.

Алданов (наст. фамилия Ландау) Марк Александрович (1889—1957) — пнсатель. Сын богатого промышленника. Окончил физико-математнческий и юридический факультеты Кневского университета, а также Школу общественных наук в Париже.

Эмигрировал в 1919 г. До 1939 г. жил в Париже (в 1922—1924 гг. временно проживал в Берлине). Вскоре после начала второй мировой войны перебрался в Нью-Йорк, где принимал деятельное участне в создании и редактированин «Нового журнала». Вернулся во Францию в 1946 г., проживал в Ницце.

Еще в России опубликовал несколько научных трудов по химии. В 1915 г. дебютировал в литературе нсследованием «Толстой и Роллан», в котором обнаружил глубокие знания западноевропейской культуры, блеснул отточенным литературным стилем, богатством языка. За рубежом много печатался в газете «Последние новости», журналах «Современные записки», «Иллюстрированная Россия», «Числа», «Русские записки» и др., в которых публиковал свои многочисленные романы н повестн, пользовавшиеся исключительным успехом. Уже первая его зарубежная кннга (о В. И. Ленине) была переведена на несколько языков, а всего переводы книг А. осуществлены более чем на 25 языках.

А. взялся за осуществление грандиозного замысла — описание европейской зпохн с 1762 по 1953 г., благоразумно выпустив время действия толстовского романа «Война и мир». Острый читательскнй интерес вызвали круп-

иые беллетристические произведения «Святая Елеив, маленький остров» (здесь и ниже — год первого отдельного издвния) (1923), «Девятое термидора» (1923), «Чертов мост» (1925), «Заговор» (1927), «Ключ» (1930), «Десятая симфония» (1931), «Бегство» (1932), «Живи как хочешь» (1947—1948) и др.

Попытка исторического осмысления Октябрьской революции, которую автор полагвет гигаитской социальной катвстрофой, была сделаиа в романах «Истоки» (1950) и «Самоубийство» (1958).

«Убийство Урицкого» печвтается с небольшими сокращениями по первой публикации в «Современных записках» (1923. № 16). Вошло в книгу «Современники» (Париж, 1928).

Амари — см. Цетлин М. О.

Антон Крайний — см. Гиппиус З. Н.

Арбатов Зиновий Юрьевич — сведения ие обнвружены.

«Екатериослав 1917—22 гг.» публикуется по изданию: «Архив русской революции» (Берлин, 1923. № 12).

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт, критик. Родился в дворянской семье. Учился на юридическом факультете Московского университета, был исключен эа учвстие в студенческих волнеииях. Сочувствеино встретил революцию 1905 г., в позже и февральскую и Октябрьскую, но быстро разочровался в них. В 1920 г. эмигрировал.

Ранние произведения Б. (первый сборник стихов вышел в Ярослввле в 1890 г.) содержали мотивы гражданской скорби и свмоотречения. Но уже вскоре он выступил как один из ярких и последоввтельных представителей символизма. Поэзия Б. отличалвсь обилием поэтических крвсок, искусной внутренней рифмовкой, изощренной гибкостью и тонкой музыкальностью.

В эмиграции Б. творил миого и плодотворно: «Дар земли» (Пвриж, 1921), «Сонеты солнца, медв и луны» (Берлин, 1923), «Мое — Ей» (Прага, 1924), «В рвздвииутой дали» (Белград, 1930), «Северное сияние» (Пвриж, 1931) и др. Поэзия Б. энвет высокие взлеты, ио не избежвла и приземленности, в ней немало литервтуриого шлакв. Однако в своих лучших образцах поздний Б. сумел обрести несвойственную ему прежде прозрачность и простоту.

Опыты Б. в художествеииой прозе довольио бесцветиы. Как критик высоко цеиил М. И. Цветеву (в отличие от миогих его современников), которая, в свою очередь, отмечала высокий поэтический дар Б.

Публикуемая заметкв «Мариив Цветаева» появилвсь в «Современных записках» (1921. № 7) как вступительиое слово к подборке стихов поэтессы.

Белый Андрей (псевдоним; наст. имя и фамилия — Борис Николаевич Бугаев) (1880—1934) — прозаик, поэт, мемуарист, теоретик символизмв. Сын профессора математики Н. В. Бугаевв. В 1891—1899 гг. учился в гимназии известного педагога Л. И. Поливанова, который, по призиаиию Б., открыл ему мир русской литервтуры. Окончил естественное отделение Московского университета (1903). В 1912—1916 гг. путешествовал по Европе. Приветствовал Октябрьскую революцию. Изучение Ч. Дарвина, философов-позитивистов сочеталось у Б. со страстиым увлечением теософией и оккультиэмом, философией Вл. Соловьевв, А. Шопенгвуэрв, неокантиаиства.

В конце 1900 г. закончил свое первое литервтурное произведение — сказочную поэму «Северная симфония». Первый сборник стихов — «Золото в лазури» (1904). Принадлежал к символистам «младшего» поколения (вместе с А. Блоком, Вяч. Ивановым, С. Соловьевым, Л. Эллисом).

С 1921 по 1923 г. находился в эмиграции, проживал преимуществеиио в Берлиие. Этот период был весьмв плодотвориым. Только в 1922—1923 гг. у него вышли 16 книг, из иих девять увидели свет впервые: 13 в Берлине, одна в Париже, две в Москве.

Публикуемые стихи из сборника «Стихи о России» (Берлин: Эпоха, 1922).

Берберова Нина Николаевна (р. 1901) — прозаик, поэт, вторая жеиа В. Ф. Ходасевича. В эмигрвции с 1921 г. Обрвтила на себя внимание еще в 20-е гг. своими стихами, переводами, рассказами. Первый ее роман — «Последние и первые» (1930) был хорошо принят читателями. С 1950 г. живет в США, где написала весьма субъективную мемуврную книгу «Курсив мой» (1972), в которой с налетом ввриквтурности изобрвзила многих эмигрвнтских писвтелей,

в частности И. А. Бунина.

Стихотворение «Перед разлукой...» впервые было опубликовано в «Современных записках» (1924. № 20).

Божнев Борис Борасович (1900—1940?) — поэт, в эмиграции с начала 20-х гг. Жил в Париже. Известность получил после выхода сборника стихов «Борьба за несуществование» (Париж, 1925), ставшего лучшим в его творчестве. Н. Берберова, выступившая с рецензией под псевдонимом «Ивелич» («Современные записки». 1925. № 24), несправедливо упрекала Б. в подражательстве В. Ходасевичу. Зато точно подметила: «Основное впечатление от его книги: цельность, легкая поза, любовь к трагической маске. Но иногда его стихи звучат высоким истинным пессимизмом...» Другие критики (Г. Струве, например), отметив в поэзии высокие достоинства, указывали в некоторых стихах на признаки «настоящей патологии». Основания для такого упрека у критиков были: Б. позже попал в дом для душевнобольных, где и скончался во время оккупации фашистами Франции.

Публикуемые стихи вошли в книгу «Борьба за несуществование».

Брешковская (Брешко-Брешковская) Екатерина Константиновна (1844—1934) — мемуаристка; один из организаторов и руководителей партии эсеров, принадлежала к ее крайне правому крылу. Сторонница политического террора. Неоднократно подвергалась арестам и ссылкам (1874, 1907, 1910, 1914). Эмигрировала в 1919 г. С легкой руки А. Ф. Керенского получила прозвище «бабушка русской революции».

Воспоминания Б. «Три анархиста...» впервые опубликованы в «Современных записках» (1921. № 4). Печатается с сокращениями.

Брешко-Брешковский Николай Николаевич (1874—1933) — писатель, в эмиграции с 1921 г. Автор многочисленных романов для «легкого чтения», посвященных злободневным темам («Белые и красные», «Царские бриллианты» и т. п.).

Роман «Дикая дивизия» (Париж, 1923), пожалуй, наиболее удачный, пользовался большой популярностью. Печатается со значительными сокращениями.

Букетов Федор — сведения не обнаружены.

Публикуемые рассказы вошли в книгу «Американская Русь» (Нью-Йорк, 1924).

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — великий русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1933), член Российской Академии наук (1909). Родился в старинной обедневшей дворянской семье. Первый поэтический сборник — «Стихотворения» (Орел, 1891). Сборник «Листопад» (1901) удостоен Пушкинской премии. Уже ранние рассказы Б. высоко отмечались критикой, А. М. Горький назвал его лучшим стилистом современности. В повести «Деревня» (1910) Б. затронул острые проблемы предреволюционного русского крестьянства, показал дикость и жестокость деревенской жизни.

В феврале 1920 г. эмигрировал. С марта того же года и до своей кончины проживал во Франции (в Париже и на юге — в Грасе). На чужбине талант Б. получил новый расцвет: «Окаянные дни» (1925); «Митина любовь» (1925); «Солнечный удар» (1926); «Последнее свидание» (1929); «Избранные стихи» (1929); «Жизнь Арсеньева» (1930); «Освобождение Толстого» (1937); «Темные аллеи» (первое издание в Нью-Йорке — 1943, полное издание в Париже — 1946); «Воспоминания» (1952); «О Чехове» (посмертное — 1954); 11-томное собрание сочинений вышло в берлинском издательстве «Петрополис» (1933—1935).

«Окаянные дни» — художественно-публицистическое произведение. Впервые опубликовано в 1925 г. в газете «Возрождение». Позже вошло в X т. издания «Петрополиса». Отдельным изданием на русском языке при жизни автора не выходило. Печатается фрагмент по 5-му изд. (изд-во Лондон, 1984). «Конец» датирован автором 1921 г. Публикуется по изданию: Роза Иерихона (Берлин: Слово, 1924).

Стихи печатаются по изданиям: «Возьмет Господь у вас...» — «Новый журнал» (1960. № 62); остальные — «Избранные стихи» (Париж, 1929).

Вишняк Марк Вениаминович (1883—1977) — публицист, секретарь Учредительного собрания. В эмиграции с 1920 г., жил в Париже. Один из редакторов журнала «Современные записки». С 1940 г. — в Нью-Йорке, сотрудник журнала «Тайм мэгэзин». Из номера в номер, на протяжении многих лет, «Современные записки» печатали публицистические и мему-

арные статьи В. о России, об истории гражданской войны и т. д.

Статья «На Родине» — часть большого труда, публикуемый фрагмент появился в «Современных записках» (1922, № 10).

Волконский Сергей Михайлович (1860—1937) — мемуарист, внук декабриста, директор Императорских театров в Петербурге. В эмиграции с начала 20-х гг., жил в Париже. Заведовал театральным отделом газеты «Последние новости». Писал о необходимости сохранять на чужбине в чистоте русский язык («Современные записки», 1923, № 15). Значительный интерес представляют «Мои воспоминания» (Берлин, 1923).

Книга «О декабристах...» (Париж, 1921) печатается в извлечениях.

«Воля России» — литературный журнал. Выходил в Праге с 1921 г. под редакцией В. И. Лебедева, М. Л. Слонима, В. В. Сухомлина, а с 1924 г. — и Е. А. Сталинского. Считался «левым», много внимания уделял политической, культурной и экономической жизни Советской России. Отмечал успехи социалистического государства, отстаивал достижения советской литературы и искусства. Характерно враждебное отношение к писателям старшего поколения — Мережковскому, Гиппиус, Бунину и др. Журнал много печатал и поддерживал молодых литераторов — В. Сосинского, А. Эйснера, В. Андреева и др.

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945) — поэт, прозаик, критик, мемуарист. Жена Д. С. Мережковского. Первые стихи опубликовала в «Северном вестнике» (1888), вокруг которого группировались петербургские символисты «старшего» поколения. Двухтомное «Собрание стихов» вышло в Москве (I том — 1904, II том — 1910). В поэзии Г. проповедь чувственной любви сочеталась с мотивами религиозного смирения. С начала века часто жила в Париже, где много лет имела литературный салон «Зеленая лампа». Симпатизировала эсерам, среди которых выделяла Б. В. Савинкова (познакомились в Париже в 1907 г.).

Октябрьскую революцию встретила враждебно. С января по ноябрь 1920 г. жила в Варшаве, затем перебралась в Париж, где у нее с давних пор была своя квартира. Здесь она совместно с мужем продолжила вечера «Зеленой лампы», игравшие значительную роль в интеллектуальной жизни эмиграции. Г. заняла одно из самых видных мест в русской зарубежной литературе. Она писала стихи, интересные воспоминания, острую литературную критику, публицистику. В Париже вышли мизерными тиражами два ее поэтических сборника — «Стихи» (1921) и «Сияния» (1938). Много печаталась в «Современных записках» (критику писала под псевдонимом Антон Крайний). Поэтический дар Г. высок и своеобразен, хотя она не избежала неровностей. Как публицист она не всегда умела подняться до объективности, была чужда глубокого и всестороннего анализа проблем, как литературный критик слишком часто отдавала дань личным антипатиям и пристрастиям.

Публикуемые стихи напечатаны в «Современных записках» (1923, № 15).

«Дневники» стали заметным явлением зарубежной русской литературы, переводились на иностранные языки. «Черная тетрадь» и «Серый дневник» впервые напечатаны в 1921 г. (София). Фрагменты дневников вошли в сборник «Царство Антихриста» (Мюнхен, 1922). «Синяя книга» издана в Белграде в 1929 г. Ради художественной цельности все эти материалы публикуются в настоящем томе по изданию: Петербургские дневники (1914—1919). Нью-Йорк: Орфей, 1982.

Горный Сергей — см. Оцуп А. А.

Демидов Игорь Платонович (1873—1947) — журналист, внук В. И. Даля. Окончил Московский университет. Был вице-президентом Московского общества сельского хозяйства. Крупный помещик. Член 4-й Государственной думы. В эмиграции с 1920 г., жил в Париже. Сотрудничал с П. Н. Милюковым, помогал ему редактировать «Последние новости».

Статья «Думы о православии» была опубликована в «Современных записках» (1923, № 17).

Джанумова Елена Францевна — сведений не обнаружено. После революции жила в Берлине.

Воспоминания о Распутине печатаются по публикации в «Современных записках» (1923, № 14). Отметим, что в издательстве «Петро-

град» (Петроград; Москва) вышли в 1923 г. тир. 4 000 экз.

Долгоруков Петр Дмитриевич (1866—1930) — журналист, политический деятель, кадет, член ЦК партии «Народной свободы». К Октябрьской революции отнесся отрицательно. В 1918 г. нелегально проживал в Москве, затем переехал к А. И. Деникину в Екатеринодар. В эмиграции жил в Праге. Автор книг «Национальная политика и партия народной свободы» (Ростов-на-Дону, 1919), «Великая разруха» (Мадрид, 1964).

Статья «Чувство родины» была опубликована в сборнике «Дети эмиграции» (Прага, 1925), вышедшем под редакцией профессора В. В. Зеньковского. Публикуется с незначительными сокращениями.

Дон-Аминадо (наст. имя и фамилия — Арнольд-Аминад Петрович Шполянский) — поэт, фельетонист. В эмиграции с января 1920 г. Жил в Париже. Его стихи и фельетоны регулярно появлялись в «Последних новостях» и пользовались большим успехом. Автор труда «Русская литература в эмиграции» (Питсбург, 1972) Н. П. Полторацкий утверждает: «Эмигрантский народ знал его куда лучше, чем Цветаеву или Ходасевича! Удавались ему и лирические стихи. Был у него настоящий слух к поэзии, что чувствуется и в его политических стихах, например, о Молотове: „Лобик из Ломброзо /Галстучек-кашне/ Морда водовоза / А на ней пенсне“».

В 1954 г. в Нью-Йорке опубликовал мемуарную книгу «Поезд на третьем пути», содержащую много любопытных фактов об истории русской эмиграции в 1919—1920 гг.

Публикуемые стихотворения вошли в книгу «Дым без отечества» (Париж, 1921).

Злобин Владимир Ананьевич (1894—1967) — поэт, критик, издатель, многолетний секретарь З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского. Наследовал их архив (позже перешел к А. Я. Полонскому, антикварию из Парижа). С 1927 г. секретарь литературного салона «Зеленая лампа». Автор книги статей и воспоминаний «Тяжелая душа» (1970).

Стихотворение «Старухи» опубликовано в «Современных записках» (1925. № 24).

Иванов Петр Константинович (? — ум. после 1960). Эмигрант, жил в Париже. Печатал критические статьи в парижских журналах «Путь», «Возрождение», «Современные записки».

Статья «La dame de Paris» опубликована в «Современных записках» (1925. № 24).

Керенский Александр Федорович (1881—1970) — политический деятель, эсер (с 1917 г.), глава Временного правительства. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1904). Депутат 4-й Государственной думы от Саратовской губернии. С 1918 г. жил в эмиграции (первоначально — Париж, затем США). Автор мемуарных и публицистических трудов. Редактор еженедельника «Дни» (позже выходил как «Новая Россия»).

Статья «Февраль и Октябрь» опубликована в «Современных записках» (1922. № 9).

Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна (1888—1963) — поэт. Дочь издателя В. А. Крандиевского, жена А. Н. Толстого (до 1938 г.). Печаталась с 1902 г. Автор сборников «Стихотворения» (Кн. 1—2, 1913—1919), «От лукавого» (1922). Стихи К. высоко ценил И. А. Бунин. В эмиграции 1919—1923 гг. Жила в Париже, затем в Берлине.

«С севера...» напечатаны в «Современных записках» (1920. № 1), остальные публикуемые стихи появились в седьмом номере этого журнала.

Краснов Петр Николаевич (1869—1947) — генерал-лейтенант, контрреволюционер, атаман войска Донского. С 1919 г. в Германии, где активно участвовал в антибольшевистских организациях. В годы второй мировой войны стал пособником немецких фашистов. По приговору Верховного суда СССР в 1947 г. повешен.

Один из самых плодовитых литераторов. Особо был пристрастен к историческим и военным темам. В 1928—1930 гг. вышли (преимущественно в Берлине и Париже) романы «Опавшие листья» (2 т.), «Понять — простить», «Единая-неделимая», «Белая свитка», «Амазонка пустыни», «За чертополохом», «Все проходит», «С нами Бог» (2 т.) и многие другие. Особой популярностью пользовался четырехтомный роман «От двуглавого орла к красному зна-

меии», переведеииый иа миогие языки. В ием автор предприиял попытку дать панораму русской жизни на всем протяжеиии царствоваиия Николая II и первых четырех лет революции.

Воспомииания «На внутреиием фроите» впервые появились в «Архиве русской революции» (Берлин, 1922, № 1). Затем дважды были иапечатаиы («самовольио» — по утверждению автора) в середине 1920-х гг. в лениииградском издательстве «Прибой».

Настоящая публикация подготовлеиа по берлинскому издаиию (значительно сокращеиа).

Кускова Екатерина Дмитриевна (1870—1958) — публицистка. Выслана из России в 1922 г. Острые статьи К. иа злободневиые темы имели, как правило, большой резоиаис. Печаталась миого в периодике, в том числе в «Современных записках», «Воле России», «Новом журиале». Статья «А что внутри» была иапечатана в «Воле России» (1922. № 6).

Публикуется в сокращении.

Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965) — философ, представитель иитуитивизма. Отец — лесиичий, мать — дворянка польского происхождения. В 1881—1887 гг. обучался в Витебской классической гимназии, откуда был исключеи за «пропагаиду социализма и атеизма». В 1888—1889 гг.— студеит философского факультета уииверситета в Берне, откуда перебрался в Алжир и иедолгое время служил в колоииальиой армии. Нелегальио вериулся в Россию, поселился в Петербурге, где в мае 1890 г. окончил бухгалтерские курсы, а затем VIII класс гимиазии. Осеиью 1891 г. поступил в Петербургский уииверситет иа естествеииоиаучное отделение физико-математического факультета. Усилеино занимался ботаиикой, химией и анатомией, которую преподавал П. Ф. Лесгафт. В 1903 г. получил степень магистра философии, четыре года спустя — степеиь доктора философии за диссертацию «Обосиоваиие интуитивизма». Л. был профессором философии иа Бестужевских курсах в Петербургском уииверситете.

В 1922 г. был выслаи из Советской России, как ие прииявший марксистской идеологии. До 1942 г. жил в Праге, где был профессором Русского уииверситета, затем перебрался в Братиславу. В 1945 г. переехал в Париж, иа следующий год — в США. В 1947—1950 гг. был профессором философии в Свято-Владимирской духовиой академии в Нью-Йорке. Умер во Франции.

Главные труды Л.: «Мир как органическое целое» (1917), «Логика» (1923), «Обоснование иитуитивизма» (1924), «Свобода воли» (1925), «Ценность и бытие» (1931), «Чувственная, иителлектуальиая и мистическая интуиция» (1938), «Бог и мировое зло» (1941), «Условия абсолютного добра» (1949), «Достоевский и его христиаиское миропонимание» (1953), «Характер русского народа» (1957) и др.

Исследование «Органическое строение общества и демократия» печатается по публикации в «Совремеииых записках» (1925. № 25) с иезиачительиыми сокращеииями.

Муратов Павел Павлович (1881—1950) — критик, историк искусства. Начал печататься в 1906 г. Сотрудиичал в журналах «Старые годы», «Весы», издавал журиал «София». В 1922 г. был выслан из пределов Советской России. Жил сначала в Италии, затем в Париже, откуда в коице 30-х гг. уехал в Ирландию. Наиболее значительный труд — «Образы Италии» (полиое издание в 3 т. Берлии, 1924), в котором описаиие страиы перемежается с обшириыми зкскурсами в историю и искусство. Сотрудиичал в «Последних иовостях», «Возрождении», «Совремеииых записках». В змиграции иачал писать в качестве воеииого историка, романиста и публициста. Автор ромаиа «Эгерия» (1922), «Магических рассказов» (1928), исторических зтюдов «Герои и героини» (Берлин, 1922; Париж, 1929), комедии «Мавритания» (1927) и др. Посмертно издан труд М. (совместно с Алленом) по военной истории Кавказа XIX в.

Публикуемое исследование «Искусство и народ» было иапечатаио в «Современных записках» (1924. № 22).

Набоков Владимир Владимирович — (1899—1977) — русско-америкаиский писатель Сын деятеля кадетской партии В. Д. Набокова (убитого монархистами в 1922 г. в Берлиие). Окоичил Тенишевское училище. В змиграции с 1919 г. В 1922 г. окоичил Тринити-колледж (Кембридж).

До 1937 г. находился в Берлине, затем в Париже. Зарабатывал на жизнь переводами, уроками языков и как тренер по теннису. В 1940 г. перебрался из Европы в США, где начал писать на английском языке. Некоторое время преподавал литературу в университетах. Свои английские романы переводил на русский язык.

Дебютировал в литературе как поэт (Стихи. Петроград: Унион, 1916). На чужбине в 20-е гг. сотрудничал во многих периодических изданиях: в газете «Руль» — как литературный критик, в «Современных записках» — как прозаик и поэт и т. д. В 1926 г. вышел первый роман «Машенька», затем до 1940 г.— еще пять романов, сборники рассказов. Виртуозность стиля, изощренное мастерство в построении сюжета, нарочитая новизна с самого начала обратили внимание критики на прозу Н. В потоке хвалебных отзывов, признавших необычайное дарование, раздавались и скептические голоса (Г. Иванов, З. Гиппиус). Во всяком случае, Н. стал одним из самых читаемых писателей в мире.

Публикуемые стихи Н. появились в «Современных записках» (1921. № 7).

Набоков Константин Дмитриевич (1872—?) — дипломат, мемуарист. Родился в семье крупного государственного деятеля, министра юстиции. Окончил юридический факультет Петербургского университета. С 1894 г.— чиновник в министерстве юстиции, позже — на дипломатической работе. В 1912—1915 гг.— генеральный консул в Калькутте, затем советник русского посольства в Лондоне. После революции в Россию не вернулся.

Печатается фрагмент из воспоминаний «Испытания дипломата» (Стокгольм, 1921).

Наживин Иван Федорович (1874—1940) — писатель-романист. Сын разбогатевшего крестьянина-лесопромышленника. В печати дебютировал в начале 1890-х гг. Разделял религиозно-философские взгляды Л. Н. Толстого, с которым был близко знаком и находился в переписке. Свое раннее мировоззрение Н. изложил в автобиографической книге «Моя исповедь» (1912). Тогда же вышли в свет «Воспоминания о Л. Н. Толстом». Октябрьскую революцию встретил враждебно. В эмиграции с 1920 г. В романах «Распутин» (3 т.) и «Собачья республика» обвинял правление Николая II и официальное православие в бездарности, в том, что в России «была допущена Октябрьская революция». На чужбине Н. стал одним из самых плодовитых романистов. Лишь в начале 20-х гг. в Париже, Берлине, Мюнхене, Лейпциге, Вене вышли его книги: «Осени поздней цветы запоздалые...», «Степан Разин», «Записки о революции», «Во мгле грядущего», «Каменная Баба», «Перед катастрофой», «В деревне», «Зеленя», «Четверть века спустя», «Интимное», «Среди потухших маяков», «Накануне», «Фатум», «Где наша земля обетованная» и др. Был переведен на основные европейские языки.

Публикуемые фрагменты из романа «Распутин» (Берлин, 1923) вошли в первую книгу романа.

«Новый журнал» — литературный журнал. Основан М. А. Алдановым и М. О. Цетлиным в США в 1942 г. вместо прекратившего существование журнала «Современные записки» (Франция). Алданов отошел от редакторства после выхода 4-й книги, а Цетлин скончался, выпустив 11-ю. Затем многолетним редактором был профессор М. М. Карпович; с 1966 до 1986 г.— Р. Б. Гуль. «Н. ж.» уже в ранний период существования сделал немало интересных публикаций: И. А. Бунина (рассказы, вошедшие в сборник «Темные аллеи» — «Речной трактир», «Пароход «Саратов», «Таня», «Дубки», «Натали» и др.; произведения Б. К. Зайцева, В. В. Набокова, М. А. Осоргина; роман М. А. Алданова «Истоки»; воспоминания художника М. В. Добужинского, композитора А. Т. Гречанинова, профессора-химика В. Н. Ипатьева, бывшего редактора крупных газет «Речь» и «Руль» И. В. Гессена и др.

В послевоенные годы в зарубежной русской литературе журнал оставался одним из самых серьезных и читаемых. В нем появились произведения известных писателей — А. М. Ремизова, Л. Ф. Зурова, И. В. Одоевцевой, Г. В. Иванова, посмертные публикации З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского и др., религиозных философов Н. А. Бердяева, Н. О. Лосского, Г. П. Федотова, С. Л. Франка, Л. И. Шестова, протоиерея отца В. Зеньковского и др.

Публикуются материалы, появившиеся в различные годы в «Н. ж.».

Осоргин (псевдоним; наст. фамилия — Ильин) Михаил Андреевич (1878—1942) — писатель. Окончил юридический факультет Московского университета (1902). В 1905 г. был арестован за участие в Московском восстании. В 1906—1916 гг. жил за границей. После Октябрьской революции возглавил Московский союз писателей, организовывал Книжную лавку писателей. В эмиграции жил в Париже. До 1937 г. сохранял советский паспорт.

Литературную деятельность начал в 1895 г. В дореволюционной России был известен как талантливый журналист, иностранный корреспондент крупных российских газет, знаток культуры Италии. Высланный в 1922 г. за пределы Советской республики, много сотрудничал в газетах и журналах, писал по вопросам языка, с любовью рассказывал о редких русских книгах (О. был крупным библиофилом). Старался стоять вне политики, однако порой выступал с заявлениями, которые давали повод обвинять его в «соглашательстве с большевиками». На чужбине выпустил десятка два книг, есть среди них романы («Сивцев Вражек», «Свидетель истории», «Книга о концах», «Вольный каменщик»).

Короткие рассказы, основанные на собственных воспоминаниях и вошедшие в цикл «Там, где был счастлив», напечатаны в «Современных записках» (1923. № 17). Заметка «Российские журналы» появилась в «Современных записках» (1924. № 22).

Оцуп Александр Авдеевич (псевдоним — Сергей Горный) (1880—1948) — журналист. Его отец — придворный фотограф в С.-Петербурге. В эмиграции с начала 20-х гг. Публиковал очерки эмигрантской жизни, постоянно сотрудничал в газете «Руль» в качестве фельетониста.

«На родине» печатается в извлечениях по изданию: Веретено: Лит. худож. альманах. 1 (Берлин, 1922).

Репин Илья Ефимович (1844—1930) — великий русский живописец, действительный член петербургской Академии художеств (1893). С 1900 г. жил в Куоккале (с 1948 г.— Репино), после 1917 г. (до 1940 г.) принадлежавшей Финляндии.

Воспоминания «О графе Л. Н. Толстом» были опубликованы в «Современных записках» (1921. № 3).

Савин (наст. фамилия — Саволайнен) Иван Иванович (1899—1927) — поэт, прозаик. Родился в Одессе в семье нотариуса, происходившего из финнов. Родным языком С. считал русский. Детство и юность провел в городе Зенькове Полтавской губ., где учился в гимназии. С ученической скамьи попал на войну, сражался против большевиков в рядах Добровольческой армии. Воевал в Крыму, болел тифом, оказался в плену у красных. Четыре брата С. пали в борьбе против большевизма. С. удалось бежать в Петроград. Там нашел своего отца. Как финны по происхождению, легально покинули Россию, поселились в Хельсинки (1922). Здесь С. устроился на сахарную фабрику, сколачивал ящики. В свободное время писал статьи в газеты и журналы, начал печатать стихи. Был очень религиозен. Страстно любил Россию и считал себя русским. Единственный поэтический сборник — «Ладанка» (Белград, 1926). Он был высоко оценен современниками (И. А. Бунин, Ю. И. Айхенвальд, А. В. Амфитеатров и др.) Ранняя смерть лишила, без сомнения, литературу большого поэта.

Публикуемые стихи взяты из книги Ю. К. Терапиано «Литературная жизнь русского Парижа за полвека» (Париж; Нью-Йорк, 1987) и имеют некоторые разночтения с текстом, вошедшим в «Ладанку».

Савинков Борис Викторович (псевдоним — В. Ропшин) (1879—1925) — поэт, мемуарист. Один из лидеров партии эсеров, организатор многих террористических актов (убийства великого князя Сергея Александровича, министра В. К. Плеве и др.). В начале 1902 г. был выслан в Вологду по делу социал-демократических групп «Социалист» и «Рабочее знамя». Бежал за границу. Вернувшись в Россию в 1906 г., был приговорен в Севастополе к смертной казни. Совершив отчаянный побег, вновь оказывается за границей. В Париже близко сошелся с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус.

Октябрьскую революцию встретил враждебно. Эмигрировал. Жил сначала в Варшаве, затем в Париже. Вел активную антисоветскую

деятельность. Арестован 16 августа 1924 г. во время нелегального перехода советской границы. Суд (председатель Ульрих и члены Камерон и Кушнирюк) обвинил С. в организации «вооруженных восстаний на советской территории в период 1918—1922 гг.», «в организации в контрреволюционных целях в 1918 и 1921 гг. террористических актов против членов рабоче-крестьянского правительства, каковы акты, однако, совершены не были», приговорив С. к «расстрелу с конфискацией всего имущества». Председатель ВЦИК СССР М. И. Калинин заменил осужденному высшую меру наказания десятью годами лишения свободы. По официальной версии, в Лефортовском изоляторе ГПУ покончил жизнь самоубийством. По версии А. И. Солженицына, С. был убит властями.

Несколько изданий выдержала повесть «Конь бледный» (1909), в которой отразилось разочарование С. в террористической деятельности, ее бесперспективности. Большой резонанс вызвал роман «То, чего не было» (1914), в котором показано разложение партии эсеров. На эту книгу обратил внимание Г. В. Плеханов. В 1920 г. в Варшаве издавал «политическую, литературную и общественную» газету «Свобода» (совместно с Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философовым), занимавшую активную антисоветскую позицию. Опубликовал в Париже повесть «Конь вороной» (1923, советское издание — 1924), в которой заявил об иллюзорности белого движения.

В 1931 г. вышла посмертная «Книга стихов» (Париж) с предисловием З. Н. Гиппиус. Воспоминания С. печатаются в сокращении по его книге «Борьба с большевиками» (Варшава, 1920).

Сирин — см. Набоков В. В.

Слоним Марк Львович (1894—1976) — литературный критик. В эмиграции с начала 1920-х гг. В Праге издавал журнал «Воля России». В Париже был редактором «Новой газеты» (1931), председателем литературного кружка «Кочевье». Позже перебрался в США, был профессором русской литературы в колледжах. Считал, что русская зарубежная литература обречена на умирание, что будущее за писателями в СССР. Автор многих книг на английском языке, сотрудник различных американских журналов.

«Литературные отклики...» были опубликованы в пражской «Воле России» (1924, № 4). Печатаются в сокращении.

«Современные записки» — общественно-политический и литературный журнал, выходивший в Париже с 1920 по 1940 г. под редакцией Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка, А. И. Гуковского (до 1925 г. В. В. Руднева). На протяжении всего существования сохранял высокий литературный уровень, редакция умела привлечь лучшие писательские и философские силы зарубежной России. Г. В. Адамович утверждал, что «С. З.» — «один из двух-трех лучших журналов», какие были когда-либо в России. «Будущий историк по справедливости отведет «Современным запискам» первое и почетное место в эмигрантской литературе,— писали „Последние новости"».— «Журнал как бы говорил: мы — часть России, ее неотъемлемая часть... У нас там, на родине, есть свое законное место, и отнять его у нас нельзя...»

На журнальных полосах впервые увидели свет произведения И. А. Бунина, М. И. Цветаевой, Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелева, И. Д. Сургучева, Н. А. Бердяева, Г. П. Федотова, Г. В. Иванова, И. В. Одоевцевой, Г. Н. Кузнецовой, Л. Ф. Зурова, П. Н. Милюкова и др. Для русской зарубежной литературы «С. З.» имел исключительное значение. Вышло 70 номеров.

В антологии широко используются публикации этого журнала.

Сорокин Питирим Александрович (1889—1968) — социолог и культуролог. Родился в Жешарте. Окончил Петербургский университет. После февральской революции — секретарь А. Ф. Керенского и редактор газеты «Воля народа». В эмиграции с 1922 г. (выдворен советской властью). С 1923 г. жил в США. Профессор Гарвардского университета (с 1930 г.). Наиболее значительная работа российского периода — «Система социологии» (Пг., 1920).

Публикуемый очерк был напечатан в «Воле России» (1922, № 4 и 5). Печатается с небольшим сокращением.

Степун Федор Августович (1884—1965) — философ, публицист. В эмиграции с ноября 1922 г. (выдворен советской властью). Родился в семье помещика, выходца из Восточной Пруссии, где его предки с незапамятных времен владели большими земельными угодьями между

Тильзитом и Мемелем. Юные годы провел в Москве. Здесь окончил реальное училище св. Михаила (1900). Тогда же был зачислен на военную службу (вольноопределяющийся мортирной дивизии в Коломне). Участник первой мировой войны. Обучался в Гейдельбергском университете на философском факультете. В эмиграции жил в Германии. Был профессором Фрейбургского университета, в 1937 г. уволен в отставку «за русский национализм».

С. много писал о России, в частности, о трагических переменах, произошедших после Октября. Отдал дань беллетристике, в нескольких номерах «Современных записок» был опубликован его роман «Николай Переслегин». Интересны воспоминания С.— «Бывшее и несбывшееся», охватывающие период детства писателя до Октябрьской революции (2 т. Нью-Йорк: Изд. Чехова).

Публикуемые «Мысли о России» — часть большой работы, печатавшейся в «Современных записках» (в сокращении взяты статьи из № 17. 1923 и № 19. 1924).

Сургучев Илья Дмитриевич (1881—1956) — писатель, драматург. Его отец — крестьянин, переселившийся в город (Ставрополь). С. после окончания гимназии в Ставрополе уехал в Петербург. Здесь окончил восточный факультет университета, изучал китайский язык. В эмиграции с 1920 г. После недолгого пребывания в Константинополе и Праге навсегда перебрался в Париж.

Писать С. начал в студенческом возрасте. После революции 1905 г. попал в среду писателей, группировавшихся вокруг книгоиздательского товарищества «Знание». На молодого писателя обратил внимание М. Горький. При его участии в 1912 г. была опубликована повесть «Губернатор», хорошо встреченная читателями и критикой. Успех сопутствовал С.-драматургу. Пьеса «Торговый дом» была поставлена Александринским театром (1913), «Осенние скрипки» — МХТ (1915). Пьеса «Реки Вавилонские» открыла трагический период жизни писателя, начавшего жизнь изгнанника. Советский журнал «Печать и революция» (1927. № 8) отмечал: пьеса «чрезвычайно любопытная в смысле характеристики настроений наиболее обездоленной части эмигрантов...»

«Реки Вавилонские» опубликованы в «Современных записках» (1922. № 11). Печатаются по этому изданию с незначительным сокращением.

Сухомлинов Владимир Александрович (1848—1926) — мемуарист, генерал от кавалерии (1906), начальник генерального штаба Российской Империи (1908—1909), военный министр (1909—1915). Отец — помещик, землевладелец в Ковенской губернии. С 1861 г.— учеба в Александровском кадетском корпусе (расформирован в 1863 г. «за непослушание начальству»). Продолжил учебу в Николаевском кавалерийском училище в Петербурге (окончил в 1867 г.). В 1874 г. произведен в штабс-ротмистры и причислен к генеральному штабу. Участник Турецкой кампании 1877—1878 гг. и войны с Японией 1904—1905 гг. Член Государственной думы.

В марте 1916 г. арестован по обвинению в злоупотреблении положением и измене родине. Приговорен к бессрочной каторге, в 1918 г. освобожден по старости. Эмигрировал сначала в Финляндию, затем в Германию.

«Воспоминания» вышли в Берлине в 1924 г.: сначала на немецком языке, а затем на русском. Публикуются отрывки из русского издания.

Тэффи Надежда Александровна (наст. фамилия Лохвицкая, в замужестве Бучинская) (1872 (по другим сведениям 1875) — 1952) — поэт, прозаик, работала в жанре сатиры. Родилась в дворянской профессорской семье. Печататься начала в 1901 г. На революцию 1905 г. откликнулась рядом остросатирических фельетонов и стихов в оппозиционном правительству духе, печаталась в большевистских изданиях — «Звезда», «Новая жизнь». Ведущий сотрудник «Сатирикона» с момента его основания (1908). В эмиграции с начала 1920 г. Жила в Париже. Печаталась преимущественно в «Последних новостях». Наряду с Дон-Аминадо, пользовалась исключительным успехом у читателей. Автор многочисленных сборников: «Тихая заводь» (Париж, 1921), «Черный ирис» (Стокгольм, 1921), «Рысь» (Берлин, 1923), «Вечерний день» (Прага, 1924), «Городок» (Париж, 1927), «Все о любви» (Париж, б. г.), «Книга-Июнь» (Белград, 1931), «Ведьма» (Париж, 1936), «О нежности» (Париж, 1938),

«Зигзаг» (Париж, 1939) и др.

Публикуемые рассказы и стихи вошли в сборник «Рысь». Стихотворение «Тоска» публикуется в сокращении.

Устрялов Николай Васильевич (1890—1937) — публицист, политический деятель. В эмиграции с 1920 г. Вернулся в СССР в 1935 г. Был репрессирован. За рубежом выступал со статьями, в которых развивал мысль, что «преодоление большевизма уже началось», полагая нэп торжеством буржуазного и национального начал над коммунистическим.

«В борьбе за Россию» вышла в конце 1920 г. (Харбин). Публикуется с незначительными сокращениями.

Франк Семен Людвигович (1877—1950) — философ, психолог. Родился в интеллигентной еврейской семье (отец — врач, дед — раввин). Закончил гимназию, учился на юридическом факультете Московского университета. За участие в марксистских кружках в 1899 г. подвергся аресту. Тогда же уехал за границу. Занятия продолжил в Гейдельберге и Мюнхене. С 1906 г.— редактор философского отдела журнала «Русская мысль». От «легального марксизма» эволюционировал к религиозному идеализму. В 1912 г. принял православие. С 1917 по 1921 г. занимал кафедру философии в Саратове, а затем в Москве.

В 1922 г. вместе с другими учеными был выслан советской властью за границу. Жил в Берлине. Здесь читал лекции в университете (1930—1937). Из-за преследования евреев Ф. был вынужден уехать сначала во Францию, а в 1945 г.— в Англию. Первый труд — «Теория ценностей Маркса» (1900), в котором подверг серьезной критике экономическое учение Маркса. Широкую известность принес сборник «Проблемы идеализма» (1902). В 1906 г. издавал (при участии П. Б. Струве) журнал «Свобода и культура», в котором стоял на позициях либерализма, защищая свободу и культуру от правительственной бюрократии. Кроме того, Ф. предостерегал от неумеренных увлечений левого крыла русской интеллигенции марксизмом, которое готово было, по мнению Ф., принести в жертву свободу и культуру ради одержимости идеей социальной справедливости. Опубликовал труды по проблемам гносеологии, психологии, социальной философии: «Предмет знания» (магистерская диссертация, 1915); «Душа человека», «Духовные основы общества», «Основы марксизма», «Введение в философию», «Крушение кумиров», «Предмет знания» и др. Ф. испытал значительное влияние Н. О. Лосского.

Публикуются фрагменты из книги «Крушение кумиров» (Берлин, 1924).

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт, мемуарист, критик. Муж Н. Н. Берберовой. Родился в семье художника, потомка польских эмигрантов. На чужбине с 1922 г. Первая книга стихов — «Молодость» (1908) отмечена влиянием символистов. Следующие сборники стихов «Счастливый домик» (1914), «Путем зерна» (1920), «Тяжелая лира» (1922) имели значительный успех. Стихи перестал писать с 1926 г., занявшись критикой, литературоведением («Поэтическое хозяйство Пушкина», 1924), художественной прозой (биографический роман, один из лучших в русской литературе — «Державин», 1931). Автор мемуарных книг «Белый коридор» и «Некрополь».

Стихотворение «Перед зеркалом» опубликовано в «Современных записках» (1923. № 12).

Цветаева Марина Ивановна (1892—1941) — поэт, прозаик, критик. Дочь профессора И. В. Цветаева, основателя Московского музея изобразительных искусств. Мать — М. А. Мейн-Цветаева, одаренная пианистка. Ц. в раннем возрасте (1903—1905) жила в Швейцарии и Германии, получала там образование в частных школах. В 1909 г. Ц. ездила в Париж — изучала французскую поэзию, посещала лекции в Сорбонне. Во время февральской революции 1917 г. находилась в Москве. Начавшаяся вскоре после Октябрьской революции гражданская война разлучила ее с мужем, вставшим в ряды белой армии. Личные житейские трудности, смерть малютки-дочери и желание воссоединиться с мужем заставили ее покинуть в 1922 г. родину. Первоначально жила в Чехии, затем во Франции (с 1925 г.). В 1939 г. вернулась в СССР. Покончила самоубийством.

Стихи начала писать лет с шести. Уже пер-

вые книги «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный фонарь» (1912) говорили о появлении крупного дарования. Первые годы эмиграции были для Ц. плодотворны. Она много печаталась в периодике, в первую очередь в «Современных записках». Вышли книги: «Стихи к Блоку» и «Разлука» (обе — 1922); «Психея. Романтика» и «Ремесло» (обе — 1923); поэма-сказка «Молодец» (1924); «После России. 1922—1925» (1928). Эта книга стала последним прижизненным изданием поэта.

«Вольный проезд» опубликован в «Современных записках» (1924, № 21). В этом же журнале появились и представляемые в антологии стихи Ц. (1920. № 1 и 1921. № 7).

Цетлин Михаил Осипович (1882—1945) — поэт, критик. Стихи, весьма подражательные, печатал под псевдонимом Амари. Критические заметки публиковал иногда под псевдонимом «Мих. Ос.». Обладая значительным капиталом, занимался благотворительностью. Материально поддерживал партию эсеров, членом которой состоял. Активно сотрудничал в «Современных записках». С началом второй мировой войны переехал в США, где стал одним из основателей и первым редактором «Нового журнала».

Критический разбор «Бунин. „Роза Иерихона"» появился в «Современных записках» (1924. № 22). Здесь же опубликованы стихи: «Николай I» (1921. № 7). «Предутренняя свежесть» (1920, № 1).

Черный А. (наст. фамилия — Александр Михайлович Гликберг) (1880—1932). Печатался также под псевдонимами С. Черный, Александр Черный, Саша Черный. Родился в Одессе в семье провизора. В 1905 г. переехал в Петербург, где начал сотрудничать в прогрессивных сатирических журналах «Зритель», «Маски», «Молот» (выходивших короткое время после манифеста о свободе печати от 17 октября 1905 г.). В 1906—1907 гг. жил в Германии. Вернувшись в Россию, стал деятельным сотрудником популярного журнала «Сатирикон». Эмигрировал в 1920 г.

Стихотворение «В пути» было включено в поэтический цикл «На Литве» и появилось в «Воле России» (1922. № 6). Публикуется по этому изданию.

Шестов Лев (наст. фамилия — Лев Исаакович Шварцман) (1866—1938) — философ, литературный критик. Родился в Киеве в семье текстильного фабриканта. Окончил юридический факультет Киевского университета. Долгое время жил за границей (1895—1914), преимущественно в Швейцарии. В 1914—1920 гг. в России. В эмиграции с 1920 г., поселился во Франции (Париж). Уже в первой книге Ш. «Шекспир и его критик Брандес» (Петербург, 1898) он с исключительной силой и глубиной поставил «проклятые вопросы» бытия и мышления, ополчился против просвещенно-мещанского истолкования Шекспира датским критиком, пытавшимся выводить из трагедии мораль, что для Ш. являлось признаком «этического безвкусия». Уже в этой книге наметилась тенденция к апологии трагического начала в жизни. Эта черта характерна и для его последующих работ, в частности для исследования «Достоевский и Ницше (философия трагедии)» (первое издание — Петербург, 1903; второе — Берлин, 1922). Наиболее значительные труды, вышедшие в эмиграции: «Власть ключей» (Берлин, 1923), «Скованный Парменид (об источниках метафизических истин)» (Париж, 1923), «На весах Иова (Странствия по душам)» (Париж, 1929) и др. Книги Ш. переведены на французский, английский, немецкий языки, иврит. Слава Шестова-философа на Западе велика.

Статья «К преодолению самоочевидности. К столетию Достоевского» (первая часть) опубликована в «Современных записках» (1921. № 8).

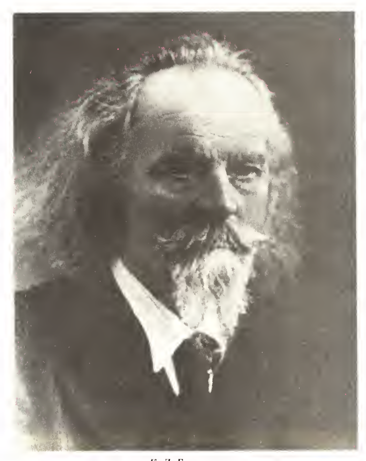
Яворский Юрий.— «Поэт, исследователь древней литературы и Карпатской Руси (фольклор и документы). Редактировал сборник «Подкарпатская Русь в честь Т. Г. Масарика». Умучен коммунистами после 1946 г. в Чехии. Это был знаток рукописей и русский патриот» (Русская литература в эмиграции. Сб. статей/ Под редакцией Н. П. Полторацкого. Питсбург, 1972. С. 268). Других сведений не обнаружено.

Статья «К новому миру» опубликована в сборнике «Думы о родине» (Львов, 1923), выходившем под редакцией Я. Печатается с незначительными сокращениями.

И. А. Бунин

Е. К. Брешко-Брешковская. Худ. Б. Григорьев

Лев Шестов. Худ. Б. Григорьев



К. Д. Бальмонт

Л. С. Бакст

З. Н. Гиппиус

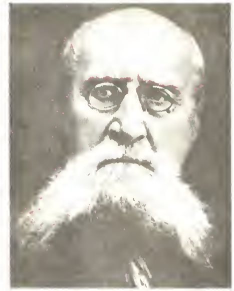
М. И. Цветаева

Надежда Тэффи на берегах Марны

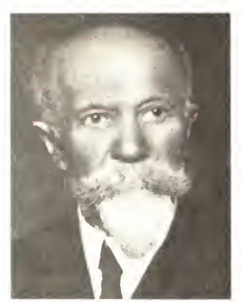
М. А. Алданов

В. Ф. Ходасевич

Н. Н. Брешко-Брешковский и переводчица французского издательства «Бодинье»



В. И. Немирович-Данченко



Н. О. Лосский

Ф. А. Степун

С. Л. Франк

Первые шаги по чужой земле

Лионский вокзал. Русские в дороге

Новороссийский порт. Эвакуация белых

Смотр контрреволюционных сил в константинопольских трущобах

Эмигрантские издания

Донъ-Аминадо

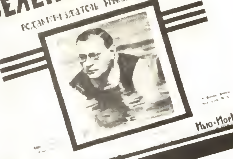
Дымъ
безъ отечества

4+1

Мост на ветру

Андреев • Бенус • Либерман • Присманова

Сосинский • Берлин 1924



Эмигрантские издания

Анархический Вестник

№ 7

Май 1924 г.

АНАРХИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

(DER ANARCHISTISCHE BOTE)

ОРГАН ОБ'ЕДИНЕННЫХ АНАРХИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ

№ 7

Май 1924 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВНЕЙШАЯ ЗАДАЧА МОМЕНТА

THE LARGEST RUSSIAN DAILY NEWSPAPER IN THE UNITED STATES AND CANADA.

САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ И КАНАДЕ ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ ГАЗЕТА.

Российская хроника

РУССКИЙ ГОЛОС

RUSSKY GOLOS

64 East 7th St. New York.

Russian Daily Newspaper

RUL, russische demokratische Tageszeitung

РУЛЬ

60 Mark

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО

Основанъ І. В. Гессеномъ, проф. А. И. Каминкой и В. Д. Набоковымъ

Суббота, 6 января 1923 г. (24 декабря 1922)

№ 639-й

Крушеніе парижской конференціи.

Конецъ

Годъ изданія 1-й

ВПЕРЕД

№ 39-й

цѣна 2 р.

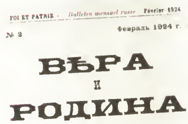
Орган Об'единенной Конференціи

профессіональных, политических и общественных организацій полосы отчуждения Китайской Восточной ж. д.

Выходит ежедневно

1920 г.

Эмигрантские издания


FOI ET PATRIE · Bulletin mensuel russe · Février 1924
№ 2 Февраль 1924 г.
ВѢРА И РОДИНА
Выходитъ ежемѣсячно.

Воскресенье 24 августа 1924 г.
№ 4
Путь
La Voie
Журнал общественный, финансово экономический и литературно-художественный.
Выходит еженедельно по воскресеньям.
НА ПЕРЕПУТЬИ.

ВОЛЯ РОССИИ

ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ

МАРТ

4

ПРАГА
1924

Эмигрантские издания

ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛЪ

15 (28) ДЕКАБРЯ 1920 г.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКЪ

БАЛТІЙСКІЙ АЛЬМАНАХ

I.

SUOMI

Издатель:

Редакторъ Евгеній Шкляр

ОБЩІЙ ПУТЬ

№ 2

За чтением «Иллюстрированной России»

РУССКІЙ ТЕАТРЪ
ВАНЬКА-ВСТАНЬКА
СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО
ЧАЙ
Т-ва П.М.КУЗМИЧЕВЪ СЪ С-ми
осн. въ Петроградѣ въ 1867 г.
КОНТОРЫ:
LONDON. E.C.4, 11, Queen Victoria Street
BERLIN. Hohenzollerndamm 15
HAMBURG. Freihafen, Holl. Brook 2
CONSTANTINOPEL. Galata, 213, Rue de Tram
КОНЦЕРТЪ У СЕБЯ ДОМА
въ исполнении замѣчательными музыкальными инструментами
"Gramola"
"Gramonium"
Kantorowicz
HOHENSLIKOR
PRUNELLE
Производство настоящихъ русскихъ
САМОВАРОВЪ
Разныхъ размѣровъ и формъ
Экспортъ во всѣ страны
3 СПЕЦІАЛЬНОСТИ КАНТОРОВИЧА
ОТТО КИРХНЕРЪ и Ко. / БЕРЛИНЪ
КРУГЛИКОВА И ЕЛЬЗНЕР
ПЛАТЬЯ КОСТЮМЫ МАНТО
KIEB × БЕРЛИН
TAUENTZIENSTR.
HÖCKER-RÖSSLEIN
AD
BERLIN-HA

И. А. Бунин встречает Новый год. Слева от него — Г. Кузнецова

«Русский» Новый год в Союзе писателей и журналистов (Париж)

Бывший киевлянин, а ныне звезда парижской оперетты Михаил Вавич

Бывший полковник-галлиполиец — продавец молочных товаров в Белграде

Сергей Лифарь среди артистов Варшавского балета

Эмигрантское застолье в честь праздника Рождества Христова
Как «надо петь» показывает режиссер Н. Н. Евреинов

Исполнитель кавказских танцев Мурит Туаев в стокгольмском театре «Комеди

Бывшие офицеры российской армии, а теперь берлинские таксисты

Бывшая студентка Петербургской консерватории — нынешняя официантка шанхайского кабачка

Бывшие педагоги и чиновники — парижские сапожники

Русские в Булонском лесу

Бывшая солистка Одесской оперы — исполнительница русских песен в аргентинском кабачке

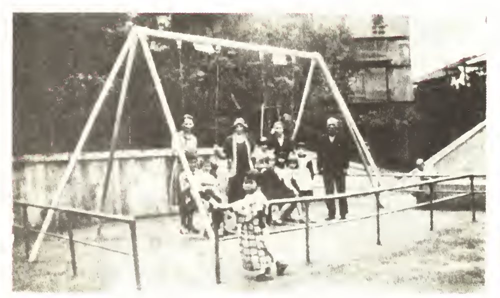
Чествовиние Ф. И. Шаляпина на сцене софийской оперы

Знаменитый хор московских цыган в парижском ресторане «Тройка». Руководитель — Дмитрий Поляков

Английская карикатура на казацкий хор «Платов»

Донской казачий хор «Платов» после выступления в соборе Парижской Богоматери

Девятилетний казак Забайкальского войска Всеволод Чупров



Русская гимназия в Шанхае

Русский интернат на окраине Парижа в Бианкуре

Русская школа в Константинополе

Три сестры — исполнительницы народных песен

Советская Россия глазами эмигрантов

Разоряют святыни...

Вместо чудотворной иконы Богоматери — большевистский призыв

Тысячи русских детей остались сиротами

Безпризорные — бичъ и позоръ совѣтской Россіи
У БОЛЬШЕВИКОВЪ ПРАВАЯ РУКА ЗНАЕТЪ, ЧТО ДѢЛАЕТЪ ЛѢВАЯ
Шуллерская борьба съ алкоголизмомъ
ОБЯВЛЯЕМ БОРЬБУ!

Советская Россия глазами эмигрантов

Забастовки въ Москвѣ

БАСТУЮТЪ ТОРГОВЫЕ СЛУЖАЩІЕ ЧАСТНИКОВЪ

„Бѣдность не порокъ“
или
„Какъ живетъ Демьянъ Бѣдный“

Митрополит Владимир

Храм православного Сергиевского Подворья в Париже

Содержание

Литература русского зарубежья:
Антология
Том 1, книга 2

Составитель Валентин Викторович Лавров

Художественный редактор М. А. Вакарчук
Технический редактор Л. П. Емельянова
Корректоры Л. В. Петрова, Н. И. Скворцова
Ретушер Е. А. Маньшина

ИБ 2050

Сдано в набор 7.05.90. Подписано в печать 11.12.90. Формат 70 × 100/16. Бумага офсетная № 2. Гарнитура Тип — бодони. Печать офсетная. Усл. печ. л. 35,10. Усл. кр.-отт. 70,53. Уч.-изд. л. 41,43. Тираж 120 000 экз. Изд. № 4954. Зак. № 630. Цена 7 р.

Издательство «Книга»
125047, Москва, ул. Горького, 50.

Можайский полиграфкомбинат Государственного комитета СССР по печати
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

25-20

7руб.